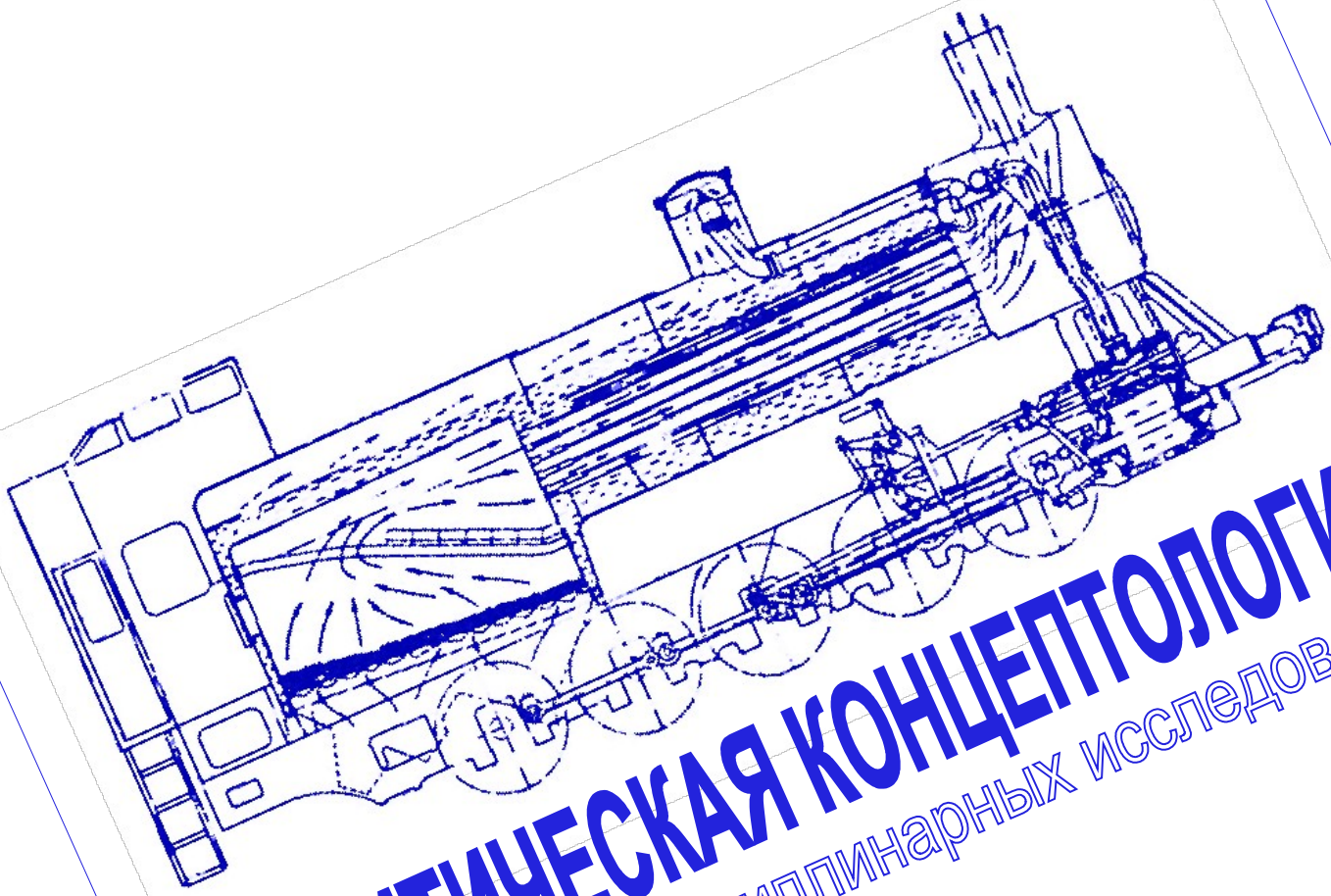
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Journal of metadisciplinary research
The POLITICAL CONCEPTOLOGY

2012 г. № 4



ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

Ростов-на-Дону

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПТОЛОГИИ

Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем

ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПТОЛОГИЯ:

журнал метадисциплинарных исследований

2012. № 4

(октябрь-декабрь)

Научный журнал
Издается с 2009 года

Политическая концептология:
журнал метадисциплинарных исследований

Научно-аналитическое издание

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл № ФС77-32422 от 09 июня 2008 г.

ISSN 2218-5518

Учредитель: Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»

Редакционная коллегия:

Главный редактор: *В.П. Макаренко*, доктор политических и философских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины

Заместитель главного редактора: *С.П. Поцелуев*, доктор политических наук, доцент

Ответственный секретарь: *М.С. Константинов*, кандидат политических наук

Редакционный совет:

Председатель – доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор *А.В. Лубский* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, доцент *А.И. Бардаков* (Волгоград)

Доктор экономических наук, профессор *В.В. Вольчик* (Ростов-на-Дону)

Доктор политических наук, профессор *И.И. Глебова* (Москва)

Профессор ординарный, доктор габилитованы *Анджей Захариаш* (Жешов, Польша)

Доктор политических наук, профессор *В.С. Малахов* (Москва)

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ *О.Ю. Мамедов* (Ростов-на-Дону)

Доктор юридических наук, профессор *А.В. Оболонский* (Москва)

Доктор политических наук, профессор, действительный член РАН *Ю.С. Пивоваров* (Москва)

Доктор философских наук, профессор *Н.С. Розов* (Новосибирск)

Доктор философских наук, профессор *В.В. Савчук* (Санкт-Петербург)

Доктор исторических наук, профессор *В.Н. Ткаченко* (Киев, Украина)

Доктор философских наук, профессор *С.Г. Чукин* (Санкт-Петербург)

Доктор философских наук, кандидат психологических наук *В.А. Шкуратов* (Ростов-на-Дону)

Электронная версия журнала: **http://politconcept.sfedu.ru**

Адрес учредителя:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Б. Садовая, 105
тел.: (863) 263 3158 263 8498
факс: (863) 264 5255
e-mail: rectorat@sfedu.ru

Адрес редакции:
344006, г. Ростов-на-Дону
ул. Пушкинская, 160, к. 112
тел. (863) 264-02-64
факс: (863) 264-52-55
e-mail: politconcept@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Макаренко В.П.
Кто и как чешет национальную похоть..... 5

РУССКАЯ ВЛАСТЬ: ОПИСАНИЯ И РЕФЛЕКСИИ

Неретина С.С.
Ещё раз о праве как пути переустройства России..... 33

Соловьев К.А.
Власть Московского государя во второй половине XV в.: официальная позиция..... 55

НАУКА И ОБЩЕСТВО

Колчинский Э.И.
Начало скорбного пути Н.И. Вавилова (к 125-летию великого учёного)..... 72

ОЙКУМЕНА

Шупер В.А.
Инновационное развитие в свете евразийской концепции Л.Н. Гумилёва..... 123

Лугвин С.Б.
Европейская бюрократия: контекст становления..... 131

Мамедов О.Ю.
Уличные демонстрации: современный «дресс-код» политики?..... 145

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Рац М.В.
К вопросу о составе и структуре науки о книге..... 149

Макаренко В.П.
Первое рукопожатие..... 159

Кондратьева О.Н.
Концепт «кризис» в болгарском и русском медийном дискурсе..... 165

Очеретяный К.А.
Summa topologiae..... 168

Савчук В.В.
Топологическая рефлексия (Ч. I и II)..... 174

Наши авторы..... 306

Summaries and keywords..... 307

Contents..... 311

К сведению авторов..... 312

Слово редактора

КТО И КАК ЧЕШЕТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ПОХОТЬ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье, на базе концепции Б. Андерсона, проблематизируется официальный бюрократический национализм, сложившийся в Российской империи и актуализируемый элитами современной России. Автор исходит из того, что русская нация есть воображаемое сообщество, не имеющее онтологической реальности. Она выдумана русской бюрократией и интеллигенцией и существует в однородном пустом времени. Бытие этой мнимой общности связано с комплексом политико-идеологических ритуалов, легитимизирующих деятельность политиков, госаппарата и интеллигенции России. Русский язык, официальное православие и ленинско-сталинская версия марксизма, а также их лингвистические и идеологические гибриды до сих пор выполняют роль генераторов мнимой общности русской нации.*

Ключевые слова: *нация, официальный бюрократический национализм, идеологическая бюрократия, интеллигенция.*

> Мне нравится, что у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые… Они постоянно навыкате, но — никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса…
>
> Имеет ли рвота национальные особенности? Мысленное сравнение грузинской рвоты, извержение которой я только что недавно имел удовольствие созерцать в метро, — и этой, раскинувшейся похабно передо мной и всем своим крикливым видом с гордостью заявлявшей о своем русском происхождении, — не дало никакого положительного результата. А впрочем, легкое сходство есть… И это сходство еще раз заставило меня сожалеть о постепенном сглаживании национальных различий.
>
> *Венедикт Ерофеев*

В большинстве словарей нация определяется как историческая общность людей, объединенных территорией, экономическими и политическими связями, обычаями, языком и

культурой. Нередко к этим характеристикам нации добавляют этническое происхождение. Полемика между сторонниками политического и этнического понимания нации длится давно[1]. Однако оба понимания могут обслуживать интересы государственной бюрократии. Существуют ли концепции, позволяющие дистанцироваться от этих интересов не на уровне общих рассуждений, а в каждом конкретном политическом решении и его исполнении (модификации) на остальных уровнях бюрократической машины государства?

Под таким углом зрения в середине 1990-х гг. я с большим интересом и когнитивным удовольствием прочитал книгу Бенедикта Андерсона. На этой основе написал главу «Национализм» в одной из книг[2]. В 2001 г. книга Бенедикта Андерсона была переведена на русский язык. Однако в предисловии Светлана Баньковская обходит поставленную проблему[3]. Между тем на протяжении нулевых годов проблема еще более обострилась. Интеллектуалы постсоветских государств разрабатывают концепции для обоснования национализма, а культурологическая, антропологическая, биологическая виды рефлексии служат для обоснования расизма[4]. Поэтому целесообразно заново перечитать книгу Б. Андерсона и выделить те ее аспекты, которые важны для анализа ситуации в современной России.

Что такое воображаемое сообщество?

Главный предмет анализа в книге Бенедикта Андерсона — истоки и процесс распространения национализма в XX в. Сегодня в бывшем СССР, Югославии продолжаются войны. Следовательно, присутствие Советской армии в странах Восточной Европы после 1945 г. предотвращало потенциальные войны между коммунистическими режимами. Роль запала в таких войнах выполнял национализм. Со времени второй мировой войны все победившие революции (в Китае, Египте, Вьетнаме, на Кубе, в Иране и т.д.), самоопределялись в национальных категориях. Вторая половина XX в. принесла с собой необычайный рост национализма. В современном мире каждый обязан иметь национальность подобно тому, как он обладает полом или цветом кожи. Правомерна ли такая претензия?

При ответе на данный вопрос Андерсон фиксирует три главных противоречия национализма: между объективно недавним (как свидетельствуют исторические данные) формированием наций и их субъективной давностью (как полагают националисты); между формальной универсальностью нации как социокультурного понятия и неизбежной партикулярностью ее конкретных проявлений; между политической силой и теоретическим бесплодием национализма.

Конструктивистское определение нации сформулировано для объяснения данных противоречий. Нация — «это воображенное политическое сообщество, и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное»[5]. Наиболее распространенный

---

[1]См.: Руткевич М. О двух концепциях нации // Свободная мысль. — 1999. — № 11.

[2]См.: Макаренко В.П. Главные идеологии современности. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. — С. 334—397.

[3]Она пишет: «Издавая книгу Андерсона в стране, где проблема национализм столь остра, соблазнительно было воспользоваться удобным случаем и высказать свои соображения о «национальном вопросе на постимперском пространстве». Но, пожалуй, более уместным в рамках общего замысла серий Центра фундаментальной социологии будет другое. «Воображаемые сообщества» — при всех недостатках, которые найдет придирчивый критик — образцовое социологическое сочинение новейшего времени». Баньковская С. Воображаемые сообщества как социологический феномен // Андресон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. — М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001. — С. 16.

[4]См.: Шнирельман В.А. Быть аланами. Интеллектуалы и политика на Северном Кавказе в XX веке. — М.: НЛО, 2006; Шнирельман В. А. «Порог толерантности»: идеология и практика нового расизма. В 2-х тт. — М.: Новое литературное обозрение, 2011.

[5]Андерсон Б. Указ. соч. — С. 30.

символ современной национальной культуры — могилы Неизвестного Солдата. В них либо никто не похоронен, либо никто не знает, кто в них похоронен. Во всех странах у этих могил происходят публичные церемонии и ритуалы. В СССР и России к ним ходят даже молодожены. Такие церемонии и ритуалы не имеют исторических прецедентов. Следовательно, исходным пунктом национальных культур является *анонимность*.

Действительно, явление смерти и бессмертия пока еще не стало предметом анализа в науке и в светских идеологиях. Между тем нация воображается как бессмертная общность. Это свидетельствует о родстве данного представления с религиозным восприятием мира. Иначе говоря, понятие нации связано с религией[6].

Язык, религия и понимание времени — культурные корни представления о нации. Древние религиозные общности были связаны сакральными языками. Существовало убеждение в исключительной священности данного языка и связанной с ним концепции принадлежности к обществу. Сакральный писаный язык был медиумом, с помощью которого воображались общества древности. Их появление связано с выработкой убеждения в том, что знак — это нечто необходимое, а не случайное. В древних языках (китайском, арабском, латинском) любые идеограммы воспринимались как отражение действительности, а не как произвольная репрезентация. Грамотные люди — это стратегический слой в космологической иерархии, на вершине которой находится божество.

У современных наций нет священных языков. Знак не рассматривается как отражение действительности и не обладает свойством необходимости. Но в современных обществах грамотные люди образуют слой теологической технократии. Она связывает в своей деятельности язык религии и язык науки. Образцом здесь является язык юристов и экономистов. Эти профессиональные группы сознательно усложняют язык, претендуют на его всеобщность для повышения своего социального статуса, хотя юридический и экономический язык не имеет онтологических коннотаций.

Не менее важные различия связаны с пониманием времени. В Средние века каждый момент настоящего понимался как одновременное существование множества событий. Он связывал прошлое с будущим. В Новое время появилось представление о единообразном пустом времени. Теперь настоящее осознается как поперечный разрез времени, не рассматривается как пролог будущего, измеряется календарем и часами. Изобретение книгопечатания дало для воображаемой (или мнимой) общности нации техническое средство репрезентации. В Новое время появилась также концепция социального организма, существующего в однородном пустом времени. Эта концепция первоначально была сформулирована в консерватизме. А затем стало основанием для представления о нации как постоянной общности, движущейся в истории.

Так были созданы интеллектуальные и технические предпосылки современных представлений о нации. Сама возможность мышления о ней как о некой онтологической данности сформировалась в европейской цивилизации в период, предшествующий Просвещению. Тогда же рухнули три концепции, существовавшие в европейской культуре на протяжении тысячелетий: 1. Писаный язык дает доступ к онтологической истине и является ее элементом. Эта идея способствовала созданию надконтинентальных мировых религий. 2. Общество

[6]По мере секуляризации не исчезают, а увеличиваются страдания, для утоления которых прежде использовалась религия. По мере распада образа небесного (в христианском мировоззрении) и земного рая (в либерализме, марксизме и социализме) неизбежность смерти начинает восприниматься и осмысляться как произвол. В светских идеологиях спасение души рассматривается как абсурдное утверждение. На этой основе возникает необходимость в другом понимании преемственности. Речь идет о светском преобразовании неизбежной смерти в бессмертие и придании смысла случайности. Понятие нации служит такому преобразованию. В этом понятии переплетены эсхатологические и традиционные аргументы.

организовано вокруг священного центра — монарха. Ему приписывались сверхъестественные свойства, которые отличали его от всех остальных людей. Они были основанием для управления другими людьми на основе космического (божественного) согласия. 3. Космологическое время не отличается от исторического, а начало мира тождественно началу человеческой истории.

Эти концепции укореняли человеческую жизнь в природе вещей, придавали смысл существованию человека, включая страдания, необходимость подчиняться власти и смерть. Все концепции гарантировали спасение души.

По мере распада и отмирания данных концепций начался интенсивный поиск нового способа связи братства, власти и времени: «Ничто так не способствовало ускорению этого и не делало его столь плодотворным, как печатный капитализм, открывший для быстро растущего числа людей возможность осознать самих себя и связать себя с другими людьми принципиально новыми способами»[7]. Производство книг и газет как товара — главный источник национального сознания и ключевое событие в появлении новой концепции времени. Возникла возможность горизонтального структурирования обществ в однородном пустом времени. Нация стала одним из них.

Важную роль сыграли еще несколько факторов: изменение характера латыни; Реформация, влияние которой было связано с производством книг; специфика капиталистического производства и обмена; стремление монархов к абсолютной власти[8]. Последний фактор наиболее важен для появления наций. Он способствовал распаду мнимых общностей мировых религий. Выбор официальных языков во множестве стран был постепенным процессом, обусловленным прагматическими и случайными обстоятельствами. Официальными становились языки, использование которых соответствовало интересам государственной бюрократии и возникающей интеллигенции.

Данные факторы наиболее ярко проявились в появлении газет и профессии журналиста. Газета как продукт современной культуры есть *фикция.* Литературная конвенция газет — монтаж абсолютно не связанных между собой лиц и событий. Произвольность их сосуществования на страницах газеты свидетельствует, что связь между ними является вымышленной. Это обусловлено двумя причинами:

1. Сосуществованием во времени разнородных событий. Их связь определяется датой выхода газеты. Все они располагаются в однородном пустом календарном времени, в котором существует весь современный мир.

2. Связью между газетой и рынком. Книга — первый массовый товар нового времени. Газета — предельный случай книги. Она производится и продается массовым тиражом, но ее актуальность моментально исчезает.

Газета — бестселлер-однодневка. Уже на следующий день она теряет актуальность. Тем самым в газете реализуется разрыв между прошлым и будущим. Дезактуализация есть причина того, что массы людей потребляют газету как фикцию. Одновременное потребление этой фикции приобретает характер массового квазирелигиозного ритуала. Уже Гегель отмечал, что для современного человека чтение газеты заменяет молитву.

---

[7]Андерсон Б. Указ. соч. — С. 59.

[8]Церковная латынь обладала статусом Священного Писания и была эзотерической. Благодаря переводу античных авторов латынь становилась менее церковной и более светской, экзотерической с точки зрения содержания и языка. То же самое относится к святоотеческим писаниям православия. Лютер — первый в истории автор бестселлеров, поскольку он перевел Библию на родной язык. Его произведения продавались огромными тиражами. Вслед за ним пошли другие вожди Реформации. Они начали небывалую пропагандистскую войну за умы людей. И подготовили читателей своих трактатов к религиозной и политической борьбе. Идеологическая борьба XIX-XX вв. — продукт религии. Тогда как монархи использовали автохтонные языки для централизации управления. Появление официальных (правительственных) языков — следствие печати и Реформации.

Смысл ритуала парадоксален. Он осуществляется в одиночестве, в тишине духа и закоулках сознания. Человек при потреблении газеты отделяется от других. Одновременно он сознает, что в церемонии участвуют миллионы людей. Читатель газеты не сомневается в их существовании, но не имеет ни малейшего представления об их индивидуальном своеобразии. Наш современник постоянно видит и слышит, что другие люди тоже читают газеты. Тем самым он постоянно убеждается в том, что мнимый мир укоренен в повседневности: «Вымысел бесшумно и непрерывно проникает в реальность, создавая ту замечательную уверенность сообщества в анонимности, которая является краеугольным камнем современных наций»[9]. Сфера воздействия фикции расширилась до громадных размеров по мере изобретения радио и телевидения. В этой церемонии и *состоит бытие воображаемого сообщества нации в историческом времени.*

Таким образом, языки печати создали область коммуникации, которая располагалась между латынью и разговорными языками. Читатели одних и тех же текстов становились зародышем мнимых национальных общностей. Печать способствовала стабилизации языков и создавала единый образ прошлого. Он имел фундаментальное значение для генерирования субъективной идеи нации. Эта идея связана с языком власти. Печать и создала этот язык, который отличался от прежних родных языков.

Здесь можно сформулировать первый промежуточный вывод. В национализме обычно подчеркивается первичность языка и его необходимая связь с территориальными общностями, государствами и сознанием. Конструктивистская концепция нации позволяет отвергнуть, эту связь и одновременно описать ее как ложную, вымышленную, анонимную: «Иначе говоря, конкретные территориальные очертания нынешних национальных государств никоим образом не изоморфны установившимся границам распространения тех или иных печатных языков»[10].

Бюрократические миры

Тезис о противоположности между языком и территорией Андерсон иллюстрирует процессом появления государств в Западном полушарии в 1776—1838 гг. Эти территории первыми определили себя как нации. Они выработали образцы современного государства. Значительное число и недавнее происхождение государств Северной и Южной Америки дает возможность для сравнения. Эта процедура необходима для *дистанцирования* от европоцентризма при объяснении генезиса наций и национализма. Существенное значение при этом имеют следующие факты: возникающие государства прежде были колониями европейских стран (Англии, Франции, Испании); однако в колониях и метрополиях использовался один язык; язык не был предметом спора в борьбе за освобождение (как это было в Европе); генезис национализма в Америке не был связан с политической эмансипацией угнетенных классов.

Указанные отличия Америки от Европы позволяют сформулировать исходные вопросы: почему в обществах креолов концепция нации возникла раньше, нежели в Европе?[11] почему административные единицы становятся родинами и в этом качестве приобретают смысл для людей?

---

[9]Там же. — С. 58.

[10]Там же. — С. 69.

[11]Дело в том, что в испанских колониях коренное население не говорило по-испански. Однако креолы рассматривали аборигенов как соплеменников, а Испанию считали врагом, хотя и были связаны с ней происхождением и языком. Каждая из южноамериканских республик в XVI-XVII вв. была административной единицей метрополии.

Для ответа на эти вопросы Андерсон использует концепцию Виктора Тернера, в которой путешествия описаны как разновидность осмысления опыта во времени, пространстве и статусе.

Все путешествия требуют истолкования. Так, путь от рождения к смерти породил разные религиозные концепции. Но они оставались в сфере сознания до тех пор, пока не породили социальный феномен паломничества — путешествия к святым местам[12]. До появления печати убеждение в том, что религиозная общность является реальной, а не мнимой, зависело от бесчисленных паломников. Все они более-менее повторяли идеи джихада или крестового похода. Это тоже свидетельствует о том, что язык не является признаком нации (подобно песне, танцу, одежде и флагу). Значительно важнее способность языка создавать мнимые общности. Язык никогда не был средством исключения индивида из общины, поскольку каждый человек может научиться любому языку. Язык — это средство связи индивидов. Оно ограничено лишь эффектом Вавилонской башни: никто не живет так долго, чтобы выучить все языки.

Абсолютные монархии и империи возникали как светские эквиваленты религиозных паломничеств. Абсолютизм стремился создать унифицированный государственный аппарат, в котором были слиты власть и управление. Такая унификация была необходима для постоянного обмена лиц, документов и контроля над управлением. Члены аппарата обязывались быть лояльными монарху, а не партикулярным интересам феодальной аристократии. Обмен лиц обеспечивался рекрутацией новых людей. Они не обладали личной властью, а представляли только волю монарха. Тем самым путь чиновника принципиально отличался от пути аристократа[13].

Путь чиновника определялся его способностями и умениями, а не смертью предка. Центр всегда находится перед глазами чиновника как вершина карьеры, а не точка в пространстве. Чиновник движется по серпантину и надеется на то, что путь будет сокращаться по мере приближения к вершине[14]. В этом путешествии у него нет никакого гарантированного постоянного места. Каждая остановка (должность и жилье) является временной. Заветная надежда чиновника — умереть в своей постели, поскольку у него нет дома. На пути карьеры он встречается с честолюбивыми коллегами. Они происходят из захолустных мест и худородных семей, которых никто не видел и не слышал. Встреча с товарищами по путешествию порождает у чиновника чувство братства: кто мы такие, куда идем и почему собрались вместе? Эти вопросы являются мировоззренческими. Для ответа на них конструируются целые религиозные и философские системы. Во всех случаях они призваны объяснить опыт административных кочевников-бродяг. Этот опыт порождает чувство братства. Оно укрепляется, если чиновники объясняются на одном языке.

Итак, обмен чиновников является нормой, объяснение которой содержится в идеологии имперского абсолютизма. Она вырабатывается монархом и административным аппаратом. Обмен лиц дополняется обменом документов, чему способствует принятие унифицированного государственного языка. Такой язык обладает монополией на определенной территории. К

[12]Хореография великих религиозных паломничеств всегда обладала двояким смыслом. С одной стороны, есть громадная толпа неграмотных, говорящих на родных языках и образующих физическое тело общины паломников. С другой стороны, есть горстка образованных людей, которые владели двумя языками, представляли от дельные общины, осуществляли объединительные церемонии и толковали землякам их совместное поведение.

[13]Путь аристократа означает, что наследник после смерти отца поднимается на ступень выше и занимает его место. Для формального закрепления права наследства следует сделать путешествие в центр по инвеституру, а затем вернуться назад.

[14]Назначенный в город А в ранге Б, он может вернуться в столицу в ранге В, чтобы затем оказаться в провинции Г в ранге Д, а в конце путешествия опять оказаться в столице в ранге Е.

нему относятся все особенности монополий. Поэтому автохтонные языки способствовали централизации власти. Они затрудняли переход от одного монарха к другому.

Короче говоря, заморская экспансия монархий в раннем средневековье должна была привести к появлению трансконтинентальных бюрократий. Однако этого не произошло: «Инструментальная рациональность абсолютистского аппарата — и прежде всего, свойственная ему тенденция рекрутировать и продвигать людей по службе на основании их талантов, а не рождения, работала за пределами восточного побережья Атлантики лишь с очень большими сбоями»[15]. Почему же так случилось? Дело в том, что исключение вероисповедных групп из административной иерархии способствовало развитию национализма в Европе[16]. В Америке такого исключения не было, поскольку одна и та же религия (католицизм или протестантизм) связывала колонии с метрополией. Зато существовали другие ограничения. Креолы могли занимать административные должности только в колониях и никогда не могли попасть в столицу империи (т.е. в Мадрид)[17]. Хотя не было никакого различия между испанцами и креолами с точки зрения языка, религии, происхождения и обычаев.

Стало быть, не просто возможность занимать должность в госаппарате, а гарантия достичь вершины бюрократической карьеры (вероятность жительства и должности в столице) есть существенный критерий генезиса национализма. Питательная почва роста национализма — *появление слоя людей, которые не могут дослужиться до высших чинов в империи*[18]. Административные аппараты империй связывают различные социально-экономические отношения (стадии, фазы) и способствуют генезису национальных идеологий. В то же время аппараты оставляют неизменными структуру властных отношений. Рост числа «лишних людей», которые не могут удовлетворить свои административные амбиции, выразился в появлении евро-американцев, евроазиатов и евроафриканцев как особых социальных групп. Их появление стало основой, на которой расцвел стиль мышления, предвосхищающий современный расизм.

Теоретической предпосылкой такого расизма были утверждения Руссо и Гердера: климат и другие элементы среды обитания оказывают решающее влияние на человеческий характер и культуру. Эти теории были известны в метрополии. Но из них был извлечен политический вывод: рожденные в заморских странах креолы уступают жителям метрополии по характеру и культуре и не годятся для выполнения высших государственных должностей.

Следовательно, при анализе источников национального сознания надо учитывать роль официальных государственных языков, специфику административных путешествий и возможность дослужиться до высших постов в метрополии. Если эта возможность закрыта, возникают идеологии, отражающие генезис *двойной идентичности* членов имперского административного аппарата. Эти факторы определили бюрократические миры в Северной и Южной Америках. Но они не имели значения до тех пор, пока территория власти колониальной

---

[15]Там же. — С. 80.

[16]Показательным примером является Англия, в которой до 1829 г. католикам было запрещено занимать должности в административном аппарате. Это способствовало развитию ирландского национализма.

[17]«В ходе этого тернистого паломничества он сталкивался с компаньонами-по-путешествию, и у них стало складываться ощущение, что их товарищество базируется не только на особых пространственных границах этого паломничества, но и на общей для них фатальности трансатлантического рождения» . Там же. — С. 81.

[18]Креолы были высшим слоем в колониях и располагали политическими, военными и культурными средствами власти. Верховная власть могла их подчинять и использовать, но от креолов зависела стабильность империи. Следовательно, значение центро-периферийных связей в колониальных империях и положение аристократии при феодализме было аналогичным. Аристократия была основанием и одновременно угрозой власти короля: «Хрупкое равновесие между полуостровным чиновником и креольским магнатом было, таким образом, выражением старой политики divide et impera в новой обстановке». Там же. — С. 82.

администрации не стала представляться ее членам как нация. Генезис данного представления связан с появлением американских газет.

Три модели

В Америке печать не развивалась до тех пор, пока газета не стала новым источником доходов. Он принадлежал владельцу типографии. Профессия печатника-журналиста — типично американский феномен. Главная проблема этой профессии — поиск читателей как потенциальных потребителей товара. Поэтому печатники-журналисты входили в альянсы с чиновниками. Тем самым двойная идентичность местной бюрократии переплелась со становлением нового профессионального слоя. Газетно-бюрократические борзописцы приветствовали идеологию Просвещения. Она позволяла квалифицировать печатников-журналистов (заинтересованных в доходах) как лиц «интеллигентной профессии». И выдвинуть лозунг «свободы печати» для маскировки материальных интересов этого слоя[19].

Асимметрия событий (обусловленная отношением центра и периферии) — следующая характеристика газеты. Она тиражировалась во всех колониях. И потому газета инициировала множество провинциальных миров: «Сама концепция газеты предполагает преломляющее преобразование даже «мировых событий» в специфический воображаемый мир местноязычных читателей»[20]. Отсюда вытекает двойственность испано-американского национализма — универсальность и локальность. Решающая роль в его создании принадлежит чиновникам и журналистам.

Вторая модель национализма возникла в Европе и состояла в использовании автохтонных языков. В Америке язык не был фактором становления национальных государств. В Европе местные языки сыграли важную политико-идеологическую роль. На протяжении столетия (1820 — 1920 гг.) они изменили политическую карту Европы. Кроме того, все европейские движения опирались на модель французской революции. Она выдвинула универсальные лозунги свободы, равенства и братства. Представление о нации возникало в этом контексте: «Нация» оказалась изобретением, на которое невозможно было заполучить патент. Она стала доступным предметом для пиратства, попадавшим в очень разные, иной раз самые неожиданные руки»[21].

Все утопии Нового времени не формулировались в языке «потерянного рая», а изображались как современные общества, расположенные в ином пространственно-временном континууме. Европейский национализм развивался параллельно с организацией школ и университетов, в которых он находил сознательную поддержку. Поэтому основателями первых националистических движений в Европе были *историки.* Общество читателей их трудов вначале ограничивалось аристократией, землевладельцами, дворянами и клиром. Эти слои обла-

[19]Специфика первых американских газет состояла в том, что они давали информацию из метрополии о ценах товаров в портах, времени прихода и ухода кораблей, о местных назначениях, браках богатых людей и т.д. Газета порождала чувство принадлежности к воображаемому обществу читателей и гордости от сопричастия к сообществу грамотных. Это общество было связано с существованием королей, епископов, кораблей, цен на рынке, браков, назначений и т. п. Конечно, местные купцы могли читать центральные газеты из Мадрида, Парижа и Лондона. Но они ничего не говорили об окружающем мире. С другой стороны, местные чиновники не читали местных газет, поскольку в них ничего не сообщалось о бюрократическом мире центра. Иначе говоря, в основе связи событий на страницах газеты лежала структура имперской колониальной администрации и возникающая рыночная система.

[20]Там же. — С. 86.

[21]Там же. — С. 89.

дали экономической, социальной и духовной властью. Затем к ним присоединились купеческая и промышленная буржуазия, мелкие чиновники и интеллигенция.

После Венского конгресса в Европе на протяжении XIX в. не было больших войн, зато резко стали увеличиваться расходы на содержание гражданской и военной бюрократии. В этом отношении Россия опередила другие страны, поскольку уже к началу XIX в. ее бюрократия начала воспроизводить саму себя[22]. Россия навязала другим странам это правило после победы над Наполеоном. Рост бюрократии в Европе был связан с дифференциацией государственных ведомств и снятием сословных ограничений при наборе в госаппарат. Наиболее важная особенность политического развития Европы в XIX в. состоит в том, что рост бюрократии был плавным процессом. Существенного различия между развитыми и отсталыми странами с точки зрения роста госаппарата не было, тогда как развитие купеческой и промышленной буржуазии было крайне неравномерным. Но во всех странах этот процесс был связан со становлением местной печати.

Это явление квалифицируется как филологическая революция. Она затронула все европейские страны. Добуржуазные правящие классы культивировали конкретную солидарность на основе кровного родства, клиентелы и личной лояльности. Тогда как солидарность буржуазии была абстрактной и базировалась на мнимых основаниях денег и грамотности. Остальные классы общества были потенциальными сторонниками филологической революции.

В европейских государствах сознательный национализм появился среди читателей, для которых официальный язык не был родным. Возникающая национальная интеллигенция приглашала массы к участию в истории. Приглашение было написано на языке, понятном массам. Произошел сплав модели революции с неофициальными языками. Этот феномен был эквивалентом средиземноморского пиратства. Миллионы печатных слов сформировали опыт французской революции. Эти слова были затем преобразованы в написанную *концепцию-образец.* Его «объективность» уже никто не ставил под сомнение, поскольку целые поколения обсуждали вопросы: почему революция случилась, к чему стремилась, почему вначале победила, а затем закончилась крахом? Эти вопросы стали предметом бесконечных полемик друзей и врагов революции, вплоть до настоящего времени. Тем самым случайное историческое явление приобретало свойства объективного, необходимого и причинно обусловленного. Едва о движениях за независимость в Америке было написано, как они тоже стали концепциями-образцами.

Так возникла модель независимого национального государства, которое может быть установлено в результате революции или борьбы за национальное освобождение. В середине XIX в. (период «весны народов») эта модель стала предметом всеобщего эпигонства. Европейский национализм — следствие соединения всех качеств мнимой общности, возникших в Америке и в Европе. За его реализацию взялась германская и итальянская интеллигенция — слой образованных маргиналов, связанных родными языками.

Третья модель — это официальный бюрократический национализм. Он связал принцип монархии с господством над многоязычным населением. Данная модель возникла в Российской империи, хотя некоторые элементы использовались и в Австро-Венгрии. Образцом стала царская русификация, при которой выбор государственного языка определялся административными соображениями, бессознательным наследованием и меркантильными мотивами госаппарата России. Речь идет обо всех попытках одеть империю в куцую национальную одежду. Официальный бюрократический национализм связал многочисленные народы с господствующей династией. Он сформировался в России в ответ на «вызов Запада» — революционные и национальные движения в Европе. Официальный бюрократический национа-

[22]См.: Писарькова Л.Ф. От Петра 1 до Николая 1: политика правительства в области формирования бюрократии // Отечественная история. — 1996. — № 4.

лизм — это опережающая стратегия, которая применяется правящими группами в том случае, если им угрожает маргинализация или исключение из мнимой общности нации.

Россия в период от завершения Крымской войны и до распада СССР — наиболее показательный пример официального бюрократического национализма. Российские чиновники и промышленники пользовались огромными привилегиями, которые давало им царское правительство и расширяющийся рынок. Европейские и американские промышленники создавали свое дело сами и никогда не поддерживались правительством в такой степени, как в России. Одновременно грамотные люди в России целиком отчуждались от родного общества. Становились социальными, моральными и политическими париями. В своей стране они были более чужими, чем иностранцы. Перед ними существовало только два пути социального продвижения: либо стать чиновниками разветвленной бюрократической машины государства; либо ниспровергнуть существующий порядок вещей.

Первый путь был значительно легче и проще второго. К тому же он поддерживался другими факторами: всеобщее принудительное образование, контролируемое государством; монополия правительства на пропаганду; официальная разработка и переработка истории страны; милитаризация; постоянное подчеркивание правительством идентичности принципа монархии с принципом национальности; лишение наследства большей части дворянства после реформы 1861 г. В результате перед русским дворянством оставался единственный путь — служить по военному или гражданскому ведомствам[23].

Таким образом, русская модель национализма была *синтезом* американской и французской. По мере развития капитализма в России государство умножало свои функции. Этот процесс породил русифицирующие системы образования. Они готовили кадры для государственной службы и промышленности. Система образования в России всегда была централизованной и единообразной. Она определяла трассы путешествий возникающей русской интеллигенции. Эти трассы стали параллельными с путями административной карьеры. Но в любом случае столица империи (Москва, Петербург) оставалась Римом, в который ведут все дороги. *Перекрещивание трасс бюрократии и интеллигенции стало территориальным основанием мнимой общности русской нации.* Лишь затем территориальный принцип вошел в число свойств нации.

Российская империя допускала аборигенов в школы и государственные учреждения. Но путь в министерские кабинеты и конференц-залы, в которых обсуждались и принимались важные политические решения, для них был закрыт. Это привело к тому, что главными представителями национализма в России (кроме автохтонных русских) стали одинокие двуязычные интеллигенты — русско-украинские, русско-грузинские, русско-польские, русско-татарские и т.д. Они никак не были связаны с возникающей национальной буржуазией, которая в России генерировалась из старообрядцев. Эти интеллигенты усваивали, адаптировали и развивали политические доктрины, вытекающие *из всех моделей национализма.* Но официальный бюрократический национализм в России всегда и везде преобладал. На этой почве воз-

[23]Этот путь способствовал *отождествлению* национальных интересов России с ростом бюрократии. Многонациональное государство становилось спасением, поскольку оно оправдывало рост синекур. Данная тенденция переплелась с практическими потребностями Российской империи. Россия всегда была слишком большой для того, чтобы ею могла управлять горстка чиновников из центра. Русские наместники и губернаторы стали питательной почвой для генерирования таких тенденций децентрализации и производства региональных идеологий (различные варианты «областничества»), которые лишь укрепляли бюрократический характер государства. С другой стороны, мнимая общность русской нации была выколдована печатью. Вслед за историками Европы русские историки XIX в. (особенно так называемая «государственная школа») конструировали прошлое страны в виде истории государства, главным элементом которой полагались «великие люди» и «великие события». Тем самым прошлое России воспринималось как история господствующих династий.

ник раскол двуязычной интеллигенции с анархистами, которые первыми заметили, что эта интеллигенция предлагает прежнее господство под вывеской национального государства.

Этот процесс был усилен развитием технических и интеллектуальных средств коммуникации. Благодаря им интеллигенция нашла пути обхода официальной печати. Она изобрела лозунги «расизма» и «патриотизма», которые могли пропагандироваться как среди неграмотных, так и среди публики, читающей на двух и более языках. В этом отношении Россия — один из наиболее показательных примеров национализма.

Российский эталон

Указанные модели национализма были и остаются различными способами связи бюрократии и интеллигенции. Бюрократический национализм Российской империи и СССР синтезировал их и на протяжении XX в. переплелся с последствиями революций.

Последствия революций

В 1917 г. в России произошла революция, и теперь ее схема начала накладываться на модель французской революции. В обоих случаях процессы освобождения и закабаления наций были связаны с авангардной ролью интеллигенции. Она умела говорить и писать на двух языках. Поэтому воспроизвела древнюю функцию предводителя паломников, который брал на себя обязанность довести их до «святых мест». Интеллигенция пользовалась также печатными текстами как наставлениями для практических действий. Это обеспечило бытие нации в однородном пустом времени. В результате возникла имперская система образования.

На всем протяжении истории России XVIII — XX вв. государственные школы были централизованной иерархической системой. Она структурно соответствовала системе государственной бюрократии. Путешествие в столицу за образованием было и остается параллельным пути чиновничьей карьеры. Продолжает существовать также особое министерство просвещения, бесконечно регламентирующее программы обучения. Кроме того, образовательная политика России при царе и большевиках была направлена на две цели:

1. Разрыв политических и культурных связей между населением империи и ближайшими соседями. Из-за этого жители России практически не имеют никакого представления и не интересуются спецификой культур прилегающих наций.

2. Производство строго определенного числа аборигенов, говорящих и пишущих на официальном языке. Из них создавались «национальные элиты», заслужившие доверие правительства. Эти люди занимали должности в администрации и на промышленных предприятиях, создаваемых государством.

С одной стороны, такая политика способствовала росту национального сознания многочисленных народов, населяющих Российскую империю в ее монархической и советской формах. С другой стороны, позиции бюрократии в России были всегда сильны. Ни одна революция и политическая реформа пока еще не смогли ослабить и подорвать роль государственного аппарата в социальной жизни. Поэтому национальное сознание переплелось с бюрократическим национализмом. На окраинах империи он становился еще сильнее по той причине, что имперская система образования создавала единообразную иерархию, пронизывающую отношения, сознание и поведение людей. Тем самым консерватизм становился компонентом менталитета образованных людей. Москва на протяжении всей истории завоевывала, присоединяла или превращала в сателлиты прилегающие государства. Но для знати этих госу-

дарств шанс попасть в центральные привилегированные учебные заведения был гарантией чиновничьей, научной и политической карьеры. Поэтому *манипулятивная роль столицы в России возросла непомерно*[24].

Развитие коммуникаций — еще одно следствие революций. Печать, радио, телевидение, компьютеры постоянно увеличивают число потенциальных сторонников воображаемого сообщества нации. Теперь к ним относятся не только неграмотные паломники, но и блестяще образованные люди. Тем самым описанные схемы национализма в XX в. приобрели характер образцов. Сегодня интеллигенция и политические деятели всех стран могут: создавать военные и образовательные системы по стандартам русского бюрократического национализма; внедрять избирательные и партийные системы и проводить культурную политику по образцам европейского национализма; применять в тех же целях республиканские идеи Америки; создавать бесконечное число идеологических гибридов для обоснования любых поворотов в политике. Но в любом случае политика современных правительств остается всеядной и эпигонской[25].

Показательными примерами политического эпигонства являются два процесса: 1. Политическая история СССР и других социалистических государств. 2. Национализмы, связанные с деколонизацией Азии, Африки и Латинской Америки после второй мировой войны.

Подражание образцу французской революции породило множество доктрин абстрактного и безличного государства, которое может наследоваться другими странами в ходе истории. Идея безличного государства переплелась с опытом Октябрьской революции в России и возникшего на ее основе национализма. Этот опыт осознавался в рамках теорий марксизма и капитализма. Данные теории всегда были предметом пиратских набегов со стороны марксистских интеллектуалов и политиков. В результате возникла *главная аномалия советского государства*: оно считалось «передовым» с теоретической и политической точек зрения; одновременно было «отсталым» с эмпирической точки зрения (из-за низкой производительности труда, нищенского уровня жизни населения, устарелой техники, неосвоенности громадного пространства государственной территории, элементарной антисанитарии и т.п.). Для устранения этой аномалии советские интеллектуалы и политические деятели использовали модель бюрократического национализма.

До революции он был защитной политикой, обусловленной воспроизводством имперско-династических интересов России в период бурного развития капитализма. После революции эта политика стала агрессивной и начала выполнять роль образца. Ее архетипом были военные реформы Пруссии, заимствованные Советской Россией. После второй мировой войны данный образец и архетип были навязаны странам Восточной Европы, находящимся под советской оккупацией. *Бюрократический характер — главная особенность национализма, сложившегося в СССР.* Он был продуктом деятельности советского партийно-государственного аппарата и служил его интересам.

---

[24]Все люди с амбициями стремились попасть в столицу. Столичная администрация либо не вынуждала лиц, получивших образование, вернуться в родные места, либо бесконечно регламентировала правила проживания в столице, либо заставляла приспосабливаться провинциалов к паутинной сети столичных интриг в целях карьеры. Это создало еще одно направление бюрократической деятельности и способствовало выработке типично имперского стереотипа: столица — это общая социальная и политическая сцена, на которой интеллигент и чиновник могут и должны сыграть свою роль. Этот стереотип еще более усилил связь русской интеллигенции с русской бюрократией.

[25]«Сама идея «нации» прочно угнездилась ныне практически во всех печатных языках; а *национальность* (курсив Б.Андерсона, — В.Макаренко) стала практически неотделимой от политического сознания. В мире, где всепреобладающей нормой стало национальное государство, все это означает, что теперь нации могут представляться в воображенгии и при отсутствии языковой общности…, а на основе общего сознания того, возможность чего доказала современная история». Там же. — С. 153—154.

Бюрократический национализм стал значимым с того момента, когда русские революционеры взяли власть в свои руки и использовали силу государства для реализации собственных социальных проектов. Значение бюрократического национализма тем больше, чем более радикальные революционеры наследуют государство от рухнувшего режима. А русские большевики как раз отличались радикальностью. И хотя часть наследства имела символический характер, отсюда не вытекает его незначительность.

Так, столица РСФСР была перенесена из Петербурга в Москву — старую царскую столицу, хотя существовали и другие возможности. Руководители СССР и сегодняшней России заседают в Кремле — старой царской крепости. Еще не было ни одного правительства социалистических стран, которое после революции не взгромоздилось бы за нагретые столы своих предшественников. Победившие революционеры наследуют также весь хлам старого государства: чиновников, доносителей, архивы, досье, законы, финансовые документы, переписи населения, карты, трактаты, дипломатическую и внутриполитическую переписку и т.д. В результате советское государство приобрело все характеристики империи.

Существует два способа воплощения в жизнь бюрократического национализма после революции:

1. Новые лидеры отождествляют себя с прежними «строителями-реформаторами государства» (Ленин ссылался на опыт Петра I, Сталин — на Ивана Грозного, Мао Цзэдун — на Цинь Шихуана, Тито реанимировал церемониал сербских королей и т.д.).

2. Новые лидеры приспосабливают мнимую национальность прежней династии к интересам правительства и государственного аппарата.

Оба способа ведут к тому, что отличительной чертой всех политических режимов, установившихся после революций XX в., стал государственный макиавеллизм. Чем более древнее государство подвергается натурализации, тем охотнее революционеры переодеваются в его одежду. Но она становится уже признаком власти, а не почестей (как было при феодализме). В результате консерватизм становится органической частью деятельности и мышления революционеров. Бюрократизация государства выступает в единстве с терроризацией населения и персонификацией власти. Все тенденции могут выступать в единстве или чередоваться в зависимости от политической конъюнктуры.

Опыт распада СССР и социалистического лагеря в целом показывает, что государственный макиавеллизм наследуется новыми лидерами России и других государств СНГ. В результате войны между бывшими социалистическими странами и республиками стали кабинетными. Народный национализм используется для защиты всего комплекса ранее описанных представлений и стереотипов деятельности и мышления. Но теперь они выступают в институционализованной форме. Свидетельство тому — организация структур по делам национальностей и национальной политики в институтах исполнительной и законодательной власти.

Опыт стран Азии, Африки и Латинской Америки был иным по сравнению с политической историей СССР. После деколонизации эти страны накрыла волна национализма. Она была реакцией на модификации глобального империализма и успехи капиталистической промышленности. По мере распространения печати капитализм способствовал развитию народного национализма в Европе и в других странах. Она была связана с языками, распространенными на определенных территориях. Языковой национализм подрывал династический принцип легитимизации власти. Правящие группы были вынуждены искать другие принципы. Для этого использовались концепции патриотизма и расизма. Они были выработаны в конце XIX п. как идеологические следствия бытия мнимой общности нации.

Патриотизм и национальные интересы

Патриотизм — это разновидность политической любви, природа которой определяется способом описания ее предмета. Для этого обычно используются термины «родина», «отчизна», «отечество» и т.д. Они означают отношения родства и места жительства. Речь идет о естественных связях человека, в отношении которых его выбор никогда не может быть свободен: «Тем самым *национальность* (курсив Б. Андерсона, — примеч. В. Макаренко) уподобляется цвету кожи, полу, родословной или эпохе, в которую довелось родиться, т.е. всему тому, что не дано изменить… Иначе говоря, именно потому, что эти узы не выбирают, они и окружены ореолом бескорыстной преданности»[26].

Феномен незаинтересованного восприятия родины переплетен с аналогичным восприятием семьи. На протяжении XX в. семья как социальный институт была предметом психоаналитических (З. Фрейд), этологических (К. Лоренц), социокультурных (В. Райх, М. Фуко) и антропологических (К. Леви-Стросс) исследований. В результате сформулирован однозначный вывод: семья — это структура господства, которое может принимать *форму самой худшей тирании,* выступая одновременно носителем асоциальных и антиобщественных тенденций. Однако этот вывод пока остается чуждым большинству людей, хотя он подтверждается также феминистскими исследованиями. Семья по-прежнему рассматривается большинством людей как пространство незаинтересованной любви и солидарности, как ячейка общества и государства. В этом и состоит один из парадоксов современного общества.

Второй связан с понятием национальных интересов. Политики, дипломаты, историки, социологи, журналисты уже давно используют это понятие как *норму* отношений между государствами и внутри государств. Ее основанием является понятие «государственный разум», включающее своекорыстие, властолюбие и стремление к духовному господству. Однако для большинства людей национальная принадлежность воплощает незаинтересованность. Именно по этой причине «нация» может требовать жертв. А идея жертвенности всегда была связана с идеей чистоты. Мировые религии связали и транслируют эти идеи. И даже официальный атеизм государства не в состоянии разорвать эту связь. Наоборот, он их усиленно эксплуатирует.

Об этом свидетельствует опыт войн XX в. В них было убито и искалечено (телесно и духовно) наибольшее число людей по сравнению со всей предшествующей историей. Была достигнута также беспрецедентная готовность индивидов и целых популяций отдавать жизнь «за Родину». Одновременно после первой мировой войны в европейских странах получил распространение феномен литературы «потерянного поколения». После второй мировой войны он проник и в СССР. Его суть в том, что война осознается как критерий чистоты человеческих отношений и чувств. А на самом деле национальные интересы скрывают горы трупов, принесенных на алтарь государства. Таков результат отождествления нации с интересами государственного аппарата.

Патриотизм не в состоянии понять эти парадоксы. Само его распространение на протяжении XX в. свидетельствует о небывалом расширении феномена *непроницаемого сознания.* Оно остается глухим к последовательно рациональным формам рефлексии. Социальные институты от семьи и гражданского общества до государства лишь закрепляют эту непроницаемость. Поэтому представление о нации транслирует религиозные стереотипы мышления и воплощает их в действительность посредством многообразной институционализации.

[26] Там же. — С.161.

Трансляция осуществляется с помощью языка. Дату рождения любого языка установить невозможно. Она скрыта в неизвестном прошлом. Язык эмоционально связывает каждого индивида с мертвыми поколениями. Он становится духовно-эмоциональным свидетельством одновременного присутствия всех поколений в однородном пустом времени. Эмоциональные аспекты языка связаны с тем, что процедура чтения поэтических текстов, пения песен, исполнения национальных танцев и гимнов есть воплощение мнимой общности в настоящем. Об этом свидетельствует только язык. Народные песни и государственные гимны банальны по содержанию и пусты по мелодии. Их исполнение есть опыт одновременного пребывания группы людей (певцов, музыкантов, слушателей) в однородном пустом времени. При этом людей ничто не связывает, кроме воображаемых звуков и связанных с ними эмоций. Вся эта бестелесная материальность моментально пропадает после завершения духовных и светских песнопений, используемых в любых коллективных церемониях.

Парадокс патриотизма состоит в том, что объект привязанности приобретает качества анонимного вымышленного предка (родственника). С этой точки зрения «любовь к родине» не отличается от всех прочих аффектов, в которых всегда в какой-то мере участвует воображение.

И все же патриотизм благороднее расизма. Патриоты мыслят в категориях национального предназначения. Усваивают и пропагандируют телеологические (религиозные и светские) концепции, хотя их обосновать невозможно. А практический опыт воплощения небесного и земного рая закончился крахом. Тогда как для расизма характерен дискурс в категориях вечного позора. Он связан с существованием определенных социальных групп и передается через бесконечную цепь копуляций, которая находится вне истории. Начиная с XIX в. расизм был связан с доминированием Европы в мире и стал элементом европоцентризма. Поэтому патриотизму трудно освободиться от расизма.

Трудности усилились на протяжении XX в. из-за действия двух факторов:

1. Выработка и культивирование в России бюрократического национализма. Само бытие империй в XX в. поддерживало аристократию метрополий. Тем самым феодальная концепция власти и привилегий была перенесена на международный уровень. Феномен русификации стал универсальным.

2. Разрастание бюрократического аппарата для осуществления универсальной русификации. Эта тенденция продлила существование империй (прежде всего Российской) до настоящего времени. Она же позволила автохтонной буржуазии и интеллигенции играть роль аристократии у себя дома.

Оба фактора были усилены на всем протяжении существования СССР. Сегодня они образуют непосредственное политическое *наследство* России, стран СНГ и (с некоторой коррекцией) Восточной Европы. Тем самым различие между российским бюрократическим национализмом и другими моделями (американским и европейским) сводится к явной лжи и мифу. Однако установить это различие в каждом конкретном случае крайне сложно. Прежде всего потому, что комплекс социальных наук используется для обоснования всех моделей национализма в процессах политической манипуляции.

Перепись имущества

При анализе современных политических процессов надо исходить из господства русского бюрократического национализма над европейской и американской моделью. Все они переплетены с социальными и познавательными процессами. «В политике «строительства наций», проводимой новыми государствами, очень часто можно увидеть как подлинный,

массовый националистический энтузиазм, так и систематичное, даже по-маккиавелиански циничное впрыскивание националистической идеологии через средства массовой информации, систему образования, административные предписания и т.д.»[27]. В них скрывается специфическая «логика», которая воплощена в переписях населения, географических картах и музеях. Эти феномены социальной реальности претендуют на познавательное значение и связаны с существованием статистики, политической и экономической географии и истории. Данные науки считаются важными разделами социального знания. На самом деле они являются институтами власти и обслуживают ее интересы.

С конца XIX в. вплоть до настоящего времени в официальных переписях населения разных государств обнаруживается постоянный произвол. Он выражается в бесконечном изменении, разделении, перестановке и новом упорядочивании категории этноса. По мере секуляризации критерий религиозной принадлежности исчезает. Его место занимает критерий этноса (этнической принадлежности). Этот факт свидетельствует о том, что классификационные категории становятся все более расовыми. После Октябрьской революции в России и обретения независимости странами Азии, Африки и Латинской Америки (после второй мировой войны) прежняя категория расы получила новую дефиницию этноса. А в России после 1991 г. происходит ее подлинный ренессанс.

Однако ни старая дефиниция расы, ни новая дефиниция этноса не соответствуют самоопределению групп населения. Эти дефиниции выдуманы и воплощены в жизнь государственным аппаратом и наукой, обслуживающей его интересы. Авторы переписей обычно отличаются страстью к исчерпывающим классификациям. Не терпят неясных и политически двусмысленных определений. Население страны воспринимается и регистрируется статистикой как целое, но каждая группа занимает в нем строго определенное место. Если те или иные группы не подпадают под существующую классификацию, они зачисляются в категорию «…и другие». В этом и состоит фиктивность переписи и государственной статистики в целом. В основании социального и политического воображения империй лежит фикция.

Первыми колонизаторами были клирики, конкистадоры, путешественники. Они навязывали местному населению собственные классификации. В них туземная социальная структура воспринималась как отражение социальной структуры страны-завоевателя. Например, испанцы всегда квалифицировали местное население завоеванных стран как князей, дворян, плебс и рабов. Перепись — продукт воображения феодального периода. В конце XIX в. она была модернизирована за счет добавления расовой или этнической принадлежности.

По мере расширения компетенции и умножения функций госаппараты империй создали искусственную демографическую топографию. Она пустила глубокие социальные, институциональные и познавательные корни. И была просто следствием создания новых отрядов бюрократии — военной, образовательной, судебной, медицинской, полицейской, таможенной, иммиграционной, пограничной и т.п. Вся структура главных государственных ведомств (обороны, внутренних и иностранных дел, безопасности, информации) возникла на основе принципа расовых и этнических иерархий. Для его обоснования использовалась наука. Тем самым факт существования разных отрядов госаппарата и критерии расы-этноса *отождествлялись,* квалифицировались как параллельные множества.

Через сеть бюрократических учреждений (школ, больниц, полицейских участков, иммиграционных бюро, таможенных и пограничных служб, отделов записи актов гражданского состояния, нотариальных контор и т.п.) проходит масса населения. Предполагается, что сам факт такой циркуляции соответствует нормам социальной динамики. На самом деле происходит отождествление социальных процессов, государственных учреждений и познаватель-

[27]Там же. — С.180.

ных схем. В результате государственные выдумки и фантазии приобретают статус действительности. Современная социальная статистика и демография — продукты такого отождествления.

Оно ведет к неожиданным следствиям. Например, религиозные общины были основанием древних и стабильных вымышленных общностей. Они совершенно не соответствовали классификационной сетке государства. Поэтому госаппарат империй насильственно присоединял другие религиозные общины к официальной государственной религии или вводил в классификации множество бессмысленных поправок. В результате госаппарат сам повинен в росте числа и значения религиозных святынь, школ и судов.

С одной стороны, он пытался регулировать и подчинять государству религиозные общины путем выработки вероисповедных категорий переписи населения. Эти попытки были направлены на приписывание религиозным общинам этнического характера с точки зрения политики и права. Наиболее ярким примером здесь является категория «православных» в статистике Российской империи. С другой стороны, религиозные общины (особенно те, что находились в конфликте с официальной религией) рассматривались населением как пространство и крепость свободы. В них воспитывались и выходили на борьбу с имперским колониализмом его религиозные и националистические враги

Таким образом, становление современных этносов неотделимо от имперского прошлого. Приписывание этносам политического значения есть результат бюрократизации управления, социальной статистики, демографии в этнографии. Все эти науки (т.е. научное сообщество) по-прежнему заинтересованы в существовании государства и сами являются звеньями его бюрократической машины.

То же самое можно сказать об экономической и политической географии. Они базируются на таких концептуализациях, действительности, которые свидетельствуют о том, что современное государственное мышление возникало в рамках традиционной структуры политический власти. Речь идет о картах, которыми оперирует экономическая и политическая география.

Из истории известно два типа карт:

1. Космографические, формальные и символические карты трех миров (небесного, земного и подземного) религиозной космологии. Они не предназначались для путешествий, а были ориентированы на постоянное напоминание о совершенных грехах и спасении души.

2. Первые светские карты были указателями для проведения военных операций и каботажного плавания. В них содержалась информация о времени, необходимом для покрытия определенных расстояний. Эти карты были локальными и не располагали объекты изображения в стабильном географическом контексте.

Первый тип карт чертился в вертикальной, а второй — в диагональной плоскости. В них еще не было конвенции восприятия действительности с птичьего полета и не обозначались границы — исходные критерии бытия современных государств и политической географии. Сама идея государственной границы насчитывает менее 150 лет. Только с 1870-х гг. границы начали рассматриваться как непрерывные линии на карте, которые ничему конкретному на земле не соответствовали[28]. Они просто отделяли один государственный суверенитет от другого.

[28]«Находясь на стыках смежных государственных территорий, межнациональные границы имеют особу значимость в определении пределов правомочности суверенной власти, а также пространственной формы заключенных в эти пределы политических регионов… Границы … появляются там, где вертикальные соприкосновения разных государственных суверенитетов рассекают на части земную поверхность… Являясь размежеваниями вертикальный, границы не имеют горизонтальной ширины». Там же. — С. 190. В данном случае Б. Андерсон цитирует формулировку Ричарда Мейра. — В.М.

Вплоть до конца XIX в. пространство описывалось в категориях священных столиц и мест поселения людей. Такие топосы могут восприниматься эмпирически без особого труда. Тогда как территория государства была и остается абстракцией. Эта абстракция связана с понятиями «государственного суверенитета» и «государственной границы». Данные термины фиксируют часть абстрактной территории, которую занимает государство как невидимое ограниченное пространство. Однако указанная система абстракций — государственная территория, государственный суверенитет, государственная граница — обосновывали необходимость появления целых отрядов паразитического государственного аппарата — пограничной и таможенной службы. Данные абстракции вошли также в определение государства и нации и пока еще не ставятся под сомнение ни представителями политического, ни сторонниками этнического понимания нации.

В конструктивистской концепции нации показано, что воплощение абстракций в действительность связано с ростом госаппарата. Этим объясняется сходство переписи и карты. Обе функционируют на основании принципа *тотальной классификации.* Уже сам этот принцип склоняет его изобретателей и потребителей к действиям с революционными последствиями. Однако в основе таких действий лежит идея государственного (полицейского и научного) надзора над действительностью.

Хронометр был изобретен в 1761 г. Вслед за тем вся земля была разделена параллелями и меридианами. После этого геометрическая сеть стала накладываться на неизвестные морские и сухопутные территории. Возникла задача заполнения и описания каждой клетки на карте. Раньше путешествия осуществлялись с целью познания, грабежа и религиозного миссионерства. Теперь они начали возлагаться на армию. Первые географические ведомства возникли в составе флотских и армейских министерств. Так появились профессии топографов и землемеров. А эти профессионалы подвергли пространство тому же надзору, который издавна навязывался населению государственной статистикой. Возникла необходимость взаимного приспособления карты и власти.

Оно шло от триангуляции к триангуляции, от войны к войне и от одного мирного трактата к другому. Вопросы войны и мира всегда были воплощением государственного произвола. На его основе возникало нынешнее международное право. В настоящее время в мире существует множество государственных границ и связанных с ними служб (отделы виз и регистраций, таможня, пограничная служба и т.д.). Все они есть институционализованный синтез политического произвола и мифологических представлений. Политическая география воплощает идею тотального надзора над пространством. В этом контексте функционируют многочисленные внешнеполитические ведомства и международные организации.

В результате практического воплощения принципа тотальной классификации карта стала господствовать над действительностью, а не наоборот. В этом качестве она обосновывала увеличение госаппарата: «Дискурс картографирования был той парадигмой, в рамках которой осуществлялись административные и военные действия и которую эти действия фактически обслуживали»[29]. Лишь в конце XIX в. управление государством начало базироваться на территориально-картографических основаниях, а связь между переписью населения и картой стала нормой. С одной стороны, нынешние политические карты разрывают бесконечные цепи классификационных категорий населения, выдуманных госаппаратами. С другой стороны, демография становится политическим содержанием формальной топографии карты. В обоих случаях политические цели государства определяют познавательные цели статистики и демографии. Принцип тотальной классификации воплотился в новом типе карты. *Исторические карты* были введены госаппаратами империй и непосредственно подготовили

[29]Там же. — С.192.

русско-советский бюрократический национализм XX в[30]. Они появились лишь в конце XIX в. и были подчинены новому картографическому дискурсу. Эти карты «доказывали» давность принадлежности единиц территории конкретным империям: «Через хронологически упорядоченные последовательности таких карт выстраивался своего рода политико-биографический нарратив династического государства, иногда обладающий бездонной исторической глубиной. В свою очередь, этот нарратив заимствовали … национальные государства, ставшие в XX в. правопреемниками колониальных государств»[31]. В основании этого дискурса лежит явная ложь: актуальный политико-биографический уклад опрокидывается на тысячу и более лет назад; при этом не учитывается, что сам дискурс является изобретением нового времени. Тем самым история — вкупе со статистикой, географией, этнографией и демографией — приобретает ранг «научного доказательства» того, что нации возникли значительно раньше нового времени.

В начале XX в. появились также карты-логосы. Они транслируют обычай империй обозначать на карте одним цветом метрополии и колонии. Выкрашенная в определенный цвет колония становилась фрагментом мозаики. По мере закрепления в памяти поколений формы фрагмента он становился «нормой» и мог быть вынут из географического и исторического контекста. Тем самым отпадала необходимость любых объяснений (географической широты и долготы, названий городов, обозначения рек, морей, соседних стран и т.д.). Оставался чистый знак, не имеющий уже никакого отношения к ориентации в пространстве.

В таком виде этот знак переносился на государственные флаги, канцелярские документы и печати, плакаты, конверты, обложки журналов, книг и учебников, проспекты отелей и вообще на любые рекламные издания. Так реклама переплеталась с вымышленной историей. Карта-логос проникала в сознание масс населения и становилась эмблемой возникающего национализма. Места рождения, пребывания и заключения революционных деятелей становились центральным мотивом в легенде революционно-освободительной борьбы с колониализмом. Эти места приобретали сакральное значение. А по сути дела становились кормушкой, из которой хлебали официальные «деятели искусства».

Музейное дело — следующий элемент национализма. Сам музей и связанное с ним воображение имеют политический характер. На протяжении XX в. в разных странах росло число музеев и аналогичных учреждений. Это свидетельствует о политизации представлений об историческом процессе.

До XIX в. имперские властители не проявляли никакого интереса к памятникам завоеванных цивилизаций. Инициатива обычно исходила от наместников и имперских чиновников. Они первыми начали собирать коллекции местных древностей, проявлять интерес к изучению их истории. Все это делалось для того, чтобы еще сильнее связать колонии с метрополией. В этом процессе ни одно государство никогда не руководствовалось познавательными интересами науки[32]. Оно осуществляло эти действия на основе материального своекорыстия и политического расчета госаппарата. Важнейшую роль при этом сыграл ряд факторов, которые наиболее ярко проявились в истории Российской империи XIX в.

---

[30]В Европе давно существовало право законного наследования и передачи территорий. Оно начало применяться и в отношении колоний. По мере их оккупации захватчики обосновывали свое право на данные территории с помощью квазиправового метода наследования. Местным властителям приписывался суверенитет в феодальном смысле слова. Поэтому они либо устранялись, либо вынуждены были подчиниться захватчикам. Оккупанты начали широко пользоваться помощью ученых — географов и историков. Последние начали заниматься реконструкцией вымышленной истории обладания захваченными территориями.

[31]Там же. — С.193.

[32]Наместники и чиновники начали уделять внимание раскопкам, измерениям, фотографированию, реконструкции, сохранению, выставкам и изучению древностей Археологические и археографические комиссии возникали в рамках имперских ведомств и тем самым становились важным политическим институтом.

Время интереса к археологии и археографии совпало со временем первых столкновений «прогрессистов» и «консерваторов» в образовательной политике (первая треть XIX в.). Первые требовали от правительства увеличить ассигнования на образование. Вторые опасались крамолы (влияния революционной Франции) и последствий образованности. В контексте этого спора археологические и археографические мероприятия стали важным звеном консервативной политики в области образования, их финансирование осуществлялось как элемент политики издания религиозных текстов (Библии, святоотеческих сочинений, житий святых и т. п.). В Европе археология и археография длительное время находились в тесном контакте с миссионерскими службами. В России генезис этих наук был переплетен с деятельностью Синода как главной церковно-бюрократической структуры.

Так начали фабриковаться программы строительства памятников и музеев. Эти программы всегда были связаны с актуальной политикой правительств. Например, строительство памятников великим людям древности призвано было подчеркнуть: их потомки не способны на великие деяния и самостоятельное политическое бытие и потому нуждаются в имперских наместниках-колонизаторах. Только последние могут обеспечить мир и надлежащее управление на данной территории.

Вначале империи придавали одинаковое значение исследованию древностей и истории покорения данной территории. Со временем второе направление деятельности свертывалось. Древности все более связывались с туризмом, который постепенно становился частью политики в области культуры. Госаппарат интересовался туризмом прежде всего как источником доходов. Удовлетворяя собственное своекорыстие, он одновременно выступал в роли «патрона и хранителя» местных традиций. Так шел процесс создания музеев и других краеведческих учреждений. Уважением к прошлому в нем и не пахло. Оно выполняла роль регалий, которыми сами себя награждали имперские чиновники.

Перечисленные факторы лежат в основании отношения госаппарата к прошлому. Для него характерно неверие в «святость» или особое значение памятных мест. Влияние прогресса выразилось в том, что археологические описания стали дополняться фотографиями, фильмами, диапозитивами, компьютерными изображениями и т. п. Так возникла еще одна отрасль издательского дела — почтовые марки и открытки, названия отелей, марки пива и сигарет, школьные учебники и «заказные» научные книги. Сам факт издания всей этой макулатуры свидетельствует о том, что возникла иллюстрированная *перепись государственного имущества.* Политический смысл археологии усиливался по мере развития технического производства и увеличения числа государств. А сторонники «чистой науки» способствовали распространению иллюзий о неком «культурном» значении всего этого старья, производство которого становилось повседневностью. Этот факт показывает действительную силу государства.

СССР (после Октябрьской революции) и бывшие колонии Азии, Африки, Латинской Америки (после установления независимости) унаследовали и укрепили форму ведения музейного дела, сложившуюся в Российский империи. Это значит, что все элементы археологического производства могут быть символом любых политических режимов — от монархических и военных до революционных и демократических. Во всех случаях мифологика власти определяет содержание и структуру всего круга социальных наук — статистики, демографии, этнографии, географии, истории и археологии. Она лежит в основании современного стиля политического мышления.

Современные чревовещатели

Этот стиль определяется переплетением переписи, карты и музея. Статистика, демография, география, история, археология базируются на принципе тотализирующей классификации. В XX в. к ним примкнули геополитика, либерально-позитивистская социология и политология. Данный принцип используется в отношении любых социальных объектов — людей, религий, регионов, территорий, языков, товаров, социальных групп, политических партий и т. д. Во всех случаях речь идет о феноменах, подлежащих реальному или желательному контролю госаппарата.

Указанные науки длительное время плели сеть для общества. Она позволяет дать «точные» пространственно-временные и количественные определения любому объекту. Тем самым язык данных наук стал разновидностью политического и бюрократического языка, скрывающего аномалии действительной жизни. Современный мир покрыт невидимой сетью. Она сплетена на станке консервативной концепции порядка: мир состоит из воспроизводящихся множеств (классов, групп, наций, населения), а не индивидов. Единичное и особенное в этом случае выступают как члены или представители множеств.

Этот стиль мышления связывает современную политику и науку. Его истоки действительно восходят к утилитарному либерализму Бентама, который создал паноптикум как образец тотального контроля. Благодаря универсальности такого стиля мышления госаппарат приобрел абсолютно прозрачный социальный пейзаж, в котором все имеют строго определенное место и номер. Все государственные структуры по регистрации индивидов — частные случаи стеклянного дома. Они выдают свидетельства о рождении и браке, служебные и профессиональные удостоверения, определяют место на кладбище, дают квитки о смерти. Практически все эти функции государство забрало у церкви. Провозгласив секуляризацию, оно не отказалось от доходов, связанных с совершением данных актов. За счет этого существуют многочисленные отряды чиновников в разных странах. И еще ни одно правительство мира не взялось за ликвидацию данной сети.

Наоборот, после революций в России и Китае она была заимствована и усовершенствована новыми независимыми государствами. Все они пользуются указанными моделями классификации действительности. Комплекс социальных наук поддерживается лишь в той степени, в какой он укрепляет данные модели. В школах, университетах, СМИ бесконечно воспроизводятся одни и те же местности, обсуждаются одни и те же события и лица национальной истории. Все это свидетельствует о том, что госаппарат рассматривает историю как свой семейный альбом. По крайней мере во всех случаях возникает специфическое отношение *памяти и забытья.* В его состав входят: сопоставление старого и нового времени; роль братоубийств в национальной истории; антропологическая биография наций.

В результате американских войн за независимость возникло убеждение: бывшим испанским, французским и английским колониям удалось вырваться из истории. Широко распространилось представление о «новом мире». На его основе возникла идея новой священной революции, которая содержит в себе мировую последовательность социальных событий, связанных причинно-следственными отношениями. Такое видение мира типично для европейского воображения. На самом же деле новый мир и священная революция стали истоком национализма, который вначале (в текстах Берка, Бональда и де Местра) понимался как восстановление преемственности. Затем (в романтизме) возник реакционный мотив возврата к истокам. Он базировался на опыте параллельного существования Нового и Старого мира и связал европейский национализм со множеством языков. Гении европейской историографии (Ранке, Мишле, Токвиль, Маркс, Буркхардт) родились в первые 25 лет после установления революционным Конвентом Франции нового исчисления времени. Они первыми начали пи-

сать от имени мертвых поколений, превращая их опыт в философско-исторические и историографические концепции. А смысл собственного научного труда понимали как способ осознания нации французской, немецкой, английской; русские историки XIX в. пошли вслед за европейскими гениями. Но начали писать не от имени нации, а от имени мертвых царей, строивших империю. С этого времени молчание мертвых уже не было преградой для воскрешения их наиболее сокровенных желаний.

В XIX в. сложилось несколько вариантов историографии — идеалистический, материалистический, культурно-исторический, цивилизационный. Все они были чревовещанием от имени мертвых, множеством мифов, претендующих на научность. На этих мифах воспитывались европейские и русские революционеры. Они пытались воплотить в жизнь историческую некрофилию путем создания новых государств, политических партий, систем экономики, образования, культуры и т.п. Во всех случаях историография использовалась для «научного обоснования» ранее описанных моделей национализма. Объясняющая и понимающая интерпретации истории, сложившиеся на рубеже XIX-XX вв., тоже вполне вписывались в эти модели. В результате ни одна из классических политических идеологий не смогла освободиться от национализма.

Братоубийства — не менее важный мотив превращения истории в миф. Начиная с Варфоломеевской ночи обязанность забыть трагедии политической истории квалифицировалась как гражданский долг. В этом состоит следующий парадокс: «Принуждение «уже забыть» те трагедии, в непрестанном «напоминании» о которых человек нуждается, оказывается типичным механизмом позднейшего конструирования национальных идеологий»[33]. Государства стремятся устранить этот парадокс путем постоянного переписывания учебников по национальной истории. Однако эта процедура только бесконечно воспроизводит исторические мифы.

Дело в том, что в истории каждой страны были религиозные и гражданские войны, революции и все остальные формы классовой борьбы. По сути дела, речь идет о *войнах между различными нациями-государствами в рамках одной и той же территории* — географической, социальной и исторической. Но в результате культивирования указанной обязанности они рассматриваются как войны между братьями. Тем самым в изложение истории привносится мотив библейского братоубийства.

Во всех случаях госаппарат и обслуживающие его интересы ученые и педагоги руководствуются холодным расчетом. Они ссылаются на первичное братство нации, которого на деле никогда не было. Если нация есть предмет вымысла в новое время, то братство продукт еще большей фантазии, восходящей к началу человеческого рода. Стереотип братства отражает такое преобразование воображения, в котором ни политики, ни чиновники, ни ученые, ни педагоги не отдают себе отчета и которое не в состоянии контролировать. Тем самым стереотипы религиозного сознания опять-таки используются в политических целях. Братоубийственная война не может состояться без представления о братстве. Однако это представление появилось задолго до образования наций. Затем оно было использовано в историографии как форма консервативной реакции на революцию. Ведь после превращения революции в элемент прошлого нацию уже невозможно воспринимать как нечто принципиально новое.

То же самое можно сказать об антропологической биографии наций. Она включает использование всех документов, которые не были источниками официальной историографии. Речь идет о метриках, дневниках, письмах, рецептах, историях болезни, фотографиях и т.п. Все это — разновидности отчужденной памяти человека. Она одновременно напоминает о

[33]Там же. — С. 217.

мнимой преемственности и подчеркивает факт ее постоянного забывания. Из отчужденной памяти вытекает определенная концепция личностной идентичности.

Индивид не может помнить собственную биографию во всех деталях. Она всегда восстанавливается в более или менее вымышленных нарративах. Эта литература заливает современный книжный рынок. Мемуары политиков, дипломатов, писателей, ученых, кинозвезд, спортсменов и т.д. все еще пользуются повышенным спросом. Однако вся эта «глубоко личная» продукция аналогична газете. Она располагается в однородном пустом времени, не обладает ни историческим, ни социологическим контекстом.

Мемуары обычно начинаются с рассказов о дедах-прадедах и бабках-прабабках, о которых автор имеет крайне смутные сведения. Тем более он не может ни точно помнить момент собственного рождения, ни знать точную дату своей смерти. Такой нарратив соответствует началу Евангелия от Матфея, в котором упоминаются четырнадцать родов от Авраама до Давида, от Давида до переселения в Вавилон, от переселения в Вавилон до рождения Христа. Но не указаны ни точные даты жизни, ни физиологические, социальные, политические и культурные сведения о предках Христа. Такой стиль нарратива характерен для священных генеалогий, в которых Христос рассматривается как действительный Сын Божий, а не как историческая личность. Создатели мемуаров могут быть абсолютными атеистами, но не в состоянии освободиться от этого шаблона.

В то же время вымышленные нарративы используются не только при создании индивидуальных мемуаров. В XX в. возникло целое направление исторической антропологии, которое использует те же источники при описании истории наций. В последнее десятилетие эта интеллектуальная мода захватила и Россию. Поэтому следует подчеркнуть различия между индивидуальными и национальными фантазиями.

Индивидуальные нарративы имеют начало и конец. Они более или менее связаны с генами родителей и социальными обстоятельствами. Герои мемуаров исполняют свою роль на социальной и исторической сцене для того, чтобы оставить после себя следы славы, влияния и власти. Тогда как нации точной даты рождения не имеют. А попытки их умерщвления пока еще не рассматриваются как естественный факт. Обычно такие попытки квалифицируются как разновидность Апокалипсиса. Книжный рынок заливает литература о красном терроре против русского народа, еврейском холокосте, украинском голодоморе, африканском геноциде или просто о вырождении малых народностей.

У авторов мемуаров всегда есть предки более или менее отдаленные. Во многих случаях генеалогия служит предметом гордости и самолюбования. Тогда как ни одна из ныне существующих наций не выводит собственного первопредка от Адама и Евы или Иисуса Христа. Значит, его и не было. И потому биография наций не может быть написана «от самых истоков», т.е. с самого начала, евангелически, через длинную цепь порождений. Единственная альтернатива — писать историю наций с конца. Но и конец есть пункт, который не может быть точно установлен. Неопределенность начала и конца дает источник для бесконечных спекуляций. Они могут быть обнаружены в историографии любых наций при обсуждении вопроса о первопредках и образуют бродячий сюжет всех моделей национализма[34].

Сама распространенность подобных процедур свидетельствует о том, что началом любой нации является *смерть*. Она началась в новое время. Именно тогда началось преобразование шаблонов индивидуальной генеалогии в генеалогию групповую. Абсолютное большинство индивидов до сих пор умирали, не оставив в истории никакого следа. Множество индивидуальных смертей структурируют анонимную историю нации.

[34]Если речь идет о русской нации, то свежими примерами таких упражнений являются «Велесова книга», хронологические исчисления академика Н. Фоменко и тому подобная макулатура, находящая читателей и почитателей. Аналоги могут быть обнаружены во всех государствах СНГ…

В трудах Ф. Броделя подчеркивается значение множества анонимных смертей, которые суммируются и усредняются в таблицах смертности. Это позволяет прослеживать медленные и незаметные изменения условий жизни миллионов безымянных индивидов. Вопрос об их национальности практически не имеет смысла, поскольку такие сведения почти невозможно обнаружить. Зато история длительных временных протяженностей связала воедино биологию, географию и демографию. В результате было накоплено множество безжалостных данных о кладбищах, показателе смертности в разные эпохи, самоубийствах и убийствах, пытках и экзекуциях, войнах и геноциде. Эти данные являются эмпирическим материалом для написания истории европейских наций. Что касается наций Российской империи и СССР, то мне неизвестно, ведутся ли аналогичные исследования отечественными историками. Хотя анализ захоронений «новых русских» уже появился[35].

Образование многонациональных империй, а в результате их распада национальных государств — поворотный пункт на пути к групповой смерти. Прежде всего потому, что существуют универсальные характеристики многонациональных империй и национальных государств: государства, возникшие на развалинах империй, стремятся к самосохранению даже в крайне неблагоприятных обстоятельствах; распад империй доказывает устойчивость государства как политического фактора; это объясняется тем, что на имперской фазе существования государств они становятся «змеиным клубком интересов», зависимостей и карьер; лозунги нации и национализма, а также этничности используются для воспроизводства данного клубка.

В результате государство продолжает существование независимо от выполнения своей социальной роли. Государственные аппараты оперируют комплексом безличных показателей при управлении обществом. Ученые (географы, статистики, историки, археологи, социологи, политологи) заняты выработкой таких показателей. Поэтому государственные аппараты и интеллигенция выполняют роль предводителя группового самоубийства. А действительная история нации становится миллионами анонимных смертей, принесенных на алтарь исполнения социальных проектов, вырабатываемых государственными аппаратами и интеллигенцией.

Структуралистский подход к проблеме наций и национализма может быть применен по отношению к любой группе людей, называющих себя нацией или этносом. При этом нет смысла полагать, что данная группа существует. Смерть — естественная характеристика индивидов и наций. И хотя каждый человек приговорен к смерти уже самим фактом своего рождения, он обычно не желает постоянно помнить этот факт и думать о нем. Отсюда следует, что диалектика *памяти и забытья* — ключевая манипулятивная процедура, которую используют госаппараты и интеллигенция при рефлексии о нации. В любом случае политическое бытие наций и этносов — лишь тончайший слой на поверхности универсальной анонимности и смерти.

Расчистка почвы для дискуссии

Подход Андерсона к проблеме нации позволяет дистанцироваться от любого отождествления наций с государствами, а национальных интересов с интересами госаппаратов и интеллигенции. То же самое можно сказать об этносах, если данная категория используется для обоснования такого тождества. Проведенная систематизация позволяет расчистить почву для дискуссии по проблеме наций и национальных интересов России. Я имею в виду темы, кото-

[35]Матич О. Успешный мафиозо — мертвый мафиозо: культура погребального обряда // Новое литературное обозрение. — 1998. — № 5/33.

рые обходят молчанием как современные российские национал-либералы, так и национал-консерваторы[36].

Прежде всего речь идет о категории официального бюрократического национализма. Я думаю, она представляет наиболее значимый результат исследований Б. Андерсона. Эта категория позволяет отвергнуть культуроцентристский, прагматический, идеологический подходы к пониманию природы наций и НИ, а также традиционное для русской общественно-политической мысли противопоставление России и Европы. Как было показано, русский бюрократический национализм впитал в себя все характеристики американского и европейского национализма. И в этом смысле служит до сих пор «недосягаемым образцом».

В то же время и структуралистская концепция нации несвободна от трактовки бюрократии как разновидности «инструментальной рациональности». Такая трактовка опирается на веберовское понимание бюрократии как «рационального управления». Оно длительное время было распространено в Европе и в США, а теперь стало популярным и в России. Между тем веберовская концепция рациональности является наиболее слабым звеном социологической теории этого крупного мыслителя. Мне уже приходилось писать о том, что официальное обществоведение СССР выполняло апологетическую роль в отношении советского властно-управленческого аппарата. Сегодня ту же самую роль выполняет веберианство и веберовская концепция рациональной бюрократии.

С этим уточнением другие выводы структуралистской концепции нации могут использоваться для дистанцирования от многовековой традиции отождествления национальных интересов России с интересами ее государственного аппарата и интеллигенции. Эти выводы относятся также к другим государствам СНГ, если их государственные аппараты используют модель бюрократического национализма (с дополнениями, взятыми из американской и европейской модели) для собственной легитимизации.

Можно исходить из того, что русская нация (как и все остальные) есть воображаемое сообщество — вымышленная мнимая общность. Она выдумана русской бюрократией и интеллигенцией и существует в однородном пустом времени. Бытие этой мнимой общности связано с комплексом политико-идеологических ритуалов. Они до сих пор легитимизировали деятельность политиков, госаппарата и интеллигенции России. Мера согласия населения страны с данными ритуалами пока еще обусловлена пассивным потреблением продуктов властно-интеллигентского творчества. Сколько времени продлится такое потребление, пока неизвестно.

Зато определенно можно сказать, что внутри населения России никогда не существовало братства. Поэтому как онтологическая реальность русская нация не существует. Всегда было и есть несколько русских наций. Из них политического воплощения добились только те, которые были согласны с господством госаппарата над населением территории, обозначаемой на политических картах как Российская империя, СССР или Российская Федерация. Несогласные с монархическим, советским и современным господством госаппарата пока еще не имели возможности интегрироваться и проявить свою политическую волю. Прежде всего потому, что в российском обществе пока не сложилось большинства, свободного от потребительского, терапевтического и менеджерского отношения к действительности. Значит, и демократия остается делом будущего. Сколько времени потребуется для реализации этой возможности? На этот вопрос не возьмется ответить ни один теоретик в мире. Хорошо уже то, что структуралистская концепция нации позволяет его поставить. И получить промежуточный ответ: без стремления реализовать данную возможность любой дискурс на тему наций,

[36]Детальный анализ данных направлений политической мысли современной России см.: Межуев Б.В. Понятие «национальный интерес» в российской общественно-политической жизни // Полис. — 1997. — № 1.

этносов и национальных интересов будет скрывать текущие или перспективные интересы госаппарата. К каким непредвиденным последствиям они приведут — тоже ответить трудно.

Русский язык, официальное православие и ленинско-сталинская версия марксизма, а также их лингвистические и идеологические гибриды до сих пор выполняют роль генераторов мнимой общности русской нации. У нее нет ни точной даты рождения, ни общего предка. Зато есть начало анонимной смерти. Оно связано с образованием Московского государства и Российской империи. Поворотным пунктом на пути к групповой смерти стало образование СССР. На протяжении своего существования аппарат этого государства уничтожил большее число жителей страны и окрестных территорий, чем во всей предшествующей истории России. Если отождествлять жизнь населения географической ойкумены России с данным государством, то его главный интерес состоял в физическом, нравственном и политическом умерщвлении народов. А госаппарат и интеллигенция России всегда руководствовались своекорыстием, властолюбием и стремлением к духовному господству. Следовательно, даже малейшее отождествление интересов конкретных людей с национальными интересами скрывает горы физических, нравственных и политических трупов, принесенных моими соотечественниками на алтарь бюрократического государства.

Физические трупы лежат в земле. Нравственные и политические живут и порождают наследство. В этом наследстве главная роль принадлежит бюрократическому национализму. Госаппарат России продолжает разрастаться и не отказался добровольно ни от одного из элементов данного национализма. Россия продолжает участвовать в войнах между другими государствами СНГ, ведет войны на своей территории, продолжает продавать оружие всем желающим из числа других государств, эксплуатировать природные и человеческие ресурсы и не собирается войти в число стран, сделавших сохранение природной и социальной среды главным направлением государственной политики. Все эти действия есть результат существования ведомств обороны, МВД, МИД, ФСБ, связанных с ними других министерств и средств массовой информации. Эти отряды госаппарата и принадлежащие к ним социальные и профессиональные группы продолжают конкурировать между собой, претендуя на выполнение ведущей роли на политической сцене. Между тем мне не попадалось исследований, в которых бы было доказано, что деятельность данных ведомств совершенно свободна от официального бюрократического национализма во всех его составных частях. Следовательно, нельзя утверждать, что вся структура данных ведомств выражает национальные интересы России.

Как уже говорилось, русский бюрократический национализм есть синтез американского и европейского. Русская интеллигенция развивала и продолжает культивировать все модели национализма. Поэтому проблема заключается в описании всех аспектов и последствий связи интеллигенции с госаппаратом. Не менее важны изучение и типология главных мотивов поведения всего остального населения. Особенно в том случае, если оно не противодействует всем составным частям бюрократического национализма.

Возможность достижения вершины (жительство и должность в столице) — важный критерий генезиса бюрократического национализма. Чем большее число жителей страны движимы этим мотивом, тем больше вероятность национализма в центре. Причем понятия «центра — провинции» изобретены бюрократией и журналистикой. Госаппарат Российской империи и СССР связывал различные социально-экономические уклады и способствовал генезису национальных идеологий. Одновременно он оставлял в неприкосновенности прежнюю структуру властных отношений. Рост бюрократии снимает различие между «развитыми» и «отсталыми» странами. В России сегодня популярны «евразийская» и «атлантическая» геополитические концепции. Они отражают двойную идентичность русской бюрократии и интеллигенции, являются разновидностями европоцентризма и расизма.

Русские революции XX в. воплотили в жизнь связь интеллигенции и бюрократии. И в этом смысле связали Россию с Францией, Германией и Италией, в которых тоже существовала данная связь. Поэтому русские революции не только усилили бюрократический национализм Российской империи, но и способствовали культивированию патриотизма и расизма как политических и идеологических следствий мнимой общности русской нации. Патриотизм и расизм непроницаемы для рациональной рефлексии. Они базируются на чувственно-эмоциональных формах восприятия действительности, которые выполняют роль невидимой физической реализации мнимой общности.

В нынешних дискуссиях значимое место занимает категория этноса — модифицированное и осовремененное понятие расы. Становление этносов неотделимо от имперского прошлого России в ее монархической и советской формах. Главные государственные ведомства, а также ученые, апологетически относящиеся к интересам данных ведомств, способствовали отождествлению критериев расы и этноса. Приписывание этносам политического значения (а такая тенденция тоже существует в современной России) — результат еще большей (по сравнению с отождествлением нации и государства) бюрократизации политики, управления и социальных наук. Так что современная демографическая и этническая топография России есть следствие указанной тенденции.

Итак, понятие бюрократического национализма может быть отнесено ко всем нациям и этносам, которые раньше входили в состав СССР, а теперь образуют самостоятельные государства или претендуют на такую самостоятельность. Структуралистская концепция нации позволяет дистанцироваться от любого автохтонного национализма (украинского, грузинского, татарского и т.п., список должен включать перечисление всех наций и этносов, принадлежавших к СССР), а не только от его американской, европейской и русской модели.

Для увеличения такой дистанции требуется детальное изучение и систематизация всех противоречий национализма в СССР (России) на уровнях отношений, деятельности и сознания. То же самое можно сказать о влиянии данных противоречий на современные экономические, политические и идеологические процессы в России и СНГ. Особенно важно проследить институционализацию национализма в деятельности главных государственных ведомств, поскольку они продолжают претендовать на выражение национальных интересов. Одновременно надо выявить национально-бюрократические стереотипы и схемы мышления в религиозных (православие, ислам и вообще все конфессии и секты, ныне существующие в России) и светских (либерализм, консерватизм, социализм) идеологиях России. Ни одна из них не свободна от этатизма.

В цикле работ по проблеме бюрократии я ввел понятие «идеологической бюрократии» для обозначения глубокой связи интеллигентского, бюрократического и политического мышления. Структуралистская концепция нации позволяют усилить эвристичность данного понятия. В частности, следует доказать, что социальные науки в России (политическая экономия, статистика, демография, этнография, география, история, социология и политология) по познавательным и социальным целям принципиально отличаются от своих европейских собратьев. Однако доказать это никогда не удастся. Наоборот: в истории России XX в. весь комплекс естественных и социальных наук был подчинен власти намного больше и изощреннее, нежели в Европе[37]. Сколько времени потребуется для освобождения от этой зависимости, не говоря уже о свободе от рынка, — трудно сказать. Значит, можно исходить из того, что социальные науки России пока остаются институтами власти. Они выражают ее интересы и выполняют функцию контроля над территорией и населением страны. Проблема состо-

[37]Литература по этому вопросу громадна. Укажу лишь две книги: Грэхем Л. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе. — М.: 1991; Наука и кризисы: историко-сравнительные очерки. — Отв. ред. Колчинский Э.И. СПб.: Дмитрий Буланин, 2003.

ит в описании всех познавательных и институциональных форм такого контроля в прошлом и настоящем России. С точки зрения генезиса язык социальных наук есть разновидность религиозного языка. А по функциям — модификация бюрократического языка, образующего основу современного стиля политического мышления.

Таким образом, структуралистская концепция нации позволяет расчистить почву при обсуждении проблем нации, национализма и национальных интересов. Ни русский язык, ни православная религия не связаны с русской нацией как территориальной общностью и Российским государством в его имперской, советской и современной формах. Любое постулирование такой связи оправдывает отождествление интересов госаппарата с интересами населения. Язык журналистики не может быть использован при обсуждении данной проблемы, поскольку как раз журналистский корпус насаждал представление о нации как онтологической реальности.

Язык социальных наук все же может быть использован. Прежде всего потому, что никакого другого нет. Однако лишь в той степени, в которой юридические, экономические, демографические, этнографические, историографические, социологические и политологические концепции противостоят интересам госаппарата и не могут быть использованы в процессах политической манипуляции обществом. В этом и состоит главная когнитивно-политическая проблема. Она далека не только от решения, но и от трезвого осознания.

Для усиления такого противостояния, безусловно, надо переосмыслить следующие элементы бюрократического национализма: имперскую систему образования; иерархию как социальное и политическое отношение; манипулятивную роль столицы в стране; идею абстрактного (безличного) и персонифицированного государства; русский государственный макиавеллизм; концепции социального и политического организма; историографические концепции, обосновывающие особую роль государства в истории России; идею «образца» при сравнении различных стран и регионов внутри страны; региональные идеологии, поскольку они укрепляют центро-периферийные связи; связь административных и политических единиц с понятиями родины, отчизны, отечества; связь религиозного сознания с политическим.

Не надо специально доказывать, что все перечисленные феномены пронизывают современную форму существования людей на территории, обозначаемой на картах как «Российская Федерация». Как от них освободиться? Это вопрос особый. По крайней мере, концепт бюрократического национализма меняет набор теоретических проблем при обсуждении состояния и перспектив развития страны. Я имею в виду проблемы суверенитета, права наций на самоопределение, сепаратизма, отношений между нацией как абстрактной общностью и народом как множеством эмпирических индивидов, роли аннексий и перераспределения в существовании современных государств, классических и современных форм расово-этнической и национально-политической дискриминации, сравнения познавательного и политического значения аргументов в пользу того или иного пути развития наций и т.д.

За последнее десятилетие возник целый ряд новых и нетривиальных подходов к обсуждению данных проблем. Подобно структуралистской концепции нации, они фиксируют кризисные явления в современном развитии общества и стремятся выйти за узкие границы всех идеологий. Моя статья — частный случай иллюстрации одной из таких попыток.

Русская власть: описания и рефлексии

ЕЩЁ РАЗ О ПРАВЕ КАК ПУТИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА РОССИИ

С.С. Неретина
Институт философии РАН

Аннотация: *Анализируя историю ключевых политико-управленческих понятий — «государство», «федерация», «право», «министр», «администрация», «губернатор» и др. — автор выявляет эквивокальность этих терминов в Западной Европе и России. Так, если термин «управление» в истории Западной Европы был семантически связан с договорными отношениями, то есть с «правом» и «правильностью», то в России — с идеей захвата территорий, с «управой» и «правежом». Результатом исторического развития России оказалось доминирование волевого личного начала над началом представительным. По мнению автора, необходимо «очиститься от языка», навязывающего подобные смыслы и оказывающего влияние на политическую практику современной России.*

Ключевые слова: *М.К. Петров, концепт, эквивокальный метод, ментальность, демократия, право, управление, гражданское общество.*

То, что нынешняя Россия отличается даже от той, что была 10 лет назад, сейчас не понимает разве что ленивый и разве что ленивый об этом не говорит. Изменилась система передачи и усвоения знания, вернее, по нынешним стандартам образования — компетенций, появилось множество мелких и средних предприятий, которые называются венчурными, с неопределенным доходом, и многое другое. Слово «компетенция», недавно вызвавшее шок в профессионально-преподавательской вузовской среде, отменившее в свою пользу знание и произведенное от латинского глагола *competo*, что означает «добиваюсь, соответствую», означает способность специалиста решать определенный класс профессиональных задач, это наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной, это характеристика, определяющая соответствие сотрудника поставленным задачам, это требование к должности, выработанные компанией, которые служат основой для принятия управленческого решения при назначении на должность, отказе в этом или планировании карьеры сотрудника.

Это значит, что старое понятие знания, предполагающее (цитирую, по-моему, удачное его определение, данное в «Новой философской энциклопедии») «форму социальной и индивидуальной памяти, свернутую схему деятельности и общения, результат обозначения и осмысления объекта в процессе познания», становится ненужным. Нужно только то, что соответствует форме конкретной и непосредственной деятельности. Тем самым закрепляется некая профессиональная и дисциплинарная деятельность. Сама философия, за которой так и

не закрепилось название «строгой науки», должна изменить свое назначение быть охотой за мудростью, вовсе не являющейся одним из познавательных отсеков.

Все эти и другие изменения показывают, что вопрос в том, чтобы к сложившейся новой ситуации в государстве и обществе отнестись аналитически и понять, что открывшаяся перед нами перспектива предстает, на первый взгляд, как конгломерат самых разных концепций и конструкций, а с другой, налицо желание «схватить» это разнообразие в единое целое, правда, пока не ясно, на какой основе. Бросается в глаза желание сакрализовать некие властные функции, однако кроме раздражения и это атавистическое желание ничего не вызывает, ибо при очевидности сакрализующего воздействия на массы с помощью разнообразных приемов, налицо обнаруживающиеся просторы или зазоры, еще не сформированного, но дающего о себе знать мышления, в том числе политического. Это собственно и позволяет назвать наше время временем переходности, когда налицо множество возможностей. И все они на равных могут сформировать следующую целостность. Понимание этого состояния должно быть деятельно выраженным, то есть стать когитальным. Я намеренно употребила этот всем известный латинизированный (cogito = cum+agito) термин, чтобы подчеркнуть: дело — это сама мысль, или — мыследеятельность, собственно мышление. Правда, сейчас тоже только ленивому не ясно, что для мышления нужны не только внутренние, но и внешние вызовы, поскольку остается в силе максима: «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех»

Оглядываясь назад, мы, кажется, глубже поняли, что такое «железный занавес», скрывавший другую жизнь, иногда в диссидентских грезах представлявшуюся как юридический и социально-политический рай. Диссиденты были умными и мужественными людьми, а всё, что в то время в России ни делалось или ни предлагалось для малейшей реорганизации, подавлялось властями. Диссиденты поэтому обращались за помощью к «Западу», под которым чаще всего понимались сочувствующие этому движению писатели, известные общественные деятели, некоторые политики, даже лично президенты. Но, если вдуматься, то это другая перефразировка известных строк «вот приедет барин, барин нас рассудит». То, что мысль о невмешательстве во внутренние дела государства, и есть демократическая мысль, не застревала в головах, речь шла именно о том вмешательстве, которое сейчас раздражает.

Утопичность наших прежних обращений «к Западу» мы осознали едва ли не сразу, как только физически достигли его, руками прикоснувшись к твердыням прежних древних культур, тем более что «Запад», в отличие от России, «другим» становился постоянно. Уже первые (и деловые, и даже туристические) поездки показали, что многие процессы шли параллельно. Например, многие международные сообщества активно вторгаются в социально-политическую жизнь всех стран, в том числе и наших, активно ее меняя. И если экономическая сфера открыта не для всех, то социально-политическая в значительной части открыта.

Говоря о новых тенденциях России, мы не должны упускать из виду старые, потому что они сталкиваются лоб в лоб, достаточно сравнить ментальность жителей центральных городов, глубинки, деревень, не говоря уже о многочисленных национальных особенностях. Первое, что бросается в глаза любому неспециалисту во всех этих вопросах: образовательная смесь, на глазах развиваются разные рода «анти», прежде всего с национальным оттенком. Выражение «некто — человек нерусской национальности» сейчас стало нормативным: даже антишовинисты возмущаются — громко и шепотом, — что в магазинах, случается, не говорят по-русски. Объявления о желании нанять квартиры почти обязательно начинаются с того, что «русская семья без вредных привычек снимет квартиру…»

Государство (и это уже не только российская тенденция) сняло с себя прежде одно из важнейших обязательств: говорить на принятом государственном языке. Эту тенденцию, вызывающую некоторого рода ступор и обнаруживающую слом старых традиций, старого

мышления, изменения самых основ прежней *национальной* жизни, однако, можно рассмотреть позитивно. Не исключено, что та самая идея свободы, о которой много веков шли разнообразные философские споры, впервые осознана не только теоретиками, но *всеми* людьми как жизненная необходимость (заодно обнаруживая небесплодность философских исканий, медленно и с трудом внедряющихся в гущу жизни). Либерализация властных и медийных институтов, добровольное принятие на себя некоей необходимости взаимного сосуществования столкнулась с «диким горохом, растущим в поле» (перевод слова «свобода» с одного из языков Кавказа, как написано в одной из философских диссертаций) и — растерялась. Образовательная смесь происходит по разным причинам: а) вторжение Интернета с его хорошо освоенными языком и техникой, не подпитанными культурно-образовательным цензом, б) ликвидация паспортного режима, о чем раньше можно было только мечтать, приведшая одновременно к культурной, с одной стороны, пассивности жителей центральных областей, а с другой стороны — агрессивности тех, кого иногда называют «пришельцами». Сказанное, повторю, относится не к уничижению или отвержению этого фактора, а к необходимости осознания огромных и разных семантических полей, не скорректированных и, скорее всего, в ближайшее время не могущих быть скорректированными, в условиях нового мультикультурного сосуществования. При этом, разумеется, стираются границы нравственности при полном отсутствии общеморальных принципов (новых принципов нет, а старые потерпели фиаско), грамотности и др. Прежний идеологический нажим сказался (не всегда осознанно) и на философско-теоретических исследованиях: они чаще всего касаются только поверхности (в этом смысле постмодернистская философия не случайно обрела себе активных сторонников в нашей стране) из-за нежелания идти вглубь. Это опять же, с одной стороны, является своеобразной страховкой от идеологии, с другой — действием фактора слабого образования, часто превращающего *исследования* в *изложение* некоторых устаревших и действительно никому, кроме автора этого исследования, не нужных концепций.

Отказ от идеологии, однако, часто принимает идеологическую окраску, например в тех случаях, когда практически наблюдается (осознанное или неосознанное) нежелание правильного ведения (любых) дел. В этом случае такое нежелание или неумение, усиленное амбициями, совмещается с демагогическими приемами. Это заметно особенно ярко потому, что сопровождается шумными кампаниями то по воспитанию якобы исчезнувшего патриотизма, то по выкорчевыванию фальсифицированных, с точки зрения непонятно кем инспирированных лиц, произведений истории, то по модернизации или инновациям. Поэтому необходимо проводить не только локальные, но комплексные социологические обследования разных групп населения, активно доводящиеся до широких слоев общества, не путаясь при этом с опереточностью разных телешоу, калькирующих опереточное же содержание с проводящихся политических акций. Называя современную политическую ситуацию «новым варварством» с безусловно негативным оттенком, мы не должны забывать, что варварство в свое время образовало новую Европу. Идея корпоративности, завладевшая современными теоретиками и бывшая одним из принципов устроения фашистских государств, да и нашего, советско-социалистического, потому и имеет такой успех, что мы сейчас оказались людьми с истерзанными телами и сгнившими словами, лишенными прежнего содержания и не нашедшими нового, но желающими эти тела собрать в одно целое. Однако я лично хорошо помню время, когда всех писателей пытались загнать в корпорацию Союза писателей, тех, кто претендовал на это право, но не «пролез» в Союз, — в группком литераторов, членом которого был Б.Л. Пастернак, архитекторов — в Союз архитекторов и пр. Эхом этого состояния откликается нынешний спор вокруг Союза кинематографистов. Удивительно, что Философское общество осталось на периферии существования философов, все-таки незримо срабатывало то обстоятельство, что основным принципом философствования является свобода.

Что нас поджидает и в известном смысле оскорбляет, помимо вышеперечисленного, в современной России? Раздражающая многих маникратия, (власть денег). Хотя эта власть сама по себе появилась не сейчас, и о ней писал Маркс как о математической мере, а еще раньше Николай Кузанский производил слово ум — mens от mesurare — измерять, у нас она расположилась на территории, где прежде господствовало царство равных и относительно бескорыстных людей (в силу того, что корысти было неоткуда возникнуть). Бандитская приватизация всех считавшихся при советской власти общими ресурсов страны привела к резкому расслоению: одни стали чрезмерно богаты, другие столь же чрезмерно бедны. При этом в отсутствии запретов на капитализацию и запрещающей частную собственность идеологии, в отсутствие вообще каких бы то ни было регулятивов в этом вопросе «денежный язык» банков, обмена, биржи, финансов быстро стал понимаемым языком. С 1991 г., отменившего СССР, выросло уже несколько поколений людей, когда никто уже толком не вдавался в существо приватизации, прекрасно выучивших этот язык и считающих наличие денег едва ли не равнозначным самой жизни. Как говорил Ж. Делез, чтобы купить что-нибудь у новозеландца, не надо знать его язык, достаточно достать «зеленые». Этот «денежный» ум, вероятно, не хуже любого другого, если заставил участвовать в валютных, банковских, финансовых операциях огромную армию людей, собирая их в корпорации, даже провоцируя неизбежность корпоративного начала, где все заодно, заставляя получать второе образование (как правило, экономическое или юридическое). Огромное количество Интернет-сайтов, посвященных теме корпораций, жесткие споры вокруг них, само наличие крупных газовых, нефтяных корпораций и таких объединений, как РОСНАНО, например, участие в международных соглашениях — все это свидетельствует о том, что мы вполне можем прогнозировать этот сценарий государственного развития. Более того, чем более его обсуждают, тем реальнее он становится даже для нашей российской действительности. Вот только на каком фундаменте это строится?

Нынешнюю возрастом в 20 лет Российскую Федерацию нельзя, однако, назвать неоперившимся государством, потому что она, во-первых, сохранила старое название, выкинув из РСФСР буквы, скрывающие социалистическую нагруженность, а во-вторых, а скорее — в-наипервейших, — внутренне, семантически сохранила связь с Российской империей, в которой части ее имели разные статусы, в том числе и те, что можно назвать федеративными. Таковым статусом обладала, например, Башкирия, условием присоединения к России которой были сохранение за башкирами занимаемых ими земель, невмешательство в их религиозные обычаи, в целом во внутреннюю жизнь, оставив власть на местах в руках местных властей, были понижены размеры оброчных платежей, освобождены от сдачи на оброк некоторые угодья и т. д. Можно назвать и другие регионы, которые входили в империю на определенных условиях. Если иметь в виду это имперское состояние, то оно, во многом внешне мимикрировано под нечто иное, чем есть на деле. Это государство обладало и обладает необычайно сложной социально-политической и культурно-экономической структурой. Нынешний мир лишь внешне характеризуется властью толпы. Слово «внешне» не подразумевает здесь незначимость этой власти. Когда в 1937 г. поэт О.Э. Мандельштам сказал: «Я к смерти готов», это была не фигура речи, это было признание власти толпы. Но такой толпы, которая для проведения своих намерений требует лидера, вождя. Эти лидирующие персоны и являются нынешними правителями: Билл Гейтс, еще недавно Стив Джобс, руководители транснациональных компаний или корпораций, готовых стать государствами. Философы и политологи, занимающиеся специально анализом таких структур, уже издали тома своих исследований. Вопрос в том, как они влияют на состояние и подвижку властных структур, то есть в том, чтобы определить современную ментальность, вернее напряжение ментальностей — со стороны власть предержащих и со стороны власть ощущающих, универсалистских тен-

денций и становлением гибкого менеджмента, умело регулирующего информационными ресурсами общества и инновационными, под которыми понимается системная оптимизация, тесно связанная с развитием финансовых практик, внедрением опоры на право, с «собиранием» всех возможностей и открытий, произведенных в мире. В свое время (я много писала об этом, но сейчас не грех повторить) Амвросий Медиоланский, отвергавший культуру Древнего Рима, как связанную с традицией, утверждал христианские истины как именно как инновации, опору на Новое, потому что «Христос всегда нов». Эта мысль св. Амвросия хороша не только для религиозных людей, она выражает основу современного мира, не знающего про Амвросия и самостоятельно выдвинувшего идею инноваций. Это значит, что старая мысль вошла в современную на правах анонимно действующей силы, в данном случае и в данное время выражающей ее правильность, подчеркивающей если не опору на творчество человека, то опору на его творческую репродукцию.

Если, однако, учесть, что идея компетенции вместо знания властно, то есть сверху, прокладывает себе путь в массы (что является более массовым, чем учеба в школе?), то с инновациями может быть покончено, или это может также стать симулякром — формальностью, лишенной содержания. Более того, властная универсализация, допускающая некоторое количество частных компаний, значительно понижает уровень существования мелких частных собственников вплоть до их полного уничтожения, с чем, возможно, связано отсутствие проблемы собственности, поставленной в полной объеме и муссирование проблемы возвращения к государственной собственности.

Здесь, правда, возникает следующее соображение, высказанное Р. Дарендорфом, который различает конституционную политику и реальную политику: «Если вопросы поднимать на уровень конституционного вопроса, то в конце концов возникнет тотальная конституция, в которой не останется ничего, с чем нельзя было бы не согласиться, — тотальное общество, еще один тоталитаризм». Реальная же политика — та, которая способна «провести границу между правилами и принципами, которые имеют всеобщий регулятивный характер, и различными взглядами, которые можно отстаивать в рамках указанных принципов»[1]. Этот принцип был выражен, однако, много раньше Платоном, который, рассуждая о необходимости правления с помощью закона, писал в «Законах», что «ни закон, ни какой бы то ни было распорядок не стоит выше знания. *Не может разум быть чьим-либо послушным рабом*; нет, он должен править всем, если только по своей природе подлинно *свободен*» (Законы. IX 875 c — d). Ибо закон, на его взгляд, предусматривает общее, что не соответствует определению человека. «Закон никак не может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим» для каждого, и это ему предписать. Ведь несходство, существующее между людьми и между делами людей, а также и то, что ничто человеческое никогда не находится в покое, — все это не допускает однозначного проявления какого бы то ни было искусства в отношении всех людей и на все времена» (там же 204 b). *Закон*, по мысли Платона, *служит «самонадеянному, невежественному человеку, который никому ничего не дозволяет делать без его приказа…*» (294 c). Заметим, однако, что речь идет о городе с населением в тысячу (1000) человек. Это надо знать тем, кто ссылается на абсолютную подчиненность праву в античных полисах. Закон Платон сравнивает с «всенародными упражнениями», например, в беге или гимнастике, а тренеры «не считают уместным вдаваться в тонкости, имея в виду каждого в отдельности… наоборот, они думают, что надо более грубо и приближенно давать наказы так, чтобы они в целом приносили пользу телам большей части людей» (294 e). Законодатели не могут дать закон каждому человеку в отдельности. Законы сейчас — в случае нужды — можно дать, потом — при отсутствии необходимости — отменить.

[1]Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе // Путь. — 1994. — № 6.

Важно, чтобы они соответствовали жизненной нужде. В противном случае они могут вызвать только смех: владеющий своим искусством врач, может, конечно, *насильно* навязать пациенту лучшее лечение, но если «обнаруживается… погрешность» (297 d) или отсутствие необходимости (скажем, больной выздоровел раньше, чем врач предполагал, его нужно отменять. Рассуждение Платона указывает на свободу разума, но одновременно показывает, что свободно рассуждающий разум всегда ведет к погрешности, требующей правильного отрегулирования, — об этом говорит и Дарендорф двадцать четыре века спустя.

Процесс рождения нового мира, названного глобализацией, предполагает прохождение ряда ступеней, связанных с новыми государственными транснациональными корпорациями, подчас предполагающими культурно-исторически сложившиеся общности, а подчас их исключающими, как и понятие национальной идентичности, настолько поглотил воображение современных людей самого разного образовательного уровня и профессиональной деятельности, что вопрос о национальной идентичности не просто стал актуальным, но едва ли не главной проблемой современности: не счесть семинаров, симпозиумов и конференций, посвященных обсуждению этого вопроса. Представить, что вскоре некое государство будет территориально разобщенным и на карте будет одно и то же цветовое пятно, расположенное в разных частях мира, трудно, поскольку это напоминает разобранность на разные части самого человека, о чем в свое время писал император-философ Марк Аврелий. «Видал ты когда-нибудь отрубленную руку, или ногу, или отрезанную голову, лежащую где-то в стороне от остального тела? Таким делает себя — в меру собственных сил — тот, кто не желает происходящего и *сам же себя отщепляет, или творит что-нибудь, противное общности*. Вот и лежишь ты где-нибудь в стороне от природного единения, ты, который родился как часть его, а теперь сам себя отрубил». Эта разобранность ведет к конфликтам, которые выражаются или в вооруженных конфликтах, или в беседах, диалоге, переговорах в соответствии с правилами вежливости и с открытой аргументацией. Император-воин Марк, разумеется, предпочитает мирный исход конфликта, ставя акцент на одной присущей только человеку особенности: «Но вот в чем здесь тонкость; можно тебе воссоединиться снова. *Этого бог не позволил никакой другой части*, чтобы сперва отделиться и отсечься, а потом сойтись. Ты посмотри, как это хорошо он почтил человека: дал ему власть вовсе не порывать с целым, а если порвет, то дал прийти обратно, срастись и снова стать частью целого»[2]. В этом отрывке главным является не столько утверждение целого, сколько «вовсе не порывает», то есть не устанавливает полное целое, а предполагает «много неправильного и неаккуратного, много беспорядка и разнообразия, конфликтов и быстро меняющихся ситуаций, — всего того, что лишь способствует расцвету жизненных возможностей человека, а с ними и самого человека»[3], но в своей неправильности эту правильность имеет как регулятивную идею. В противном случае абсолютная правильность будет иметь тоталитарный импульс, как об этом писал в «Дороге к рабству» А. Хайек.

Разрушение той индустриальной базы (сейчас не обсуждается — плохой или хорошей), происшедшей в России в 80-е — 90-е годы, привело к приостановке производства даже при восстановлении производственных мощностей, поскольку ушло поколение рабочих, способных передать мастерство, скажем, заточки деталей, молодому поколению. Поэтому разговор об индустрии сейчас, в эпоху постиндустриального производства, нанотехнологий и пр. действительно лишен смысла и поддерживается лишь в той замечательной части общества, которая продолжает осуществлять связь старого и нового, вопреки всему, совершая каждодневно подвиг, рискуя, как в свое время П. Рикёр, оказаться с мусорной корзинкой на голове.

[2]Там же. — С. 46

[3]Там же. — С. 38.

Мы по-прежнему, как и после революции 1917 г., считаем, что можно сразу перейти к корпоративной системе, ментально не обучившись тому, что такое вообще производство. Поэтому, разумеется, нужна наука, способная правильно диагностировать силу, жизнеспособность, исправность источника жизненных сил общества и его единодушие, которое нельзя путать с единомыслием. В известном смысле нужно восстанавливать или создавать грамматику общения, чтобы синхронизировать идеи, мысли, поступки, деяния людей, принадлежащих разным временам, разным культурным сетям, разным образовательным слоям, когда понималось бы, что для правильного функционирования общества человек должен создавать себе современников из, как говорил тот же Розеншток-Жюсси, «разновременников» посредством речи (чтения Гомера или Шекспира). Нам нужно бы хотя бы теоретически (практически это вряд ли получится) и вербально прожить ту постиндустриальную жизнь, лишенцами которой мы оказались.

Речевые проблемы как проблемы государственного управления возникли — и вполне осознанно — начиная с Древней Греции, когда собственно и возникла сфера политического, с эпохи Древнего Рима, а затем, на новой обширной, будущей европейской территории начиная с XIII в., когда возникали сословные конфликты, связанные с достижением определенных свобод и преобразования аппарата власти. В Англии это случилось в 1215 г., когда была принята Великая хартия вольностей, во Франции — в 1356 — 1358 гг., когда третье, бюргерское сословие потребовало равных прав с дворянством и духовенством в управлении страной. Именно тогда вербально были поставлены вопросы, что именно есть управление (администрирование) и что такое тот, кто управляет. В то время никто не сомневался в сакральных функциях королевской власти. В то время вообще нельзя было говорить просто «король». Надо было говорить или «король милостью Божией», или Сеньор (Лорд, Монсеньор, Мессир, Сир). Теократическая функция короля была диаметрально противоположна феодально-сеньориальной. Если рассматривать только теократическую функцию, то лишь *воля* короля во всем имела значение. Но как феодальный сеньор он был связан *договорными* отношениями, и в этой функции он не мог быть над королевством, поскольку сам являлся членом этого общества. Широкий частный характер феодальных отношений стал средством действия публичного права, способствуя возникновению парламента — места, где говорят. Это не замедлило сказаться в требованиях третьего — бюргерского — сословия в Парижских событиях 1356 — 1358 гг., когда возникло плачевно закончившееся движение Этьена Марселя за равенство сословий и когда впервые после Рима было произнесено слово «республика», когда возникло требование свободы и стало было «ходить» слово «конфедерация», которое убрали с глаз долой после провала движения.

То, что в то время *вдруг* вспомнили о типах политических образований, о демократии, тирании, монархии, аристократии, свидетельствует о том, что после Рима, древнего Рима Цезаря, Цицерона, Октавиана Августа и пр., *не возникало проблем в названии территориальных объединений*, называть ли их демократиями, тираниями, деспотиями и пр. Это были территории племен, природных этносов, осевших в будущих европейских землях и называвшихся по именам этих племен, по титулам властителей, по образованиям. Если король — королевством, герцог — герцогством, если во главе купцы — купеческим общим делом, или республикой, если союз вольных городов — конфедерацией. Вспомнил о старых видах народных объединений не кто иной, как Фома Аквинский, который через 70 лет после смерти будет признан официальным наставником всех христиан-католиков, в наставлении юному королю Кипра. И произнес он старые названия типов управления, потому что они прозвучали как *новые*, то есть вот сейчас востребованные. До этого с детства знакомые нам названия представителей власти и самой власти, такие, как «министр» (minister), «администрация» («administration»), «губернатор» («gubernator») означали соответственно 1. «слуга», «подруч-

ный», «помощник», «служитель», в том числе и «служитель церкви», то есть «священник», 2. «служение» и «оказывание помощи», «руководство» в значении умелого знания, 3. «кормчий» («управляющий кораблем»), «возница» («управляющий колесницей»). Так именно о значении слова «губернатор» писал Боэций (V — VI в.), но то же спустя шесть веков повторил Петр Абеляр. Еще через два века слово «gouverner» стало означать «управиться» и в смысле «пройти», и в смысле «кормиться», и в смысле «находиться на содержании», «вести себя», даже «разговаривать». Это значит, что в то время слова эти не употреблялись в том значении, в каком употребляются сейчас. От старого значения слова «министр» осталось разве что ироническое именование его как слуги народа, а к губернатору прочно прилипло значение руководства и без умения и знания. То же и со словом «rex», «повелитель», тесно связанным с res-вещью, reus-ответчиком, *обвиняемым* и ratio — разумом и смыслом. В основании властных терминов латинского мира лежит, таким образом, разум. Есть еще термин «potestas», «власть», производный от «posse», «мочь», и это было связано с правами правомочной личности. В основании властных терминов российского (русского) мира лежит цезаризм (царизм), позднее понятие, родом из XV в., когда Москва принимает на себя функции Третьего Рима.

Такой разброс значений был тесно связан с тем, что в то время было названо эквивокальностью, дву-о-смысленностью и двухголосостью не только значений слов, но самого мира: Божественного и человеческого, в котором при его описании одно и то же слово могло иметь и мирской, и сакральный смысл (например, слово «rex» означало повелителя и небесного и земного) или указывать на разные проявления одной и той же вещи. Поэтому в средневековые времена вообще нельзя было говорить просто «король». Надо было говорить или «король милостью Божией», или сеньор (лорд, монсеньор, мессир, сир). Теократическая функция короля была диаметрально противоположна феодально-сеньориальной. Если рассматривать только теократическую функцию, то лишь воля короля во всем имела значение. Но как феодальный сеньор он был связан договорными отношениями, и в этой функции быть над королевством он не мог, поскольку был сам членом этого общества. Широкий частный характер феодальных отношений стал сферой действия публичного права. Но это было осознано через четырнадцать веков существования христианства в Западной Европе, которая, напомним, еще не была Западной Европой, — в требованиях третьего — бюргерского — сословия в событиях 1356 — 1358 годов, когда двойственное понимание мира сплющилось до единогласия, унивокации, в котором слышится униформация. Между тем эквивокальное напряжение, уже в наше время забытое (часто студенты не знают слова «экивок», которое знало все послевоенное поколение, читавшее, к примеру, Мопассана), интеллектуально не освоенное, составляла и составляет общественное напряжение: старые сохранившиеся теократические функции правителя по-прежнему ведут к «светлому будущему» (я не уточняю содержания этого будущего) через кровавые революции, потому что, руководствуясь идеей счастья всех, они попирают права индивида, а вторая договорная функция, заключавшаяся в прежних феодальных отношениях, закрепляющая индивидуальные права, — путем эволюции.

Казалось бы, зачем вспоминать для кого-то до сих пор остающееся темным Средневековье в XXI в.? Но ведь слово «конфедерация», как соответственно и «федерация», не только живо, но является образующим в целостности многие народы. А оно, между тем, цепко связано со знакомым только по школе словом «феод», которое после школы прочно забывается, как связанное именно с мрачным Средневековьем. Слово «феод» между тем как бы невидимо всплывает то тут, то там и не только в связи с федерациями (в этой связи о нем и не помнят), но в связи с необходимостью для любого политически крепкого объединения устанавливать межличностные отношения, межличностные договоры, там, в феодах, и возникшие.

Неопознанная ни теоретически, ни методологически эквивокальность, однако, с успехом применяется, как и при феодализме, в современной постимперской России, пытающейся показать, что в ней что-то изменилось, но так, что это изменение не порывает связи с традицией. Дву-о-смысленное название «суверенная демократия» сохраняет связь с неизжитым феодализмом, как и «федерация», не меньше, чем с современными статусами либерально организованных западных государств. Эквивокальный метод, сейчас прочно забытый среди почти всех образованных слоев населения, однако возрождается и в логике, и в практике. О.И. Генисаретский, например, насчитал шесть видов федерализма, и если их рассмотреть, то можно найти и традиционно феодальные федерации и современно-либеральные: 1) расширенный, эмпирико-морфологический федерализм, 2) функциональный федерализм, 3) ресурсный, 4) цивилизационный, 5) идентитарный, 6) экзистенциально-антропологический.

Все шесть представленных им типов федерализма прочно зависят друг от друга, отражаются друг в друге и, несмотря на то, что в отельных странах может перевешивать что-то одно, подразумевает один другой. Да и Генисаретский говорит о федерализме, обозначающем государственность как таковую, переходя от него к корпоративному правопониманию государственности. Мы выше говорили несколько об ином: о необходимости формировать само мышление в духе тропо-логики — возможности видеть и поворачивать разные смыслы, умении регулировать и синхронизировать их.

Все это, однако, не только теоретическое размышление, но реальное существование, о котором вряд ли догадывается обыватель, которого никто не только в типах федерализма не просвещает, но и в Уголовном кодексе, применяя однако правило «незнание не оправдывает» и заглушая попытку к знанию компетенциями (что к ним не относится, не обязательно), покоится на привычном силовом способе управления. Поэтому проблема того, как сейчас понимается «управление», сродни той, когда впервые вообще возник вопрос об управлении. Один из самых блестящих философов XX в. Мишель Фуко в конце семидесятых годов XX в. стал читать лекции в Коллеж де Франс по истории систем мысли. Для него одной из корневых проблем XX в. стало изучение «зыбкой, туманной области, выражаемую таким <…> искусственным понятием, как „управленчество“»[4]. Этот вопрос он ставил в связи с религиозно (христиански) ориентированным обществом. Но вопрос этот сейчас стоит как нельзя более остро не теоретически, а практически. Мы по-прежнему испытываем диктат со стороны власти, в отличие от прежних лет происходящий с полным неуважением не к правам человека (сами эти слова стали хорошей ширмой для властных структур), а вообще к человеку. О том, что человек — хотя и смертное, но все же разумное живое существо, мало кто вспоминает. Хотя оказалось живуче представление, выраженное в старом хеттском гимне: это существо в отличие от всех других животных говорит ртом.

И все же, поскольку мы размышляем о нашем обществе вопреки правящему неуважению к нам, насмешки над нами, мне кажется, что термин «управление», сама необходимость «управлять» должны быть если не сняты с повестки дня, то строго проанализированы. Вряд ли нужно полностью отказываться от термина «управление», но необходимо показать то семантическое — огромное — поле, в котором он действует. Нынешнее его главное значение — «помыкать» — стало обыденным пониманием. Кроме того, оно связано не только с «правом», «правильностью», но у нас прежде всего с «управой» и «правежом». Этим оно отличается от «говорения», стояния у кормила власти и пр., о чем мы говорили выше. Нужно очиститься от языка, который навязывает такие смыслы, хотя, повторю, в обширном семантиче-

[4]Фуко М. Безопасность, территория, население. — СПб.: 2011. — С. 173.

ском поле есть и это значение, но и значение проектирования действительности или образа этой действительности.

Наш язык в себе заложил уже всё. Вся наша история в нашей речи. И если диалектику мы учили не по Гегелю, а по бряцанию боев, то демократии не учились никак. Для нас это пустое слово, сопряженное с другими словами, содержание которых мы понимаем плохо, но делаем вид, что понимаем. Когда в 1989 г. возникла возможность демократии (как говорил Карякин: вот-вот все будет, вот-вот все будет хорошо), она не смогла даже как-то устоять, потому что ни опыта ее не было, ни мало-мальски серьезного обсуждения. Слова «Дума не место для дискуссий» появились не случайно: у нас нет и не было практики обговаривания, то есть — в переводе — парламента, которая в западноевропейских странах заняла не одно столетие. У нас нет такого времени! Мы что-то должны делать быстро методом проб и ошибок. Но едва мы задаем вопрос, каким образом власть должна чувствовать общество, как возникает мысль, что главное здесь не общество, главной остается власть, которая что захочет, то и наворотит.

На мой взгляд, нужен радикальный переход от вертикали на горизонтальные схемы координации разного рода усилий (корпораций ли, гуманитарных, естественнонаучных, экономических, политических институций и др.). Они могут вполне координироваться экспертными группами. Это необходимо. Экспертные группы будут не обслуживать чью-то волю, а знать суть дела. Меня лично швейцарская ситуация, в которой гражданин швейцарского кантона не знает, кто у них президент, устраивает гораздо больше, чем бесконечное склонение в разных падежах и залогах одних и тех же хорошо известных имен. Это и есть работа с экспертными горизонтальными группами. Это можно назвать административной корреляцией, если бы слово «администрация» не было столь скомпрометировано. Нам жестко не хватает не чиновников, а бюрократии! Необходимо исследовать ту ситуацию, которая была в XVII в. во Франции, когда складывалась бюрократия. Это было бы очень интересно не с точки зрения истории, а с точки зрения процедуры складывания подобного рода вещей, когда можно было без «короля-солнца» решать многие внутренние вопросы. Реально сейчас этим никто не занимается.

Сейчас вполне допустимы анархистские представления об устарелости самого понятия власти, основанной на подавлении таких форм самоорганизации населения, как вольные города типа Новгорода и Пскова, которые были конкурентоспособны жесткой абсолютной самодержавной власти и на устроении не способных к такой конкуренции фактически закрепощенных ремесленных предприятий и сельских общин. Термин «управление», в том виде, в каком он сложился в нашей стране, был тесно связан с идеей захвата территорий, земли, с идеей овладевающей личной силы. Культ личности родился не в XX в., а гораздо раньше, с началом христианской эры. В XX в. он лишь привел при физическом появлении масс народа к гипертрофированному идеалу вождизма: массы, повторим, должен вести лидер. Когда мы сейчас все чаще и чаще ведем речь о том, что старые государственные системы отжили свое и переживают сильнейший кризис, то, как и тридцать — сорок лет назад оглядываемся на Запад, призываем к себе его идеи, как когда-то варягов, при этом словно забывая, что мы перескакиваем очень важный свой опыт — монголо-татарское иго, византинизм и неиндустриальная жизнь, но вопреки этому знанию полагая, что справимся с новыми задачами.

Между тем прошедший опыт — не отчет, с которым надо ознакомиться, это опыт, сосредоточенно сжатый в понятии, равно как все бесчисленные его обсуждения и отрицания. Наша мысль, обусловленная таким разрушительным опытом, делается безусловной, коль скоро именно она подвергается подчас сокрушительной критике. Оглядываемся же мы сейчас и примериваем к себе идею корпоративного управления, забывая и не придавая значения тому, что хотим одну *власть* заместить другой *властью*. То есть одну *волю* заместить дру-

гой, но тоже *волей* с человеческим ли лицом или без оного. Как правило, в конечном результате, воля становится нечеловеческой. М. Фуко, критикуя либеральные определения власти как *средства* принуждения, не просто описал *аппарат* репрессивных практик, применяемых властью, но *сущность* власти, представляющей собой взаимодействие разных сил. Это не статичное образование и не устойчивая структура, которую можно было бы определить юридически. «Государственное искусство, — как писала Х. Арендт, — надо приравнивать не к создающим, а к исполнительским искусствам» кормчего, врача, танцора, флейтиста, то есть власть не должна быть сама по себе средством принуждения, она «исчерпывается в исполнении и таким образом подобно поступку и речи состоит в актуальности самого действования. <…> В этой *столь глубоко презираемой современным социумом виртуозности*, в „непроизводительных“ искусствах флейтиста, танцора или актера античная мысль нашла некогда примеры и иллюстрации для описания высших и величайших возможностей человека»[5]. Что после этого удивляться, что такой шумный успех имеет сегодня шоу-бизнес! И надо ли сомневаться, почему не устраивает сегодня *наш* термин «управление», поскольку в нем, хотя и присутствует идея отождествления с другими, но гораздо больше — отчуждения друг от друга в силу несовпадения интересов «всех» и государства, в силу того, что в управлении заложена идея принуждения, а не свободного следования общим интересам. «Омертвение пространства явленности и следующее затем помрачение здравого смысла, органа, в нем ориентирующего»[6], то есть то, с чем мы сейчас имеем дело, принимает в социуме экстремальные формы. Пережив эпоху отождествления-отчуждения и ужаснувшись ей, мы именно сейчас почему-то запаздывающим осознанием пытаемся говорить о такого рода идентификациях. Массовое общество признает вождя — с этим надо считаться. Вожди во всем: в музыке, главным образом, эстрадной, в политике. Причем в отличие от Средневековья, где признавалось мастерство, от Возрождения, где гений воплощал в себе человеческое величие, сейчас вождь, глава, тот, на кого ориентируются, вовсе не является таким воплощением, само понятие величия, как говорила Арендт, «испаряется». Вождь-глава — тот, кто успешно коммерциализируется. Потому эстрада стала называться шоу-*бизнесом*, а люди, сделавшие малую малость, например, применившие крем-маску, гордятся собой («до этого может опуститься только пошлость»), став «рабами и пленниками собственных способностей»[7].

В эпоху компьютера можно учиться на расстоянии, имея в качестве посредника экран, уничтожающий разносный тон и выполняющий корректирующую и регулирующую функцию. Термин «урегулирование», вроде бы — при переводе — обозначающий то же, что управление, обладает другим содержанием: он предполагает некую норму, вынесенную вовне, которой подчиняется и правитель. Это, кстати, подразумевает и слово «корпоральность», такая «телесная» представленность многих, которые, являясь единым телом, тем самым урегулированы и отрегулированы как единство, где каждый выполняет свойственную ему работу, помогая и не мешая другим. Вопрос в том, что понимать под единством. Хорошо, если «свободное развитие каждого при условии свободного развития всех». Но ведь единство создается и в тюрьме, казармах, раньше и в школах, где все ходили на перемене парами, держась за руки. Как поется в фильме «Стиляги»: мы все связаны одной цепью.

Цепь, однако, не елочное украшение. Она и есть образ человеческой жизни, данный лучшей философией в мире, к которой нас иногда приглашают вернуться как к опыту по-

[5]Арендт Х. Vita activa, или о Деятельной жизни. — Пер. с нем. и англ. В.В. Бибихина. СПб.: 2000. О «Политике» Платона, Аристотеля, о понимании res publica в Древнем Риме см. также: Неретина С.С., Огурцов А.П. Концепты политической культуры. — М.: 2011.

[6]Арендт Х. Vita activa, или о Деятельной жизни. — С. 277.

[7]См.: там же. — С. 280.

чему-то открытости и несвязанности. Какая-то цепная открытость получается, принявшая в философии форму «универсально-понятийного» анализа мира в отличие от именного (первобытного) и профессионально-именного (индийского, китайского), что блестяще описано М.К. Петровым в книге «Язык, знак, культура» (М., 1991). Мы в этой универсальности и понятийности закрепились надолго, так что заново пришлось открывать простое понимание, простое действие, интуицию, лежащие за пределами Единого Логоса.

Государство

Сейчас под единством понимается сплоченность в некую коллективность при общности идеологических лозунгов. Это закреплено в слове «государство», понятие и понимание которого не исследуется или исследуется мало. Мы как-то так употребляем: государство и государство, даже к state применяем этот термин. Мы «подстраиваем» под собственное словоупотребление и другие названия. Когда мы говорим «Соединенные Штаты» и прибавляем к этому «государство» — это значит, что мы не понимаем принципов устройства Штатов, меж тем как само слово это «state» означает «состояние», «положение», «статус», смысл которого может меняться в зависимости от деловых, социальных, политических, экономических отношений. (Это, кстати, тесно связано с понятием «положение дел», которое было введено в стародавние времена Петром Абеляром, затем реанимировано Расселом и использовано Витгенштейном. Философия достаточно влияет на социально-политическое устройство: лабильным переопределением своих функций). Между тем термин «государство» означает даже не «kingdom», и не многие европейские страны величают себя так. Именно величают, потому что даже если государь (царь, король) в этих странах и есть, он, как правило, в качестве короля доказывает только величавость страны, но не ее величие. Русское слово «государство», среди значений которого мы подразумеваем слово «царство» («царство-государство»), на деле сохранило не только монархический смысл единства[8], но включило в себя и смысл цезаризма (царизма), то есть диктатуры. Старый, даже не от советских времен идущий империалистский (универсалистский) характер так понимаемого государства, живущего в ментальности именно как царственно-монархический принцип (не случайно, то и дело возникают мотивы восстановления монархии в России), и сейчас диктует свои условия, прежде всего воссоздания полицейско-бюрократической системы жизни. Это уже стало общим местом: съездив на современный Запад, подметить там черты, близкие нам, такие, как антураж вокруг съездов партий, вмешательство в международные дела, доносы соседей на соседей, студентов на своих товарищей, обсуждения дел и коллег, похожие на наши комсомольские собрания, в университетах. Заметить, что вот-де это общие с нами черты и думать: все, как у нас, не замечая другого: открытого общества, о котором писали К. Поппер и Р. Дарендорф, и пытаясь кое-где и кое-как подстроиться под очевидные лежащие на поверхности схемы. Однако, если изначально говорить о каком-то наборе понятий, то, вероятно, стоит начинать с критики, очищающей проблему. Убрать, например, из лексики слово «государство», слово «управлять», понять не потому, что они плохие, а чтобы дать волю другим понятиям, похожим, но не связанным с царственной властью: регулирование, менеджмент. Тогда и «управление», и «государство» окажутся одними из терминов в широком семантическом поле. Ясно, что я говорю исключительно о нашей весьма подмоченной репутации единого территориального устройства, где фактически задушено множество иначе организующихся и самоорганизующихся вещей. Я совершенно уверена, что, предложи тем же СМИ провести такой эксперимент — не употреблять в течение недели этих слов, и мы обнаружим множе-

[8]Я писала об идее монархии в статье о Данте. См.: Неретина С.С. Канцона как средоточие философии Данте // Вестник Самарской гуманитарной академии. Вып.: Философия. Филология. — № 1. — 2006.

ство новых и более точных именований. Можно вспомнить, что в свое время С. Кьеркегор, критикуя гегелевскую идею государства, противопоставил ему сообщество индивидов. Потому я не случайно начала обсуждение проблемы с идеи речи. Мы сейчас не столько пытаемся понять новую реальность (а она есть, мы видим это по нарушению, даже разрушению межпоколенческих контактов), сколько своей суверенной демократией подстраиваем себя к старому миру, организуясь не вокруг целей, а вокруг «отсутствия целей» (целей, нигилистически понятых).

Стало общим и плоским местом повторять фразу, что история нас якобы ничему не учит. Когда римляне создали этот афоризм («история — учитель жизни»), они сконцентрировали в нем глубинное понимание того, что история нас настигает, встает возражением современности, и уже в силу того, что она стоит как возражение, ее не обойти. Римляне были афористичны. Мы сказочно-нарративны. У нас есть сказка «Гуси-лебеди», смысл которой в том, что нельзя, невозможно выйти на простор недостижимости, если не съешь старого пирожка, не отведаешь яблока (от древа познания) и пр. И вопреки этой сказке, мы, Россия — страна, которая правила не сама по себе, а через чужаков, варягов. В истории было множество прецедентов, связанных с захватами территорий и насаждением другой власти. Достаточно напомнить трагическую историю Рима, захвата франками галлов. В средневековой Франции мятежи «меньших» людей, в основном крестьян, часто связывались с этим захватом: «меньшие» люди так и считали, что франки овладели всей собственностью галлов. В литературе на это обращают мало внимания, лишь в начале XX в. робко заговаривали об этом при переводе драмы П. Мериме «Жакерия».

На Руси было иначе: варяги не захватывали Русь, они были призваны во власть *доброй волей* князей, хотя приглашение других людей для создания законов или принятие образцов для них из чужих стран было делом банальным: критские законы Миноса, например, были образцом для Спарты. Но право бывает естественным и позитивным, установленным. Не знать можно установленное право, естественного права не знать нельзя: это любовь к родителям, как говорится, к отеческим богам, неприкосновенность жилища, всего *моего*, что отстаивается при необходимости позитивным правом. Как происходила переориентация права между призванием варягов и вплоть до современности? — дело историков разобраться с этим. Но совершенно очевидно, что государству (когда-то личному — оно персонифицировалось именем царя, а теперь безличному, поскольку президент и государственные чиновники говорят от имени закона) было отдано право полного распоряжения *моим*, передоверенным чужому. Поэтому вопрос о соотношении российской власти и общества (при наличии старых понятий управления, государства, власти) — это пустой вопрос: в нем можно двигаться только в рамках старой властной парадигмы. Мысль В.К. Кантора о русском *европейце*, на мой взгляд, неверная мысль. Можно сколько угодно рассуждать о праве и либерализме и не уметь их отстоять и упрочить. Мы к тому же чувствуем власть абсолютно, но столь же абсолютно не чувствуем общества. Мы не случайно говорим так много о власти. Мы ругаем власть, но не ругаем безвольного и несостоявшегося общества, присвоившего себе это имя, потому что первая есть, а второго нет. Или, скажем иначе, были некие сообщества как жесткий противовес власти, но не было общества рядом с властью. Это привело не к изначальному отсутствию естественного права, а к его переподчинению позитивному праву, то есть переподчинению по сути запрещающим правилам, ответственности. Оттуда пошло понятие правоответственности, в котором акцент падает на вторую часть сложного слова. История задним числом показала свой учительский смысл — *возражением* тому, что стало и есть.

П. Бурдье писал, что во Франции XVIII в. в предреволюционные годы при Людовике XVI была попытка создать независимую от монарха судебную систему, действующую во

имя не монархии, а во имя общего блага. Юристы выдвинули на первое место служение обществу, а не государю. Именно тогда вновь возникло понятие res publica в старом римском смысле слова как общего дела, цементирующего общество, и лишь потом республика стала «инстанцией, трансцендентной по отношению к агентам (включая короля), временно ее воплощающим»[9]. Но вот оказалось, что «тот слой „третьего сословия“, который, восприняв идеи просветителей, стал сначала парламентскими представителя народа, а затем „вождями народа“, был слоем среднего и низшего чиновничества, юристов, нотариусов, судей, адвокатов. В Учредительном собрании 373 из 577 делегатов „третьего сословия“ были представителями так называемого юридического сословия. Именно эта группа и стала идеологами революции, ее трибунами и вместе с тем ее жертвами»[10]. Последнее произошло потому, что, наряду с апологией науки, в предреволюционные годы развивалась критика науки, представленная прежде всего Ж.-Ж. Руссо. Эта контрнаучная линия выразилась не только в публицистике, но «в различного рода мистических сектах и движениях и, конечно же, в плебейской ярости против существовавших к началу революции научных организаций».

Для всех идеологов эгалитаризма ученые были привилегированным сословием, а существовавшие в дореволюционной Франции научные учреждения — Академия наук, королевский колледж, школа военных инженеров в Мезьере, Парижская обсерватория и Королевский ботанический сад — защитниками деспотии и социального неравенства»[11]. При этом было неважно, что число академиков, получавших жалованье, было невелико, и из 48 членов академии в начале XVIII в. половина искала приработка, но за ними прочно закреплялся статус ненужных людей, занятых причудами, поскольку исследования велись годами и не имели непосредственного применения на практике. Вера в тайные науки, в белую и черную магию, алхимию была сильнее научных доказательств, создавая «эпидемию мистического помешательства». Но и собственно просветительские идеи в массе народа существенно искажались, а в ходе революции упразднялись. Была отменена Конституция 1793 г., Декларация прав человека и гражданина, были упразднены свободы собраний, печати, слова, судебные гарантии и право на защиту, а затем и вовсе принят декрет о врагах народа.

Очевидно, что власть может быть захвачена разными способами, в том числе и легальными. Но любой *захват*, ведущий к *перевороту принципов прежнего правления*, лишает прежде всего прежние уставы законодательной базы, попросту отменяя ее и (пока не выработала своей, а на это должны уйти годы) действует с помощью старого или нового репрессивного аппарата: власть ведь надо удержать в руках. Способом такого удержания оказывается террор, откровенный или скрытый, но, как правило, направленный против самих организаторов революционного переворота. Ссылаясь на исследования Д. Грира, Огурцов пишет: «85% казненных принадлежала третьему сословию, к дворянам — лишь 8%»[12]. Я бы хотела обратить внимание на эти цифры: вопреки, казалось бы, очевидной ненависти к своим врагам: дворянству и духовенству, вопреки написанному в учебниках под нож гильотины попадало в основном сословие зачинщиков революции. Ученые, тоже в основном принадлежавшие к третьему сословию, попадали под него первыми еще и потому, что обладали абсолютной незащищенностью: даже работая при дворе, они были всего лишь министериалами, не владевшими силовыми рычагами, «свои» же попадали в силу конкуренции, в силу битвы за власть. Более того, так было во время всех народных движений, когда выплескивалась многолетняя, а то и многовековая накопленная ярость. Потому совсем не удивительно, что на каторгу или

[9]Bourdieux P. Practical Reason. — Cambridge (UK), 1998. — P. 43.
[10]Огурцов А.П. Философия науки эпохи Просвещения. — М.: 1993. — С. 204 — 205.
[11]Там же. — С. 181.
[12]Там же. — С. 208.

к убийству приговариваются (и тогда, и сейчас) деятельные, но не обладающие властно-силовыми полномочиями люди.

Удивительно другое: мы все еще думаем, западное общество системно и вовлечены в конкуренцию систем. Однако мне кажется, что прав Дарендорф, когда писал, что «общий язык, на котором мы разговариваем сегодня, не является языком Запада, принятым Востоком», даже если мы все говорим по-английски. «Это по сути дела универсальный язык, не принадлежащий никому в отдельности и потому принадлежащий всем»[13]. К тому же Россия — двуликий Янус, она смотрит то на Запад, то на Восток.

Сейчас как никогда важны размышления М.К. Петрова о разных типах социального кодирования. Когда-то он писал, что в Европе, где возник универсально-понятийный код мысли, сохранился и профессионально-именной, то есть массовое программирование индивидов в одно имя, обозначающее профессию (как правило, это — семейное дело), свойственное традиционным обществам Востока (Индии, Китаю, Японии). Эти имена, с одной стороны, программируют в деятельность не одного, а многих индивидов, а, с другой — приводят деятельность массы профессионально программируемых людей как фрагмент целого к самому целому — корпусу социально необходимой деятельности. Это вполне соответствует и тому, что выше написано о компетенции, которая и есть некая программа деятельности, и корпускулярному строению этой деятельности. И если и сейчас на Западе сохраняются социально значимые и подлежащие трансляции понятия «талант», «уникальность», «оригинальность», «автор», «плагиат» (эти «нестандартные» ситуации обеспечивали общественно-культурные программы XVII — XX вв.), то сейчас, наряду с этим, осознается значимость ввода в дисциплинированную профессию. Вопреки общепринятому мнению, тенденции Запада и Востока смыкаются. И если раньше европейцу было куда отступать и, если его теснили из его рода деятельности, угрожая разорением и нищетой, он шел искать новое дело, то теперь это новое дело ищут уже люди и Запада, и Востока, вот только профессии стали технически и технологически гораздо более сложными, им надо долго, кропотливо и тщательно учиться, поэтому ввод в профессию необходимо рассчитан практически на всю оставшуюся жизнь, что и есть профессионально-именное кодирование. Там, где возникают социально значимые стандартные ситуации, там всегда есть почва, правда, уже не для семейного профессионализма, но социально определяемого. И это прекрасно освоил Восток, где прекрасно понимают значимость контакта поколений, отставившую в сторону только одно — семейственность. Хотелось бы назвать, как это принято особенно в политической литературе, экономикой знаний — высшим этапом развития постиндустриальной экономики и инновационной экономики, являющейся фундаментом общества знаний или информационного общества, и в случае с США, ЕС или Японией это так и есть, однако в России и, возможно, в Китае этому мешает то, что СССР уже к середине 80-х гг. XX в. исчерпал возможности собственно развития, не создав даже индустриальной экономики, не говоря уж о постиндустриальной. Эффективные государственные институты, венчурный бизнес, высокие технологии известны пока на бумаге. Китай поворачивается быстрее, заполонив мир дешевыми товарами. Но насколько он окажется быстр в технологиях, пока неизвестно. Однако интерес к этому огромен. Насколько высок его индекс экономической свободы и гражданского общества, сказать однозначно тоже нельзя, поскольку внешне сохраняются институты несвободы.

Тем не менее сближение Запада и Востока очевидно. Такая конвергенция, однако, чревата деградацией социальности. Уже сейчас множество людей плохо владеет грамотой, спихивая это довольно-таки трудное дело на компьютер, который может проверить ошибки. История, однако, знает худшие примеры, когда общая деградация социальности «сопровожда-

[13]Дарендорф Р. Размышления о революции в Европе. — С. 58.

ется значительными потерями знания», а это в свою очередь ведет к «снижению стандарта мастерства, исчезновения ряда профессий. Наиболее известным примером такого опрощения является исчезновение письменности вместе с профессией писца. Для социальных единиц типа Одиссеева дома письменность была бы неоправданной роскошью»[14].

Опрощение такого рода и заставило в значительной степени ввести стандарт компетенции. Основные претензии, которые традиционные общества предъявили к европейцам, касаются именно системы трансляции знания. Это, во-первых, избыточность и неэффективность процесса, когда головы подрастающего поколения начиняют знаниями, подавляющая часть которых никогда не пригодится в жизни и будет забыта в период активной деятельности, и, во-вторых, явно неквалифицированный и варварский в методологическом отношении характер процесса обучения, который затрагивает в основном голову человека, не переводя знание в практические навыки, а тем самым и не используя навыкообразующие потенции человеческого мозга, способного отправлять освоенные навыки в подкорку автоматизмов и освобождать память для новых навыков»[15].

Ужас сотворения «компетенции» состоит не в этом самом сотворении, а в отторжении контактов в формах «учитель — ученик», «мастер — ученик», «профессор — студент», «ученый — аспирант». В традиционных обществах это понимают, так как видят в этом своего рода «семейную структуру», с помощью которой методом проб и ошибок обеспечивается «контакт поколений как единственно экономичный, эффективный и надежный институт трансляции»[16]. Так было и в средневековых университетах, поэтому надо ли говорить, что университеты сейчас распространились по всей ойкумене как этот самый надежный институт. Мы же понимаем компетенцию извращенно: как ломку навыков, не умея образовать другие, поскольку не знаем, в чем будет состоять будущая компетенция студента: при отсутствии связей с работодателями, отпускаем выпускников в белый свет, как в копеечку. Остается надеяться, что у естественников и технарей быстрее дело станет иным.

Однажды призвав варягов, мы никак не можем отступиться от этого феномена «варяжскости». И хотя современные понятия «демократия», «либерализм» сейчас дискредитированы, возникло понятие неолиберализма. А это значит, что нет необходимости отказываться от этих идей, однако не мешает помнить, что население греческих полисов — оплотов демократии, едва достигало 5 000 человек, и одно это ведет к необходимости подвергнуть эти желаемые издавна состояния философско-социально-экономически-политической критике. Почему-то ведь возник такой синоним демократии, как «дерьмократия»? Вызывает подозрение живучесть этого термина: не стал ли он симулякром и уже давно? В течение 2500 лет существуют одни и те же формы правления, вряд ли отвечать современным задачам и современной ситуации. Американские Штаты в свое время изменили именование своего объединения, определив свои статусы, уставы, властные формы единства по принципу не личной власти, а признанной законодательной нормы. Я сейчас не обсуждаю, к чему это привело, но что личная власть президента там лишена характера монархической власти, это очевидно, потому что действуют факторы, существенно ее ограничивающие: независимая пресса, Конгресс, нормативность законов и их исполнение.

В Европе в начале XIV в. французский король собрал парламент и Генеральные штаты (les états généraux), поскольку был близок к банкротству, и ему требовались деньги. В середине XIV в. Штаты во время длящейся войны с Англией, которая впоследствии получит название Столетней, заявляют, что они будут собираться сами, не дожидаясь королевской воли. После этого и вплоть до конца XVIII в. они, штаты, сословия со своими уставами, создавали

[14]Там же. — С. 159.
[15]Там же. — С. 133.
[16]Там же.

политико-экономическое напряжение в королевстве, постепенно выдвигая идею представительства как одну из важнейших политических идей и воспитательно-пропедевтической силы закона, которому должен подчиняться каждый человек, независимо от его происхождения. «Парадокс брадобрея», один из вариантов теоретико-множественного парадокса, приписываемого Расселу[17], на деле осуществился в Англии XVII в., в 1642 г. во время суда над королем Карлом I. Карл доказывал судившему его парламенту, что как законодатель он стоит вне и над законом, а парламент в ответ формулировал такую максиму, что закону подчинен каждый, даже тот, кто его сочинил и *принял*. В России под давлением сходных с Францией обстоятельств (война, финансово-политический кризис) в начале XX в. то же пытался сделать Николай II, но личная власть в России оказалась такой властной силой, что созванную Думу своей же волей государь и разогнал. Волевое личное начало оказалось — и это действие варяжского призвания, когда люди, сами не справившись с собственными делами, *добровольно* стали подданными чужого народа, весьма длительно — перевесило волю начала представительного, что длится и по сей день.

Это волевое начало привело к тому, что Россия не сложилась в национальное государство. С момента образования ее имперская государственность была фикцией, потому что она, в отличие от всех империй, не имеющая, как все империи, своей метрополии, кроме столицы и центральных городов, сосредоточила в себе идеологическую мощь, и это лучшее доказательство силы идеологии, превалирующей над экономикой и политикой. Поэтому любое философствование (а в любой философии, поскольку она есть выражение всеобщего, есть идеология) имеет непререкаемую моделирующую силу. Модель, по самому общему определению, — некоторый материальный или мысленно представляемый объект или явление, представляющий упрощённую версию моделируемого объекта или явления. Это, разумеется, не указание к сиюминутному действию, хотя модель начинает работать *здесь и сейчас*, заранее предвосхищая трансформацию заложенного в ней результата. Иначе она не означала бы *способа* (от modus — способ) осуществления, обозначения, постановки проблемы. Акцент на формировании правоспособности, установление права собственности — это то, что можно делать постепенно с помощью образования. Потому столь насущна реформа образования, несовместимая с кощунственным его уничтожением, проводимым сейчас, в которое входили основы правоведения, конституции, логики. Эти дисциплины, кстати, входили в школьную программу в сталинские годы, и то, что они были из нее исключены, свидетельствует о признании властью камуфляжности правового обеспечения.

Как мне кажется, сейчас нужно отойти от дихотомии социализм-капитализм, потому что то, что происходит сейчас — это и не капитализм, и не социализм. Те, кто хотел построить социализм, уже построили и живут в нем. Те, кто хотел построить коммунизм, тоже его построили — красные штаты в Индии. И это не метафора. Нынешнее политическое устройство переросло рамки подобного противостояния. То, что происходит сейчас — это и не капитализм, и не социализм. Не исключено, что наше нынешнее государство вышло за стадию национального государства, что скорее здесь должны строиться области по экономическим регионам, областям.

Между тем проблемы права, не совпадающего с обязанностями, сейчас столь же и одновременно насущны, как проблемы собственности, поскольку собственности в России не было, да и ныне появившаяся все равно зависима от начальственной власти, которая отнимает ее, используя те самые камуфляжные правовые институты, то есть слова-заместители,

[17]Парадокс формулировался так: «Пусть К — множество всех множеств, которые не содержат себя в качестве своего элемента. Содержит ли К само себя в качестве своего элемента? Если да, то, по определению К, оно не должно быть элементом — противоречие. Если нет, то, по определению К, оно должно быть элементом К — вновь противоречие».

слова-тропы (метафоры), которые подменяют собственно право. Право (ius), то, что правильно, невозможно ввести приказным порядком, правообладание — длительнейший процесс, в свою очередь зависимый а), в первую очередь, от естественного обладания собственностью; б) от волеизъявления массы людей (не говорю — народа, поскольку последний превратился в население); б) от волеизъявления власть предержащих. Поскольку по природе существующей собственности, моей и только моей, в России нет (собственность всегда была «искусственно» полученной, прежде всего от государя или путем захвата), то говорить о праве нужно, понимая, что им еще нужно прорастать.

Сейчас иногда говорят, что принимаемые современной российской властью законы, установления и пр. не достигают целей, увязая в сети проволочек и не достигая масс. Я полагаю, напротив, что они прямо достигают своих целей. Главное желание власти — загасить твою собственную свободу. И мы (я) чувствуем это постоянно. Загашенная свобода и свидетельствует о том, что действительно есть власть, обладающая всеми властными полномочиями, но не правосознанием. Нужно же находить способы вселять правосознание в головы каждого человека. В каждом автобусе, на каждой станции метро, в почтовом ящике каждой квартиры должны лежать принятые законы

Я хотела бы обратить внимание на то, что любое новое право, преображаясь в новые формы и соответственно отображая новый статус общества, в целом государства и внешне отрекаясь от старого правового закона, на деле его не уничтожает и не может уничтожить, потому что человек прорастает правом. Напомню одну коллизию, связанную с, казалось бы, давно ушедшим Средневековьем.

Римское право, основанное на коллективном, безличном, административном начале, на представлении о том, что человек от роду наделен всеми правами, в IV — VI вв. заместилось обычным правом населивших бывшую империю народов, объединенным в единства (герцогства, королевства) на духовном, личностном начале. Древние германцы полагали, что право неотъемлемо от качеств выдающейся личности. Не личность определяется правами, гарантированными государством. Наоборот, она правомочна, поскольку является именно личностью живым, неповторимым человеком. Иначе говоря, она зависит исключительно от себя, от своих внутренних качеств. Затем, в Новое время, это право, в свою очередь, было замещено правом, которое считается отчужденным от личности, законам которого подчиняется любой гражданин. Но отношение к правомочной личности фактически действует до сих пор. Власть, особенно главный ее представитель, полагает, что он может контролировать и даже верховенствовать, руководить правовым процессом даже в условиях формального признания права, формирующего до и сверх личности, нормативного права. Такое двуправие действует в современности повсеместно, после неоднократных правовых смен и утверждения универсальности права, которому подчинены все индивиды. Дело лишь в процентном отношении к этой личной правомочности. В европейских странах и Америке такого права меньше, в Росси при отсутствии демократического опыта и испытания правом больше. В свое время Петр Абеляр определял человека как разумное смертное живое существо, притом что в имени «разумное» содержалось значение волевого, мóгущего принимать решения существа[18]. На это его определение мало кто обратил внимание, хотя оно выражало самую суть Средневекового отношения к творению как таковому. И пока никто не отменял определения человека как наделенного правом творческой правомочной, правомощ(ч)ной личности, это представление будет действовать *практически.*

Поскольку ныне слияние большой части населения и власти с миром захватчиков-уголовников огромно, нельзя тем не менее считать попытки малой доли населения жить по пра-

[18]См.: Петр Абеляр. Глоссы к «Категориям» Аристотеля // Петр Абеляр. Теологические трактаты. — М.: 2011. — С. 209 — 210.

ву ненужными. Диссидентское движение, всегда казавшееся (диссидентам в том числе) не рассчитанным на удачу, все же оказалось «каплей, точащей камень» и внесло свою лепту в изменение и самой власти, и даже к ликвидации самой империи.

Говоря о реформировании отдельно взятой страны, мы сейчас вынуждены постоянно оглядываться на мир. В современном мире с отдельно взятой страной ничего нельзя сделать, даже если решиться в горах построить идеальное общество под названием «Институт хорошего дела». Этот институт вряд ли сможет длительно просуществовать отдельно от мира: мы уже связаны с сообществом, в немалой степени посредством интернета. Эту связь нельзя понимать только в том смысле, что глобальная коммуникация представляет собой деградирующий процесс. Это прежде всего вопрос скорости, технологий, быстрой связи, позволяющей объединяться индивидам, находящимся в разных точках земного шара, не ставящей преград и объединениям разных корпоративных сообществ мгновенно принимать или отменять решения, регулировать свою деятельность.

В замысле нового образования должно быть воспитание мужества, гражданской добродетели, любви к политической, если можно так сказать, правильности и политическому умению реагировать на общественные изменения. В таком случае именно важны экспертные оценки. Но при наличии не на нации ориентированного государства сами собой исключаются разного рода ксенофобские идеи.

Более того, экспертиза предполагает миноритарную власть, власть образованного меньшинства. В практике государственного строительства это практиковалось, причем в глубокой древности. Я могу привести пример из «Салического закона», где никто, например, не имел права переселиться (вселиться) куда-либо, если хотя бы один был против. Этого одного никто не выбирал, он был просто против. Чтобы убедить его или убедиться, что прав он, а не большинство, начинались беседы, или то, что сейчас называется приведением к согласию. Разумеется, речь в случае «Салического закона» шла о деревне, но и сейчас существуют досудебное разбирательство.

Процесс парадигмальной смены предполагает довольно длительный «замороженный» период, когда старое сломано, а нового еще нет. Единственной общей платформой для сообщаемости людей становятся деньги. Такую властную систему мы выше назвали **монето- или money-кратией**. Во время такой перестройки мышление для своего постоянного обновления не нуждается ни в памяти, ни в личности, ни в вере, обеспечивая себя теми возможностями, которые связаны с монетарностью. Выход через такой катаклизм опасен тем, что он открывает все пути, в том числе старые, на которых делаются попытки обновить и память, и веру, и патриотизм: это и есть авторитарные пути. При утрате опоры в социальности на этих путях обнаруживаются желание и возможность (через финансовый капитал, военную силу) навязать обществу решения, от которых оно уже, было, отказалось, но в силу «усталости» готово их принять, тем более что советизм, повторим, до конца не повержен, а только прикрыт. Закон о запрете неправительственных организаций, которые финансировались иностранными фондами и которые были способны служить основанием гражданского общества, стал той фишкой, которая позволяет поставить вопрос, а не является ли сама российская потребность в таком обществе потребностью гоголевского Ноздрева выговориться и надолго замолчать? Ведь не случайно термин «гражданское общество» употребляется как антоним термина «военизированное общество» и при желании его цели можно свести к чему угодно, например, к проблемам образования.

Сейчас некоторые национальные республики в России «получили столько автономии, сколько хотели». Каким же образом гражданское общество, предположительно охватывающее всю Россию и основанное на общеевропейских принципах светских свобод, может допустить внутри себя религиозную правовую систему, скажем, шариат? Разумеется, исповедуя

свободу совести, нельзя вмешиваться в политико-религиозную жизнь людей (стран) с иным, чем у нас, вероисповеданием. Но ориентированный на европейские ценности человек оказывается при этом в состоянии парадокса. Признавая, что азиатские и кавказские регионы страны перестали пылить за ее европеизированной частью, он будет отстаивать право на их культурную самостоятельность и на независимость правовых систем, ибо он — европеец особого рода: он живет не только в многонациональном, но и в многоконфессиональном государстве. Это значит, что при провозглашенном принципы свободы и равенства он обязан признавать религиозные права и таких конфессий, где нет деления на светское и духовное, где человек сакрализует все мирское и в любом случае действует от имени своего Бога или богов. Может ли быть в таком случае сложено гражданское, нерелигиозное общество, признающее равные права мужчин и женщин и отстаивающее для них правовое единство?

Европейская система права отвергает право религии вмешиваться в светскую жизнь людей. Примером такого рода является запрет на ношение хиджаба во Франции. Священный закон может быть сильнее светского, но определяет права человека в мире не он. Недавние бунты арабской молодежи во Франции показали предел, до которого были доведены права человека, в том числе права на передвижения, эмиграцию и пр. Безграничная либерализация привела к необходимости защиты гражданских прав населения, которое признало главной для себя правовую систему, основанную на либерализме. В этом случае колеблется роль интеллигенции в становлении гражданского общества. Тем более что гражданские общества в Европе были созданы не с ее помощью (она там отсутствовала), а с помощью профессионалов-легистов и предпринимателей, которые служили не государю, а общему благу государства. При этом общему благу служил и государь. Российский же византинизм, то есть зависимость всех и каждого только от личности государя в отличие от изначальной иерархической организованности европейского общества (когда вассал моего вассала — не мой вассал, даже если я — государь), это общее служение исключал. Этот подспудный византинизм, давление истории на менталитет человека, двуосмысленная природа закона, внешне выполняющего служебную или утилитарную роль, но внутренне подпертого тем, что со времен Платона называется врожденными идеями, обеспечивает возможность возврата к авторитарному правлению. Здесь как раз и требуется сохранение мудрого баланса между старым и новым.

Двуосмысленность закона предполагает единство писаного и неписаного права, которые в зависимости от требований момента проявляют то одну, то другую сторону. При революционной смене государственного строя заметно снижается роль фиксированного свода права, а мы пережили с 80-х годов, по крайней мере, два революционных кризиса — 1989 г. и 1991 г. Требовательные призывы к установлению гражданского общества, которое стояло бы над идеологией, над партиями и осуществляло бы контроль над действиями правительства, правоохранительных органов, судопроизводства, шли от интеллигенции, которая, повторим, была своеобразным закоперщиком и государственных сдвигов. «Младшие научные сотрудники» вкупе с академиками А.Д. Сахаровым, Вяч.Вс. Ивановым и С.С. Аверинцевым и многими правоведами взялись за дело, засучив рукава, но **сути** дела не знал никто. «Опыт словаря нового мышления» показал способы его формирования. Одни авторы «Словаря» полагали, что перекапывать надо «все до основания», другие оглядывались на преступную правящую КПСС, третьи надеялись на идейную помощь Запада (в «Словаре» представлены два взгляда на зарождающуюся российскую демократию — российских и западных политологов). Публикацию такого опытного словаря можно было бы назвать началом формирования гражданского общества, если бы слова сопровождались конкретными и не запоздалыми делами. Новая мысль требовала определения собственности, установления отношения к ней и ее правообеспеченности. Но именно понятие собственности не было продумано ни философски, ни юридически, ни экономически или политически, поскольку прежние —

коммунистические — принципы предполагали полную отмену собственности. В этих терминах мы не расценивали свою жизнь. Поэтому правом не были обеспечены ни личная собственность (выражение «собственник» имело негативный смысл), ни общенародная, прежде всего земельная. У власти в конце 80-х оказались «хорошие люди» (термин тех лет), но оказались растерянными перед этой проблемой.

Не было и того, что в средневековые времена называлось достоинством земли, предполагавшим, что земля становилась графством, маркизатом или крестьянским мансом не оттого, что ею владел граф, маркиз или крестьянин, а наоборот — достоинства/недостатки земли позволяли владельца называть графом, маркизом, дворянином, которому не возбраняется держать и крестьянскую землю, платя налог, соответствующий качеству этой земли.

В России же земля всегда была «бесправна», и это стало выгодно современным «захватчикам-практикам»: они осуществили быстрый захват разбросанных, никому не принадлежащих и неоцененных земель и недр в свои руки. Возможность захвата была обнаружена, но не осознана, отчего произошел разлад между активностью делателей и пассивностью думающих. В.В. Бибихин, который, может быть, одним из первых всерьез обдумывал этот разлад, писал, что современный захват мира, приватизация — прямое продолжение девяностолетия (или еще дольше) обобществленной собственности в России. В этот захвате он сумел разглядеть самоё «стихию человеческого существа», включающую в себя юридический беспредел, упреждая ситуацию, при которой захват как удивление перед миром, если не осмыслить его именно как удивление, то есть не осмыслить философски, может превратиться в грабеж[19]. Другой философ, М.К. Петров, еще раньше В.В. Бибихина показал связь такой философии с хитроумным Одиссеем, умевшим обойти рифы разбоя и привязывавшим себя к мачте корабля, слыша пение сирен, но не бросаясь, очертя голову, на их призыв. Оба философа обратили внимание на то, что в определение мудрости входит безупречная техническая точность, обнаруженная Аристотелем в деятельности камнерезов и скульпторов (Никомахова этика, VI 7 1141a 9). Беспредел, а теперь и прямая насмешка над обществом возникает там, где «видение» не превращается в сознательное «ведение». Поскольку беспредел «концептуально не уловим», то «юридическому сознанию кажется», что собственник *готов* к обладанию собственностью, а на деле готов только к ее *сохранению* любыми средствами, поскольку эти проблемы возникают вследствие раннего и незаметного «перевертывания всякого увиденного *есть* в смысле имеется в *есть* в смысле у меня имеется»[20].

Вопрос именно в том, *у какого меня* есть эта собственность, ибо на роль «я» может претендовать и частное лицо, делающее многократные попытки юридически ее оформить, и государство, пользующееся тем, что юридическая практика *не готова* к такому оформлению: скачок от бессобственного состояния к собственному остался за пределами кодифицированного права. Владение частной собственностью в России у всех под вопросом и может быть, как видно из многих нынешних так называемых экономических дел, только временным. Более того, не схвачена двуосмысленность понятия собственности как 1) записи имущества на юридическое лицо и как 2) этимологического обозначения «своего», связанного с поиском себя. «Мы ничему не принадлежим так, как своему, — пишет В.В. Бибихин. — Мы заняты своим делом, живем своим умом и знаем свое время. *Свое* определяет владение в другом смысле, чем нотариально заверенное имущество… Русская *свобода* происходит от *своего* не в смысле собственности *моей*, а в смысле собственности *меня»,* и это «собственно свое непознаваемо… попытки вычислить, сформулировать уводят от него»[21]. Однако сама эта непознаваемость обеспечивает свободу собственности. «Вещь принадлежит тому, кто ей возвра-

[19]См.: Бибихин В.В. Своё, собственное // Бибихин В.В. Другое начало. — М.: 2003. — С. 364 — 365.
[20]Там же. — С. 365.
[21]Там же. — С. 370 — 371.

щает ее саму, обращается с ней по ее истине»[22], а не на основании того, что она может мне дать или что я могу от нее получить. Такой узкий подход к делу в России, не создавшей своей теории собственности и прежде оглядывавшейся на Маркса, может сделать неудачными любые юридические попытки ее отстоять, если прежде не будет допытана сама истина вещи, которая включает и ее свободу от меня. В некоем «важном смысле» крепостной крестьянин в царской России был, на взгляд В.В. Бибихина, владельцем полнее и свободнее, чем помещик[23], потому что именно крестьянин, а не помещик сидел на земле и был с нею заодно.

Гражданское общество потому так и необходимо, что, не следуя политическим и владельческим указкам, ставит интерес отдельного человека на первое и главное место. Проблема именно в том, кто и что может дать стимул рождению такого общества. Провал первой постсоветской попытки, осуществленной интеллигенцией, позволяет критически рассматривать возможность ее приоритетного участия в его создании, тем более что, вопреки своему имени, интеллигенция склонна к мистицизму. То, что на Западе обсуждалось бы как научная *гипотеза*, в России вполне может быть принято за истину в последней инстанции. Так было с конца XIX в., когда союз ума, воли и дела заместился субъективными устремлениями отдельных исторических личностей. Правда, земство и такая политическая сила как либеральная интеллигенция, прежде всего партии октябристов и кадетов пытались всерьез провести либерализацию страны, установление парламентаризма, введение частной собственности на землю, регистрацию обществ и собраний, подчинение бюрократии общественному контролю, но это многими рассматривалось не как самоценная необходимость, а как вина перед попранными правами народа, не позволившая нецивилизованной России решить цивилизационные проблемы. Однако, как поражение революции 1905 г., так и победа ее в 1991 г. привели к тому, что интеллигенция как нечто ответственное за итоги своей деятельности практически исчезла. И в 1905 г., и тем более в 1991 г. она скорее обозначила *конец* своей миссии*, а не канун*, хотя *лишь «накануне» у интеллигента происходит концентрация всех сфер духовной деятельности, при которой одновременно взвинчиваются и нравственные усилия.* Потом начинается вырождение. Тогда был крен в сторону интеллигентного пролетариата (как считал С.С. Ольденбург), а сейчас — в сторону любого профессионально действующего специалиста или бомжа, поскольку отпадает необходимость в постоянном участии в той политической деятельности, которую можно было бы считать не следствием пиара, а нравственной работой. Интеллигенция представляла силу только в моменты рассогласованности реального дела и реального слова. Для народа такая интеллигенция была «не грабителями… даже не просто чужими как турок или француз, — писал русский европеец М.О. Гершензон, — он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно»[24]. Это напоминает резко негативное отношение того же народа к какому-нибудь правительственному деятелю, пока тот не проявит качеств *профессионала* и *специалиста*.

В гражданском обществе исходное право — это право суверенного индивида. Можно сказать: я сам себе суверенное государство, как сказал о себе А.А. Зиновьев, при признании прав других столь же суверенных индивидов и противопоставить себя угнетающему властному государству. Впрочем, если мы говорим о моделях, то моделью при высокоразвитом технологическом, основанном на экономии знаний обществе и может стать я-государство или человек-государство, manstate, существующий *в* общественном договоре с другими.

[22]Там же. — С. 378.
[23]Бибихин В.В. Введение в философию права. — М.: 2006. — С. 45.
[24]Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи. — М.: 1990. — С. 74—75, 91, 92.

ВЛАСТЬ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XV В.: ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

К.А. Соловьев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

Аннотация: *В статье анализируются процессы формирования официальной идеологии в России во второй половине XV в. Как показывает автор, в основе официальной позиции в отношении власти государя всея Руси лежало три идеи, в разном их сочетании: идея «отчинной» традиции, в соответствии с которой власть великого князя должна была восприниматься как исторически обусловленная данность; идея богоустановленности власти, сужающая свободу маневра правителя и ограничивающая его волю; и идея правления по воле великого князя, сочетающая тираническое начало с традиционно-семейными ценностями и понятием долга. Однако официальная позиция власти в самом начале XVI в. все еще выглядит чрезвычайно слабой и именно этим объясняется появление именно в конце XV и в первой четверти XVI в. большого количества неофициальных идеологических и политических текстов, сложившихся в итоге в концепцию Москва — Третий Рим.*

Ключевые слова: *официальная идеология, легитимность власти, «отчинная» традиция, богоустановленность власти, Москва — Третий Рим.*

Представление о том, что последнюю треть XV в. в России можно рассматривать в качестве начальной стадии процесса формирования официальной идеологии, утвердилось в отечественной историографии в конце 1970-х годов[1]. Наиболее распространенным стало мнение о том, что систематического и непротиворечивого изложения взглядов на прошлое, настоящее и будущее государства, на его участие в делах народа и влияние в различных сферах жизни еще не было в период правления Ивана III[2], хотя потребность в установлении офи-

[1]Гольдберг А.Л. У истоков московских историко-политических идей XV в. — Труды Отдела древнерусской литературы (ТОДРЛ), 1969, т. 24. — С. 147—150; Его же. К предыстории идеи «Москва — Третий Рим» // Культурное наследие Древней Руси. — М.: 1976; Хорошкевич А.Л. История государственности в публицистике времен централизации // Общество и государство феодальной России. — М.: 1975. — С. 114—116; Синицина Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. — М. :1998.

[2]Я.С. Лурье считал возможным существование «официальной консервативной идеологии» уже в 1470-х годах (Лурье Я.С. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV — начала XVI в. — М.-Л.: 1960. —

циальной позиции власти по поводу предпринимаемых этой же властью действий возникала все чаще.

Происходило это во многом потому, что в ходе формирования новой московской государственности традиционные представления о власти великого князя становились помехой, тяжелым грузом, лишавшим его возможности быстро и безболезненно внедрять новые формы управления. Но освободиться от этого груза было нелегко даже тем, кто выступал в качестве новаторов властной сферы. Великому князю и его помощникам необходимы были идеи, примиряющие традицию с новыми формами или же выдающие новое за давно известное. В то же время каждый новый политический шаг неизменно вызывал в стране и за рубежом вопросы, содержание которых обобщенно можно свести к одному: почему (и по какому праву) московский государь делает, то, что до него никогда не делалось. Ответы на эти вопросы (а иногда и объяснения, их упреждающие) позволяют увидеть, как и в каких условиях складывалась официальная позиция власти, как проходил отбор идей, отвечающих общим задачам правления в тот период, что думал о своей власти сам правитель России, великий князь Иван Васильевич III. Эти ответы-объяснения постепенно складывались в прообраз будущей официальной идеологии.

Первый случай, когда настоятельная потребность в выражении официальной позиции власти оказалась настолько высока, что нашла свое отражение в летописании, относится ко времени конфликта с Новгородом конца 1470 года. Попытки объяснить правоту московского государя начались сразу после того, как до него дошли вести о том, что «в отчине его Великом Новегороде возмятение велико»[3]. Оценка великим князем обстановки, когда практически произошло «отложение» новгородцев, пригласивших к себе вассала великого князя Литовского, князя Михаила Олельковича, из Киева, помещена во II Софийской летописи и представлена как «слова» сказанные великим князем «в сердце своем»: «„Праведен еси господи, прави суди твои, яко праведен господь правду возлюби, и правая виде лице его“. И сиа помышля, жаловашиих своеа отчины, не хоте видети многиа пролитиа крови христианскиа, глаголе в себе: „Многажды убо волны, приразившесь камени в пены разливаются, ничто же успеют, яко по смирании от него исчезают. Тако же и сии наши мужи новгородстии не первую сию нам измену показывают, но господь бог смирит их“»[4].

Эта кроткая речь, для понимающих (то есть начитанных) людей того времени, наполнена грозным содержанием. Ее первая фраза — прямая отсылка к откровению Иоанна Богослова. Фрагмент, на который ссылается автор летописи, в полном виде, выглядит так: «Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. // И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; // за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того. // И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои» (Откр. 16. 4-7).

Что же касается второй «мысли» великого князя, то, по всей видимости, она должна напомнить читателю фрагмент из 5-й главы Книги пророка Иеремии: «Выслушай это, народ глупый и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит: // Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом, которого не перейдет; и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут; хотя они бушуют, но переступить его не могут. //А у народа сего серд-

С. 365, 366, 373). В полемике с ним было сформулировано положение о начальном, незавершенном характере становления идеологии в XV веке. Позже Ю.Г. Алексеев предложил более умеренный вариант термина для характеристики официальной позиции власти — «политическая доктрина» (Алексеев Ю.Г. Историческая концепция Русской земли и политическая доктрина централизованного государства // Проблемы отечественной и всеобщей истории. — 1987. — Вып. 10. — С. 140—154.).

[3]Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 25 (Московский летописный свод конца XV в.). — М.: 2004. — С. 285.

[4]Там же, т. 6, вып. 2 (Софийская летопись). — М.: 2001. — Ст. 188—189.

це буйное и мятежное; они отступили и пошли; // и не сказали в сердце своем: „убоимся Господа Бога нашего“… Как клетка, наполненная птицами, домы их полны обмана; чрез это они и возвысились и разбогатели, // сделались тучны, жирны, переступили даже всякую меру во зле, не разбирают судебных дел, дел сирот; благоденствуют, и справедливому делу нищих не дают суда. // Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот?» (Иер. 5; 21-29).

Здесь, в этих отсылках к библейским текстам, есть все: и измена, и суд, и месть, и кровь, и огонь. Но отправлять такое послание, полное намеков и зашифрованных угроз, не имело смысла: это было сказано (и записано) скорее для будущих читателей летописи. Тех, кто будет иметь время и желание разобраться во всех оттенках искусно сконструированной (и, скорее всего, никогда не произнесенной) речи великого князя. Официальное «Послание митрополита Филиппа»[5], отправленное в Новгород, содержит совсем иные образы и опирается на иные цитаты. Оно начинается с упреков в стремлении к мятежу и расколу «святой Божии церкви», отступлении от «православия и от древниа державы» и тяготении «к Латынству». Далее, как этого требовали правила риторики того времени, намечаются своеобразные «опорные точки» для построения необходимой смысловой конструкции. Этими «опорными точками» служат отсылки к текстам Библии, создающие череду образов и одновременно — указания на признаки правильного либо неправильного политического поведения.

Первой такой опорной точкой становится образ «серпа» из книги пророка Захария («И вы Божиа гнева убоитеся и Его страшнаго серпа»). Метафора «серпа» очень сложна, поскольку никакого серпа, что-либо скашивающего (как это можно было бы ожидать), в книге Захария нет. Прозвание Захарий-серповидец дано было ему за то, что он видел свиток, традиционно в иконописи изображаемый в виде серпа: «И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток. И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей. Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне (Зах. 5. 1-3). Общий смысл метафоры: отказавшиеся от клятвы (православию и великому князю) будут прокляты и истреблены. А для малосведущих в православной символике людей ярким зримым образом становится некий ниспосланный богом серп, скашивающий отступников.

Вторая отправная точка: «И вы от такового их злодейства возражайте по реченому: „Бежи греха яко ратника, бежи от прелести, яко от лица змиина“». Здесь содержится отсылка к «Книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова»: «Беги от греха, как от лица змея; ибо, если подойдешь к нему, он ужалит тебя» (Сир. 21. 2.). Специально или нет подталкивал митрополит Филлип своих адресатов к «Книге Премудрости», сказать нельзя. Но именно здесь в десятой главе содержится и поучение о мудром царе: «Мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. // Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. // Царь ненаученный погубит народ свой, а при благоразумии сильных устроится город. // В руке Господа власть над землею, и человека потребного Он вовремя воздвигнет на ней» (Сир. 10. 1-4). В этом поучении — сердцевина церковного учения о власти: она Богом дается и Богом отбирается. И не людям думать о том, какую власть выбирать.

Эта мысль находит подтверждение в следующем фрагменте послания — об истории «царствующего великого Константинополя», перешедшего к «Латынской прелести», отступившего «от истины» и погибшего. А в заключение своего послания Филипп прямо призывает новгородцев: «Смиритеся ему же Богом покорени есте, под крепкую рукою благовернаго и благочестиваго государя великого князя Ивана Васильевича всея Русии, вашего отчича и дедича». И он приводит, как последнюю опору своей конструкции, цитату из послания Пав-

[5]Послание цит. по Никоновской летописи: ПСРЛ. Т. 12. — М.: 2000. — С. 127—129.

ла: «Всяк повинующийся власти Божию повелению повинуется, а противящийся власти Божию, Божию повелению противятся… Бога бойтеся а князя чтите, божий бо слуга есть, не туне меч носит, в месть врагам, в похвалу добродеем». Имеется в виду 13-я глава «Послания к римлянам»: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. // Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. // Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, // ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим. 13. 1-4). При этом словесный оборот: «Бога бойтесь, а князя чтите», попавший в текст Филиппа не из послания Павла, а из первого послания апостола Петра — «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 3.14) — был известен на Руси по крайней мере с XI века. Он встречается в «Послании Луки Жидяты», первого русского, по своему происхождению, новгородского архиепископа[6], что придает завершающей части послания митрополита Филиппа дополнительный смысл, обращающий новгородскую традицию против самих же непокорных новгородцев.

Итак, суть послания Филиппа укладывается в три цитаты и три постулата. Первый: не вам, людям, решать какова будет власть. Второй: решение о власти принято давно, оно исполняется из поколения в поколение, от дедов к отцам, от отцов — к ныне живущим. Третий: отступление от Богом установленного порядка ведет непокорных новгородцев к «серпу Захария», то есть — к истреблению.

А теперь обратимся к тому, какова была официальная позиция самого великого князя. В «Московском летописном своде конца XV в.» приведен содержательный фрагмент из письма великого князя новгородцам. В нем нет ученых слов, нет отсылки к книгам Ветхого и Нового завета, нет скрытых намеков. Вот он: «Отчина есте моя, люди Новгородстии, изначала от дед и прадед наших, от великого князя Володимера, крестившего землю Русскую, от правнука Рюрикова, перваго великого князя в земли вашеи. И от того Рюрика даже и до сего дне знали есте один род тех великих князеи, прежде Киевских, до великого князя Дмитриа Юрьевича Всеволода Володимерьского. А от того великого князя даже и до мене, род их, мы владеем вами и жалуем вас и бороним отселе, а и казнити волны же есмь, коли на нас не по старине смотрити начнете. А за королем никоторым, ни за великим князем Литовским не бывали есте, как и земля ваша стала. А нынче от христианьства отступаете к Латынству чрес крестное целование, а яз, князь велики, ни которые силы ни чиню над вами, ни тягости не налагаю выше того, как было при отце моем, великом князе Василье Васильевиче, и при деде моем, и при прадеде, и при прочих великих князеи рода нашего, но еще и жаловати вас хочю, свою отчину»[7].

Подлинность этой записи косвенно подтверждается сообщением Псковской II летописи: «Тоа же зимы в рожественое говение приеха послом от великого князя с Москвы Ивана Васильевича всеа Руси боярин его Селиван поднимати пскович на Великои Новогород: аже ми не добиеть челом Великои Новогород о моих старинах, тогды бы есте моа вотчина Псков послужил мне Великому князю на Великий Новогород»[8]. Обороты: «отчина есте моя люди Новогородстии» и «есте моя вотчина Псков», совпадая и по смыслу и лексике, отсылают слушателей к «отчинной» традиции власти. Обвинение новгородцев в забвении «старин» (в обращении к псковичам), пересекается с указанием на эти «старины» от Рюрика и до отца великого князя в обращении к самим новгородцам. Очевидно, что письмо к новгородцам и об-

[6]Сергеевич В.В. Древности русского права. Т. 2. // http://statehistory.ru/books/Vasiliy-Sergeevich_Drevnosti-russkogo-prava--T-2--Veche-i-knyaz--Sovetniki-knyazya/94; Карташев А.В. Очерки по истории русской церкви. Т. 1 // http://lib.eparhia-saratov.ru/books/10k/kartashev/russianchurch1/39.html

[7]ПСРЛ. Т. 25. — С. 285.

[8]Псковские летописи. Вып. 2. — М.: 1955. — С. 173.

ращение к псковичам выдержаны в одном смысловом и терминологическом ключе, для которого Д.С. Лихачев подобрал определение: «теория киевского наследства»[9], а А.Л. Хорошкевич — «патримониально-теократическая теория власти»[10].

В письме великого князя к новгородцам всего пять предложений. Первое предложение формулирует принцип «отчинной» власти, сохраняемой одним родом и переходящей из поколения в поколение. Второе предложение дополняет этот принцип «преемственностью столиц»: Киев — Владимир — Москва. Таким образом, до появления теории «Москва — Третий Рим», формулируется теория: «Москва — третий Киев». Третье предложение раскрывает полномочия власти: жаловать, защищать, казнить. Четвертое возвращает читателей к теме исторической традиции — через отрицание возможности власти на Новгородской земле польского короля и великого князя Литвы. И только в последнем, пятом, возникает тема отказа новгородцев от православия.

Примечательно имя великого князя, чье правление избрано в качестве начальной точки «отчинной» традиции. Этот князь — не Рюрик, упомянутый в тексте как «первый князь» в земле новгородцев. Традиция ведется не от него, а от Владимира Святославича и (через упоминание Всеволода Большое Гнездо) до отца Ивана III, великого князя Василия Васильевича. Почему же Владимир? Возможно, потому, что он — первый князь, правивший в Новгороде не сам по себе, а как сын великого князя. Его фигура в таком случае должна была обозначать начало традиции перехода власти в Новгороде от отца к сыну, как семейное дело. Кроме того, Владимир — первый великий князь, совершивший самостоятельное властное действие по отношению к Новгороду — он утвердил там новую религию.

Другое возможное объяснение проще. Иван III начинает отсчет от Владимира Святославича, а заканчивает Василием Васильевичем в полном соответствии с текстом Новгородской I летописи младшего извода, Комиссионный список которой завершается 1439 годом. В этом своде содержится перечисление всех правивших в Новгороде князей. Начинается оно так: «А се в Новогроде первый князь по крещении Вышеслав, сын Володимир…», а заканчивается именами трех великих князей: прадеда, дела и отца Ивана III[11]. Тем самым Иван III выдвигает новгородцам дополнительный довод: смотрите, я остаюсь в рамках той традиции, которая принята вашим официальным летописанием, я не выхожу за эти границы я тот великий князь, который должен быть по вашим собственным установлениям.

Таким образом, в трех рассмотренных текстах представлены две официальные позиции: церковная, отражающая концепцию богоустановленной власти (в сложном и простом вариантах) и великокняжеская — с опорой на «отчинную» традицию. При этом церковная позиция (в упрощенном варианте послания митрополита Филиппа) смещена в сторону «отчинной», поскольку великий князь в ней выступает не как отдельно взятый представитель божественной воли, но как «отчич и дедич», то есть представитель династии, что, впрочем, имеет очень давние корни. Еще в «Слове о законе и благодати» митрополит Иларион настаивал на идее родовой преемственности правой власти: «Добръ же зѣло и вѣренъ послухъ сынъ твои Георгии, его же сътвори Господь намѣстника по тебѣ твоему владычьству, не рушаща твоих уставъ, нъ утвержающа, ни умаляюща твоему благовѣрию положениа, но паче прилагающа, не казяща, нъ учиняюща»[12].

При этом позиция «отчинной» власти имела слабую сторону и не вполне соответствовала задачам нового правления. В 1433 г. отец Ивана III Василий Васильевич спорил в Орде со своим дядей Юрием Дмитриевичем о том, кто из них должен быть великим князем Владимирским: «Князь велики Василей Васильевич по отечеству и по дедству искаше стола свое-

[9]Лихачев Д.С. Культура Руси эпохи образования Русского национального государства. — М.: 1946. — С. 40.

[10]Хорошкевич А.Л. Ук. соч. — С. 114.

[11]Новгородская летопись старшего и младшего изводов. — М-Л.: 1951. — С. 161—163.

[12]Слово о Законе и Благодати митрополита Илариона. — БЛДР Т. 1. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4868 .

го, Юрьи Дмитреевич, дед его, летописцы и старыми списки и духовною отца своего великого князя Дмитреа»[13]. Два представителя одной династии уже тогда, по сути, разодрали «отчинную» традицию великокняжеской легитимности на две части, что во многом способствовало началу «феодальной войны» и вызвало к жизни более десятка как старых и забытых, так и совершенно новых способов легитимации власти московского государя.

Одним из следствий феодальной войны стало то, что все поиски убедительного основания той или иной властной позиции оказались исчерпаны. Великий князь Василий Васильевич Темный, утвердившись на московском столе, предпочитал действовать без какого-либо официального заявления, как это было в случае с походом на Новгород: «За неисправление Новогородец поиде на них ратью». Летописцу пришлось тогда самому давать объяснение, которое было вложено в уста новгородцев, молящих архиепископа Ефимия, «что бы до конца не погыбли есмы за свою измену к нему, господину своему, великому князю». Ефимий, обращаясь к Василию Васильевичу, называл действия новгородцев «преступлением» и «согрешением». Сам же летописец цитировал 32-й Псалом: «И сбыться реченное пророческое слово над нами, глаголюще: „ложь конь во спасение, в множестве же силы своея не спается“». Цитата эта подобрана по необходимости и, возможно, второпях, потому что сильно искажена и, кроме того, обращена на сопротивляющихся «правителю», в то время как в самом псалме говорится о царе: «Не спасется царь множеством воинства; исполина не защитит великая сила. // Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею» (Пс. 32. 16—17). Смысл цитаты в отсылке к Притчам Соломона: «Коня приготовляют на день битвы, но победа — от Господа» (Притч. 21.31), что, впрочем, ничего не дает нового для понимания, того, почему Василий II считал новгородцев изменниками и на основании чего еще, кроме военной победы, мог привести «весь Новгород к целованию, что им быть у него в послушании»[14]. Четырнадцать лет спустя новый великий князь Иван III чувствует настоятельную потребность в объяснении причин похода и демонстрации своей официальной позиции. Со временем эта потребность все возрастала, часто вопреки желанию самого великого князя.

За восемь лет, прошедших между первым и третьим походами Ивана III на Новгород, угроза сопротивления власти великого князя Московского была сведена к нулю. «Антимосковская, по своему духу, боярская политика располагала лишь шаткими средствами дипломатии и социальной демагогии, — пишет о событиях 1476—1478 гг. В.Л. Янин. — Лишенная поддержки со стороны широких масс новгородского общества, она балансировала на туго натянутом канате дипломатических комбинаций, не будучи в состоянии отыскать более надежную опору»[15]. Позиции московского государя в Новгороде существенно усилились. Но при этом поступки Ивана III вступили в неразрешимое противоречие с традицией властного взаимодействия Новгорода и великого князя.

Новые принципы управления были изложены великим князем (не лично, а через ближних бояр) представителям новгородцев 7 декабря 1478 года. Делегацию велено было принять ближайшим боярам Ивана III, во главе с князем Иваном Юрьевичем Патрикеевым, который и выступал от имени великого князя. Новгородцы в своих челобитных ссылались на традицию: «Первая речь Якова Коробова с челобитьем, чтобы государь князь великий пожаловал, велел своему наместнику судити с посадником… а Лука посадник бил челом, чтобы государь пожаловал пригороды Новогородские держал своими наместники, а суд бы по старине был»[16].

«Старина» для Новгородцев означает и то, что великий князь должен быть один. Они не обращаются к двум великим князьям: отцу и сыну, они знают одного — Ивана III. Кроме того, старина — это сохранение вечевой системы, а также «сместного суда» наместников ве-

[13]ПСРЛ. Т. 12. — С. 16.
[14]Там же. — С. 274—275.
[15]ЯНИН В.Л. Очерки истории средневекового Новгорода. — М.: 2008. — С. 325.
[16]ПСРЛ. Т. 12. — С. 180.

ликого князя и посадников. Логика новгородцев проста: «по старине» — значит без изменений. А другой «старины» кроме прямого (через одного из членов его семьи) или опосредованного (через наместников) *участия* великого князя в управлении (прежде всего — в суде) придумать нельзя. Эта система в своей основе сложилась в XI веке, и никакой другой «старины» не было.

Ответ великого князя прозвучал из уст бояр, но есть все основания полагать, что он не был импровизацией князя Патрикеева, а представлял собой письменный текст, зачитанный представителям Новгорода, а затем переписанный в летописный свод. Вот эти слова: «Били есте челом мне, великому князю, ты, наш богомолец, и наша отчина Великий Новогород, зовучи нас себе государи, да чтобы есмы пожаловали, указали своей отчине, какову нашему государьству быти в нашей отчине в Великом Новегороде; и яз князь великий то вам сказал, что хотим господарьства на своей отчине Великом Новегороде такова, как наше государьство в Низовской земле на Москве; и вы нынече сами указываете мне, а чините урок нашему государству быти: ино, то, которое мое государство?»[17].

Интонация победителя, звучащая в этом ответе, не оставляет новгородцам никакого другого выхода, кроме смирения и покорности, что и демонстрирует речь, произнесенная от имени новгородской делегации: «Мы своим государем великим князем урока не чиним их государству; но пожаловали бы наши государи свою отчину великие князи, явили то своей отчине великому Новугороду, как их государству быти в их отчине, занеже господине, отчина их великий Новегород Низовские пошлины не знают, как государи наши великие князи господарьство свое держат в Низовской земле». Это полная капитуляция: обращаясь, теперь уже к двум великим князьям, новгородцы согласны на все, прося лишь разъяснить, как теперь будет устроено управление по незнакомым им обычаям. Ответ последовал в новой речи князя Патрикеева: «Князь великий тебе, своему богомольцу владыце, и вам, посадником и житиим и черным людям тако глаголет: …ино наше государство великих князей таково: вечю колоколу во отчине нашей в Новегороде не быти, посаднику не быти, а господарство свое нам держати»[18].

В этих двух речах, произнесенных от имени Ивана III, он как государь трижды отрекается от древней традиции, сохраняя при этом лишь два элемента древней формулы. Он попрежнему именует Новгород своей «отчиной» (1) и использует оборот «зовучи нас к себе» (2), что напоминает о ветхой старине — времени, когда новгородцы и в самом деле могли «звать к себе» того или иного князя. Но вводятся три новых элемента управления: отменяется договорный принцип взаимодействия великого князя и Новгорода (1), уничтожается городское самоуправление (2), организация власти в городе уравнивается с той, что действует в «Низовской земле», то есть в Москве (3). Основание для этих перемен одно — воля великого князя. Больше никаких оснований не приводится, да и не могло быть приведено, потому что в этот момент Иван III находился в идеологическом вакууме. Он не мог опереться на традицию, поскольку она не наделяла великого князя теми полномочиями, какие он себе присвоил. Он не мог привести в оправдание своих действий ничего, кроме конструкции: «Вы меня спросили — я ответил: будет вот так».

Слабость этой конструкции очевидна. Она подрывает легитимность власти великого князя во всех отношениях. Он теперь не может считаться носителем традиции и все упреки в ее, этой традиции, разрушении отныне будут обращены именно к нему. И он не может ответить на вопрос (не высказываемый, но подразумеваемый): а что теперь вместо традиции? Почему теперь будет так, а не иначе? Потому что великий князь силен, а Новгород слаб? Но это

[17]Там же. — С. 181.
[18]Там же.

объяснение тирана, а не государя[19]. И к тому же незримо встает новый вопрос, а что будет, если государь, по каким-либо обстоятельствам лишится своей силы?

У великого князя под рукой есть готовое объяснение собственной правоты, предлагаемое церковью, — богоустановленность его власти. Но ни в одной речи, обращенной к новгородцам, это объяснение не используется. Возможно, Иван III не хотел попасть в идеологическую зависимость от церкви. Может быть, за два года до обретения независимости, он психологически не готов был к роли «царя». Об этом косвенно свидетельствует «Послание на Угру» ростовского митрополита Вассиана. Представляется важным и то, что использование идеи богоустановленности предполагает, чтобы подданные великого князя были хотя бы в общих чертах с этой идеей ознакомлены. Трудно же убеждать новгородцев, в том, что великий князь им поставлен от бога, если они точно знают, что их предки князей приглашали и изгоняли, а бога не спрашивали.

Легитимация решений Ивана III по отношению к Новгороду прошла посредством обряда «крестоцелования», что означало некий компромисс между полным своеволием великокняжеской власти и «отчинной» традицией. 18 января 1478 г. к польскому королю Казимиру и наместникам Ивана III были направлены послы, с сообщением о крестном целовании и пересказом содержания грамоты: «На которой грамоте великим князем крест целовали есте, по той грамоте государем своим и правили бы есте по тому крестному целованию; а что услышит кто у брата своего у Новогородца о великих князех, о добре и лихе, и вам то сказати своим государем великим князем; а что учнут великие князи с вами говорити которое свое дело, или бояря великого князя кой с кем от вас иметь которое дело великих князей говорити, и того вам государьскаго дела не проносити по тому крестному целованию»[20].

Право на власть Ивана III в отношении Новгорода с этой грамоты начиналось как с чистого листа, и это — вынужденный компромисс, в условиях, когда ничего другого для утверждения власти, кроме голой силы, нет. У крестоцелования есть одно достоинство: его веками использовали для закрепления договоров, следовательно, этот способ понятен и не может вызвать ни сомнений, ни возражений. Но у него три существенных недостатка. Первый — крестоцеловальные грамоты широко использовались в междукняжеских отношениях именно как форма утверждения договора. А Ивану III хотелось избежать договорных отношений с Новгородом раз и навсегда. Это следует из настойчивых отсылок к порядком «Низовской земли». Ведь с москвичами Иван Васильевич договора не заключал. Второй недостаток — продолжение первого. Князья заключали договоры и составляли крестоцеловальные записи в каждом поколении, а иногда и в одном поколении вынуждены были составлять новые грамоты, заменяя ими устаревшие. Это значит, что такие грамоты не дают и не могут создать династической традиции. Третий недостаток состоит в том, что попытки использовать крестоцелование как способ закрепить передачу власти по наследству уже использовалась в конце XII и начале XIII века. Все они потерпели неудачу. Смерть князя, заставившего представителей городских общин составить такую грамоту, обрывала легитимность его правления и вместе с тем сводила на нет действие крестоцелования.

Компромиссный характер крестоцелования не мог не ощущаться всеми, кто участвовал в этих событиях. Нужна была более устойчивая позиция власти. И нужны были новые средства (и формы) ее обоснования. Возможность перейти к этим новым формам представилась в 1480 году. И в том послании, которое епископ Вассиан отправил великому князю на Угру, помимо собственно призывов не уступать, добиваться независимости, содержались зерна новой легитимности.

Вассиан увязал их своем Послании, скрепляя цитатами из священных текстов и отсылками к истории Руси. Главная мысль, пронизывающая все Послание от начала до конца, луч-

[19]Н.С. Борисов как раз и именует Ивана III «прирожденным тираном» (Борисов Н.С. Иван III. — М.: 2000. — С. 259).

[20]ПСРЛ. Т. 12. — С. 187.

ше всего выражена здесь: «Токмо мужайся и крепися, о духовный сыну, яко же добрый воинъ Христов, по евангельскому великому господню словеси: „Ты еси пастырь добрый, душу свою полагает за овца. А наимник нѣсть, иже пастырь, ему же не суть овца своя; видит волка грядуща, и оставляет овца, и бѣгаеть; и волкъ расхитит и распудить. А наимник же бежить, яко наимникъ есть, и не радито овцах“. Ты же убо, государю, духовный сыну, не яко наимник, но яко истинный пастырь, подщися избавити врученное тебѣ от Бога словесное ти стадо духовных овець от грядущаго волка. А Господь Богъ укрепить тя и поможет ти, и все твое христолюбивое воинство»[21].

Цитатированный здесь фрагмент взят из 10-й гл. Евангелия от Иоанна: в споре с фарисеями Иисус противопоставляет пастыря разбойникам. Эта же цитата была в свое время использована митрополитом Иларионом в «Молитве», завершающей «Слово о законе и благодати». Но там пастырь — Иисус: «Пастырю добрый, положивы имдушю за овцѣ, не остави насъ, аще и еще блудимъ, не отверзи насъ, аще и еще съгрѣшаемь ти, акы новокуплении раби, въ всемь не угодяще Господу своему»[22]. У Вассиана же пастырь — государь, который не имеет права покинуть свое стадо: «И гдѣ убо хощещи избѣжати или воцаритися, погубив врученное ти от Бога стадо?»[23].

Сама по себе концепция богоустановленной власти государя — доброго «пастыря» — цельна, логична, непротиворечива и не требует дополнительных «подпорок»; тем не менее, в Послании Вассиана они имеются. В этом смысле Послание напоминает готический собор: предполагается, что его огромная конструкция боговдохновенна и сама ее устремленность к «тверди небесной» не дает ей упасть. А на самом деле вес постройки принимают на себя контрфорсы, укрепляющие одну из стен. Первой такой опорой является цитата из «Пчелы», Византийского сборника изречений, составленного в XI в. и известного на Руси с конца XII в.: «Слыши, что глаголет Димокрит, философом первый: „Князю подобает имѣти умъ ко всѣм временным, а на супостаты крѣпость, и мужество, и храбрость, а къ своей дружинѣ любовь и привѣт сладок“»[24]. Вторая опора — отсылка адресата (то есть самого Ивана III) к столь почитаемой им «отчинной» традиции: «И поревнуй преже бывшим прародителем твоим, великим князем, не точию обороняху Русскую землю от поганых, но и иныа страны приимаху под себе, еже глаголю Игоря, и Святослава, и Владимера, иже на греческих царих дань имали, потом же и Владимира Манамаха, како и колико бися съ окаанными половци за Русскую землю, и инеи мнози, иже паче нас вѣси». И третья — противопоставление истинного царя (пастыря) неистинному (разбойнику): «Но точию нашего ради согрѣшениа и неисправления к Богу, паче же отчаания, и еже не уповати на Бога, попусти Богъ на преже тебе прародителей твоих и на всю землю нашю окаанного Батыа, иже пришед разбойнически и поплѣни всю землю нашу, и поработи, и воцарися над нами, а не царь сый, ни от рода царьска».

Отказ признавать за Батыем и его потомством царское достоинство — нечто абсолютно новое. Вот текст летописи, современной описываемым событиям: «Того же лета злоименный царь Ахмат Большия орды по совету братьи великого князя, князя Андрея и князя Бориса, поиде на православное христьянство, на Русь... яко же при Батые бъше»[25]. Указание, на то, что братья великого князя были заодно с Ахматом, свидетельствует о том, что это было написано не ранее 1492 г., к которому относится в том же своде (как и других) обвинение князя Андрея в том, что он «посылал грамоты свои к царю Ахмату Большие орды, приводя его на

[21]Послание на Угру Вассиана Рыло (БЛДР. Т. 7. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5070).

[22]Там же. Т. 1. =4868.

[23]Там же. Т. 7 =5070.

[24]Там же.

[25]ПСРЛ. Т. 25. — С. 327.

великого князя на Русьскую землю ратью»[26]. В Софийской летописи, опирающейся на московское летописание 1480-х годов, под тем же 1480 г. сделана запись: «Прииде к великому князю весть, яко дополна идет царь Ахмат со всею ордою своею и со царевичи»[27].

Это значит, что официальные документы той эпохи признавали царское достоинство ханов. Вассиан же предлагает Ивану III совершенно иную идеологическую конструкцию: ордынские ханы — узурпаторы и «разбойники», противостоящие доброму пастырю. Подлинный царь, «добрый пастырь», чья родословная идет от древнейших правителей Руси, смело боровшихся с царями Византии, — великий князь Иван Васильевич. Великий князь наделен всеми властными добродетелями, в кратком виде сформулированными в цитате из «Пчелы». Развернутая же формулировка выглядит так: «Тѣм же и пророческии рещи, Богом утверженый царю, — напрязи, и спѣй, и царствуй истинны ради, и кротости, и правды; и наставит тя чюдне десница твоя, престолъ твой правдою, и кротостью, и судом истинным свершен есть, и жезл силы послет ти от Сиона, и удолѣеши посрѣди враг твоих. Тако глаголет Господь: „Аз воздвигох тя, царя правды, призвах тя правдою и приях тя за руку десную, и укрѣпих тя, да послушают тебѣ языци. И крѣпость царем разрушу, отворю ти двери и гради не затворятся. Аз пред тобою поиду и горы поравнаю, и двери мѣдныа сокрушу, и затворы желѣзныа сломаю“»[28].

Знаменательно, что Вассиан опирается и еще на одну из цитат — фрагмент из книги пророка Исайи, где Бог обращается к царю Киру: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись; // Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; // и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, Бог Израилев. // Ради Иакова, раба Моего, и Израиля, избранного Моего, Я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал Меня» (Ис., 45; 1—4). Сравнением с Киром, сыном мелкого персидского правителя, сумевшим покорить Мидию и Вавилон, Вассиан вселяет в Ивана III веру в еще больший успех — в том случае, если он сумеет выстоять в борьбе с Ахматом.

В «Послании на Угру», как в готовой декларации власти Московского государя, есть всё необходимое: условия, принципы, цели и задачи правления великого князя Всея Руси. При этом в тексте Вассиана отчетливо проведены два логических рассуждения. Первое: богоустановленность власти важна не сама по себе, на ней основано наделение правителя миссией пастыря. А эта миссия находит свое воплощение в двойной задаче правления: «хранить стадо» и отвечать за него. Второе рассуждение начинается с определения «истинности» власти пастыря, через утверждение «отчинной» легитимности Ивана III и «самозванства» ордынских ханов, а затем приводит к утверждению еще одной миссии — хранителя «правды» в своем народе. Только «царь правды», сочетающий в своем правления достоинства ума, воинской доблести и «кротости», достоин власти. Оба построения сливаются в тезис о твердости и нерушимости истинной власти: «Се твердое, и честное, и крѣпкое царство дасть Господь Богъ в руцѣ твои, Богом утвержденый государю, и сыновомъ сыновъ твоих в род и род в вѣки»[29].

Если бы Послание Вассиана сохранилось отдельными списками или попало только в Софийскую летопись, автор которой явно сочувствовал великому князю Ивану Ивановичу и недолюбливал великую княгиню Софью, это можно было бы объяснить стремлением выразить и сохранить оппозиционное настроение. Но Послание помещено во все летописные своды, созданные в Москве, и этому может быть лишь одно объяснение: не имея своей основа-

[26]Там же. — С. 333.
[27]Там же. Т. 6, вып. 2. — Ст. 291.
[28]БЛДР. Т. 7. 5070.
[29]Там же.

тельно проработанной и ясно выраженной позиции в отношении собственной власти и не имея возможности опереться на традицию легитимности, Иван III использовал текст Вассиана как временно действующую официальную доктрину. Это подтверждается «наказом» данным в 1489 г. Юрию Трахониоту, отправленному к императору Священной Римской империи «цесарю Фредерику», посол которого прибыл в Москву с предложением королевской короны. «Наказ» гласил: «Государь наш — великий государь, уроженный изначала от своих прародителей. А и наперед того от давних лет прародители его по изначальству были в приятельстве и в любви с передними римскими царями, которые Рим отдали папе, а сами царствовали в Византии»[30]. Здесь проведена мысль из Послания Вассиана — о равенстве предков Ивана III с древними византийскими царями, только обидное для императора «на греческих царих дань имали», заменено более уместным «были в приятельстве и любви».

Представление о том, в какой степени официальная позиция могла расходиться с личным мнением великого князя, дает история с его ответом патриарху Зосиме, просившему смягчить наказание брату великого князя Андрею Большому. Суть этих событий изложена во многих летописных сводах под 1492 г.: «Сентября 20 князь великий Иван Васильевич всея Руси, сложив с себя крестное целование брату своему князю Ондрею Васильевичю за его измену, что он изменил крестное целование, думал на великого князя Ивана Васильевича, на брата своего старейшего з братьею, со князем Юрием и со князем Борисом и с князем Андреем, да к целованью приведе на то, что им на великого князя на брата своего старейшего с одного, да грамоты свои посылать в Литву к королю Казимиру, одиначася с ним на великого князя, да и сам с братом своим со князем Борисом отъезжал от великого князя, да посылал грамоты свои к царю Ахмату Большие орды, приводя его на великого князя на Русскую землю ратью, да с великого князя силою на Ордынского царя воеводы своего с силою не посылал, а все то чиня измену перед великим князем перед братом свои старейшим, а преступая крестное целование. И того ради повеле его князь великы изымати и посади его на казенном дворе в Москве»[31].

Эта запись имеет все признаки официальной позиции (или, по характеристике Н.С. Борисова, «официальной лжи»[32]): великий князь поименован в третьем лице; в ней перечислены все «вины» князя Андрея Углического; дана правовая оценка его действий — клятвопреступление, заговор, измена; указано действие по пресечению изменнической деятельности. Далее в летописных сводах — молчание, что и характерно для официального летописания: позиция изложена, вопрос закрыт, больше писать не о чем. И только в материалах к IV части «Истории российской» В.Н. Татищева сохранилась выписка из неизвестного источника, которой тот собирался дополнить сообщения Никоновской летописи: «Тогда собрашеся мнозии князи и бояре, начаша просити митрополита Зосима, чтобы печаловался со властьми о князе Андрее, и митрополит ниединова проси, тоже князи сродни. Князь же великий отрече, молвя: „Жаль ми добре брата моего и нехосчу изгубити его, а на себе порока положити, а свободити не могу про то, что ни единою зло на меня замышлял и братию свободил, а потом каялся. И ныне паки начал зло замышляти и люди моя к себе притягати. Да то бы ничто, а когда я умру, то ему доставати великое княжение. А внук мой, кому великим князем быти, и он, коли собою того не достанет, то смутит дети моя, и будут воеватися межи собою, и татара, пришед, видя в нестроении, будут землю русскую губить, жечи, и пленить, и дань возложат паки, и кровь христианская будет литися, яко бе прежде. А что аз токо потрудися, и то будет все не во что, и вы будете раби татаром“. Се слышавшее, и умолкоша, не смеюче что речи»[33].

---

[30]Памятники дипломатических отношений древней России с державами иностранными. Т. 1. СПб.: 1851. — С. 17—18.

[31]ПСРЛ. Т. 25. — С. 333.

[32]Борисов Н.С. Ук. соч. — С. 598.

[33]Татищев В.Н. Собр. соч. Т. 6. — М.: 1996. — С. 79.

Ответ великого князя митрополиту, содержащийся в этом фрагменте, по всем признакам, имел неофициальный характер: а) великий князь говорит о себе в первом лице; б) в ответе отсутствует перечисление вин Андрея, они даны обобщенно; в) добавлена вина, не попавшая в официальную версию — переманивал людей; г) сама интонация ответа — камерная, если не сказать — задушевная. При этом великий князь как бы отметает, как несущественное, все то, что было помещено в официальное сообщение: «да то бы ничто».

Самое важное — в последней части ответа. Здесь Иван Васильевич сравнивает сложившуюся ситуацию с тем, что было с ним самим в детстве. Дядя его отца, а для него — двоюродный дед, князь Юрий Дмитриевич, заявил свои права на великое княжение в обход племянника и двоюродного внука, и началась «феодальная война», сопровождавшаяся вмешательством Орды в дела Руси. Именно этого стремился избежать великий князь, помещая в заточение своего брата. Своим ответом он показал: у него нет никаких оснований считать, что его власть, как и власть его преемника, может быть подкреплена чем-то кроме голой силы — все висит на волоске. Великий князь предстает здесь как человек, принимающий трагическое решение, губящий собственного брата и ищущий сочувствия или, как минимум, понимания. И он это понимание получил. Но как правитель он продемонстрировал крайнюю слабость своей властной позиции и еще то, что сам он не видит, чем эту позицию можно подкрепить. Поэтому, очевидно, его ответ и не был помещен в официальные летописные своды. Но сложившаяся ситуация подталкивала великого князя к идейному обоснованию преемственности власти, чем он, собственно, и занялся во второй половине 1490-х годов.

Череду летописных сообщений, в которых отобразился процесс официального обоснования великокняжеской власти, открывает речь великого князя при поставлении в 1496 г. митрополита. Преподобный Симон, игумен Троице-Сергиева монастыря, был «возведен на двор митрополичь» освященным собором 6 сентября. Само «поставление» нового митрополита состоялось 20 сентября. По окончании службы и перед возведением митрополита «на место» Иван III произнес речь: «Всемогущая и животворящаа святаа Троица, дарующаа нам всеа Руси государство, подает тебе сий святый великий престол архирейства митрополию всеа Руси, руковозложением и священием святых отец архиепископов и епископов нашего Русийского царства; и жезл пастырства, отче, восприми, и на седалищи старейшинства святительскаго во имя Господа Иисуса Христа и пречистыа Его Матери взыди и моли Бога и пречистую Его Матерь о нас и наших детех и о всем православии, и подаст ти Господь Бог здравие и долгоденьство на многие лета»[34]. Это вполне официальная речь. Во-первых, она произнесена на церемонии самого высокого уровня, в присутствии всех высших лиц церкви и государства. Во-вторых, в ней нет ни одного элемента личного высказывания из тех, которые были отмечены в ответе Ивана III митрополиту Зосиме. И наоборот, она содержит только официальные обороты.

Соответственно назначению, *личная позиция* великого князя не похожа на *официальную*. В ответе Зосиме Иван III открыто признает, что его власть и могущество — целиком и полностью дело его личного успеха: «А что аз токо потрудися, и то будет все не во что…» Это признание очень важно: Иван III не видит никаких иных возможностей закрепить свою власть, кроме насилия, применяемого, пусть с сожалением, но последовательно и неизменно, ко всем, вплоть до членов собственной семьи. По сути, это признание тиранического характера власти, и это государя Всея Руси, устроить никак не могло. В напутствии поставляемому митрополиту Симону Иван III в первый раз точно и без всяких оговорок утверждал богоустановленность своей власти: «Всемогущая и животворящая свята Троица, дарующа нам всеа Руси государство…» Это тоже признание, из него следует, что иных идей относительно легитимности своей власти у великого князя не было. Традиционная — «отчинная» — легитимность нарушена с момента ликвидации новгородского веча. Другого обоснования, кроме

[34]ПСРЛ. Т. 12. — С. 241.

того, что, с оглядкой на власть византийского императора, предлагала православная церковь с XI в., у него не было. И совершенно не случайно, что из уст великого князя эта концепция прозвучала при проведении церковного, а не государственного обряда.

Официальная позиция была высказана как будто не в связи с кризисом власти. До этого каждый раз важнейшие мысли о природе власти московского государя формулировались в тот самый момент, когда противостояние во властной сфере выходило на пик. И только высказывание 1496 г. внешне не вызвано какими-либо событиями, которые можно трактовать как угрозу со стороны. Но в действительности кризис власти существовал, но пока — в сознании великого князя, в его мыслях. Отвечая митрополиту Зосиме, он дал понять: следующий великий князь — внук Ивана III Дмитрий Иванович. В марте 1496 г. сыну Ивана III и его второй жены Софьи Василию исполнилось 17 лет, Дмитрию, внуку, в октябре — 13 лет. Борьба за наследование престола еще не выплеснулась наружу, но кому как не наследнику Василия Темного, ослепленного двоюродным братом, понимать, чем чревато противостояние его сына и внука?

Иван III здесь, как и в отношении Новгорода, действовал на опережение, не допуская спора о власти. Сначала он объявил о богоустановленности своего владычества, затем спровоцировал династический кризис, наложив опалу на сына Василия, и успешно преодолел его венчанием внука, Дмитрия, на великое княжение. Сообщения о так называемом «заговоре Гусева», раскрытие которого привело к опале Василия Ивановича и его матери Софьи (декабрь 1497 г.) и венчании на великое княжение Дмитрия (февраль 1498 г.) в летописных сводах идут встык[35] и должны восприниматься как стройное изложение одного процесса: твердого установления порядка престолонаследия.

Более того, в Софийской летописи вслед за венчанием Дмитрия Внука идет сообщение об опалах князя Ивана Юрьевича Патрикеева, его сына Василия и князя Семена Ивановича Ряполовского, как будто и не было года между февралем 1498 г. и январем 1499 года. А в Вологодско-Пермской летописи сообщения об опале, наложенной на Василия Ивановича нет, но опала на Патрикеевых и Ряполовского также дана сразу вслед за сообщением о венчании Дмитрия Внука, да еще добавлено о «поимании» князя Василия Ромодановского и Андрея Коробова[36].

Получается, что 1497—1499 гг. — это время серьезнейшего кризиса власти, о котором невозможно было промолчать, ввиду тех последствий, какие он имел для правителей. В условиях явной нестабильности разъяснение официальной позиции власти по вопросу о том, на чем же она, эта власть основывается, оказалось первейшей задачей великого князя. И он дал такое разъяснение как самой церемонией венчания внука на великое княжение, так и двумя своими речами, произнесенными в ходе этой церемонии. Речь первая, при начале обряда: «Отче митрополит! Божиим изволением от наших прародителей великих князей старина наша, то и до сех мест, отцы наши великие князи сыном своим первым давали великое княжество, и яз был своего сына перваго Ивана при собе же благословил великим княжеством; Божия пак воля сталася, сына моего Ивана не стало живот, а у него остался сын первой Дмитрей, и яз его ныне благословляю при себе и опосле себя великим княжеством Володимерским и Московским и Новогородским; и тем бы его, отче, на великое княжество благословил». Речь вторая, после обряда: «Внук Дмитрей! Пожаловал есми тебя и благословил великим княжеством, и ты имей страх Божий в сердци, люби правду и милость и суд правой и имей попечение от всего сердца о всем православном христианьстве»[37].

Обе речи великого князя в совокупности являют тонко настроенный баланс трех властных теорий. Первая речь начинается с утверждения богоустановленности власти. Но эта богоустановленность относится не к власти Дмитрия, а к династической власти Рюриковичей.

[35]Там же. — С. 246; т. 6, вып. 2. — С. 246.
[36]Там же. Т. 26. — М.: 1959. — С. 291.
[37]Там же. Т. 12. — С. 246, 248.

Затем следует утверждение, что «старина» состоит именно в соблюдении принципа передачи власти от отца к сыну, что никак не совпадало с реальностью. И, наконец, во второй речи, используя оборот «пожаловал есми тебя», великий князь сводит воедино три основания: его личный выбор, осуществленный по «старине» и «по Божьему изволению» — вот основа настоящей и будущей власти его внука. Все то, что так кратко, но чрезвычайно емко изложено в двух речах Ивана III, не только не противоречит негласной позиции власти в 1480 г., реконструированной выше, но и в полной мере совпадает с тем, что писал на Угру в своем Послании епископ Вассиан. Божье благословение получает род правителей, а не отдельный его представитель (вопреки концепции власти митрополита Илариона), воплощением же истинности власти является правление «по правде и милости», как это было сказано Иваном III, или «правдою, и кротостью, и судом», как это написано у Вассиана.

Казалось бы, венчание Дмитрия Внука — эффектное и эффективное действие по пресечению кризиса во властной сфере, а речи, на нем прозвучавшие и зафиксированные летописными сводами — основа для формирования как действующей официальной позиции, так и будущей идеологии власти. Но в реальности все сложилось иначе. Безоговорочными победителями Дмитрий Внук и его сторонники при дворе Ивана III оставались чуть долее года. 21 марта 1499 г., как сообщают летописи, «князь великий Иван Васильевич всеа Русии пожаловал сына своего Василия Ивановича, нарек его государем великим князем и дал ему Великий Новогород и Псков в великое княжение»[38]. И летописец переходит к другим темам, таким, как закладка «каменного и кирпичного двора» и посольство Василия Третьяка в Литву. Объяснений, почему Иван III, сменив гнев на милость, вновь приблизил к себе опального сына и объявил его вторым, после себя, великим князем и государем, летописные своды, созданные в Москве, не содержат.

Но это не значит, что объяснения и не требовалось. Псковская I летопись под 1499 г. повествует о том, как псковичи, сохранявшие, в отличие от новгородцев, самоуправление, пытались выяснить: что же случилось, почему они отданы в какое-то фантомное «великое княжение Новгорода и Пскова». Приехавший к ним посол от великого князя разъяснил «псковскому князю Александру Володимеровичю и посадником Псковским и всему Пскову, „что де я князь великий Иван сына своего пожаловал великого князя Василья, дал ему Новгород и Псков“; и посадники Псковские сдумавше со Псковичи, да послаша посадников своих... и по три боярина с конца, бити челом великим князем Ивану Васильевичю и внуку его ДмитреюИвановичю, чтоб держали отчину свою в старине, „а который бы был князь великий на Москве, тот бы нам был государь“. И поехали посадники... к великому князю на Москву, и великий князь Иван Васильевич на наших посадников и бояр опалился: „чи не волен яз в своем внуке и в своих детех? ино кому хочю, тому дам княжество“; да дал княжество сыну своему Василью Новогород и Псков, а посадник Псковских Григорья Хрусталева да Федора унял у себе да всадил в костер, а посадника Стефана отпустил и с бояры. И приехал во Псков и послов аше посолство на вечи князи Псковскому Александру Володимеровичю, и посадником и Псковичам на вечи: „чи не волен яз князь великий в своих детех и в своем княжении? кому хочю, тому дам княжение“, а иного ничего, ни поклона своей отчине не послал»[39].

Прежде, чем делать какие-либо выводы по содержанию этого сообщения летописи, отметим его необычное построение: речь Ивана III псковскому посольству повторена два раза. Первый раз эти слова приводятся как ответ Ивана III посадникам и боярам, прибывшим из Пскова, второй — в речи вернувшихся из Москвы послов. Задача повтора — показать, что ответ великого князя передан совершенно точно. Это важно для понимания аутентичности официальной позиции, выраженной в речи Ивана III послам.

[38]Там же. — С. 249.

[39]Там же. Т. 4, ч. 5 (Псковская 1-я летопись). — Л.: 1929. — С. 271.

Обращает на себя внимание то, что псковичи, отправляя посольство, выразили согласие, чтобы ими управляли и «по старине» и «по новине». По старине: тот, кто в Москве великий князь, тот и Псковом правит. По новине: псковичи обращаются к двум известным великим князьям: самому Ивану III и его внуку Дмитрию Ивановичу. Им непонятна лишь *новая* новина — переподчинение их формально третьему великому князю.

Ответ, полученный псковичами, свидетельствует, мягко говоря, о раздражении Ивана III. Арест двух посадников из трех, отправленных к нему псковичами, и нежелание передавать «поклон» своей вотчине — более чем ясный знак того, что великий князь не намерен обсуждать эту тему. Это вполне понятно. Объяснение властных действий «по старине» уже перехватили у великого князя псковичи. Объяснение «божьим соизволением» уже было использовано при интронизации Дмитрия Внука, и ждать от Бога, что он раз в год будет менять властную конфигурацию в Москве, вряд ли стоило. У Ивана III для объяснения его поступка не осталось ничего, кроме его собственной воли, кое-как прикрытой ссылкой на семейную традицию: «чи не волен яз князь великий в своих детех». Другими словами, он совершил тиранический поступок, не сумел найти сколько-нибудь приемлемое объяснение и заявил: это мое семейное дело, такова моя воля. Закрепление перехода к тираническому образу действий выразилось в насилии по отношению к псковским послам. Псковичам не оставалось ничего иного, как смириться и признать волю великого князя. Но принципиально важен вопрос: был ли ответ псковичам случайным, первым попавшимся объяснением или московский государь сознательно предъявил новый подход к обоснованию и осмыслению его власти?

В январе 1503 г., после неудачного похода войска великого князя, возглавляемого его сыном Дмитрием, на Смоленск, в Москве приняли посольство польского короля Александра. Было заключено перемирие на шесть лет «от Благовещения, до Благовещенья, и грамоты перемирны написаша»[40]. Ответное посольство к королю Александру было направлено в мае того же года. Возглавил его окольничий П.М. Плещеев. Посольству был дан «наказ», то есть набор инструкций, обязательных для исполнения. Часть этого наказа непосредственно касалась того самого вопроса о характере власти великого князя московского, в связи с непонятным положением, сложившимся в правящей династии: в разное время два наследника Ивана III были объявлены великими князьями, при том что один — венчанный на великое княжение — находится в опале, второй — невенчанный — является фактическим соправителем.

Судя по тому, что текст «наказа» предвосхищал возможные вопросы, неясность с наследованием власти волновала многих и затрагивалась в ходе дипломатических переговоров. Вот ответ, предписанный Петру Плещееву и членам его делегации: «Спросит которого дочь великого князя, или иной кто в Литве, или Волошин, кто прилучиться к Литве, про то: как князь великий пожаловал сына своего великого князя Васильа великим княжеством? И Петру с товарищи говорити: пожаловал государь наш сына своего великого князя Василия, учинил его государем так же, как государь сам на государствах своих, так и сын его, князь великий Василей, с ним на всех тех государствах государь. А взмолвят то: а ведь был князь велики наперед того пожаловал великим княжеством внука своего, и он у внука взял великое княжество? И Петру с товарищи говорити: который сын отцу служит и не норовит, ино отец того и жалует; а который сын родителем не служит... ино того за что жаловати. Да боле про то не говорити ничего»[41].

Здесь важны несколько деталей. Во-первых, эта формула должна быть объявлена буквально каждому, кто будет спрашивать, начиная от жены короля Александра (дочери Ивана III Елены). Оборот «иной кто» означает, что этот ответ надо давать столько раз, сколько раз будет задан вопрос. Во-вторых, ответ уже никак нельзя назвать импровизацией. Если она и случилась при ответе псковичам, то в дальнейшем была скорректирована. Сравним: в ответе псковичам воля великого князя граничит с самодурством: «кому хочу, тому дам княжение».

[40]Там же. Т. 12. — С. 257.
[41]Сб. РИО. Т. 35. — С. 429—430.

В «наказе» Плещееву это «хочу», по сути, заменено на «должен». Если сын «служит» отцу — его надо «жаловати», не служит — «жаловати» не за что. Образ отца-самодура затушеван. На первое место выступила фигура отца-государя, верного долгу и поощряющего служение себе как служение стране. В-третьих, формулировка исчерпывает предмет. Она содержит в себе все необходимое знание о власти великого князя и не требует никаких пояснений. Более того, возможность любых пояснений (и любых импровизаций) недвусмысленно пресекается текстом «наказа».

Стоит, наверное, обратить внимание на то, что ответ, предписываемый Плещееву, не содержит отсылок ни к властной традиции, ни к божественным установлениям. Воля великого князя в этом ответе явлена вне каких-либо объяснений и определений, кроме одного — его власть отеческая. Конечно, в отношениях отца и сына может подразумеваться огромное количество новых значений: и мудрость (опыт), и строгость (воспитание), и милость (отеческая любовь) и др. Но из предписанной Плещееву формулы убрано все, кроме тавтологического обоснования: Иван Васильевич имеет власть потому, что она у него есть. Потому что он получил ее от отца. И сын его Василий Иванович будет иметь власть потому, что получил ее от своего отца, служа ему, как этого требовал долг сына. И никаких иных оснований не требуется.

Формула власти, к которой была сведена официальная позиция в начале XVI в.: великий князь правит, потому что у него есть власть, — подтверждается официальным летописанием, повествующим о начале правления Василия III. Если Постниковский летописец, составленный в середине XVI в. (по мнению публикатора рукописи, М.Н. Тихомирова, дьяком Постником Губиным Маклаковым[42]), содержит традиционную для летописания формулу: «И по великом князе Иване на великом княженье седе сын его старейший князь велики Василей», то в официальных летописях ничего подобного нет. В Воскресенской летописи (и одном из списков Никоновской) правление Василия III отмечено отдельным заголовком: «Начало государства великого князя Василия Ивановича всея Руси». Но текст под этим заголовком демонстративно будничный: «Тое же осени князь велики Василей Иванович всея Руси после отца своего посмотря в шертныа грамоты...». Софийская вторая летопись и Вологодско-Пермская (как и другие списки Никоновской) обошлись вообще без заголовков[43]. А ведь та же Никоновская летопись о переходе власти к Ивану III повествует так: «И седе по нем (великом князе Василии II. — *К.С.*) на великое княжение по его благословению сын его старейший князь великий Иван»[44]. Эта видимая будничность — не что иное, как сознательное стремление отказаться от каких-либо попыток дополнительной легитимации власти великого князя. Был Василий Иванович правителем — им и остался; этот голый факт, содержащийся в летописании начала правления Василия III, перекликается с фразой из «наказа» Петру Плещееву: «Да боле про то не говорити ничего».

Потребность в официальной формуле власти с каким-либо ее обоснованием, выраженной от имени самого правителя, возникала во второй половине XV и в самом начале XVI в., в кризисные моменты. Дважды приходилось задумываться об этом в связи с утверждением власти великого князя всея Руси в Новгороде. Один раз — в связи с конфликтом между великим князем и его младшим братом. Все другие поводы выявления официальной позиции в той или иной степени связаны с династическим кризисом 1497—1499 гг. и его последствиями. Показательно, что ни приход войск хана Ахмата в 1480 г., ни присоединение Твери или Рязани не вызвали потребности в формулировке официальной позиции власти. Правда, в

[42]Тихомиров М.Н. Записки о регентстве Елены Глинской и боярском правлении 1533—1547 гг. — Исторические записки. — 1954. — Т. 46. — С. 278—288.

[43]ПСРЛ. Т. 13 (Никоновская летопись). — СПб.: 1904. — С. 1; Т. 8 (Продолжение летописи по Воскресенскому списку). — СПб.: 1859. — С. 245; Т. 6, вып. 2. — Ст. 374; Т. 26 (Вологодско-Пермская летопись). — М.-Л.: 1959. — С. 297.

[44]Там же. Т. 12. — С. 115.

первом из упомянутых случаев эту работу взял на себя Вассиан, в то время как сам великий князь отмолчался. Что же касается Твери, то в официальном летописании право Ивана III на власть над этой землей не формулировалось никак. Указан лишь мотив его похода: он идет «за неправду» Михаила Тверского. Есть определение тверских князей и бояр как «коромольников», есть указание великого князя привести жителей Твери к крестному целованию[45]. Но нет ни слова о том, по какому праву Иван III может править этой землей. Это наводит на мысль о том, что присоединение Твери (как и Ярославля, Ростова, Рязани) кризисом не считалось и идеологического объяснения не требовало.

На всем протяжении правления Ивана III официальная позиция в отношении власти государя всея Руси опиралась на три идеи, в разном их сочетании. Первая из них — «отчинная» традиция, в соответствии с которой власть великого князя должна была восприниматься как исторически обусловленная данность. Полученное от предков право распоряжаться русскими землями, подтвержденное поколениями сначала Киевских, затем Владимирских и, наконец, Московских князей было представлено как традиция в ее неизменности и непрерывности. Это самая понятная и действенная в Средние века концепция власти. Однако, во второй половине XV в. она вступила в противоречие с действиями великого князя, который принялся изменять традиционные формы отношений со своими подданными, вплоть до полного слома. Противникам утверждения новых властных отношений (прежде всего новгородцам и псковичам) было куда легче апеллировать к традиции, чем самому великому князю. Поэтому «отчинная» легитимность чем далее тем более утрачивала свою актуальность и ее приходилось если не отвергнуть совсем, то отодвинуть в тень.

Вторая идея, почти столь же древняя, как и первая, — о богоустановленности власти. Иван III почему-то пользовался ею с крайней неохотой. Источники свидетельствуют о непростых взаимоотношениях Ивана III с церковными иерархами. Тем не менее можно говорить о том, что попытки использовать концепцию богоустановленности предпринимались. К ней прибегали в смертельно опасной ситуации Стоянии на Угре и в сложных обстоятельствах при обосновании выбора Иваном III Дмитрия Внука в качестве наследника. Но в полной мере возможности этой концепции использованы не были. Возможно, потому, что признание богоустановленности власти в конечном счете обязывало к формированию твердых обычаев и ненарушаемых ритуалов, сужая свободу маневра правителя и ограничивая его волю. Ему пришлось бы признать, что закон (божественный) выше его. А он к этому не стремился.

Третья — правление по воле великого князя. Тираническое начало, заложенное в этой концепции, во многом соответствовало самой политике Ивана III и формам ее проведения. Но тирания не нуждается в легитимации. Более того, в каждый момент перехода полномочий от одного правителя к другому какое-либо обоснование не укрепляет, а ослабляет власть. В период же кризиса оно вредит правителю уже тем, что признает возможность появления вопросов по отношению к властным действиям, на которые дает только один ответ: потому что такова воля государя. Именно к такому ответу, в итоге, и пришел Иван III, что его, видимо, не вполне устраивало, поэтому тираническое начало этой концепции было смягчено ссылкой на традиционно-семейные ценности и идею долга («служения»). Тем не менее официальная позиция власти, в том виде, в котором она действовала в самом начале XVI в., выглядит чрезвычайно слабой; возможно, таковой она представлялась и современникам. И именно этим можно во многом объяснить появление именно в конце XV и в первой четверти XVI в. большого количества неофициальных идеологических и политических текстов, сложившихся в итоге в концепцию Москва — Третий Рим.

[45]Там же. Т. 18 (Симеоновская летопись). — М.: 2007. — С. 271.

Наука и общество

НАЧАЛО СКОРБНОГО ПУТИ Н.И. ВАВИЛОВА (К 125-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО УЧЁНОГО)[1]

Э.И. Колчинский
Санкт-Петербургский филиал
Института истории естествознания и техники РАН

Аннотация: *На основе документов архивов Санкт-Петербурга опровергается один из постперестроечных мифов о том, что конфликт между Н.И. Вавиловым и Т.Д. Лысенко — столкновение лидеров двух научных школ, конкурирующих за финансовые, материальные и людские ресурсы. Показано, что уже в первых атаках на Вавилова, начавшихся до появления Т.Д. Лысенко в качестве сколь-нибудь значимой фигуры в сообществе агрономов и селекционеров, научная составляющая дискуссий была очень незначительна, и в нормальных социально-политических условиях не имела бы столь трагические последствия для многих ее участников. С самого начала критика Вавилова инспирировалась и контролировались партийными структурами, а его противники в основном руководствовались политико-идеологическими и карьеристскими соображениями. Уже к 1932 г. Н.И. Вавилов потерял независимость в кадровой политике и в значительной степени утратил контроль над возглавляемыми им учреждениями. Таким образом, основные черты «лысенковщины» как социально-политической практики в советской науке сложились до начала борьбы генетиков с лысенкоистами. Тогда же были выдвинуты и главные обвинения в адрес Н.И. Вавилова, в конечном счете приведшие его на костер сталинской инквизиции.*

Ключевые слова: *«культурная революция», Н.И. Вавилов, А.В. Альбенский, Г.И. Быков, И.И. Презент, ВИПБиНК (ВИР), ВАСХНИЛ, ЦКК — НК РКИ, ЛОКА, ОБМ, партбюро.*

Введение[2]

13 ноября 1887 г. исполнилось 125 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова. Биологам и историкам науки он известен как автор многочисленных работ в области генети-

[1]Выполнена при поддержке РГНФ, проект № 12—03—00239.

[2]Данная публикация представляет собой расширенный, переработанный и дополненный новыми документами текст статьи «Культурная революция в СССР (1929—1932) и первые атаки на школу Н.И. Вавилова (по материалам санкт-петербургских архивов) в «Вавиловском журнале генетика и селекция» (2012. — Т. 16. — № 3. С. 502—539).

ки, эволюционной теории, систематики, географии и экологии растений, фитопатологии и иммунологии, теории селекции, истории материальной культуры. Для социальных историков Вавилов интересен, прежде всего, как один из создателей советской модели организации науки, руководитель мощной школы в растениеводстве и лидер советских генетики, добившийся ее широкого признания и в СССР, и за рубежом. Но в памяти образованных людей во всем мире Вавилов остался как символ трагической российской науки и главный оппонент Т.Д. Лысенко, отдавший жизнь за свои научные убеждения. Такая трактовка до недавнего времени доминировала в отечественной и зарубежной литературе и казалось, что не осталось невыясненных моментов в истории противостояния Н.И. Вавилова создателям мичуринской биологии и что выработанные оценки связанных с ним событий окончательны и пересмотру не подлежат. Тем не менее, в последние годы наблюдается взрыв публикаций, претендующих на новый взгляд на противостояние Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко. Развернувшиеся дискуссии в русскоязычном пространстве были продолжены на симпозиумах «Лысенкоизм» (Нью-Йорк, 2009; Вена, 2012), «Пересмотр „дела Лысенко“» (Токио, 2012). Новым подходам к трактовкам противостояния генетиков и сторонников мичуринского учения был посвящен специальный выпуск журнала «Историко-биологические исследования» (2011. № 2).

Все это стало стимулом в дни подготовки к юбилею Н.И. Вавилова обратиться к изучению социально-политической среды, где зарождалось противостояние генетиков и апологетов мичуринской биологии. На базе архивной информации, выявленной в Центральном государственном архиве историко-партийных документов (ЦГАИПД)[3] и Санкт-Петербургского филиала Архива РАН (СПФ АРАН), удалось уточнить дату начала первых атак на Вавилова, которые оказались обусловлены в значительной степенью «культурной революцией» (1929–1932), а также выявить круг их инициаторов, установить побудительные мотивы первых критиков Вавилова, отразить накал и ожесточенность дискуссий и причины их завершения. На мой взгляд, это позволяет лучше понять истоки последовавшего противостояния Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко в контексте общего взаимодействия науки и различных структур партийно-государственного аппарата в тот период. При этом, по мере сил я пытался учитывать историко-научной литературы последних лет, прежде всего, содержащую новые подходы с учетом истории лысенкоизма не только в СССР, но и в других странах[4].

Из результатов изучения лысенкоизма в Японии, Франции, Италии и т. д. свидетельствуют, что столкновение групповых интересов — неизбежный атрибут любого творческого сообщества, в том числе и научного, но формы и исход его в российских условиях был определен с дискуссионностью понимания разными правительственными структурами, что такое наука и какая наука нужна стране, т. е. власть предержащим. В отличие от других стран, где, в конечном счете, этот вопрос решали совместно ученые, общество и власть, в России окончательный вердикт выносит только власть. А его последствия для самой науки и ее творцов зависят от степени жесткости и авторитарности режима. К сожалению, иначе на это смотрят некие отечественные авторы, споря до сих пор, а кто «герой», а кто «злодей» или «конформист» Этот спор продолжается более полувека и в историографии, посвященный Н.И. Вавилову и Т.Д. Лысенко.

[3]Прежде всего, это фонд партийной организации возглавляемого Н.И. Вавиловым Всесоюзного института прикладной ботаники и новых культур / Всесоюзный институт растениеводства. К глубокому сожалению материалы за 1934—1941 гг. уничтожены более полувека назад, как сказано в предисловии к описи фонда. Кто, когда и почему уничтожил не сообщается. Отдельные документы парторганизации хранятся в фондах Ленинградского обкома и Октябрьского райкома ВКП(б).

[4]Левина Е.С. Вавилов, Лысенко, Тимофеев-Ресовский… — Москва: Аиро-XX, 1995; Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов: страницы биографии. — Москва: Наука, 2008.; Фудзиока Цуеши. Зачем лысенковщина появилась? Плод и срыв диалектизации биологии (на япон. яз.). — Токио, 2010; и др.

Противостояние Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко в историко-научной и популярной литературе

Начиная с трудов Л. Грэхама (Graham, 1966) и Д. Жоравского (Joravsky, 1970), причины, породившие это противостояние обычно рассматривали в контексте научной политики СССР, уделяя особое внимание политике в области сельского хозяйства, и вытекающей из этого отношения к генетике, селекции и мичуринской биологии, а также марксистскому пониманию ваимоотношений между властью, идеологией и естествознанием[5]. По мнению Д. Лекота (Lecourt, 1977), лысенкоизм был порожден прежде всего насильственным внедрением диалектического материализма в биологию[6], в то время как биологи Р. Левонтин и Р. Левинс не усматривали этой связи[7].

Ж.А. Медведев и А.Е. Гайсинович заложили традицию в русскоязычной литературе описывать события с точки зрения сторонников одной из групп, участвовавших в этой дискуссии, изображая при этом события в черно-белом свете и разделяя их участников на правых и виновных[8]. Генетиков и поддерживавших их ученых изображали жертвами лысенкоистов, бескорыстными искателями истины, а их оппонентов коварными злодеями, жаждавшими только власти и денег. Эта позиция нашла отражения в бестселлере времен перестройки — романе В.Д. Дудинцева «Белые одежды»(1888). Немного позже она была положена в основу талантливых биографических очерков С.Э. Шноля «Герои и злодеи российской науки» (1997), переиздававшихся несколько раз. Правда в последнем ее издании С.Э. Шноль существенно изменил название «Герои, злодеи и конформисты отечественной науки» (2009), подчеркивая, что ситуация в те годы была гораздо сложнее, чем описывалась им прежде.

Открывшиеся в 1990-е гг. партийно-правительственные архивы и рассмотрение ранее недоступных материалов с позиций современной социальной истории науки поколебали прежние мифы о лысенкоизме как уродливом порождении тоталитарного режима. Отношения ученых и власти стали трактовать с позиций концепции «централизованного плюрализма», предполагающего сложные взаимодействия различных групп ученых со столь же неоднородными правящими структурами. Как показал Н.Л. Кременцов в книге «Сталинская наука», многие дикие события (bizarre events) в истории советской науки были порождены сложившейся в 1930-е гг. советской моделью организации науки, с ее сложной системой иерархических структур, порождающих беспощадную конкуренцию различных групп ученых за финансовые, материальные и людские ресурсы[9]. Причем формы и способы этой борьбы в значительной степени определялись спецификой этоса советских ученых, вынужденных адаптироваться к новой власти и использовать привычный ей язык, формы дискуссий и ритуалы поведения еще со времен окончания Гражданской войны[10]. Вместе с новыми подходами появились и новые мифы, которые породили новые. Всех участников тех событий нередко изображали уже только в одном, сером цвете как конкурентов за финансы, за внимание власть предержащих, за доминирование своих школ, за упрочение социальных сетей и созда-

[5]Graham L. Science and philosophy in the Soviet Union. — New York: Vintage book, 1966; Joravsky D. The Lysenko affair. — Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1970.

[6]Lecourt D. Proletarian science? : the case of Lysenko. — London : New Left Book, 1977.

[7]Lewontin R., Levins R. The Problem of Lysenkoism. // The radicalisation of science: Ideology of / in the natural sciences / Ed. H. Rose & S. Rose — London: Macmillan press, 1976.

[8]Medvedev Zh.A. «The Rise and Fall of T.D. Lysenko». New York: Columbia Univ. Press, 1969; Gaissinovich, A. E. The origin of soviet genetics and the struggle with Lamarckism. — . J. Hist. Biol. — 1980. — Vol. 13. — Pp. 1—51.

[9]Krementsov N. L. Stalinist Science. — Princeton: Princeton Univ. Press, 1997.

[10]Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / Ред.-сост. Э.И. Колчинский. — СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. — С. 440—549.

ние собственных «научных империй». За рамками при этом оставляли научную практику и ее содержание, как и вопросы соответствия методов исследований участников дискуссий нормам и ценностям мировой науки.

Впоследствии вышел ряд историко-научных исследований, где на базе новых материалов исследовалась судьба советской генетики и ее создателей. Это, прежде всего, детальный анализ причин ареста Н.И. Вавилова, хода следствия и гибели ученого[11]. Его сын Ю.И. Вавилов опубликовал сборник документов и воспоминаний о братьях Николае и Сергее Вавиловых[12]. Многие детали биографии Вавилова, в том числе связанные с борьбой против Лысенко, уточнил В.Д. Есаков[13]. Все эти книги, как и книга американского журналиста П. Прингла «Убийство Н.И. Вавилова»[14] способствовали пониманию его деятельности как борьбы академического сообщества СССР за сохранение мировых стандартов науки. Прингле показал, что, несмотря на попытки уравнять палачей и их жертвы, Вавилов по-прежнему признан в научном сообществе как «один из великих ученых двадцатого века» и как символ борьбы за ее свободу.

Тем не менее, кампания за реабилитацию Лысенко не утихает. Ему приписывают предвидение современных представлений о цитоплазматической наследственности и эпигеномной концепции онтогенеза, успешное и дешевое решение практических проблемы сельского хозяйства в отличие от Вавилова и других генетиков, занятых якобы только борьбой за финансирование своих исследований и продвижением проектов во властных структурах, бесперспективность которых они прикрывали ссылками на мировую науку. Особенно часто Вавилова обвиняют в растрате государственных средств на бесплодные экспедиции и международные бесполезные связи. Эти обвинения, рожденные еще в начале 1930-гг. в недрах ОГПУ, недавно вновь блестяще опровергнуты в книге крупного американского ботаника-этнолога Г. Нэбхэн с красноречивым названием «Откуда к нам приходит пища: исследования усилий Николая Вавилова покончить с голодом»[15]. Автор ярко показал огромную роль экспедиций Вавилова и его концепции о центрах происхождения культурных растений для решения проблем голода во многих регионах мира.

Утверждают, что генетикам «повезло» стать жертвами сталинских репрессий и за это их сейчас превозносят, тогда как Лысенко бичуют за то, что он был патриотом, боролся с евгеникой, добился крупных успехов в селекции растений и в животноводстве, разработал методы яровизации, посевов на стерне, создания лесозащитных полос, развивал травопольную систему, противостоял хрущевским авантюрам. В последние годы эта версия нашла поддержку даже в «Литературной газете», считавшейся респектабельной среди российской интеллигенции[16], и в серии монографий, изданных как журналистами, так и лицами с учеными степенями[17]. Уверяют, что никакой «лысенковщины» не было, а была «антилысенковшина»

[11]Суд палача. Николай Иванович Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. Документы / Сост. Я.Г. Рокитянский, Ю.Н. Вавилов, В. А. Гончаров. — Москва.: Academia, 1999*;*

[12]Вавилов Ю.Н. «В долгом поиске. Книга о братьях Николае и Сергее Вавиловых». — М.: ФИАН, 2004.

[13]Есаков В.Д. Николай Иванович Вавилов: страницы биографии. — Москва: Наука, 2008.

[14]Pringle P. The Murder of Nikolai Vavilov. The Story of Stalin's Persecution of One of Great Scientists of the twentieth Century. — New Yorky et al.: Simon&Schuster, 2008.

[15]Nabhan.G. Where Our Food Comes From: Retracing Nikolay Vavilov's Quest to, End Famine. — Washington: Island Press; Shearwater Books, 2009.

[16]Анохин М.И. Академик Лысенко и бедная овечка Долли // Литературная газета — 2009 — № 11.- С. 12 (18 марта).

[17]Пыженков В.И. Николай Иванович Вавилов — ботаник, академик, гражданин мира».- М.: Самообразование, 2006; Миронин С.С. Дело генетиков. — М.: Алгоритм, 2008; Овчинников В., Коненков П.Ф., Чичкин А., Дрягин И.В. Трофим Денисович Лысенко — советский агроном, биолог, селекционер. — М.: Самообразование,2009; Кононков П.Ф. Вклад Т.Д. Лысенко в победу в Великой Отечественной войне. Москва: Самообразование, 2010. Овчинников Н.В. Академик Трофим Денисович Лысенко. — М.: Луч, 2010.

как этап перестройки, разрушившей СССР». Историк и публицист Ю.Н. Мухин «разоблачает» мифы о «царице наук генетике», о «великом ученом Вавилове» и «авантюристе Лысенко[18], а генерал-лейтенант медицинской службы Ю.А. Бобылов главную цель генетики, особенно проекта «геном человека», увидел в создании генетического оружия, угрожающего белой расе, к которой принадлежит 90%, населения России[19]. Поднятая в конце прошлого года в прессе шумиха о расшифровке генома «русского человека» как бы придает некий смысл подобным утверждениям.

Было бы неверно рассматривать все это как действия неких маргиналов в науке. Скорее это и «жажда реванша» идей Лысенко у части научного сообщества, прежде всего в тех учреждениях, где по-прежнему сильны позиции учеников его сторонников, которые остались на своих постах и после 1964 г., продолжая пестовать собственные школы. В них есть желание актуализировать спор, каким должно быть учреждение по прикладной ботанике. Определенную роль играет и рост антисциентистских настроений в обществе, попытки уравнять в правах науку и псевдонауку. Не случайны и попытки отобрать у ВИР его историческое здание, часть опытных станций и экспериментальных хозяйств, а также сотни гектаров опытных полей под Санкт-Петербургом, которые предполагают распродать по конкурсу под строительство коттеджей. Впрочем, подобные трудности испытывают все научные и образовательные учреждения Санкт-Петербурга, составляющие подлинную гордость России и оказавшиеся распорядителями собственности, на которые положили глаз алчные хозяева современной России, для которых нет ничего святого. Примером может служит нынешняя попытка изгнать Военно-медицинскую академию с территории, отведенной ей ещё Петром Великим. Шельмование великих ученых России, видимо, должно служить моральным оправданием тех, кто покушается на здания, учреждения, больницы, клиники и опытные поля, хранящие память о них. Очевидны и социально-политические политические корни этих процессов, связанные с поисками «суверенной российской демократии» и пропагандой представлений Лысенко как творца самобытной российской науки и всяческим шельмованием Н.И. Вавилова.

Генетики, представляемые вновь властям и обществу как агенты внешнего врага, вынуждены защищать свою науку от ностальгирующих по сталинским временам[20]. Категоричен в своих выводах И.А. Захаров-Гезехус, утверждающий, что «суд истории над участниками драмы, разыгравшейся в советской биологии во второй трети XX , уже состоялся. Ее приговор не подлежит пересмотру»[21]. С ним, по существу солидарны авторы публикаций о судьбе лысенкоизма не только в странах Восточной Европы, но также в Италии, Китае, Франции и Японии. В последней лысенкоизм был особенно силен. Японское мичуринское общество в период своего расцвета в конце 1940-х гг. включало около 400 человек студентов, инженеров, биологов, в том числе выдающегося агронома Фукушима, и даже генетиков–менделистов Шиното Ёшито, Хадзама Кадзуо, Фукумото Ничие и др. Современные ученые и историки, включая ветерана Японского мичуринского движения Сунндзуки Дзендзи, с недоумением вглядываются в недавнее прошлое биологии в своих странах, не понимая, как такое могло произойти, и объясняют происшедшее влиянием пропаганды мнимых достижений Т.Д. Лысенко, навязыванием советских трактовок биологии странам, зависимым от СССР, послевоенной популярности марксизма и коммунистических идей, слабому знакомству ученых мно-

[18]Мухин Ю.И. Генетика-продажная девка. Познание мира или кормушка?. — М.: Быстров, 2006.

[19]Бобылов Ю.А. Генетическая бомба. Тайные сценарии биотерроризма. — М.: Белые альвы, 2006.

[20]Захаров-Гезехеус И.А. Эксгумация лысенковщины. — Препринт. 2009; Соколова Т.И. Наследие И.В. Мичурина. Мифы и реальности. — Луганск: ПЦ «Максим», 2010.

[21]Захаров-Гезехеус И.А. Попытки реабилитации лысенковщины // Историко-биологические исследования. — 2011. — Т. 3 — № 2. — С. 129.

гих странах с достижениями генетики и т. д.[22] Следует отметить, в зарубежной литературе нет попыток как-то оправдать лысенкоизм, а тем более подвергнуть сомнению достижения Вавилова.

Однако апологеты лысенкоизма пытаются уверить, что якобы нет никаких документально доказанных фактов организованной травли Вавилова. Между тем подобными фактами переполнены фонды главных научных архивов Санкт-Петербурга и странно, что они до сих пор не введены в научный оборот. Это прежде фонды Ленинградского отделения Коммунистической академии, партийной организации ВИР, Ленинградского института аспирантуры ВАСХНИЛ, свидетельствующие о том, что первая организованная атака на Вавилова датируется 1930 г. и была обусловлена как общей социально-политической обстановкой в период культурной революции, так и внутриинститутскими конфликтами. Обращение к этим документам позволяют уточнить ряд социально-культурных, идейно-политических, а порой и личностных факторов первых организованных нападок на Н.И. Вавилова и выяснить исходные моменты его пути на эшафот и последующее появление Т.Д. Лысенко в качестве главного оппонента, назначенного в конечном счете лидером всей сельскохозяйственной науки вместо Вавилова. Особую роль в этих событиях сыграли попытки в 1920-начале 1930х гг. создать особую пролетарскую биологию, противостоящую стандартам мировой науки и в первую очередь генетике, становящейся лидирующей биологической дисциплиной в англо-американском и немецком языковых пространствах.

Н.И. Вавилов и начало советизации биологии

События, разыгравшиеся в Ленинграде в конце 1920-х-начале 1930-х гг., и получившие название «культурной революции», были неизбежным результатом трансформаций научного сообщества во время гражданской войны и НЭП (1921—1927) и особенно «советизации» АН СССР (1928—1929). По замыслу ее инициаторов, ученые должны были стать частью общегосударственного аппарата, всецело подчиненного большевикам, и не просто выполнять отдельные задания правительства, а быть проводниками его политики в области подготовки кадров для создания пролетарской науки и участвовать в пропаганде достижений советской науки за рубежом. Этим целям первоначально соответствовал Н.И. Вавилов, прекрасный и обаятельный ученый, с огромной работоспособностью, сумевший много сделать для улучшения имиджа страны в глазах образованных кругов США и Западной Европы.

Это показала властям его длительная командировка 1921 г. в США и Западную Европу, во время которой он посетил главные генетические и селекционные центры, закупая селекционный материал, книги, оборудования и устанавливая прочные научные контакты. По возвращению на родину он активно участвовал в 1922 г. в реорганизации Сельскохозяйственного Ученого комитета (далее СХУК) Наркомзема в Государственный институт опытной агрономии (ГИОА), директором которого был избран Н.М. Тулайков, но после его отказа занять этот пост Н.И. Вавилов в 1923 г. возглавил первый в истории страны комплексный сельскохозяйственный Институт. В 1924 г. он превратил Отдел прикладной ботаники и селекции

[22]Kremetsov N. Lysenkoism in Europe: Export — Import of the Soviet Model // Academia in upheveal Origins, transfer and transformism od the communist academic regime in Russia and the east central Europe / Ed. M. David-Fox, G. Péteri. — London — Bergin&Garvey, Westport. Conn., 2000. Pp. 179—2002; Hossfeld U.,Ollson L. From the Modern Synthesis to Lysenkoism, and Back? // Science — 2002 — Vol. 297. — N. 5578. — Pp. 55—56; Argueta A., Noguera R., Riuz R. La recepción del lysenkismo en Méxoco // Asslepio — 2003 — Vol. 55 — Fasc. 1 — Pp. 235—362;Köhler P. Lysenko's affair and Polish Botany // J. Hist. Biol. 2011 — Vol. 44 — № 2. — Pp. 305—343; Cassata F.The Italian Communist Party and the "Lysenko Affair" (1948–1955) // J. Hist. Biol. — 2011 — № 2 — Pp. 1—30; Schneider L. Michurinist Biology in the People's Republic of China, 1948–1956 // J. Hist. Biol. 2011 — N 2. Pp. 1—32.

(ОПБиС)[23] во Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (ВИПБиНК). Под крышей последнего Вавилов собрал десятки первоклассных специалистов из разных отраслей биологии, которых старался сплотить в единый, быстро растущий коллектив (к середине 1928 г. только его центральная часть насчитывала около 300 сотрудников, увеличиваясь ежегодно на 10–15 %). Трудности для интеграции людей с разными образованием, квалификацией, политическими взглядами создавало сохранявшееся разнообразие взглядов на стратегию развития института и степень ухода от традиционных проблем БПБ, а также на роль фундаментальных исследований в решении сельскохозяйственных проблем.

Говорят, В.Л. Комаров, не очень благоволивший к Н.И. Вавилову, первым назвал ВИР Вавилоном. Кто-то считал подобное название почетным, другие насмешкой, а Н.И. Вавилов как будто им даже гордился. Но Комаров, возможно, неожиданно для себя оказался прав. Для некоторых ученых, работавших еще в Бюро по прикладной ботанике (БПБ), ВИПБиНК, видимо, казался подлинным «вавилонским столпотворением» многих научных дисциплин, терминов, методов и т. д, и они призывали остаться в рамках традиционной программы, сузить задачи интродукцией новых растений, сортоиспытанием и районированием[24]. Среди них был садовод и дендролог Д.Д. Арцыбашев, работавший еще в Министерстве земледелия и государственных имуществ, а затем одним из заместителей председателя СХУК и возглавлявший в ВИПБиНК отдел натурализации. Взгляды Арцыбашева разделял заведующий Отделом интродукция растений А.К. Колю, а также бывший сотрудник БПБ, крупный специалист по селекции картофеля, организатор и первый директор Всесоюзного НИИ картофельного хозяйства А.Г. Лорху. Эти обычные в научные среде разногласия в 1927 г. были вынесены за пределы ВИР в высшие правительственные сферы, что определила жесткость дискуссий и мер по отношению к проигравшим, а в условиях «великого перелома» «культурной революции» 1929—1932 гг. приобрели ярко-политическую окраску и стали предметом разбирательств многочисленных бригад Ленинградского обкома и Октябрьского райкомов ВКП(б), РККИ, ряда учреждений Ленинградского отделения Коммунистической академии, и даже ОГПУ. В них коренятся и некоторые пусковые механизмы будущей трагедии Вавилова.

ВИПБиНКт стал первым звеном будущей Всесоюзной сельскохозяйственной академии им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ), об организации которой было принято постановление ЦИК СССР 8 августа 1924 г. В 1929 г. Вавилов был назначен первым президентом ВАСХНИЛ, осуществив тем самым вековую мечту российского научного сообщества о комплексе научно-исследовательских институтов для модернизации отсталого сельского хозяйства России и тем самым предотвратить столь часто случавшиеся в 1914—1927 гг. неурожаи и голод[25]. Власти доверяли Вавилову и финансировали его многочисленные зарубежные экспедиции для сбора коллекций семян культурных растений и их диких сородичей для мобилизации генофонда. При поддержке властей ему удалось создать широкую сеть опытных станций ВИПБиНК в разных регионах страны, для выявления всего спектра полезных свойств растений в различных природных условиях и для ведения селекционных работ.

Возглавляя всю сельскохозяйственную науку в СССР и ВАСХНИЛ, Вавилов прекрасно вписывался в традиционное академическое сообщество. В 1923 г. он был избран членом-корреспондентом РАН, а в год «укрощения» АН СССР (1929) ее действительным членом, воз-

[23]До 1918 г. Бюро по прикладной ботанике (БПБ) СХУК.

[24]Об этом конфликте наиболее подробно рассказала: Синская Е. Н. Воспоминания о Н.И. Вавилове. = Киев: Наукова думка, 1991. С. 54—57. О его значение для понимания реального положения Н.И. Вавилова во времена «исключительного благоприятствования для “карьеры” Вавилова»» убедительно описала Е.С. Левина (1995. — С. 38—39). См.также: Гончаров Н.П. К 120-летию со дня рождения Н.И. Вавилова // Информ. вестник ВОГиС. — 2007. — Т. 11. — С. 479–525.

[25]Таугер М. Голод, голодомор, геноцид? Голод, сельское хозяйство и советская сельскохозяйственная политика. Київ: Довіра, 2008.

главив в 1930 г. после смерти Ю.А. Филипченко, Лабораторию генетики АН СССР, которую в 1934 г. превратил в институт. В 1926 г. он стал одним из первых пяти лауреатов премии имени В.И. Ленина, 1921—1929 гг. был профессором кафедры генетики и селекции Ленинградского сельскохозяйственного института. В годы, предшествовавшие «культурной революции», были сделаны его наиболее крупные теоретические обобщения: закон гомологичных рядов (1920) и центры происхождения культурных растений (1926).

При создании этих концепций Вавилов использовал идеи В. Бэтсона, Я. Лотси и Г. де Фриза. Он находил близость своих взглядов с теорией номогенеза Л.С. Берга и негативно относился к кампании ее осуждения и критики, которую начали сторонники классического дарвинизма (В.М. Шимкевич, А.М. Никольский, В.И. Талиев) и к которой в середине 1920-х гг. подключились первые генетики-марксисты[26]. Но сам Вавилов воздерживался от публичного изложения своих эволюционных взглядов. В отличие от Ф.Г. Добржанского, А.С. Серебровского, Ю.А. Филипченко он не отвергал публично принцип наследования приобретенных признаков, хотя и не находил подтверждавших его фактов. Ничего Вавилов не писал о проблеме взаимоотношения ламаркизма, дарвинизма и генетики, которой были посвящены многие доклады в секции естественных наук и точных наук Комакадемии, возглавляемой О.Ю. Шмидтом. Прочитанные там доклады и выступления М.В. Волоцкого, Н.П. Дубинина, Б.М. Завадовского, М.Л. Левита, С.Г. Левита, М.М. Местергази, М.С. Навашина, А.С. Серебровского, Е.С. Смирнова, С.С. Четвертикова и др. привлекали большое количество слушателей и вызывали яростные дискуссии по проблемам генетики и эволюции[27]. Имя Вавилова ни разу не зафиксировано в протоколах заседаний этой секции, хотя выработанные там суждения и оценки, в частности эволюционных идей его зарубежных учителей и друзей, потом окажутся не безразличными для него. Не было его и среди членов созданного в те годы Обществе биологов-материалистов, объединявшего к началу культурной революции более 200 биологов различных специальностей, включая многих генетиков, проявлявших интерес к марксистской философии и пытавшихся как-то использовать ее в своих исследованиях.

Вавилову явно все это было не интересно, да и не было времени для занятия философствованием. В заключенном им «союзе науки и труда» была какая-то грань, которую он в отличие от некоторых своих коллег-генетиков не стремился переходить и не пытался присоединиться к диалектизации или пролетаризации биологии, которая должна была стать советским вариантом «идеологически корректной науки». Да в то время власти не требовали от него идеологической идентификации и, ценя его международный авторитет и готовность к сотрудничеству, а, напротив, всячески привлекали Вавилова к активной государственной и общественной деятельности. Он был членом формально высших органов власти в СССР — Центрального исполнительного комитета (1926—1935), — и в РСФСР — Всероссийского Центрального исполнительного комитета (1927—29), с 1929 — членом коллегии Народного комиссариата земледелия, избирался в состав Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Он мог напрямую докладывать высшим руководителям страны, включая председателя Совнаркома А.И. Рыкова, излагать свои научные планы и заручаться их поддержкой.

Чувствуя заинтересованность властей, Вавилов твердо отстаивал свои права как директора ВИР и резко отверг прозвучавшие в 1927 г. обвинения в недостаточном внимании к научно-организационной работе, в отходе от руководства ВИР, к критике выбранных им стратегий исследований, в отрыве их от практики[28]. Возмущенный вмешательством Председателя Совета ВИПБиНК и одновременно Управляющего делами Совета народных комисса-

[26]Агол И.И. Диалектический метод в эволюционной теории» — М.; Л.: Госиздат, 1927.

[27]АРАН. Ф. 350. Оп. 2.: Д.. 112. Л. 1—58; Д. 115. Л. 1—70; Д. 93. Л. 1—68; Д. 68. Л. 1—71; Д. 217. Л. 1—81.

ров (СНК) Н.П. Горбунова в дела института и назначением заместителем директора Института Д.Д. Арцыбашева, Вавилов подал в отставку. Конфликт после переговоров, заседаний Ученого совета ВИПБиНК был улажен, Арцыбашев ушел из Института[29].

Но механоламаркист А.К. Коль остался в нем и продолжал настаивать, что интродукция, сортоиспытание и районирование сортов должны быть главными задачами Института, обвиняя Вавилова в академизме, в увлечении экспедициями, авторитаризме, а позднее — в зажиме молодых специалистов и даже во вредительстве [30]. Конфликт завершился снятием Коля с должности заведующего Отделом интродукции в 1929 г., но проблема осталась. В лице А.К. Коля Вавилов приобрел непримиримого врага и одного из протагонистов лысенкоизма в ВИР, а некоторые аспиранты Ленинградского института аспирантуры ВАСХНИЛ, появившиеся в ВИПБиКР в 1929 г., — знамя борьбы против администрации. И эта борьба явно поощрялась сверху. Власти, уже привыкшие к беспрекословному выполнению учеными их указаний, явно остались недовольны проявленной Вавиловым независимостью. В то же время в целом они продолжали доверять Вавилову, видя в нем олицетворение провозглашаемого «союза науки и труда» и дореволюционного ученого, поверившего в идеалы социализма и соединившего теорию с насущнейшими вопросами сельскохозяйственной практики.

В целом в те годы Вавилов основное внимание уделял научно-организационной и исследовательской работе и не участвовал в дискуссиях по внедрению диалектики в практику биологических наук и в создаваемых с этой целью различных учреждений Коммунистической академии, типа Общества биологов-марксистов (ОБМ) и Общества воинствующих материалистов диалектиков (ОВМД). Правда, его назначали председателем Ленинградского отделения Всесоюзной ассоциации работников науки и техники для содействия социалистическому строительству, т. е. печально известного ВАРНИТСО, созданного постановлением Совнаркома от 13 февраля 1928 г. как «приводной ремень» между партией и научной интеллигенцией. По замыслу ее создателей, новая организация должна была развернуть непримиримую борьбу с частью научной и технической интеллигенции, «враждебной социалистическому строительству», против «контрреволюции и вредительства», нередко прикрываемых внешней лояльностью к советской власти, аполитичности и нейтральности, а также против маловеров, правых и левых оппортунистов и двурушников, идейных помощников контрреволюции и вредительства»[31]. В ходе борьбы следовало использовать всяческие ошибки научных руководителей, чтобы ослабить их влияние среди специалистов и доказать, что их авторитет является ложным. При этом планировались не только прямые удары по крупным ученым, но и по поддерживавшей их молодежи. Именно эти рекомендации были вскоре использованы против Вавилова, который не только сам им не следовал, но, видимо, не поощрял их и в своем Институте. В отчете о работе ВАРНИТСО в ВИПБиНК за период с 15 января по 15 августа 1929 г. сказано: «Как и ВАРНИТСО в целом коллектив ВАРНИТСО при наших институтах до последнего времени является организацией декларативной, не начавшей практической работы. Всю предыдущую работу следует рассматривать как популяризацию идеи ВАРНИТСО, вовлечение новых членов, организационное оформление и намечение конкретный путей и методов работы»[32]. Формально за полгода в ВАРНИТСО удалось вовлечь 45 (10 научных сотрудников, а остальные их ассистенты, а также лаборанты, аспиранты и агроно-

[28]Николай Иванович Вавилов. Из эпистолярного наследия 1929–1940 гг. — Научное наследство. Т. 10. М.: Наука, 1987. — С. 308—309; Есаков…2008, с. 149—151.

[29]Рядом с Н.И. Вавиловым. — М: Советская Россия, 1973. — С. 164; Письма Н.И. Вавилова Н.П. Горбунову. — Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. — Новосибирск: Наука, 1988. — С. 260—261.

[30]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 83–84.

[31]СПФ АРАН. Ф. 245. Оп. 1. Д. 1. Л. 21.

[32]ЦГАПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.

мы), в том числе 23 члена партии и 3 комсомольца, следов их работ не осталось ни в каких документах. Несмотря на разработанные планы и методы ВАРНИТСО осталось чисто декоративной организацией, впрочем, как это было в АН СССР[33]. Из письма Вавилова заведующему научными учреждениями СНК СССР Е.П. Воронову от 11 июня 1929 г. видно, что он делал все от него зависящее, чтобы не допустить «чисток» в ВИПБиНК[34].

Вавилов не поддержал, но и не осудил попытки некоторых ученых, например, ботаника Б.М. Козо-Полянского, зоолога А.А. Любищева, психоневролога В.М. Бехтерева и генетика А.С. Серебровского, использовать идеологические аргументы при решении естественнонаучных проблем. Между тем научные дискуссии все больше политизировались с включением в них биологов и философов, получивших, как правило, высшее образование через рабфаки, Институт красной профессуры, Коммунистические университеты[35]. Особое значение имела деятельность генетиков И.И. Агола, С.Г. Левита, В.Н. Слепкова и Е.А. Финкельштейна, которые в 1927 г. возглавили организации и учреждения, созданные для внедрения диалектического материализма в биологию. Имея опыт гражданской войны, студенческих и партийных чисток, они активно использовали политические аргументы и лозунги, внося в биологические дискуссии дух непримиримости, обвиняя оппонентов в витализме, мистицизме, идеализме, телеологии. Им подражали и многие молодые биологи. Однако Вавилов в то время оставался вне критики. Для главных диалектизаторов биологии он был не только коллега, но и представитель власти, а власть молодые выдвиженцы умели уважать. Они знали, что проигравших в дискуссиях исключали из партий и перечеркивали все надежды на карьеру.

Их стиль «аргументации» усваивали и другие участники дискуссий. Выступая 20 ноября 1926 г. в Комакадемии, крупный генетик А.С. Серебровский звал к бескомпромиссной борьбе с ламаркизмом «под знаменем революционного марксизма всюду и в первую очередь в стенах Коммунистической Академии». Обычной стала аргументация о том, что научные концепции имеют практическое значение для социалистической реконструкции.

Идеологические дискуссии и проработки уже в те годы нередко завершались кадровыми перестановками. В результате идейной формой зачастую прикрывался откровенный карьеризм. Молодые биологи-марксисты объективно воспринимали лидеров традиционных научных школ как конкурентов и стремились ускорить профессиональную карьеру, обвиняя своих учителей и коллег в приверженности «буржуазной» науке. Но и многие биологи старшего поколения участвовали в марксистских организациях и журналах, стараясь сохранить или повысить свой социальный статус, получить финансовую поддержку, низвергнуть конкурентов или защититься от нападок. Например, как показала дискуссия в апреле 1925 г. на заседании Научного общества марксистов (НОМ) в Ленинграде, представители, по крайней мере, четырех школ в нейрофизиологии (В.М. Бехтерева, В.А. Вагнера, И.П. Павлова и А.А. Ухтомского) стремились доказать, что именно их взгляды должны стать основой марксистской социологии. Но и в этих дискуссиях Вавилов не участвовал.

При отсутствии ясных представлений у ученых о марксистской философии каждый мог объявлять близкие ему теории и концепции соответствующими марксизму, а взгляды оппонентов и конкурентов антимарксистскими. В обстановке ожесточенных дискуссий по общетеоретическим проблемам биологии и конкуренции за государственную поддержку своих исследовательских проектов формировалась практика навешивания ярлыков на научных оппонентов, которых шельмовали как реакционеров и пособников мировой буржуазии. Эта прак-

[33]Колчинский. 1999. — С. 196–198.

[34]Николай Иванович Вавилов… С. 53—54.

[35]David-Fox M. Revolution of the Mind. Higher Learning among the Bolsheviks». — Ithaca; London: Kornell univ. press, 1997; Behrendt L.-D. Die Institute der Roten Professur: Kaderschmieden der sowjetischen Parteiintelligenz (1921—1938) // Jb. für Geschichte Osteuropas. — 1997. — Bd. 45. — Hf. 4. — S. 597—621.

тика вскоре будет апробирована и на Вавилове. Ведь в научных дискуссиях 1920-х гг. все ощутимей становилось не столько стремление убедить оппонента в своей правоте, сколько указать властям на вредность его взглядов и исследований.

Эпицентром идеологических бурь, сотрясавших биологию в эти годы, была Москва, где находились основные марксистские учреждения и общества, а близость к партийно-правительственным кругам обостряла конкуренцию. Иная картина наблюдалась в Ленинграде, где сохранялись научные школы, лидеры которых не оказывали поддержки диалектизации биологии. С 1925 г. в работе естественнонаучной секции НОМ, которой руководил физиолог А.А. Ухтомский, участвовал юрист И.И. Презент. Он собрал вокруг себя группу студентов, с помощью которых пытался дестабилизировать ее работу, встречая, однако, отпор со стороны руководства секции и НОМ[36]. Вскоре стало ясно, что НОМ не справляется с задачами пропаганды марксизма среди ученых Ленинграда и в начале 1930 г. оно было ликвидировано, а его Естественнонаучная секция сначала вошла в созданное Общество воинствующих материалистов-диалектиков, а вскоре стала основой Ленинградского Общества биологов-марксистов (ОБМ), которое возглавлял И.И. Презент. Главным генетиком в нем считалась его жена Б.Г. Поташникова. В него входили и некоторые молодые сотрудники ВИР, критиковавшие Вавилова.

«На помощь полям идёт советская наука»: преддверие конца «союза науки и труда»

1929 г., провозглашенный годом «великого перелома», стал годом триумфа генетики и факта наибольшего ее признания со стороны властных структур, общества и прессы. Вместе с тем пропаганда ее достижений стала принимать характер идеолого-политической кампании с демонстрацией готовности генетиков и селекционеров преодолеть трудности в сельском хозяйстве, отстающего от темпов индустриализации. Это показал 1-ый Всесоюзный съезд по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству, проходивший в Ленинграде 10—16 января 1929 г.

Инициатором съезда был ВИПБиНК. Вавилов через Н.П. Горбунова добился постановления СНК СССР от 21 сентября 1926 г. о его проведении[37], а затем, когда не удалось провести съезд в намечаемые сроки, повторные разрешения в январе 1927 г., и, наконец, в 1929 г.[38] В отличие от предшествовавших съездов биологов, носивших сугубо научный характер, в гигантском съезде генетиков, в котором по разным оценкам, данных его организаторами, присутствовало от 1000 до 2100 человек (судя по опубликованному списку участников, ближе к истине первая цифра), только Оргкомитет насчитывал 74 человека[39]. На съезде было заслушано 20 пленарных и 264 секционных докладов, представлявших всю панораму советских исследований в генетике, изучении культурных растений, селекции, семеноводстве и сортоизучении, племенном животноводстве. С пленарными докладами выступили ведущие генетики, эволюционисты и селекционеры страны М.М. Завадовский, Н.К. Кольцов, Л.С. Берг, Г.А. Левитский, Г.К. Мейстер, А.Е. Писарев, А.А. Сапегин, А.С. Серебровский, Ю.А. Филипченко, С.С. Четверикова и др. В съезде ученых участвовали молодые исследователи, некоторые из них впоследствии стали лидерами отечественной биологии и активными борцами с

[36]СПФ АРАН. Ф. 238. Д. 20. Л. 14; Д. 96. Л. 12—13.

[37]ЦГФНТБ СПб. Ф. 318. Д. 238. Л. 3.

[38]Там же. Л. 3—4, 11—12.

[39]Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству в Ленинграде 10—16 января 1929 г. Т. I. Состав, работа и постановления Съезда. — Л.: Издание редакционной коллегии съезда. 1930. — С. 5, 16—78.

лысенкоизмом (Б.Л. Астауров, П.А. Баранов, С.М. Гершензон, Н.П. Дубинин, и др.). На нем присутствовали и многие будущие их оппоненты, включая Трофима Дионисовича[40] (так он поименован в списке участников) Лысенко.

Съезду был придан характер важного политического события, широко освещавшегося в центральной («Правда», «Известия ЦИК СССР», «Красная звезда», «Вечерняя Москва») и местной («Ленинградская правда», «Смена») прессе. Характерны и заголовки статей, посвященных съезду. «Обновить советскую землю» призывал автор статьи в газете «Смена» от 11 января 1929 г., а «Красная звезда», от 14 января 1929 г. охарактеризовало происходящее ставшим позже клише «Битвой за урожай». Наиболее подробно съезд освещала «Ленинградская правда», публикуя его материалы в шести номерах, снабжая каждый раз его броскими тройными заголовками. В день открытия 10 января 1929 г. под заголовком «***На помощь полям идет советская наука. Поднимем урожай. Привет Всесоюзному съезду по генетике, селекции и семеноводству***»[41] (с. 5) была помещена информация председателя Организационного комитета съезда и его бюро Н.И. Вавилова. Он говорил о том, что требование правительства поднять урожайность в ближайшую пятилетку предполагает «*поднятие производительности Земли* ***на широком массовом введение улучшенных семян новых сортовых хлебных злаков»***, так как только сортовое семеноводство является доступным населению и не требует значительных затрат. Одновременно Вавилов подчеркивал необходимость прочных теоретических основ для успехов селекции, ратуя за «*увязку научной работы с практическими заданиями*» и пропагандируя успехи генетики в изучении формообразования, По его мнению, «*советская наука занимает передовые позиции на этом фронте биологии и агрономической науки.* ***Массовое введение в жизнь улучшенных сортов за последние годы стало крупнейшим государственным мероприятием в деле поднятия сельского хозяйства***». В числе отечественных учреждений, которые «*идут впереди научных организаций всего мира»,* Вавилов называл Институт экспериментальной биологии, Лабораторию генетики, Институт генетики и селекции на Украине, Институты по селекции хлопчатника и др.

В том же номере была помещена под заголовком *«Смотр научных сил»* статья Н.П. Горбунова, давшего общую характеристику предстоящего съезда и его задач. Управляющий делами Совнаркома подчеркнул: «*Съезд будет иметь не только научное, но и широкое общественное значение. Он является смотром наших научных сил и подрастающей научной молодежи. Съезд должен выявить, насколько наши научные силы готовы к той большой работе, которая перед нами поставлена ЦИК СССР и насколько крепка связь между научной работой наших ученых и требованиями практики*». Горбунов писал об огромных заслугах Вавилова в организации съезда, следующего лозунгу В.И. Ленина «*Обновлять советскую землю».*

На следующий день под заголовком «***Широким потоком хлынут знания на поля нашей страны. 2 000 ученых спешат на помощь сельскому хозяйству***» была помещена информация о первом дне съезда.[42] Открывая съезд, Н.И. Вавилов вновь подчеркнул невиданные темпы институционализации сельскохозяйственной науки в СССР, достигшей колоссальные успехи и в соответствии с уже сложившимися традициями предложил избрать почетный президиум съезда. В него вошли крупные государственные деятели СССР: К.Е. Ворошилов, М.И. Калинин, Н.А. Кубяк, Г.К. Орджоникидзе, Г.И. Петровский, А.И. Рыков, А.П. Смирнов, И.В. Сталин, Я.А. Яковлев и др. Помимо них в список гостей было включено 109 выдающихся ученых, а также руководителей советских и партийных органов. На съезде были оглашены приветствия от ЦК ВКП(б) и ЦИК СССР и приняты ответные обращения в

[40]Там же. — С. 49.
[41]Ленинградская правда. — 1929. — 10 янв. № 8. — С. 5.
[42]Ленинградская правда. — 1929. — 11 янв. № 9. — С. 3.

адрес правительства и ЦК коммунистической партии как «руководителей строительства хозяйственной жизни на основе социализма». В них была выражена «*твердая уверенность, что его дружная коллективная работа послужит дальнейшей основой дальнейшего прогресса сельскохозяйственной науки и практики на дело строительства социализма в нашем Союзе*»[43]. Была послана также приветственная телеграмма съезда И.В. Мичурину «как творцу форм, полезных для человека». По постановлению съезда обе телеграммы были подписаны Н.И. Вавиловым, ставшим председателем съезда, а его почетным председателем был избран заслуженный цитолог и эмбриолог растений С.Г. Навашин, директор Тимирязевского научно-исследовательского института, созданного в 1924 г. для изучения и пропаганды естественнонаучных основ диалектического материализма. Товарищами председателя были избраны Г.А. Левитский и Ю.А. Филипченко, а секретарем Г.Д. Карпеченко.

В президиуме съезда находились секретарь Северо-Западного бюро ЦК и Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) С.М. Киров, председатель Ленинградского Совета и Ленинградского губисполкома Н.П. Комаров, президент АН СССР А.П. Карпинский, секретарь Ленинградского обкома ВКПБ и председатель Президиума ЛОКА Б.Н. Позерн, и другие ученые, государственные и общественные деятели. На съезде были заслушаны также приветствия от Леноблисполкома и Ленсовета (Н.И. Иванов), от ВЦСПС (Н.М. Анцелович), Ленинградского бюро Секции научных работников (В.А. Зеленко), Украинской АН (А.В. Фокин), зачитаны телеграммы от многих правительственных и общественных организаций, включая пионерскую, и детских технических сельскохозяйственных станций, «*организующих участие десятков тысяч пионеров в борьбе за новые культуры растений, за улучшение птицеводства и животноводства*», которые «*ждали от съезда боевых решений и для детских масс*»[44].

С красочной приветственной речью выступил С.М. Киров. Призывая поднять к концу пятилетки урожайность на 30—35%, он подчеркнул, что материальные и финансовые средства, выделенные на подъем сельского хозяйства «*сделают свое средство только, когда они будут оплодотворены наукой*». Политической риторикой было и его пафосное заявление: «***Широким потоком отсюда со съезда хлынут на поля те знания, те научные достижения, которые так нужны деревне***. *Они распространятся в толще крестьянства…* ***Каждый труженик, каждый научный работник должен сделать все, чтобы помочь разрешению тех великих задач, которые поставила перед нами история***». Овацией встретили учение заключительные слова Кирова о том, что «***съезд является блестящим подтверждением того, как на данном этапе социалистического строительства укрепился союз труда и науки***». От имени ВИПбиНК выступил управляющий делами Совнаркома Н.П. Горбунов, руководившей на съезде фракцией коммунистов и следивший за соблюдением всех ритуалов нового стиля научных мероприятий. Он рассказал, как много сделал лично Вавилов для реализация ленинской мечты «об обновлении земли» и заверил: «*Наука оказалась на высот*е». Под рубрикой «***Научные достижения в гущу крестьянства»*** газета в тот день сообщила о пленарных докладах Н.И. Вавилова и Ю.А. Филипченко. В приветственных выступлениях и в газетной информации особо подчеркивалась внимание ученых всего мира к проходящему съезду.

Газеты подчеркивали, что на съезд приехали самые крупные зарубежные генетики Р. Гольдшмидт, Г. Федерли, О. Валле и др., Среди них был и немецкий генетик растений, основатель и редактор первого в мире генетического журнала «Zeitschrift für inductive Abstammungs-und Verebungslehre» Э. Баур, который одним из первых в мире стал добиваться создания опытных селекционных станций в разных частях Германии и ее колоний. Баур был

[43]Труды….. — Т. I. — С. 129.
[44]Там же. — С. 129.

также известен один из соавторов самой популярной в то время в мире «научной» книги «Очерки по учению о наследственности человека и расовой гигиены», написанный вместе с антропологом О. Фишером и врачом Ф. Ленцем и оказавшей большое влияние на формирование расовых идей А. Гитлера[45] (Kröner et al. 1994, S. 57—70). Впоследствии и самому Вавилову, и другим советским генетикам не раз ставили в вину сотрудничество с фашиствующими евгениками. Но ни сам Вавилов, ни его сотрудники никогда не занимались евгеникой.

Заголовки с информацией о последующих днях съезда напоминали победные реляции с полей сражения. 12 января «Ленинградская правда» (№ 10, с. 5) рассказы о докладах А.А. Сапегина и Г.К. Мейстера о результатах скрещивания пшеницы и ржи, позволяющих продвинуть границы сеяния пщеницы далеко на Север, поместила в разделе, снабженном заголовком «***Победа советской науки. Создан новый злак. С опытных полей — в крестьянские поля».*** Здесь же под рубрикой «*В авангарде мировой науки*» сообщалось о дискуссии по докладу А.А. Сапегина, между Н.И. Вавиловым и Ю.А. Филипченко. Последний возражал против скороспелых выводов о перспективах межвидового скрещивания, тогда как Вавилов уверял, что опыты Сапегина и Мейстера «*имеют исключительное значение*» и что Украинский институт селекции и Саратовская опытная станция «*идут впереди научных организаций всего мира*». О перспективах селекции злаковых на основе межродовой гибридизации и полиплоидии говорил заместитель Вавилова в ВИПБиНК В.Е. Писарев.

На следующий день «Ленинградская правда» (№ 11, с. 3) вышла с заголовком «***На обновленной земле. Сортовые семена — крестьянству. Советская наука поднимет урожайность наших полей.*** Здесь создатель государственной системы сортоиспытания и выдающийся селекционер В.В. Таланов сообщил, что только внедрение лучших сортов, прошедших стандартизацию и районирование под контролем, позволит увеличить урожайность за счет внедрения лучших сортов на 25—40%. Сообщалось также о докладах В.Г. Батыренко, П.П. Лисицына. Б.А. Паншина, Г.М. Попова.

О сенсационном успехе в области животноводства сообщила «Ленинградская правда» 15 января (№12, с. 2) в рубрике «***Советская наука — на крестьянские поля. Успех животноводства. Холмогорская корова бьёт мировые рекорды»,*** в которой излагалось содержание докладов М.М. Завадовского и Н.А. Юрасова о перспективах генетики в области животноводства. По мнению А.М. Диомидова, для успехов в животноводстве надо улучшать условия содержания и пород. Он уверял, что «*наши холмогорские ко*ровы» лучшие в мире и могут давать 10 000 литров молока в год.

В выступлениях и самого Вавилова, и других участников съезда генетике был придан образ науки, уже творящей чудеса, выводящей в кратчайшие сроки новые породы животных и сорта растений. Об этом особенно много говорилось в «Ленинградской правде» за 16 января (№ 13, с. 3). Под рубрикой ***«Успех советской науки. Германские ученые используют наш опыт. Можно превратить озимый злак в яровой»*** была помещена информации Г.А. Левитского, Л.С. Берга и Э. Баура. Понимая, что от него желают услышать устроители съезда, Баур сказал, что немецкие генетики завидуют советским ученым, которые пользуются огромной поддержкой государства. Уподобляя генетика создателю, Вавилов говорил о том, что генетик должен действовать как инженер, создавая новые виды организмов. Комментируя опыт Г.Д. Карпеченко, Вавилов подчеркнул, что генетик, как и инженер должен «не *только знать строительный материал, но и строить. Быть инженером в своей области такова задача генетиков*», — провозгласил Вавилов.

В центре обсуждения оказался доклад Н.А. Максимова о многолетних опытах по превращению озимых злаков в яровые. Правда, докладчик был более осторожен в выводах,

[45]Erwin Baur: Naturwissenschaft und Politik / Hesg. H.-P. Kröner., R. Toellner, K. Weisemann. — München: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1994. IV, 162 S.

чем журналисты. Рассказывая о работах зарубежных и отечественных исследователей (Х. Аллард, Г. Гасснер, В. Гарнер, Е.А. Грачев, Г. Кребс, Э. Клаус, Х. Крейбиль, А.Д. Муринов, Д. Найтингель, Н.П. Тихонов) и собственных многолетних опытах, проведенных совместно с И.Н. Бородиной, А.В. Дорошенко, М.А. Кроткиной, В.И. Разумовым, по регулированию длины вегетационного периода овса, ржи, пшеницы, ячменя, проса, сои, гороха и др., Максимов допускал возможность преобразовать каждый озимый злак в яровой, но подчеркивал, что это происходит только в лабораторных условиях и путем вмешательства в вегетацию растений[46]. На съезде присутствовал Т.Д. Лысенко, совместный доклад которого с Д.А. Долгушиным[47] не привлек внимания ни ученых, ни прессы. Но они смогли увидеть, как эксплуатировать веру властей в быстродействующие средства для подъема сельского хозяйства, и учились у генетиков собирать «урожай» с вспаханного ими поля «союза науки и труда».

Участники съезда выработали важные для развития сельского хозяйства постановления: «Докладная записка Правительству Союза ССР о нуждах с.-х. опытного дела», «О включении в программу ВУЗ'ов специального курса генетики и селекции», «О районировании и стандартизации сортов», «О принципах организации Семеноводства и Государственного Семенного Контроля», «О селекции сельскохозяйственных животных», «О пушном звероводстве в СССР»[48]. Был дан список районированных и допускаемых к возделыванию сортов пшеницы (47), овсов (17), ячменя (14), сортов кукурузы (12) (там же, с. 139–140). Итоги съезда Вавилов подвел в статье «Семь дней съезда» в «Ленинградской правде» за 17 января. Его главную заслугу он видел в том, что съезд подчеркнул значение генетики и показал, что «*отечественная генетика не только идёт в ногу с мировой наукой, но и в некотором отношении и опережает ее».*

Съезд показал, что Н.И. Вавилов признанный лидер сельскохозяйственной науки и генетики. Вскоре он стал первым президентом ВАСХНИЛ, а с 1930 г. возглавил созданную Ю.А. Филипченко Лабораторию генетики АН СССР (ЛАГ), которую в 1934 г. реорганизовал в академический институт. В 1929 г. его назначили членом коллегии Наркомзема, а в 1930 г. — избрали в состав Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся. Но организованный им съезд был апофеозом и завершением «союза науки и труда». Он собирался, по словам Вавилова, в *«момент государственного напряженного внимания к проблемам селекции и семеноводства».* Чем грозит «напряженное внимание» власти к науке, показали выборы в АН СССР, когда Вавилов стал ее действительным членом. Именно в дни съезда в «Ленинградской правде» (13 января, с. 2), на соседней странице с материалами съезда было напечатано письмо «От Президиума АН СССР», в котором сообщалось о «неувязочке» при выборе академиками трех ученых-партийцев и предлагалось провести повторную баллотировку проваленных кандидатов.

В эти же дни Вавилов столкнулся с первыми попытками парторганизации контролировать его действия. Бюро коллектива ВКП(б) ГИОА и ВИПБиНК хотело «*привлечь марксистские силы к докладам на съезде*»[49], но поскольку его мнение не было учтено, решило «*донести до сведения вышестоящих парторганизаций, что партчасть выбрана в организационную комиссию съезда без участия бюро».* С момента учреждения партийной ячейки ВИПБиНК в середине 1929 г. стала проявляться враждебность некоторых ее членов к Вави-

[46]Максимов Н.А. Физиологические способы регулирования длины вегетационного периода // Труды Всесоюзного съезда по генетике, селекции, семеноводству и племенному животноводству, в Ленинграде 10—16 января 1929 г. Т. III. Изучение культурных растений. -Л. — 1929.- С. 3–20.

[47]Долгушин Д.А., Лысенко Т.Д. К вопросу о сущности озими // Там же. — 189—199.

[48]Труды…, 1930. С. 135–146)

[49]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 4. Л. 1.

лову. Уже на одном из первых собраний, где с установочным докладом выступил секретарь бюро партийной ячейки, ассистент отдела полевых культур Н.Г. Касаткин, многие критически оценили состояние Института[50]. Н. Гейликман, Т.Г. Нестерович, С.М. Прокошев, А.П. Тимофеева и др. говорили о враждебных и упаднических настроениях в коллективе, о неправильном подборе кадров без учета их социального происхождения и партийности, о сопротивлении специалистов института задачам строительства социализма, о зажиме агрономического направления и излишней теоретизированности исследований. С подобными пессимистическими оценками не согласился сотрудник отдела сортоиспытания П.И. Чумак. Специалист по овсам М.Ф. Петропавловский отверг главные замечания в адрес Института: «*…Я не согласен, что Ин*[*ституту*]*т оторван от жизни, это можно сказать только о части сотрудников, но не о целом коллективе… сотрудники сильно перегружены, жизнь идет таким темпом, что мы не успеваем в своем развитии за жизнью*»[51]. В заключительном слове Н.Г. Касаткин, признав необходимость повышения «*ответственности, дисциплинированности производственного пафоса*», заявил, что он также согласен с высказываниями, что «*Ин*[*ституту*]*т абсолютно оторван от жизни*»[52]. Так, наметилось противостояние сил в партбюро. В дальнейшем активность критиков, как правило, обострялась во время зарубежных поездок Вавилова и стихала с появлением его в ВИПБиНК/ВИР'е.

Главные причины нападок на Вавилова со стороны членов партии в ВИПБиНК не были связаны только с положением в Институте. Успехам советских генетиков и селекционеров, «завидовали не только немецкие ученые», но и часть растениеводов, агрономов, семеноводов, считавших, что Институт выбрал неверный путь развития с сильным уклоном на работу с коллекциями. Успехи генетики болезненно воспринимали многие сторонники наследования благоприобретенных признаков, вытесненные из Комакадемии в 1927 г. Некоторых просто раздражали успехи лидера генетиков, его зарубежные поездки, международное признание, поддержка со стороны правительства. Чтобы эти обычные для творческого сообщества факторы переросли в затяжную борьбу, должна была сложиться уникальная совокупность идеологических и политико-экономических факторов.

Весной 1929 г. началась «культурная революция», борьба со старорежимной профессурой, диалектизация биологии марксистами-генетиками. Отстраненность Вавилова от попыток создать «пролетарскую биологию» и приверженность эволюционным концепциям ранних генетиков давали простор для обвинений его в идеологических ошибках, в защите «буржуазных специалистов», в «зажиме молодежи». Еще опаснее оказалась форсированная коллективизация, резкий спад сельскохозяйственного производства, голод и поиск «козлов отпущения» в виде лидеров «правого уклона» в партии, фабрикация дел против интеллигенции и т. д.

Арестованные Н.Д. Кондратьев, Л.Н. Литошенко, А.В. Чаянов были многолетними друзьями и коллегами Н.И. Вавилова, он ходатайствовал об их освобождении, что вряд ли нравилось тем, кто был инициатором их преследований. Отстранение от власти А.И. Рыкова и Н.П. Горбунова лишило Вавилова правительственной поддержки тех, с кем задумывались крупномасштабные проекты развития сельскохозяйственной науки в СССР. С арестом заместителя наркома земледелия СССР А.Г. Берзина был потерян еще один канал взаимодействия с властными структурами. Для любого другого человека даже одного из этих факторов было бы достаточно, чтобы прервать успешную карьеру. Но на стороне Вавилова было мировое признание, большое число сторонников в ГИОА и ВИР, высокий авторитет в международном сообществе и, наконец, лояльность Ленинградского обкома ВКП(б). Тем не ме-

[50]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2.
[51]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 1. Л. 1об.
[52]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 1. Л. 2

нее «год великого перелома» стал для Вавилова зенитом его научно-организационной карьеры и началом критики его парторганизацией собственного Института.

Хотя съезд принял решения о созыве очередного съезда в Одессе в 1932 г. Но последнее не удалось выполнить, так как ситуация с наукой в стране резко поменялась в течение нескольких месяцев, как и отношение правящих кругов к самой генетике. Это не могло не сказаться на позициях самого Вавилова и других советских генетиков, труды которых завоевали мировое признание. Уже в том же году был отправлен в ссылку С.С. Четвериков и отстранен от преподавания в ЛГУ Ю.А. Филипченко.

Изживание «фетишизма перед буржуазными учёными»

Начало «культурной революции», призванной сломать существовавшую иерархию в научном сообществе и мобилизовать ученых на строительство социализма[53], стало первым событием «года великого перелома», поколебавшего позиции Н.И. Вавилова в ВИПБиНК. В апреле 1929 г. руководитель Комакадемии М.Н. Покровский заявил о прекращении мирного сосуществования с немарксистами-естественниками и изживании «*фетишизма перед буржуазными учеными*»[54]. Официальную поддержку получила идея А.М. Деборина о перестройке естествознания на основе материалистической диалектики, что давало возможность запрещать любую научную концепцию как несовместимую с марксизмом[55]. Позиция Деборина была поддержана многими генетиками и, прежде всего И.И. Аголом который призывал «очистить Комакадемию от чуждых марксистской идеологии элементов», «покончить с разбродом, царящим в её стенах» и превратить «современное естествознание в марксистское»[56]. По его мнению, и генетика, и базирующаяся на ней эволюционная теория «*есть стихийная материалистическая диалектика*». Вскоре Агола назначили директором Тимирязевского биологического института Комакадемии, а его единомышленника С.Г. Левита — директором Медико-генетического института[57]. В Президиуме ОБМ, председателем которого был Агол, доминировали генетики и их сторонники (М.С. Левин, С.Г. Левит, С.М. Гершензон, М.С. Навашин, А.С. Серебровский и др.). Сторонником генетики и ярым деборинцем в те годы был и И.И. Презент в Ленинграде.

«Культурная революция» ускорилась после пленума ЦК ВКП(б), прошедшего в ноябре 1929 г. и решившего реорганизовать вузы и научные учреждения, укрепить их кадры членами партии и комсомола, выходцами из рабочего класса, планировать и контролировать научные исследования, взять в свои руки подготовку кадров в области естествознания. В письме, направленном в Президиум Комакадемии в декабре 1929 г., А.К. Тимирязев отмечал, что аспиранты готовятся по узкой тематике, прежние профессора ничего не могут дать, кроме знаний в своей области[58]. В речи «К вопросам аграрной политики» в Комакадемии, которая положила начало дискредитации признанных авторитетов в отдельных отраслях науки, И.В. Сталин указывал на отставание «теоретического фронта» от «успехов социалистического строительства» и убеждал, что практика опровергает возражения науки и ученым следует поучиться у практиков[59]. Он осветил главный лозунг «культурной революции» в науке: теоре-

[53]Cultural Revolution in Russia, 1928–1931 // Ed. Sh.. Fitzpatrick. — Bloomington, Indiana Univ. Press, — 1984.

[54]Торбек К. Деятельность Коммунистической Академии // Вест. Комакадемии. — 1929. — № 33. — С. 270.

[55]Современные проблемы философии марксизма. Доклад А. М. Деборина, прения по докладу и заключительное слово.- М.: Комакадемия. 1930. — С. 21, 107, 197–198 и др.

[56]Задачи марксистов в области естествознания. Доклад О.Ю. Шмидта. Прения по докладу и заключительное слово. — М. — Комакадемия, 1930. — С. 27, 105.

[57]АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 311. Л. 164.

[58]АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 285. Л. 1—3.

тическая наука есть пустое самоутверждение и скорее вредна, чем полезна для социалистического строительства.

Попытка взять под партийный контроль подготовку кадров имела прямое отношение к ВИПБиНК, где в 1929 г. появилось 19 аспирантов, из которых 13 человек (72, 2%) были членами партии и комсомольцами. По социальному положению доминировали выходцы из рабочих — 3 (15, 78%) и из крестьян 10 человек (52, 63%)[60]. Почти все члены партии имели солидный стаж, опыт ответственной работы и пришли не столько учиться, сколько учить других. Сама система обучения была нацелена на идеологическую подготовку, а не на овладение специальностью, что создавало им возможность чувствовать себя выше учителей. В отчетном докладе партийной ячейки ВИПБиНК за 1928–1929 гг. подчеркивалось: *«Введенный институт аспирантов с первого же года внес живую струю в научный персонал и полностью себя оправдал»*[61]. Насчет оживления — это уж точно, а насчет полного оправдания можно и поспорить. В большинстве своем аспиранты, действительно, приняли нормы научной работы и поведения в Институте и стали со временем прекрасными специалистами вавиловской школы (например, Ф.Х. Бахтеев), в то время как другие (А.В. Альбенский, Н.А. Басова, Н. Гейликман, А.И. Лусс, Т.Г. Нестерович, Г.Н. Шлыков) подключились к внутриинститутским критикам Вавилова, подводя под существовавшие разногласия по поводу того, чем должен заниматься Институт, идеолого-политическую основу. Стремясь втянуть не согласных с ними аспирантов в борьбу с Вавиловым, критики Вавилова обвиняли несогласных с ними в аполитичности и деляческом отношении к работе (Альбенский)[62]. В результате жизнь научного коллектива, партийной ячейки и партбюро превратилось в серию беспрерывных заседаний, принятия резолюций, разоблачений и обращений в «соответствующие органы», а также разбора каких-то склок и постоянных перевыборов партийцев, «не оправдавших доверие» и «пошедших на поводу у дирекции». За полтора года партбюро и его секретари переизбирались 5–6 раз.

Аспиранты, прикрепленные к ВИПБиНК, первые два года подчинялись Ленинградскому институту аспирантуры ВАСХНИЛ, который возглавлял бывший матрос Г.И. Быков, о котором Е.Н. Синская (1991) писала как о человеке «*с зычным голосом, необычайно склонным к грозным митинговым выступлениям*»[63]. Он активно участвовал в партийных собраниях, где обсуждали положение в Институте и результаты проверки ВИР бригадами Ленинградского обкома и Октябрьского райкома, ГубКК — РКИ, ЛОКА и т. д. Г.И. Быков ничего не понимал в обсуждаемых проблемах, но знал, когда признавать инкриминируемые ошибки, а когда категорически отвергать, когда критиковать Вавилова, а когда его увещать, а порой и даже защищать. Он вряд ли вынашивал какие-то планы по свержению Вавилова, искренне радел за Институт аспирантуры и был искренне убежден в чистоте и праведности своих помыслов. Только когда Институт аспирантов закрыли, Г.И. Быков стал уверять, что «*авторитет Вавилова слишком преувеличен*» [64].

Иначе обстояло дело с амбициозными аспирантами, среди которых выделялись А.В. Альбенский, Н. Гейликман и особенно Г.Н. Шлыков, известный позднее как активный сторонник Т.Д. Лысенко в ВИР'е. Вскоре после зачисления в аспирантуру и прикрепления к отделу интродукции он воспринял позицию А.К. Коля и с «партийной прямотой» стал крити-

[59]Сталин И.В. К вопросам аграрной политики. Речь на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г. // Сталин И.В. Соч. — Т. 12 .- 1955. — С. 141–172.

[60]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 4. Л. 4.

[61]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 4. Л. 6.

[62]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.

[63]Синская…. — С. 148.

[64]ЦГАИПД. Ф. 304.Оп. 1. Д. 19. Л. 115

ковать Вавилова за недостатки в организации исследований, неправильную их тематику, отсутствие практически значимых работ. Судя по спискам членов парторганизации, все образование Шлыкова ограничивалось сельской школой и было получено еще до революции. Но он явно был политически подкован, внимательно следил за передовицами центральных газет и быстро улавливал колебания в генеральной линии. В отличие от Альбенского Шлыков быстро вошел в Бюро партийной ячейки и позиционировал везде свое мнение как взгляд партоорганизации в целом. В апреле 1931 г. он, видимо, хотел уйти из ВИР в аспирантуру ЛОКА. Ему помешала в этом его единомышленница Н.А. Басова, написавшая в партбюро заявление, что считает «*ненормальным "вечное" аспирантство*», и предложившая ему «*заниматься самообразованием*»[65]. Шлыков остался в ВИР и, став заведующим Отдела новых культур и интродукций, в том же году выжил оттуда своего предшественника А.К. Коля, чьи идеи до этого отстаивал. Сохранился интересный документ. Члены Бюро партийной ячейки ВИР, рассмотрев 6 мая 1931 г. «*устное заявление тов. ШЛЫКОВА о невозможности работать с тов. Коль*»[66], приняли решение: «*Тов. ШЛЫКОВУ продолжить работу в Отделе Интродукции, проводя работу с таким расчетом, чтобы в ближайший месяц т. Коля перевести в специализированный Институт (Корм. или Зерн*.)». Вскоре Коль был арестован, а после освобождения отправлен на пенсию. Получив искомую должность, Шлыков на время затих, но через несколько лет возобновил борьбу с Вавиловым, пропагандируя уже теорию яровизации Т.Д. Лысенко. В годы «Большого террора» он был арестован, но вскоре выпущен, в 1942 г. был директором Всесоюзного института сухих субтропиков, два года — сотрудником Министерства сельского хозяйства СССР, а затем вернулся в ВИР.

Однако идейным вдохновителем и организатором атаки на Вавилова в те годы был не Шлыков, как принято считать, а А.В. Альбенский. Ученик Ярославской духовной семинарии, он прошел традиционный путь советского активиста: учитель, секретарь волостного комитета бедноты, доброволец в войсках ВЧК, инструктор в политотделе Красной Армии, комиссар Пермского университета, секретарь городского и районного комитетов РКП(б), член исполкома Пермского округа и бюро Окружного профсоюза. В 1930 г. Альбенский окончил Пермский университет, будучи уже в аспирантуре ВИР'а, которую завершил в 1931 г. Альбенский был дендрологом, но в каждом выступлении щеголял именами классиков философии и подводил идейно-политическую основу под любую научную теорию. В его речах карьерные устремления прикрывались рассуждениями о философско-методологической, политико-идеологической и социально-экономической вредности всех научных теорий и взглядов, кроме разделяемых им и воспринятых от сотрудников Арцыбашева. Именно Альбенский травил специалистов ВИР, добивался их замены партийцами. Став в мае 1931 г. секретарем парторганизации ВИР, а на следующий год заведующим Отделом селекции и акклиматизации Всесоюзного института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ), Альбенский на некоторое время из критика администрации превратился в ее партнера и уверял, что Вавилов пересматривает прежние концепции и приближается к дарвиновскому и диалектико-материалистическому пониманию эволюции. Впоследствии он играл видную роль в дендрологии, лесоведении и агролесомелиорации, называя прежние атаки на Вавилова «грешками» молодости.

Опираясь на богатый опыт партийно-советской карьеры и связи, далеко не юные аспиранты-партийцы порой искренне верили в свое историческое предназначение возглавить научные исследования. Недостатки профессиональной подготовки они компенсировали социальной демагогией, требовали «чистки» кадров, предоставления им руководящих должностей на места, ранее занимаемые специалистами, до своего увольнения проводившими теоретические исследования, не имевшие, по их мнению, практического выхода. Не получая под-

[65]ЦГАИПД. Ф. 304.Оп. 1. Д. 22. Л. 32.
[66]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 27.

держки администрации, они сигнализировали в «соответствующие органы», инициируя проверки и разбирательства с привлечением властных структур. Вечный конфликт «поколений в науке» в условиях «культурной революции» приобрел политико-идеологическое, а затем и криминальное звучание. И это в значительной степени способствовало пристальному вниманию НК РКИ к возглавляемым Вавиловым учреждениям. В начале 1930 г. комиссия РКИ отметила, что существует разрыв между ведущимися исследованиями и практическим использованием их результатов, нет связи исследований с жизнью, к научным исследованиям слабо привлекается молодежь.

Газетная артподготовка: «Институт благородных ботаников»

Об этом было сообщено 21 февраля 1930 г. в газете «Правда» в «Листке РКИ» (№ 51, с. 4) в статье В. Балашова «Институт благородных ботаников». Там говорилось, что еще годом ранее в том же «Листке РКИ» увидела свет статья «Ученые в облаках» с критикой ГОИА и ВИПБиНК за отрыв исследований от задач реконструкции сельского хозяйства. Но с тех пор ничего не изменилось. Лучшие семена по-прежнему идут в кулацкие хозяйства, в институте процветает семейственность, штат укомплектован выходцами из дворян, почетных граждан, купцов, фабрикантов, священнослужителей, а также «старушками из бывших». Директор «*большую часть времени проводит вне Института и организационно Институтом почти не руководит. Его заместитель, член партии Мартынов* [67]*, „домашний коммунист“, упрямо не хотел замечать творящихся вокруг него безобразий. На них указывали и партийный коллектив и отдельные коммунисты, но Мартынов величественно заявляет: „Я не обязан давать отчет о своих действиях никому, кроме ЦК партии и Наркомзема“. Небольшая кучка коммунистов находится в загоне. С их мнением никто не хочет считаться*». Приведенный абзац точно отражает суть конфликта: часть партийного коллектива жаждала власти. И напрасно Вавилов добивался публикации опровержения (см. подробнее: Есаков, 2007, с. 166–170), видимо, не зная еще, что «Правда» никаких опровержений вообще не печатает, а, кроме того, никого уже не интересовало, кто прав.

После этой публикации Альбенский и его сторонники начали массированную атаку на руководство Института, отмечая 14 апреля 1930 г. на общем партийном собрании ВИПБиНК недостатки в управлении и стратегии исследований, невыполнение решений партбюро, пассивность части коммунистов в критике руководителей отделов. О практической бесполезности занятий черникой, проводимых Е.Н. Синской, и о необходимости «*иметь силы, которые можно выдвигать*», говорил А.В. Альбенский [68]. В унисон с ним звучали сетования И.В. Обода, что специалисты «*больше внимания уделяют чисто научным, а не практическим вопросам… Мировые коллекции отнимают много времени, сил и средств, но в итоге все это лежит мертвым грузом без практического применения. Такой уклон надо проверить*»[69]. Однако принятая резолюция состояла из общих фраз: «*рекомендовать трехугольнику проработать вопрос о структуре, методах и направлениях работы Ин*[*ститу*]*та в целом*», лучше учитывать «*требования, предъявляемые Институту и отделам жизнью», «лучше работать по кадрам*», «*иметь список лиц кандидатов на выдвижение в лаборанты и младшие ассистенты*»[70].

Арест 21 июля 1930 г. А.В. Чаянова инициировал кампанию по обличению всей сельскохозяйственной науки и поиску «врагов социалистической реконструкции сельского хо-

[67]Мартынов М.Д. был помощником директора по административно-финансовой части ВИПБиНК.
[68]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 11.
[69]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 11.
[70]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 15–15об.

зяйства» в самом ВИР'е. Принятая 11 августа 1930 г. резолюция по докладу Г.И. Быкова, посвященному решению XVI съезда ВКП(б) о сельском хозяйстве, выражала позицию А.В. Альбенского, Г.И. Быкова и Г.Н. Шлыкова и говорила о «перестройке всей научно-исследовательской работы в нашем Институте»[71].

Конфликт в ВИР'е на новый уровень вывели публикации в «Комсомольской правде» (4 окт. 1930 г.) и «Ленинградской правде» (7 дек. 1930 г.) с критикой ВАСХНИЛ, вовлекшие в конфликт Октябрьский райком и Ленинградский обком ВКП(б). В ВИР появились различные обследовательские бригады уже из партийных органов, только что созданного ЛОКА и др. Статье в «Комсомольской правде» был посвящен закрытый пленум ВКП(б) и ВЛКСМ при ВАСХНИЛ, состоявшийся 8 октября. Открывая прения, автор статьи, секретарь парторганизации Н. Гейликман сказал, что Институты ВАСХНИЛ не имеют ни планов, ни практических результатов: «*люди не знают, что делать*»; никто не может дать конкретных рекомендаций, «*где, что и как сеять*», «*у комсомольцев и партийцев нет чутья*» на вредительство, оно «*не желают следить за работой Институтов*»[72]. Многие выступавшие в прениях (Н.В. Ковалев, Г.И. Быков, Норкина, Бакланов, Брундуковский, Лебедев, Соболев, А.П. Тимофеева) причину сложившегося положения видели в том, что аппарат Президиума бездействует, его руководство постоянно находится за границей (Н.И. Вавилов и А.И. Гайстер) или в Саратове (Н.М. Тулайков) и т. д. В выступлениях часто звучала мысль, что «*ученые специалисты почти все из дворян*», занимаются саботажем, а администрация их покрывает, а значит «*нужна чистка*»[73]. Часть вины перекладывали на партийные и контрольные органы. Так, А.И. Лусс отмечал, что по сигналам из ВИР работала комиссия ЦК ВКП(б) и обещала дать «красных профессоров», но их до сих пор нет, как нет и оргвыводов [74]. Кудрашов напомнил, что мы давно говорим *«о контрреволюционном ядре Академии»,* «*была комиссия обл. РКИ и райкома ВКП(б), но дело как-то замяли. Легкая кавалерия шевельнет; и мы заговорили опять, но делаем мало*» [75]. Некоторые выступавшие просили прислать новые комиссии и бригады. Подобные упреки отверг представитель областного РКИ Вульф: «*Выдвинутое тов. Тимофеевой предложение о политических комиссарах неверно. Каждый комсомолец, каждый партиец есть политический комиссар и работник ГПУ* (выделено мной — *Э. К.*)» [76]. В заключительном слове Н. Гейликман отметил, что цель публикации — «*привлечь внимание общественности к безобразнейшему положению в Академии. Президиум Академии не справляется с руководством, точно так же и парторганизация Ленинградских Институтов*». Он охарактеризовал ее действие как «*самую настоящую правооппортунистическую практику*»[77]. Подводя итоги, Дегтярев заверил, что «*собрание можно считать первым итогом борьбы за ленинскую академию*», пообещал «*подходить к специалисту с политической точки зрения*» и согласился: «*Ин*[*ститу*]*т Растениеводства занимается не делом*»[78].

Бригада в составе А.В. Альбенского, П.В. Жукова и Н.И. Иванова, обследуя 24 октября 1930 г. работу за полгода бюро партийной ячейки ВКП(б) ВИР, указала на отсутствие: «*ударных тем*»; «*единоначалия, начиная с Президиума и кончая лицами, возглавляющими отделы*», «*ответственных лиц за работу*»; «*списка выдвиженцев по Институту»;* «*упадок дисциплины буквально по всему институту*»[79]. Они требовали, чтобы научные должности за-

[71]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 21.
[72]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 36.
[73]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 36–37.
[74]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
[75]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
[76]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 39.
[77]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 40.
[78]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 40.
[79]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 17. Л. 1–2.

полнялись коммунистами, и отмечали «*сопротивление значительной части научных работников переключению их исследований на ударные темы по выполнению актуальных задач*». Для исправления положения в научных кадрах, где 54 % составляли бывшие дворяне и служащие и только два человека были из рабочих[80], Г.Н. Шлыков предложил «*на должности зав*[*едующих*] *отделений подобрать членов партии, не специалистов из рабочих*»[81], а М.В. Калашников — «*коммунизировать наши отделения*»[82]. В этом хоре одиноко звучал голос управляющего делами ВИР М.М. Ушакова, призывавшего бережно относиться к специалистам, так как заменить их некем. К критикам присоединился недавно назначенный заместитель директора ВИР агроном Н.С. Переверзнев, согласившись с тем, что «*отделения наши беспризорны. Ими никто не занимается*»[83]. По мнению Н. Гейликмана, «*администрация имеет лозунг: осторожность, осторожность и ещё раз осторожность, но не всегда его можно применить в наших Ин*[*стит*]*утах*»[84].

Агрессивность критиков нарастала с каждым днем, что показало обсуждение ситуации с каучуконосами, которую оценили как преступную на заседании Бюро 18 октября. Неистовый Гейликман требовал «*немедленно снять всю преступную верхушку*», а заодно «*проверить партчасть Президиума Ин*[*ститу*]*та*». Было решено за помощью обратиться в «органы», в печать и в рабочие коллективы крупных заводов[85].

В Ленинградской правде» от 7 декабря 1930 г. (стр. 3) была опубликована статья «Сельскохозяйственная академия им. Ленина должна повернуться лицом к социалистической реконструкции деревни. Быстрее ликвидировать пережитки „чаяновщины“». За подписью «Н.Г.», скорее всего, значился тот же Н. Гейликман. Статья явно была инспирирована кругами, фабриковавшими дела Трудовой крестьянской партии, и содержала уже политические обвинения. Недостатки в работе ВАСХНИЛ, по мнению автора, были «*следствием чаяново-кондратьевской традиции*» в академических кругах, не желавших *«ставить науку на службу социалистическому строительству. ...Дворяне, почетные граждане в значительной степени определяют социальное лицо Института… Немало старших научных сотрудников принесли с собой в Институт методы и традиции земского опытничества*». В итоге работа, констатировалось в статье, идет «*на холостом ходу*», руководство ВАСХНИЛ занимается постоянной реорганизацией институтов вместо реальной очистки их от носителей «*вредительской практики*». В бездействии обвинялась и партийная организация ВАСХНИЛ, не реагирующая на критику: «*Отдельные товарищи своевременно сигнализировали о процессах в Институтах… Еще до разоблачения вредителей они характеризовали деятельность отдельных работников как вредительскую. Однако фракция Академии не уделяла этому должного внимания*». В статье сквозит и разочарование аспирантами, не поддержавшими нападки на Вавилова. «*Аполитичность, деляческое отношение к своей учебе, недооценка партийно-общественного воздействия на научный коллектив — вот что*, — по мнению автора, — *характеризует в основном аспирантуру»*.

Эта статья обозначила новый этап атак на Вавилова. Ему как главе ВАСХНИЛ вменяли в вину потворство преступлениям: «чаяновщине» и вредительству, а партийной организации — отсутствие реакции на «сигналы». На выступления главной партийной газеты Ленинграда отреагировал Октябрьский райком ВКП(б)[86]. На пленуме «*комсостава ВКП(б) Институтов*

[80]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 14
[81]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 48.
[82]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 48.
[83]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 48об.
[84]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 48об.
[85]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 46.
[86]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. № 5. Л. 41–42.

Сельскохозяйственной Академии» было доложено, что райком согласен с постановкой вопроса «о «*ненормальностях в жизни парторганизации*». Институты ВАСХНИЛ «*не справились с задачей подвести научную базу под социалистическую реконструкцию*», а их «*парторганизация не смогла возглавить действия в этом направлении и не мобилизовала внимание на борьбу с Чаяновщиной и Кондратьевщиной, и не возглавила чистки Институтов от реакционных и классово чуждых специалистов*». Отмечено было отсутствие единства в Президиуме ВАСХНИЛ, часто подпадавшего под влияние враждующих группировок и чуждых элементов и ничего не сделавшего для изживания «*науки для науки*» и «*приоритета индивидуального труда перед коллективистским*». По предложению Президиума ВАСХНИЛ, партийным ячейкам и профорганизациям отделов было предписано «*провести мероприятия по самоочистке*», «*развернуть беспощадную борьбу с отжившими формами организации научных отделов, как цеховых, отраслевых и т. п. окостенелых организаций, и с феодальными взаимоотношениями сотрудников, покоящимися на рабском преклонении перед авторитетами и фетишизме ученых*». Вместе с тем пленум заявил: *«Парторганизация Ленинградской группы Институтов в основном здорова и, невзирая на трудности, будет стойко бороться за завоевание рабочим классом научных высот, за овладение рабочим классом с/х. наук*»[87]. На языке того времени это означало, что Октябрьский райком и парторганизация ВАСХНИЛ разделяют с администрацией ответственность за сложившееся положение и готовы к её исправлению.

Реакцией на статью в «Ленинградской правде» стало общее собрание ячеек ВКП(б) при Ленинградском институте аспирантуры, на котором запугивали аспирантов, не поддерживавших критиков. Указывалось, что среди аспирантов «*имеются нездоровые настроения: слышны разговоры о том, что ЦК проводит Троцкистскую политику, вывозят продукты за границу, а сами голодаем; такие разговоры не встречают соответствующий отпор*» (К.А. Сафин)[88]. Для преодоления ситуации М.Г. Тимофеева призвала «*бороться с буржуазными теориями в естествознании*»[89]. Наиболее радикальным был Г.Н. Шлыков, предложивший *«Прикрепить к производству аспирантов, бороться с теориями ВАВИЛОВА, оживить производственные совещания и послать бригады в Институты*»[90].

13 января 1931 г. на расширенном заседании Бюро партийного и профсоюзного активов ВАСХНИЛ рассматривали планы реорганизации Институтов крупяного хозяйства, механизации сельского хозяйства, агропочвоведения, аспирантуры и др. [91]. От имени ВИР выступал Н.С. Переверзнев, который, назвав в числе его основных направлений районирование культур, определение районов наибольшей продуктивности (сортоиспытание), географической изменчивости и пр., заметил: «*Изменение структуры выяснится к приезду Вавилова, тогда планы потребуют некоторой доработки*»[92]. Ссылка на Вавилова не понравилась ряду сотрудников ВИР'а. Представитель профсоюзного бюро Саппель выразил сомнения, что ВИР закончит составление планов к 1 марта 1931 г., так как «э*та работа упирается в структуру, что оставлено на волю ВАВИЛОВА. Надо все закончить до приезда последнего*»[93]. Поддержав опасения Саппеля, Г.И. Быков призвал не поддаваться давлению Вавилова, избавиться от «*выражения настроения боязни авторитета Вавилова. Таким настроениям надо давать отпор, и с приездом Вавилова также твердо проводить нашу линию*»[94].

[87]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 5. Л. 42.
[88]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.
[89]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 9. Л. 13.
[90]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 9. Л. 14.
[91]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 23. Л.1–4.
[92]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 23. Л.1.
[93]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 23. Л.2.
[94]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 23. Л.2.

Это заклинание было сделано буквально за несколько дней до возвращения Вавилова из-за границы после полугодового отсутствия. О его приезде сообщила «Ленинградская правда» 17 января 1931 г. Увиденное явно потрясло его. С горечью Вавилов говорил позднее: «*Я приехал три недели назад и скажу, что я не видел Институт в таком положении приблизительно с 1920 г., половина зданий не топлена, аудитории не топлены, библиотека — мозг Академии — не топлена. Как можно готовить будущие кадры аспирантов при 5–6 градусах. Аспиранты не имеют достаточно нормальных условий*» [95]. Но еще больше его потрясла «разруха в головах», навязываемая коллективу группой партийных критиков, среди которых все чаще оказывался и новый «партдиректор» Н.С. Переверзнев, назначенный вместо «вельможного» Мартынова. Но Вавилов не дрогнул и вступил в «бой» за свое любимое детище. 18 января в «Красной газете», а 20 января в газете «Социалистическая реконструкция» публикуются его рассказы об итогах заграничного вояжа в страны Америки, в Германию и Францию.

Трудные бои

Так 9 февраля 1931 г. участники заседания только что созданного Биологического сектора (Биосектор) Секции естествознания ЛОКА характеризовали ситуацию в ВАСХНИЛ. Этому заседанию предшествовали радикальные изменения в Комакадемии в Москве. 11 января её Президиум признал крупные «*провалы на фронте естествознания*» и потребовал «*перестройку естественных и математических наук на основе материалистической диалектики*»[96]. Прежних руководителей Ассоциации естествознания, включая генетиков И.И. Агола и С.Г. Левита, обвинили в извращении «*проблемы партийности в науке*», в отождествлении работ буржуазных генетиков с марксизмом, в капитуляции перед буржуазной наукой, в «*антимарксистском отрыве теории от практики*». Псевдомарксистскими были названы работы Н.К. Кольцова по евгенике, а труды А.С. Серебровского «*формами приспособления к марксизму-ленинизму в условиях диктатуры пролетариата, по существу, отражающих напор классового врага на идеологию пролетариата*»[97]. Борьбу с подобными «приспособленцами» возглавил математик, профессиональный революционер Э.Я. Кольман, готовый законы Ньютона и Бойля-Мариотта переработать с позиций диалектического материализма[98]. Он не сомневался, что знание законов диалектики приведет к крупным открытиям в биологии, которая кишит вредителями: ихтиологи занижают производительные способности прудов и рек, зоологи и ботаники противостоят созданию совхозов-гигантов и препятствуют распашке степей, экономисты-аграрники пишут о деградации сельского хозяйства в СССР[99]. Для борьбы с враждебными марксизму концепциями требовали ввести методологический и идеологический контроль над институтами Наркомзема, Наркомздрава, Наркомпроса, АН СССР, ВАСХНИЛ и их научными изданиями, организовать просмотр учебной литературы, программ и методов преподавания в учебных заведениях, создать марксистско-ленинские учебники по отдельным естественным наукам, преобразовать марксистские общества в массовые организации ученых и т. п.

---

[95]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 111.

[96]АРАН. Ф. 350. Оп. 1. Д. 413. Л. 2–3.

[97]О положении на фронте естествознания: Резолюция Президиума Коммунистической Академии совместно с Ассоциацией естествознания и естественным отделением ИКПФиЕ по докладу О. Шмидта и содокладу А. Максимова «О положении на фронте естествознания» // Вест. Комакадемии. — 1931. — № 1. — С. 19.

[98]План научно-исследовательской работы Институтов на 1932 г.: Сокращенная стенограмма заседания Президиума от 14 февраля 1932 г. // Вест. Комакадемии. — 1932. — № 1. — С. 17–39.

[99]Кольман Э. Вредительство в науке // Большевик. — 1931. — № 2. — С. 74—75.

В постановлениях ЦК ВКП(б) «О журнале „Под знаменем марксизма“» от 25 января 1931 г. и «О работе Комакадемии» от 15 марта 1931 г. ставилась задача беспощадной борьбы со всеми «*антимарксистскими, а, следовательно, антиленинскими установками*» в естественных науках, связанных с социалистическим строительством. Это открывало простор для политических спекуляций и разгрома тех направлений в биологии, которые были обвинены в отрыве от борьбы за урожайность, продуктивность животноводства, увеличение улова рыб и т. д. Комакадемии предписывали участвовать во всех мероприятиях научного характера (экспедициях, конференциях, съездах, обследованиях тематических планов институтов), проверить кадровый состав учреждений и обеспечить «*решительное выдвижение молодых сил из числа проявивших себя и выдержанных коммунистов*». Все научные учреждения страны представляли на проверку в Биологический институт (БИКА) и ОБМ Комакадемии планы научно-исследовательских работ. Биология была объявлена классовой и партийной наукой, а ее теории стали характеризовать как буржуазные, вредительские, идеалистические, кулацкие, расистские, фашистские и т. п. Нормой стало противопоставление советских исследований мировой науке.

В ленинградской биологии главным выдвиженцем этого этапа «культурной революции» стал И.И. Презент, который вместо академического марксиста Я.М. Урановского в начале 1931 г. возглавил организации, созданные для проведения политики партии среди биологов: ОБМ, естественнонаучную секцию ОВМД и Биосектор ЛОКА, кафедру диалектики природы и эволюционного учения в ЛГУ. На упомянутом заседании Биосектора И.И. Презент, давая установки аспирантам, более чем наполовину представлявшим ВАСХНИЛ, вещал: «…*Октябрьская революция в отношении перетряхивания теоретических установок ещё только начинается. Нам нужно все взять на свои плечи. Основная задача — самокритика и перетряхивание. Нужно проделать черновую работу по сборке материалов, чтоб представить себе все реакционные течения. Нужно взять на критику всех. Черновой просмотр, сборка материала должна вестись широко и массово во всех учреждениях. Необходимо наметить бригаду, которая должна установить очередность всех течений и лиц, которых мы должны бить*»[100]. При этом он стремился сохранить за собой руководящую роль в критике биологов во всех учреждениях. «*Всю работу*, — подчеркивал Презент, — *надо вести объединено. Нужно, чтобы во главе всего стояла Комакадемия и чтобы она руководила всей работой. Нужно связаться с теми учреждениями, где работают отдельные специалисты, и установить в каждом, что они из себя представляют в своих теоретических взглядах и практической работе*». Презент прямо говорит о том, что они берут на себя роль опричников Обкома ВКП(б) в области науки: «*Нужно, чтобы у нас была единая линия, согласованная с Обкомом, кого и как ударить, и кого поддержать. Основная мерка это политическое лицо ученого*». Ссылки на Обком партии и необходимость согласовать с ним свои действия стали постоянными во всех решениях ОБМ и Биосектора Института естествознания ЛОКА.

К этому времени Презент уже определил ВАСХНИЛ и Н.И. Вавилова как первоочередные цели для обследования, фактически посвятив этому вопросу рассматриваемое заседание. Аспирант из ВАСХНИЛ В. Соколов докладывал: «*У нас в ВАСХНИЛ идут бои за марксистскую методологию. У нас уже 3-е собрание, когда мы критикуем крупных специалистов. Ин*[*ститу*]*т аспирантуры дал очень многое по методологии, которой уделяется в подготовке даже большее внимание, чем специальным предметам. Наша Академия /доклад о прикладной ботанике Быкова/ имеет в своем составе, главным образом, чуждых нам специалистов, засорена лицами, исключенными из других ВУЗ’ов. Есть затирание молодых специали-*

[100]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 58.

стов. Мы выдвигаем вопрос о критике вавиловской школы»[101]. Оптимистично был настроен С.В. Солдатенков: «*В Ин*[*ститу*]*те животноводства ВАСХНИЛ все аспиранты разбиты на бригады. Имеются конкретные результаты по проработке генетической школы Филипченко*»[102].

Однако сразу выяснилось, что далеко не все аспиранты жаждут прорабатывать своих учителей. И.Д. Мина признал: «*Для нас вопрос об информации о работе поставлен неожиданно, и мы не очень хорошо подготовлены*»[103]. Об отсутствии профессиональных знаний говорил С.Н. Резник: «*У нас хорошо поставлен диамат, но у нас очень недостаточна подготовка по методологии своих специальностей…, чтобы увязать марксистскую методологию с экспериментальной работой*»[104]. По его словам, из 200 аспирантов ВАСХНИЛ 73 человека — коммунисты и 42 — комсомольцы, но и среди них нет «*заинтересованности в работе бригад ЛОКА*», в разоблачении «*реакционных теорий: Левитский, Лискун, Устьянцев, Берг, Любищев*»[105]. Аспирантов ВАСХНИЛ поддержала секретарь Биологической ассоциации АН СССР, аспирантка Е.М. Пружанская, отметив, что коммунисты есть только на подготовительном отделении аспирантуры и их знания столь слабы, что взяться за критику специалистов они не могут. С ней согласилась жена Презента Б.Г. Поташникова, признав: «*…За проработку Вернадского, Павлова и других лиц мы еще взяться не може*м»[106].

Даже А.В. Альбенский вынужден был признать: «*В ВАСХНИЛ очень много наделано ошибок, и так ставить доклады (*имеются в виду, очевидно, доклады Г.И. Быкова. — *Э.К.) нельзя. Нужно работы по методологическому анализу делать очень ответственно*»[107]. Он согласился с тезисом о ведущей роли ЛОКА в подготовке докладов с критикой Вавилова и подчеркнул: «*Необходимо вначале проверять их в Комакадемии и согласовать в соответствующих партийных органах. Нужно действительно глубоко поставить проработку теоретических вопросов и взяться за критику методологии Берга и др*.».

Своим опытом работы поделилась Б.Г. Поташникова, которая также считала: «За ВАСХНИЛ надо серьёзно взяться, поскольку она играет крупную роль в нашем строительстве. Аспиранты правильно начали критику отдельных сотрудников. Взгляды Вавилова определенно мешают приблизить Ин[ститу]т растениеводства к соц[иалистическому] строительству. У них очень трудно вести борьбу, т[ак] к[ак] у них очень хорошо сколочены специалисты. У них очень много крупных спецов, без которых ещё нельзя обойтись. Вопрос о Вавилове нужно бы было согласовать с Обкомом» (подчеркнуто мной — Э.К.)[108].

В тот же день на общем собрании сотрудников ВИР шел очередной «трудный бой», где критиковали уже не организационные и кадровые ошибки в деятельности Вавилова, а всю систему его научных взглядов как противоречащих марксизму. Поводом для такой постановки вопроса стала статья «Прикладная ботаника или ленинское обновление земли? Лицом к нуждам социалистического строительства» в газете «Экономическая жизнь» от 29 января 1931 г., написанная А.К. Колем. В историко-научной литературе её обычно оценивают как «политический донос», последовавший за снятием Н.П. Горбунова и положивший начало травле Вавилова. На мой взгляд, значение этой статьи сильно преувеличено. Она лишь одно из звеньев идущей уже более года атаки на Вавилова, а Коль не злой его гений, а марионетка аспирантов-партийцев.

[101]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 56.
[102]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 57.
[103]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 56.
[104]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 56.
[105]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 57.
[106]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 58
[107]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 57
[108]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д.5. Л. 57.

Язык и стилистика статьи, содержащиеся в ней обвинения ВИР'а в реакционности и вредительстве, обычны для того времени. В ней чувствуется раздражение, зависть и обида амбиционного человека, советами которого пренебрегли и которого «не уважают». Коль обвинил ВИР в подмене теории «ленинского обновления земли» теорией «о центрах происхождения изменчивости», в профессорском копании в «ни к чему неприложимых томах „прикладной ботаники"», в отказе от агрономически-селекционной работы и подмены ее морфолого-систематической, в «противодействии введению в элитный фонд иностранных ценных пород» и т. д. Странно выглядело его предложение в условиях вхождения страны в режим автаркии и ограничиться закупкой и интродукцией иностранных сортов на базе «учения о существовании многочисленных климатических аналогов в каждой области союза в виде десятков пунктов Земного шара». «Экономическая жизнь» была изданием Народных комиссариатов снабжения, внешней торговли, путей сообщения и финансов, ее публикации не были директивными указаниями, и Н.И. Вавилову дали возможность публично ответить, но только 13 марта 1931 г. Руководствуясь распоряжением Наркомзема, Вавилов практически сразу после возвращения из-за границы приказал всем заведующим секциями ВИР максимально использовать уже в 1931 г. «*практически ценный сортовой материал для посевов*», включая «*местный материал, селекционный и в особенности экспортируемый из-за границы*», и предложил общую схему посевов, учет их и подведение итогов[109]. Кроме того, он приказал с конца первой декады февраля провести сессию общих собраний отделов и секций ВИР в целях принятия планов на 1931 г. и на вторую пятилетку, оперативно отреагировав на все критические замечания.

Тем не менее, кое-кто в ВИР'е усмотрел в механоламаркистских рассуждениях Коля стимул для критики уже научных взглядов Вавилова. 9 февраля 1931 г. Г.И. Быков призвал критиковать концепции Вавилова, которые являются «*насквозь антидарвинистскими, антимарксистскими по своему существу и методологии*», в результате чего «*практическая ценность значительных трудов Ин*[*ститу*]*та имеет отдаленное отношение к социалистической реконструкции с. х-ва*»[110]. Отмечалось «*отсутствие материалистической диалектики в разработке основных проблем, стоящих перед Ин*[*ститу*]*том*», «*увлечение ботанико-селекционной стороной изучения с.х. культур без переключения результатов всех исследований в области растениеводства в практику крупного специализированного и механизированного социалистического с.х. производства*»[111]. Институт пользуется популярностью за границей, его труды переведены на многие языки, но ничего не делается для использования коллекций в социалистической практике. ГубКК и РКИ предлагали «*произвести чистку научно-исследовательского и административно-хозяйственного аппарата Института*»[112]. В очередной резолюции констатировалось: «*Институт растениеводства по своему направлению совершенно не удовлетворяет тем требованиям, которые поставлены перед ним правительством и партией*»…, «не справился с задачей реконструкции социалистического хозяйства»…, «*не освободился от чуждой нам идеологии». «Партийные и общественные организации, взявшись за реорганизацию работы, столкнулись с враждебным отношением со стороны отдельных сотрудников. Другая часть беспартийных сотрудников попала в немилость у самой сильной части работников*»[113].

Следующий «бой» произошел несколько дней спустя при обсуждении вопроса об аспирантуре. Впервые, пожалуй, столь жесткие претензии к Н.И. Вавилову высказывали в его

[109]Николай …, 1987. С. 87–88.
[110]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 7–8
[111]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 25.
[112]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 29.
[113]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 3.

присутствии. Дата собрания в стенограмме не указана, а на папке ошибочно написано 1929 г. Но из выступлений видно, что оно проходило где-то 10–12-го февраля 1931 г., через три недели после возвращения Вавилова из полугодовой экспедиции в страны Центральной Америки, Мексику и США. Роль застрельщика дискуссии вновь взял на себя Г.И. Быков, заявивший, что ВИР не выполняет решения XVI съезда партии ВКП(б), «*не выкорчевал корни чаяновщины*», и зловеще предупредил: «*…Надо признать и вспомнить, что в основном чаяновская организация немало сделала для нашего Института, недаром они сидят сейчас под замком*»[114]. По его словам, обследовавшая ВИР бригада подтвердила выводы Коля, и «*теперь наше положение определенно неблагоприятное и неблагополучное*». Быков грозно рявкал: «*Небходима диктатура пролетариата», «никаких идеологий мы не позволим», «прекратить отрыв администрации от партийного коллектива», «часть наших профессоров, которая не целиком к нам повернулась, убрать и дать дорогу молодым».* В то же время он лавировал, заявляя: «*Вавилов целиком и полностью наш. Он целиком и полностью заявил, что не берет на себя защиту этих враждебных элементов, что если потребуется чистка, то он возьмет это на себя, не думаю, что Николай Иванович спасует*»[115]. Быков призывал ликвидировать разрыв между парторганизацией и дирекцией, предупреждая всех, что партия будет руководить профессорами, а не наоборот, и что Институт будет вести решительную борьбу со всеми формами антидарвинизма, включая ламаркизм. Остановившись на брошенном Колем заявлении о контрреволюционной деятельности института и пустой трате денег, Г.И. Быков предложил ответить на его вызов со «всей ответственностью и серьезностью»[116]. И серьезность ситуации поняли все присутствовавшие.

В развернувшейся дискуссии против основных положений доклада и обвинений в адрес Института выступили Л.Л. Балашов, Е.Н. Синская, Н.Г. Касаткин, Н.Д. Костецкий, В.В. Маркович, М.Г. Попов, К.А. Фляксбергер и др. Все они убедительно показывали бесплодность рекомендаций Коля и напоминали, что интродукция лучших сортов зерновых из США ничего не дала и нужно создавать совершенно новые сорта (Балашов)[117]. Все они отмечали легковесность и безграмотность быковского выступления. Последнее его сторонники парировали тем, что быковский доклад политический, а не научный. Даже некоторые сторонники Коля, например, М.В. Калашников, протестовали против превращения ВИР в почтовое отделение по пересылки семян. Тем не менее, защищая Коля, противники Вавилова (Н.И. Карташев, И.В. Овсянникова, С.М. Прокошев и др.) говорили о том, что в результате травли Коль превратился в больного, запуганного человека и, конечно, преувеличивает недостатки, реакционные действия ошибочно называет контрреволюцией, но в его словах надо признать правду, хотя бы на 5%, особенно в части кадровой политики. Красочен был Григоров: «*Мы имеем, по крайней мере, половину старых ископаемых ученых, которые ни практически, ни политически, ни научно ценности не представляют. А держать мощи и превращать Институт растениеводства в место, где эти мощи сохраняются, мы не станем»*[118]. И далее с юной непосредственностью предлагал: «*…Надо тов. Вавилова окружить молодыми кадрами, которые не просто пассивно бы относились к Вавилову как к ученому, а критически*»[119]. Все выступавшие отвергли обвинения Коля в контрреволюционной направленности работы ВИР, а Л.И. Говоров назвал подобные заявления мерзостью, хотя признавал вину в том, что научный авторитет Вавилова «*настолько подавляет нас, что мы в его отсутствии*

[114]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
[115]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
[116]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 7.
[117]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3.Л. 87–90.
[118]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3.Л. 43.
[119]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 44.

были бесплодны». «*Диалектический метод не так прост. И для того, чтобы овладеть этим методом, первое, что требуется*, — говорил он с явной издёвкой, — *пролетарское чутье, которого у нас, представителей старой школы, нет*»[120].

В ответном слове Вавилов[121], еще не привыкший к новой ситуации «критики невзирая на лица», вместо требуемой «самокритики», объяснял оппонентам трудности управления Институтом, затем обвинил их в малой образованности и призвал прочитать 100 тыс. книг, чтобы стать хорошими специалистами. Шлыкова он назвал «плохим специалистом», а Коля «плохим работником». Вавилов заявил, что всегда был дарвинистом, и пригрозил отставкой в том случае, если Коля не уберут из Института. Однако ему ответили, что Коля ему уволить не дадут, партию шантажировать нельзя и надо работать там, куда тебя назначили, а 100 тыс. книг читать ни к чему, так как они написаны буржуазными учеными и после их прочтения аспирант становится орудием врага. Дегтярёв прямо заявил: «*Вавилов не прав… Молодежь атакует верно… Революция есть ветер, который отбрасывает всех тех, кто нам сопротивляется*»[122]. Видимо, это понимал и сам Вавилов, который посчитал необходимым публично отмежеваться от А.В. Чаянова и А.Г. Дояренко и даже назвал их «*врагами нашего учреждения*», заявив, «*что никто столько палок в колеса не ставил, сколько эти представители, в развитие Института Растениеводства*»[123].

Хотя письма Вавилова в газеты с опровержением критики не печатали[124], он предпринял мощное пропагандистское контрнаступление, рассказывая об основных направлениях работы Института на III Областном съезде Советов (Ленигр. правда, 22 февраля 1931 г.). Газета «Правда» дважды сообщала о его выступлении на VI съезде Советов СССР (15 марта 1931 г.) и на 1-й Всесоюзной конференции по планированию научно-исследовательской работы (10 апреля 1931 г.). Об этом же сообщает и газета «Известия» (8 апреля 1931 г.)[125]. В конце марта 1931 г. Вавилов делает большой доклад об основных направлениях работы ВИР'а на Президиуме ВАСХНИЛ, который был одобрен.

3 апреля 1931 г. Вавилов выступил на открытом пленуме ВКП(б) ВИР о задачах современной агрономической науки, о месте ВИР в их решении и о перспективах ВИР в свете постановлений XVI съезда партии[126]. С самого начала он сказал, что доклад был одобрен Президиумом ВАСХНИЛ, Наркомземом, а нарком земледелия Я.А. Яковлев подтвердил поддержку деятельности Института при недавнем посещении ВИР'а. С горечью и недоумением звучали слова Вавилова: «Половина наших помещений не отапливается. Это, товарищи, серьезное дело, которое в значительной степени определяет нашу неработоспособность. Это трудности, которые нетерпимы в таком учреждении, на которое возлагаются ответственные задачи, которое должно принимать участие не только в научной разработке теоретических проблем, которые могут подождать, но которое принимает участие в самой неотложной практической задаче, выполняя роль научного сектора Наркомзема»[127]. На многих доклад, насыщенный конкретным материалом и цифрами, произвел большое впечатление, даже глав-

[120]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 65.
[121]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3.Л. 44–56.
[122]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 72.
[123]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 3. Л. 56.
[124]Левина….1995. — С. 38; Есаков…. 2008. — С. 167–172)
[125]Николай…, 1987. — С. 100.
[126]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19.Л. 39–67. Возможно, это дата указана неточно, так как считается, что именно в этот день Вавилов делал доклад Агрономическая наука в условиях социалистического хозяйства на Всесоюзной конференции по планированию науки, в котором дал обзор состояния и перспектив развития сельскохозяйственных наук в СССР (Социалистическая реконструкция сельского хозяйства. — 1931. — № 5–6. — С. 128–138.
[127]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 73.

ные критики были сдержанны. Они по публикациям в прессе понимали, что основные положения доклада прошли апробацию в Москве и одобрены. А.В. Альбенский лишь выразил сомнения в том, что ВИР справится с поставленными задачами; Г.Н. Шлыков выражал разочарование, что Вавилов говорил о будущих работах, а не о сегодняшнем дне; А.К. Коль обвинил ВИР в академизме; Г.И. Быков сетовал, что методология не «наша», не марксизм. Руководитель бригады Обкома, обследовавшей институт, Меньшиков, был аккуратен в формулировках. Он признал большие успехи ВИР в решении зерновой проблемы и повышении урожайности, но призывал отказаться от старых традиций индивидуального исследования в пользу коллективистских практик, укреплять связь с производством и т. д.[128]. Вавилова поддержали Н.Н. Кулешов, Б.С. Мошков, М.Г. Попов и другие ведущие ученые. Осторожно выступал секретарь бюро партийной ячейки П.К. Артёмов, уверяя, что часть ответственности за недостатки в ВИР'е лежит на коммунистах.

В заключительном слове Вавилов сначала резко стал отвечать на критику, делая упор на некомпетентности и малограмотности критики: «50 % того, что говорилось здесь, основано на недостаточном знании Института». «Т. Альбенский не знает наши работы, а результаты этой работы очень большие, мы имеем первоклассные ассортименты, которые бьют все остальные…. Альбенский говорит: „методология", если б его послушал Нарком Земледелия, то он закрыл бы наше учреждение при такой постановке. Если Вы почитаете телеграммы, которые за день приходят, то Вы увидите, чего жизнь требует. Почему мы держимся за сортоиспытание, да потому что мы получаем совершенно конкретные вопросы, которые требуют конкретных знаний, а не методологии»[129]. Далее Вавилов продемонстрировал великолепное знание всего, что делается в Институте, осветив теоретическое и практическое значение каждой плановой темы.

С частью претензий он согласился, сославшись на огромные перегрузки, не позволявшие проконтролировать каждую тему, признал необходимость поворачивать генетиков, физиологов и селекционеров к нуждам сегодняшнего дня. Вавилов был готов поделиться полномочиями с парторганизацией, но с тем условием, чтобы она приняла на себя и обязанности: «*Есть части, которые нужно покруче поворачивать, так вот Вы их подтягивайте, а дирекция будет Вам признательна. Мы озабочены тем, чтобы на Вас перегрузить возможно больше обязанностей, это знают товарищи по работе в Президиуме; мы охотно пойдем на передачу Вам возможно больше функций, и позвольте это пожелание зафиксировать* (выделено в стенограмме. — *Э.К.*)»[130]. Не оставил без внимания Вавилов и актуальный вопрос об аспирантуре «*Относительно а с п и р а н т у р ы укажу на т. Быкова. Жаль, его нет. Он человек авторитетный в Ваших кругах, и его мнение очень для нас существенно. Но из-за его малограмотности с нашей точки зрения, его малого знания нас, его выстрелы в цель не попадают. Ему надо учиться. Когда вы будете нас знать, будете за чуб брать и повернете нас; но этих знаний у Вас недостаточно*»[131]. Отверг Вавилов и обвинения в отсутствии стержня в деятельности ВИР, пафосно заявив: «*Целевая установка это служба социалистической стране. Весь смысл нашего существования, чтобы быть полезным, как мы это представляем, и мы подводим базу под селекционную работу материалом, методологией, наконец, государственным сортоиспытанием: Это все не нужно? Это не целевая установка?*»[132]. Вавилов ответил и А.К. Колю. «*КОЛЬ говорит а к а д е м и з м — но мы сами пошли добровольно на переименование Отдела Прикладной Ботаники в Всесоюзный Институт*

[128]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 98–100.
[129]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 107.
[130]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 108.
[131]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 109
[132]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 109.

Прикладной Ботаники и Новых Культур, а потом — Институт Растениеводства… Конкретизируйте, общая словесность КОЛЯ надоела, а когда наступает конкретизация, то получается, что интродукционные участки засеяны крапивой»[133].

Останавливаясь на проблеме выдвижения кадров, Вавилов горько заметил, что не в том дилемма, партийный сотрудник или беспартийный, а в том, что этих сотрудников нет. В условиях острейшего кадрового дефицита «*надо подумать о том, чтобы по всем разделам обеспечить смену*»[134]. Вавилов призывал критиков к сотрудничеству: «*…Дирекции очень легко будет с вами договориться, не противодействовать Вам будет, но всячески пойдет на встречу*».[135] Он просил прекратить пустые разговоры об аполитичности и признал: «*… Институт нуждается в повороте, в более крутом повороте лицом к социализму… Здесь Ваша помощь нужна, и она может быть чрезвычайно велика*»[136]. Более того, Вавилов понимал, что коммунистическая фракция имеет «*влияние несколько сильнее, нежели Дирекция*». Вавилов признавал: «*Бороться с реакционным направлением — боритесь, это Ваша задача*»[137]. Однако он не принял пункты резолюции о необходимости бороться против реакционного направления в научной работе и об излишнем количестве отраслевых институтов. И собрание согласилось с ним, создав комиссию для доработки постановления. Вавилов сумел смягчить конфликт, пообещав сотрудничество критикам при условии приобретения ими профессиональных знаний. В конечном счете, был принят смягченный вариант резолюции, доработанный Н.Г. Касаткиным. Г.Н. Шлыковым и М.В. Калашниковым: «*Решения XVI партсъезда по докладу т. Яковлева о направлении работ С.Х. академии не отразились в деятельности Института: основная масса специалистов не была мобилизована…*» и т. д. на четырех страницах[138].

Сложившаяся в ВИР'е обстановка вновь заставила Вавилова поднять вопрос о своей отставке. В письме в Президиум ВАСХНИЛ он указывал на ненормальную обстановку, созданную в ВИР'е «*благодаря легкомыслию ряда партийных товарищей, мало подготовленных и в то же время зараженных запалом критики и реформаторства*»[139]. Одни требуют превратить ВИР в оперативный орган Наркомзема, другие, напротив, заняться методологией. Существует и «большая разноголосица» «среди партийных кругов», не позволяющая выбрать стратегию исследований. Указывал он и на огромные финансовые и материальные трудности Института. Однако без Ленинградского Обкома вопрос об отставке Вавилова в то время не мог быть решен.

«Бои» в ВИР шли синхронно и согласованно с событиями в ЛОКА. 8 марта 1931 г. при обсуждении плана работ Презент вновь подчеркнул, что необходим «*разбор различных реакционных течений в биологии и наряду с этим тщательная проверка их влияния на работу наших прикладных учреждений… нужно в первую очередь заняться: генетика (Вавилов, Карпеченко, школа Филипченко)*[140]. Он призвал заняться подготовкой к проведению Всесоюзных съездов с целью захвата руководства биологическими обществами и провести методический просмотр всех кафедр биологического профиля в вузах Ленинграда. Его возмущало, что профессора не ссылаются в своих работах и лекциях на партийные документы, а если и упоминают о них, то со скрежетом зубовным. Наряду с обычными обвинениями в «*отрыве теории от практики*», «*либеральном и оппортунистическом отношении к теоретическим*

[133]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 109.
[134]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 109
[135]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 110
[136]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 114.
[137]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 113
[138]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 113
[139]Николай… 1987. С. 114.
[140]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 35.

вылазкам прямых классовых врагов» он инкриминировал генетикам «*созерцательное отношение к природе, с её, якобы раз и навсегда сложившимися стабильными, наиболее благоприятными отношениями, затронуть которые значит, с точки зрения этих теоретиков, ворваться в порядок природы, нарушить её устои… такова установка этих теоретиков, которые не прочь одеть природу в жандармский мундир, а самого жандарма облечь законностью природы*»[141].

Как никто другой Презент умел придать любой научной дискуссии характер обострившейся классовой борьбы. Его деятельность была направлена на сокрушение традиционных научных школ, и в этом он был един с вировскими критиками Вавилова, возмущенными тем, что ученые старшего поколения, на словах приняв диалектический материализм, продолжают заниматься прежними темами, используют методы мировой науки и не уступают им место в руководстве, несмотря на безупречное социальное происхождение, партийность и знание марксизма.

Позиция Презента отражала взгляды новых руководителей ОБМ в Москве, которые декларировали: «*Нужна решительная борьба, разоблачение реакционных "теорий" отдельных научных работников, пытавшихся ограничить возможность вмешательства экспериментатора, исследователя в ход развития животных и растений, обосновывающих созерцательное, пассивное, любительское отношение к живой природе*»[142]. В докладе Б.П. Токина на общем собрании ОБМ, состоявшемся 14 марта 1931 г., в обязанности «марксистов-ленинцев» вменялось решать проблемы превращения озимых сортов культурных растений в яровые, хлопковой и каучуковой независимости, борьбы с засухой и т. д. Токина особо возмущало *«„святое" невмешательство в методологические установки Вавилова»*[143]. Он зловеще предупреждал: «*Биология в СССР — не кабинетное дело. Совсем недавно мы имели раскрытие целой системы вредительства и на сельскохозяйственном „биологическом" участке. Разговоры об аполитичности естествознания и биологии в частности являются сознательной ложью „дипломированных лакеев буржуазии"*»[144]. Он требовал проверить всю систему учреждений сельскохозяйственной науки, оговариваясь на всякий случай, что это «*не означает, что мы должны дать лозунг „проработать" Вавилова*»[145]. Ознакомившись бегло с материалами совещания ОБМ, В.И. Вернадский записал: «*Читать нельзя, больное, невежественное. Для психиатра. Картина морального разложения… убогие люди и полное отсутствие понимания научной работы…*»[146]. Но именно эти люди планировали осуществлять методологический контроль «*над существующей и развертываемой сетью научно-исследовательских учреждений, входящих в состав Наркомзема (прежде всего ВАСХНИЛ)*», «*заслушать на пленуме ОБМ доклад о плане и работе Институтов животноводства и растениеводства ВАСХНИЛ*», организовать «*бригаду для изучения и критической оценки работ Н.И. Вавилова*», поручив ей «*подготовить для пленума общества доклад: „Генетика, селекция и проблемы растениеводства"*»[147]. Неизвестно, состоялся ли этот доклад. Его следов нет ни в одной из статей-отчетов или статей-планов руководителей Президиума ОБМ[148] (Бондаренко, 1931; Бондаренко, Яксон, 1931; Новинский, 1931). Также нет сведений о реакции

[141]Презент И. Классовая борьба на естественно-научном фронте. Обработанная стенограмма лекции на конференции педагогов-естественников. М.; Л.: ОГИЗ, 1932. С. 2.

[142]Мицкевич М., Токин Б. Эволюционную науку на службу соцстроительства // Учение Дарвина и марксизм-ленинизм. — М.: Партиздат. 1932. С. 127.

[143]Против механистического материализма и меньшевиствующего идеализма в биологии / Под ред. П.П. Бондаренко и др. — М.; Л. Гос. мед. изд-во. — 1931. — С. 12.

[144]Там же. С. 9–10)

[145]Там же. С. 12.

[146]Вернадский В.И. Дневники. 1926–1934. — М.: Наука. — 2001. — С. 258.

[147]Против… 1931. — С. 92–93.

Н.И. Вавилова на личное предложение ему от редакции «За марксистко-ленинское естествознание» принять участие в обсуждении плана работ БИКА, возглавляемого Б.П. Токиным.[149]

12 апреля 1931 г. на заседании Президиума Ассоциации Комакадемии был заслушан доклад руководителя Секции естествознания Института философии ЛОКА Я.М. Урановского и И.И. Презента о состоянии дел в Ленинграде. Они сообщили, что «*организовано 9 бригад. Поставлена конкретная задача — оценка школ и направлений биологии с учетом, каковы выходы их в практику, в частности, оценка генетических школ Филипченко, Вавилова по вопросам селекции с/х. растений, 2 бригады работают по проблемам зимоморозоустойчивости* (так в тексте. — *Э.К.*) — *проверка теоретических и практических установок для осуществления методологического контроля лаборатории проф. Максимова*»[150]. Отчет явно не удовлетворил Э.Я. Кольмана, который заявил: «*Положение в Ленинграде следует признать ненормальным. Борьба со старым руководством не доведена до конца. В работе не обеспечено четкой партийной линии, несмотря на то, что Ленинград представляет собою крупнейший пролетарский центр кадры совершенно не организованы, масштаб работы не принял надлежащих размеров*»[151]. По мнению члена Президиума Сурта, «*из выступления Презента и Урановского видно, что борьба на два фронта не проведена и, видимо, данное руководство секции не может обеспечить четкой партийной линии. Ссылка на то, что в Ленинграде нет кадров и негде их взять, — кажется более чем невероятной*»[152]. В конечном счете, «организовывать кадры» поручили Презенту, ближайшими сотрудниками которого стали все те же аспиранты из ВАСХНИЛ А.В. Альбенский, С.М. Прокошев и Г.Н. Шлыков, вошедшие в состав правления ОБМ[153]. Членами ОБМ были также другие сотрудники и аспиранты ВАСХНИЛ (Р.К. Аболин, Ф.Х. Бахтеев, И.Е. Брежнев. П.М. Жуковский, Г.М. Коваленко, В.А. Ковда, Н.А. Максимов, И.Д. Мина, Б.Б. Полынов, И.М. Поляков, Д.М. Разумов, С.Н. Резник, К.С. Семакин, С.А. Самофал, В.Н. Сукачев, М.Т. Тимофеева, П.И. Чазов, С.В. Юзепчук и др.), которые были хорошими специалистами и оказались верны Вавилову.

Особую активность и здесь проявлял А.В. Альбенский, который поначалу даже пытался сместить Презента с поста председателя ОБМ, но не получил поддержки его членов. Он возглавлял или входил в состав практически всех бригад, созданных для обследования ВАСХНИЛ, Лесотехнической академии, подготовки Всесоюзного съезда ботаников, Всесоюзной конференции по генетическому планированию и т. д. Всего в Ленинградском ОБМ по отчетам состояло 215 человек, но в разных списках насчитывалось не более 85 человек, а в протоколах мелькают двадцать пять-тридцать фамилий одних и тех же ассистентов, аспирантов и студентов Института естествознания ЛОКА, ЛГУ, Педагогического института им. А.И. Герцена, ВАСХНИЛ (всего 16 организаций)[154]. Для борьбы с традиционными научными школами были созданы бригады, в том числе «по селекции и генетике в составе: А.В. Альбенского (бригадир) ВАСХНИЛ, Б.Г. Поташникова –А[кадеми]и наук, М.Е. Лобашева

[148]Бондаренко П.П. Работа Ассоциации институтов естествознания в связи с постановлением ЦК ВКП(б) от 15 марта о работе Комакадемии // За марксистско-ленинское естествознание. — 1931. — № 2. — С. 102–115; Бондаренко П.П., Яксон Р.Э. Работа Секции естествознания Комакадемии в свете дискуссий о положении на фронте естествознания // За марксистско-ленинское естествознание. — 1931. — № 1. — С. 16–26: Новинский И.И. Учебно-производственный план ИКП естествознания // За марксистско-ленинское естествознание. — 1931. — № 1. — С. 116–125.

[149]План работы… 1931. — С. 127.

[150]СПФ АРАН. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6. Л. 52.

[151]СПФ АРАН. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6. Л. 53

[152]СПФ АРАН. Ф. 235. Оп. 1. Д. 6. Л. 53

[153]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 6. Л. 5.

[154]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 6. Л.3–4.

Л.Г.У.)[155]. Бригаде по виду (Н.В. Шипчинский — бригадир, Е.Г. Бобров, К.М. Завадский, П.Н. Овчинников, Д.А. Петров, М.М. Ильин, И.М. Крашенинников, С.В. Юзепчук и др.) поручили критику «лотсианского направления (экспериментально-генетическое)» и наметили два доклада: о школе Г. Туреccона и о школе Н.И. Вавилова „вид как система“»[156]. Бригада генетиков во главе с Б.Г. Поташниковой должна была «*проверить работу Таланова, т*[*ак*].*к*[*ак*]. *наблюдалась подтасовка цифр*»[157], и раскритиковать Вавилова за «*механистические уклоны в генетике, проявившиеся в гомологических рядах и мировых центрах сортообразования*»[158].

Б.Г. Поташникова была одной из ключевых фигур в событиях тех дней, связанных с Вавиловым. У неё за плечами был солидный партийный стаж (с 1920 г.), богатая биография советской активистки, участие в дискуссиях на стороне троцкистов и вынесенный из них опыт следования «генеральной линии партии» и колебаний вместе с ней. Биологией она занималась только три года, но уже успела подготовить вместе с другим активистом «культурной революции» Н.Л. Гербильским большой учебник «Рабочая книга по естествознанию» (1931). В 1929 г. Поташникова была аспиранткой в Педагогическом институте им. А.И. Герцена, а с 1930 г. направлена в аспирантуру АН СССР, в Лабораторию генетики при научном руководстве В.Л. Комарова. Она, разрабатывая генетический метод в систематике на материалах межвидовых гибридов в семействе крестоцветовых[159], была знакома с трудами Г.Д. Карпеченко, прошла семинар у Ю.А. Филипченко. Возможно, поэтому существует мнение о том, что в начале своей карьеры И.И. Презент был чуть ли не консультантом по философии у Вавилова и предлагал ему дать диалектическое обоснование генетики, что было отвергнуто[160]. Помимо учебы в ЛГУ Поташникова работала в Биосекторе Института естествознания ЛОКА, где считалась главным специалистом по генетике, а после ареста Г.Д. Карпеченко была и. о. заведующей кафедрой генетики растений ЛГУ. В целом Поташникова проявляла осторожность и осмотрительность в суждениях о генетике в целом и генетических взглядах Вавилова и его сотрудников, в частности. «Принципиальный» Презент публично ее громил за потерю классового чутья и неумение вскрыть ошибки формальной генетики в трудах, правда, к тому времени уже покойного Ю.А. Филипченко (1888—1930).

Вместе с другими аспирантами ЛГУ К. Косиковым и И. Яковлевым, Б.Г. Поташникова весной 1931 г. проверила Лабораторию генетики АН СССР, возглавляемую Н.И. Вавиловым. От участия в проверке отказался М.Е. Лобашев, а также аспиранты ВИР, сославшиеся на посевную. Представленный отчет был согласован с Бюро партийной ячейки и с профбюро Ассоциации биологических учреждений АН СССР[161]. На пяти страницах убористого текста проверяющие пункт за пунктом рассматривали пункты плана, отметив их многотемье (16 тем на 6 человек), но были осторожны в выводах о рекомендациях, оставляя решение на усмотрение будущей совместной конференции АН СССР, ВАСХНИЛ, ЛОКА по генетическому планированию. Хотя ни один пункт плана не остался без критических замечаний с учетом времени его составления, отчет был в целом положительный. В нем нет пунктов о вредительстве, механицизме, витализме и т. д. «*Производственный план лаборатории генетики (ЛАГ) на 1932 г. является иллюстрацией того отставания науки от практики социалистического строительства*», которое, однако, как тут же отмечается, «*является характерным и для дру-*

[155]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 37.
[156]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 14.
[157]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 33.
[158]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 16.
[159]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 4. Л. 1–2.
[160]Никаких документов, подтверждающих эту идею, нет. Участники событий тех дней мне также ее не подтверждали.
[161]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 23–26.

гих областей нашего естествознания»[162]. Как недостатки отмечены исследования генетики отдельных признаков, отсутствие связи с селекционными учреждениями, дублирование исследований по межвидовой гибридизации с работами ВИР и т. д. В качестве рекомендаций предложено сконцентрироваться на «осуществлении гена». Нигде в тексте нет упоминаний о Т.Д. Лысенко. Отсутствуют предложения об «оргвыводах», хотя подготовка кадров признана «*совершенно неудовлетворительной*».

В заключение предлагается, чтобы АН СССР взяла на себя инициативу созыва Всесоюзной генетической конференции по планированию, создав организационную комиссию, «*которая, с одной стороны, соберет и изучит производственные планы различных генетических учреждений Союза, — как самостоятельных учреждений, так и ВУЗ'овских лабораторий, а с другой стороны, выработает примерную схему планирования генетических исследований в СССР, в зависимости от характера учреждения, района расположения и т. д.*»[163]. Тон и осторожный характер рекомендаций говорит о том, что Поташникова не собиралась конфликтовать с Вавиловым. Об этом говорит и тот факт, что хотя на документах стоит резолюция И.И. Презента: «*Доложить на Биосекторе*», выводы комиссии было рекомендовано не обсуждать до будущей Всесоюзной конференции по планированию генетики.

По итогам проверки был создан Оргкомитет конференции во главе с Н.И. Вавиловым. ЛОКА делегировал в Оргкомитет философа И.А. Вайсберга, но тот не участвовал в подготовке конференции и обязанности секретаря Оргкомитета с удовольствием исполняла Б.Г. Поташникова [164]. В первоначальном виде обращения, составленном от имени Оргкомитета в ЛОКА, ученых призывали искать пути «*для ускорения научных исследований, осветить ряд теоретических моментов, необходимых для идейного вооружения пролетариата, для борьбы против вредительства, против идеалистических и механистических извращений марксизма*»[165]. Из текста, приводимого в виде приложения, видно, что генетики усвоили язык и лозунги «культурной революции» и были готовы к «реконструкции своей науки», «пересмотру методов её работы», «*внедрению принципа классовости и партийности на основе марксистско-ленинской методологии*», «*пересмотру направлений и взаимоотношений с другими науками*», приведенными благодаря усилиям буржуазных ученых «*к состоянию раздробленности, взаимной оторванности и взаимного непонимания, а тем самым к состоянию загнивания, обессиливания, часто к прямому крохоборству*». Эти все формулировки, написанные, видимо, Презентом или Поташниковой, вошли в окончательный вариант текста обращения Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований, которая, в конечном счете, состоялась 25–29 июня 1932 г. в Ленинграде[166].

До начала 1932 г. Презент и Поташникова оставались приверженцами генетики и не выступали с прямой критикой Вавилова. 5 апреля 1932 г. на дискуссии «Кризис современной систематики» Презент говорил: «*Генетика — это, можно сказать, волшебная наука, которая дает нам могучее оружие, при помощи которого мы можем подойти и к этим проблемам, к проблеме видообразования и понятию отбора*»[167] и подчеркивал: «…*У нас большие расхождения с Ламарком*»[168]. В то же время он с яростью ренегата клеймил своих недавних

[162]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 24.
[163]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 26.
[164]СПФ АРАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 19. Л. 12.
[165]СПФ АРАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 19. Л. 16–17.
[166]К созыву Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований // Труды Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований. Ленинград, 25–29 июня 1932 г. Л.: Изд-во АН СССР. 1933. С. 5–7.
[167]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 35. Л. 73.
[168]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 35. Л. 84..

кумиров деборинцев «*за примиренчество к Филипченко, Кольцову и другим буржуазным ученым*»[169].

22 февраля 1932 г. на Бюро ячейки Биологической ассоциации АН СССР была принята резолюция по результатам обследования АН СССР[170], написанная в стиле Презента. В ней говорилось о необходимости критики школы Ю.А. Филипченко за подготовку внеклассовых специалистов, за увлеченность изучением количественных, а не качественных признаков, увлечение статистикой в обработке результатов исследования и т. д. Аспирантам-коммунистам, не знавших основ генетики, предписывали «развернуть работу по расслоению и политическому перевоспитанию научных работников», а исследования, как проявления классовой борьбы, «держать под контролем». Планы научных работ представляют собой смесь несвязанных между тем. «Директор Лаборатории Вавилов сильно загружен в других учреждениях, не является подлинным руководителем Лаборатории генетики АН СССР, в теперешнем же составе сотрудников лаборатории нет достаточно квалифицированных кадров для руководства научной кадров». В итоге аспирантами руководит американский генетик Бриджес, которого неизвестно по какой причине пригласили здесь работать. В качестве вывода предлагалось укрепить членами партии коллектив Лаборатории. Среди них было предложено оставить и Поташникову, что, однако, не случилось, и она была направлена на работу в Воронеж.

Отделу физиологии растений ВИР во главе с Н.А. Максимовым и его работам по яровизации, морозо- и засухоустойчивости растений было уделено максимальное внимание со стороны Презента. Из вировских специалистов член-корр. АН СССР Н.А. Максимов одним из первых высказался за внедрение методологии диалектического материализма в научную практику[171], выступал с докладами в ОВМД и ОБМ, критиковал своих оппонентов С.П. Костычева и В.И. Палладина за «механицизм», ведущий «к махровому академизму», а В.Н. Любименко — за витализм, открывший «объятия мистицизму», ратовал за создание «диалектико-материалистической физиологии»[172]. Такая готовность к сотрудничеству импонировала Презенту и его единомышленникам. В апреле 1931 г. бригада ЛОКА во главе с И.И. Презентом проводила методологический смотр биологических кафедр естественно-математического факультета Педагогического института им. А.И. Герцена. 28 апреля 1931 г. на совещании представителей ректората, декана и партийной ячейки было решено Максимова «*поддержать, но указать ему на необходимость серьезной перестройки своей научной и педагогической работы*»[173].

Специальная бригада ЛОКА (бригадир С.В. Солдатенков, П.С. Беликов, Л.А. Гардер) обследовала экспериментальные работы Н.А. Максимова. Её выводы обсуждали 5 мая 1931 г. в ОБМ и 22 ноября 1931 г. на Бюро комячейки ВИР'а. Было признано, что Максимов является наиболее квалифицированным специалистом в этой области[174]. Вместе с тем, по мнению проверяющих, механистическая методология, отсутствие четкой целевой установки и академизм завели «*отдел в теоретический и практический тупик*», «*производственным, хозяйственно-ценным является только объект исследования, а не сама постановка разрешения вопроса*». Эти выводы были поддержаны Чуваевым и А.В. Альбенским, отмечавшим нежелание Максимова признавать собственные ошибки и неверные выводы своих сотрудни-

[169]Презент. Классовая …. С. 3)

[170]ЦГАИПД. Ф. 2012. Оп. 2. Д. 75. Л. 31—31об.

[171]ЦГАНТД. Ф. 318. Д. 478. Л. 48.

[172]Максимов Н.А. Методология физиологии растений: В порядке рассуждения // За марксистско-ленинское естествознание. — 1931. — № 3–4. — С. 105–121.

[173]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 4–5.

[174]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 1. Л. 9.

ков[175] и критиковавшим саму комиссию за примиренческое отношение к чуждой методологии Максимова, признание последним диалектического материализма только на словах и т. д. Альбенский заодно высказал ряд общих соображений о значении для сельского хозяйства и философии марксизма работ по акклиматизации, фотопериодизму, селекции и пр., за которые был тут же обвинен в ламаркизме Креслиным[176]. Категоричен был П.С. Беликов: «*Несмотря на то, что лаборатория работает над изучением пшеницы и др. растений, она работает чисто академически и для нашего сельского хозяйства решительно ничего не дала*»[177]. Те же претензии были им высказаны в статье, посвященной «повороту» Максимова от «механистического мировоззрения» в «сторону диалектико-материалистического». По мнению Беликова, Максимову надо шире внедрять «*план, соцсоревнование, ударничество*», и «*чем быстрее вольются в лабораторию новые кадры научных работников и переработаются старые*», тем скорее будут изжиты академизм, отрыв от практики, «а *метод марксистко-ленинского мировоззрения работников лаборатории внесет новые научно-исследовательские методы*»[178].

Критические замечания в адрес Максимова раздавались и в стенах ВИР. Аспирантка Отдела физиологии растений М.Г. Тимофеева предлагала «*внимательно присмотреться к новому диалектическому марксисту проф. Максимову. На словах много хорошего говорится, а на деле у него „белые и черные“ аспиранты*», — следовательно (приговор!), он «*двурушник*»[179]. Даже Н.В. Ковалев признал, что в отделе Максимова «*не реализованы и не популяризированы методы по яровизации*»[180]. Отвечая на подобные замечания, С.В. Солдатенков заметил, что от Максимова и проверявшей его бригады нельзя требовать решения тех вопросов, которые накопились в физиологии растений за столетие[181]. Его поддержал И.И. Презент: «*Нам надо не только критиковать выводы бригады, но осмысливать представленные материалы*»[182]. Презент порою даже сдерживал своих единомышленников, напутствуя их 19 апреля 1931 г. на дискуссию в Лесотехнической академии: «*Завтра на диспуте слово „вредитель“ не должно быть произнесено… Надо показать, как показал вчера Максимов, что так называемых естественных условий в реальности не существует*»[183]. Подобные реверансы в адрес Максимова, вероятно, связаны с тем, что, будучи осведомленным о настроениях в обкоме ВКП(б) по поводу ситуации в ВИР’е, Презент избегал столкновений с влиятельным представителем вавиловской команды, и, может быть, надеялся использовать работы Максимова для создания диалектической биологии, нацеленной на овладение «формообразованием» организмов.

Между тем обстановка в ВИР продолжала накаляться. После статей в «Комсомольской правде», «Ленинградской правде» и «Экономической жизни» ВИР в течение полугода обследовали бригады, «*которые на основании непосредственных наблюдений, а также замечаний и указаний отдельных сотрудников Институтов и совещаний сделали выводы, утвержденные в основном Областным комитетом партии*»[184]. 4 мая 1931 г. на заседании партийной ячейки заслушали выводы одной из обследовательских бригад обкома во главе с Меньши-

[175]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 24.
[176]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 24.
[177]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп.. 1. Д. 5. Л. 23.
[178]Беликов П.С. Критические замечания Н.А. Максимова // За марксистско-ленинское естествознание. — 1931. — № 3–4. — С. 130.
[179]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 115
[180]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 71.
[181]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 25.
[182]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 24.
[183]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 5. Л. 29.
[184]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 20. Л. 4.

ковым, куда входили также Г.И. Быков и Ефимов. Соответствующими были и выводы. «*Поворот не сделан. Переименование Института не повлекло изменения его работы». «Во главе Института стоит академик Вавилов со своими теориями. Теория Вавилова сознательно используется реакционной частью научных работников для отвлечения науки от социалистического строительства*». «*Парт*[*организацией*] *недостаточно было сосредоточено внимание на повседневное руководство реорганизацией Института*», что «*создает благоприятные отношения для вредительства*». «*Партруководство недооценило, не справилось с этим делом, налицо правооппортунистический уклон. В парторганизации склочная обстановка*»[185]. Состоявшееся обсуждение подтвердило последний вывод. Каждый кого-то уличал: А.В. Альбенский — парторганизацию в отсутствии прогресса в изменении планов; Г.Н. Шлыков — ученых, превративших науку в самоцель; П.К. Артёмов — специалистов «во вредных линиях в работе, а партийную ячейку в делячестве»; Н.С. Переверзнев — Н.И. Вавилова, не позволявшего исправить ситуацию. Г.И. Быков призывал не бояться Вавилова и обвинял всех в травле П.И. Чазова, А.В. Альбенского, Г.Н. Шлыкова и Н.А. Басовой. По мнению Ефимова, Н.С. Переверзнев мало информировал обком, а А.К. Коль, хоть и «*сумбурный человек, но извлечь из него ценное надо, нужно создавать ему лучшее условие*». В целом П.К. Артёмов признавал ошибки, Н.Г. Касаткин отрицал обвинения в адрес партийной ячейки, а Быков обвинял Касаткина в сопротивлении партийной линии. Подводя итоги, Меньшиков сказал, что не верит в искренность Артёмова и представителей администрации Переверзнева и Касаткина. «*Правый оппортунизм остался жить и после решения райкома*» — таков был его окончательный вывод. В результате состоялись перевыборы партбюро, благодаря поддержке представителя обкома секретарем на этот раз стал А.В. Альбенский, которого до этого не раз прокатывали, а его союзник Шлыков остался лишь кандидатом в члены бюро. Пытаясь завоевать на свою сторону Н.В. Ковалева, Альбенский первоначально взял курс на сотрудничество с администрацией.

«„Бывшие вредители“»

Активность Г.И. Быкова и его подопечных создавала угрозу для всего ВАСХНИЛ и было решено возглавляемый им Институт расформировать, а аспирантов распределить по соответствующим отделам для участия в плановых исследованиях. Это вызвало бурные протесты тех, кто стремился не столько к работе, сколько к изгнанию «зубров». «Распыление» аспирантов по институтам они назвали политическим вредительством, ведущим к росту *«классово чуждых и враждебных прослоек*», к отказу от «*пролетарского контроля и хорошей марксистско-ленинской подготовки*»[186]. Руководству ВАСХНИЛ предлагали «*сделать необходимые выводы, хотя и с опозданием*», и для этого составили докладную записку в Наркомзем на имя Я.А. Яковлева, а копии, как всегда, послали в ЦКК — НК РКИ. Кроме того, протестовавшие требовали в отделе сельскохозяйственных кадров ЦК ВКП(б) собрать Всесоюзное совещание «трехугольников» всех Институтов ВАСХНИЛ, а пока развернуть «*решительную и беспощадную борьбу с так называемой нелегальной „черной“ аспирантурой, резервом реакционной и контрреволюционной части профессуры во всех научных научно-исследовательских институтах ВАСХНИЛ*»[187]. Однако на их протесты не обратили внимания, и Ленинградский институт аспирантуры как главная опора «культурной революции» в ВАСХНИЛ был ликвидирован.

[185]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 19. Л. 115.
[186]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 4–5.
[187]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 6об–7.

На этот раз Н.И. Вавилов добился, чтобы газета «Экономическая жизнь» поместила его ответ на обвинения А.К. Коля. В статье от 13 марта 1931 г. «Работа Всесоюзного института растениеводства в области интродукции новых растений» он подчеркнул, что ВИР можно обвинить только «*за широкий размах, за углубленную широкую работу, которая охватывала за короткое время земной шар и в то же время дошла вглубь до оценки мукомольно-хлебопекарных особенностей наших сортов пшеницы и их практического значения… Эти широкие задачи пугают „людей в футляре“, но они соответствуют по масштабу социалистической реконструкции, проводимой в нашей стране*». В послесловии к статье Вавилова редакция газеты признала *«все бесспорные достижения*» ВИР'а, но продолжала настаивать, что ориентировка ВИРа на запросы «*завтрашнего дня*» служит поводом для ухода от актуальных задач, и желала ВИР'у «*включиться в великую работу социалистической реконструкции Советской страны*» и показать «*новые победы на научном фронте»*. Комментарий с признанием «*бесспорных успехов*» и пожеланием «*новых побед»* Институту, обвиняемому недавно в «чаяновщине», «кондратовщине», «вредительстве», «реакционности» и даже «контрреволюции», означал, что где-то в высоких сферах не склонны поддерживать подобные оценки Вавилова.

От руководства Институтом был отстранен Н.С. Переверзнев, который за его спиной вместе с секретарем партячейки ВИР П.К. Артёмовым обратился с письмом в Ленинградский обком ВКП(б) и Октябрьский райком (ВКП) в марте 1931 г.[188] Они предлагали «*усилить коммунистическую прослойку*» среди научных сотрудников и в помощь беспартийным Г.Д. Карпеченко, Н.А. Максимову, В.Е. Писареву и др. оставить *«для руководящей научной работы*» в отделе генетики А.И. Лусса, в отделе селекции Т.Г. Нестеровича, в отделе физиологии растений С.М. Прокошева, а также Антоненко и Быстрикова по физиологии растений и М.В. Калашникова по культуре каучуконосов[189]. Авторы письма предлагали провести кадровые изменения до возвращения Н.И. Вавилова, Г.Д. Карпеченко и Н.Н. Кулешова из заграничных командировок, откуда они наверняка привезут буржуазные теории, вредные для молодых сотрудников.

Н.С. Переверзнев приказом Наркомзема от 30 апреля 1931 г. был направлен заведующим свекловичным факультетом Воронежского СХИ, но, видимо, место назначения сразу же изменили. Партийная ячейка ВИР'а пыталась протестовать и приняла 6 мая 1931 г. резолюцию: «*Бюро ячейки ВКП(б) считает необходимым настаивать перед фракцией Президиума Академии и Наркомзема СССР об оставлении т. ПЕРЕВЕРЗНЕВА на работе Зам*[*естителя*] *Дир*[*ектора*] *ВИР'а, так как т. ПЕРЕВЕЗНЕВ является одним из нескольких чл. ВКП(б) администраторов ВИР, знающих всю работу ВИР'а, признал имевшиеся ранее ошибки в руководстве ВИР'ом, что отмечено и бригадой Обкома ВКП(б), а потому он может и должен с пользой для дела остаться на работе в ВИР'е. Категорически возражать против откомандирования т. Переверзнева на работу в Сельхозгиз*»[190]. Протест остался без внимания, а увольнение зам. директора ВИР Переверзнева остудило пыл главных критиков Вавилова. Новым заместителем Вавилова стал Н.В. Ковалев, имевший большой авторитет и связи в партийных кругах, а также опыт административной работы в ВАСХНИЛ. Это был удачный выбор. Ковалев оказался для Вавилова не только ценным помощником и верным соратником, но и со временем стал хорошим специалистом по систематике, экологии, географии и генетике плодовых культур.

Вскоре последовали события, убедившие многих, что и дирекция, и ее вировские критики находятся в одной лодке. 15 апреля 1931 г. газета «Экономическая жизнь» вновь обра-

[188]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 16–17.
[189]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 16об.
[190]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 26об.

тилась к ситуации в ВИР, инспирированная на сей раз Л.С. Эратовым-Слуцким, заведующим Центральным бюро по морским и пресноводным водорослям, переведенным недавно из Москвы в ВИР. Миронов и Молчанов, авторы статьи «„В стороне от схватки“, уверяли, что Всесоюзный институт растениеводства не идет в ногу с запросами реконструкции сельского хозяйства. Итоги обследования бригады „Экономическая жизнь“», как обычно, обвиняли ВИР в академизме, в отрыве от запросов жизни, от нужд промышленности, колхозов, совхозов, в неблагополучном кадровом составе. «*В подавляющем большинстве своем печатные труды работников института заражены теорией Берга и др. антидарвинистов. Элементы диалектического материализма было бы напрасно в этих работах искать. Особняком стоит труд академика П.* (так в тексте. — *Э.К.*) *И. Вавилова "Земледельческий Афганистан"*». На этот раз критический удар был направлен и в сторону парторганизации, которая «*не сумела создать прочной основы для осуществления линии партии в институте. Консервативные элементы из научных работников не встретили отпор своим реакционным установкам и деятельности. Более того, этот реакционный блок сумел подчинить своему влиянию некоторых руководящих партработников института (тт. Ушакова, Переверзева, Касаткина)*». Завершалась статья сакраментальной фразой тех лет: «*К Институту должно быть привлечено внимание соответствующих органов*».

Соответственно и реакция нового состава Бюро партийной ячейки на статью в газете была резко негативной. Особое негодование вызвало поведение Миронова при проведении обследования, как сказано, тенденциозного и грубого: «*Статья бригады неправильно освещает вопрос с водорослями и переоценивает вопрос с новыми культурами… написана в слишком резком тоне, что не может положительно способствовать работе в Институте по изживанию недостатков*»[191]. 1 июля 1931 г. было отвергнуто предложение ГУбКК — РКИ о «доочистке Института»: «*Никаких доочисток не допускать*» ни в Академии, ни в Институтах[192].

18 мая 1931 г. было признано правильным решение секретариата Октябрьского райкома партии, в котором ВИР'у предлагалось более внимательно относиться к части научных работников, вовлекать «в партию» зарекомендовавших себя в общественной и практической работе. Это было явное неодобрение огульной критики специалистов[193].

Однако окончательную точку во всех этих проверках, выводах, резолюциях мог поставить Ленинградский обком партии. Вопрос «О работе Ленинградских Институтов Академии сельхоз. наук им. Ленина» дважды рассматривался его Секретариатом во главе с С.М. Кировым. В результате первого обсуждения с участием Н.В. Ковалева была подготовлена резолюция, окончательное редактирование которой поручили секретарю обкома и председателю президиума ЛОКА Б.П. Позерну и утвердили её 9 июля 1931 г.[194] В целом она оказалась положительной для Н.И. Вавилова, так как в ней отмечалось наличие «*некоторого перелома в направлении практического участия в разрешении проблем социалистической реконструкции сельского хозяйства (сортоиспытания семян, поднятие урожайности, проблем животноводства, кормовых добавок, технических культур*» и др.[195] Вместе с тем указывалось на отсутствие «*большевистской настойчивости в выкорчевывании*» правого оппортунизма, «*слабую борьбу с вредителями*», «*засорение аппарата чуждыми элементами*», «*слабую связь с социалистическим производством*» и т. д. Вновь было указано на слабую работу по привлечению «*ценных специалистов к разрешению задач социалистического строитель-*

[191]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 31об.
[192]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 22. Л. 48.
[193]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 30об.
[194]ЦГАИПД. Ф. 24. Связка 28. Оп. 1. Д. 323. Л. 2.
[195]ЦГАИПД. Ф. 24. Связка 28. Оп. 1. Д. 323. Л. 13.

ства», включению их в общественные организации типа ВАРНИТСО и даже в партию. Эти изменения в кадровой политике были явно связаны с речью И.В. Сталина 23 июня 1931 г. на совещании хозяйственников[196]. В ней предлагалось прекратить травлю старой интеллигенции («спецеедство») и беречь ее.

Обком отмечал также ошибки в научно-организационной работе, слабую вовлеченность аспирантов в планы работ отделов, малое внимание философско-методологической стороне их образования, отсутствие тесной связи многих исследований с практикой. Чтобы исправить это положение, ряду райкомов Ленинграда, включая Октябрьский, в который входила парторганизация ВИР`а, было предложено установить контроль над деятельностью Институтов ВАСХНИЛ и оказывать им поддержку. Это была, конечно, жесткая критика, но критика в духе того времени, когда в основном за обвинениями во вредительстве, реакционности и в срыве партийных решений следовали кадровые решения, а затем и репрессивные меры. Ни тех, ни других на сей раз не последовало.

Н.В. Ковалев, докладывая о решении Секретариата Обкома 17 июля 1931 г. на открытом партийном собрании и о принятых дирекцией мерах, подчеркнул: «*Указания на недостатки ни в коем случае не смазывают той большой работы, которая проведена Институтом, и заслуг Института и его работников. За период существования с 1924 г. Институт, конечно, проделал большую весьма ценную работу, не только по собиранию мировых растительных ресурсов, но и по их рационализации, большую работу в части селекции, технических испытаниях, в физиологических и других отраслях*»[197]. Он представил на рассмотрение единый план работы ВАСХНИЛ и положение о ВИР, очертил основные направления его деятельности, в которые были включены растительные ресурсы, генетика, селекция, сортоведение, семеноводство, агротехника. Районирование сортов было охарактеризовано как важнейшая задача. Дискуссия была довольно сдержанной. Критики Н.И. Вавилова понимали, что не нашли желанной поддержки в обкоме, а с Вавиловым и его командой придется сосуществовать. Только неугомонный Шлыков продолжал твердить: «*Мы давно ощущали разные недостатки, но что сделано к изжитию этих недостатков? Пока ничего не сделано. Были хорошие перспективы. Но перспективы так и остались. Тов. Ковалев не указал путей, по которым должны протекать наши связи с хозяйственными и научными организациями*» [198]. В тот же день К.В. Бобкову было поручено «*составить список ученых специалистов и др. научных работников для их изучения и выявления как резерва по вступлению в партию*»[199], что положило конец огульному их охаиванию.

3 августа 1931 г. в «Правде» было напечатано постановление СНК СССР по вопросам селекции, в котором перед ВАСХНИЛ ставилась нереальная задача — за 3–4 года обновить сортовой состав зерновых культур по всей стране с целью резкого повышения урожайности. 11 августа 1932 г. на партсобрании ВИР «*состоялась проработка решения Обкома от 9/VII по обследованию Академии в г. Ленинграде*». Его зачитал А.В. Альбенский[200]. Обсуждение носило формальный характер. Шлыков призывал признать, что «*постановление соответствует нашему положению. Надо им руководствоваться при работе в ВИР'е и исправлять работу ВИР'а».* К.С. Семакин желал «*взять в оборот тех т. т., которые молчат и не желают отвечать за производство*», прежде всего «*селекционеров и генетиков*»[201].

---

[196]Сталин И.В. Новая обстановка — новые задачи. Речь на совещании хозяйственников 23 июня 1931 г. // Сталин И.В. Соч. — Т. 13. — 1955б. — С. 51–80.

[197]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 20. Л.11.

[198]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 20. Л. 2.

[199]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 50.

[200]ЦГАИПД. Ф. 304 Оп. 1. Д. 22. Л. 53.

[201]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 53

22 августа 1931 г. вновь обсуждали мероприятия, направленные на выполнение постановления Обкома и прямо связанные с «культурной революцией» [202]. Было решено поддержать ячейки ОВМД, развернуть кружки по изучению диалектического материализма, активизировать работу ВАРНИТСО, а аспирантов оценивать не столько по политической и идеологической работе, сколько по реальному вкладу в исследования отделов. Почувствовав ответственность и имитируя деятельность, партбюро формулировало пункт за пунктом меры, призванные исправить недостатки. Вот, типичный образец их творчества: *«Отделу генетики и селекции в кратчайшие сроки (не позднее 15. XI) для ускорения сроков выведения новых сортов, пригодных для крупных механизированных хозяйств, разработать план оборудования селекционных центров в соответствии с применением новейшей техники и усовершенствованием методов селекции по культурам*»[203]. И так всюду: «поручить», «обязать», «ускорить», «формировать», «обеспечить», «проконтролировать».

Выполняя решения Секретариата обкома 29 сентября 1931 г., с отчетным докладом на групповом собрании коллективов ВКП(б) Ленинградских институтов ВАСХНИЛ выступил секретарь Октябрьского райкома М.Я. Колчинский[204]. Он заявил о поддержке главных направлений деятельности ВИР'а и об изменениях в партийной кадровой политике, пошутил даже: «*„Бывшие вредители" неплохо работают для социалистического строительства*». Одна из задач партийной организации, по его словам, — это «*поворот научно-исследовательской работы к нашему хозяйству*». Все благополучно с социальным составом аспирантов: «*80% рабочих с производства, 60% партийно-комсомольский состав. Качество учебы оставляет желать много лучшего*»[205]. Не всегда положительную роль играют общества ЛОКА. И вывод: «*Научные учреждения полностью всеми участками не овладели*»[206]. Слыша упреки в свой адрес, записные критики ВИР вели себя сдержанно, задавали вопросы по частным, бытовым вопросам. В заключительном слове М.Я. Колчинский сообщил, что в райкоме создан сектор научно-исследовательской работы для повседневного контроля над работой в научных учреждениях и эта инициатива одобрена комиссией Политбюро, обследовавшей райком[207].

К осени 1931 г. ситуация в ВИР стабилизировалась. Часть критиков была уволена, другие немного притихли, поняв, что Н.И. Вавилов сохранил поддержку в верхах и продолжение «кавалерийских атак», как любил говорить Альбенский, может обернуться плачевно для их инициаторов, на которых власти все чаще также возлагали вину за то, что те не сумели «организовать», «мобилизовать», «повернуть лицом», «связать с практикой», «внедрить», «не овладели ситуацией» и т. п. На время стихла демагогия, инициаторы и жалобщики не получали поддержки со стороны своих недавних союзников. Партбюро чаще всего становилось на сторону администрации, как это было в случае с Г.И. Быковым, М.В. Калашниковым, М.Г. Тимофеевой[208]. К тому же Вавилов удовлетворил амбиции главных зачинщиков конфликта, назначив А.В. Альбенского, П.К. Артёмова, А.И. Лусса, Г.Н. Шлыкова и др. заведующими отделами, а некоторых их союзников — руководителями региональных учреждений ВИР, старшими научными сотрудниками. Это позволило на время притушить конфликты. Тем не менее, Вавилов понимал, что Институту нанесен тяжелый ущерб. 7 октября 1931 г. он писал: «*Эта (прошлая ныне) весна была не очень легка для специалистов… Устранено от*

[202]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. 1. Д. 22. Л. 55–56об, 58.
[203]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. Д. 22. Л. 55об.
[204]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. Д. 22. Л. 11–12.
[205]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. Д. 22. Л. 11.
[206]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. Д. 22. Л. 12
[207]ЦГАИПД. Ф. 304. Оп. Д. 22. Л. 14.
[208]ЦГАИПД. Ф. 304.оп.1. Д. 22. Л. 61–63, 72об–73.

заведования много специалистов. Часть была даже под арестом по обвинению в контрреволюции» (Цит. по: Савина, 1995, с. 19).

С ещё большей энергией Н.И. Вавилов взялся за привлечение общественности на свою сторону. В газетах «Известия» (27 октября и 8 декабря 1931 г.), «Социалистическое земледелие» (29 и 30 октября 1931 г.), «Ленинградская правда» (25 ноября 1931 г.) он пишет о роли ВИР в решении проблемы засухоустойчивости растений, в мобилизации мирового генофонда на выведение новых сортов зерновых культур, в продвижении земледелия на Север. В этих в статьях Вавилов, не вступая в полемику, фактически дезавуирует все обвинения в свой адрес, показывает их необоснованность и ангажированность. Проблеме северного земледелия посвящен и его доклад на Ленинградской чрезвычайной сессии АН СССР от 25–30 ноября 1931 г. Все это показывает, что в целом его деятельность поддержана партийными и советскими органами, а также академической общественностью.

В этих условиях Альбенский демонстрирует политику «*помощи Вавилову в преодолении ошибок*». Весьма характерно его письмо от 22 сентября 1931 г., в котором сообщалось, что Вавилов, как показала его работа «Линневский вид как система», стал пересматривать свои прежние взгляды, признавать роль среды в видообразовании, увеличил число центров происхождения растений якобы до 28. По мнению автора, эти изменения обусловлены рядом факторов: «*а) втягиванием его в хозработы, что надо ещё более углубить, особенно по Президиуму Академии; б) критикой его работ; в) общей критикой (после смены философского руководства) реакционных теорий в СССР; г) правильным политруководством*»[209]. В эволюции взглядов Вавилова, по мнению Альбенского, существенную роль сыграли также экспериментальные работы Г.Д. Карпеченко по отдаленной гибридизации и Т.Д. Лысенко по яровизации. Как писал Альбенский, «*наиболее важный удар по методам ВИР со стороны Лысенко, который методом яровизации доказал, что скороспелость и прочие физиологические и даже морфологические признаки не постоянны и никакого клубка из себя не представляют, из среднеспелых и поздних пшениц выделил скороспелые, или превратил в скороспелые сорта*»[210]. Это первое упоминание фамилии Т.Д. Лысенко в выступлениях и заявлениях активистов «культурной революции». В концовке записки Альбенский все же напал на Е.В. Вульфа, М.А. Розанову, Г.А. Рубцова, Е.Н. Синскую, М.Г. Попова, объявляя их исследования по-прежнему бесплодными и как бы противопоставляя их Вавилову, двигавшемуся по пути пересмотра своих взглядов и повернувшемуся лицом к практике.

Однако, убедившись вскоре, что Ковалев сохраняет лояльность Вавилову и не собирается во всем потакать Альбенскому и Шлыкову, последние вновь заговорили об «*оппортунистических установках, направленных на затягивание научной работы*», о «*протаскивании в трудах ВИР теории гомологичных рядов, основные установки которой сам Вавилов признал неправильными*», о «*недостаточном использовании сил Комакадемии, хотя они пока ещё недостаточно сильны, но они уже нам много помощи оказали*»[211]. Особенно его тревожила потеря поддержки у своих недавних сторонников. В ВИР’е у передвигаемых на ответственные посты членов партии *«намечается постепенное заражение от спецов неправильными установками даже в организационных вопросах».*

Эти вопросы обсуждались на общем собрании ВИР’а 3 января 1931 г. С.М. Прокошев отмечал: «*Во время проверки трудов создаются вредные теории, на которых следует остановиться. Ученые специалисты подчеркивают, что работа слишком специальная и не может быть рассмотрена с точки зрения марксистско-ленинской методологии, нельзя подхо-*

[209]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 22. Л. 74.
[210]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 22. Л. 74
[211]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 1об.

дить с точки зрения постановлений XVI съезда и т. д.»[212]. По мнению Анишева, «большевистскими растениеводами» можно было стать, если «*изучать историю классовой борьбы, а не только применение диалектики в растениеводстве*»[213], а А.В. Альбенский предложил приступить к изъятию из библиотеки вредных книг. Как всегда категоричен по отношению ко всем, кто думал иначе, был Г.Н. Шлыков: «*Всякие шутки в сторону, всякие смешки о невыполнении планов — оппортунизм. Всякий партиец, не проявляющий своего лица в работе Института в данное время — настоящий оппортунист*»[214]. И вновь резолюция: решить уже в 1932 г. вопрос «*поднятия урожая путем внедрения новых морозоустойчивых и засухоустойчивых форм растений, выработки методик определения морозоустойчивости, осеверения земледелия, увеличения посевных площадей… Выведение высококачественных и продуктивных форм, используя материалы растительных ресурсов*»[215].

В связи с этим начались новые нападки на П.М. Жуковского, Г.Д. Карпеченко, Н.А. Максимова. В.Е. Писарева и др., отношение к которым стало «*проявлением большевистской чуткости и бдительности*»[216]. Причем укрепление принципа единоначалия на всех уровнях должно было каким-то образом сочетаться с укреплением «*авангардной роли партоганизации»*. Во время заграничных командировок Н.И. Вавилова и Н.В. Ковалева Альбенский при поддержке председателя профбюро И.Д. Барышева инициировал процедуру отстранения последнего от должности, сообщив ложно Президиуму ВАСХНИЛ, что вопрос согласован с Октябрьским райкомом и Ленинградским обкомом. Однако в конечном счете Альбенский и на этот раз не получил поддержки в партийных органах Ленинграда. Вавилову удалось защитить своего заместителя, главную вину которого вице-президент ВАСХНИЛ А.С. Бондаренко видел в том, что он «*тесно сошелся с Вавиловым*»[217]. По мнению Вавилова, нападки на Ковалева были продолжением линии на разгон специалистов, что тогда уже партией осуждалось как «спецеедство», как и нарушения принципа «единоначалия». По словам Бондаренко, «*Вавилов сказал, что постановление ЦК о Нижегородском заводе написано прямо для ВИР'а. Ковалев больше, чем заместитель директора в ВИР'е, по существу является основным руководителем Института*». Судя по всему Вавилов, как и его критики, следил за партийной прессой и был в курсе текущей политики, умело используя лозунги момента. Вместе с тем, Бондаренко не упустил возможности ещё раз показать, кто в доме (т.е. в Президиуме ВАСХНИЛ и ВИР) подлинный хозяин. Будучи вице-президентом ВАСХНИЛ, т.е. официально подчиненным Вавилова, ещё занимавшего пост ее президента, Бондаренко, не задумываясь об элементарной административной этике, подчеркивал: «*Сработаться с Вавиловым это ещё не всё, нам ещё нужен партдиректор. Если парторганизация ВИР и РК поставят вопрос о снятии Ковалева, мы не посчитаемся с Вавиловым, если это нужно будет*» [218].

Этот вопрос 9 апреля 1932 г. стал предметом специального заседания «треугольника» (дирекции, партбюро и профкома) в присутствии представителей Президиума ВАСХНИЛ А.С. Бондаренко и Кедера. Они предупредили Альбенского и компанию: «*Нельзя на ветер бросать таких слов, как „саботируют", „волынят"*»[219], а также необходимо соблюдать принцип единоначалия. Вскоре Альбенский перешел во ВНИИ агролесомелиорации — вна-

[212]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 2.
[213]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 2.
[214]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 2об.
[215]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 9.
[216]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 45. Л. 18.
[217]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 48. Л. 3.
[218]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 48. Л. 3об.
[219]ЦГАИПД. Ф. 304. Д. 48. Л. 3об.

чале заведующим Отделом селекции и акклиматизации древесных пород, а затем и директором, и уже, видимо, не участвовал в последующей травле Вавилова.

31 января 1932 г. состоялся доклад И.И. Презента «Письмо товарища Сталина и положение на биологическом фронте». Докладчик говорил, что несмотря на поворот многих биологов в сторону марксизма-ленинизма (Б.А. Келлер, В.П. Савич, В.Н. Сукачева, В.А. Траншель, А.А. Ухтомский), «*коммунисты встречают ожесточенную борьбу со стороны тех из зубров, которые видят этот перелом и которые не могут нам его простить, они еще более ожесточаются, еще тоньше пытаются выдвигать против нас те или иные способы борьбы. Правда, не всегда бывает очень тонко, иногда они срываются и злоба просачивается наружу. Иногда они открыто начинают говорить о борьбе. Это мы имеем и на нашем биологическом фронте*»[220]. Но фамилию Вавилова Презент не назвал среди зубров, насмехавшихся над его докладами, называвших их словоблудием и уверявших, что структура их мозгов «*не способна воспринимать диалектику*». Не упоминал он Вавилова и среди тех, кого отнес к двурушникам, внешне демонстрировавшим свое согласие с диалектическим материализмом. Альбенский, выступая в прениях, поддержал Презента и резко обрушился на В.Н. Сукачева[221]. Возмущался он и тем, что уволенный из ВИР Н.С. Переверзнев, направлен на работу в «Сельхозгосиздат» и не препятствует там печатанию вредных трудов «почтенного старца» из Ихтиологического института ВАСХНИЛ Л.С. Берга, автора «*насквозь реакционной и идеалистической книги „Номогенез“».* Альбенский жаловался также на то, что в ВИР'е они столкнулись с тактикой сознательного «*обволакивания коммунистов со стороны беспартийных специалистов*», в результате чего коммунисты Н.Г. Касаткин, А.И. Лусс и тот же Н.С. Переверзнев, в конечном счете, «*принимают взгляды таких людей, как Вавилов*»[222].

Ни слова не сказал Презент о Вавилове в одном из своих самых погромных выступлений против российских биологов на конференции «Классовая борьба на естественно-научном фронте», где всячески поносил В.И. Вернадского, В.Н. Любименко, А.П. Пинкевича, Б.Е. Райкова, В.В. Савича, Ю.А. Филипченко и др. Имя Вавилова не упоминалось им и в заключительных мероприятиях ОБМ в Ленинграде, на диспуте «Кризис современной систематики» (5 апреля 1932) и дискуссии по докладу М.М. Ильина «Управление формообразованием животных в условиях повышения хозяйственной продуктивности», также проходивших под председательством Презента. Видимо, Презент понимал, что время «бить Вавилова еще не пришло», да и сам Вавилов активно участвовал в подготовке Всесоюзной конференции по планированию генетических исследований, где в качестве секретаря Оргкомитета с душой трудилась Поташникова.

«Горе побеждённым!»

К началу 1932 г. стало ясно, что главная цель «культурной революции» в биологии — привлечь большое число ученых в марксистские организации и создать пролетарскую науку — не достигнута. Часть биологов, внешне усвоив новую терминологию, продолжала работать по-прежнему. Никто ни в ВАСХНИЛ, ни в АН СССР не воспринимал всерьез призывы начать «проработку» академиков-биологов. Даже члены ОБМ пытались парировать беспричинные нападки на крупных ученых. Коммунист С.В. Солдатенков, которому поручили раскритиковать сотрудников ВАСХНИЛ Н.А. Максимова и С.П. Костычева, выступил в их защиту. Оправдывал он и тех, кто не желал при приеме аспирантов учитывать партийность поступавших. Самые крупные научные сообщества, созданные для диалектизации биологии,

[220]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 35. Л. 106.
[221]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 37. Л. 21.
[222]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 37. Л. 22об.

насчитывали не более 200 человек, часть из которых механически заполняли карточки на вступление в общества, не стремясь, по признанию самого Презента, «*даже узнать их название*»[223], а большинство, судя по анкетам, вообще не знало о своей причастности к ним. Апрель 1932 г., когда были проведены грандиозные мероприятия по случаю 50-летия со дня смерти Ч. Дарвина, практически, стал последним месяцем активной деятельности ленинградских биологов на ниве «культурной революции».

Осознание И.И. Презентом своей неудачи побудило его искать покровителя, популярного среди партийного руководства, от имени которого можно было бы создать некую теоретическую базу для новых усилий по созданию «пролетарской» биологии. Презент уже понял, что на «сотрудничество» с Вавиловым и Максимовым рассчитывать не приходится, и он внимательно следил за «успехами» Т.Д. Лысенко, все чаще цитируя его труды, а также методы селекционера И.В. Мичурина. Как удалось установить, именно 11 февраля 1932 г. он договорился о сотрудничестве с Лысенко[224]. Окончательный переход Презента от позиции генетиков, поддерживавших Деборина, к идеям «творческого дарвинизма» зафиксирован в его брошюре, изданной Институтом естествознания Комакадемии в апреле 1932 г. к дарвиновскому юбилею. В ней он приписал Мичурину и Лысенко роль «борцов-передовиков по осуществлению соцплана по отношению к жизни животных и растений»[225].

Культурная революция сказалась на языке и стиле выступлений Н.И. Вавилова. 19 апреля 1932 г. в Москве в Колонном зале Дома союзов было проведено совместное заседание АН СССР, Комакадемии и ВАСХНИЛ, где среди главных докладчиков был Н.И. Вавилов. В некоторых местах опубликованного доклада кажется, что Вавилов стремился приблизиться к языку и стилю активистов «культурной революции»[226]. В нем есть «*загнивающий капитализм, ведущий бешеную борьбу против научной биологии*», «*разбитые оковы метафизики*», «*скептический генетик, бессильный что-либо противопоставить дарвинизму*», «*смертельный удар витализму*», «*биологические фронты*» и другие клише времени. Интересно отметить, что два дня спустя Вавилов выступил с аналогичным докладом на совместном заседании АН СССР, ЛОКО и ОБМ, состоявшемся в Ленинграде 21 апреля 1932 г. во дворце им. М.С. Урицкого в Ленинграде, опубликованном уже не в сборнике «Партиздата», а в респектабельном научно-популярном журнале «Природа»[227], в текстах двух публикаций есть существенные отличия. В целом обе статьи Вавилова отражает его особенности как крупного ученого, обращающегося к прошлому, прежде всего для доказательства правильности своих идей и концепций. В то же время статья, опубликованная в «Природе», более профессионально сдержанна. В ней отсутствуют некоторые идеологические штампы того времени, которые были в сборнике («*загнивающий капитализм, ведущий бешеную борьбу против научной биологии*», «*скептический генетик, бессильный что-либо противопоставить дарвинизму*»). По нашему мнению, это свидетельство более сильной идеологической редактуры Вавилова в сборнике.

В любом случае под «новоязом» просматривается оригинальная концепция о четырех главных этапах развития эволюционной теории: до Дарвина (XVIII век — 1859 г.); утверждение дарвиновской теории (1859–1882 гг.); «*развитие эволюционного учения на растительных и животных объектах*» (вторая половина XIX — часть XX вв.); «*экспериментальное*

[223]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 35. Л. 116об.

[224]СПФ АРАН. Ф. 240. Оп. 1. Д. 3. Л. 1–5; Д. 22. Л. 12.

[225]Презент И.И. Теория Дарвина в свете диалектического материализма. Тезисы к пятидесятилетию со дня смерти Ч. Дарвина. — М.: Комакадемия, 1932. — С. 18.

[226]Вавилов Ю. Н. Роль Дарвина в истории биологических наук // Учение Дарвина и марксизм-ленинизм (К 50-летию со дня смерти Дарвина) / Под ред. П.И. Валескалн и Б.П. Токин. — М.: Партиздат. 1932. — С. 62—72.

[227]Вавилов Ю. Н. Роль Дарвина в истории биологических наук Вавилов Ю. Н. Роль Дарвина в истории биологических наук Природа. — 1932. — № 6—7. — С. 511—526.

исследование эволюционного процесса и овладение формообразованием у растений и животных» (современный период»)[228]. Вавилов дал краткую и исчерпывающую характеристику каждого из выделенных им этапов и взвешенную оценку роли каждой отрасли эволюционной биологии в подготовке современного синтеза. При этом Вавилов вновь подчеркнул заслуги многих недарвиновских концепций эволюции (например, Л.С. Берга и У. Бэтсона) в познании механизмов и закономерностей эволюции.

Определяя современный этап развития эволюционной теории, Вавилов заметил, что «*XX веку, по-видимому, суждено быть преимущественно веком развития генетики, но не генетики узкой, оторванной от эволюционизма, а генетики как экспериментального изучения проблем происхождения, эволюции, овладения формообразовательным процессом… В растительной физиологии последнего времени обнаружены факты первостепенного значения, определяющие возможность коренного изменения в смысле сдвижения фаз развития. Исследователь уже научился превращать поздние растения в ранние, заставлять тропические растения цвести и плодоносить на севере*». В этих словах Вавилов явно опережал реальность, выдавая мечты за свершившееся.

О попытке Вавилова как-то вписаться в диалектизацию биологии свидетельствует его доклад «Изменчивость и наследственность количественных признаков» на февральской сессии АН СССР в 1932 г.[229]. Вавилов никогда не публиковал этот доклад, но в письме к Н.В. Ковалеву от 10 марта 1932 г. уверял: «*Народ принял этот доклад хорошо*»[230]. Однако были и другие мнения. Например, В.И. Вернадский 19 февраля 1932 г. записал: «*Академическое заседание. Доклад Вавилова интересный; режет ухо его подлаживание под материалистическую диалектику — количество переходит в качество и тому подобное. Это ясно не связано со всей работой. Производит трагикомическое впечатление: человек достиг результатов и затем их искажает, приноравливаясь к моде. Новые вполне достижения Филипченко. Вавилов их ввел так, что неясно, где его, и где Сталина*»[231]. Правда, видимо, и В.И. Вернадский вскоре понял, что не мода, а суровая необходимость найти компромисс со своими гонителями заставляет Вавилова диалектизировать свои результаты, не различая Сталина от Филипченко. В дневниках Вернадского содержится запись: «*Сейчас идет Генетическая всесоюзная конференция — как всё — вся в скандалах. Vae victis [232]: рознь молодых и старых. Из Москвы — все коммунисты — из них серьёзный генетик только А.С. Серебровский. Борьба против Вавилова… Люди и измучились, и отчаялись*»[233]. Скорее всего, речь идет о проходившем 23–25 марта 1932 г. в ЛАГ Совещании по происхождению домашних животных, где Вавилов выступал с докладом[234]. Однако в опубликованных материалах этого совещания нет никаких следов проходившей полемики, а среди московских докладчиков были такие значимые фигуры как В.В. Алпатов, С.Н. Боголюбский и др.

Великий провидец будущего, В.И. Вернадский явно ошибался. Вавилов ещё не был побежденным и по-прежнему оставался лидером отечественных генетиков и селекционеров. Это показала проведенная в Ленинграде 25–29 июня 1932 г. Всесоюзная конференция по

[228]Вавилов Ю.Н. Роль Дарвина в истории… — С. 62.

[229]Савина Г.А. Чистые линии (В.И. Вернадский о Н.И. Вавилове) // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии наук СССР / Отв. ред. В.А. Кусанев. — М. — Наука. — 1995. — С. 18—19.

[230]Николай… 1987. — С. 158.

[231]Вернадский… 2001. — С. 259.

[232]Горе побежденным (лат.).

[233]Вернадский, 2001. — С. 288.

[234]Вавилов Н.И. Роль советской науки в изучении происхождения домашних животных // Проблема происхождения домашних животных. Вып. 1. Труды совещания по происхождению домашних животных, состоявшегося при Лаборатории генетики Академии наук СССР 23–25 марта 1932 г. — Л.: Тип. АН СССР. — 1933 — С. 5–9.

планированию генетико-селекционных мероприятий. Она, конечно, отличалась от грандиозного научно-политического шоу в январе 1929 г., но также пользовалась поддержкой и вниманием местных властей и прессы. В её подготовке участвовали АН СССР, ВАСХНИЛ и ЛОКА, а в состав Оргкомитета входило немало представителей ЛОКА (А.В. Альбенский, И.А. Вайсберг, А.И. Лусс, Б.Г. Поташникова, И.И. Презент, М.Л. Хлоп, Г.Н. Шлыков), но из них только А.И. Лусс, который к тому времени явно покинул ряды критиков Вавилова, и Б.Г. Поташникова активно участвовали в работе конференции. С основными докладами выступали Н.И. Вавилов, А.С. Серебровский, П.Ф. Рокицкий, Е.Ф. Лискун, по кадрам докладывали М.М. Камшилов и А.И. Лусс, по типовому оборудованию Н.В. Ковалев и Б.Н. Васин, по печати М.С. Гершензон. Все из примерно 400 участников съезда из 35 учреждений ВАСХНИЛ, Комакадемии, АН СССР, Наркомснаба, Наркомата легкой промышленности, Наркомата леса и вузов были согласны с Н.И. Вавиловым в определении главной цели конференции: «*сделать работу селекционеров генетически более осмысленной, а работу генетиков решительным образом связать с селекцией*»[235]. Это должны были обеспечить детальные планы генетических исследований, призванные связать все работы в единую программу.

Вся работа съезда шла под руководством Н.И. Вавилова. В его докладе «Генетика на службе социалистического земледелия (введение к плану генетических исследований в области растениеводства на 1933–1937 гг.)» особое внимание было уделено проблемам частной генетики, связанной с изучением иммунитета растений, засухоустойчивости, зимостойкости, холодоустойчивости, вегетационного периода и т. д. В связи с этим он назвал работу Т.Д. Лысенко о критических периодах в вегетации растений выдающейся, а пропагандируемую им яровизацию «крупнейшим достижением селекции»[236]. Насколько волен был Вавилов в подобной оценке, судить трудно. Наиболее верную оценку событий, на наш взгляд, дала Е.С. Левина[237] которая отметила, что в часто цитируемом письме Н.И. Вавилова к Т.Д. Лысенко от 29 марта 1932 г. прямо сказано, что «*оказать всяческое содействие работам Лысенко*» и «*взять на себя заботу*» было не инициативой Вавилова, а исполнением им личного поручения наркома земледелия Я.А. Яковлева[238].. Поддерживая метод яровизации, Вавилов опирался также на мнение Научного совета ВИР'а, на котором Лысенко в его отсутствие сделал доклад «Вопрос об озимости», с восторгом, по словам Левиной, принятый Н.А. Максимовым, В.Е. Писаревым и В.В. Талановым[239]

Самого Т.Д. Лысенко на съезде не было, как и И.И. Презента, который с группой своих сотрудников уехал в Одессу[240]. Взаимная готовность к сотрудничеству быстро дала плоды. Из переписки Лысенко с Презентом видно, что уже осенью они приступили к написанию совместных работ[241]. Тогда же было решено формирующуюся концепцию назвать «мичуринской биологией», так как еще в начале 1920-х гг. селекционер Иван Владимирович Мичурин был провозглашен «великим преобразователем природы». Вернувшись в Ленинград, Презент узнал, что «культурная революция» в биологии закончилась и на смену «великому перелому» наступил «великий откат», связанный с ликвидацией ее учреждений и журналов. Из учреждений ЛОКА ликвидировали, прежде всего, Институт естествознания, ОБМ и

[235]Труды Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований. Ленинград, 25–29 июня 1932 г. — Л.: Изд-во АН СССР. — 1933. — С. 22.

[236]Вавилов Н.И. Генетика на службе социалистического земледелия (введение к плану генетических исследований в области растениеводства на 1933–1937 гг. // Там же. Труды Всесоюзной конференции по планированию генетико-селекционных исследований. Ленинград, 25–29 июня 1932 г. Л.: Изд-во АН СССР. 1933б. С. 29.

[237]Левина… 1995. С. 50–52.

[238]Николай…, 1987, с. 165

[239]Левина, 1995. С. 57.

[240]СПФ АРАН. Ф. 232. Оп. 1. Д. 24. Л. 11–20.

[241]АРАН. Ф.1593. Д.128. Л. 1.

ОБВМ, наиболее активно проявившие себя в годы «культурной революции» в биологии. Вскоре началась тотальная критика самого Презента.

Партячейка Ассоциации биологических наук АН СССР теперь уже осуждала «левацкие заскоки И.И. Презента и Б.Г. Поташников в отношении Лаборатории генетики, где они устроили склоки и травлю специалистов, парализовав нормальную работу коллектива[242]. Особо резкие суждения звучали во время чистки—1933 г, где действия недавних лидеров культурной революции оценивали как «левацкие заскоки», «упрощенство» и «спецеедство». Об этом говорили не только ученые, но и партийные лидеры Биологической ассоциации АН СССР. Как сказал 20 сентября 1933 во время чистки коммунистов академической лаборатории генетики ведущий специалист по марксистской философии и истории биологии Я.М. Урановский: «Левые загибы, связанные с Поташниковой и методологией Презента, их упрощенство получили достаточное разъяснение как на семинарах, так и на открытых собрания»[243]. В то же время он призывал сотрудников лаборатории не преклоняться перед Ю.А. Филипченко. Секретарь Биологической Ассоциации Е.М. Пружанская была не согласна с этой оговоркой и указывала, что Презент и Поташникова «левацкой фразой пытался определить направление науки», в результате шла «не всегда здоровая критика покойного Филипченко, который уже не мог ответить своим критикам»[244]. Генетик Ю.А. Керкис подчернул вред, причиненный деятельностью Презента внедрению результатов генетических исследований в сельское хозяйство. «Изданию сводки по генетике пшениц помещала необузданная критика со стороны Презент», в то время как «партийная прослойка аспирантов была недостаточно генетически грамотна, а потому они порой не знали, за что Филипченко следует критиковать, а за что не следует»[245]. С осуждением Презента выступил и физиолог растений И.А. Коломиец: «Перегибы Презента мешали здоровой критике ошибочных теорий в биологии».

Впоследствии многие из активных участников культурной революции погибли в последующих репрессиях, способствуя тем самым «кадровому обновлению» в сельскохозяйственных науках и биологии. Часть из них уцелела — преимущественно те, кто вовремя или отошел от дискуссий, или принял созданную Лысенко и Презентом дисциплину, названную первоначально агробиологией и представленную властям как подлинно пролетарская наука, основанная на принципах диалектического материализма и призванная радикально модернизировать сельское хозяйство. Хотя и это далеко не всем пошло на пользу.

Не мог чувствовать себя победителем и Н.И. Вавилов. Ему удалось на время отбить яростные атаки своих противников, но его позиции как президента ВАСХНИЛ и директора были поколеблены, так как выяснилась его полная зависимость от партийных органов. На руководящие должности в ВИР’е Вавилову пришлось назначить малоподготовленные кадры; многие из назначенных так и не приобрели навыки серьезной научной работы. Следует только удивляться, как в условиях травли, бесконечных реорганизаций, сокращения финансовых, материальных и издательских возможностей Вавилов сохранил единство и комплексность ВИР[246] и обеспечил мировой уровень проводимых в его институтах растениеводческих исследований. В то же время в глазах вышестоящих партийных и государственных органов постепенно складывался образ ученого немного не от мира сего, не способного навести порядок в собственном доме. Из образцового советского ученого он превратился в участника бесконечных разбирательств. Сотрудничество с властями сказывалось на языке и стиле его вы-

[242]ЦГАИПД. Ф. 2012. оп. 2. Д. 111. Л. 3—5.
[243]ЦГАИПД. Ф. 2019. оп. 2. Д. 126. Л. 3.
[244]ЦГАИПД. Ф. 2019. оп. 2. Д. 126. Л. 2.
[245]ЦГАИПД. Ф. 2019. оп. 2. Д. 126. Л. 2.
[246]Николай…, 1987. — С. 155, 158.

ступлений, что вряд ли улучшало имидж Н.И. Вавилова в их глазах, стирая различия между ним и его критиками. Последние, потерпев неудачу на «биологическом фронте культурной революции» и в ленинградских партийных органах, сосредоточились на атаках с помощью ЦКК — НК РКИ и ОГПУ. Уже в сентябре 1932 г., во время очередной командировки Н.И. Вавилова была создана очередная бригада НК РКИ для проверки всей научно-исследовательской деятельности ВИР[247]. Были арестованы и высланы более 20 ведущих научных сотрудников ВИР, поддерживавших Н.И. Вавилова (Н.П. Авдулов, Н.П. Голубев, П.П. Зворыкин, Н.Д. Костецкий, Н.Н. Кулешов, Г.А. Левитский, А.Д. Лебедев, Н.А. Максимов, В.В. Маркович, В.Е. Писарев, М.Г. Попов. Я.И. Проханов, В.В. Таланов, С.Ю. Шиманович, Н.В. Чайковский, К.М. Чинго-Чингас и др.)[248]. (Соратники…., 1994; Гончаров, 2007, с. 503–505; Биология…, 2012). Научные дискуссии завершились, начались репрессии. Вскоре от ссылок перешли к расстрелам. В конце 1930-х — начале 1940-х годов были расстреляны или погибли в лагерях и тюрьмах уже не только сторонники (А.И. Аболин, Л.И. Говоров, Г.Д. Карпеченко, Н.Н. Кулешов. Г.А. Левитский, В.И. Мацкевич, К.А. Флаксбергер, К.М. Чинго-Чингаз), но и некоторые оппоненты Н.И. Вавилова тех лет (П.К. Артёмов, Д.Д. Арцыбашев, А.С. Бондаренко, Н.С. Переверзнев и др.). В 1930–1932 гг. Вавилову лишь на время удалось отложить разгром свой школы.

Заключение

Публикации последних лет, содержащие нападки на Н.И. Вавилова и оправдания его гонителей, как правило, вызывают чувство недоумения. Видимо, И.А. Захаров (2009, 2011) был едва ли не единственным из генетиков и историков биологии, кто публично отреагировал на попытки «эксгумации лысенкоизма»[249]. Попытки оценить научное содержание трудов И.В. Мичурина с позиций сегодняшнего дня предприняла Т.И. Соколова[250]. Действительно, в рамках современных биологических и исторических знаний вряд ли кто-то всерьёз отнесется к заявлению, что Т.Д. Лысенко спас страну от голода, предвидел возможность негенетического (эпигенетического) наследования. Всем понятно, что тогда с полным правом и Ивана Грозного, «видящего насквозь своих бояр», можно признать изобретателем рентгеновского аппарата. Но там, где молчат историки науки, приходят циничные политики и дельцы, которые препарируют прошлое под собственные цели и интересы, создавая новые псевдонаучные проекты и выбивая миллиардные субсидии на них. История науки никогда не выносит окончательного приговора и обречена постоянно «*ворошить прошлое*», чтобы понять его и, может быть, хоть кого-то предупредить о возможности повторения. Поэтому ведется поиск и ввод в оборот новых материалов, как и новых интерпретаций уже известных событий. Новые документы из партийных фондов Ленинграда и фондов Комакадемии свидетельствует против культивируемого в настоящее время мифа о том, что конфликт Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко — это конкуренция двух научных школ, лидеры которых добивались от властей финансовых, материальных и людских ресурсов. Из этих материалов видно, что уже в первых атаках на Вавилова в годы «культурной революции» научная составляющая дискуссий была очень незначительна и никогда не могла бы в нормальных условиях иметь столь трагические последствия для их участников. С самого начала критика Вавилова инспирировалась и

[247]Есаков… 2008. — С. 173–186.

[248]Соратники Николая Ивановича Вавилова / Отв. ред. В.А. Драгавцев. СПб.: ВИР. 1994;. Биология в Санкт-Петербурге. 1703–2011. Энциклопедический словарь / Сост. Э.И. Колчинский, А.А. Федотова. — СПб.: Нестор-история, 2011.

[249]Захаров-Гезехус. — 2009; 2011.

[250]Соколова 2010.

контролировалась частью властных структур, а его противники в основном руководствовались политико-идеологическими и карьеристскими соображениями.

Говоря юридическим языком, вновь открытые обстоятельства не содержат оснований для пересмотра «дела Вавилова». Но требуется уточнение. Со многими элементами того, что сейчас принято называть «лысенковщиной», «лысенкоизмом» или «облысением российской биологии», Н.И. Вавилов столкнулся еще до появления на сцене самого Лысенко в качестве хоть сколь-нибудь значимой фигуры в научном сообществе и был уже приучен идти на компромисс ради спасения своего детища — ВИР. И вряд ли стоит Лысенко считать неким «злым гением», погубившим Вавилова. Он лишь сыграл свою позорную роль в сценарии, написанным не им. Ближе к истине был Ю.И. Полянский, заявивший на первом свободном обсуждении истории советской генетики в апреле 1987 г.: «Никогда история не простит Сталину убийство Вавилова», однако и его одного было бы нечестно обвинять во всех преступлениях той эпохи.

Лысенко был предназначен для «убийства Вавилова», созданной еще в конце 1920-х годов, системой уничтожения всех проявляющих чувство собственного достоинства и самостоятельности. Противостояние Вавилова и Лысенко предопределено логикой развития советской биологии: ее «пролетаризацией», «советизацией», «диалектизацией», «сталинизацией» и т. д. Термины могут быть разными, но суть одна. Там, где власть решает, какие теории правильные, а какие нет, и, соответственно, что следует поддерживать, а что нет или, как говорил Презент, «кого, когда и в какой последовательности бить», победу всегда одерживает псевдонаука. Вот с этим Вавилов, при всей своей склонности к компромиссам, смириться никогда не смог. Об этом, по моему мнению, однозначно свидетельствует вводимые в научный оборот в данной статье документы.

В заключение я хотел бы выразить благодарность Н.П. Гончарову, В.Д. Есакову, С.И. Зенкевич, Е.С. Левиной, М.В. Лоскутовой, С.В. Шалимову, внимательно прочитавшим мой текст и сделавшим важные замечания и уточнения, также С.В. Ретунской за помощь в проверке газетных материалов.

Ойкумена

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В СВЕТЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ Л.Н. ГУМИЛЁВА

В.А. Шупер
Институт географии РАН,
Российский университет дружбы народов

Аннотация: *В статье рассматриваются значение пассионарной концепции Л.Н. Гумилева для современного евразийства. России предстоит сделать выбор модели развития — демократической или авторитарной — в крайне неблагоприятных условиях, характеризующихся усилением Китая и ослаблением Запада.*

Ключевые слова: *пассионарность, методологическая плодотворность, интеграционный цикл, дезинтеграционный цикл, чередование циклов.*

Вероятно, самой лучшей книгой о Л.Н. Гумилёве (1912—1992) останется книга его соратника и защитника С.Б. Лаврова (1928—2000) «Лев Гумилёв. Судьба и идеи»[1]. В этой книге евразийская направленность творчества Л.Н. Гумилёва была показана особенно выпукло, ведь это был взгляд, основанный не только на публикациях, но и на многих откровенных дружеских беседах с их полным отсутствием внутренней цензуры. Увы, если не считать самых последних лет жизни замечательного ученого и социального мыслителя, цензура была не только внутренней, но и внешней.

Творчество Л.Н. Гумилёва вызывает разноречивые отклики и вряд ли следует считать, что это плохо. Не вызывает разногласий то, что стало банальностью или почитается чушью. Трудно представить себе острые дискуссии вокруг концепции А.Т. Фоменко через два десятилетия после кончины её автора. Между тем концепция этногенеза[2], которую сам создатель согласился вслед за критиками называть географо-психологической[3], продолжает будоражить умы, хотя доказать ее так же трудно, как и во времена, когда она была выдвинута. Более того, её легко опровергнуть, но её сторонники вновь и вновь выстраивают защитные пояса, осознанно или стихийно вдохновляясь методологий научно-исследовательских программ

[1]Лавров С.Б. Лев Гумилев. Судьба и идеи. — М.: Сварог и К, 2000. — 408+9 с.

[2]Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. — М.: АСТ, 2010. — 512 с.

[3]Гумилев Л.Н. Внутренняя закономерность этногенеза (ландшафт и этнос. XIV) // Вестник Ленинградского университета. — 1973. — № 6. — С. 94—103.

И. Лакатоса (1922—1974). Этот блистательный философ науки, ученик и последователь К. Поппера (1902—1994), перенес соперничество между теориями с индивидуального на популяционный уровень. Теории не вступают в поединок, они — лидеры целых армад всевозможных теоретических утверждений, сопровождающих и защищающих их, подобно эскадре, сопровождающей авианосец. В конечном счёте, торжествуют те программы, которые оказываются наиболее плодотворными[4]. Вот где причины неустанных попыток сохранить и упрочить гумилёвскую концепцию этногенеза.

Исключительная методологическая привлекательность этой концепции связана с её естественнонаучным пафосом, с трактовкой этноса как явления энергетического. К ней, увы, можно полностью отнести критику сциентизма Ф. фон Хайеком (1899—1992) начала 50-х гг. XX в. Ещё не престарелый тогда классик либерализма убедительно показал невозможность установления для социальных явлений законов естественнонаучного типа[5] и был, к сожалению, прав. Но разве не этим благородным стремлением вызваны к жизни и теоретическая география[6], и, во многом, региональная наука, именуемая у нас региональной экономикой? Эти направления, как и многие другие, выросли из «социальной физики»[7], что вовсе не свидетельствует об их порочности. Заблуждения играли и положительную роль в истории науки, поскольку в формальной логике из истинных суждений могут следовать только истинные, а из ложных — как истинные, так и ложные.

Более того, за полвека со времени теоретической революции в географии были найдены важные частные случаи, в которых можно обойти грустный для исследователей, но в целом справедливый общий принцип, сформулированный фон Хайеком. Один из таких частных случаев — это изучение явлений пространственной самоорганизации. Мы вправе надеяться и на обнаружение других частных случаев, которые, вместе с дальнейшим развитием географической теории, вдохнут новую жизнь в концепцию этногенеза. При этом частный случай не следует считать мелочью — это может быть небольшая дверца в огромный мир. В конце концов, вся органическая химия — это частный случай, но соединений одного элемента — углерода втрое больше, чем всех неорганических соединений.

Вопрос о том, в какой степени концепция этногенеза обусловлена евразийскими воззрениями её творца заслуживает отдельного историко-научного исследования. Сейчас важно отметить, что она подняла евразийство на новый уровень, существенно усилив его своим естественнонаучным пафосом, а не только историческими аргументами. В XXI в. она получает новые подкрепления, на сей раз из области экономики и политики.

Одной из наиболее парадоксальных черт современного мира, без сомнения, следует считать то удивительное обстоятельство, что мировой гегемон одновременно является и крупнейшим мировым должником. Его долг, уже превысивший годовой ВВП, постоянно растет благодаря крупному внешнеторговому дефициту, что не может не иметь глобальных геополитических последствий, поскольку экономическая и военная мощь находятся в тесной взаимосвязи[8]. При этом доллар остается мировой резервной валютой, что позволяет финансировать государственный долг США за счет всего остального мира, и заявление ФРС о

[4]Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. — М.: Академический проект; Трикста, 2008. — 475 с.

[5]Хайек Ф.А. фон. Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблениях разумом. — М.: ОГИ, 2003 (Серия «Библиотека Фонда «Либеральная миссия»). — 288 с.

[6]Бунге В. Теоретическая география. — М.: Прогресс, 1967. — 280 с.

[7]Шупер В.А. Развитие теоретических представлений в области пространственного анализа // Изв. РАН. Сер. Геогр. — 2011. — № 3. — С. 7—16.

[8]Брюне А.., Гишар Ж.-П. Геополитика меркантилизма. Новый взгляд на мировую экономику и международные отношения. — М.: Новый хронограф, 2012. — 232 с.

сохранении процентных ставок на очень низком уровне, по крайней мере, до конца 2014 г. лучше, чем что-либо другое свидетельствует о твердом намерении идти именно этим путем.

Существует однако широко распространенное представление, основанное на всевозможных центро-периферийных концепциях, относительно исключительной инновационности США и стран Западной Европы, которая позволит им доминировать в мире даже при сокращении экономической и военной мощи. Критика этого представления будет дана ниже, сейчас необходимо остановиться на некоторых других совершенно парадоксальных явлениях современного мира. К этим явлениям следует отнести, прежде всего, страшный откат назад во многих важнейших вопросах общественной жизни.

Начнем с пенсионного обеспечения. Если столетие назад считалось, что молодость дана человеку, чтобы обеспечить старость, то на протяжении XX в. был достигнут громадный прогресс, позволивший людям не думать о том, на что они будут жить, когда не смогут работать. Однако сейчас обе системы пенсионного обеспечения — солидарная и накопительная — трещат по всем швам. Если первая стала совершенно неадекватной в силу общеизвестных демографических изменений, то вторая — в силу еще далеко не осознанных структурных изменений в мировой экономике. «Как практикующий управляющий одного из самых больших инвестиционных портфелей в мире (более $500 млрд.) — пишет А. Улюкаев — берусь утверждать, что сейчас нет и скорее всего уже не будет класса активов, позволяющих инвестировать объемы средств национальной накопительной пенсионной системы с приемлемым риском и такой доходностью, которая обеспечивает реализацию накопленных пенсионных прав (для современных накопительных пенсионных систем это не менее 7% годовых на длинном инвестиционном горизонте при гарантированном сохранении основного капитала)»[9].

Не более благоприятна ситуация и в области здравоохранения, где бесплатность любой медицинской помощи становится утраченным идеалом (или завоеванием трудящихся) даже в самых «социальных» государствах. Сейчас можно рассказывать как легенду о рыцарских временах, что в Швеции в 70-е гг. больной мог полететь в США для пересадки сердца (в самой Швеции такие операции тогда еще не делались), не уплатив ни одной кроны. Население привлекается к софинансированию медицинской помощи и в ФРГ, и в других странах. Вряд ли в обозримой перспективе останется хоть одна страна с рыночной экономикой, в которой объем и качество медицинской помощи не будут зависеть от кредитоспособности пациента. Скорее всего, таких стран нет уже сейчас.

В области образования откат еще более очевиден, поскольку среднее образование в любом случае может быть либо средним, либо всеобщим. Достаточно даже поверхностного знакомства с учебниками для старших классов, чтобы убедиться, что подавляющее большинство школьников не в состоянии их осилить даже ценой героических усилий, которые к тому же совершенно не склонно прилагать. Поэтому даже в наиболее развитых странах растет число неграмотных, так в США «функционально неграмотных» 15%, в Великобритании — 13%, 20% французских солдат не могут получать приказы в письменном виде и т. п. Сходные процессы деградации охватывают и высшее образование, которое тоже постепенно превращается во всеобщее, особенно в нашей стране, идущей «впереди планеты всей» по числу студентов на 10 тыс. жит. Если в США университеты оканчивает 42% поступивших, в Великобритании — 60%, то в РФ — 94%.

В области науки наблюдается такой же откат, как и в области образования. Принятие в качестве бесспорного научного факта сугубо гипотетических утверждений о потеплении климата или распространение не выдерживающей никакой критики с научных позиций кон-

[9]Улюкаев А. Песнь пенсий // Ведомости. — 11.03.2012.

цепции устойчивого развития (во Франции есть даже Министерство устойчивого развития, хотя развитие неустойчиво по своей природе) — зримые свидетельства деградации институтов строгой профессиональной критики. Не менее зримые свидетельства упадка науки — использование заведомо абсурдных критериев оценки деятельности ученых, таких, как количество публикаций, индекс научного цитирования, импакт-индекс и другие глупости, которых еще не придумали, но обязательно придумают.

Этический фундамент науки, без которого невозможно само ее существование, описывается сформулированными в 1942 г. Р. Мертоном (1910—2003) принципами. Эти принципы таковы: универсализм (воспроизводимость результатов), коллективизм (доступность всех результатов всем членам научного сообщества), бескорыстие (ученый не должен преследовать какие-либо цели, кроме научных), организованный скептицизм (все результаты должны подвергаться серьезному критическому обсуждению в научном сообществе). Любой ученый с грустью отметит, что наука как социальный институт все дальше отходит от этих принципов. Понятно, что они даже в лучшие времена распространялись только на фундаментальную науку, меньшую и лучшую часть науки, ее сердцевину и последнее убежище.

Наши представления о научно-техническом прогрессе приблизительно верны только для периода примерно с середины XIX в. Как указывал замечательный философ М.К. Петров (1923—1987), первая промышленная революция вовсе не была ***научно***-технической, поскольку все революционные изобретения — паровая машина, ткацкий станок, пароход, паровоз, электрический телеграф — были сделаны практиками-самоучками. Более того, наука и не могла вести за собой технический прогресс, поскольку сама от него отставала. Прошло более полувека со времени изобретения паровой машины, прежде чем был исследован и описан цикл Карно. По мнению Петрова, превращение науки в непосредственную производительную силу общества стало результатом второй научной революции, далеко не получившей должного отражения в общественном сознании. Если первая научная революция — создание науки Нового времени людьми, не имевшими представлений об опытном естествознании в конце XVI — начале XVII вв. была стихийной, то вторая была типичной революцией сверху.

Потерявший в результате наполеоновских войн половину территории и половину подданных король Пруссии Фридрих Вильгельм III (1770—1840) приобрел похвальную склонность к реформам. Это позволило филологу Вильгельму фон Гумбольдту (1767—1835), брату великого естествоиспытателя, осуществить беспрецедентные реформы среднего и высшего образования. Им была создана система гимназического образования, а в 1809 г. основан Берлинский университет как первый в мире университет нового типа. В нем впервые были введены поточные лекции и соответственно должности профессоров и приват-доцентов, а преподаваться стали не юриспруденция, теология и изящная словесность, а естественные, точные и технические науки. Именно эта исключительно передовая для своего времени система высшего и среднего образования была заимствована Россией. Поточная система подготовки специалистов была увенчана созданием в 1826 г. Ю. Либихом (1803—1873) лаборатории в Гисене, которая стала прообразом современных научно-исследовательских институтов, обязательно имеющих аспирантуру. Именно в этой лаборатории были созданы первые минеральные удобрения. Таким образом, к середине XIX в. сформировалась «великая триада», по Петрову, — фундаментальная наука, прикладная наука и подготовка кадров. Все элементы этой триады взаимосвязаны и взаимозависимы, а прикладная науки и высшее образование еще и тесно взаимодействуют с практикой, включая промышленность, транспорт и сельское хозяйство[10].

[10]Петров М.К. Как создавали науку? // Природа. — 1977. — № 9. — С. 80—88; Петров М.К. Язык, знак, культура. Изд. 2-е, стереотипное. — М.: Эдиториал-УРСС, 2004. — 328 с.

Результатом второй научной революции стало бурное развитие промышленности, прежде всего — машиностроения и химии, в Пруссии, затем в Германии. Это позволило выиграть франко-прусскую войну и в начале XX в. сделать страну второй экономикой в мире и первой — в Европе, серьезно потеснив дряхлеющего британского льва. Англия еще долго делала ставку на изобретателей-самоучек и высокомерно не спешила перенимать немецкий опыт, в то время как Францию поражение в войне быстро излечило от высокомерия, и ее система высшего образования была перестроена в духе идей великого В. фон Гумбольдта. Геополитические результаты второй научной революции были бездарно утрачены в результате Первой мировой войны, что стало следствием резкого снижения интеллектуального уровня внешней политики Германии после отставки О. фон Бисмарка (1815—1898) в 1890 г., такого же гиганта, как и братья Гумбольдты. Однако это не умаляет того факта, что Германия скорее превосходила в военно-техническом отношении своих противников в ходе Первой мировой войны, нежели отставала от них. А ведь всего за полвека до этой войны из Парижа и Лондона смотрели на Берлин как на совершеннейшее захолустье!

Недавнее исследование 1000 наиболее инновационных компаний мира показало, что лишь 47% среди них делают упор на технические инновации, 27% ставят во главу угла исследование рынка, а 26% — работу с клиентами. Не будем забывать, что новый флакон для духов — это тоже бесспорная инновация. Тут явно просматривается аналогия с книгой рекордов Гиннеса, в которой чудесным образом удалось поставить на одну доску самые длинные ногти и самую длительную космическую экспедицию. Нынешняя революция, которой пока трудно дать название, да и делается это обычно задним числом, может в значительной мере рассматриваться, подобно первой промышленной революции, как революция техническая, а не научно-техническая, причем с упором на социальные технологии. Только такое предположение позволяет объяснить, каким образом небывалый прогресс может вполне сочетаться с упадком фундаментальных исследований и резким снижением социального статуса науки и ученых и отнюдь не только в нашей стране.

Если на новом витке спирали мир вернулся на два столетия назад, то явно имеет смысл принести цветы на могилу В. фон Гумбольдта и вдохновиться его идеями. Этим путем решительно пошла Финляндия, дав отставку постмодернизму и создав буквально на задворках Европы лучшую на Западе систему среднего образования[11]. Там в средней школе учат хорошо и гуманно, готовя если не «креативный класс», то грамотных исполнителей, найдущих себе место на рынке труда. В высшей же школе среди студентов преобладает интерес к естественным и техническим наукам, а не к психологии, социологии и юриспруденции. Однако высокий (самый высокий) уровень университетского образования требует мощной подпитки от фундаментальной науки. Развитие последней доступно малой, пусть и высокоразвитой стране только в немногих узких направлениях. Поэтому состоятельные финны едут учиться в ведущие университеты Северной Америки и Западной Европы.

В значительно более благоприятном положении находится Китай, имеющий более чем тридцатилетний успешный опыт глубоких преобразований и располагающий огромным экономическим потенциалом. Отметим, что три с лишним десятилетия в целом успешных реформ — это огромный социальный капитал, состоящий не только в опыте, но и в важном психологическом настрое народа, в его готовности к переменам и вере в лучшее будущее. Какой разительный контраст с нашей страной! Впрочем, положение дел в ЕС и США тоже дает мало оснований для оптимизма. В этих условиях для Китая было бы самым сильным ходом не только заимствовать опыт современного Запада, что необходимо для решения теку-

[11]Волков А. Девиз «Поколения Doof»: знание — мыло? // Знание — сила. — 2008. — № 8. — С. 4—14.

щих задач конкурентной борьбы, но обратиться к тем великим принципам и идеям, благодаря которым он добился своего величия и, отойдя от которых, сейчас угасает.

Новая научная революция как революция сверху, могла бы произойти через 20—30 лет (с учетом уплотнения исторического времени), если бы её начали серьезно готовить уже сейчас. Время необратимо, но проверенные временем великие принципы заслуживают того, чтобы ими вдохновлялись новые поколения в своей смелой созидательной работе. Уже сейчас на мировых школьных олимпиадах участники из стран Восточной и Юго-Восточной Азии доминируют на подиумах, и это доминирование свидетельствует о наличии очень серьёзного потенциала.

Такое развитие великого соседа было бы громадным благом и для нашей страны, которая уже третье десятилетие бездарно мечется в поисках то самой себя, то потерянного времени, то достойного места в мире, не имея при этом хоть сколько-нибудь отчетливых представлений о том, какое место можно будет счесть таковым. Завершающееся авторитарное правление в нашей стране не стало временем глубоких реформ, поскольку самым прискорбным образом сочеталось с отсутствием политической воли, что обусловлено крайне низким качеством элиты, если к ней вообще применимо это слово. «Элиты», у которой на Западе недвижимость и другие активы, а зачастую и семьи, которая совершенно потребительски относится к своей стране и не желает принимать ответственность за её историческую судьбу. Эта судьба едва ли будет благоприятной при продолжении односторонней ориентации на угасающий Запад, при полном нежелании искать свой ответ на вызовы времени. Только мощный китайский пример сможет встряхнуть наше посредственное руководство и заставить подражать другим образцам.

В соответствии с существующими экономическим воззрениями, Китай не достигнет такого могущества, как США, на которые в 1945 г. приходилась половина мирового валового продукта. Доля Китая достигнет максимума в 30% и будет сохраняться на этом уровне примерно 20 лет. Затем она начнет сокращаться в пользу Индии и стран Юго-Восточной Азии. Между тем развитие фундаментальной науки очень инерционно и Китай сможет занимать лидирующие позиции благодаря накопленной массе и эффективной государственной политике много дольше, чем два десятилетия. При этом экономическое и научное доминирование Китая, скорее всего, не совпадут по фазе — последнее начнется позднее и будет продолжаться дольше.

Важным фактором, который неизбежно скажется на отношениях между Западом и Россией, станет наступление второго глобального дезинтеграционного цикла. Представления о чередовании интеграционных и дезинтеграционных циклов в развитии мирового хозяйства развиваются в Институте географии РАН уже более трех десятилетий, сначала Б.Н. Зиминым (1929 — 1995), а затем Л.М. Синцеровым[12]. Мировое хозяйство как целостность сложилось к середине XIX в. и его возникновение ознаменовалось первым мировым экономическим кризисом 1857 г. Соответственно первый глобальный интеграционный цикл продолжался с середины XIX в. до 1914 г. Это был *Pax Britannica*, интеграция вокруг Англии, сосредотачивавшей в середине XIX в. половину мирового промышленного производства. Сейчас уже трудно себе представить, что во времена belle époque (1870 — 1914) мир был во многих отношениях даже более интегрированным, чем ныне. Визы были изобретены только после Первой мировой войны, до этого их просто не существовало. Поражает размах трудовых миграций. На рубеже XIX — XX вв. США принимали до 1 млн. иммигрантов в год, что примерно соответствует нынешней иммиграционной квоте, только в 1900 г. население США составляло 76

[12]Размещение производства в рыночной среде. Из трудов Б.Н. Зимина / Сост. А.П. Горкин, Ю.Г. Липец. — М.: Альфа-М, 2003. — 176 с.; Синцеров Л.М. Длинные волны глобальной интеграции // Мировая экономика и международные отношения. — 2000. — № 5. — С. 56—64.

млн. жит., а не 313 млн., как сейчас. В начале XX в. до 200 тыс. итальянских сельскохозяйственных рабочих, закончив сезон у себя на родине, отправлялись работать в Аргентину, а по весне возвращались обратно. Если сейчас евроэнтузиасты гордятся тем, что в Европе впервые со времен Римской империи введена единая валюта, то в 1913 г. во всех цивилизованных странах, и даже в полуцивилизованных, таких как Россия, существовал золотой стандарт. Разумеется, валютообменные операции, как всегда, были сопряжены с транзакционными издержками, но волатильность обменных курсов и инфляция, по нынешним меркам, были просто пренебрежимо малы.

По окончании Первой мировой войны были предприняты многочисленные попытки восстановить тот порядок вещей, который представлялся людям, выросшим в мире, где процветала международная торговля, а совершить кругосветное путешествие можно было имея в качестве единственного удостоверения личности свою визитную карточку, естественным и разумным. К сожалению, их благородные устремления были заведомо обречены на провал в силу объективных причин, рассмотрение которых выходит за пределы этой статьи. Второй глобальный интеграционный цикл (*Pax Americana*) начался только после окончания Второй мировой войны и лишь к 70-м годам экспортная квота США достигла уровня 1913 г. Продолжался он примерно столько же, сколько и первый. Предвестником его завершения стал провал Дохийского раунда переговоров по ВТО. Экономическая интеграция России с ЕС в условиях нарастающего протекционизма будет затруднена, а стремление выйти на рынки высокотехнологичной продукции будет толкать Россию в направлении Китая, Индии и других стран третьего мира. В этом же направлении будет толкать Россию даже экспорт энергоносителей, потребление которых особенно быстро растет в Китае и других бурно развивающихся экономиках третьего мира. Европейский рынок уже сейчас, с точки зрения Газпрома, перенасыщен в результате поставок СПГ из стран Персидского залива. При этом газ может добываться из сланцев не только в США, что уже привело к переориентации потоков СПГ, но и в самой Западной Европе. Сейчас начался второй глобальный дезинтеграционный цикл, который предположительно будет продолжаться 15—20 лет, а завершением его станет *Pax Sinensis*. Скорее всего, он затем будет эволюционировать в «индо-китайский» мир.

Это в любом случае будет сопровождаться закатом демократии, поскольку и представления об Индии как о величайшей демократической державе очень сильно преувеличены[13]. Необходимо отметить, что главный враг западной демократии не снаружи, а внутри. Стремление все сделать прозрачным и понятным некомпетентному большинству, что стало прямым результатом восстания масс[14], по редко вспоминаемому сейчас Х. Ортеге-и-Гассету (1883 — 1955), неизбежно приводит к примитивизации, которая невероятно облегчает копирование. Утверждение материальной выгоды в качестве высшей ценности приводит к тому, что все продается. Трудно было бы сделать лучшие подарки Китаю: он все скопирует или купит. Пройдет 10 — 15 лет, и Китай, который не делает поспешных шагов, поскольку знает, что время работает на него, но при этом продвигается очень быстро, потратит миллиарды долларов на покупку западных СМИ, или, как минимум, «золотых перьев», на гранты европейским и американским ученым. Не изменится ли после этого состояние общественного мнения на Западе? Будут ли там по-прежнему петь «старые песни о главном»: потеплении климата, устойчивом развитии, демократии, правах сексуальных меньшинств и т. п.? Более вероятно коренное изменение международной повестки дня в том мире, где все тверже будет звучать и голос Индии, несовпадение интересов которой со странами Запада уже приводило

[13]Закария Ф. Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами. — М: Ладомир, 2004. — 383 с.

[14]Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Сост., предисл. и общ. ред. А.М. Руткевича. — М.: Весь мир, 1997. — 704 с.

к провалу переговоров в рамках ВТО. На первый план выйдут вопросы развития, а не экологии, здравоохранения, а не прав человека, государственного суверенитета, а не международного гуманитарного сотрудничества. Если СССР без единого выстрела проиграл третью мировую войну, то Китай также без единого выстрела может выиграть четвертую и только для Индии реально составить ему какой-то противовес к середине столетия.

Отметим, что вопрос о закате (или глубокой трансформации) демократии в современном мире уже обсуждается весьма широко, причем совершенно безотносительно к вопросу о смене лидеров мирового развития. В этом смысле очень показательна статья[15] такого «махрового реакционера», как С.А. Караганов, предложившего концепцию глубокой десталинизации нашей страны. Л.Н. Гумилёв смотрел дальше нас и видел глубже. Нам страшно не хватает его именно сейчас, когда стране предстоит сделать гигантский геополитический разворот, чтобы не остаться в лагере проигравших. Бог послал нашей стране для этого труднейшего маневра весьма посредственных капитанов, но нам он дал наследие Л.Н. Гумилёва — спорное, но исключительно ценное.

[15]Караганов С. Конвергенция наоборот // Ведомости. — 27.03.2012

ЕВРОПЕЙСКАЯ БЮРОКРАТИЯ: КОНТЕКСТ СТАНОВЛЕНИЯ

С.Б. Лугвин
Гомельский технический университет им. П.О. Сухого

Аннотация: *В статье рассматривается ранний этап формирования европейской государственной бюрократии, который, как полагает автор, во многом определялся технико-экономическими особенностями утверждения мануфактурного капитализма и политическими процессами становления абсолютных монархий. В статье показывается сложность и противоречивость процесса возникновения европейской бюрократии, при котором, с одной стороны, достаточно долго сохранялись элементы архаизма и традиционализма, а с другой — постепенно, но неуклонно выстраивались чисто бюрократические структуры.*

Ключевые слова: *ранний этап трансформации традиционного общества в индустриальное, французская бюрократия, английское чиновничество, прусская бюрократия.*

С началом формирования в Западной Европе рыночных отношений традиционное общество вступило в период своей трансформации, которая к концу XIX в. завершилась переходом к индустриальному обществу. Кризис традиционализма был вызван исчерпанием ресурсов экстенсивной аграрной экономики и потребностью перехода к хозяйству интенсивного типа, с возникновением которого в Европе утвердился качественно новый тип человеческой цивилизации. По мнению В.Г. Федотовой, ему был присущ органически-инновационный характер развития, при котором источник развития был внутренним, изменения осуществлялись на основе собственных потребностей, их механизмом стала инновация. Характер развития был самостоятельный, поступательный, с локальной цикличностью. Образ будущего не задавался априори, а складывался в результате саморазвития[1].

Трансформация европейского средневековья в индустриальное общество заняла исторически длительный промежуток времени, в рамках которого развёртывались сложные и нередко противоречивые общественные процессы, завершившиеся, в конечном счете, переходом к промышленному капитализму. Его генезис носил чрезвычайно неравномерный характер, как в пространстве, так и во времени. Северная Италия, Испания, Португалия, Голландия, Великобритания — вот далеко не полный перечень государств, в разное время олицетворяющих те или иные варианты модернизации. Период наиболее активного формирова-

[1]Федотова В.Г. Неклассические модернизации и альтернативы модернизационной теории // Вопросы философии. — 2002. — № 12. — С. 4.

ния промышленного капитализма пришелся на XIX в., а все предыдущее время, начиная с XVII в., происходило лишь достаточно медленное его вызревание. Причину подобного положения вещей В. Зомбарт усматривал в наличии многочисленных препятствий развитию рыночных отношений. К их числу он отнес войны, которые требовали огромных затрат, сопровождались разорением экономик и потерей огромных денежных состояний. Негативно сказывалась на развитии рынка и периодическая смена центров мировой торговли, что нарушало преемственность в накоплении капитала, приводило к утрате имеющегося опыта и финансовых средств. Медленное развитие рыночных отношений В. Зомбарт связывал также с недостаточно быстрым ростом населения и увеличением численности пролетариата вследствие голода, эпидемий, войн, а также переселения части европейского населения в колонии[2].

Важным импульсом, активизировавших процессы социально-политической трансформации, стало европейское Возрождение, которое отказалось от прежних мистических представлений о месте человека в мире и стало рассматривать его исключительно в земном, реальном измерении. На основе переосмысления духовного наследия античности в европейской культуре утвердились принципы гуманизма, признания достоинства и суверенности человеческой личности. Последняя стала рассматриваться как носитель рационального сознания и выступила в качестве источника естественного права, понимаемого как набор вечных и незыблемых предписаний, соответствующих здравому разуму и рассудку человека.

Значительное воздействие на социально-политическую трансформацию оказала также Реформация, создавшая ряд духовных предпосылок для ускорения капиталистического накопления. Согласно возникшему в результате церковного раскола протестантизму, истинный христианин должен целиком посвящать себя своей профессии, быть трудолюбивым и рачительным хозяином, отвергать плотские утехи и роскошь. Тем самым протестантизм создал новую трудовую мотивацию, при которой «стремление к неустанному труду, — как отмечал Э. Фромм, — стало одной из главных производительных сил, не менее важной для развития… промышленной системы, чем пар и электричество»[3]. Жажда денег и богатства стала всепоглощающей страстью человека, источником его творческой энергии и предприимчивости, а происхождение и статус начали постепенно утрачивать своё значение. Внеся определенные коррективы в этические качества личности, Реформация нацелила людей на более рациональную и упорядоченную деятельность и подчинила их задачам капиталистической модернизации. Одновременно она создала и ряд важных ценностных предпосылок для оптимизации сферы управления.

Согласно утвердившемуся в литературе мнению, начало капиталистической цивилизации в Европе положил XVII в. Именно с этого времени генезис капитализма приобрел необратимый характер, стал ведущей тенденцией социального развития. В XVIII в. произошло широкое распространение мануфактур, что существенно ускорило трансформационные процессы. Мануфактурное производство, первоначально нацеленное на обеспечение потребностей армии и престижное потребление верхов, очень скоро переориентировалось на изготовление дешевых и доступных для всех товаров, что, по мнению М. Вебера, обеспечило поворот к промышленному капитализму.

Развитие мануфактурного производства сопровождалось разорением мелких производителей и широким распространением свободного наемного труда. Господствовавшие прежде отношения личной зависимости стали быстро вытесняться отношениями, основанными на

[2]Зомбарт В. Современный капитализм: в 3 т.; пер. с нем.; предисл. проф. С.Б. Членова; послесл. И. Альтера. — М.: Госиздат, [б. г.]. — Т. I. — С. 374—383.

[3]Фромм Э. Бегство от свободы; пер. с англ.; общ. ред. и послесл. П.С. Гуревича. — М.: Прогресс, 1989. — С. 86.

экономической зависимости и экономическом расчете. Формирующаяся рыночная экономика отделила объективную оценку каждого работника, определяемую качеством и количеством его труда, от любых соображений личного характера. Размер его заработной платы стал зависеть не от личных симпатий или антипатий нанимателя, а от спроса и предложения на рынке труда, от его вклада в производство конкретных благ и услуг. Мануфактура, ставшая переходной ступенью от индивидуального ремесленного производства к полному обобществлению труда на фабрике, подготовила необходимые предпосылки для введения машин: она расчленила производственный процесс на элементарные операции и распределила их между отдельными работниками. При такой организации труда, писал К. Маркс, различные операции «отделяются одна от другой, изолируются, располагаются в пространстве одна рядом с другой, причем каждая из них поручается отдельному ремесленнику, и все они одновременно выполняются кооперирующимися между собой работниками»[4]. С развитием мануфактуры производство приобрело машиноподобный характер, независимый от личных качеств индивидов, что обусловило появление «частичного работника» как продукта специализированного труда. Это привело к превращению универсального работника ремесленного типа в «частичного работника», обладающего навыками и мастерством лишь в одной крайне ограниченной области. Развитие мануфактурного производства оказало немалое влияние на все области человеческой деятельности, породив представление о необходимости использования деперсонализированных правил, специализации труда, свободного найма сотрудников и т. п.

Подобные процессы охватили и сферу государственного управления, где также утвердился феномен специализированной профессиональной деятельности. По мнению М. Вебера, окончательную победу профессиональное чиновничество одержало уже в XVI в., когда организационно обособились друг от друга три важнейшие сферы государственной деятельности: финансы, военное дело и судопроизводство[5]. Однако в этот период управленческий труд в собственном смысле этого слова еще не отделился от судопроизводства. А потому управление на местах нередко осуществлялось судебными органами и профессиональными юристами. «Преобладание юристов, — как считал В.Н. Малов, — означало и преобладание юридического стиля мышления с опорой на прецеденты, со стремлением всё согласовывать с устоявшимися нормами»[6]. Реализация такого подхода позволила до некоторой степени минимизировать королевский произвол и формализовать сферу управления на основе соответствующих процедурных норм, что, в свою очередь, обеспечило определенную автономию административного аппарата (на место личного правления короля пришло правление от его имени) и отделение чиновников от двора в узком смысле этого слова. Однако государство по-прежнему рассматривалось как королевская патримония, а потому патримониальные чиновники должны были действовать не в интересах общества и государства, а в интересах королевской власти. Они не являлись государственными служащими в собственном смысле этого слова, а их служба королю не являлась государственной службой.

В период становления капиталистических отношений резко усилилась тенденция политической централизации, проявившаяся в окончательном преодолении феодальной раздробленности и утверждении единых государств. Централизаторская политика королевской власти подкреплялась развитием товарно-денежных отношений и формированием общенацио-

[4]Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том первый. Книга I. Процесс воспроизводства капитала // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения: в 39 т. — 2-е изд. — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1955—1974. — Т. 23. — С. 349.

[5]Вебер М. Указ. соч. — С. 658.

[6]Малов В.Н. Ж.- Б. Кольбер. Абсолютистская монархия и французское общество. — М.: Наука, 1991. — С. 11.

нального рынка, положившего конец экономической обособленности отдельных хозяйств и регионов. В результате сословная монархия стала перерастать в абсолютную. С появлением абсолютизма, нижняя граница которого может быть условно отнесена к концу XV — началу XVI вв., противоборство монархов с феодальной знатью завершилось их полной победой и ликвидацией всякой самостоятельности знати. Все эти процессы привели к институционализации государственной власти со всеми ее атрибутами: суверенитетом, монополией на легальное применение силы, изданием законов, сбором налогов и пр.

Впервые после падения Римской империи в руках монархов сконцентрировалась огромная власть, лишенная всяких политико-правовых ограничений. Будучи абсолютными суверенами, они сосредоточили в своих руках всю полноту государственной власти, в том числе военную, полицейскую, законодательную (нередко с сохранением старых традиций), административную, а также судебную (право выносить судебные приговоры в последней инстанции). Декларировался тезис о божественном происхождении власти монарха, а само государство рассматривалось как его частная собственность или патримония. Политическая централизация государства сопровождалась его административной централизацией, формированием иерархического управления, развитием судопроизводства, унификацией налогообложениия, возникновением постоянной армии и полиции.

При проведении своей политики монархи оказались вынуждены считаться с существованием двух влиятельных политических сил: с нарождающейся, но еще неокрепшей буржуазией и влиятельным дворянством. Если буржуазия, стремясь к оптимизации своей хозяйственной деятельности, была заинтересована в рационализации аппарата управления, то дворянство проводило линию, нацеленную на консервацию сложившихся порядков. Соображения пользы и перспективы подталкивали монархов к проведению преобразований в интересах буржуазии. Страх же оторваться от собственных корней побуждал их укреплять свою связь с дворянством. Как подчеркивал Ф. Бродель, королевская власть была едина в своей сущности с дворянством. Она боролась против него, но не порывала с ним[7]. Отсюда непоследовательность и незавершенность предпринятых реформ. Тяготея к дворянству, монархи стремились сохранить в неприкосновенности его сословные привилегии, предусматривающие, в частности, исключительное право дворянства на занятие всех высших должностей при дворе, в армии и в государственном аппарате. Чиновники Англии, Франции, Пруссии и других европейских стран назначались преимущественно из среды земельной, а в некоторых случаях — финансовой аристократии.

Становление абсолютных монархий сопровождалось быстрым ростом численности чиновничества, которое наряду с армией составляло надежную опору королевской власти. Так, если в начале XVI в. во Франции насчитывалось около 8 тыс. чиновников, то в середине XVII в. их количество достигло уже 46 тыс.[8]. В этой стране достаточно рано сформировалась разветвленная система государственного управления, охватывающая всю территорию страны. На вершине властной пирамиды находился Королевский совет, выполняющий функции центрального правительства. На местах государственное управление обеспечивалось многочисленными должностными лицами, которые осуществляли военные (генеральные наместники, старшие и младшие губернаторы и др.), судебно-административные (парламенты, сенешальства, бальяжи и др.) и фискально-финансовые (казначеи Франции, элексьоны и др.) полномочия. Чиновники королевской администрации занимали свои должности на постоянной основе и существовали за счет полагающихся им выплат и иных преимуществ, вытекаю-

[7]Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV — XVIII вв.; пер. с фр.; ред. Ю.Н. Афанасьева: в 3 т. — М.: Прогресс, 1986—1992. — Т. 2. Игры обмена. — 1988. — С. 558.

[8]История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. — М.: Наука, 1988—1996 — Т. 3. — От средневековья к новому времени (конец XV — первая половина XVII в.). — 1993. — С. 180.

щих из должностного положения. Однако очень скоро они стали претендовать на присвоение государственных должностей на правах частной собственности.

Тенденция роста бюрократического аппарата была характерна, однако, не для всех европейских стран. Так, например, английская королевская администрация в отличие от французской была сравнительно немногочисленной и сосредоточивалась преимущественно в центре. В XVI в. её центральный аппарат составлял всего лишь 1000 — 1500 чел.[9] На местах же назначаемых чиновников было совсем немного. Данное обстоятельство объясняется тем, что в отличие от большинства континентальных стран абсолютная монархия на Британских островах просуществовала сравнительно непродолжительное время, в течение которого ей не удалось создать многочисленный чиновничий аппарат. Кроме того, в Англии еще со времен средневековья широко распространились идеи свободы, самоуправления и признания прав личности, которые были несовместимы с чиновничьей регламентацией. Нельзя не учесть и то обстоятельство, что в этой стране в сфере управления и судопроизводства издавна сформировалась прецедентная культура, которая отвергала принятие безличных решений, пригодных на все случаи жизни универсальных правил и акцентировала внимание на специфике дела и конкретном подходе к каждой новой ситуации.

Чиновники английской территориальной администрации обычно не назначались, а избирались местной знатью. Немецкий историк Р. Гнейст писал, что правительство еще с англо-нормандского периода постоянно стремилось возложить местную власть на общины, а в дальнейшем — на должностных лиц, избираемых из числа постоянных жителей данной местности[10]. Наиболее значимыми фигурами местного самоуправления являлись мировые судьи, которые выполняли судебно-административные функции и обладали почти полной независимостью от центральной власти. Как правило, они избирались пожизненно из числа наиболее уважаемых и состоятельных местных жителей, чаще всего из джентри в сельской местности и буржуа в городах. Должностные функции, возложенные на местных нотаблей, считались их почетной обязанностью, которую они выполняли на «любительской» основе. По мнению М. Вебера, джентри «сохранил Англию от бюрократизации, ставшей судьбой всех континентальных государств»[11]. Давая типологическую портретную характеристику мировым судьям, английский историк Дж. Тревельян писал: «Существовал тип продажных мировых судей, известных под именем „торгующих судей“. Это были люди из низших слоёв общества, которые добивались чиновничьих постов, чтобы извлечь из своего положения финансовую выгоду. Но, вообще говоря, судьями, которые делали наибольшую работу в сельских районах, были зажиточные сквайры, достаточно богатые, чтобы не быть продажными или нечестными, достаточно гордые, чтобы выполнять тяжелую общественную работу безвозмездно, стремившиеся снискать расположение соседей, но часто невежественные и полные предрассудков, не желавшие совершать несправедливость, но часто допускавшие произвол»[12]. Под началом мировых судей находились выборные чиновники местной администрации: констебли приходов, церковные старосты, казначеи и пр. Наличие выборного чиновничества, во многом независимого от центрального правительства, а также отсутствие на территории страны наемной армии серьезно ограничивало властные притязания английских монархов.

---

[9]Там же. — С. 166.

[10]Гнейст Р. История государственных учреждений Англии; пер. с нем; под ред. С.А. Венгерова. — М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 1885. — С. 752.

[11]Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведения; пер. с нем.; сост., общ. ред. и послесл Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. — М.: Прогресс, 1990. — С. 664.

[12]Тревельян Д.М. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории; пер. с англ.; под ред. и с предисл. В.Ф. Семенова. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959. — С. 368.

Уже на ранних этапах становления капитализма отчетливо проявились различия между континентальной и англо-саксонской административными традициями. Если континентальная традиция предусматривала высокую степень бюрократической централизации и выработку единых, обязательных для всех чиновников административных предписаний, то англосаксонская традиция, исходящая из индивидуального подхода и отвергающая принятие безличных решений, предусматривала широкую степень автономности должностных лиц.

В отличие от Англии, где сложилась традиция безвозмездного исполнения судебно-административных обязанностей, во Франции должностные лица получали официально установленное жалованье. Однако правительство постоянно стремилось экономить на причитающихся им выплатах. А потому в этой стране, как и в ряде других европейских стран, имеющих оплачиваемых чиновников, основным источником доходов должностного лица являлось отнюдь не жалованье, а всякого рода поборы, взимаемые с просителей. Последние, порой, были очень значительны, а процедуры решения вопросов намеренно затянутыми и усложненными. По свидетельству А.Д. Люблинской, во Франции несанкционированные доходы обычно в несколько раз превышали размеры официально установленного жалованья. Она привела пример, относящийся к известному драматургу Корнелю, который за свои две должности королевского адвоката в Руане получал 320 ливров в год, в то время как дополнительные сборы давали ему ежегодно еще около 900 ливров[13].

На организацию патримониального чиновничьего аппарата XVII — XVIII вв. глубокий отпечаток наложило сохранение наследия традиционалистских порядков. С точки зрения системного подхода он не обладал целостностью и носил во многом фрагментарный и суммативный характер. Одни его компоненты могли существенно противоречить другим. В результате наряду с элементами юридической унификации в королевском административном аппарате сохранялись традиции вассалитета и клиентелы. Так, для французского дворянства «король долго оставался не столько сувереном, сколько верховным сеньором-сюзереном, вершиной иерархии дворянского сословия, связанного с ним отношениями патроната и верности. Личная верность, оплаченная благодеяниями, привязывала губернаторов к королю, офицеров — к главнокомандующему, статс-секретарей — к первому министру, провинциальных нотаблей — к губернаторам, интендантов — к статс-секретарям, магистратов парламента — к первому президенту. В политической практике эпохи личная верность нередко стояла выше государственного подданства»[14]. Подобная ситуация существовала и в других европейских странах. На всех уровнях и этажах королевской администрации преобладали патримониальные начала, сохранялась устойчивая система клиентальных отношений, основанных на личных связях и зависимостях. Например, в Англии, большинство чиновников являлось частными служащими (клиентами) своего патрона, который, занимая престижную должность в административном аппарате, из собственных средств нанимал и оплачивал целый штат клерков, секретарей, разносчиков и пр. При этом сам он мог быть клиентом другого патрона, но уже на более высоком уровне власти. Подобная система многосторонних и многоуровневых личных связей и зависимостей длительное время препятствовала утверждению единой и обезличенной системы служебной иерархии, что неоднократно приводило к политическим кризисам и новым «волнам феодализации».

Другим пережитком традиционализма в сфере управления являлась частная собственность чиновников на занимаемые ими должности, которые могли передаваться по наследству, покупаться и продаваться. В подобных условиях ни о какой служебной дисциплине не

[13]Люблинская А.Д. Франция при Ришелье: французский абсолютизм в 1630 — 1647 гг. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. — С. 58.

[14]История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. — М.: Наука, 1988—1996. — Т. 3. — От средневековья к новому времени (конец XY — первая половина XYII в.). — 1993. — С. 180.

могло быть и речи. Монарх не мог, например, по своему желанию сместить неугодного чиновника иначе, как оплатив рыночную цену его должности, на что в казне постоянно не хватало средств. Это порождало у чиновников осознание своей неуязвимости и безнаказанности. Так, например, во Франции собственность на должности, которая на протяжении длительного времени существовала де-факто, была официально узаконена в 1604 г. с введением полетты — официального денежного сбора, гарантирующего ее передачу по наследству. Стремясь пополнить казну, государство постоянно создавало новые должности и продавало их частным лицам. За счет их создания правительство пыталось решать многочисленные финансовые проблемы, возникающие перед властью. А. Токвиль отметил беспримерную страсть буржуазии к приобретению государственных должностей, которая, по его мнению, глубоко проникла в недра нации, сделавшись источником революции и рабства[15]. Притягательность должности определялась не только материальной выгодой, получаемой в результате ее приобретения, но и ее престижностью, поскольку некоторые должности были аноблирующими, то есть обеспечивали своим владельцам право на личное или даже потомственное дворянство, дополняемое соответствующими налоговыми привилегиями. Наличие аноблирующих должностей привело к формированию особой социальной группы — «дворянства мантии», которое стремилось ни в чем не уступать родовитому «дворянству шпаги». Очень скоро «дворянство мантии» стало влиятельной политической силой, претендующей на сословную замкнутость и привилегированность своего положения.

Пустив в продажу большую часть государственных должностей, правительство, как отмечал А. Токвиль, отказалось от права направлять, контролировать и понуждать своих агентов. Тем самым алчность правительства послужила противовесом его властолюбию[16]. Имея в виду качественное отличие таких чиновников от назначаемой и сменяемой бюрократии, В.Н. Малов предложил по отношению к ним использовать термин «оффисье». Помимо гарантированного обладания должностью он выделил такие черты оффисье, как коллегиальная солидарность вместо индивидуальной ответственности, забота об охране законности вместо беспрекословного подчинения воле патрона, отсутствие регламентированного выслугой лет повышения по службе (для восхождения по судебно-административной лестнице требовалось купить более высокую должность), отсутствие канцелярско-бюрократической дисциплины[17].

Частная собственность на должности, длительное сохранение традиций клиентелы и вассалитета нередко приводили к тому, что отдельные должностные лица и целые чиновничьи корпорации вставали в скрытую или открытую оппозицию по отношению к монархической власти. В этой связи немалую известность приобрела оппозиционная деятельность французских судебно-административных органов, именуемых парламентами — Парижским и провинциальными. Их борьба велась против законодательной власти короля на основе использования формальностей регистрации издаваемых им эдиктов. По устоявшейся традиции королевские акты приобретали законную силу, лишь будучи вписанными в специальные парламентские реестры. Под предлогом их несоответствия изданным ранее указам и старинным обычаям парламенты нередко отказывали королю в регистрации, требуя от него в своих ремонстрациях (письменных протестах) их изменения или отмены. Тем самым они фактически присвоили себе право законодательного вето, которое можно было преодолеть лишь непосредственным присутствием короля на заседании парламента. Авторитет парламентов был настолько высок, что провинциальное чиновничество могло отказаться выполнять несанкционированные ими королевские эдикты.

[15]Токвиль А. Старый порядок и революция. — М., 1905. — С. 123.
[16]Там же.
[17]Малов В.Н. Указ. соч. — С. 12.

Противоборство парламентов и королевской власти особенно усилилось в связи с роспуском в 1615 г. Генеральных штатов, после чего они стали рассматривать себя как рупор общественного недовольства. Однако превыше всего парламенты ставили свои собственные корпоративные интересы. Борясь с королевским правительством, они отвергали любые предлагаемые им новшества, если они прямо или косвенно их затрагивали. Так, во второй половине XVIII в. парламенты провалили целую серию правительственных реформ, направленных на модернизацию экономики, суда и управления. Институционализировавшись в общенациональном масштабе как самостоятельная политическая сила, парламентская магистратура стала претендовать на достижение высшей государственной юрисдикции и собственного судебного контроля над политической линией правительства, что было совершенно неприемлемо для королевской власти. По мнению некоторых историков, именно парламенты стали виновниками отсутствия сколь-либо серьёзных подвижек в решении насущных проблем, стоящих перед обществом и государством, что, в конечном счете, привело к революционному взрыву[18]. Отсюда не случайно, что после революции парламенты были упразднены вместе с абсолютизмом. Однако, как заметил французский правовед Ж. Ведель, деятели революции извлекли урок из случившегося, результатом чего стал вывод о необходимости умаления роли судебной власти. В дальнейшем правительство уже не допускало вмешательство обычного суда в дела администрации, в том числе при рассмотрении административных споров[19]. Случаи неповиновение чиновничества центральной власти встречались и в других европейских странах. Так, например, в Великобритании выборное чиновничество, рекрутировавшееся из привилегированных слоев населения и сохраняющее с ними тесную связь, в конце XVI в. встало на сторону буржуазно-дворянских кругов, недовольных экономической и финансовой политикой правительства. Его оппозиция правительству выразилась в скрытом противодействии действиям центральной власти, проявившемся в выхолащивании борьбы с огораживаниями, в саботаже сбора правительственных субсидий, займов, «корабельных денег» и пр.

Очевидно, что организация административного аппарата раннеабсолютистских монархий явно не соответствовала задачам создания по-настоящему сильной власти. Чиновничество, саботирующее действия монарха, несовместимо с самим принципом абсолютизма: оно подрывает его суверенитет и перераспределяет власть в свою пользу. Абсолютизм же обычно нуждается в таком административном аппарате, который, не имея собственных политических амбиций, представляет собой лишь простой исполнительный механизм, безоговорочно подчиненный центральной власти. Поэтому усиление позиций монархов везде и всюду сопровождалось их стремлением сформировать послушную бюрократию.

Одной из первых стран, приступивших к решению данной задачи, стала Франция. Как отмечал А. Токвиль, во Франции в ходе ее исторического развития сложился «настолько обширный, сложный, запутанный и непроизводительный административный механизм, что… оказалось необходимым оставить его работать впустую и вне его построить более простую и удобную правительственную машину…»[20]. Данная задача решалась королевской властью постепенно и в течение достаточно длительного времени, на протяжении которого шаг за шагом вырисовывались контуры нового государственного аппарата. Одновременно складывалась властно-управленческая вертикаль, обеспечивающая единство направляющей воли на всех этажах королевской администрации. Параллельно этому процессу происходило также

[18]Берго И.Б. Парламенты и политическая борьба во Франции накануне Великой французской революции / И.Б. Берго // Новая и новейшая история. — 1988. — № 6. — С. 39—55.

[19]Ведель Ж. Административное право Франции /Ж. Ведель; пер. с фр.; под ред. М.А. Крутоголова. — М.: Прогресс, 1973. — С. 68.

[20]Токвиль А. Указ. соч. — С. 123.

последовательное отстранение родовой знати от важнейших рычагов государственного управления, к которым все чаще стали привлекаться выходцы из непривилегированных сословий, не обладающие собственными властно-политическими амбициями.

Уже в XVI в. в административном аппарате Франции стали появляться структуры, которые во многом оптимизировали сферу управления. Речь идет, в частности, о министерствах, институционализация которых завершилась к началу XVIII в. Их возникновение стало результатом административной эволюции, сопровождающейся углублением специализации административной деятельности и усложнением стоящих перед правительством задач. В процессе такой эволюции простые канцелярские чиновники, первоначально приставленные к королю для записи его распоряжений, постепенно превратились во влиятельных статс-секретарей, в руках которых сосредоточивались целые отрасли государственного управления. Если вначале они использовали лишь небольшие бюро с нанятыми клерками, то в дальнейшем стали опираться на многочисленный чиновничий аппарат, включающий в себя ряд подразделений со строгой иерархией и специализацией чиновников. В XVIII в. статс-секретари стали настоящими министрами, подчинявшиеся непосредственно королю. Каждый из них не только возглавлял определенное ведомство, но и управлял четвертой частью территории страны.

Одновременно со статс-секретарями происходило выдвижение и суперинтенданта финансов. Из второстепенного финансового чиновника центральной администрации он превратился в главного министра королевства, сфера компетенции которого далеко выходила за рамки финансов. Как отметил В.Н. Малов, в отличие от статс-секретарей, чьи должности были продажными и наследственными (хотя реально их передача контролировалась короной) суперинтендант был уже не оффисье в собственном смысле этого слова, а подотчетным королю чиновником, которого он в любой момент мог уволить[21]. В 1661 г. должность суперинтенданта была упразднена, а её функции перешли к Генеральному контролёру финансов.

Наиболее важным компонентом французского государственного аппарата стал институт интендантов, на основе которого была обеспечена административная централизация государства. Его зарождение относится к середине XVI в., когда всё большее влияние во французских провинциях стали приобретать королевские комиссары — профессиональные юристы и финансисты, посылаемые туда для проведения инспекторских проверок и выполнения различных правительственных распоряжений. В дальнейшем за ними закрепился титул интенданта с указанием на характер поручения, например, «интендант юстиции, полиции и финансов». Как правило, это были люди незнатные, но обладающие специальными знаниями и лично преданные монарху. При Людовике XIV в руках интендантов сосредоточилось практически всё местное управление и контроль над провинциальной жизнью. В помощь им из числа местных жителей назначались субделегаты, управляющие округами, на которые делились интендантства. Сами же интенданты подчинялись находящемуся в Париже суперинтенданту финансов (впоследствии Генеральному контролёру). В своём распоряжении они имели канцелярский аппарат, ведающий вопросами местного управления. «В основе их деятельности лежали единоначалие, строгая иерархическая соподчиненность и преимущественно административные, а не судебные формы принятия решений…»[22]. Доходы интендантов обычно ограничивались фиксированным жалованьем. Назначенные на должность королём, они могли быть в любой момент перемещены им на другую должность или уволены. «Выполнение миссии было для них вопросом карьеры: хорошо зарекомендовав себя, они могли надеяться на патент государственного советника и переход в центральный правительствен-

[21]Малов В.Н. Указ. соч. — С. 12.

[22]История Европы с древнейших времен до наших дней: в 8 т. — М: Наука, 1988—1996. — Т. 4. Европа нового времени (XVII — XVIII века). — 1994. — С. 183.

ный аппарат»[23]. По мнению Е.М. Кожокина, сочетание временности и большой личной ответственности способствовало повышению административного рвения интендантов[24]. В дальнейшем по мере стабилизации должностного положения интендантов к ним перешли функции, выполняемые ранее губернаторами, казначеями Франции и другими оффисье. В конечном счете, именно интенданты стали самыми надёжными проводниками не только идущей сверху централизации, но настоящими творцами абсолютистского государства.

Как полагают французские правоведы, современная администрация появилась во Франции уже в XVIII веке, когда «на смену старинной системе чиновников, обладающих бессменной должностью и значительной независимостью от королевской власти пришла… иерархия настоящих чиновников, распространивших на всю территорию страны деятельность центральной власти»[25]. По степени совершенства и упорядоченности своего административного аппарата на всем протяжении второй половины XVIII — первой половины XIX вв. Франция не знала себе равных в Европе, что подтверждается стремлением ряда европейских правителей строить свои административные учреждения по образцу французских. Однако в отличие от выборных английских чиновников, сохранявших свою связь с теми общественными слоями, из которых они рекрутировались, назначаемые и обеспечиваемые центральной властью французские чиновники очень быстро приобрели корпоративные свойства и групповое самосознание, что позволило им подняться над интересами тех социальных групп, из которых они происходили. Очень скоро в их среде распространилось представление о собственном превосходстве и непогрешимости. Характеризуя чиновничество Франции кануна революции, А. Токвиль отмечал, что уже тогда оно представляло собой аристократию нового общества и образовывало класс, «проникнутый особым духом, имеющий свои предания, свои добродетели, свою особую честь и гордость»[26]. Отсюда не случайно, что сам термин «бюрократия» зародился именно во Франции.

Формированию европейской государственной бюрократии во многом способствовало упразднение норм обычного права и постепенный переход к универсальному законодательству. Считалось, что всеобщее и эксплицитно сформулированное законодательство имеет очевидные преимущества перед прецедентным и обычным правом. «После эпохи Ренессанса с его тяготением к римским традициям, — писал Т. Парсонс, — в правовых системах почти всех стран Европы были институционализированы универсалистские правовые принципы и широко распространено представление о „власти закона“ в противовес произволу власти»[27]. В писаном законодательстве закрепились нормы государственного, административного, гражданского, уголовного и иных отраслей права. Так, во Франции уже при Ж.–Б. Кольбере была подготовлена целая серия ордонансов, охватывающих судебную процедуру ведения гражданских и уголовных дел, торговлю, морское право и пр. Их появление стало прологом изданного при Наполеоне общенационального свода законов.

Законотворческий процесс активно развивался и в других европейских странах. Однако, как считал Т. Парсонс, если «континентальные монархии склонялись к римской правовой традиции с ее акцентом на „унитарную“ власть государства», то в Англии «судьи сами формировали свод законов, принимая решения и создавая прецеденты в достаточной степени независимо от королевских указов и постановлений парламента»[28]. В этой стране закон обслу-

[23]Там же. — С. 142.

[24]Кожокин Е.А. Европа. Государство и народ: от Фронды до Великой французской революции / Е.А. Кожокин. — М.: Наука, 1984. — С. 7.

[25]Ведель Ж. Указ. соч. — С. 68.

[26]Токвиль А. Указ. соч. — С. 80.

[27]Парсонс Т. Система современных обществ; пер. с англ.; под ред. М.С. Ковалевой. — М.: Аспект-Пресс, 1998. — С. 87.

[28]Там же. — С. 89.

живал не только интересы государства, но «одновременно был достаточно независимым, чтобы служить также и многообразным частным потребностям»[29].

Со второй половины XVII в. разрабатываемые в науке, философии и политической мысли принципы рационального осмысления действительности стали проникать в сферу государственного управления. Считалось, что государство должно работать как хорошо отлаженный и рационально организованный механизм. Данная идея была выражена, в частности, немецким философом Г. Лейбницем, который сравнивал государство с часами. В подобных условиях утвердилось мнение, что принятию управленческих решений должно предшествовать детальное изучение сложившейся ситуации, осмысление предшествующей административной практики, анализ статистической информации и пр. Во Франции такую практику впервые ввел Генеральный контролер Ж.-Б. Кольбер, который требовал от назначенных им интендантов составлять обширные записки о состоянии дел во вверенных им округах: какова численность населения, сколько в портах кораблей, сколько ткацких станков и пр. В дальнейшем подобная практика стала традицией[30].

Рационализация производства и сферы управления сопровождалась появлением камералистики как науки об эффективном государственном и хозяйственном управлении. Камералистика предусматривала профессионализацию и специализацию административной деятельности, стандартизацию должностных обязанностей чиновников, введение фиксированного размера их жалованья, определение штата и распорядка работы учреждений, установление единых правил ведения делопроизводства и т. п. Считалось, что построенный на основе камералистских принципов административный процесс должен закрепляться в виде конкретных регламентов и инструкций, обязательных для чиновников. Нацеленная на разработку унифицированных правил и процедур, камералистика стала формально-правовой основой деятельности государственной бюрократии.

В XVI — XVIII в. практически во всех европейских странах военная служба имела значительно более высокий престиж, нежели гражданская служба. В Пруссии же эта разница была особенно ощутима: по «Табелю о рангах» 1713 г. высший военный чин фельдмаршала на пять рангов превосходил высшую гражданскую должность действительного тайного советника, т. е. министра. Со времен Фридриха-Вильгельма I, прозванного «королём-капралом», в стране существовала жесткая полувоенная дисциплина, которая распространялась на все слои населения и, в первую очередь, на дворянское сословие. «Король-капрал» рекрутировал чиновников непосредственно из армии, т. е. из числа лиц, привыкших безоговорочно подчиняться приказам, следовать уставам, соблюдать дисциплину и порядок. Тем самым принципы дисциплинарного устава армейской жизни он распространил и на гражданских чиновников. Так, например, инструкция, данная податным советникам, ведающими городскими магистратами, прямо сравнивала их с ротными командирами, обязанными «насквозь» знать каждого солдата[31]. «Фельфебельский» стиль управления, присущий Фридриху-Вильгельму, передавался и его чиновникам. В литературе отмечалось, что многими своими качествами — формализм, педантизм, буквоедство, высокомерие и солдафонство — прусская бюрократия была обязана лично ему[32].

---

[29]Там же. — С. 88.

[30]Малов В.Н. Жан-Батист Кольбер — реформатор XVII века (1619 — 1683) // Новая и новейшая история. — 2000. — № 3. — С. 104.

[31]Кареев Н. Западноевропейская абсолютная монархия XVI, XVII и XVIII веков. — СПб.: [б.и.], 1908. — С. 148.

[32]Ледях И.А. Государственная служба ФРГ // Государственная служба основных капиталистических стран. — М.: Наука, 1977. — С. 182.

Королевская власть упорно стремилась к тому, чтобы формирующаяся бюрократия была простым и надёжным исполнителем спускаемых сверху распоряжений. В результате ей удалось добиться своего: по степени вышколенности административного персонала в XVIII в. Пруссия стала превосходить все другие европейские страны. Как отмечал Н.И. Кареев, прусские чиновники «обязаны были повиноваться как на войне и главное должны были „не рассуждать“ (nicht raisonieren)»[33]. Требование «повиноваться, не рассуждая» являлось основным принципом деятельности прусской бюрократии, особенно её низших звеньев. Чиновникам не только не полагалось иметь собственное мнение, но и проявлять какую бы то ни было инициативу. Известный прусский реформатор К. Штейн в одном из своих циркуляров порицал присущий прусской бюрократии дух механического послушания: «Чиновники должны перестать быть немыми орудиями в руках монархов, машинами, исполняющими чужие приказания против собственной воли; я хочу, чтобы отныне они выполняли государственную службу независимо, самостоятельно и с полной ответственностью»[34].

Если при Фридрихе-Вильгельме прусские чиновники являлись лишь безропотными слугами короля, то Фридрих II (Великий) предоставил им некоторую самостоятельность, «отделив» их от королевской власти. Прямой королевский произвол был заменен общими правилами и инструкциями. Отныне все административные решения должностных лиц должны были приниматься на основе их применения к тем или иным практическим ситуациям. При этом такие решения должны документироваться и сдаваться в архив. Считалось, что работа чиновников носит систематический, предсказуемый и безличный характер. Одновременно был введен унифицированный отбор должностных лиц. Для занятия высших государственных постов стала требоваться специальная подготовка по камералистике, стажировка в органах управления и сдача соответствующих экзаменов (в 1770 г. специально для этих целей была учреждена Высшая экзаменационная комиссия). В отличие от Франции, где чиновники владели своими должностями на правах частной собственности, государственные должности в Пруссии не являлись собственностью чиновников. А потому они не могли претендовать на дополнительные доходы сверх положенного им жалованья и были обязаны служить не частным, а государственным интересам. Объективно все эти процессы вели к бюрократизации государственного управления. Как отмечал Г. Погги, благодаря деперсонализации власти «государство получило превосходство над своим главой…»[35].

В XVIII в. значительное влияние на европейских государей и приближенную к ним элиту оказывали идеи просветителей: Дж. Локка, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескьё, К.А. Гельвеция, Д. Дидро, Г.Э. Лессинга, И.Г. Гердера и др. Отправной точкой их политического учения стали ценности гражданской свободы, политического равенства, неприкосновенности собственности, приоритета правовых норм и т. п. Существующие политические и государственные порядки просветители стремились переосмыслить с позиций разума, неприятия любых догм, критического отношения к разного рода авторитетам и традиционалистским нормам. Просветители решительно отвергали деспотизм власти, сословные привилегии и наследственные права на управление. Опираясь на теорию общественного договора, они считали, что государственное устройство — это не акт божественной воли, а дело рук человеческих, а потому может и должно быть изменено самими же людьми в их интересах и на основе ими же установленных рациональных принципов. В качестве таковых они рассматривали конституционализм, разделение властей, парламентаризм, приоритет гражданского общества, развитие местного самоуправления и др.

---

[33]Кареев Н.И. Указ. соч. — С. 149.

[34]Дюприе Л. Государство и роль министров в Пруссии. Государство и роль канцлера в Германии. — СПб.: Дело, 1906. — С. 60.

[35]Poggi G. The development of the modern state. Stanford, 1978. — P. 75.

Под влиянием идей Просвещения возник феномен «просвещенного абсолютизма». К числу «просвещенных монархов» обычно относили тех правителей, которые, восприняв некоторые идеи просветителей, проводили реформы, нацеленные на модернизацию государственного управления, ликвидацию цеховых ограничений, секуляризацию церковного имущества, упразднение сословных привилегий, развитие системы народного образования и пр. Распространилось мнение, что «просвещенные монархи» должны управлять государством не по-своему произволу, а руководствуясь велениями разума и высшими государственными потребностями. В результате некоторые европейские монархи (прусский король Фридрих II, французский король Людовик XVI, австрийский император Иосиф II и др.) стали именовать себя уже не собственниками государства, а всего лишь его слугами. Свою власть они основывали не на божественном, а на естественном праве, подкрепленном идеей служения общему благу. По мнению Ю.Е. Ивонина, «просвещенный абсолютизм» стал важным этапом на пути формирования правового государства»[36].

Немалое значение для формирования подконтрольного обществу и действующего в рамках закона государственного аппарата имел принцип разделения властей, впервые утвердившийся в Великобритании. В этой стране с давних пор существовал сильный и влиятельный парламент, с которым король не мог не считаться. Однако первоначально он обладал лишь совещательными функциями и правом вотирования экстраординарных налогов. Тем не менее, как отмечала О. Дмитриева, он активно вмешивался в самые разные области государственной жизни, вплоть до решения вопроса о престолонаследии. В результате распространилось мнение, что парламент — это особый совет, представляющий интересы всех общин королевства и доносящий их чаяния до королевской власти, что без него не могут решаться ни финансовые, ни политические вопросы[37]. В XIV в. Английский парламент получил право законодательной инициативы, а в дальнейшем стал контролировать королевскую администрацию и совместно с монархом принимать законодательные акты (с XVI в.). Утвердилось мнение, что Англия — это смешанная монархия, в которой король не монополизирует власть, а делит её с парламентом. После Английской революции середины XVII в. и так называемой Славной революции 1688 г. стихийно складывающееся в стране разделение властей было закреплено в парламентских биллях, провозгласивших верховенство парламента в области законодательной власти и финансовой политики. Отныне король и его чиновники должны были действовать в рамках тех нормативных и финансовых ограничений, которые устанавливались парламентом. В дальнейшем данная политико-административная практика была обобщена и закреплена в теории разделения властей Дж. Локка и Ш. Монтескье.

Следующим шагом в формировании подконтрольной обществу бюрократии стало утверждение парламентской ответственности министров. «В тех условиях, — писал английский правовед П. Бромхед, — когда полномочия короля должны были санкционироваться парламентом, а деятельность министров осуществлялась под надзором короля, парламент мог отказать в выплате жалованья тем министрам, деятельность которых противоречила интересам парламента. От такой теоретической конструкции один шаг до признания принципа отчетности министров в своей деятельности перед парламентом, который принимал затем решения об одобрении работы министров. Отсюда и берет своё начало тезис о парламентской ответственности. Палата общин может заставить уйти в отставку любого министра или всех министров вместе, прекратив выплачивать им вознаграждение»[38]. В дальнейшем было признано, что на должности министров должны назначаться только члены парламента. Од-

[36]Ивонин Ю.В. Проблема просвещенного абсолютизма в Германии в современной историографии // Вопросы истории. — 1998. — № 2. — С. 149.

[37]Дмитриева О. Британский Левиафан // Знание-сила. — 1999. — № 4. — С. 90.

[38]Бромхед П. Эволюция британской конституции; пер. с англ. — М.: Юрид. лит-ра, 1978. — С. 46.

новременно утвердился принцип формирования кабинета на однопартийной основе. Функции по руководству правительством постепенно сосредоточились в руках одного из министров, получившего наименование премьер-министра. Сужение полномочий короля выразилось в формуле: «Король царствует, но не правит». Правительство стало действовать вполне самостоятельно, но от имени «Его Величества». Так сложился кабинет министров, работающий на основе заранее определенной программы и почти не зависящий от произвола монарха, сохранившего за собой лишь незначительные властные полномочия.

Система британского парламентаризма, основными чертами которой стали «партийное правление» и периодическая смена кабинета министров в зависимости от поддержки его политики в палате общин, в основном сформировалась на протяжении XVIII в. Однако в то время эти черты еще не имели эксплицитного характера, а политическая роль королевской власти и палаты лордов оставалась весьма значительной. Лишь в XIX в. британский парламентаризм, наконец, обрел свой современный облик.

К концу XVIII в. чиновничество ряда ведущих европейских государств (Франции, Англии, Пруссии и др.) приобрело некоторые черты (еще достаточно неразвитые), сближающие его с моделью «рациональной бюрократии» М. Вебера. Речь идет о разделении управленческого труда, введении служебной дисциплины, возникновении административной иерархии, утверждении принципа сменяемости чиновников, отделении судопроизводства от администрации, появлении феномена карьеры, утверждении парламентского контроля над деятельностью министров, формировании корпоративного чиновничьего духа и т. п. Данные черты административно-государственного аппарата европейских стран стали выражением масштабных трансформационных процессов, связанных с переходом от традиционного общества к индустриальному. Однако непоследовательность и незавершенность процессов социально-политической трансформации XVII — XVIII вв. не могли не наложить свой отпечаток на организацию и деятельность европейского чиновничества, которое еще во многом сохраняло наследие традиционализма и архаизма: чрезмерная усложненность и запутанность административной организации, частная собственность на должности, наличие вассальных и клиентальных связей, волокита, «кормление от дел» и др. Подобные особенности государственного аппарата, характерные для периода мануфактурного капитализма и раннего абсолютизма, по мнению А. Токвиля, имели, однако, и положительные стороны. «Эта странная и порочная организация государственных должностей, — писал он, — играла роль своего рода гарантии против всемогущества центральной власти, своего рода плотины, хотя и не правильной и плохо построенной, но раздваивающей силу правительства и ослабляющей его натиск»[39]. Важным фактором, ставящим серьёзные ограничения центральной власти, стал также аристократический характер государственной службы, главным субъектом которой являлось привилегированное дворянство и постфеодальная знать. Конечно, все это мало благоприятствовало процессам формирования всесильной бюрократии и, тем более, такой, которая, подобно китайской, могла бы надолго затормозить развитие рыночных отношений и придать социально-политической эволюции цикличный характер. Тем не менее, в некоторых европейских странах уже к концу XVIII в. появился многочисленный бюрократический аппарат, который существенно усиливал центральное правительство и расширял его регламентирующее воздействие на общество. Это, однако, вовсе не сопровождалось усилением эффективности национальной экономики. Как показывает опыт истории, наибольших экономических успехов в XIX в. добивались как раз те страны, в которых власть не только не была всемогуща, но и менее всего регламентировала хозяйственную жизнь.

[39]Токвиль А. Указ. соч. — С. 127.

УЛИЧНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ «ДРЕСС-КОД» ПОЛИТИКИ?

О.Ю. Мамедов
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье рассматривается одна из форм политического протеста — уличная демонстрация. Общий вывод автора сводится к тому, что организации играют важную роль в мобилизации людей на участие в уличных демонстрациях и что имеется связь между протестующими на улицах и неправительственными организациями, которые направлены на лоббирование переговоров.*

Ключевые слова: *политический протест, массовые движения, уличная демонстрация.*

> Демонстрация («уличный протест») — одна из форм гражданской активности, действия во имя достижения политических и иных целей, состоящие из встречи в назначенном пункте, или митинга с ораторами (а также блокады или сидячей забастовки; демонстрации могут быть мирными и насильственными (или — начинаться как мирные, перерастая в насильственную). Термин «уличная демонстрация» используется с середины 19-го века — со времён огромных собраний протеста, вдохновляемых О'Коннеллом в Ирландии. Считается тем успешнее, чем больше людей участвует в демонстрации.
>
> *ВИКИПЕДИЯ—2012*

В работе «Contemporary Social Protest and Street Demonstrations in the United States» («Современные уличные социальные демонстрации протеста в США») Дана Р. Фишер (факультет социологии, Университет штата Мэриленд)[1] рассматривает их роль в текущем цикле социального разлома в Соединенных Штатах и связь с современными социальными процессами в Америке. Автор характеризует уличные демонстрации в США как популярную форму коллективных действий, перерастающую в некий особый политический институт.

[1]Contemporary Social Protest and Street Demonstrations in the United States. Dana R. Fisher (Department of Sociology University of Maryland), источник: http://www.bsos.umd.edu/gvpt/cpworkshop/FisherDemonstrations_WorkshopPaper2012.pdf

Действительно, в последние годы социальные протесты происходят практически по всему миру в различных масштабах, отражая многообразие социальных движений и представляя связь между протестом и институциональной политикой.

Всё это вынуждает социальную науку пристально вглядеться, наконец, в такой неформальный общественный феномен, как уличная демонстрация, — тем более что стихийный уличный социальный протест уже давно пребывает за пределами предмета традиционной теории социальных движений.

Так уж исторически сложилось, что социологи сосредоточились на сущности, а не на формах, общественного движения. Дана Р. Фишер подчёркивает, что, в отличие от уличного протеста, профсоюзы развитых стран, например, уже давно используют «цивилизованные» политические инструменты (такие, как кампании лоббирования и обращения), избегая инициировать разрушительную тактику прямого действия.

Купманс в работе «Анализ волн протеста в Западной Германии» разграничивает протестные действия на разрушительные, конфронтационные и насильственные, приходя к важному выводу — участие организаций оказывает сдерживающее влияние на стихийные протестные выступления[2].

Развивая этот подход, ряд исследователей приходит к парадоксальному выводу о том, что включённость в протестное движение формальных, бюрократических, централизованных структур может повысить эффективность такого движения.

Общая позиция западных социологов сводится к тому, что уличные протестные демонстрации — это организационная форма, вынужденно возникающая вне обычных политических институтов, то есть политика, осуществляемая неполитическими средствами[3].

«Уличные» социальные движения, изгоняемые из действующих политических институтов, тем самым принуждаются к использованию внеинституциональных форм протеста.

Отсюда следует, что институционализация протестного движения есть не только условие их эффективности, но и введения их в границы «нормального политического процесса».

А это означает, что в институционализации уличных демонстраций в равной мере должны быть заинтересованы как представители такого движения, так и властные структуры[4], позволяя реализовать коллективный протест в границах «нормальной» политики.

Предпосылку нормализации протестного движения авторы усматривают в вертикальной интеграции участвующих в нём организационных структур.

Одновременно в литературе[5] отмечается, что переход к выбору лоббирования и петиций является существенным признаком высокого уровня институционализации протестного движения, тогда как менее организованные социальные движения выбирают тактику уличных протестов.

---

[2]См.: Koopmans, Rudd. The Dynamics of Protest Waves: West Gечmany, 1965—1989. // American Sociological Review. — 1993. — 58. P. 637—658.

[3]См.: McAdam D. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930—1970. — Chicago: University of Chicago Press, 1982; McAdam D., Snow D.A. Social Movements: Readings on Their Emergence, Mobilization, and Dynamics. — Los Angeles: Roxbury, 1997; McAdam D., Tarrow S., Tilly C. Dynamics of Contention. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001; McCarthy J.D., McPhail C. The Institutionalization of Protest in the United States // The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century, edited by D.S. Meyer and S. Tarrow. — Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998. — Pp. 83-110.

[4]См.: Piven F.F., Cloward R.A. Poor people's movements : why they succeed, how they fail. — New York: Pantheon Books, 1992.

[5]См.: Staggenborg S. The Consequences of Professionalization and Formalization in the Pro-Choice Movement // American Sociological Review. — 1988. — 53. — Pp. 585—605; Oliver P. Bringing the Crowd Back // The Nonorganizational Elements of Social Movements. Research in Social Movements, Conflict and Change. — 1989. — 11. — Pp. 1—30.

Таким образом, социальные движения делятся, в зависимости от уровня их институционализации, на более и на менее формализованные (и, следовательно, на более и менее разрушительные).

Однако во многих случаях неформализованные социальные движения не изначально выбирают уличные демонстрации, а подталкиваются к ним внешними обстоятельствами[6], в том числе — и неконструктивной позицией властей.

Тем не менее, в последнее время социальный протест начал рассматриваться как часть нормальной политики[7], поскольку отмечается «рост профессионализации и институционализации протеста»[8] и усиление связи между «инсайдерами» и «аутсайдерами» политической сферы[9].

Уличные демонстрации всегда являются частью более крупных социальных движений, отражающих институциональные циклы социального раздора. Понятие «цикл протеста» был введён С. Тарроу[10] (1993) для объяснения широкого процесса мобилизации социальных протестов.

Сам С. Тарроу уличную демонстрацию определяет как фазу повышенной конфликт внутри социальной системы с сочетанием организованных и неорганизованных форм.

Переходя от теории к практике, бросим неожиданный взгляд на Корею, известную как страна частых массовых уличных демонстраций, организуемых различными группами гражданского общества с целью оказания давления на правительство по актуальным проблемам дня. Иногда эти демонстрации принимают экзотический характер, — например, весной 2008-го года сотни тысяч (!) корейцев почти каждую ночь (!) шли со свечами (!) в течение двух месяцев (!) в знак протеста против импорта говядины (!) из Соединенных Штатов. Множество более мелких демонстраций проходят каждую неделю в Сеуле.

Однако менее известно, что эти публичные демонстрации все чаще становятся частью стратегии неправительственных групп, чтобы вызвать изменения в общественных законах и процессах. Иногда эти демонстрации приносят удивительные плоды — в виде усиления взаимодействия между активистами гражданского общества и большой государственной бюрократией. В результате государственное управление в Корее постепенно становится более прозрачным, доступным, отзывчивым, и социально-ориентированным[11].

---

[6]См.: Cable S., Benson M. Acting Locally: Environmental Injustice and the Emergence of Grassroots Environmental Organizations // Social Problems. — 1993. — 40, No. 4.

[7]См.: Meyer D.S. The politics of protest: social movements in America. — New York: Oxford University Press, 2007; Fisher D.R. Taking Cover Beneath the Anti-Bush Umbrella: Cycles of Protest and Movement-to-Movement Transmission in an Era of Repressive Politics // Research in Political Sociology. — 2006. — Volume 15. Pp. 27—56; Fisher D.R. COP—15 in Copenhagen: How the Merging of Movements Left Civil Society Out In the Cold // Global Environmental Politics. — 2010. — Volume 10, Number 2. — Pp. 11—17; Soule S.A., Earl J. A movement society evaluated: Collective protest in the United States, 1960—1986 // Mobilization. — 2005. — 10. Pp. 345—364.

[8]См.: Caren N., Ghoshal R.A., Ribas V. A Social Movement Generation: Cohort and Period Trends in Protest Attendance and Petition Signing // American Sociological Review. — 2011. — 76. Pp. 125—151; McCarthy J.D., McPhail C. The Institutionalization of Protest in the United States // The Social Movement Society: Contentious Politics for a New Century, edited by D.S. Meyer and S. Tarrow. — Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1998. — Pp. 83—110.

[9]См: Keck M.E. Sikkink K. Activists beyond borders: advocacy networks in international politics. — Ithaca: Cornell University Press, 1998; Della Porta D., Tarrow S. Trananational Protest & Global Activism. — Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2004.

[10]Tarrow S. Cycles of Collective Action: Between Moments of Madness and the Repertoire of Contention // Social Science History. — 1993. — 17:2. — Pp. 281—309; см. также: Tarrow S. Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics 1998 and also section from 1994 edition. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

[11]Korea's Dynamic Politics: A Source of Lessons for Emerging Asia. By Edward Reed and Lee Kyung-sook. May 13, 2009 (источник: http://asiafoundation.org/in-asia/2009/05/13/koreas-dynamic-politics-a-source-of-lessons-for-emerging-asia/.

Общий вывод исследований сводится к тому, что организации играют важную роль в мобилизации людей на участие в уличных демонстрациях и что имеется связь между протестующими на улицах и неправительственными организациями, которые направлены на лоббирование переговоров. А то, что выводы американских и европейских социологов подтверждает далёкая от них южнокорейская практика, в который раз доказывает единство исторической практики. Отечественным экономистам и социологам пора бы также расширить границы теоретического анализа протестных социальных движений, хотя бы иногда оглядываясь на практику.

Книжная полка

К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ И СТРУКТУРЕ НАУКИ О КНИГЕ[1]

М.В. Рац
Институт развития им. Г.П. Щедровицкого

Аннотация: *Статья посвящена уточнению и развертыванию существующих представлений о книговедении, его составе и структуре, с точки зрения деятельностного подхода и современной методологии науки.*

Ключевые слова: *деятельностный подход, наука о книге, книговедение, библиографирование, социология чтения, собирательство, библиофилия.*

В 1931 г. А.Г. Фомин сформулировал восемь вопросов, стоявших на повестке дня книговедения, в связи с которыми было бы полезно вспомнить известную историю с проблемами Д. Гилберта в математике[2]. Действительно, выделенные Фоминым вопросы остаются дискуссионными и в начале XXI века, причем важное место среди них занимают вопросы о составе и структуре книговедения, а также о его месте в системе наук. На мой взгляд, эти дискуссии имеют значение, выходящее далеко за рамки интересов академического сообщества. Оно выходит и за рамки науки о книге, ибо связано с вопросами более общего методологического характера.

1.

Когда мы говорим о составе и структуре науки о книге, речь идет фактически об институциональной форме организации научного обеспечения практической деятельности самого разного толка, связанной с книгой: от ее создания до использования. Сообразно ряду указанных практик формируются и обеспечивающие их научные дисциплины, объединяемые идеей «комплексной науки о книге».

Складывающаяся таким образом наука интересна мне в двух отношениях. Во-первых, своим содержанием: **как наука о книге, безусловно, она — один из столпов нашей циви-**

[1]Впервые опубликовано в сб. «Книга. Исследования и материалы». — М.: 2009, сб.1/I-II. К сожалению, в эту публикацию вкрались ошибки, первая из которых (см. ниже) совершенно чудовищна: обычная квалификация книги как одного из столпов нашей цивилизации оказалась переадресованной книговедению. Восстанавливая здесь и далее авторскую редакцию, я выделил исправленные места жирным шрифтом.

[2]Фомин А.Г. Книговедение как наука: история и современное состояние. — Л.: 1931. — С. 114. В 1900 г. великий математик Д. Гилберт предложил участникам математического конгресса в Париже 23 проблемы, решение которых (а некоторые из них не решены до сих пор) во многом определило развитие математики в XX веке.

лизации. Этот интерес подогревается тем, что вся моя жизнь прошла среди книг, и библиофильство, поистине, было моей второй профессией. Попытки осмыслить эти занятия привели меня к обсуждению вопросов, традиционно входящих в сферу интересов профессионалов книжного дела[3]. Во-вторых, методологические вопросы, стоящие перед книговедением, носят общий характер. При ближайшем рассмотрении книговедение оказывается типичным представителем целого ряда наук об «искусственном», центрирующихся на изучении артефактов: от искусство- и науковедения до машино- или материаловедения[4]. В этом качестве оно интересно мне в рамках опыта специальных занятий методологией науки.

Необходимо, однако, терминологическое уточнение. Включаясь в дискуссию, центральным вопросом которой на современном этапе **видится** «вопрос о соотношении книговедения, библиотековедения и библиографоведения», и **не решен даже вопрос о наименовании гипотетической (?!) комплексной науки[5], приходится хотя бы для начала отказаться от, казалось бы, устоявшейся в России и принятой в словарях и энциклопедиях (в частности, энциклопедии «Книга») терминологии**. Тем не менее, для удобства изложения я буду пользоваться ***именем*** «книговедение» как синонимом «науки о книге» (в запасе остается еще латинский вариант книговедения — библиология), оставляя открытым вопрос о его/ее содержании, прояснение которого оказывается задачей настоящей статьи. При этом я буду, конечно, учитывать и то обстоятельство, что значения терминов меняются, как и содержания обозначаемых ими понятий, что было недавно артикулировано применительно к нашей теме Н.К. Леликовой[6].

Вообще с методологической точки зрения, самоопределяясь в дискуссиях, подобных обсуждению науки о книге, приходится учитывать две стороны дела. Одна из них детерминирована традиционным для науки стремлением к истине и связана с попытками выяснить, каков статус, состав и структура науки «на самом деле», как они сложились в ходе истории. Вторая связана с соображениями практической пользы, выливающимися в проектные представления, реализация которых обеспечивала бы наиболее эффективное решение стоящих перед наукой задач. Совместный учет этих двух сторон («естественной» и «искусственной») — одна из важнейших характеристик деятельностного подхода в версии Московского методологического кружка (ММК)[7], которой я стараюсь придерживаться. Вместе с тем сказанное хорошо укладывается и в такое направление исторической мысли, как история понятий. Соответствующий тезис четко сформулирован далеким от ММК Н. Копосовым: понятия только с одной стороны, обобщают наличный опыт, а с другой — «предполагают некоторую нормативность, своего рода проект будущего», причем в новейшее время роль этой нормативной составляющей заметно выросла[8]. Теперь вторую сторону дела можно связать еще и с новым, так называемым прагматическим поворотом в социогуманитарных науках.

Я, кстати, не думаю, что, как это пишет Н.К. Леликова[9], уже во времена Н.М. Лисовского, А.М. Ловягина и Н.А. Рубакина «комплекс книговедческих дисциплин приобрел вид целенаправленно формируемой системы», и это стало их новой парадигмой. Традиции натура-

---

[3]Рац М.В. О собирательстве: заметки библиофила. — М.: 2002. Он же. Книга в системе общения. Изд. второе, исправленное. — М.: 2006.

[4]Недаром они часто объединяются и общей структурой наименований — «чего-то -ведений».

[5]Ленский Б.В. Так достигнуто ли единство? Книга. Ислед. и материалы. — 2008, сб. 89/I-II. — С. 314—315.

[6]Леликова Н.К. Наука о книге в России, или к вопросу о методологии исторических исследований. Книга. Исследования и материалы, — 2007, сб. 86/I. — С. 67—88.

[7]Об ММК см.: Познающее мышление и социальное действие: наследие Г.П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. — М., 2004. О деятельностном подходе: Щедровицкий Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. — М., 1995.

[8]Копосов Н.Е. История понятий вчера и сегодня // Исторические понятия и политические идеи в России XVI-XX века. — СПб, 2006. — С. 17—18.

[9]Леликова Н.К. Ук. соч. — С. 78.

лизма еще и сейчас очень сильны, и в них есть свой резон: мы отнюдь не вольны строить научные дисциплины и их комплексы исключительно по своему усмотрению, число провалов на этом пути много больше числа успешных проектов[10]. Применительно к современной ситуации мне кажется более реалистичной точка зрения М.П. Ельникова, который пишет как раз о дефиците целей в науке о книге, о том, что «многие теоретические разработки не имеют ни конкретного адреса, ни точек приложения» в практике[11].

Для понимания всего дальнейшего наряду с указанными контекстами необходимо представление об объектно- и деятельностно-ориентированных исследованиях. Это различение ввел тридцать лет назад Г.П. Щедровицкий[12]. В двух словах речь шла о том, что необходимые знания для ставившихся в те поры во главу угла производственных процессов вырабатывают привычные для нас объектно-ориентированные науки (физика, химия и т.п.). Но для того, чтобы производство успешно шло, воспроизводилось и развивалось, над ним должна существовать особая организационно-управленческая надстройка. В отличие от производственников организаторам и управленцам специальные знания по физике или химии не нужны: они управляют различными системами деятельности, а деятельность живет по совсем иным законам, чем более привычные для нас объекты. Такие характерные для деятельности образования, как цели, средства, нормы, проекты и т.п. имеют мало общего с жидкостями или твердыми телами, звездами или молекулами. Знания, необходимые организаторам и управленцам, вырабатываются в ходе соответствующих деятельностно-ориентированных исследований. Можно добавить: такие знания нужны не только управленцам, но также предпринимателям, политикам, педагогам и, как мы увидим, много кому еще.

На первый взгляд, может показаться, что подобная типология совпадает с классическим делением на естественные и социогуманитарные науки (науки о природе и науки о духе, или культуре). Но это поверхностный взгляд. На самом деле речь идет об имеющей глубокие философские корни мощной инновационной идее, все значение которой мы до конца не осознаем и теперь. Среди прочего расхождение объектных полей социогуманитарных наук и деятельностно-ориентированных исследований может и должно стать одним из стимулов развития всей сферы гуманитарного знания. Среди многого прочего сказанное позволяет по-новому взглянуть на структуру и содержание книго- и прочих ведений.

2.

Все лишь частично названные выше науки, центрируясь на некоторых артефактах — будь то живописные произведения, машины и механизмы или наука и культура, фактически покрывают вместе с тем и связанные с ними системы деятельности, о которых говорилось выше применительно к книге. Последние явно делятся на два класса: это, во-первых, *создание* и, во-вторых, *употребление*, центральных артефактов. Таким образом, вырисовывается ядерная онтологическая схема всех этих «чего-то -ведений»: *создание/изготовление* → *объект/артефакт* → *употребление* (артефакта в объемлющей деятельности). Важнейшей особенностью наук об искусственном оказывается категориальная разнородность их объектного поля, включающего как сами объекты/артефакты, так и разные связанные с ними типы и системы деятельности, — что, собственно, и стоит за представлением об их «комплексности». В итоге книговедение, как, видимо, и любая «комплексная наука» объединяет научные дисциплины принципиально разных типов: объектно и деятельностно ориентированные, причем вторые имеют дело с очень разнородными системами деятельности.

[10]Что, собственно, и характерно для «социальной инженерии» в отличие от инженерии классической.

[11]Ельников М.П. Методология книговедения. Книга. Исслед. и материалы. — 1993, сб. 66. — С. 39.

[12]Поливанова С.Б., Щедровицкий Г.П.. Методологическая организация мышления и деятельности как условие и средство комплексной организации НИР // Комплексный подход к научному поиску: проблемы и перспективы. Ч. 2. — Свердловск, 1978.

Двойственная природа науки о книге явлена уже в известном двойственном же определении книговедения как «комплексной науки или комплексе наук о книге и книжном деле». Причем в данном контексте нет нужды обсуждать состав и структуру книжного дела: они заведомо могут представляться и представляются по-разному[13], а здесь важен принцип. Связанные с книгой типы и системы практической деятельности простейшим образом можно разделить на два класса:

А. Относящиеся к созданию книги — письмо (писательство), редакционно-издательское дело, книжный дизайн, типографская деятельность и Б. Относящиеся к ее дальнейшему бытованию и употреблению — библиографирование, книгораспространение, чтение, критика, собирательство/библиофильство, библиотечное дело, музеефикация[14].

Можно, конечно, вспоминая Н.М. Лисовского, выделить и третий, промежуточный между двумя основными класс, включающий книгоописание/библиографию, а, если угодно, и книгораспространение. Это вопрос практического удобства, и здесь нет никакой проблемы: мы можем только создать ее сами, поставив вопрос об «истинности» той или иной группировки.

Все перечисленные практические занятия объединяются центральным артефактом — книгой, задающим каждому из них предметную специфику (пишут, издают, читают и т.д. не только книги, но и печатную продукцию иного рода, например, периодику). Над каждой из этих практик надстраивается своя система рефлексивного осмысления, обычно обретающая характер научной/учебной дисциплины. Среди таких деятельностно ориентированных дисциплин резко выделяется объектно ориентированная наука о книге как таковой: если угодно, *книговедение в узком значении*.

Должен, однако, признаться, что независимо от того, что мы будем называть книгой[15], у меня идея книговедения, ограниченного интересом к книге как таковой, за вычетом книжного дела и истории книги, вызывает большие сомнения. Действительно, оно являло бы собой убогое зрелище: дело в том, что книга, сама по себе *не имеет самодвижения*; это мертвая «вещь», которую можно и нужно, конечно, изучать и описывать, имея в виду ее строение и структуру, но вряд ли подобное, отдельно взятое занятие при всей его важности имело бы право считаться самостоятельной наукой. И в самом деле: известные труды общего характера (И. Баренбаума, А. Беловицкой, К. Мигоня) удивительным образом свидетельствуют, что разделы, посвященные непосредственно книге, занимают там небольшое место, основное же внимание авторы уделяют именно связанным с книгой деятельностям разного рода: перечисленным выше практикам; рефлексивному описанию самой науки о книге; истории — истории книги, связанных с нею практик и посвященной всему этому науки. Фактически объектом науки о книге оказывается не книга (это только, как отмечал К. Мигонь, полезное упрощение в ее наименовании), а кратко охарактеризованная таким образом «сфера книги» и развертывающиеся в ней деятельностные процессы. (То же самое, кстати говоря, относится и к истории книги.) Книга, хотя и является физическим предметом, но «живет» не в физическом пространстве, а в пространстве деятельности, только в ней оказывается центром названной сферы и важнейшим средством становления и развития человеческой цивилизации.

---

[13]По этому поводу существует множество работ, из которых в данном контексте наиболее интересны две (представляющие разные точки зрения): Моргенштерн И.Г. Книжное дело в единстве — главный предмет книговедения. Книга. Исслед. и материалы. — 1982, сб. 44; Динерштейн Е.А. О понятиях «книжное дело»и «история книжного дела». Книга. Исслед. и материалы. — 1989, сб. 58.

[14]Собственно, музеефикация оказывается естественным завершением библиофильства. См. об этом: Рац М.В. О собирательстве: заметки библиофила. — М.: 2002. — С. 202—203.

[15]Что характерно, так это отсутствие в книговедческой науке понятия книги. Свои взгляды на этот счет я изложил в: Рац М.В. Книга в системе общения. Изд. второе, исправленное. — М.: 2006. — С. 446—450. Ситуация здесь та же, что и с книговедением: можно до бесконечности спорить о том, что такое книга вообще и «на самом деле», но не разумнее ли задаться вопросом, как мыслить книгу в той или иной культурно-исторической ситуации?

Все это не новость, и указанное положение дел представляется мне нормальным, но требует переосмысления концепции науки о книге. А именно, кажется бесспорным, что наука о книге исторически сложилась как комплекс различных дисциплин, призванных обеспечивать новыми знаниями различные отрасли книжного дела, причем интегрирующим началом самого книжного дела и обеспечивающей его науки выступает именно книга. Более того, книга — важнейший артефакт в мире деятельности, в истории и в культуре. Но из этого вовсе не следует, что книга как таковая должна выступать центральным объектом исследования какой-то науки. Исследуется при этом преимущественно человеческая деятельность, развертывающаяся вокруг книги и в связи с книгой («сфера книги»), чем занимаются упомянутые дисциплины[16], и что, повторю, кажется мне совершенно нормальным и разумным, по крайней мере, настолько, насколько вырабатываемые при этом знания оказываются полезными для развития соответствующих практик и обогащения культуры.

В связи с этим становится понятной и постановка вопроса, в частности, обсуждавшегося, в недавней дискуссии между Э.К. Беспаловой и Н.К. Леликовой[17] о возможной ведущей роли библиографии (в расширенной трактовке, объединяющей собственно библиографию в современном понимании и библиографоведение) и библиотековедения в науке о книге. И библиография, и библиотековедение на определенном историческом этапе выступали как центральные, интегрирующие и даже олицетворяющие науку о книге, но в отличие от несущего эту функцию ныне в России книговедения названные дисциплины имели (и имеют) богатое собственное содержание. В данном случае это скорее минус, чем плюс. В принципе на главную роль, пусть и с разным успехом могли бы претендовать любые «книговедческие» дисциплины, но мне кажется, что сравнительно пустое — в узком значении — книговедение лучше справляется с достаточно непростыми интегративными и представительскими функциями[18].

Чтобы не разворачивать здесь обсуждения болезненной темы о центробежных тенденциях объединяемых наукой о книге дисциплин, я бы ограничился тезисом И.Е. Баренбаума, с которым солидарен: «…с одной стороны, библиотековедение и библиография рассматриваются как науки общего книговедческого цикла, а с другой — как самостоятельные дисциплины, взаимодействующие между собой. Практика показывает, что именно в данном направлении происходило развитие этих наук, в которых брали верх попеременно то идеи дифференциации, то интеграции. Однозначного решения здесь не может быть,…»[19] но далее, в отличие от Баренбаума, я бы не отдавал предпочтения интеграционным процессам, а считал бы разумными ситуативные решения, определяемые характером решаемых задач.

[16]В сущности, о том же говорил И.Г. Моргенштерн при обсуждении общей теории книговедения: «…речь может идти прежде всего о теории книжного дела, теории общественной роли книги и т.д.» (Моргенштерн И.Г. Книжное дело в единстве — главный объект книговедения. Книга. Исслед. и материалы. — 1982. Сб. 44. — С. 10). Ту же позицию занимает Г.Н. Швецова-Водка, когда пишет, что в качестве объекта науки о книге точнее мыслить не саму книгу, а «книжное дело, составными частями которого являются издательское дело, книжная торговля, библиотечное дело, библиография и другие отрасли деятельности, обеспечивающие создание и функционирование книги в обществе» (Швецова-Водка Г.Н. Единство библиотековедения, библиографоведения и книговедения восстановлено. Книга. Исслед и материалы. — 2008, сб. 89/I-II. — С. 310).

[17]Сб. Книга. Исслед. и материалы. — 2007, сб. 88/I.

[18]Старый вопрос о том, что считать центральным артефактом в интересующей нас сфере — книгу или библиотеку, — на мой взгляд, вполне актуален. Среди прочего книга скорее ассоциируется с инновацией, а библиотека — с традицией. Случившийся — в России — исторический выбор в пользу книги достаточно многозначителен.

[19]Баренбаум И.Е. Н.М. Лисовский и становление книговедения в России. Книга. Исслед. и материалы. Сб. 70. — С. 41—51.

Целостную картину объектного поля книговедения можно наглядно представить как дерево, корни которого — системы деятельности, относящиеся к созданию книги, ствол — книга как таковая, а крона — системы деятельности, относящиеся к бытованию и употреблению книги в обществе. Для полноты картины можно мысленно поместить это «дерево» в поток времени (имея в виду его длительные промежутки), текущий, скажем для определенности, слева направо, и обозначить таким образом место истории книги и историй книжного дела[20]. В таком метафорическом представлении находят свое место не только отдельно взятые книжные занятия и их собственные истории, но также их взаимосвязи и переплетения, в ряде случаев лишь недавно ставшие предметом пристального внимания специалистов. Данное представление позволяет так же четко различить два жизненных цикла книги: малый (от замысла издания до использования книги по основному назначению в обществе) и большой (включающий всю историю бытования книги вплоть до ее музеефикации)[21]. Малый локализуется в пределах «дерева», большой — относится к сфере истории. Наконец, каждый из элементов нашего «дерева» может иметь собственную социологию, а некоторые ее уже имеют: так, социология чтения или социология книги располагают более или менее значительными наработками (я имею в виду известные книги и статьи Л. Гудкова, Б. Дубина, А. Рейтблата и др.).

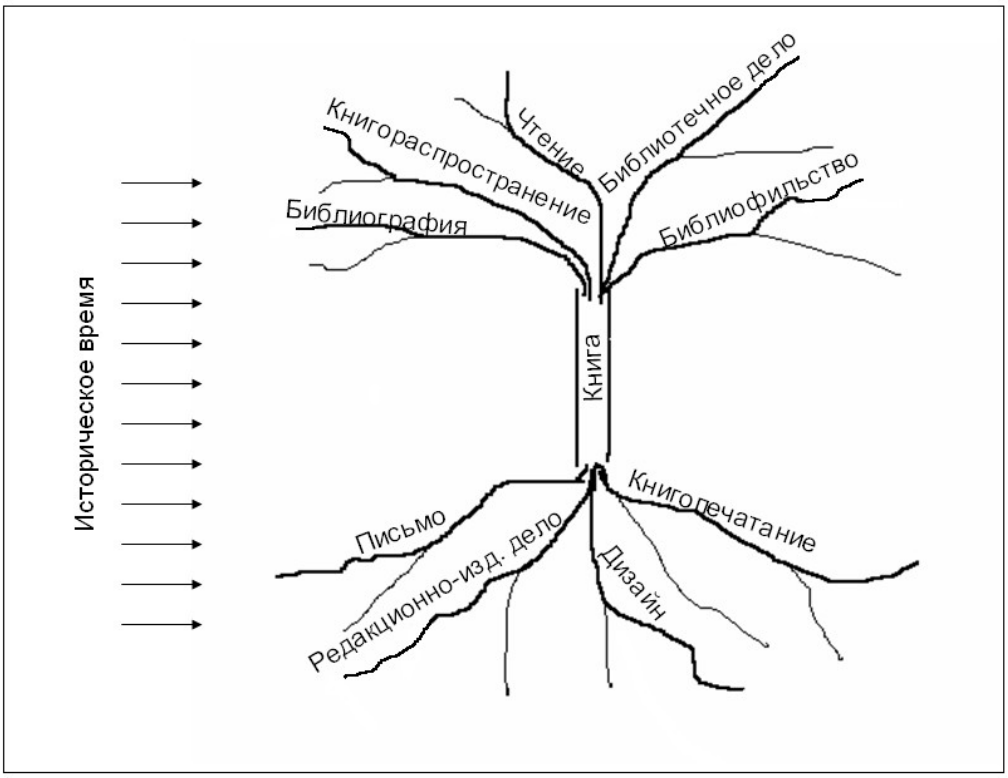


Схема. Книговедческое дерево: схема сферы книги и объектного поля книговедения.

Разумеется, как и всякая метафора, это «дерево» обладает преимуществом наглядности (см. схему), проигрывая при этом в точности. Достаточно очевидно, что в историческом времени его структура претерпевает качественные перемены, которые мы и привыкли связывать с понятием истории. Собственно наше «дерево» растет и развивается из некоторого «семени», но это уже другая — и столь же ограниченная в своих возможностях — метафора.

[20]В отличие от книговедения в узком его понимании история книги, как известно, — обширное поле работы.
[21]Рац М.В. Книга в системе общения. — С. 229—230.

3.

Переосмыслить в свете всего сказанного следовало бы также отношения и связи науки о книге со смежными дисциплинами и их комплексами (в свое время анализировавшиеся К. Мигонем). Но это отдельная тема, рассмотрение которой следовало бы предварить анализом отношений и связей соответствующих практик, и я ограничусь примером, который кажется особенно актуальным: это соотнесение науки о книге с наукой о литературе[22], причем именно соотнесение, а не соотношение, что подчеркивает «искусственную» составляющую в отличие от «естественной».

Исторически сложилось так, что (художественная) литература и соответственно наука о литературе, как минимум, со времен античности привлекали к себе больше внимания, чем книга и наука о ней. Соответственно несопоставимыми оказались и интеллектуальные вклады, **полученные** каждой из этих двух сфер деятельности. С моей точки зрения, это привело к интеллектуальной аннексии «законных» территорий науки о книге литературоведением (в отличие от геополитики здесь нет никакого криминала). Я имею в виду, прежде всего, комплекс вопросов, связанных с чтением: пишут, издают и читают далеко не только поэзию и прозу, а роль в нашей жизни и культуре учебной или научной литературы ничуть не меньше чем роль художественной[23]. Всплеск интереса к чтению как таковому безотносительно к литературе, на которую ориентировалась рецептивная эстетика, наблюдающийся в последние годы, как будто, свидетельствует в пользу высказанного тезиса[24].

С моей точки зрения (и в свете сказанного выше это кажется очевидным), чтение, как и письмо — совершенно особые искусства, или практики, приложение которых к художественной литературе, — пусть и важная, но все же частность. Однако в школе обучение письму и чтению, когда они выходят за рамки складывания букв и слов, подчинено курсу литературы. Я ничего не имею против Пушкина и Толстого, но странным образом ни в одной школьной программе вы не найдете указаний на разные способы и техники чтения, необходимые, например, при чтении поэзии, с одной стороны, и школьных учебников — с другой. Я уж не говорю о различиях в чтении текстов по истории или геометрии, газетных и книжных текстов. Между тем в Америке, например, популярные книги на эту тему издавались и переиздавались еще полвека назад[25]. Теперь к этому добавились еще особенности письма и чтения в ориентации на разные носители, прежде всего, конечно, бумагу и/или экран.

Не менее яркий материал дает критика, по идее, примыкающая ко многим из упоминавшихся в*е*дений, например, кинокритика, театральная критика, а с некоторых пор и медиакритика («media criticism»), ориентированная на СМИ. Критики более или менее широко пользу-

[22]Со времен издания книги К. Мигоня (1984 г., русский перевод — 1991) в этой области сделано очень много, и мне кажется, что этот материал недостаточно используется в отечественном книговедении. Сошлюсь на работу Л.Д. Гудкова и Б.В. Дубина «Образ книги и ее социальная адресация» (Гудков Л.Д. и Дубин Б.В. Литература как социальный институт. — М., 1994. — С. 195—258), сборник «Теория и мифология книги» (М: РГГУ, 2007), а также на подборку материалов под рубрикой «Литературная коммуникация: материальная форма и „эстетическое содержание“» (НЛО. — 2005. — № 73. — С. 337—367), где, между прочим, А.И. Рейтблат говорит о перспективах взаимодействия *историй* книги и литературы.

[23]Кстати, наряду с наукой о книге несомненное право включить изучение чтения в свою программу имеет бурно развивающаяся в последние десятилетия наука о коммуникации.

[24]Здесь надо отметить, во-первых, постепенное осознание роли чтения в стране как одного из важнейших факторов состояния национальной культуры (источник: http://www.fapmc.ru/files/download/kuzmin1.pdf), сопровождающееся ростом числа публикаций в периодике по этому кругу вопросов, и, во-вторых, появление фундаментальных работ о чтении, пусть для начала и переводных. См.: Ванхузер К.Дж. Искусство понимания текста. — Черкассы: 2007. (По-моему значение этой книги выходит далеко за рамки богословской герменевтики.) История чтения в Западном мире от античности до наших дней. — М.: 2008. Шартье Р. Письменная культура и общество. — М.: 2006 и др. Книга Шартье вдвойне интересна тем, что в значительной мере посвящена влиянию особенностей носителя текста на его восприятие при чтении. Библиофилы должны понимать это лучше, чем кто-либо другой.

[25]Adler M.J., Van Doren Ch. How to read a book. Revised and updated edition. — New York, London: Simon & Schuster, 1972.

ются достижениями «своей» науки, но сами науками никак не являются. Наиболее известна среди них литературная критика, а вот библиокритика[26] так до сего времени и не сложилась. Говорю об этом, потому что не только в массовом сознании, но и в работе большинства профессионалов различие между ними не учитывается: считая, что разбирают выходящие книги, критики в подавляющем большинстве случаев анализируют только публикуемые в них произведения. Картина сколь привычная, столь и нелепая: это ведь то же самое, как если бы театральный критик, уверяя публику, что говорит о спектакле, обсуждал только текст пьесы, или кинокритик ограничился бы обсуждением сценария[27].

С таким положением дел в критике тесно связана и ситуация в книгоиздательском деле. Притом, что в последние годы у нас появилась превосходная сводка норм редакционно-издательской культуры[28], уровень подготовки и реализации изданий, как правило, оставляет желать лучшего. Длинную череду примеров, содержащихся в упомянутой книге, можно продолжать до бесконечности, и, как ни грустно, сказанное касается также книговедческих и библиофильских изданий, которые, по идее, должны служить образцами издательской культуры, но фактически нередко являют собой примеры ее отсутствия. А издательская культура тесно связана со школьным образованием и общекультурным уровнем населения (недавно об этом писал А. Любжин[29]), так что круг замыкается.

Приведенный материал связан с практически несуществующей дисциплиной, иногда именуемой «читателеведением». В рамках науки о книге я бы делал упор не только, а может быть и не столько на читателе — им должны заниматься психологи и социологи, — сколько на чтении, и говорил бы соответственно о чтениеведении, или теории чтения, как это принято в литературоведении. Чтение представляет собой совершенно особое искусство и важнейшую коммуникативную технику. Искусство чтения и его возможная теория — обширная, сложная тема, и я могу здесь только обозначить ее: моя позиция по этому поводу изложена в специальных публикациях[30].

4.

Если обратиться к вопросу о месте книговедения в структуре науки вообще, которым был также озабочен А.Г. Фомин, то надо заметить, что сама эта структура отнюдь не остается постоянной. Признаками глубинных перемен в наше время могут служить известный лингвистический, а теперь и упоминавшийся прагматический повороты в гуманитарной мысли. На протяжении последнего столетия сформировалось и бурно развивается новое направление мысли, включающее философию диалога, и науку — коммуникативистику, или коммуникологию, призванную изучать коммуникацию, осмысленную, наконец, как основа человеческого общества. Вторая половина прошлого века отмечена возникновением новой формы организации мышления и деятельности — методологической. В итоге возникает новая картина мира, где первой реальностью оказываются человеческие мышление и деятельность[31].

---

[26]Этот термин (производный от библиологии как синонима книговедения) был предложен непосредственно в ходе критического разбора одного издания и зафиксирован в тексте рецензии. См. Рац М. «Academia»: два издательства в одной книге. НЛО. — 2005. — № 7. — С. 364—370, а так же Рац М. Книга в системе общения. — М.: 2006. — С. 205—219.

[27]Напомню, что влиянию материальной формы книги на рецепцию ее словесного содержания посвящена упоминавшаяся выше книга Р. Шартье.

[28]Мильчин А.Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги. — М.: 2002.

[29]Любжин А. Филология и школа. Русский журнал. — 21.07.2009, http://russ.ru/pole/Filologiya-i-shkola

[30]Рац М.В. Как мы читаем. Университетская книга. — 2007. — № 4. Рац М.В., Грязнова Ю.Б. Практика свободных граждан. Независимая газета. — 12.11.2008, http://www.ng.ru/science/2008—11—12/14_citizens.html. Они же. Как нам читать. Вопр. психолингвистики. — 2009.

[31]Щедровицкий Г.П. Методологический смысл оппозиции натуралистического и системодеятельностного подходов // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. — М.: 1995.

Все это не может не сказаться на структуре науки в целом: переосмысливаются понятия прикладной и фундаментальной науки, идет подспудный пересмотр соотношения естественных и социогуманитарных наук. Как заметил когда-то К. Леви-Стросс, XXI век будет веком гуманитарных наук, либо его не будет вовсе. Очень возможно, что деление наук на две группы — о естественном и искусственном, — впервые намечавшееся лауреатом нобелевской премии Г. Саймоном сорок лет назад, приобретет совсем новое звучание, особенно в свете нового понимания категорий «искусственного» и «естественного»[32]. Так или иначе, законное место науки о книге в числе других наук об искусственном не вызывает сомнений.

В связи с этим требуется, конечно, обсуждение будущего книги в «информационном обществе», но это отдельная тема, по которой мне уже приходилось высказываться[33]. Подчеркну только, что в такой перспективе особый интерес приобретает влияние физических особенностей медиума, в частности книги на восприятие его/ее содержания потребителем, всегда лежавшее в основе библиофильства, а в последние годы неслучайно ставшее предметом пристального внимания историков книги и культуры.

Как ни странно, при всем этом охарактеризованная выше конструкция науки о книге в значительной мере традиционна: примерно так и решается в большинстве случаев вопрос о составе и структуре книговедения. Однако непрекращающаяся дискуссия свидетельствует о том, что профессиональное сообщество не удовлетворено сложившимся положением дел. Думаю, что неслучайно, и в этом отношении сделанные уточнения и дополнения кажутся важными. Вместе с тем я подвесил бы для размышления еще один вопрос, решать который мы, по-моему, пока не готовы. Это вопрос о том, в какой мере удачна для тех или иных дисциплин квалификация именно в качестве наук. А может быть, им этот статус и вообще некстати? Наука ведь далеко не единственная форма существования автономизирующегося рефлексивно-мыслительного обеспечения разного рода практик. Чем, по существу, хуже учебная дисциплина, система практических знаний, методика или техника[34]? Ведь за некоторыми звонкими наукообразными названиями и не стоит ничего, кроме практико-методических знаний. Но это вопрос на будущее.

Настоящая статья посвящена другим вопросам и направлена на углубление, развертывание и уточнение существующих представлений о книговедении, его составе и структуре, с точки зрения деятельностного подхода и современной методологии науки (разумеется, в понимании автора). Мне кажется важным выявление общей онтологической схемы различных «ведений», типичным представителем которых оказывается и наука о книге, книговедение в том его понимании, которое предложено выше. В принципе структура «дерева» присуща всем наукам об «искусственном», и предлагаемый подход позволяет по-новому взглянуть на характерные для каждой из них особенности. В частности, важны отличия между науками, исследующими артефакты вещественные, как материаловедение, и знаковые, как искусствоведение[35]. Наука о книге занимает, с этой точки зрения, особое место, поскольку книга — «кентавр-система», соединяющая в себе черты, как вещи, так и знаковой системы.

---

[32]Саймон Г. Науки об искусственном. — М.: 1972. Рац М.В. «Искусственное» и «естественное» // Философия России второй половины XX века: Г.П. Щедровицкий. — М.: 2010.

[33]Рац М.В. Книга в системе общения. — С. 430—452.

[34]Оговорка «по существу» в данном случае принципиальна: исторически сложилась ситуация (особенно характерная для СССР), когда наука имела необычайно высокий престиж в обществе. Результатом стала, во-первых, квалификация (а чаще самоквалификация) в качестве науки едва ли не любого знаниевого обеспечения практики или даже любой, в т.ч., и никем не востребованной, но мало-мальски упорядоченной системы знаний. Во-вторых, у нас и финансирование соответствующих разработок идет, как правило, по статье «наука» независимо от их реального содержания. Думаю, что в связи с этими обстоятельствами среди прочего мы до сих пор не имеем понятия науки, и столь широкое распространение получили разнообразные квази- и лженауки.

[35]Похоже, что здесь проходит граница между техническими и социогуманитарными науками: в некотором смысле технические науки гораздо ближе к социогуманитарным, нежели к естественным, но это, конечно, тема специального разговора.

При всем этом я отнюдь не стремлюсь дать «правильное решение» старых проблем и закончить спор. Напротив, постоянное проблематизирующее обсуждение господствующей парадигмы кажется мне признаком здоровья науки, и я очень жду обсуждения высказанных ныне (и ранее в сборнике «Книга в системе общения») идей.

ПЕРВОЕ РУКОПОЖАТИЕ

В.П. Макаренко
Южный федеральный университет

Аннотация: *В статье на материале советской истории и книги М.В. Раца «О собирательстве» автор размышляет о феномене библиофильства, книжной культуре и личной биографии.*

Ключевые слова: *библиофильство, книжная культура, социология чтения, биография.*

Заниматься наукой невозможно без чтения книг и статей, написанных предшественниками и современниками. Между тем эта возможность все более блокируется. Приведу пару свежих примеров[1]. С.А. Иванов пишет: «То, что в западных научных журналах обычно составляет больше половины объема: рецензии, обзоры, аннотации, — у нас, наоборот, сократилось. И это свидетельствует о том, что наша наука не составляет сообщества, люди не ощущают своего профессионального долга — не в том, чтобы похвалить друга или обругать врага, а в том, чтобы просто прочитать работу неизвестного автора и сообщить, что нового эта работа вносит. К сожалению, ощущение совместного поля, которое мы коллегиальными усилиями обрабатываем, отсутствует, и это очень прискорбно»[2]. С этой констатацией перекликаются суждения П. Уварова: «…иногда мне случается говорить, что никакого будущего у нашей науки нет, все очень плохо, сообщество умерло. Вот сейчас никто друг друга не читает, не пишет рецензии. Так сообщество себя не ведет. Кстати говоря, в этом отношении сообщество историков в Украине сильнее. Гораздо сильнее! Здесь пишут злые рецензии друг на друга, а потом рецензии на эти рецензии и так далее… И так может длиться годами! У нас же все настолько разобщено по разным дисциплинарным норам, что друг до друга никому дела нет»[3].

Итак, большинство российских ученых прекратило читать. На первый взгляд, это явление можно считать элементом общего кризиса науки в России. Однако такой вывод был бы преждевременным. Ведь научное сообщество в СССР так и не сложилось. Главным образом потому, что большинство российских ученых считает «нормой» не чтение и рефлексию о

[1]Благодарю М.В. Раца, который обратил на это внимание.
[2]См.: http://www.russ.ru/layout/set/print/culture/besedy/ nasha_nauka_ne_sostavlyaet_soobschestva
[3]См.: http://polit.ru/lectures/2010/03/23/history.html

действительности, а «служение государству». Тем самым ученый становится лакеем политической бюрократии.

Между тем чтение — главная часть моего жизненного опыта. Никакого «кризиса чтения» я никогда не испытывал. Разве что в том смысле, что не успеваю читать все интересное. Большинство моих друзей и приятелей — это авторы книг и статей. Высказанные ими идеи я считаю интересными, поскольку они могут составить почву для обсуждения и спора. В современной аналитической философии спорность (оспариваемость) концептов квалифицируется как важнейший критерий всего словаря науки. Я полагаю, что на основе большей или меньшей спорности идей возникает чувство «избирательного сродства» (метафора Макса Вебера) с автором прочитанной книги. Если же он читал твои книги, то не исключено, что аналогичное чувство у него возникнет по отношению к тебе. Например, в одной из недавно подаренных книг написано: «Дорогому коллеге Виктору Павловичу с признательностью за ощущение „избирательного сродства“ и надеждой на дальнейшее сотрудничество». Так генерируется невидимое сообщество, в котором книга становится не просто носителем информации, а стимулом и свидетельством определенного чувства к ее автору.

Иногда чувство преобразуется в любовь на всю жизнь. Ведь всякая серьезная мысль невозможна без прочной опоры на страсть. Значит, у читателя книг число потенциальных друзей значительно больше, чем у того, кто ничего не читает. Для читателя весь мир состоит из множества невстреченных потенциальных оппонентов и друзей.

Время от времени такие встречи происходят. Недавно забарахлила моя автотелега. Поехал на станцию техобслуживания, разговорился с автомехаником. Тот оказался буддистом. Да не простым, а увлекающимся идеями Унгерна. Про этого барона я тоже кое-что читал. Поэтому спросил автомеханика: «Неужели ты хочешь исправить Европу и повторить поход Чингисхана?» Об этом мой автомеханик не думал. Он почесал затылок и сказал: «Причем тут Европа? Я недавно прочел, что существовал проект направить отряд калмыков на Восток, чтобы там тоже сделать мировую революцию. Может быть, потому, что калмыки выполняли во Всевеликом Войске Донском карательные функции?» На этот вопрос я ничего вразумительного сказать не мог. Зато у нас возникло общение. Теперь оно не имеет никакого отношения к починке автомобилей. А направлено на осмысление великой мудрости евразийства…

Короче говоря, книги выводят нас за пределы повседневности. Они воспламеняют воображение. Наполняют голову идеями, не согласными с окружающей действительностью. И могут руководить нами среди реальной и фигуральной житейской грязи. Поэтому опыт других читателей становится бесценным.

Прошедшим летом я прочел книгу Марка Владимировича Раца «О собирательстве». На тему собирательства книг ничего нового я сказать не могу. Свою библиотеку называю «походной». Наверное, потому, что из армии вернулся с двумя чемоданами книг. Их подарил мне начальник штаба дивизии на день Ракетных войск и артиллерии. Он заметил мою книжную страсть. До сих пор держу минимум книг, обслуживающих оперативные потребности научного труда. Но мои читательские интересы всегда были шире научных. Точнее, мои научные интересы есть следствие читательского опыта. Неожиданных собеседников и единомышленников встретил среди участников дискуссии, посвященной обсуждению книги М.В. Раца[4]. Пусть эта заметка будет моим запоздалым включением в дискуссию. Опоздавшему полагается штрафная. Вместо нее произнесу спич.

[4]См.: Книга в системе общения: вокруг «заметок библиофила». Второе издание, исправленное / авт.-сост. М.В. Рац. — М.: Наследие ММК, 2006.

Марк Владимирович — незаурядный человек. Не только потому, что он соединил в себе таланты ученого-геолога, методолога и собирателя книг. Есть веская причина признать универсальность его жизненного опыта.

Рац пишет, что в нем сидит дух противоречия. Этот дух стимулировал оппозицию Раца к советской школе и советскому обществу. Уже в юности Марк Владимирович зафиксировал расхождение между официальной идеологией и реальной жизнью. Осенью 1956 г. произошла венгерская революция. Ее подавила советская военно-политическая машина во главе с Никитой Хрущевым. Рац тогда учился в московском вузе. Вместе с коллегами-студентами потребовал снять ненавистного проректора по учебной работе. Участвовал в выработке «оппозиционной платформы», согласно которой партия должна управлять, а не командовать комсомолом. Обсуждать с молодежью все предполагаемые решения. Такая позиция вполне вписывалась в нормы советского режима. Но власть испугалась. В институт дважды приезжала Фурцева — почти второй человек в государстве. «Тогда я имел случай, — пишет Марк Владимирович, — лично убедиться в поразительной изворотливости и полнейшей беспринципности наших политиканов»[5].

Этот эпизод сыграл определяющую роль в жизни Раца. Он приобрел опыт активного противостояния естественному течению событий. Данный опыт оказался решающим в его научной работе. А затем в уходе из традиционной науки.

С этим фактом связана типология советских биографий, которую предлагает Рац. Биография в контексте истории — вещь общеизвестная. Об этом написано тысячи мемуаров. Но биография как история требует анализа. Все привыкли к истории человечества, общества, государства. Марк Владимирович имеет в виду историю индивида. Строим ли мы свою собственную историю осмысленно и целенаправленно? Или же она формирует нас, используя в качестве матриц обстоятельства и условия нашей жизни? Если мы предпочитаем второй вариант ответа, то ее лучше назвать не историей, а судьбой. В тоталитарной системе человек теряет способность к рефлексии и мышлению, теряет свою личность. Способен лишь на социально и природно обусловленную деятельность и поведение.

Личная история пластична и лабильна, общественная жестка и упруга. Усилия для воздействия на общественную историю редко бывают успешными. Естественное полагание мира, в котором все предопределено и законосообразно, — средство насаждения всеобщего конформизма. Личная проблема каждого — поиск оснований для нонконформизма. «Человек — кентавр, и тащить свою телегу, упираясь копытами, стоит только ради замыслов, вынашенных в голове»[6].

Становление личной истории — культурная норма человеческой жизни. «Биографией как собственной историей, — пишет Марк Владимирович, — обладают лишь немногие: подавляющее большинство людей довольствуется ролью игрушки в руках судьбы. В этом смысле стоит, может быть, различать биографию-1 — последовательность событий и происшествий в жизни индивида (родился, женился, учился… — как в знаменитом «листке по учету кадров») и биографию-2 — последовательность целенаправленных и рефлектируемых действий, поступков, совершаемых личностью, набравшейся окаянства строить жизнь по-своему, как говорится, наперекор судьбе или, точнее, поверх ее прихотливых зигзагов, на ее материале»[7]. В СССР мало кто рисковал создать биографию-2. «Это явление обычно описывают словами *„потеря духовности“* (курсив мой — В.М.)… В силу исторических причин на-

[5]Рац М.В.. О собирательстве. Заметки библиофила. — М.: НЛО, 2002. — С. 54.
[6]Там же. — С. 58.
[7]Там же. — С. 51.

званная тенденция особенно характерна для нашей страны, где мышление и мыследеятельность систематически уничтожались на протяжении трех четвертей века»[8].

Рац критически относится к «позитивным» знаниям, психологии, философии и педагогике в их советских вариантах, а также к любым вариантам проповедничества. Еще более критичен он в отношении советских социальных институтов, включая общественные организации. «Советское библиофильство» было особым социокультурным феноменом типа «социалистической законности», «советской культуры» и «социалистического реализма». Любые формы социальной организации в СССР были смесью с ДОСААФом[9]. В них рождались образцы двоемыслия.

В СССР в обществе книголюбов числилось почти 20 млн. человек. Страна считалась самой читающей. На деле книголюбов было несколько сотен на всю страну. Советская книжная торговля была дурдомом. В конце советской эпохи индекс запрещенных книг насчитывал более 10 тыс. изданий. А в «самые мрачные годы реакции» Российской империи (в 1911 г.) число книг, запрещенных по постановлению суда, было менее полутора тысяч[10]. Советская система была громадным пунктом духовной кастрации. Советская культура — это «культура хамства» (по определению Л. Невлера). Советская политика и культура превращали большинство людей в эпигонов. «Я так и остался бы при своих догадках, — пишет Рац, — если бы не встретил на своем жизненном пути новых людей»[11].

Вместо чтения «Белой березы» и «Кавалера Золотой звезды» Рац ходил в букинистические магазины. Дореволюционные издания способствовали трансляции культуры. В процессе чтения этой литературы Маркс Владимирович догадался о бездне мысли, которая содержится в словах В. Шкловского, сказанными Смирнову-Сокольскому: «Я думал, что Вы собираете книги, а книги собрали Вас!».

Из сказанного вытекает кредо Раца: «Только самоопределяясь и занимая определенную позицию, можно формировать соответствующую этой позиции картину мира и интересующего нас предмета. Все остальное будет заведомой профанацией, в какие бы научные одежды оно не рядилось»[12]. В жизни Марка Владимировича библиофильство *связало* биографию-1 с биографией-2. «Судьба распорядилась так…, что существенной частью моего мира оказалось библиофильство. В юности оно компенсировало мне недоступное (по причине «пятого пункта») гуманитарное образование; в годы „застоя“ наполнило жизнь деятельностным содержанием, которого не могла дать загнивающая наука. Ему я в значительной степени обязан образованием и сохранением собственной личности»[13].

Подлинные собиратели книг были исключением из общего советского правила. Сформировать свою личную библиотеку — это исторический процесс. На него уходят десятилетия. «Одни книги (как и люди) приходят в нашу жизнь, чтобы остаться в ней навсегда, другие появляются в ней ненадолго, третьи — однодневки — лишь мелькают на периферии наших интересов»[14]. В итоге книжное собрание приобретает неповторимый облик.

---

[8]Там же. — С. 60.

[9]Сегодня уже мало кто помнит, что этой аббревиатурой обозначалось Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

[10]Там же. — С. 65.

[11]Там же. — С. 32. Марк Владимирович рассказывает о своей маме и друге родителей Л.В. Розентале, который «…был, наверное, наиболее типичным в моем окружении представителем последнего поколения, духовно сформировавшегося в досоветское время. Общение с ним задавало тот контекст истории и теории культуры, самоопределение в котором совершенно чуждо советскому человеку». Там же. — С. 38.

[12]Там же. — С. 13.

[13]Там же. — С. 46—47.

[14]Там же. — С. 51.

Короче говоря, для Марка Владимировича чтение и собирание книг стало опытом сопротивления советским нормам. Марк Владимирович размышляет о традиционном делении на «свое» и «чужое». «Культуру своего региона, — пишет он, — мы впитываем, что называется, с материнским молоком. Гораздо труднее понять, что она локальна и преходяща, „свое“ и „чужое“ симметричны, а само это деление относительно. Лишенные возможности путешествовать за границу и отгороженные марксистской догмой от подлинной истории, советские люди в массе своей не имеют такого понимания (отсюда и подзабытый уже невзоровский „нашизм“ — по сути своей идеология дворового хулигана, ставшая „политикой“, — и межэтнические конфликты). В этом смысле книжная культура незаменима, а задача ее распространения актуальна, как никогда: ведь каждое издание наглядно представляет культурный регион, и только для фундаменталистов (исламистов, фашистов или коммунистов) книги делятся на „наши“ и „не наши“»[15].

Действительно, в современной России обострилась проблема книжной культуры[16]. В СССР доступ к иностранной литературе по социальной и гуманитарной проблематике был ограничен, свободная дискуссия парализована. Советские «интеллектуалы» знали, что можно и что нельзя упоминать. Это уничтожило интеллектуальную честность при изложении позиций братьев по профессии. Сформировало цинизм в понимании и интерпретации проблем. Выхолостило исследовательскую этику и когнитивные интересы. Советская власть интеллектуально кастрировала большинство ученых. Разрушила связь автохтонной науки с зарубежной. Инициировала привычку пользоваться рефератами при отсутствии контроля над тем, что и как излагал автор-референт. Эти навыки перешли в систему высшего образования, порождавшую полузнаек и дипломированных невежд с апломбом. Нынешний книжный рынок в сфере социальных наук не обеспечивает свободный доступ к многообразию интеллектуальных культур. Резко сокращены закупки актуальной иностранной литературы и периодики. Из 10 запросов на иностранную литературу в библиотеках выполняются 1—2. Еще хуже обстоит дело с научной периодикой. Россия в интеллектуальном плане становится островом. Атрофируются наиболее сложные формы репродукции культуры, включая социальные и гуманитарные науки. Усиливается разрыв между мировой и отечественной наукой.

Б.В. Дубин констатирует: до настоящего времени российское образованное сообщество закрыто для сложных западных идей. Об этом свидетельствует удельный вес переводов в структуре книгоиздания. Заимствования идут главным образом через каналы массовой культуры (тривиальную беллетристику, детскую литературу, эзотерику). Под шапкой «Философия, социология, психология, история» примерно одна треть всех названий переведенных книг принадлежит паралитературе (магия, мистика, гадания, гороскопы, психологические наставления по семейной жизни и деловым отношениям, развлекательные истории о пиратах и знаменитых дамах, «загадках прошлого»). Основной поток переводов составляет массовая культура (дамский, исторический, авантюрный роман, фэнтези, детективы). Чем ближе мы подходим к проблемам политики, государства и права, тем меньше удельный вес переводов, тем более закрытыми для внешнего взгляда и оценки оказываются эти области работы. Это ограничивает возможности научной работы, понимания, усвоения, интеллектуальной рецепции.

Пора сделать резюме. Чтение — это выработка опыта активного противостояния естественному течению событий. Каждый должен найти собственные основания для нонконформизма. У большинства нынешних жителей России нет биографии как истории. Они являются «социобиоидами» (если использовать терминологию Г.П. Щедровицкиого) или социализиро-

[15]Там же. — С. 187.

[16]См.: Дубин Б. Российские библиотеки в системе репродуктивных институтов: контекст и перспективы // НЛО. — 2005. — № 74.

ванными мухами и тараканами (если предпочесть терминологию М.К. Петрова). Нынешняя система формирования библиотек и книжный рынок остаются элементами закрытого общества. В царской России было запрещено полторы тысячи книг, в СССР больше десяти тысяч. Значит, советский обскурантизм был выше царского в семь раз. Теперь надо детально описать все формы постсоветского обскурантизма. Формально разрешено все, на деле правительство и книжный рынок России навязали опытным читателям проблему: как противостоять указанным тенденциям? Книги Раца можно рассматривать как один из важных этапов осознания этой проблемы и вытекающих из нее множества конкретных тем дискуссии.

Марк Владимирович пишет, что через пять рукопожатий все люди на земле оказываются знакомыми друг с другом. Буду рад, если эта публикация исполнит роль первого заочного рукопожатия.

КОНЦЕПТ «КРИЗИС» В БОЛГАРСКОМ И РУССКОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ

(рецензия на монографию Л. Цоневой «Думата *криза* в медийния дискурс (българско-руски паралели)». — Велико Търново: Ивис, 2012. — 216 с.)

О.Н. Кондратьева
Кемеровский государственный университет

Аннотация: *Данная статья представляет собой рецензию на монографию доктора наук, доцента Лиляны Цоневой «Думата **криза** в медийния дискурс (българско-руски паралели)» (Велико Търново: Ивис, 2012. 216 с.).*

Ключевые слова: *политическая лингвистика, политический концепт, кризис, медийный дискурс.*

В мировой лингвистике XX-XXI века в рамках антропоцентрической парадигмы активно развивается новое научное направление — политическая лингвистика, сосредоточенная на исследовании политического языка разных государств. К числу важнейших направлений политической лингвистики относится рассмотрение отдельных политических концептов в рамках соответствующего языка и национальной культуры.

Для политического дискурса базовыми являются концепты «политика», «власть», «государство», «народ», «свобода», «выборы» и др. Однако в последнее время к числу значимых для политического дискурса концептов добавился относительно новый концепт — концепт «кризис», актуализация которого объясняется событиями в экономике мирового сообщества. Мировой кризис, начавшийся в 2008 г. в США и затронувший в значительной степени большинство развитых стран, привел к серьезным изменениям в экономике и политике, повлиял на состояние и мировосприятие общества.

Перечисленные экстралингвистические факторы определяют интерес лингвистов к концепту «кризис», ставшему одним из ключевых репрезентантов политэкономической картины мира. Появляются исследования особенностей языковой репрезентации экономического кризиса в дискурсе масс-медиа США, Европы и России.

Одним из наиболее интересных исследований подобного рода является монография доктора наук, доцента Великотырновского университета (Болгария) Лиляны Цоневой «***Думата криза в медийния дискурс (българско-руски паралели)»***. Данная книга отличается от работ других исследователей не только привлечением для анализа материала болгарских СМИ, но и контрастивным подходом к изучаемому материалу, что принципиально важно,

поскольку только сопоставительные исследования позволят установить как универсальные, так и национально-специфические черты в восприятии мирового кризиса и его языкового воплощения.

Материалом исследования послужили болгарские издания «Дневник», «Дума», «Капитал», «Монитор», «Новинар», «Политика», «Пресса», «Сега», «Труд», «24 часа», «168 часа», «Тема» и русские издания «Аргументы и факты», «Известия», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Независимая газета». «Российская газета», «Труд», «Власть». «Деньги», «Итоги», «Компания», «Новое время», «Огонек», «Профиль», «Русский мир», «Русский Newsweek». Высокие тиражи, ориентация на самый широкий круг читателей, внимание к проблемам общества — все эти факторы позволяют определить названные издания как благоприятный материал, изучение которого способно дать достаточно полный языковой портрет мирового кризиса.

Композиция монографии определяется целью работы и в полном объеме отражает логику движения научной мысли и основные этапы исследования. Книга состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического списка, в который вошли основные публикации болгарских и российских авторов, посвященные лингвистическому описанию мирового кризиса.

Первая глава представляет собой характеристику особенностей кризиса, отраженную в медийном дискурсе Болгарии и России в период от 2008 по начало 2012 года. Анализ солидного корпуса текстов, формирующих нарратив кризиса, позволяет увидеть этапы развития кризиса, его специфику на разных этапах, универсальные и национальные особенности. Подобное описание позволяет дать представление о кризисе как о ключевом событии современной экономики и политики, а также становится необходимым фоном для воссоздания языкового образа мирового кризиса.

Вторая глава посвящена языковым особенностям слова «кризис». Автор последовательно рассматривает дефиниции лексемы *кризис*, ее словообразовательный потенциал, особенности сочетаемости, частотность употребления названной лексемы в различных функциональных стилях и прежде всего — в публицистическом стиле, анализирует ее текстогенный потенциал (способность порождать вокруг себя массу текстов), подробно рассматривает приемы языковой игры, задействованные при описании мирового кризиса в средствах массовой информации Болгарии и России.

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает раздел, посвященный метафорическому моделированию кризиса в болгарском и российском медийном дискурсе. Описывая базовые метафорические модели, репрезентирующие экономический кризис, автор убедительно демонстрирует, что наиболее продуктивными являются модели со сферами-источниками «медицина» и «природа».

Медицинские метафоры создают образ кризиса как крайне тяжелого заболевания *(грипп, лихорадка, воспаление легких, чума*), поразвившего мировую экономику. Основаниями метафорического переноса в этом случае становятся *ухудшение состояния, спад жизненной активности, невозможность продуктивной деятельности.* Медицинские метафоры формируют у читателей чувство тревоги, беспокойства за будущее страны, настойчиво подчеркивают необходимость проведения консилиума, специалистов, необходимость четких, скоординированных действий, направленных на спасение больной экономики и возвращение к нормальному функционированию государств.

Среди натурмофрных метафор доминируют два типа метафорических словоупотреблений. В рамках первых кризис уподобляется *яме, пропасти, бездне, болоту*. Основаниями метафорического переноса становятся такие семантические компоненты, как *падение, неожиданное препятствие на пути*, *безысходность.* В результате кризис предстает как некое

углубление, в глубину которого проваливается мировая экономика, и выход из этого пространства крайне затруднителен. Соответственно, при использовании подобных метафор доминируют концептуальные векторы тревожности, безысходности.

В рамках второго типа метафор кризис предстает как стихийное бедствие — *шторм, цунами, буря, ураган, торнадо, шквал*. В качестве основания переноса задействуются значения *разрушительности, внезапности, стихийности, неконтролируемости.* Сопоставление кризиса с природными бедствиями позволяет представить его как явление огромной разрушительной силы, обрушившееся на мировую экономику и сметающее все на своем пути. Таким образом, подобные метафоры демонстрируют деструктивный характер данного события для мировой экономики и политики.

Преобладание в характеристике кризиса медицинских метафор и метафор природного бедствия свидетельствует о восприятии кризиса как явления, нарушающего нормальное состояние вещей, нормальное течение жизни, явления, отрицательно воздействующего на жизнь человека, объединяются векторами тревожности, безысходности и растерянности, демонстрируют беззащитность человека перед лицом экономических проблем.

В результате Л. Цонева приходит к выводу о том, что в метафорическом представлении кризиса в болгарском и русском медийном дискурсах обнаруживается достаточно много общих черт, специфичной особенностью является более выраженная катастрофичность русских метафор, обусловленная большей интенсивностью кризисных процессов в России.

В заключение отметим, что анализ языкового воплощения концепта «кризис» в болгарском и русском медийном дискурсе позволяет глубже понять особенности национальных концептосфер в целом, уяснить особенности славянского языкового сознания, славянской картины мира. Представленные в монографии Л. Цоневой материалы могут послужить базой для сопоставления с особенностями языковой репрезентации кризиса в других славянских и неславянских языках, что позволит установить универсальные и национальные черты в отражении кризиса как явления, находящегося в центре общественного сознания представителей разных лингвокультур.

Таким образом, монография Лиляны Цоневой представляет собой серьезное теоретическое исследование, отличающееся признаками актуальности и новизны. Результаты, представленные в работе, будут интересны отечественным и зарубежным специалистам в области политической лингвистики, лингвокультурологии, метафорологии, межкультурной коммуникации, студентам, магистрантам и аспирантам филологических факультетов, а также самому широкому кругу читателей, интересующихся политическими и экономическими вопросами.

SUMMA TOPOLOGIAE
(рецензия на книгу: Савчук В.В. Топологическая рефлексия. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. — 416 с.)

К.А. Очеретяный
Исследовательский Центр медиафилософии,
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: *Данная статья представляет собой рецензию на книгу Валерия Савчука «Топологическая рефлексия» (М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2012. 416 с.).*

Ключевые слова: *рефлексия, топология, архаическое сознание, нигилизм, терроризм, перформанс, фотография, массовая коммуникация.*

С того самого времени, когда между философией и математикой начинают завязываться интимные, вплоть до опасности удушения друг друга во взаимной близости, отношения, закон эквивалентности есть то, что неизменно преследует мысль на путях рефлексии. «Страсть холодных чисел», настигшая Фалеса, возможно, в тот момент, когда ему, наконец, удалось измерить высоту египетских пирамид, возможно, пережитая в ходе знаменитой рыночной спекуляции – остается в наследство западноевропейской рациональности, обрекая последующие поколения на тайное идолопоклонство. И даже в те периоды, когда на смену математической модели рефлексии о сущем поочередно будут приходить модели истории, экономики, лингвистики – в остатке всякой медитации будет оседать незамеченным, в силу привычки, грузом требование кэрроловского Болванщика – требование перемены мест. В чем же состоит закон эквивалентности? Прежде всего – в отсутствии должного внимания к месту. Особо чувствительный к различного рода разломам и трещинам – быть может, в силу того, что именно он повинен в первом разрыве с налично-данным сущим – язык, даже в наиболее истертых вялотекущей повседневностью выражениях, сохраняет предельное сосредоточение внимания на мере соответствия слова, жеста, события – топосу. Мы говорим: «Это было не к месту» или «Как это вообще могло случиться здесь?» и последний вопрос зачастую оказывается гораздо более волнующим, чем параноидальное «Как это могло случиться со мной?». Предельная концентрация языка, вплоть до опасности материализации решительного внимания в жесте порывания с легковесностью слова, не нарушает, впрочем, ритмику течения мысли. Какими бы ресурсами сопротивления не обладал язык, в своем дискурсивном статусе он обречен, претендуя на десакрализацию формулы топической эквиваленции, разбиваться о стену немого согласия, будто бы сложенную тайным заговором за спиной фи-

лософии, еще только претендующей на голос. Удлиняясь тенью вслед за спонтанным рассуждением, увлекая его в пространство немоты и не высказанности – эквиваленция ставит заглушки даже в наиболее естественном словоизъявлении, не давая ему, набравшись силы, перерасти в крик. Вопрос об уместности, о степени топической размерности, обращается в дистиллированные формы медитации – трансцендентальную, диалектическую, феноменологическую. Все они, открывая суждению доступ к собственному основанию, просчитывались на пути возвращения: то движение мысли было законодательством над топосом или поглощением его хищным ratio, то путь «к самим вещам» обращался вопросом о статусе интенциональных объектов, вызывая к жизни сюжеты забвения. Так или иначе, вкрадчивое присутствие закона эквивалентности всякий раз контрабандой проносилось в очередной виток мысли, мнящей себя критической.

Одним из наиболее значимых критических процессов длительного периода истории мысли, от симптомов которого мы не избавлены и сегодня – процессом (и в юридическом смысле более остальных) Просвещения закон эквиваленции также не был обойден. Напротив – начиная с классического периода и заканчивая спором о модерне – Просвещение питается им. Суть рациона (ratio'на?) состоит в следующем: конфигурация сил, желаний, тел(а) в одном топосе – привычным образом законодателями здесь числятся практики европейской рациональности – в ином пространстве мышления те же. Они не являются относительно возможными, т.е. осуществляемыми лишь при условии различного рода компенсаций неизбежно сопутствующих смене территорий – они возможны абсолютно. Последнее означает, что тело и желание, сила и жест первым шагом рефлексии должны быть избавлены от мнимой нагрузки, сообщаемым им топосом пребывания, нагрузки, которой по сути является сам факт их эмпирического наличия. Следующим же шагом, и данное требование является индикатором автономии мышления о сущем, является претензия на аристократические модели сущностного описания, руководствующиеся принципами избирательности и законодательства.

Дистилляция существующего обращает магией числа глаз во взгляд, а затем и в трансцендентальное обоснование способности созерцания, тело – в модель унификации и отслеживания патологий, приводящей, в конечном счете, к топосу, сформированному в соответствии с требованиями общей экономии, эргономики и дициплины. Конечно, и этот процесс не был обойден вниманием. Опирающаяся на имманентные топосу критерии разметки ходов мысли этнография в XX веке, претендуя на остановку судебного процесса, развернутого трибуналом чистого разума, противопоставляет эйдетической модели истолкования сущего, модель описания различий. Сущности отныне не редуцируются и не подвергаются негации, они множатся. Но даже здесь модели гетерогенных типов письма чрезвычайно рано оказываются освещены звездным небом структурного упорядочивания. Фигура этнографа – номада обращается его двойником – неоколониалистом, земля начинает дышать в такт геометрически выверенным созвездиям неба новой (?) истины: этнография становится структурной антропологией.

На фоне историко-философских разысканий, претензий на возрождение традиций и попыток позднего к ним подключения, пафос Валерия Савчука указания философии места, оказывается удивительно свежим в простоте своего звучания. Что может быть настолько же простым как события топоса пребывания? В силу их простоты, подотчетными оказываются лишь события, подрывающие несущую конструкцию устойчивого существования, значимыми – вторжения извне, помрачающие картину домашней ойкумены. Рай на расстоянии вытянутой руки, гармония информационных потоков, прокручиваемая наспех без должной медитативной усидчивости, редкие вкрапления озарения в привычные траектории мысли, столь же редкие вкрапления боли на пути к инстанциям, предписанным к посещению распорядком дня – все это не интересно. Интересными оказываются Ливия, протяженность моста над бух-

той Цзяочжоу в Желтом море, верлибр и даже вопрос о том, как возможны априорные синтетические суждения. И в каждом из этих интересов трещиной зреет изъян оптики наблюдения, в каждом из них дает свою свежую поросль нигилизм. Предельное сосредоточение внимания, улавливающее робкие отзвуки события, неизбежно оказывается рессентиментарным, если топос взыскующей адекватности мысли превосходится рефлексией. Время замирает «как стекло падающей воды, как провал беспамятства, как фотография» (с. 177); почва мысли, ее плодородный гумус расходятся под ногами, открывая Infernum Silentiī, в отсутствии надежного заземления мы продолжаем забывать… О том, что и платоновская Академия, и аристотелевский Ликей формировались в том числе и как гимнасии – места концентрации телесных усилий, а атлетические упражнения следовали аскезису спекулятивных рассуждений. О том, что язык, на котором ставятся проблемы современности, достается в наследство от тактических установок, сформированных в дискуссиях эпох предшествующих, движущихся каналами, проложенными отчаянным напряжением собственного озабочения. Наконец, о том, что топическая конфигурация суждения, не является лишь сценой, на которую концептуальные персонажи галереи философских портретов поднимаются исключительно причудливой волей случая – провиденциализмом, внезапно сообщающим силу трансценденции аскету духа. Как раз дух в его трансценденции и оказывается проблемой «Топологической рефлексии». Ложноистолкованную мессианскую силу, внезапным порывом отрывающую тело мысли от топоса, Валерий Савчук воспринимает как травму философии: «выживание требует смены не только ориентиров, но и политики повседневности…» (с. 127). Расхождение рефлексии и топоса открывает рану, не нуждающуюся, в противоположность привычным для эпохи комфорта векторам обезболивания, в стерилизации. Напротив, сила сокровенной, т.е. соответствующей импульсам крови, мысли заключается в том, чтобы эту рану впервые явив, удержать.

По замечанию разочаровавшегося в математике инженера, австрийского художника слова – Роберта Музиля: «душа делает пространство холмистым как вздутый лед», а потому, позволю продолжить, первичный запрос всякой возможной формы рефлексии, претендующей на автономию разума, подобен в своем импульсе жесту архаического художника, притязающего на обращение рельефной поверхности стены пещеры в плоскость. Тонкий исследователь архаического – чувства, сознания, тела, Валерий Савчук возвращает нас в ситуацию первичного внимания к деформации топоса, в ситуацию художника, еще только взирающего на свод пещеры. Исключительную важность здесь обретают темпоральные модусы «еще не» и «уже не», согласно Хайдеггеру – модусы «навязчивости» и «назойливости», в которых только и находит глаз неудобство – призывающего к открытию взгляда, в которых только внимание и заставляет обратиться к той точке, когда неожиданно разглаженные рельефные контуры обретают вдруг строгую выверенность картезианских пропорций. Рельеф за миг до столкновения с аналитической силой матезиса обретается в «позе логоса». Речь не идет, впрочем, исключительно о художественных практиках выражения топоса. Хотя в своей ранней книге «Конверсия искусства» автор интерпретирует силу перформанса как возможность мыслить топос, в «Топологической рефлексии» уделяется более пристальное внимание генеалогии нивелирующего различия оптикоцентризма Нового времени, разлагающего объемы в границах картезианских координат.

Возможно, в своей непрекращающейся на протяжении всего Нового времени полемике с познавательными практиками эпохи Возрождения, оптика – символ точности, ясности, а также уверенности в предсказуемой очевидности ожидаемого, так и не смогла одолеть астрологию. Споря за первенство в регламентации данного и должного оптическое наблюдение, развернув аналитическую картину мира, в рамках которой на протяжении веков осуществлялся принцип экспериментирования, лишь упростила ее (астрологии) громоздкий дис-

курс. В дальнейшем экономия мира (подобное определение мы неоднократно встречаем у Лейбница), рефлексии, обращаясь понятием метода, становится руководящим принципом мышления эпохи. Метод как принцип экономии есть кровная мета памяти, нанесенная оптическим техникам Нового времени астрологией эпохи Возрождения. Последняя ушла в тень, первые же, ознаменовав эру естественного света разума, сковали сознание рамками предвосхищаемого ожидания результата. Декарт, ставящий в своих черновиках интуицию на место первоочередного оператора аксиоматического мышления, уже не обращает никакого внимания на то, что первично интуитивный акт осуществляется лишь посредством поддержки трансцендентного. «Я поднимаюсь благодаря поднимающей меня силе» – говорит Бонавентура. Для Декарта же точность знания должна прежде всего отвечать оптическим критериям: ясность, очевидность, прозрачность. Свет – как это было ранее в эпоху Возрождения – уже не является трансцендентной силой, соприкасающейся в пределах особого ритуала астролога с умом претендующего на предсказание. Отныне он является атрибутом познающего сознания. Он полагает порядок, организует в соответствии со своими требованиями идеи – от более отчетливой к наиболее смутной. Первые главы «Герметического свода» открываются нисхождением Света, Картезий начинает свою медитацию с презумпции очевидности как данности и отчетливости как имманентной силы сознания располагать своими идеями. Традиция Просвещения вслед за Декартом также не использует свет в качестве всего лишь метафоры. Оптика как опыт наблюдения за микро – и макромиром, равно как и принцип законодательства, направленный на негацию идолов сознания, сохраняет свою силу вплоть до «Науки логики» Гегеля, в которой оптическая терминология постепенно преобразуется в иносказание. В этом смысле интересным оказывается «Письмо о слепых предназначенное зрячим» (1749 г.) Дени Дидро – один из немногих документов эпохи, обращающийся к практикам тактильности в противовес тоталитаризму оптической парадигмы. Основываясь на опыте наблюдения слепых, Дидро делает вывод о том, что вся современная оптическая методология еще не обеспечивает глаз безусловной способностью отчетливого созерцания. Вполне возможно, что и геометрия, если она доступна слепцу, уже не имеет ничего общего со своим древним названием, являясь не более чем изобретением слепого рассудка. В XX веке эту критику геометрии (а также подразумеваемую в ее основе эталон точности – оптику) поддержат с одной стороны Эдмунд Гуссерль в «Кризисе европейских наук», а с другой – Жан Ипполит, неоднократно обращающийся к разбору «Геометрии» Декарта в ходе своих семинаров Эколь Нормаль.

Все это, впрочем, не более чем соразмышление автору, проект которого не ограничивается исключительно критикой оптикоцентризма, что, следуя его же логике, обернулось бы лишь очередной претензией «говорить от имени всеобщего». Ключевой интенцией «Топологической рефлексией» является все же опыт концептуализации места, подразумевающий гетерогенные практики осмысления. Деконструктивный импульс исследования (в альтернативном ключе его можно было бы признать историографическим экскурсом) ограничивается первой частью книги («Рефлексия в свете разума»). Последующие главы – иные, текст, претендующий до сих пор на строгий разбор визуальных практик, доминирующих в дискурсе философии, неожиданно развертывает диспозитивы скрытых прежде ресурсов сопротивления. Геометрической выверенности оптики противостоят опыты мышления тела, перформанса, фотографии и медиа. Каждый из указанных, так или иначе, выражает топос, все они вместе направлены на преодоление небрежения к последнему. Следует также заметить, что возвращению мысли места неизменно сопутствует тема, в ходе чтения, могущая оказаться побочной, но в пределе окаймляющая весь корпус работы, рассуждения о нигилизме. Обреченная на все большее ускорение времени, неизменную сегрегацию и дробление чувства, желания, мысли, современность не нуждается в простой укорененности, в предельной заземлен-

ности опыта. Автор не противопоставляет номадизму новую оседлость, напротив, вскрывая изнанку номадического проекта, Валерий Савчук предлагает мыслить адекватно топосу. Последнее означает не просто осмысление границы возможностей рефлексии, но пристальное внимание к границе как порогу определения, в котором только и становится возможной рефлексия, в которой она только и есть. Предельная концентрация архаического охотника, вытесненная экстазом, продуцируемым современностью, нуждается в своем возвращении в качестве новой дисциплины. Мы помним, что момент экстаза в мистериях античности, вспышках одержимости средневековья, алхимических практиках Ренессанса, не был простым театром смерти или ее замещением, он являлся актом расщепления устоявшихся границ твердого тела социума, выход из которого знаменовал приобщение к силам его формирующим, к основанию неизменно поддерживающему сущее. Сегодня, в эпоху всеобщего экстаза, возможность такого выхода по ту сторону горизонта осуществления события закрыта для нас более чем когда-либо прежде. В одном из своих высказываний Гегель определил труд как процесс уничтожения или проклятия мира. Не обречены ли мы до сих, подчиняясь экстазу духа, этого не знающего конца процесса расщепления устойчивых оснований, видеть себя лишь в осколках подвергнутых критике предшествующих эпох гештальтов? Ионизируясь, тело расходится по каналам медиа, свистопляска Dasein, набирая обороты, окутывает шумами голос, взгляд обрекается на скольжение по все более обтекаемым поверхностям в тщетной надежде остановки. Неудивительным потому оказывается и то обстоятельство, что автор единым жестом связывает архаику и современность: «Как для аналитики проблем современности, так и реконструкции архаического пространства во всех формах его проявления наиболее приемлемым оказалась “топологическая рефлексия”» (с. 151). Впрочем, речь не идет о поиске новой земли, где мысль, наконец, обретает свой покой. Острова Блаженных также недостижимы, как и претензия на единое основание понимания себя и Другого, себя и самого себя Иного. Вопрос о темпоральной идентичности, волновавший еще Аристотеля, и через христианскую эсхатологию и трансцендентальную философию, перешедший, с определенными оговорками, в сферу юриспруденции и права, отменяется вопросом об адекватности. Положение об основании облекается в простую, вплоть до угрозы забвения, формулу – основание необходимо всякий раз открывать заново. Каждый топос требует иной конфигурации соматических и рефлексивных практик, иного внимания и речь идет не столько о его интенсивности, сколько о сущностном изменении.

Summa topologiae, предложенная Валерием Савчуком и представляет собой совокупность «простых», в немыслимости концентрации, направленной на их выполнение, упражнений в топологической рефлексии. На каждом шаге необходимо вернуться назад в твердое тело мысли, в устойчивость дисциплины. Принудительность выполнения такого рода задачи не является простой кристаллизацией возможности ее исполнения. Усилие здесь не тратится на самообоснование спонтанной прихоти исследователя, но противостоит безволию и инертности. «Радикально поменять полюса своего-чужого и стать ответственным, создать из неукорененного, коррумпированного, а потому рыхлого социального тела, тело солидарное и плотно сцепленное – условие ассиметрического ответа терроризму» (с. 261). Даже в наиболее случайных формах отвлечения и раскрепощения неизменно интенсивно действуют силы, разрывающие плоть сего места, размывающие, в последовательном движении подводных течений, контуры мысли, затушевывающие их в мнимом равнодушии. Импульсом рефлексии, претендующей на то, чтобы остаться верной своему имени, является попытка указания на то обстоятельство, что за каждой спонтанностью, очевидностью, естественностью стоит совокупность сил, направленных на регуляцию внимания. Организующие рекреативные зоны безразличия эти силы возобновляют свой ход непрестанно, и подлинным усилием мысли в таком случае будет противостояние и борьба. Открытие великих аскетов философии –

Спинозы и Ницше, состоит в том, что разврат не противостоит аскезису как отсутствие усилия его предельному сосредоточению. И в том, и в другом случае сила присутствует в равной пропорции, отличие полагается лишь в факте того, что если в случае предельной незаинтересованности воля питает ставшее, то в случае аскетических практик рефлексии мысль поверяет ставшее возможностью его негации. И наиболее часто за возможность своего осуществления мысль платит кровью. Вернуть мысли эту возможность уплаты, противопоставить системе картезианских координат «симметрию ран архаического Космоса», насытить плотью топос, а через него сообщить мысли адекватность – так можно интерпретировать соприкосновение путей двух проектов: книги «Кровь и культура» с книгой «Топологическая рефлексия». Возможно, топос уже разрывает оковы молчания, сопротивляющиеся его сближению с рефлексией; пафос дистанции оказывается превзойден претензией на строгость топологической ориентации – знания о дистанции и умения ее удержать. Ведь дистанция вызывает предчувствие отклика не тогда, когда она сокращается – ибо последнее есть лишь кинематографическое измерение катастрофы (пожирающее тело время), не тогда же когда она и разделяет: в безучастном геометрико-землемерном термине кроется отчаяние, ведущее к разрыву всех связей, всех, в том числе и голосовых, связок. Дистанция вырывает отклик из автоматизированной ритмики повседневности лишь когда она уже здесь – и это есть сочетание, и это есть стихия… И мы почти также как когда-то Гегель в своих лекциях по истории философии, но уже в радикально ином смысле можем воскликнуть: «Земля! Земля!»

P.S. Досужие размышления о форме книги выношу за пределы основного текста. Автору «Топологической рефлексии» можно только посочувствовать. Не в силу неординарной интенции проекта, равно как и не в силу претенциозного его исполнения, а скорее вследствие неотступного соучастия теневого двойника, преследующего всякого автора, всякую книгу. Даже у Заратустры была своя обезьяна… Во всяком случае, можно с определенной долей уверенности заявить: издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация» (директор Божко Ю.В.), с поставленной перед ним задачей не справилось. Китчеобразность обложки книги не содействует вниманию потенциального читателя, многочисленные опечатки ставят под сомнение квалификацию корректора и даже поднимают вопрос о его наличии. Использование греческих слов – выверенных традицией, и окончательно закрепившихся в философском дискурсе в качестве устойчивых терминов – то в их исходном написании, то в латинской транскрипции также путают чтение, лишают мысль должной дисциплины. Остается только надеяться на скрупулезность чтения вопреки, к чему у отечественного читателя, несомненно, уже выработалась привычка. Книга действительного того стоит.

ТОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ

В.В. Савчук
Санкт-Петербургский государственный университет

Аннотация: *Журнал «Политическая концептология» публикует книгу Валерия Савчука «Топологическая рефлексия». Как полагает автор, распространённый в литературе тезис об утрате рефлексией объяснительного потенциала свидетельствует о кризисе рефлексии классического типа. Одновременно возрождение исследовательского интереса к этой теме актуализирует новый тип рефлексии — топологической. Автор предлагает следующую классификацию: эмпирическая, логическая, трансцендентальная, абсолютная рефлексия, отказ от рефлексии как способа удостоверения истины в постструктуралистской парадигме и, наконец, становление рефлексии нового типа — топологической. Даны её характеристики. Приведён ряд конкретных исследований, методологической основой которых выступила топологическая рефлексия: особенность архаического сознания, явление нигилизма и терроризма, искусство перформанса и фотографии, коммуникантов как порождение массовой коммуникации.*

Ключевые слова: *рефлексия, топология, архаическое сознание, нигилизм, терроризм, перформанс, фотография, массовая коммуникация.*

От редакции

Недавно опубликован фундаментальный труд В.В. Савчука. Конечно, эту книгу можно рассматривать как частный случай проявления общей тенденции «поворота к пространству», характерной для гуманитарного знания последних десятилетий. Но важнее подчеркнуть иное: труд Валерия Владимировича является также обобщением идей, высказанных им на страницах нашего журнала. Вот кроха из них: нигилизм обрел новое состояние; логика террора — это гегельянство и подобные ему теории; критику тотальности надо дополнить аналитикой локальности; российский нигилизм предлагает позитивную программу; инновационный нигилизм одиночек и групп выполняет терапевтическую роль; революционные идеи — это средство кормежки определенных групп; интеллектуальное господство есть форма колонизации; терроризм консервирует прототипы современной жизни, фиксирует неспособность создания идеологий и является контрреволюционным явлением.

Все эти идеи удовлетворяют критерию спорности концептов, сформулированному в аналитической философии, а также идее научно-технической контрреволюции, которую я реконструировал в наследстве М.К. Петрова. Поэтому они вписываются в проблематику политической концептологии.

Валерий Владимирович Савчук обращается к неравнодушным к граду и миру интеллектуалам. Читателям журнала представляется возможность обнаружить это качество. Ждем суждений и комментариев.

В.П. Макаренко

ВВЕДЕНИЕ

Рефлексия предельных оснований разума, сознания и культуры — традиционная незадача философии. Диагноз конца метафизики, рациональности, дискурсивности и рефлексивности в последнее время ставился столь часто и в столь разных ситуациях, что возникает сомнение в его точности. Ныне же тематизация рефлексии — вновь актуальна[1], ибо понятие рефлексии столь же укоренено и распространено в языке современной философии, сколь и сомнительно ее радикальное отрицание. И возврат исследовательского интереса к ней свидетельствует не об утрате рефлексией объяснительного потенциала и исчерпанности схватывать и удерживать в понятии актуальные процессы и события, а лишь о кризисе определенного ее вида: рефлексии классического типа.

Тезис об исчерпанности как философского ресурса науки, так и модернистского проекта в целом утратил эффект продуктивной провокации, стал общим местом. Однако в науке, образ которой бытует в сознании гуманитариев на уровне ее состояния XIX — начала XX века, происходят трансформации, по-своему выражающие наше время. Другое дело, что сложность и специализированность языка ученых, отказ от привычных опор здравого рассудка (разрушать которые всегда было делом философии), не позволяют делать их своими собеседниками. Так, например, обстоит дело с топологией.

Сомнения в способности разума решать актуальные противоречия эпохи усиливаются, когда мы обращаемся к истокам современных бед, к развилке дорог, к ситуации выбора цивилизацией того пути, который сегодня, обнажая неразрешимые противоречия, все явственнее осознается если не тупиковым, то неразрешимым на проторенной дороге рефлексивного разума. Драматизм проблем современности — следствие современного способа производства, делает неотложной мысль о возможности смены стратегий отношения к природе. Уже одно это — достаточная причина обращения внимания к пространству архаического и постановке гносеологических проблем, возникающих в процессе исследования истоков сознания и способов отношения к миру.

Вследствие этого назрела необходимость испытания разрешающей способности рефлексии отразить повороты, происходящие в современной философии, акционистстком искусстве, фотографии, явлений нигилизма и терроризма, возможности мыслить телом. Трудно не заметить существенное противоречие нововременной культуры, в которой декларируемое почтение и уважение к предкам соседствует с отказом в чувствах почтения к ним, когда дело доходит до архаического периода с его непременными кровавыми жертвоприношениями и всепоглощающими мистериями и оргиями. Актуальность обращения к архаическому этапу человечества, к сознанию родоплеменного сообщества обусловлена также целым рядом обстоятельств, среди которых можно указать на предпринимаемые в последнее время усилия обнаружить и определить вне-, до- и инонаучные формы мысли, которые бы ограничили как «притязание разума», так и позволили бы избавиться от последствий «разума заблуждающе-

[1]На это, в частности, указывает Фуко: «Надо начинать с аналитики форм рефлексивности, поскольку именно формы рефлексивности конституируют субъекта как такового» (Фуко М. Герменевтика субъекта. — СПб., 2007. — С. 502).

гося»[2]. К этому можно добавить плодотворную дискуссию по волнующим многих экологическим проблемам и проблемам личной безопасности, решение и осмысление которых увязывается с аналитикой природы насилия, терроризма, аутодеструкутивного искусства и, наконец, массмедиальных стратегий демонстрации насилия, катастроф и актов терроризма для привлечения к себе коллективного внимания.

Обращение к проблематике отечественного контекста рефлексии, в котором любые влияния и самое искреннее приятие западной мысли приобретает столь отличную от исходного образца форму, что ее своеобразие приобретает статус *качественного* отличия, продиктовано введением в поле философского анализа явлений, репрессировавшихся и вытеснявшихся прежде из сферы мысли. Речь идет о православной иконографической традиции изображения первозаписи. Обозначившееся сегодня проблемное поле соотношения голоса и письма затмило или, по крайней мере, отодвинуло в тень интереса традиционные сюжеты соотношения слова и образа, логоса и изображения. Освоение актуальных стратегий аналитики приводит к выводу о невозможности возврата к абсолютной достоверности трансцендентального означаемого, к гарантированной процедурами классической рефлексией истине и, наконец, к пафосу всеобщности, из нее следующего. Но сама критика всеобщности остается в силе и рамках исторического контекста, смена которого оперативно валоризируются как «новая неактуальность». Очевидно, что невозможен перенос техники разборки и реконструкции текста на психологическую и социальную реальность, на экологические и медицинские параметры, составляющие жизнь человека XXI века. То, что задевает за живое — требует усилий участия и сопереживания.

Вопреки директиве отказа от любых центров и первоочередности проблем текста исследование намеренно контекстуально и топологично. Сопротивление установившемуся режиму происходит посредством отслеживания того места, из которого проистекают или, что одно и то же, к которому стягиваются силовые линии власти и популярности. А разоблачение «незаинтересованности», «игры», «свободы» и «безответственности» обнажает заинтересованность в единых правилах игры и увеличении числа играющих. Двойному кодированию иронии и свободы противопоставляется искренность индивидуального поиска, помноженная на ответственность адекватного ответа на вызов современности. Смена «угла зрения», методологических установок и принципов подхода возможна посредством воскрешения неравнодушного взгляда «изнутри» и чувства ответственности, которые характеризуют специфику отечественной философии на протяжении всей ее истории. А то, что до недавнего времени характеризовалось как недостаток — затруднение эмансипации философии от литературы и литературной критики, — может в современной ситуации обнаружить свой нереализованный потенциал, дать верный взгляд на природу происходящих событий и наметить выход из обозначившихся в XX веке тупиков цивилизованного развития. В XXI веке уже нельзя не корректировать интонацию при утверждении своих выводов, тематизации актуальных предметов анализа, реанимации рефлексии, истины, субъекта.

Названные обстоятельства определили выбор в исследовании такого угла зрения, который обращен к проблеме начала разума, сознания, социальной общности и культуры, то есть постижения в истории той границы, отметка которой позволила бы увидеть начало того, *в свете чего мы видим и понимаем*. История проведения демаркационной линии между человеческим и дочеловеческим, а в самом человеке между животными, дикими, «первобытными» и собственно человеческими проявлениями есть история забвения сознания, в котором стратегии отношения к универсуму выстраивались на иных, «неразумных», точнее будет сказать,

[2]Rationalität: ihre Entwicklung und Grenzen / Hrsg. von Leo Scheffczyk — Freiburg; München: Alber, 1989. — 479 s.; Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания / Отв. ред. и сост. И.Т. Касавин. — М., 1990. — 464 с.

иноразумых (которые следует понимать почти нейтрально, подобно тому как мы используем слово «иностранный») основаниях и, наконец, есть история стерилизации процесса производства и воспроизводства жизни различных сообществ.

Вплоть до настоящего времени рефлексию определяют исходя из нее самой, начальный и конечный пункты мысли отождествляются, идеалы научности соотносятся с идеалами разумности, посему она доказывает ровным счетом то, что итог мысли совпадает с его началом, иными словами, исходные допущения адекватны идеалам научности, а самосознание разума строится как саморефлексивная система.

Рефлексия является предметом изучения многих дисциплин. Так, в статусе объекта исследования психологической науки она задается как действие, направленное на наблюдение актов сознания, понятого как психологическая реальность или как «процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний»; психологическая рефлексия, понятая «как регистрация причин определенных переживаний относит тем самым переживания к их предметному источнику»[3]. Но и в психологической науке рефлексия остается во многом неразработанным феноменом. Исходной точкой нынешней активности исследований рефлексии является признание того, что «после краткого расцвета интроспективной школы в основных направлениях психологии прошлого века — психоанализе, бихевиоризме, когнитивной психологии — от понятия «интроспекции», по сути, отказались»[4]. Признание того факта, что редукция рефлексии к самонаблюдению — интроспекции — исчерпала свой ресурс, открывает иные ресурсы аналитики, обусловливающие рефлексивные процедуры. Заметим, что термин «рефлексия» в философском и психологическом дискурсе произносится по-разному: в философии ударение падает на втором — рефлексия, а в психологии на третьем — рефлек-сия — слоге.

Ведя речь о рефлексии, нельзя обойти стороной вопрос об истории ее осмысления. Наряду с изучением рефлексии как принципа человеческого мышления, проблемами типологии научной рефлексии и анализа науки как саморефлексивной системы важной составляющей является история формирования этого понятия. Согласно немецкому мыслителю Герберту Шнедельбаху, «история понятия „рефлексия“ удовлетворительным образом еще не написана. Контекст метафоры света, которому принадлежит это понятие, указывает на него в неоплатонической традиции и ее латинской рецепции»[5]. По прошествии времени со дня написания этих строк с сожалением должны констатировать, что ситуация не изменилась. Тематизация рефлексии в истории ее становления задает ее историческую типологию, которая выглядит следующим образом: вслед за эмпирической (Локк), логической (Лейбниц), трансцендентальной (Кант), абсолютной (Гегель) деконструкцией метафизики и рефликсивного разума, то есть отказа от процедуры самообоснования, самопрозрачности и самотождества рациональных актов (постструктурализм), предлагается концепт топологической рефлексии. Наряду с продумыванием существа дела топологической рефлексии предлагается демонстрация ее применимости.

Здесь усилия направлены на описание реальности, которая находится за границей рационального постижения, сталкивается с ограничениями, налагаемыми на способ описания инструментальным характером языка и принятой формой обоснования. За границами рефлексивного постижения классического типа оставляют как то, что никогда не было фактом

[3]Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. — М.: Высш. шк., 1998. — С. 49.

[4]Я привожу здесь точку зрения В.П. Филатова, высказанную им в: Обсуждаем статью «рефлексия» // Эристемология & философия науки. — 2006. — Т. VII. — № 1. — С. 171.

[5]Schnädelbach H. Reflexion und Diskurs: Fragen einer Logik der Philosophie. — Frankfurt am Main; Suhrkamp, 1977. — S. 13.

сознания — бессознательное, так и формы сознания, господствовавшие в «дорефлексивную» эпоху, но ныне пребывающие в модусе архаического остатка и исключающиеся из структуры целеполагания. Таким образом, целью исследования является обретение такого концептуального пространства, в котором бы снималось противоречие — между эсхатологическим языком экологов и футурологов, чувствующих угрозу, и строгой логикой научного анализа. Способ, каким может быть рефлексия в этом пространстве, определяет иной тип дискурса, поскольку в рефлексию — фундаментальным условием ее осуществимости — включается особенность топографии того объекта, который подвергается рефлексии. Поиск такой рефлексии, которая не столько учитывала бы специфику своего объекта, сколько специфическим образом разворачивалась бы в пространстве его существования. Конкретные условия становятся онтологической предпосылкой рефлексии, ее принципиальной обусловленностью. Следовательно, одной из основных целей работы является поиск языка описания наличной ситуации и, что не менее важно, той единственно верной *интонации*[6], с которой уместно говорить на этом языке, то есть осмысленное соединение концептуального аппарата с уместностью его использования.

Рефлексия близка и в то же время качественно отлична от генеалогии: рефлексия обнаруживает подобное, генеалогия — иное, в первом случае мы получаем тождество с самим собой (праформу), во втором — различие (формообразование). К этому добавим неэлиминируемую проблему принципиальной несопоставимости рефлексии топоса и топологическую рефлексию, рефлексии архаического и архаической рефлексии. Если рефлексивный разум мыслит архаику как иное себе, как то, от чего необходимо отталкиваться, то вторая, оглядываясь назад, ищет себе подобное в тотеме, образе первопредка, в космоустроительном мифе, в сакральной жертве. Эта несовместимость (в рациональном проекте) усиливается разнонаправленностью интенций, во-первых, осуществить проект разума и доказать легитимность переустройства мира на его основе, во-вторых, вписаться в тело рода и, вписавшись, утвердить единый Космос, подчиненный одним и тем же законам.

Есть сфера, где рефлексивные процедуры доходят до исчерпанности, до предела, а в итоге — до своей противоположности. Таковой сферой является нигилизм. Как отнестись к нигилизму сегодня? Не затмили ли его понятия «тоталитаризм» и «терроризм»? Не остались ли нигилисты в эпохе бомбистов и анархистов? Может, он лишь указывает на эпоху, подобно якобинцам? А если содержание термина все же отражает реальность нашего времени, то каковы его новые формы? Ряд поставленных вопросов удостоверяет общее место: по поводу нигилизма всегда возникает много больше вопросов, чем дают ответов.

Важным примером разрешающей способности топологической рефлексии является обращение к перформансу как жанру изобразительного искусства. Перформанс как и топологи-

[6]«Вторая половина XX века окончательно закрепила тождество художественного творчества и интеллектуальных процедур, стирая противоположность позиций художника и философа. Ныне концептуальность в равной мере нужна как тому, так и другому. Современный художник, если он не закладывает момент осмысленности и саморефлексии в свою работу, то неизбежно воспроизводит уже написанную картину нерефлексивно, становясь стилизатором, декоратором известного, хранителем стиля. В свою очередь, мыслитель не может сегодня не заботиться о наглядности, демонстративности и экспрессивности своих тезисов [2]. Жиль Делез, размышляя о противоречии философии и литературы, замечает следующее: «Иногда говорят, что философы не владеют стилем, что они плохо пишут. Так делают потому, что их не читают. Если говорить только о Франции, то Декарт, Мальбранш, Мэн де Биран, Бергсон, Огюст Конт даже рядом с Бальзаком выглядят хорошими стилистами. Так и Фуко тоже вписывается в этот ряд, это великий стилист. Концепт приобретает у него достоинства рифмы даже музыкального произведения, как в его любопытных диалогах с самим собой. Его синтаксис дает прибежище всему блеску, всему сверканию видимого, но иногда сворачивается, как ремень, сгибается и разгибается, рвется вместе с высказыванием. Затем этот стиль, в его последних книгах тяготеет к какому-то успокоению, ко все большей и большей сдержанности, ко все большей и большей чистоте…» (Делез Ж. Переговоры. 1972–1990. — СПб.: 2004. — С. 134).

ческая рефлексия есть форма победы над хаосом через уподобление, форма установления и воскрешения порядка. Хаос неизбежно возрастает, если дисциплина не нарушается. Прерывая привычный круговорот, перформанс хранит топос хаоса в культуре известным со времен архаики способом, который предписывает мистерия, праздник, карнавал. Они позволяют раствориться в хаосе, отдачу себя ему с тем, чтобы пробудить механизмы самоорганизации. Уподобляясь его силовым линиям и состояниям, перформанс с ритуальной серьезностью делает то, что вырывает его из повседневности, что в пространстве культуры и разума не может заявить о себе без утраты образа нормального человека. Перформанс не только интерпретирует жизнь как драму, ибо только «человек есть бытие, посредством которого ничто входит в мир»[7], но и возвращает предельную серьезность и архаическую весомость сакрального жеста. Работая с негативными состояниями: страхом, неуверенностью, абсурдностью, перформанс дает надежду на исцеление, на целостное полнокровное ощущение жизни.

Наиболее близкие к философскому статусу положения теории фотографии обретают себя в теме онтология фотографии, которая стала возможна после того, как философская мысль прошла через ряд радикальных поворотов, тематизированных как онтологический, лингвистический, иконический, медиальный и пр. Сделав последний, мышление уже не может выйти за границы визуального образа, поскольку за картиной всегда уже стоит другая картина, а за образом — другой образ. Вместо бытийного измерения существования мы оказываемся перед бесконечной глубиной образа. Осознание сверхзначимости визуального образа индуцирует усилия исследователей проникнуть в его существо. Этому способствует регистрация эволюции от аналогового образа к цифровому и к его повсеместному господству в медиасфере; все это начинается с образа фотографического, и с гибелью его фотографичности — в смысле аналоговости — заканчивается.

Топологическую рефлексию объединяет с позой логоса — концепта, вводимого в аналитику фотографии, — то обстоятельство, что она пронизывает все эшелоны культуры, воспроизводит себя во всех ее сферах. Стилистические признаки этой позы мы обнаруживаем во всех жанрах. Каждому направлению в искусстве соответствует своя поза. Логос задает не только оптику наблюдения, но и самонаблюдения. Фотограф парализует взглядом объекты в тех фазах движения, которые заданы его представлением, его пониманием, эстетическим резонансом. Но у фотографа не один, а как минимум два разнесенных во времени взгляда. Первый — в момент съемки, второй — отбора. И здесь два различных мира. Первый раз художник ищет признаки, подтверждающие его взгляд, в мире, который содержит все взгляды, а второй взгляд направлен на оценку различных фрагментов уже-схваченного и разложенного на столе материала, из которого отбирается соответствующий построению целого, серии, разные стадии приближения к законченному образу, выражающему его точку зрения.

Книга завершается главой «Коммуникант: конфигурация медиального тела». Коммуниканты — это актуальная форма интерсубъективности. Им нет числа, как нет ограничений в пространстве и во времени. Коммуниканты неотделимы от средств коммуникации, как минотавр неотделим от лабиринта, а кентавр — от воображения. Они создают среду в той же мере, в какой медиасреда создала коммуникантов. Коммуникант — и жертва, и безжалостный инструмент коммуникации. Осцилляция в конкретном акте коммуникации между передачей информации и трансформацией участников коммуникации производит единое тело медиасубъекта. В конечном итоге существо коммуникации требует тождества получаемой информации и трансформированного сознания — медисферы. Средства информации (неизбежно отбирающие и *видоизменяющие события*) являются результатом качественной трансформации системы коммуникации. Именно это усреднение — результат трансформации — выну-

[7]Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии. — М.: Республика, 2000. — С. 61.

ждены делать специалисты по различным практикам коммуниакции, которые, повторю, имеют дело не столько с людьми, сколько с коммуникантами — этим субститутом голливудского репликанта в системе «реальных» отношений. Теоретики с легкостью используют термин, который не обратим на себя: сам-то коммуниколог, лингвист, социолог не переводит его в самоназвание.

Аналитика существа коммуникантов происходит в рамках медиафилософии, дисциплины, конституирующейся в наши дни. Ее адекватным методом представляется топологическая рефлексия. Она позволяет указать на отличие медиафилософии от теории коммуникации. Средства коммуникации — *вне нас*, а медиа — *внутри нас*. Если средства коммуникации *сообщают, отдаляя людей*, то медиа и есть сообщение, то есть: они видят, слышат и чувствуют нами, они инстанции вкуса и нормы; ничего не запрещая прямо, они эффективно делают это косвенно через рекламу «подлинного» и «настоящего» и «самого лучшего». Они неотделимы от нас.

Благодарности

Книга, как и топос, — продукт многих обстоятельств. На нее влияли беседы, дискуссии, обсуждения со студентами, коллегами, оппонентами. Я не могу не выразить благодарность Я.А. Слинину — одному из первых прочитавших рукопись и сделавшему ряд ценных замечаний; Г.Р. Хайдаровой, Ю.М. Шилкову, А.Н. Исакову, Е.В. Алымовой, прочитавшим рукопись или отдельные фрагменты ее и высказавшим важные замечания и давшим ценные советы; моим немецким друзьям и коллегам Дитмару Камперу, Хартвигу Франку и Кристофу Вульфу, с которыми я обсуждал концепт топологической рефлексии и которые поддержали мое направление мысли. Не могу не поблагодарить своих непримиримых оппонентов и хороших друзей С.Л. Фокина и А.Б. Паткуля, в полемике с которыми оттачивались многие тезисы книги. Отдельная благодарность Л.В. Шиповаловой за долготерпение и настойчивость в требовании завершить работу. Не могу также не сказать добрые слова в адрес переводчиков Т. Гольденвейзера и Е. Рыйгас, переведших тексты с латинского языка специально для этой книги. И, наконец, благодарю всех работников и членов Центра медиафилософии и отдельно Е.С. Павловича за помощь в работе над рукописью и веру в то, что топологическая рефлексия является тем концептом, который востребован политически активными и неравнодушными к судьбам своего города, своей страны интеллектуалами.

I. РЕФЛЕКСИЯ В СВЕТЕ РАЗУМА

1. История термина

Словарный консенсус

Надлежит начать с истории термина «рефлексия» (от лат. reflectere, в англ. яз. reflection, во фр. — rèflexion, итал. — reflessione), который в философский словарь был впервые введен немецким мыслителем и энциклопедистом, прозванным современниками марбургским Платоном Рудольфом Гоклениусом (Rudolf Göckel) в 1613 году. При этом в статье Reflexio лишь незначительная часть посвящена тому, что мы отнесли бы сегодня к философскому определению термина. Вот оно: «Традиционно известно также, что физики приписывают рефлексию уму. Рефлексия разума означает для них, что всякий раз после того как разум что-либо

постигнет, он снова подумает, что постиг это, и снова рассматривает и определяет, с какой точностью и каким способом он познал это, и, если необходимо, совершает это действие снова; и опять обращается или возвращается к себе или к произведенному действию. (Схоласты называют это рефлексией по поводу действий, которые сами являются плодом рефлексии.) Утверждают, что разум обладает божественной природой и нематериален. Короче, рефлексия разума — это глубоко внутреннее действие, которое познает вновь как себя самого, так и свои действия и форму.

Итак, Reflecti (вращаться назад) в переносном смысле приписывается движению ума, при помощи которого ум как бы возвращается к себе самому. Понимать вещь — это одно, а понимать собственно умственное напряжение — совсем другое, (то есть, принятое разумом сходство в отношении понятой вещи, о котором идет речь выше) — то, что совершает разум в то время, как он возвращается к собственной работе»; львинная же доля объема статьи говорит о рефлексии как разделе физики, в частности, у Рудольфа Гоклениуса термин Reflexio мыслится как синоним таким понятиям, как Reflecti и Reflexus» (см. фрагмент перевода статьи Р. Гоклениуса в приложении). Тем не менее, философский статус термина подтвержден в появившихся позже словарях И. Микраелиуса (1653) и Е. Шовена (1692, 1713)[8].

Акцентируя оптическое ее содержание, Иоган Микраэлиус[9] под общим термином Reflexus помещает статьи Reflexum eft, Reflexus in opticis Radius, Reflexiones Radiorum, а также Reflexio, которое он выводит от греческого слова ἀνάκλασιτ — изгиб, загнутость, преломление, выпуклость. Определение — оно же полный текст словарной статьи — Микраэлиуса звучит так: «Reflexio Greece dicitur ἀνάκλασιτ alias Reverbatio: & facit duplicem angulum unum incidentiae & alterum Reflexionis. Angulus autem incidentiae senper est in angulo Reflexionis aequalis. Sic in Fig. LX corpus lucidum A radius incidentiae A.B. Radius ad oculum B. Reflexus C.B. Hinc intelligitur lineam A.C. & lineam C.B. esse prorfus aequales. Ideoque Radius reflexivus si perpendiculariter cadit, in speculum ut F.C. F.C. in D.E. in seipsum reflectitur. Si autem oblique cadit in speculum, oblique quoque in aliam partem reflectitur, non aliter ac pondera ad corpus solidum linealiter projecta per eandem lineam reverberantur; oblique autem projecta perpartem in oppositum consimilem resiliunt» («Рефлексия (греч. ἀνάκλασιτ) вообще означает «отражение», (которое) создается двойным углом: один — угол падения, другой — угол отражения. Угол падения всегда равен углу отражения. Так, на фигуре LX освещенное тело А. — луч падения А.В. Луч, обращенный к глазу В, — отражение С.В. Отсюда ясно, что прямая А.С. и прямая С.В. совершенно равны. И потому луч отражения, если падает перпендикулярно, в зеркале как F.C. в D.E. отражает сам себя. Если же падает [луч] в зеркало наклонно, то наклонно и отражается в другую сторону, точно также как твердое тело, брошенное по прямой, по той же самой прямой отбрасывается обратно, брошенное же наклонно, отскакивает в противоположном направлении похожим образом»)[10].

Энциклопедическая выверенность авторства термина и даты его появления, а также устойчивый интерес к понятию «рефлексия» в европейской традиции метафизики тем не менее оставляют целый ряд вопросов. Метафора света, на которую указывают и внутри которой

[8]Goklenius R. Lexicon philosophicum, quo tanquam clave philosophiae fores aperiuntur informatum opera et studio Rodolphi Goklenii Senioris. — Francofurti, 1613. — P. 970–973 (см. перевод этой статьи в приложении). Отдельный интерес представляет словарь рациональных терминов философии, которые освещены естественным светом разума: Chauvin E. Lexicon rationale, sive Thesaurius philosophicus, ordine alphabetico digestus, in quo vocabula omnia philosophica explicare, et universe quae lumine naturali possunt. — Rotterodami, 1692.

[9]В устоявшейся отечественной традиции написания вышеназванных фамилий обращает на себя внимание позиция В.К. Шохина, предлагающего писать Гоклений и Микраэлий (См.: Шохин В.К. Онтология: Рождение философской дисциплины // Историко-философский ежегодник ’99. — М.: 2001. — С. 117–126).

[10]Micraelius J. Lexicon philosophicum terminorum philosophis usitatorum ordine alphabetico sic digestorum ut inde facile liceat cognosse. — Ienae, 1653. — P. 957–958. (Перевод с лат. Е. Рыйгас.)

оказывается мысль последующих исследователей, в статье Гоклениуса метафорой еще не стала; свет был естественной основой, род сущего, физически ощутимый и геометрически описываемый. По сути, статья Гоклениуса «рефлексия» наряду с метафизическим прочтением света как естественной стихии истины излагает физические модели, схемы отражения и преломления света, известные оптике той поры.

Рефлексия до рефлексии

У всякого философского понятия есть своя предыстория. Есть она и у термина «рефлексия». Осмысление его содержания в западной традиции возникло задолго до обретения латинского имени. Согласно специалистам, досократики рефлексии не знали. Первые попытки ее тематизации можно обнаружить у Платона в положении о «знании знания»[11] и Аристотеля, который использует выражение νόησίς νοήσεως (noêsis noêseôs) (лат. intelligentia intelligentiae) в следующем контексте: «ум мыслит сам себя, если только он превосходнейшее и мышление его есть мышление о мышлении. Однако совершенно очевидно, что знание, чувственное восприятие, мнение и размышление всегда направлены на другое, а на себя лишь мимоходом»[12]. Обращенность ума на себя избыточна в мифопоэтическо традиции, в устоявшемся укладе жизни. Его обращенная на себя активность есть признак кризиса, проистекающего из осознания того факта, что все обращения *во вне* для решения возникших проблем зашли в тупик. Тогда, отбросив «мимоходность», избыточность и непродуктивность самонаблюдения, ум начинает мыслить себя, результатом чего старый порядок приносится в жертву. Так утверждается продуктивность и, как следствие, превосходство нового порядка. Ум же обретает новые основания.

Так, на свое самочувствие человек обращает повышенное внимание тогда, когда он болен. На основе самоощущения, самочувствия вплоть до XX века ставился диагноз, поскольку преимущественный доступ к болезни и боли был у самочувствия. В формуле «сказавшись больным, он не пошел на службу» читаем отклик того представления о теле, доступ к которому на основе объективных данных был ограничен. Только человек решал, болен ли он или нет (болит ли у него голова, например, или нет). В Никомаховой этике Аристотель расширяет поле самонаблюдения: схему самочувствия он переносит в область умозрения: «мы, пожалуй, чувствуем, что чувствуем и понимаем, что понимаем (ώστε άν αίσθανώμεθ', ότι αίσθανόμεθα, κάν νοώμεν, ότι νοούμεν, τό δ' ότι αίσθανόμεθα ή νοούμεν, ότι έσμέν (τό γάρ είναι ήν αίσθάνεσθαι ή νοείν))»[13]. Как видим, праформа мысли, содержащая рефлексивный акт, обходилась без термина ἐπιστροφή, перевод которого на латынь дало современное его звучание.

Термин ἐπιστροφή (приведение в круговое движение, возвращение, свивание, поворот) в обычном словоупотреблении того времени имел значение: поворачивание, обращение назад, обращение внимания, забота и, наконец, что важно для нашего исследования, обращение или пребывание в каком-либо месте[14]. Примером такого обыденного понимания термина

[11]Платон. Харм. — 171 с.

[12]Аристотель. Мет. XII 9, 1074b34. Это же, по сути, говорит и Монтень: «Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю взгляд в себя. <…> Всякий всматривается в то, что пред ним, я же всматриваюсь в себя» (Монтень М. Опыты: В 3 кн. Кн. 1 и 2. М.: Наука, 1979. С. 587). Версия обращения в форме созерцания себя присутствует в даосской традиции: «Собой созерцай себя» написано в 54-м чжане Даодэцзина. Чжуан-цзы, говоря о мудреце находит у него качества самонаблюдения: «глазами видит глаза, ушами слышит уши, сердцем внимает сердцу» (Цит. по: Малявин В.В. Чжуан-цзы. — М., 1985. — С. 92–93). Даосская традиция дает свое понимание рефлексии, сравнение которой с западной было бы весьма продуктивно.

[13]Аристотель. Никомахова этика. IX; 9, 1170 a 32.

[14]Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. Изд. 5-е. — СПб., 1899. — Стлб. 508–509.

Аристотелем может служить контекст употребления его в трактате «Экономика»: «Ореец Харидем, владевший некоторыми местностями Эолиды, ввиду того что Артабаз шел на него походом, нуждался в деньгах на воинов. — (b) Сделав объявление в подвластных ему полисах о том, что никому нельзя держать в доме никакого оружия, в противном случае угрожал штраф, размеры которого он назначил в объявлении, он оставил его без внимания и нисколько не заботился о приведении его в исполнение (οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν ἐποιεῖτο). Люди, думая, что он сделал это объявление просто так, продолжали держать у себя то, что каждый уже имел. А он, внезапно произведя обыск в домах, взыскивал установленный штраф с тех, у кого находил какое-нибудь оружие»[15]. Для нас важно подчеркнуть последнее «обращение или пребывание в каком-либо месте». Оно указывает на то, что у человека всегда есть возможность в меняющемся мире остановиться и мысленно пройти весь пройденный путь, выйти из пребывания и, *на время*, остаться покоящимся, обратить свое внимание на исходное положение дел, которое в пределе, надо заметить, всегда ассоциировалось с золотым веком, жизни *вместе* в мире и в данном месте. Но это не все. Но пребывание включает диалектику изменчивости и покоя; обращение назад — процедура, требующая удержания усилия. Оно развернуто во времени и им же ограничено. Но пребывание в определенном месте, вместе с ним, с его динамикой интересов и постоянством географических координат, входит в понятие контекста. Место — арена конфликтов: столкновения сил, интересов и желаний.

Сделаю важную оговорку, развитие которой потребовало бы специального исследования, но на этом этапе оправданную тем, что нам близки истоки той идеализации, которая впоследствии примет вид «естественной установки» трансцендентализма. В греческом мышлении остановка человека была не от усталости и бессилия, но от осознания чего-то крайне важного[16], прозрение чего парализовало движение к ближайшей цели (здесь неизменно вспоминаются истории, связанные со стоящим на площади и о чем-то размышляющим Сократом). Прозрение неотрывно связано с *припоминанием* — превращенной формой рефлексии, — которое останавливает человека «словно пораженного молнией», ибо мысль приходит, «когда «она» хочет, а не когда «я» хочу» (Ницше). Для рефлексии необходимы тело и место. Предельный случай рефлексии являет нам образ зеркального отражения, на что указывали и Гоклениус, и Микраэлиус. Рефлексия невозможна вне и без флексии, без той зеркальной, полированной поверхности, дающей тождество угла падения и отражения. Но сколь редко в мире встречаются зеркальные поверхности, столь же редко проявляются состояния чистого сознания, не нуждающегося в теле, и также редко в реальной жизни, в политике, в повседневности возникают акты рефлексии. И то и другое есть исключительный или, строго говоря, идеальный случай, дающий логическую последовательность и принудительность. Поскольку режим западной рациональности, кажется, свергнут окончательно, а не его место приходит установка на равноценность разумов различных культур, постольку настоятелен

[15]Аристотель. Экономика (1351b31) // Вестник древней истории. — 1969. — № 3. (Перевод с древнегреческого Г. А. Тароняна.)

[16]«Греческая философия возникает во времена расцвета греческого театра <…> Вместе с театром «теория», пересмотр (обзор прошедшего) значительных событий человеческой жизни, исходя из возвышенной (в том числе местом в театре. — В.С.) и внешней позиции, становится чем-то само собой разумеющимся и уже не нуждается в дополнительных обоснованиях» (Stegmaier W. Philosophie der Orientirung. — Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. — S. 515). Театр в отличие от мистерии более «теоретичен», «рефлексивен», поскольку заставляет человека оглядываться назад, пересматривать, думать, оценивать. Именно в этом смысле, видимо, необходимо понимать фразу Ницше о том, что «опера есть рождение теоретического человека» (KSA 1.116) или, как перевел А. Михайлов, «опера рождена теоретическим человеком, критиком-любителем, а не художником, — один из самых озадачивающих фактов во всей истории искусств» (Ницше Ф. Рождение трагедии. — М., Изд-во Ad Marginem, 2001. — С. 176). Теоретическим, то есть созерцающим, оглядывающимся, а потому критически переосмысливающим произошедшее. Пение хора — выражение общего мнения, того, что принято на агоре, согласия большинства.

поиск соответствующих им — разуму каждой культуры — типов рефлексии. Проблема места, предстающая то пространством, то ландшафтом, то топосом, входит в круг живейших интересов культурологов, социологов, философов и прочих гуманитарно ориентированных мыслителей. Выражение интересов сообщества, проживающего и на этом месте, климате, культурной традиции, требует соответствующего типа рефлексии.

Рефлексивные акты производит не чистое сознание, но человек, наделенный и телом, и местом, и сознанием, и временем. Рефлексия и чувствительность есть общее свойство тела, подобно памяти, которая есть не только память души, но и тела, находящегося в определенном месте. Ведь момент припоминания, как обстоятельно показал К.П. Шевцов, всегда связан с *определенным* местом: «Представление о памяти как своеобразном месте, в котором пребывает прошлое и готовится будущее, можно считать не только древнейшим, но наиболее разработанным в истории размышлений о памяти и времени»[17]. Такое пребывание в определенном месте включает также момент вненаходимости, на которое указывает смысл приставки эпи- (ἐπι), указывающей на законченность (во времени): *эпи*лог (после-словие), *эпи*стема, *эпи*криз, — и акцентирующей внешне положение (в пространстве): *эпи*граф, *эпи*тафия (надгробие), *эпи*гон.

В истории рефлексии до «рефлексии» уместно обратиться к мысли Плотина: «Мышление, вообще говоря, имеет место, когда многое сходится в одном тождественном субъекте и объединяется сознанием последнего в одно целое, как это бывает, когда субъект мыслит самого себя; это есть мышление в строгом и высшем смысле слова»[18]. Мышление или ум, которое и есть «наивысшее», когда оно есть целое, есть одно, или по Плотину, Единое. Единственная его реальность — сознание, которое объединяет начало и конец мысли, когда оно мыслит себя самого. Иной, и, пожалуй, более интересный сюжет мысли о рефлексии мы получаем тогда, когда обращаемся к началу, к замыслу, к желанию ума мыслить о самом себе, поскольку здесь начало (а в генеалогии это всегда так) не совпадает с концом, итогом, следствием. Присмотримся внимательнее к тому, как Плотин трактует начало, увязывая его с желанием: «Ум возжелал Единое не как Ум, но как *взгляд еще невидящий* — исходит же он из этого желания как *наполненный множественностью*, произведенной самим взглядом; сначала желание присутствует в нем только как неопределенная фантасма, ничего не запечатлевающий взгляд — но в самом акте видения он схватывает *иное* и в этом схватывании сразу же становится Умом, т.е. *видящим* взглядом»[19]. В данном его положении возжелавший единого ум предстает еще не как ум, не в качестве ума, но все же — он ум в потенции; оговорки: еще не видящий, ничего не запечатлевающий, желание его неопределенная фантасма — указывают на начало пути (на то начало самосознания, о котором Гегель метко подметил, что рефлексия здесь, «вместо того чтобы уловить сущность,.. только *чувствует* ее»[20]) от смотрения к видению, от неискушенного к искушенному, от непосвященного к посвященному состоянию. Вести ли нам здесь долгую речь о границах определенности, о самотождестве, нарушаемом актом видения, видящим иное, становящимся видящим взором, взором обретшим умозрение? Довольствоваться ли нам здесь различием генеалогии и рефлексии? Поскольку речь здесь идет не о рефлексии ума в *качестве ума*, сколь бы ни хотелось это видеть в свете нашего предприятия, но о первичном опыте самосознания начинающегося с отмеченной Аристотелем обратимости (самообратимости) чувств, постольку мы имеем дело с логикой становле-

[17]Шевцов К.П. Продолжение в другом. (Реконструкция медиа-пространства.) Изд. 2-е испр. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского философского общества, 2009. — С. 32.

[18]Плотин. Сочинения. — СПб.: Алетейя, 1995. — С. 86.

[19]Цит по: Шичалин Ю.А. «Третий вид» у Платона и материя-зеркало у Плотина // Вестник древней истории. 1978. № 1. С. 148–160. (Эннеады V 3 11. 4—12).

[20]Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. IV. — М., 1959. — С. 117.

ния сознания. В истории любого мыслителя всегда был опыт, благодаря которому юношеские идеалы становились убеждениями, смутные томления истины переходили в осознанные устремления, а предчувствия обрели логические аргументы. В акте видения, в процессе концентрированных усилий, сосредоточения открывается иное (вспомним, что Плотин был мистиком и его опыт практики обретения духовного видения и медитации не мог не войти в трактовку *видящего* взгляда). Иное, простому взгляду недоступное, но доступное видящему взгляду ума, того ума, которым пользуются при второй навигации.

Историю становления сознания из акта индивидуального самосознания дает обращение к другому важному для неоплатонической традиции мыслителю Проклу. В его «Первоосновах теологии» в § 42: «Все самобытное способно возвращается к самому себе», читаем: «В самом деле, если оно (самобытное. — *В. С.*) эманирует из самого себя, то оно и совершит возвращение к самому себе. «…» Действительно, если оно эманирует только из самого себя и, эманируя, не возвратится к самому себе, то оно никогда не будет стремиться к собственному благу, а именно к благу, которое оно может самому себе доставить…». Следующий параграф, усиливая, утверждает тождество *самобытности и возвращения к себе* (первичных актов рефлексии): «Все способное возвращаться к самому себе самобытно»[21]. Самосозерцание есть самопознание, ибо сказано: «В самом деле, ясно, что то, что по энергии возвращается к себе, познает себя, ведь познающее и познаваемое [здесь] одно»[22], как одним и тем же является исходное (эманирующее) и конечное (возвращенное к себе). Тождество гарантирует единое пространство. Но это единое пространство (*epistrophe pros heauton*) в неоплатонической традиции является пространством интеллегибельным. Поэтому представляется, что все-таки термин этот и сама идея возвращения как третьей стадии эманации есть, как считается, неоплатоническое изобретение.

И если обратиться к неоплатонизму, то тогда стоило бы учесть следующее. Принцип ума есть тождественность и инаковость: прямо при посредстве этих предикатов описывается всеобщий ум, а косвенно (через предикаты «подобие» и «неподобие») — частный. Строго говоря, именно частный ум является субъектом рефлексии, так как из-за своей неустранимой частичности он нуждается в целом, в надежных основаниях, которые обретает через самоуподобление и самонеуподобление и через уподобление всеобщему уму и неуподобление другому — частному. И сами предикаты «подобие» и «неподобие» связаны с рефлексией — если не забывать прямой смысл данного слова. Изображение включает уподобление и за счет этого оказывается отражением. Таким образом, частный ум при посредстве рефлексии обретает качество умопостигаемости. К данному выводу приходит, к примеру, В. Йегер: «Греческий индивидуум обретает свободу и пространство для осознанного самостоятельного движения не благодаря тому, что он дает волю субъективному началу, а благодаря тому, что он духовно объективирует себя»[23], то есть в неоплатонической традиции означает уподобляться общему, прото-образу, умопостигаемому.

Заострив вопрос об истоках поиска надежных оснований в древности, обратившаяся впоследствии способностью «мышления о мышлении», спросим себя, имела ли данная форма прообраз в архаическом Космосе древних? Если да, то, что было предтечей, а, быть может и аналогом рефлексии в дофилософскую эпоху? Что в «смутном» прошлом предуготовило эту процедуру самонаблюдения-возвращения? Так как любая ставшая форма имеет историю своего становления, то и форма мысли подвластна этому правилу. Замечу лишь, что обращение назад, вопреки предрассудкам, гораздо более неопределенно, многослойно и случайно, чем проекты и прогнозы, фантазии и упования, всецело обретающиеся в настоящем, в при-

[21]Прокл. Первоосновы теологии: Гимны. — М., 1993. — С. 41.
[22]Там же. С. 67.
[23]Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека. Т. 1. — М., 2001. — С. 155.

вычном и, усилившись, отправляются в будущее[24]. Будущее линейно, поскольку является заключительным шагом предвидения, логики настоящего, экстраполяции, утопии, логики Римского клуба, логики, которая проявляется в идеях экологического катастрофизма. Прошлое — всегда непредсказуемо, во-первых, как факт непредвиденного, непредсказуемого в еще более далеком прошлому прошлом, но осуществившегося и, во-вторых, как момент уже-утраченного, забытого, вытесненного, поэтому невероятного. У каждого настоящего свое прошлое.

Если согласиться с мыслью Ж.-П. Вернана, что «миф мог подготовить и предвосхитить творчество философов», то, конкретизируя, можно предположить, что исток процедуры рефлексии лежит в архаических жертвоприношениях, составляющих сердцевину ритуалов и мистерий. Ибо жертвоприношения по сути исполняли ту же роль *обретения надежных оснований* порядка жизни, ее безопасности и осмысленности, которую позже стала выполнять рефлексия. Осторожность в высказывании данной гипотезы вызвана осознанием сложности установления на языковом, археологическом, этнологическом и историко-культурном материале трансформации древних ритуалов в рефлексивное самосознание. Есть ряд свидетельств, позволяющих наметить путь ее обоснования. Архаический ритуал жертвоприношения сопровождался речевой активностью, а в пантеонах богов различных мифологий писец занимал одно из важных мест. Высоким положением он обязан, по-видимому, тем, что «в ряде традиций (в частности, в древнеиндийской) в круг жрецов включался и „грамматик“, в функцию которого входил контроль над правильностью (адекватностью) речевой части ритуала». Речь грамматика, не удваивающего реальность, не метафорически описывающая ее, но метонимически расчленяющая целостную реальность, поразительным образом совпадает с тем, что совершает жрец: «они оба расчленяют, разъединяют первоначальное единство, идентифицируют разъединенные его части, т. е. определяют их природу через установление системы отождествлений (в частности, с элементами макро- и микрокосмоса), синтезируют новое единство, не только артикулированное и организованное, но и осознанное через повторенное и выраженное в слове, что придает достигнутому „вторичному“ единству (усиленному) силу вечности (ср. мотив вечного, „неуничтожаемого“ слова, непобедимого временем), с одной стороны, и большую структурность, лучшую воспринимаемость и, следовательно, возможность быть верифицируемым — с другой»[25]. Нетрудно увидеть в способе обретения надежных оснований для соответсвующего способа жизни, поведения и рода занятий посредством жертвоприношений сходства с осмыслением обращения чувства и мысли на самое себя, с появлением самосознания: сознанием, опирающимся уже не на родо-племенную традицию, когда закона еще не было, а все исполняли то, что принято, но законы полиса, государства.

---

[24]Не все, привычное в нашей культуре, привычно для другой. Так, «в амазонских джунглях перуанские экологи обнаружили неизвестных прежде аборигенов, живущих в изоляции. Тропические части Южной Америки — бассейны Амазонки и Бразильское плоскогорье — один из последних «заповедников» для древнейших племен аборигенов. Их традиции и язык несут в себе уникальную информацию не только о жизни коренных жителей, но и о редчайших видах растений и животных, которые существовали в далеком прошлом.

Недавно учеными было сделано открытие, которое удивило лингвистов. После изучения языка индейцев — аймара — стало очевидно: в сознании и речи этих людей прошлое и будущее поменялись местами. Весь язык аймара оказался сплошь исключением из правил. В пространственно-временной шкале будущее для аборигенов остается позади, а прошлое еще только предстоит лицезреть. До сих пор ученые полагали, что пространственная метафора для хронологии — универсальна и люди привыкли осознавать прошлое как пройденный этап. Был раскрыт еще один секрет особого восприятия мира племени аймара — это различие между „видимый/невидимый“ и „известный/неизвестный“. Абориген считает нужным всегда подчеркивать такое различие. Известное прошлое у них принято помещать перед собой, т.е. туда, где его можно разглядеть, а неведомое — за спину, где оно невидимо и не поддается объяснению» (http://rian.ru/mainline/20071005/82570285-print.html).

[25] Топоров В. Н. О ритуале: Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках / Отв. ред. Е. С. Новик. — М., 1988. — С. 21.

Жертвоприношение и рефлексия

Жервоприношение — основа закона симметрии ран архаического Космоса, закона возмездия, закона восстановления порядка. Жертвоприношение — это остановка, осознание тяжести содеянного: убийства животного, ранения Земли или дерева. Но что значит оглядываться? Идеология покорения и миф просвещения требуют человека цели, который, несмотря ни на что, идет к своей цели, слушать, но не поддаваться чарам, бросать родителей, детей и жен своих и следовать за Учителем, не опасаться, не звать на помощь, но размышлять, удостоверившись увлекать к размышлению о том, что есть, вопреки тому, например, что эллины не «задаются вопросом, что справедливо, а что несправедливо, они считают, что это само собой ясно» (Платон). Традиция живет незыблемостью оснований, нерефлексивностью ритуала, принудительностью того, что «так принято». Символ непослушания традиции — Орфей усомнившийся и убоявшийся, а затем поплатившийся.

Рефлексия всходит на почве недоверия, кризиса, разрушения основ жизни, веры, традиции. Предпосылкой рефлексии явилось обращение в кризисные ситуации жизни архаического племени к опыту животных, которые в сходных условиях делают так-то: ищут новые места жизни, мигрируют и добывают в ином месте воду и пищу. Человек делал то же. Эхом того опыта служит рекомендация отпустить вожжи и довериться инстинкту лошади, которая сама выведет из лесного пожара. Обращение к животным — это обращение к себе, к их чистому инстинкту выживания (поскольку, чем более зрелые культурные механизмы регуляции, тем далее человек от непосредственно инстинктивного отношения к природе). Рефлексия — орудие выхода из тупика, обретения новой перспективы, нового устройства жизни.

Весьма вероятно, что сформированный Анаксимандром закон, согласно которому мир существует «по роковой задолженности, ибо они выплачивают друг другу правозаконное возмещение (diken kai tisin) неправды [ущерба] (adikias) в назанченный срок времени» (Фр. B.1).[26] Разработку данного мотива нахожу у тонкого знатока античности Е. Алымовой, которая сближает Геродота с Эсхилом на том основании, что оба разделяли идею преступления как расплаты, как необходимого поступка восстановления справедливости и порядка: «Hybris Агамемнона и Менелая состоит в том, что они принесли в жертву многие жизни ради Елены и разрушили Трою, а они, в свою очередь, отвечали на hybris Париса… Орест совершает преступление, совершая матереубийство. Его hybris есть ответ на мужеубийство, которое совершила его мать, Клитемнестра. Причем это преступление совершается ради восстановления порядка»[27]. С присущей человеку потребностью упорядочить мир, «античное упорядочивание» — не иерархиезация, а гармонизация мира, наделение его человеческим смыслом»[28]. Обретение порядка востребовано было, в первую очередь, поиском способов выживания, что и определяло смысл архаического закона. Так, в эпоху Пиндара (518–438) не только индивидуальный смысл, но и «частная, семейная, личная жизнь отодвинута на второй план: каждый помнит, что такая жизнь возможна лишь в том случае, если общество гарантирует каждому гражданину защиту от внутреннего притеснения, а каждый гражданин обществу — за защи-

[26]Для объемности видения-понимания, для облегчения крайне трудного проникновения в смысл сказанного приведу перевод этого изречения В.С. Соколова, который использован при переводе работы М. Хайдеггера «Изречение Анаксимандра» (Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. — М., 1991. — С. 28): «Из чего происходит рождение всего сущего, в то же самое все исчезает по необходимости; ведь все получает возмездие друг от друга за несправедливость и согласно порядку времени».

[27]Алымова Е. Миметическое начало поэтического искусства // Античный мимесис. — СПб., 2008. — С. 24–25.

[28]Светлов Р.В. Античный символ Неба-Времени // Символы в культуре / Отв. ред. В.В. Савчук. — СПб., 1992. — С. 23.

ту от внешнего врага»[29]. Жертвоприношение давало средство победить страх перед неизвестностью, перед неодолимо наступающими изменениями, обуздать присущую человеку зависть и ненависть («Да пересечем мы проявление ненависти!» (Ригведа)), обрести безопасность и гармонию.

Есть еще одна черта, объединяющая ритуал жертвоприношения и рефлексию: *остановка и пребывание в каком-либо месте*. В потоке смены дней, ежедневных забот и неотложных дел, должно быть место празднику. Место во времени и пространстве. Они свершались по закону. Но законы писались для каждого полиса отдельно, затем «законы эти санкционировались божеством, и у каждого полиса, филы, кружка есть свой бог-покровитель, которого граждане чтут, чествуют, радуют жертвоприношениями, шествиями и играми»[30]. Как и мудрецу, пишущему законы, так и поэту, пишущему оду городу, Пиндар, например, указывает следующие правила: «Будь подобен умом коже наскального зверя (т.е. осьминога): со всяким городом умей жить, хвали от души представшее тебе. Думай нынче одно, нынче другое». Забота о благе места, о нравах и обычаях людей — условие выживания, для которого нужны и ритуалы и рефлексия. Стоит ли говорить, что забота о местопребывании как условие выживания человека является прообразом экологического сознания.

Обращенность к тому, как и чем мы мыслим, характеризует вполне ощутимый сдвиг античной мысли в направлении, которое в развитой форме стали называть рефлексивным сознанием. Полагаю, продуктивно проследить становление рефлексии из дорефлексивных процедур в древних философиях Индии и Китая, а также следы последних в их ранних философиях. Ибо идеология философского самосознания, отличного от предшествующей традиции (опирающейся на интуицию и непосредственное принятие того, как было), требует опосредствования само-рефлексией, позволяющей обнаружить основание уверенности в себе, поэтому «рефлексия как само-мышление мысли, как само-осознавание обладало значительной эмансипирующей функцией, которая конституировала автономность „cogito“, субъекта, мысли»[31].

Процесс саморефлексии описывается или, что здесь едино, строится по принципу самоотражения сознания и соответственно в его терминах[32]. Следует отметить, что «объектом» рефлексии является то, что уже есть (ибо невозможно представить себе отражение в зеркале того, чего нет), что уже наличествует в знании, в чувствах, в понимании. Следовательно, обращение назад является «всего лишь» подтверждением верности исходного и, одновременно, конечного пункта мысли, плана, действия. Не расширение и констатация неизвестного, не проявление неявного, не метод генеалогии, конечной целью которого было показать как нечто возникает и становится тем, чем раньше не было, метод, игнорирующий всякого рода самоданности, естественности и очевидности, но отображение в акте рефлексии своего пути, пути из себя к себе. *Взаимоузнавание начального и конечного момента движения*. Взаимо-

[29]Гаспаров М.Л. Древнегреческая хоровая лирика // Пиндар Вакхилид. Оды. Фрагменты. — М., 1980. — С. 334.

[30]Там же.

[31]Gasché R The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. — Cambrige, Massachusetts and London: Harward University Press, 1986. — P. 13.

[32]В этой связи обращает на себя внимание позиция Фуко, высказавшего гипотезу о существовании трех великих форм упражнений мышления или «три великие формы рефлексивности». Первая из них рефлексивность «в форме памяти. В этой форме рефлексивности доступ к истине открывается как ее узнавание». Вторая, имеет дело с формой мышления, развернутой прежде всего стоиками. «В этой форме рефлексивности на первом месте — проверка того, что мыслится, испытание себя самого как субъекта, который на самом деле думает то, что думает, и который действует так, как он думает; испытание, нацеленное на некоторое преобразование субъекта, учреждающее его в качестве, так сказать, морального субъекта истины. И, наконец, третья великая форма рефлексивности, рефлексия мысли над собой — это, я полагаю, то, что можно назвать методом» (Фуко М. Герменевтика субъекта. — СПб., 2007. — С. 499–500).

узнавание посредством взаимоотражения и самоподтверждения себя в зеркальном образе[33]. Рефлексия явилась условием обретения суверенности философского знания, поиском новых оснований и обоснованием его исключительного статуса. Именно reflexion, а не reditio или conversio — о чем ниже — стала способом эмансипации философии от формы знания, основанной на традиции. Данное обстоятельство можно увидеть в том, что Аристотель называл νόησίς νόησεως, рефлексивность служит средством, методом и основанием мысли в своих же пределах. Посредством подобной процедуры мысли о самой себе, философский дискурс пытается обнаружить ясность своих оснований и полную свободу от каких бы то ни было внешних допущений, т. о. подтверждая требование быть «первой» философией, философией, прочно стоящей на своих собственных основаниях и поэтому способной снабжать основаниями все другие науки. Он, наконец, уклоняется от поиска генеалогии и становления в пользу подтверждения ставшего. Но путь становления не был забыт вовсе. Он присутствует в текстах, которые принято считать последовательным воплощением идеи тождества.

Именно влияние Прокла, как полагает автор статьи «Reflexion» Лотар Цан в словаре по истории философии, обусловило перевод термина ἐπιστροφή на латинский язык как reditio и reditio in seipsum (возвращение, движение назад) или conversio (обращение, возвращение, круговорот)[34].

Reditio, conversio, reflexio

Придерживаясь аристотелевского различения деятельного (актуального) и потенциального разума, Альберт Великий критикует теорию универсального деятельного разума (intellectus universaliter agens) Авиценны (Ибн Сины) и отождествляет этот разум с Богом, чей свет разумения сообщается индивидуальным деятельным разумам отдельных людей; выступает он и против учения Аверроэса (Ибн Рушда) о едином, вечном и общем для всех разуме. Согласно Альберту, разум, который до опыта подобен «чистой доске» (tabula rasa), приобретает знания посредством двух интенций. Первая интенция (intentio prima) есть акт интеллекта, направленный на внешний объект, и сформированное таким образом понятие об определенной вещи; вторая же интенция (intentio secunda) предполагает акт интеллектуальной рефлексии, объектом которой выступают уже не вещи, а содержание самого мышления (т. е. универсальные понятия, логические законы и т.п.). При этом универсалия как абстракция, содержащаяся «после вещи» (post rem) в человеческом разуме, представляет собой лишь один из трех возможных способов существования общей природы вещей: два других — это идея, пребывающая «до вещи» (ante rem) в божественном уме, и пребывающий «в вещи» (in re) индивидуализированный материей вид (species), или форма. Помимо рациональной способности человеческая душа обладает, по Альберту, сообщающей ей моральные нормы совестью, а также волей, способной совершать свободный выбор. Субъектом естественной каузальности (в частности, астрологической) является лишь тело человека, душа же его не подвержена ей. В научных трудах Альберта представлены практически все возможные в то время области

[33]Э. Кассирер замечает, что «рефлексивный процесс понимания в тенденции своей противопоставлен творческому процессу» (Cassirer E. The Logic of the Humanities. — Yale Univ. Press, 1966. — P. 158). На том основании, что рефлексия возвращается к уже-бывшему, к исходному, что уже было в основании, в исходе мысли М.К. Мамардашвили делает свой вывод: «Рефлексия есть одна из тавтологий — сознание сознания» (Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. — М., 1993. — С. 270). В этом же ключе трактует рефлексию Ж. Делез: «Философия не является коммуникацией, как не является она ни созерцанием, ни рефлексией: она представляет собой творчество, и даже революционное по своей природе, так как она постоянно создает новые концепты» (Делёз Ж. Переговоры. 1972–1990 / Пер. с фр. В.Ю. Быстрова. — СПб., 2004. — С. 177).

[34]Zahn L. Reflexion // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 8. / Joachim Ritter, Karlfried Gründer (Hrsg.). — Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1992. — S. 396.

естествознания: зоология («О животных»), ботаника («О растениях»), минералогия («О минералах») и т.д. Он прославился и как практик-натуралист, проводивший эмпирические исследования, а благодаря приписываемым ему алхимическим («Книга об алхимии») и оккультным трактатам он прослыл магом и чернокнижником. В средневековой мысли четко различалось обращение разума во вне, на мир вещей и обращение к себе. Устремления к себе, то есть устремления второго порядка (intentio secunda [formalis]) означало в схоластической философии то, что мы принимаем под рефлексией, это рефлексия, или устремление разума на свои собственные состояния, возникшие как результат «intentio prima», т. е. акта интеллекта, устремленного на внешние объекты. Аристотель в своем учении о душе приписывал ей именно эти «вторые устремления», объектами которых считались, например, понятия «энтелехия», «форма» и др.

Представитель позднего номинализма Уильям Оккам (ок. 1300–1349), обобщая идеи предшественников, пишет: «Почти все отличают вторичные интенции от первичных, не называя вторичные интенции реальными качествами в душе, следовательно, так как они не [существуют] реально вне [души], то могут существовать в душе лишь как объекты (objective)»[35]. Трактовка уже одного этого положения Оккама могла бы составить объем самостоятельного монографического исследования. Ибо смещение и весьма значимые оттенки содержания терминов, присутствовавших в то время, но утратившие сегодня, не только притупляют остроту выпадов против оппонентов, но и закрывают очевидности того времени. В душе, сопричастной как ничто другое с человеком, качества обретают статус объектов, существуют «лишь как объекты», намечая путь априоризма, путь всеобщности присутствующей в индивидуальном интенции (лат. intentio — намерение, замысел, стремление). Но в современном языке гуманитарных дисциплин интенция соотносится с интенцией сознания трасцендентального субъекта. Означая направленность сознания, мышления на предмет, интенция не мыслится как объект (objective).

В арабском аристотелизме, а затем в схоластике «Intentio prima (first intention) — первая интеция, первичный смысл; вещь рассматривается в соответствии с первичным смыслом, когда она рассматривается в соответствии с тем, что свойственно ей как вещи. Это может происходить путем простого акта мышления, благодаря которому известно, что вещь есть, или путем сложного акта, посредством которого может быть познана некоторая истина, как, например, что человек — это животное существо. По Дунсу Скоту (ок. 1266–1308), первичная интенция направляет внимание на определенные объекты конкретной человеческой деятельности. У. Оккам определил первую интенцию как имена, выполняющие роль суппозиций, замещающих имена сущих вещей, которые могут быть субъектами или предикатами суждений. Когда мы говорим «человек бежит», то слова выражают реальное состояние дел. Intentio secunda (second intention) — вторая интенция, вторичный смысл; имя исследуемой вещи, происходящее не из самой вещи, но из акта мышления, как, например, «человек — это вид», а «животное — это род». Вторичная интенция, по Дунсу Скоту, направляет внимание на умопостигаемое, относящееся к сфере разума, на которое воздействуют реальные вещи, исполняющие роль случая, повода, провоцирующего разум к активности. У. Оккам определяет вторичные интенции как имена, выражающие простой контекстуальный объем, предметом которого являются общие понятия»[36].

---

[35] http://www.philosophy.nsc.ru/study/bibliotec/History_of_Philosophy/occam/occam.htm. (Дата обращения: 11.01.2010.)

[36] Антология средневековой мысли. — СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 2001. Не лишним будет обращение к энциклопедически выверенному определению интенции, оттеняющему современное содержание термина: «В схоластической логике и психологии понятие, используемое для описания способа бытия или отношения между разумом и объектом. В познавательном процессе разум, так сказать,

Не вдаваясь в повторение инвектив Мартина Хайдеггера, указавши на искажения смысла философских понятий античности в латинском мире[37], заметим, что путь от ἐπιστροφή к reflexio был долгим и неоднозначным. Поиск наиболее адекватного термина отражал эпистемологическую суть процедуры удостоверения знания. Цель — стоять на своих собственных основаниях, на основаниях самого разума. Замечу, что драматичная история конкуренции изначально равнозначных терминов reditio, conversio, reflexio еще не написана и ждет своего дотошного исследователя. Отдельные шаги на этом пути можно обнаружить в исследовании Жан-Баптиста Ботюля: когда Канта упрекают в том, что он вел такую спокойную жизнь, то упрекают на том основании, что он не знал никаких кризисов. Заслуживает ли вообще мужчина, который не знает никаких кризисов, того, чтобы его называли мужчиной? И что это, собственно говоря, за философ, который не пережил никакой внутренней революции, который не испытал того переломного момента жизни, когда посвящают свою жизнь делу истины? Греческое слово, соответствующее тем моментам, в которые бытие, нисходя с истинной вершины духа, производит переворот, звучит epistrophe, христианское — conversio. История философии свидетельствует нам о подобных случаях обращения: «Августин рассказывает, что он был обращен в христианство, когда читал Евангелие в саду в Милане. У Руссо идея его «Рассуждения о происхождении и основаниях неравенства среди людей» появилась во время солнечного удара, как раз когда он двигался по направлению к Венсенскому замку. Декарт открыл в себе призвание философа ночью, когда он проводил время в одной комнате, в которой было натоплено, в окрестностях Ульма. У Ницше идея о Вечном возвращении впервые возникла на берегу озера в Сильс-Марии в Граубюндене»[38]. Специальное рассмотрение интересующего нас термина обнаруживаем у Пьера Адо, который однако не соотносится с

„направлен“, „интендирует“, „устремлен к“ своему объекту, а вещь, будучи познанной, или вещь в познающем уме имеет „интенциональное бытие“, как, напр., в случае круглого квадрата, который хотя и является невозможной вещью, все же может служить объектом для интенции. В теории действия интенция понимается в другом, хотя и взаимосвязанном смысле, — как действие с намерением (интенцией) достичь определенной цели. Важным вопросом теории действия является вопрос об отношении между наличием определенного намерения при совершении действия и намеренным совершением действия. Необходимо ли намерение для намеренного действия и если да, является ли оно причиной или каким-либо основанием этого действия?» (http://www.britannica.com).

[37]Однако его инвективы, согласно Филиппу Лаку-Лабарту и Жан-Люку Нанси, выражающие настороженное отношение французов к своему северному соседу, имеют четкую идеологическую позицию: «Ни для кого не секрет, что открытие, которое сделали немцы на заре спекулятивного идеализма и романтической филологии (в последнем десятилетии XVIII века, в Йене, где-то между Шлегелем, Гёльдерлином, Гегелем и Шеллингом) состояло в том, что было, дескать, две Греции: Греция меры и ясности, теории и искусства (в собственном смысле этих слов), „прекрасной формы“, мужественной и героической строгости, закона, Града, светлого дня; и Греция погребенная, темная (или слишком уж слепящая), Греция исконная и первобытная с ее леденящими ритуалами, леденящими душу жертвоприношениями и повальными опьянениями, Греция культа мертвых и Земли-Матери, — короче говоря, Греция мистическая, на которой первая с большим трудом (то есть, „вытесняя“ ее) воздвигла себя… Очевидно, что это открытие позволяет выдвинуть вперед новую историческую модель и отделаться от неоклассической Греции (Греции французской и даже, если копнуть глубже, Греции римской и возрожденческой). Что дозволяет Германии с маху отождествить себя с Грецией. Следует отметить, что с самого начала это отождествление будет основываться на идентификации немецкого языка греческому (разумеется, поначалу все это чистая филология)» (Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.-Л. Нацистский миф. — СПб., 2002. — С. 36, 38).

[38]Ботюль Ж.-Б. Сексуальная жизнь Иммануила Канта // Логос. — 2002. — № 2. — С. 179. Возможно Хайдеггер не без тонкого умысла для обозначения своего «поворота» сознательно избрал слово Kehre (f =, –n 1. извилина (дороги), поворот 2. соскок с поворотом (гимнастика), автомоб. разворот; вираж), идущее от старонемецкого глагола kehren (обратить взор к небу, повернуть все к лучшему, 2. но и мести, подметать), а не Wende (1. поворот; оборот 2. перен. поворот, перемена (судьбы и т. п.). 3. рубеж, порог (о времени). 4. выход наверх (борьба)), поскольку в первом слове противоположные значения (обратить взор к небу, повернуть все к лучшему и мести, подметать) более отдалены, позволяют внести момент самоиронии в архитепической для западного мыслителя ситуации возвращения, обращения, поворота и, быть может, обыграть судьбу.

терминами reditio и reflexio: «По своему этимологическому значению слово конверсия (лат. conversio) означает „обращение вспять, переворот“, „изменение направления“. Таким образом, это слово служит для обозначения всякого вида переворачивания или переложения, перестановки, транспонирования. В логике оно употребляется для обозначения операции, при помощи которой переставляются в обратном порядке термины предложения. В психоанализе оно использовалось для обозначения транспонирования психического конфликта и попытки разрешения конфликта в соматических, моторных или сенситивных симптомах»[39]. В данном контексте я буду рассматривать конверсию в ее религиозно-философском значении, вбирающем, тем не менее, как простое изменение мнения, так и существенное преобразование личности. «Латинское слово conversio соответствует фактически двум греческим словам с разным смыслом — epistrophe, что означает «изменение ориентации» и подразумевает идею возврата (возврат к первоначалу, возврат к себе), и metanoia, что означает «изменение мысли», «раскаяние» и подразумевает идею мутации и возрождения. То есть в понятии конверсии имеется внутреннее противопоставление между идеей «возврата к первоначалу» и идеей «возрождения». Эта полярность верности-разрыва наложила глубокую печать на западное сознание с началом эпохи христианства»[40].

Понятие конверсии, претерпев историческую эволюцию, воплощается в различных формах: психологической, социологической, исторической, теологической, философской. Идея конверсии представляет собой одно из понятий, учреждающих западное сознание: и в самом деле, можно представить себе всю историю Запада как непрестанно возобновляемое усилие для совершенствования техник «конверсии», то есть приемов, предназначенных для преобразования человеческой реальности, либо приводя ее к первоначальной сущности (конверсия-возврат), либо радикально изменяя ее (конверсия-мутация, конверсия-перемена). Обратим внимание, что Фома Аквинский в «самопознании» и «самосознании» использовал термин reditio наряду и в равном значении с термином reflexio, но обратим внимание, в их основе все равно лежали оптические коннотации. К «осени средневековья» значение понятия reflexio, сводившееся к оптическим метафорам «возврат к исходному», «поворачивание назад», «возвращение», изменились мало[41].

В связи с термином conversio уместно вспомнить исходное значение термина revolutio. Заметим, что современное значение терминов в актуальном языке общественных и гуманитарных наук, с одной стороны, и естественных — с другой, существуют в разных контекстах, далеко отходя друг от друга, однако их исходные значения были одни и те же. Так, понятие революции появляется в описаниях изменений общества в XV веке, происходя из позднелатинского revolutio (возвращение к началу, поворот). В этом исходном значении оно используется в астрономии и сегодня, отмечая точку начала нового цикла, начала обратного движения. Позже, перебравшись в область наук об обществе, термин «революция» стал использоваться для обозначения неожиданного изменения, поворота, нового состояния или качества. Современное политическое прочтение сводится к насильственному изменению политического строя. В этом качестве впервые оно было использовано в XVIII столетии в отношении Французской революции. С тех пор оно противопоставляется термину «эволюция». В истории науки революция соотносится со сменой парадигм.

---

[39]Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. — М.: Изд-во: Высшая школа, 1996. — С. 27.

[40]Адо П. Духовные упражнения и античная философия / Пер. с фр. при участии В.А. Воробьева. — М.; СПб.: Изд-во «Степной ветер»; ИД «Коло», 2005. — С. 199–200.

[41]Так, Ньютон, говоря об оптике, использует прежнее ее значение «изгиб», а не только отражение и преломление (См.: Ньютон И. Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света. — М., 1954. — С. 117).

Избрав термин «reflexio», а не термины «reditio», «conversio» или «revolutio» для описания надежных основ познания и действия, западная философская мысль, пред-почла процедуры самоудостоверения, самоподтверждения, ситуации радикального изменения, или преображения. Однозначность идеологически была предпочтительнее многозначности, а определенность — неопределенности. Стратегии рационализма шли рука об руку с научным и техническим прогрессом, отринув который мысль вновь оказалась перед выбором новой формы рефлексии. Есть все основания полагать, что таковая концептуализируется в терминах топологической рефлексии.

2. Эмпирическая и логическая рефлексия

Terminus novus

Собственная история философского понятия «рефлексия» начинается лишь в Новое время (поскольку мы существуем на его концептуальной границе, так сказать, изнутри, и, хотим мы того или нет, никак не можем завершить «проект современности»), когда субъект посредством актов сомнения и самонаблюдения[42] обосновывает реальность своего, отличного от внешнего мира, существования и обнаруживает исходную точку аподиктических достоверностей, исходя из которой обосновывается объективный статус научного знания. Формирующийся концептуальный каркас Нового времени должен был соответствовать идее твердости и надежности полученного знания путем критического обзора и проверки предшествующих шагов познания. Правила методического сомнения требовали своей противоположности — несомненности. Эту методологическую функцию стала выполнять рефлексия.

Современное значение термина определил Дж. Локк. И хотя его содержание глубоко укоренено в мысли средневековья (поэтому нельзя сказать, что термин им был изобретен), но именно Локку принадлежит новая трактовка; отказываясь от непосредственной связи рефлексии с физическим отражением и преломлением — вспомним, изначально reflexio означало «изгиб», «загибание назад», «преломление», «выпуклость», «отклонение назад», «отражение» (света, звуковой волны, брошенного во что-то предмета), — Локк же наряду со значением отражения закрепляет за термином «рефлексия» новое преимущественное значение *размышление, рассуждение, соображение*. Здесь мысль оборачивается на самое себя, направляется на самое себя и удерживается на нем, игнорируя привычки большинства людей, у которых это происходит лишь иногда, мимоходом. В этом — условном — смысле термин «рефлексия» может претендовать на статус «terminus novus». Положение Локка, обладающее наибольшим авторитетом и являющееся к тому же исходным пунктом многих размышлений о ее природе, звучит следующи образом: «Под рефлексией я подразумеваю то наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность и способы ее проявления, вследствие чего в разуме возникают идеи этой деятельности»[43]. Если ощущение поставляет восприятие внешнего мира, то рефлексия дает представление о внутренней деятельности духа и сознания и на их основании формирует идеи. В качестве «внутреннего чувства» она является источником идей, подобным «ощущению». Но этот источник «доставляет только такие идеи, которые приобретаются умом при помощи рефлексии о своей собственной деятельности внутри себя»[44]. За привычным словоупотреблением уже трудно понять всю ту революционность

[42]Предварением рефлексивного статуса самонаблюдения можно считать саморефлексию своих опытов М. Монтеня: «Я имею дело только с собой: я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю… я верчусь внутри себя самого» (Монтень М. Опыты; В 3 кн. Кн. 1 и 2. — М.: Наука, 1979. — С. 587).

[43]Локк Дж. Избранные философские произведения: В 2 т. Т. 1. — М., 1960. — С. 129.

[44]Там же. — С. 129.

Локка в трактовке рефлексии. Дело в том, что *внутренняя деятельность духа* была непостижима, она являлась сферой божественной, эзотерической. Наблюдение над тем, как устроен разум, как он действует, как рождает идеи и смыслы, по сути дела, является утверждением некоей позицией власти. Но легитимация, то есть проведение через призму очевидного и понятного, проходит по принятой в философии схеме: редукцией к известному. Подобно тому, как умозрение *строилось по схеме зрения и по законам оптики*, наблюдение ума над самим собой определяется «внутренним чувством» и, подчеркнем, «внутри себя», но по тем же, оптическим траекториям движущегося.

Каждый человек думает, что думает, но далеко не всем дано подумать (Хайдеггер непременно сказал бы продумать) о том, как действует и как проявляется деятельность его ума. После утверждения важности и необходимости такого объекта наблюдения становится ясно, что «нерефлексивная позиция» уже не может быть философской. Отныне она, говоря словами Гегеля, преодолевает «плоскую обыденность рассудка и его спесивое самовозвеличивание над разумом». В Новое время рефлексивная позиция становится неустранимой в двух смыслах. Во-первых, она заявляет о себе задолго до Локка. Представляется, что она уже присутствует в сетовании Александра Македонского: «Александр Аристотелю желает благополучия! Ты поступил неправильно, обнародовав учения, предназначенные только для устного преподавания. Чем же мы будем отличаться от остальных людей, если те самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знаниями о высших предметах. Будь здоров». Ответ Аристотеля гласит: «Ты написал мне о моих чтениях, выражая мнение, что их следовало бы сохранять в тайне. Знай же, что они изданы и не изданы, потому что понятны только слушавшим нас. Будь здоров, царь Александр»[45]. Аристотель указывает на недостаточность текста в качестве *полноты* понимания, вне и без *непосредственного* обучения, без обучения концентрации на том, о чем большинство не задумывается, поскольку нет у них ни досуга, ни навыка, ни осознания важности «первой философии». Подобно эзотерическим изображениям, которые видны всем, но понятны посвященным. Они явлены (как, например, картина в Вилле тайн «Помпеи»), но и не понятны, тем самым выражение «изданы и не изданы» (в другом, более адекватном контексту, — какие издательства во времена Аристотеля? — переводе: «обнародованы и не обнародованы») обретает смысл, раскрывающийся в понятиях глубины и поверхности, экзотеризма и эзотеризма, популярности и избранности. Во-вторых, противопоставление философии и обыденного рассудка справедливо лишь в актуальной ситуации и ложно — в исторической. Путь любой значимой философии подобен ныряльщику, который сдерживает себя, погружаясь все глубже и глубже, но сама философия со временем стремится к поверхности, к овладению рассудком масс, их предрассудками и предубеждением, облекаясь в форму «естественности», «очевидности», «самим собой разумеющимся». Скажем строже: то, что не достигает массовости, остается в графе «тайных эзотерических учений» и чему, по совести говоря, не пристало именовать себя философией, ибо «по природе своей философия есть нечто эзотерическое, не для толпы сотворённое и к приготовлению для вкусов толпы не приспособленное; она потому и философия, что прямо противоположна рассудку, а тем более здравому человеческому смыслу, под которым понимается пространственная и временная ограниченность извечного рода, поколения людей; относительно здравого смысла мир философии в себе и для себя есть мир перевёрнутый»[46]. Но не только философия, но мир радикально переворачивается с ног на голову, и в этом повороте свою роль (не стоит как преувеличивать, так и преуменьшать ее воздействие) играет философия. Обыденное сознание *после философии* продолжает традицию негативного отношения к перевернутому миру акту-

[45]Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 2 т. Т. 2. — М., 1990. — С. 22–23.

[46]Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2 т. Т. 1. — М., 1972. — С. 279–280.

альной философии, поскольку вобрало, переварило и воплотило идеи вчерашней, а потому остывшей (то есть апроприированной обыденным сознанием) философии. На поверку оказывается, что не обыденное сознание противится философии, но старая — новой, классическая — неклассической, неактуальная — актуальной и, наконец, крепко стоящая на ногах — перевернутой.

Но вернемся к локусу Локка. В его представлении рефлексия размыкает пространство внутреннего. Не покидая пределов разума, ум посредством рефлексии движется из себя к себе по железной логике *представления*. Ее «глубина» обеспечена осознанным допущением, которое вменяет рефлексии ответственность за привнесенность в опыт сознания неочевидного, приоткрывая работу того, что отсутствовало прежде в опыте «внешнего чувства». Она есть результат самонаблюдения. Рефлексия, таким образом, есть действие, которое направлено на субъективную реальность. Событие рефлексирующего не тождественно бытию, и, напротив, отрефлексированное бытие не совпадает с событием акта рефлексии, всегда длящимся и разворачивающимся из конечного в начальное, из внутреннего во внешнее.

В истории аналитики рефлексии наибольший интерес вызывает то, что осталось без внимания у Локка — отношение reflection и sensation. Появившись однажды независимо от ощущений, она полагается равноценным восприятию источником познания. Вспомним, что, например, Дж. Беркли (1685–1753), отрицая априоризм, признает: «Я не отрицаю существование ни одной вещи, которую мы можем воспринять посредством ощущений или рефлексии»[47]. У него ощущение и рефлексия уравнены. В дальнейшем же идея, получаемая в результате рефлексии, становится приоритетной: «Рефлексия есть не что иное, как внимание, направленное на то, что заключается в нас, и чувства не дают нам вовсе того, что приносим уже с собой», — заключает Г.В. Лейбниц и добавляет: «интеллектуальные идеи происходят не из чувств… но из рефлексии духа, рефлектирующего над самим собой»[48]. Для всей картезианской традиции, вплоть до Гуссерля, это положение имело силу исходного определения. Но подлинный мыслитель всегда уравновешивает сильную посылку слабой, коей, полагаю, можно считать его краткую дефиницию: «рефлексия есть внимание к тому, что мы есть» (La réflexion n’est autre chose qu’une attention a ce qui est en nous). Но поскольку у каждого настоящего (того, что *есть* сейчас) свое прошлое, то горизонт высвечиваемого настоящим, предметы, выхватываемые лучом саморефлексии, всегда зависят от исходного, того что мы есть в настоящем времени и настоящем месте. То, как мы осознаем себя, что выделяем в себе определяющее нас, что ценим в себе, что полагаем естественным, а что противоестественным, то и опознаем в себе как исходное, то и ищем в прошлом, то и находим.

Когда мы даем определение рефлексии, то исподволь попадаем в ловушку оптической метафорики; широко известно сравнение сознания с лучом света, который, подобно сознанию, высвечивает исток мысли, обращая ее работу посредством рефлексивных актов на себя самого. В метафоре луча, который, преломляясь, возвращает нам образ исходного, производится работа сознания; оно само над собой наблюдает, само себя проверяет, опираясь на свои собственные основания. В итоге мы получаем концепт рефлексивного, а следовательно, и философского, сознания. Таким образом, рефлексия означает способ обретения философией своего специфического языка, полагания оппозиций сознания и предмета мысли, сознания и самосознания, субъекта и объекта. Со времен Декарта за рефлексией утверждается статус центрального методического понятия философии, единственно для того, чтобы в процессе размышления опираться на твердые основания мысли, которая не нуждается ни в какой иной, кроме философской рефлексии. Согласно Ричарду Рорти: «Без представления об уме как зеркале понятие познания как точности репрезентации не появилось бы. Без этого последне-

[47]Беркли Дж. Трактат о началах человеческого знания. — СПб., 1905. — С. 84.

[48]Лейбниц Г.В. Соч: В 4 т. Т. 2. — М., 1983. — С. 51, 81.

го понятия стратегия, свойственная философам от Декарта до Канта, — получение все более точных репрезентаций путем, так сказать, осмотра, починки и полировки зеркала — не имела бы смысла»[49].

Оптическая родословная

Рудольф Гаше в своем исследовании «Амальгамма зеркала. Деррида и философия рефлексии» заостряет тезис о древности ее оптической родословной, полагая, что «это „оборачивание назад“ значимо для понимания рефлексии только в том случае, если вспомнить, что в греческой и латинской философии это понятие имеет оптические коннотации в том смысле, что оно отсылает к действию зеркальных поверхностей, отражающих свет, и в особенности — в зеркальном проявлении или воспроизведении предметов в виде образов»[50]. Начиная с XVII столетия в английском и французском словоупотреблении термин рефлексия, трансформировавшись, начинает употребляться в значениях: «размышление», «соображение», «рассмотрение».

Но что же из всех зеркальных поверхностей надежнее зеркала может отражать и геометрически строго преломлять падающий на него свет, свет разума, который, ударяясь, возвращает в исходную точку мысль вопрошающего. Обратим внимание, как в своей работе «Свидетельство природы против атеистов» Лейбниц ищет надежные основания не столько мысли, сколько величайшему благу жизни «уверенности в вечном существовании после смерти и надежду на то, что благость Божия снизойдет некогда на добрых и невинных»[51]. Надежное основание проистекает из связности тел, и из нее же «происходит их непроницаемость, сцепление и отражение (reflexio)». Но отражение одного тела другим происходит потому, «что его частицы на поверхности незаметно движутся навстречу другому телу. Но предположим, что толкающее тело наносит удар не по той линии, по которой его встретят частицы тела, которому предстоит испытать толчок, а по какой-нибудь другой, например по косвенной; от этого тотчас же должно прекратиться противодействие, сопротивление и отражение, в противоречие тому, что оказывается на опыте»[52]. Дипломатический и юридический опыт Лейбница, несомненно нашедший здесь отражение, говорит о более эффективных, косвенных, проникновениях. (К сожалению, развитие этой темы — в высшей степени интересной и самостоятельной — выходит за рамки нашего исследования.). Внутреннее сходство между актом рефлексии и его результатом определено идеей тождества исходного и конечного акта мысли, в основании которого — парменидовское тождество мышления и бытия. Этой гомогенной системе соответствует чистота мысли, которая способна генерировать осцелляцию взаимопризнания. В любой временной точке этот процесс может быть приостановлен и развернут как совокупность последовательных шагов, ведущих к простейшим элементам и элементарным знакам, выражающим мысль. Из этих элементов строится топография систе-

[49]Рорти Р. Философия и зеркало природы. — Новосибирск, 1997. — С. 102.

[50]Gasché R. The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. — P. 16.

[51]Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т. Т. 1. — М., 1982. — С. 79. Собственно говоря, экзистенциальный и мировоззренческий импульс создания гносеологических конструкций характерен для большинства западно-европейских философов эпохи модерн. Сошлюсь на выводы специалиста: «Декарт представляется образцом знания драматичности и драматургичности философского действа. Он вводит и сводит последовательность как философскую дискурсивность с последовательностью личной биографии, соединяя их в высшей точке — обретения философского основания, становящемся не только (и не столько) основанием науки, но и самой жизни. Философская проблематика у него предстает не отрешенно-познавательной, а заинтересовано-экзистенциальной, само познание становится экзистенциальной процедурой — самопознанием» (Николаев Н.Б. Представление субъекта в новоевропейском классическом дискурсе. Дис. … канд. филос. наук. — СПб., 1998. — С. 17.).

[52]Там же. — С. 81–82.

мы, иллюзия реальности которой столь внушительна, что предстает полноценной, полноцветной и объемной картиной мира. Закон тождества полагает общие качественные характеристики для всех элементов системы. В результате мы получаем взаимозависимость, а вместе с тем и необходимость связывать выбор веры, моральные суждения и гносеологические вопросы.

И все же у постигаемого мира есть изъяны, лакуны и зоны, которые обнаруживают себя в неясных ощущениях, бессознательных импульсах, проявлениях архетипов, в желании и мотивации поступка, которые не схватываются ни картезианской ясностью и отчетливостью мысли, ни трансцендентально-феноменологической рефлексией, ни процедурами осознания. Они охотнее открываются поэтам и художникам, чем ученым и философам. Последние, к их чести, подмечали это нередко: «Может показаться удивительным, что великие мысли чаще встречаются в произведениях поэтов, чем в трудах философов. Это потому, что поэты пишут, движимые вдохновением, исходящим от воображения. Зародыши знания имеются в нас наподобие огня в кремне. Философы культивируют их с помощью разума, поэты же разжигают их посредством воображения, так что они воспламеняются скорее»[53].

Поэтому-то основатели дискурсивности, в силу того что они окликались на вызовы своей эпохи и в своей работе опирались на весь культурный пласт, всегда были глубже и многограннее направления, ими порождаемого. Последователи всегда проще, однозначнее и поэтому логичнее. В отличие от прямолинейной отсылки к прозрачности и точности схематизма поведения складка Лейбница, сколь незначительна на первый взгляд, столь и разрушительна для классической чистоты стиля, классического искусства и классической рациональности. Отказ от равномерности, последовательности и четкости выводов. В интерпретации Делеза складка (pli) является одним из программных концептов Лейбница[54]. Акцент внимания на малые ощущущения, неясные, неотчетливые и непредсказуемые мотивы пробуждает интерес к рассмотрению инфлексии, опирающейся на отказ от рефлексии, от языка классической метафизики и, повторюсь, языка, построенного на основе метафоры света, и внимание к языку, использующему тактильные (отсюда часто появляется боль) ощущения. Именно в складке может обретаться сила сопротивления рационально просчитываемому, калькулируемому и потому предсказуемому поведению. Затруднение и сбой читающего данную делезовскую версию трактовки складки Лейбница происходят из ставшими естественными условиями самого видения оптической метафоры, рождает внутреннюю интригу соотношения рефлексии и неосознанных мотивов. Тревога растет от опасности, таящейся в складке, в неочевидном и неизвестном.

Господство рефлексивного разума в философии в социальном поле приводит к геометризации или стерилизации социального пространства и как следствие — появлению «геометрического ума» (Паскаль). Здесь хочу подчеркнуть не столько причинно-следственные, сколько одномоментные или — если не пренебрегать деталями — отношения, в которых влияние асимптоматично и попеременно, то есть одно влияет на другое, влияют одновременно, влияют в разной степени и интенсивности, и каждый раз композиция сил, выстраива-

[53]Декарт Р. Небольшие сочинения 1619–1621 гг. Копии г-на Лейбница // Декарт Р. Сочинения. В 2 т. — М., 1989. — С. 575. Подобная мысль высказвалась К. Марксом, который отмечал, что в понимании природы капитализма ему дало больше чтение английских романов, давших характеристику всех слоев буржуазного общества и раскрывших «миру больше политических и социальных истин, чем все профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 10. — С. 648), а также Ж. Делез и Ф. Гваттари: «Разве мы виноваты в том, что Лоуренс, Миллер, Берроуз, Арто и Беккет больше разбираются в шизофрении, чем психиаторы и психоаналитики» (Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения // Ежегодник лаборатории постклассических исследований ИФ РАН / Подорога В.А., Ямпольский М.А., Нанси Ж.-Л. и др. — М.: Изд-во Ad Marginem, 1994. — С. 404).

[54]См. Делез Ж. Лейбниц. Складка и барокко. — М., 1998.

ющая картину влияний, изменяясь, переописывается заново. Ставшая со временем сугубо «метафизической проблемой», проблема отражения, «света», «освещения» и «просвещения» способствовала распространению паноптической метафоры (превращением «горнего» света в прямолинейность физического луча[55]), которая имеет раздражающий современников (по сей день) заряд провокативности. С каждым исторически значимым научным открытием и технологическим прорывом появляются новые «эпистемологические метафоры, структурирующие и контролирующие способы нашего мышления. Печатная революция, приписываемая Гутенбергу, не только рассеяла политическое и физическое тело, освободив голос от настоятельной необходимости присутствовать в своем физическом воплощении, но также и спровоцировала напряженный дисбаланс между устной и письменной речью с последующей консолидацией визуального пространства в качестве доминирующей метафоры окультуривания»[56]. Но эпоха «оптикоцентризма» — эпоха господства «окулярной метафоры» или метафоры «Умственного Взора» (термины Р. Рорти в переводе В.В. Целищева) — зарождалась в Древней Греции.

Паноптическая метафорика

Истоки «оптикоцентризма», зародившись в Греции, оказали влияние не только на строй последующей мысли, но и на отождествление слов, которые позже расходятся в своем значении. Так, в древнегреческом языке специалисты обнаруживают родственность слов «видеть» (οψιζ) и «знать» (γνοσιζ), подобно «видеть» и «ведать» в индоевропейской группе (В.Н. Топоров). Вспомним, что вначале Платон высоко оценил зрение: «Глаза открыли нам число, дали понятие и о времени и побудили исследовать природу Вселенной»[57], а затем Аристотель в первых строках «Метафизики» указал на то, что люди от природы имеют влечение к чувственным восприятиям и ценят они «больше всех зрительные восприятия, ибо видение, можно сказать, мы предпочитаем всем остальным восприятиям»[58]. Дально- и мелковидение в западной цивилизации вооружалось оптикой, которая была противопоставлена «духовному» видению, откровению, боговдохновленному слову. Развитие оптики исполнило мечту Галилея наблюдать ненаблюдаемое. А Юм на основании ее успехов шел дальше, надеясь, что «нам, возможно, удастся изобрести новый микроскоп или оптический инструмент, с помощью которого самые мелкие, самые простые идеи моральных наук могут быть увеличены настолько, что станут зримыми и доступными познанию наравне с самыми крупными и заметными идеями, какие только могут стать предметом нашего исследования»[59]. Следует заметить

[55]История возникновения оптики и влияние ее на становление новой картины мира, а также фиксация этого влияния в языке философии рассмотрены в ряде работ: Зеркало. Семиотика зеркальности: Труды по знаковым системам XXII. — Тарту. 1988; Барабанов Е. Зеркало и окно. Художественные авангарды Запада и России: Различия оптиковизуальных кодов // АРТ-АЗБУКА: Словарь современного искусства (http://www.gif.ru/azbuka/media-art.htm); Мельшиор-Бонне С. История зеркала. — М., 2005; Hartlaub G.F. Zauber des Spiegels. Geschichte und Bedeutung des Spiegels in der Kunst. — München, 1951; Konersmann R. Spiegel und Bild. Zur Metaphorik der neuzeitlichen Subjektivität. — Würzburg, 1988; Его же: Lebendige Spiegel. Die Metapher des Subjekts. — Frankfurt am Main, 1991.

[56]Маккафери С. Мак-Люэн + язык × музыка. // Кабинет (Группа исследования современного искусства). — СПб., 1993. — N 6. — С.116.

[57]Платон Тимей. 47a; см. также: Тимей. 47c.

[58]Аристотель. Метафизика. 980a. Эпоха рационалистической мысли, начавшаяся с прославления зрения, завершается прославлением игнорируемых и забытых органов чувств: «Наш нос, о котором, насколько мне известно, еще ни один философ не говорил с должным почтением, — это покамест тончайший физический инструмент, какой есть на свете» (Ницше Ф. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 13: Черновики и наброски 1887–1889 гг. — М.: Культурная революция, 2006. — С. 292).

[59]Юм. Д. Исследование о человеческом разумении. — М.: Прогресс, 1995.

также, что Юм отходит от локковской интерпретации рефлексии и, психологизируя, уравнивает рефлексию с эмоцией, что свидетельствует о неоднозначности пути становления термина. В латинизированной истории термина были попятные движения, отклонения, отказ от чистоты оптических метафор, однако путь, рассматриваемый в исторической перспективе, выпрямляется в магистральную линию. Но примем к сведению, что акт рефлексии не приводит *к реальным* условиям мысли, поскольку он обладает удивительным свойством описывать *собственные средства описания,* приходя к очевидности тождества себя, завершающимся известным: Я есть Я, игнорирующим моменты сбоя, непонимания, малые ощущения, непредсказуемые и немотивированные поступки и действия. «Сознание, увиденное извне, не могло быть неким чистым для себя… Становится очевидно, что это же верно применительно к сознанию, увиденному изнутри»[60]. Симметричности зеркальной чистоты (физики говорят еще — идеальной) Мерло-Понти противопоставляет симметрию нетождественности отражения сознания, взятого извне и изнутри.

Но в примерах, демонстрирующих рост господства оптикоцентризма, нельзя не заподозрить *убывание качества* — скачка — в следующем далее ряде примеров подтверждения тезиса, завершающихся ритуальным, и т.д. Указав на три из них, реже более, автор предлагает на слово поверить полноте индукции, а ряд, оставшийся неназванным, достроить читателю. Но обоих — и автора, и читателя — подстерегает разочарование. Машина языка, принудительности которой не избежать, свою работу проявляет то в уловках здравого смысла, то в трансляции очевидности (то есть наблюдаемых, но теоретически невозможных феноменов). Не является исключением утверждение о господстве паноптической метафорики западноевропейской философии в эпоху «оптикоцентризма», или, иначе, цивилизации образа.

Обратим внимание, что история изобразительных искусств и, в частности, живописи укладывается во временные масштабы оптико-центристской установки, совпадая с ней по интенциям и, в конечном итоге, взаимно поддерживая друг друга. В этом история живописи совпадает с историей новоевропейской науки. Живопись, например, утверждала себя в открытии новых точек зрения, нового способа видения[61], нового типа власти; она занимает достойное место в «истории глаза» в перспективе развития общества, она, наконец, стала действенной социально организованной формой принуждения к иллюзии представления мира. Вспоминаю, что Эрнст Юнгер, анализируя роль зрения в познании мира, сделал вывод, что «терминология видимости (иллюзии) основывается преимущественно на оптических образах». Эта ситуация в культуре и была названа оптикоцентризмом[62]. Уместно вспомнить, что становление и утверждение оптикоцентризма сопутствовали пониманию ведущей роли рефлексии. Добавлю, что во всех определениях современности позиция визуального образа неизменно лидирует.

Начиная с XVII столетия в английском и французском словоупотреблении термин «рефлексия» использовался в следующих смыслах: размышление, соображение, рассмотрение, поскольку ее концептуализация происходит в эпоху *просвещения.* Наряду с утверждением этого нового значения рефлексии происходит геометризация — гомогенизация — социально-

[60]Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. — СПб., 1999. — С. 276.

[61]Об эволюции видения мира на примере изобразительных искусств см.: Ямпольский М. Наблюдатель: Очерки истории видения. — М.: Изд-во Ad Marginem, 2000; Курбановский А.А. Незапный мрак: Очерки по археологии визуальности. — СПб.: Изд-во «АРС», 2007.

[62]Р. Рорти приходит к аналогичным выводам: «Мы утверждаем, что не было никакой особой причины, чтобы эта окулярная метафора захватила воображение основателей западной мысли. Но это случилось, и современные философы до сих пор все еще разрабатывают ее следствия. Понятие „созерцания“ неизбежно делает Умственный Взор моделью наилучшего познания» (Рорти Р. Философия и зеркало природы. — Новосибирск, 1997. — С. 29–30).

го пространства[63]. Это стало возможно именно потому, что сама рефлексия стояла на прочном фундаменте геометрической науки. Именно так, по прямой, опираясь на оптические свойства рефлексии, двигался lumen naturalis — естественный свет разума Декарта и Спинозы, — стремящийся стать геометром в области мысли, наследуя ее — геометрии — строгость доказательства и принудительность выводов. Эта сугубо «метафизическая проблема» в действительности прямо связана с рождением оптики как раздела физики и, повторю, как следствие, утверждением паноптической метафоры, превращающей «горний» свет в прямолинейность физического луча.

Увеличение предметов с помощью оптических приборов воспринималось отнюдь не столь однозначно, как этого желал бы Галилей. Вплоть до конца XVIII века оно носило негативный привкус, поскольку нарушало естественный (предустановленный) порядок и размеры вещей, раскрывая тайну их устройства, сокрытую от человеческого взгляда. Вот характерное мнение автора фундаментального труда по риторике: «Гипербола есть фигура лживая, употребляющая во зло легковерие своих слушателей, передавая им вещи в непомерностях физических стекол»[64]. Следовательно, шлифуя стекла, Спиноза занимался тем, что позволяло увидеть сокрытое, непредусмотренное божественным проектом, тайное. Это *дело ремесленника*, как могло показаться, исходя из современной ситуации, имело оттенок алхимии и магии. Шлифовке стекол показано было светское общение (в его случае переписка) с ведущими умами Европы. Ибо «изобразительный астрономический язык классической эпохи оттачивался вместе с искусством тонкой шлифовки линз и напряженными, полными утомительных нюансов ритуалами светских разговоров»[65].

С паноптической метафорой спорят, ее объяснительный потенциал подвергается сомнению, а следствия — сейчас акцентируют самые негативные — осуждаются. Здесь достаточно вспомнить «вменение» Декарту Мишелем Фуко причастия к репрессии неразумия (к которым в декартовское время относились не только буйные, строптивцы, одержимые, невменяемые, но и либертены, содомиты, святотатцы, атеисты, вольнодумцы) в форме организации инсти-

---

[63]Примером этого является, например, рассуждение Б. Паскаля: «Я хочу сделать понятным, что доказательство на примере доказательств геометрии, являющейся почти единственной человеческой наукой, оперирующей доказательствами потому, что лишь одна она соблюдает научный метод, в то время как все прочие науки в силу естественной необходимости дают знания, в которых есть своего рода неясность (замешательство, confusion), распознавать которую необычайно хорошо умеют только геометры» (Паскаль Б. Предисловие к трактату о пустоте. Соображения относительно геометрии вообще. О геометрическом уме и искусстве убеждать // Вопросы философии. — 1994. — № 6. — С. 122).

[64]Гальяр Г. Риторика в пользу молодых девиц, которая равным образом может служить и для мужчин. — СПб., 1797. — С. 333. К тому же, «сохранилось много свидетельств того, что вплоть до середины XVII века философы и математики, равно как ботаники и врачи, нередко квалифицировали интрументальное зрение как зрение, обращенное на иллюзию» (Иванов К.В. Регистрация наблюдений в оптической астрономии XVII–XVII веков // Историко-астрономические исследования / Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Вып. 30 / Отв. ред. Г.М. Идлис. — М.: Наука, 2005. — С. 82). Тем не менее, изобретение телескопа было воспринято неоднозначно. Так, оно повлекло за собой мировоззренческие коррекции в отношении иллюзии, вначале трактуемой негативно — обман, ложь, преувеличение, искажение и т. д., — а затем «как особой, ни к чему не сводимой ценности. В позднеренессансный период сложилась особая культура восприятия иллюзии, трактующая последнюю не только как нарушение нормального режима оптического восприятия, но как неотъемлемую часть любого визуального опыта, а в некоторых случаях — средство укрепления социального престижа. В этом качестве иллюзия начинает эксплуатироваться уже в кабинетах диковинных вещей, столь распространенных в XVI века. Именно необычность этих вещей была их наиболее ценным качеством, сообщающим суверену символическое преимущество перед равными соседями и в какой-то мере обеспечивающим дополнительные гарантии его стремления превосходству» (Там же. — С. 77–78).

[65]Иванов К.В. Регистрация наблюдений в оптической астрономии XVII–XVII веков // Историко-астрономические исследования / Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Вып. 30 / Отв. ред. Г.М. Идлис. — М.: Наука, 2005. — С. 81.

тута принудительного интернирования (психиатрические клиники, возникновение которых совпадает с активной деятельностью Декарта, жестко разводившего разум и безумие). Безумец хранил следы иного мира, был освещен иным светом и говорил от имени божественной реальности, доступ к которой соотносился с праведностью, подвигом и святостью. Юродивый был включен в порядок того мира, который держался безумия, как alter ego разума и человеческого расчета, как инстанции высшего суда в этом мире (вспомним хорошо известную роль юродивых на Руси).

Печатная революция, начавшая отсчет с изобретения Гуттенберга, не только рассеяла политическое и физическое тело, освободив голос от настоятельной необходимости присутствовать в своем физическом воплощении, но также и спровоцировала напряженный дисбаланс между устной и письменной речью с последующей консолидацией визуальной терминологии и знаков власти в качестве доминирующей метафоры западной культуры.

Заметим, справедливости ради, что среди метафор, пронизывающих строй классической философии, кроме оптической принято числить строительные метафоры: фундамент мысли, краеугольный камень, леса теории, здание науки и т.д., а также метафоры ткачества, как, например: ткань мысли, сеть категорий, красной нитью и т.д. Можно продолжить анализ философских метафор изложением позиции Э. Юнгера: «Язык логики богат словами, которым смысл придает рука с ее свойствами как органа осязания. Работу разума усматривают часто как схватывающую, постигающую, как, например, это выражено в словах capio, concipio, comprehendo, saisir, comprendre. Также и tendo с его производными intentio, intension относятся к этому ряду. … Особенный интерес в связи с этим представляет слово conceptio. Оно означает пассивное, женское схватывание идей. Женский орган сравним с рукой: cunnocaptio. Однако следует вспомнить и о молниеносном касании, благодаря которому оплодотворяется яйцо. Мужским является intuition»[66].

Но число строительных метафор и метафор ткачества очевидно меньше. Есть надежда, что найдутся все же пытливые исследователи и систематизируют весь их состав.

Новая эпоха, культивирующая рациональную мысль, эпоха, которая, в конечном счете, сводит человека к функции стоимости труда, к денежному эквиваленту, а его усилия взвешивает на механических весах прогресса, влечет к гомогенизации (геометризации и машинизации) сознания и социального пространства. Ограничивая желание подробности, укажем на косвенное подтверждение глобальной смены установок и ориентиров в мировоззрении человека эпохи перехода от Средневековья к Новому времени. Речь идет о появлении прямой перспективы в изобразительном искусстве, которая утверждает новую точку зрения и исхода света: уже не к человеку, но от него исходит свет, уже не на нем сходятся лучи света высшего (обратная перспектива), но из него исходят лучи, фокусируясь на горизонте в геометрической точке (прямая перспектива, перспектива просвещения и прогресса).

Трансформируются и ориентиры предвидения. Дошедшие в своих существенных моментах до позднего Средневеквья представления о прошлом и будущем радикально меняют в эпоху Нового времени полюса известного и неизвестного. Смысл прежней картины мира «связан с пониманием будущего как «неизвестного», надвигающегося из-за нашей спины «сюда» и естественно противоположным пониманием прошлого как известного, как находящегося перед глазами»[67]. Но, когда будущее становится прозрачным, представимым и просчитываемым, когда с ним связывается прогрессивное развитие, тогда соперничающее течение, доверяющее «темной» истине, изгоняется, носители ее — сумасшедшие — заключаются в помещение, которое ранее было использовано для изолирования больных проказой, а до этого было зверинцем, цирком. Умаление безумца (божьего человека, блаженного) до очевид-

[66]Jünger E. Sprache und Körperbau. Sämtliche Werke. Bd. 12. — Stuttgart, 1979. — S. 82–83.

[67]Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. — М., 1989. — С. 95.

ного всем кожного поражения — болезни — еще одно свидетельство самомнения разума, запутавшегося в своих зеркальных ловушках и оптических преувеличениях зримого. Его не спасает рефлексия своих оснований, так как он в исходном видит подтверждение настоящего (и времени, и способа мысли), а в настоящем — подлинное условие будущего. Эта универсальная процедура не приводит к реальным условиям мысли, поскольку она обладает удивительным свойством описывать собственные средства описания, приходя к зеркальности собственного образа и образа, отраженного другим. Система замыкается и коллапсирует в точке ничто или… бесконечной перспективы.

Кто из чутких не заподозрит убывание качества — скачок, добавит знаток немецкой классической философии — в следующем далее ряде — в ряде примеров, — служащих обоснованию тезиса, завершающихся ритуальным *и т.д.*? Указав на три из них, редко более, автор предлагает на слово поверить полноте индукции, а ряд, оставшийся неназванным, достроить читателю. Но обоих — и автора, и читателя — подстерегает нехватка полноты ряда. Машина языка, принудительности которой не избежать, свою работу проявляет то в уловках здравого смысла, то в трансляции очевидности (то есть наблюдаемых, но теоретически невозможных феноменов). Не является исключением утверждение о господстве паноптической метафорики западноевропейской философии в эпоху «оптикоцентризма», или, иначе, цивилизации образа. Ресурс машины языка выработан, на смену приходит новая машина принудительности — образ. Произведя инвентаризации оптического склада ума, теоретики фиксируют переход от оптической метафорики господствующей текстоцентричной цивилизации к осознанию того, что образ переходит в новое качество: он не отражает и выражает нечто за ним стоящее, но сам является миром. Предельным условием его существования или единственнной реальностью. Визуальность от господствующей метафоры языка становится фундаментальной онтологией.

На фоне голословных, или, что в данный момент одно и то же, очевидных, указаний на пронизанность всего строя философской мысли оптическими терминами и метафорами, которые говорят нами, насколько мне известно, никто не дал себе труд их инвентаризации. Именно такую задачу решала группа исследователей (П. Любимов, Д. Пучков, Д. Селиверстов, А. Смирнова, П. Спирина) на практическом семинаре философского факультета СПбГУ «Стратегии коммуникации». Вот ее результат: безобразный взгляд на проблему, видимость, визуальность, высветить, выявить, горизонт, дальновидность, духовная оптика, естественный свет разума, затмение ума, зреть, зеркало мнений, зрительный ряд, иллюзия, интроспекция, кажимость, картина мира, контраст, кругозор, луч света разума, мировоззрение, миросозерцание, научное светило, невидимое, обзор, отражение, очевидность, перспектива, перцепция, апперцепция, преломление мысли, проблеск мысли провидение, прозрение, просвещение, рассмотрение, ретроспективный, точка и угол зрения, рефлексия, светоч разума, спектр мнений, сфокусировать, усмотрение, умозрение.

3. Трансцендентальная рефлексия

Рефлексия — состояние души

Ресурсы рефлексивного сознания были *выработаны* Кантом. Во-первых, это означает, что Кант впервые тематизаровал рефлексию в качестве трасцендентального условия познания. Кант отказывается сообразовывать наши знания с предметами, полагая, что, напротив, они должны сообразовываться с нашим познанием. Важный момент отказа от скрытого субстанционализма опирается на априорные формы познания, которые определяют сущностную возможность познания. Априорное знание — кроме того, что оно лежит в основе всякого чувственного созерцания, всегда положено в качестве «обращения назад», к условиям позна-

ния. Отсюда и важность функции, которую исполняет рефлексия, поскольку «*рефлексия* (reflexio) не имеет дела с самими предметами, чтобы получить понятия прямо от них; она есть такое состояние души, в котором мы прежде всего пытаемся найти субъективные условия, при которых можем образовывать понятия. Рефлексия есть осознание отношения данных представлений к различным нашим источникам познания, и только благодаря ей отношение их друг к другу может быть правильно определено»[68]. Преодолевая крайности, дающие лишь односторонний образ либо опирающийся на чувство, либо на рассудок, Кант синтезирует их разнородные источники, именуя ее трансцендентальной. Для Канта разделение на логическую, эмпирическую существенно, так как первая «совершенно отвлекается от познавательной способности», а вторая, не отвлекаясь от нее, «содержит основание возможности объективного сравнения представлений друг с другом» и, тем самым, позволяет вскрыть «причину ошибки, кроющейся в амфиболии этих понятий как источнике ложных основопо-

[68]Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3. — М.: Мысль, 1964. — С. 314. Ср. перевод В.И. Молчанова: «Рефлексия (reflexio) не имеет дела с самими предметами, — пишет Кант, — чтобы получать понятия прямо из них, но есть такое состояние души, которое нас прежде всего побуждает к тому, чтобы открыть субъективные условия, при которых мы можем добраться до понятий» (Молчанов В.И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. — М.: Высшая школа, 1998. — С. 10).

В этой связи не могу игнорировать справедливое замечание Ю.О. Орловой по поводу того, что Кант работал с тем истолкованием понятия рефлексии, с которым имела дело современная ему философия. Тезис, в общем-то, очевидный. Неочевидны источники, поскольку к выверенной линии Локк — Лейбниц — Кант, автор, опираясь на исследования М. Лидтке (Liedtke M. Der Begriff der Reflexion bei Kant // Archiv für Geschichte der Philosophie. — 1966. — № 48. — S. 207–216, а также: Liedtke M. Der Begriff der reflektierenden Urteilskraft in Kants Kritik der reinen Vernunft. — Hamburg, 1964), добавляет влияние на Канта разработки рефлексии Христианом Вольфом (1679–1754) и Александром Готлибом Баумгартеном (1714–1762). Приведу первод-изложение Ю.О. Орловой: «Согласно Вольфу: „рефлексия означает направление внимания, которое способно сделать более ясной некоторую часть сложного представления, т.е. сукцессивно направиться на то, что содержится в представлении. При этом сукцессивное направление внимания приводит, во-первых, к тому, что определенные части представленного апперципируются более отчетливо, чем остальные, и тем самым познаются как отличные от прочего содержания представления. Однако, поскольку способность внимания вообще подчинена определениям нашей воли, мы способны, во-вторых, наше внимание направить одновременно на две части представления, которые посредством первой функции рефлексии уже были познаны как различные. Посредством второй функции рефлексии, поскольку она направляет внимание одновременно на две части представления, сравниваются друг с другом различные представления. Сравнивающая рефлексия делает возможным познание признаков, которые равно принадлежат сравниваемым представлениям, т.е. познание соответствий, подобий и тождеств“ (Liedtke M. Der Begriff der Reflexion bei Kant // Archiv für Geschichte der Philosophie. — 1966. — № 48. — S. 208). Далее Лидтке указывает на то обстоятельство, что Баумгартен и Майер, в отличие от Вольфа, понимают рефлексию только в смысле первой функции. У Баумгартена reflexio означает die Überlegung, у Майера das Nachdenken. Вторую же функцию оба обозначают как *comparatio*. При этом Баумгартен переводит *comparatio* как Vergleichung, das Zusammenhalten, Майер — как Überdenken oder Zusammenfassen.

Лидтке отмечает, что Кант и в критический период использует понятие рефлексии в различных значениях, причем, помимо известного различия логического и трансцендентального применения этого понятия, понятие рефлексии обозначает также и деятельность рассудка вообще. Так, цитирует Лидтке, в R 425 (написанной в период между 1776 и 1780) Кант пишет: Рассудок есть способность познавать всеобщее, т.е. способность правил. Способность рефлектировать должно быть является дефиницией рассудка, что следует из примечания в Пролегоменах: «Но всякое наше созерцание происходит только посредством чувств; рассудок ничего не созерцает, но только рефлектирует». В этом широком значении рефлексии (ведь, по-видимому, рефлексия охватывает все функции рассудка), вероятно, сказывается влияние Локка, тем более что рефлексия противопоставляется созерцанию» (Там же. S. 209). Влияние Баумгартена и Майера видно, как полагает Лидтке, на примере R 2878. Эта заметка вместе с R 2876 относится к параграфу 259 «Учения о разуме» Майера. Заметка, которая дает дефиницию рефлексии и компарации, по мнению Лидтке, отчетливо присоединяется к дефиниции Майера (и тем самым Баумгартена): «рефлектировать означает: постепенно осознавать представления, т.е. их удерживать одним сознанием; компарировать: сравнивать их друг с другом, т.е. удерживать их вместе с единством сознания» (Орлова Ю.О. Понятия апперцепции и рефлексии у Канта и понятие рефлексии у Гуссерля // Между метафизикой и опытом / Под ред. Д.Н. Разеева — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С. 240–241).

ложений… с достоверностью определяя и отстаивая границы рассудка»[69], тем не менее, она вписывается в стратегию определения пределов разума, исходя из самого разума (его познавательной способности). Превращение субъективных суждений в объективные происходит, согласно Канту, посредством «рефлексии (Überlegung), которая должна предшествовать всякому суждению»[70], что, однако, не отменяет конечной цели рефлексии — самоудостоверения в верности (всеобщности и необходимости) исходных — априорных — позиций субъекта познания. Отметим, что сведение рефлексии к размышлению (Überlegung) является окончательным закреплением в немецком языке того значения Reflexio, которое, как мы помним, оно приобрело в XVII столетии в английском и французском словоупотреблении: размышление, соображение, рассмотрение. Отказ от логической интерпретации рефлексии, посредством детальной критики позиции Лейбница («так как чувственность была для него лишь способом неясного представления, а не особым источником представлений» — именно его рефлексия названа Кантом логической в противовес локковской эмпирической) и допущение чувственности в качестве одного из источников познания не только не порывает с традицией самопризнания и самоудостоверения, но и дает ей дополнительные основания жизненности — указывает сферу ее полновесного господства, того господства, которому позже было найдено имя «метафизики присутствия».

Рассмотрев эмпирическую и логическую рефлексию, Кант добавил еще один вид: трансцендентальную рефлексию: «Действие, посредством которого я устанавливаю прочную связь между сравнением представлений вообще и познавательной силой, в которой проведено сравнение, и благодаря чему я различаю, сравниваются ли представления друг с другом как принадлежащие к чистому рассудку или к чувственному созерцанию, я называю *трансцендентальной рефлексией*»[71]. Кант вписывает новую страницу в проект рефлексивного знания, страницу тем более важную, что в исследовании познания она становится необходимой его составляющей, поскольку найден новый язык описания единства опыта переживания и его рефлексии в некоем общем им пространстве. Что до смутности и неясности ощущений, того, что впоследствии подымет на щит психоанализ, то в них, в истоках неотчетливых и смутных ощущений, в разрывах ясности или в момент ее ослепительной полноты, открывается «темная» сторона архаики. Трансцендентальная философия обнаруживала новые средства описания структур, позволяющих переводить опыт чувственного переживания в интеллигибельные понятия. Но все эти процедуры находятся внутри обустроенной и самоудостоверяющей себя разумности, вне и без обращения к предметам.

---

[69]Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. Т. 3. — С. 327.

[70]Кант И. Трактаты и письма. — М., 1980. — С. 383. Как мы помним, начиная с Локка термин рефлексия становится синонимом размышления, соображения (см. № 2). Здесь же мы видим противоположную ситуацию. За объяснением ее обратимся к специалистам: «Что касается русской традиции перевода Überlegung (размышление, рассуждение, соображение; überlegen буквально означает – „класть поверх“, Überlegenheit – превосходство над чем-либо) посредством „рефлексии“, то нужно отметить, что так Кант переводит *reflexio*, тем самым интерпретируя латинский термин посредством немецкого (Орлова Ю.О. Между метафизикой и опытом / Под ред. Д.Н. Разеева — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. — С. 242).

[71]Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. Т. 3. — С. 314. (Здесь перевод уточнен В.И. Молчановым.) Данная Кантом классификация видов рефлексии была принята Р. Гаше: (Gasché R. The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambrige, Massachutusettes and London: Harward University Press, 1986) и дополнена им «абсолютной» и «деконструктивистской» типами рефлексии, которые связываются соответственно с именами Гегеля и Деррида. Замечу, что определение гегелевской рефлексии в качестве абсолютной общепринято у исследователей: Wagner H. Philosophie und Reflexion. — München, 1959; Schulz W. Das Problem der absoluten Reflexion // Einsichten. Gerhard Krüger zum 60. Geburtstag. — Frankfurt am Main, 1962; Cramer W. Die absolute Reflexion. Bd 1. — Frankfurt am Main. 1966; Marx W. Absolute Reflexion und Sprache. — Frankfurt am Main, 1967.

Крепость трансцендентального субъекта

Здесь к месту будет отступление. Идя вслед за мыслью М. Хоркхаймера и Т. Адорно, открывшим, что маркиз де Сад показал, *как* может действовать «рассудок, не пользующийся руководством со стороны другого», вне и без обращения к предметам, обратим внимание, что обустройство этой разумности де Сад проделывает основательно и, быть может, избыточно. Он иронично превращает трансцендентального (в буквальном смысле — субтильного) субъекта во всесильного, наделяя его местом силы: «Замок не просто декорация, это само пространство желания». Обозначая дворянство par excellence, замок одновременно репрезентирует избранный класс либертенов вместе с их правами, привилегиями и притязаниями. <…> Таковы замки Роллана, Минского и Бризатесты, но особенно это относится к Силлингу, их совершенной модели: он находится в самой глуши Шварцвальда, его защищают пропасти и высокие стены, в него можно попасть только с проводником и только пешком. Словно всего этого недостаточно, отдается приказ разрушить мост, ведущий к замку, как только четыре господина со своими слугами прибывают на место: «Но это еще не все. Герцог, осмотрев местность, решил, что поскольку провизии в замке предостаточно и нет никакой необходимости выходить из него за чем бы то ни было, то следует предотвратить нападение извне, хотя его едва ли можно было опасаться, а также сделать невозможным побег из замка, вероятность которого была еще меньше. Посему следовало замуровать все двери, через которые можно было проникнуть во двор, и запереться в замке, как в осажденной крепости, дабы ни враг, ни дезертир не отыскали себе лазейки. Это указание было исполнено, после чего уже невозможно было догадаться, где раньше находились двери»[72]. Ни извне не попасть, ни изнутри не выйти. Такова *крепость* трансцендентального субъекта. Но борьба за чистоту его *образа*, за полноту *воплощения* (т.е. отрешенность, невозмутимость, незадетость реальным) ведется не на жизнь, а на насмерть: «Между господами-либертенами все происходит так, как если бы взаимное выживание достигалось лишь ценой постоянного дискурсивного вызова, в бесконечном стремлении превзойти друг друга в выражении сути либертинажа. Этот смертельный потлач, этот теоретический максимализм имеют одну особенность: при первых признаках слабости сообщник превращается в жертву. Начинается игра в чистки: Сен-Фон выносит Жюльетте приговор за то, что она содрогается, когда он посвящает ее в свой план отравить пол-Франции (но, конечно, повествование, поскольку оно должно продолжаться, спасает ее). Сам Сен-Фон, по своему образу мыслей близкий к «черной теологии», устраняется более радикальным материалистом Нуарсеем. Жюльетта и Клервиль приходят к тому, что казнят свою любимую сообщницу, Олимпию, которая оказывается повинна в излишней восторженности. Саму же Клервиль, наиболее радикальную и непримиримую безбожницу, устраняет более сильная Дюран, которая убеждает Жюльетту казнить ее. Либертен принимает эту безжалостную логику уничтожения; более того, он желает ее; она присуща его радикальному отрицанию всех связей»[73], как позже ей с необходимостью будет следовать каждый тоталитарный режим — это логика самовозрастания насилия. Стоит вспомнить и то, что во времена Сада под либертенами числились и философы. Нетрудно увидеть за действиями самоочищения либертена историко-философскую логику борьбы за чистоту трансцендентального субъекта: от субъекта без тела (Декарт), до тотально воздерживающегося от эмоций и суждений субъекта трансцендентально-феноменологического проекта.

Кантовская трансцендентальная рефлексия согласно выводу Х. Шнедельбаха: «Не становится в ряд, следующий за эмпирической и логической рефлексией, а ставится им вне ряда

[72]Цит. по: Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2005. — С. 227–228.

[73]Там же. — С. 384.

последовательности, так как ею устанавливается возможность и полнота условий любого познания, в том числе и эмпирической и логической рефлексии»[74]. Она позволяет произвести редукцию познания к явлениям, исходя из четкого осознания (отслеживания) субъективных условий познания. Кант в немецкой мысли стоит особняком, противится катологизации, характеризующей этапность мысли, гегелевскую ступень: он самоценен, самодостаточен, несводим, настоящ — все это так. Особенно если посвятить исследованию его творчества значительную часть жизни. Но все же отказать в точке зрения, исходя из которой видны не только истоки, но последствия его мысли, мы тоже не вправе. Итак, кантовская рефлексия может рассматриваться и вне ряда эмпирической и логической рефлексии, и в ряду их.

Во-вторых, Кант выработал (в том числе и в значении *исчерпал*) понятие рефлексии. Его трактовка рефлексии как «осознания отношения данных представлений к различным нашим источникам познания» чувственности и рассудка, эмпирических и логических, априорных и апостериорных знаний завершается требованием учета и оговорок вв равной важности их всех. Дальнейшее движение отвергает флексибельность мира, чувственные восприятия как исток познания и эмпирические условия практического действия. Ловушкой ритуального консенсуса дихотомии, в пределах которых осознает и тем самым помещает себя человек, является признание двух миров существования. В первом он принадлежит к чувственному миру, существуя по его законам, он являет себя другому в практических поступках, обусловленных контекстом. В другом же он ноумен, существо мыслящее, сверхчувственное, подчиненное императивным вне времени и места требованиям. Для разных миров у него припасены две познавательные способности: чувственная и интеллектуальная. Они, по Канту, неразрывны: «Без чувственности ни один предмет не был нам дан, а без рассудка ни один нельзя было мыслить. Мысли без содержания пусты, созерцания без понятий слепы»[75]. Но они же, к сожалению, не только не приближают нас к исследуемому мною вопросу о специфике трактовки рефлексии как размышления, с одной стороны, и рефлексии (reflektieren) как отражения, то есть в традиционной оптической метафорике, — с другой.

К пунктам умолчания философии Канта относятся вопросы соприкосновения разума с бессознательным и архаической формой сознания. Если их принять всерьез и продумать основательно, то мы неизбежно попадем в исходный момент конституирования просвещения как способа мысли, как типа мировоззрения. Ибо для мыслящего самостоятельно (по Канту, «максима: всегда мыслить самому и есть просвещение») существенно то, что «он пользуется одной лишь максимой *самосохранения* разума. Стало быть, совсем легко с помощью воспитания формировать просвещение в *отдельных субъектах;* нужно только рано начать приучать умы к этой рефлексии»[76]. Мыслить самому, на собственных основаниях — значит прибегать к рефлексии. Взыскуя очевидности и ясности, ради гарантированности которых он кладет на жертвенный камень смутные и неясные представления Лейбница, обнаруживаешь не только зоны умолчания критическим разумом, но и рационализацию как основу однородности пространства (конституируемого чистым разумом), о которой будем говорить дальше.

---

[74]Schnädelbach H. Reflexion und Diskurs: Fragen einer Logik der Philosophie. — Frankfurt am Main; Suhrkamp, 1977. — S. 95.

[75]Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1964. Т. 3. — С. 155.

[76]Кант И. Что значит ориентироваться в мышлении? // Сочинения на немецком и русском языках. Трактаты и статьи (1784–1796). — М., 1994. — С. 235–237.

4. Абсолютная рефлексия

Теологические истоки

Теологическое в своей глубинной основе[77] течение мысли Гегеля завершилось абсолютным тождеством, обрекая на завершение рефлексивную процедуру самоидентификации: «Дух существенно есть только то, что он знает о самом себе. Первоначально он есть дух только в себе; его становление для себя составляет его осуществление… дух для себя, или опосредственный, понятый еще как тождественная рефлексия в себе и по отношению к другому; дух в отношении, или обособлении; сознание — предмет феноменологии духа». Но прежде снятия крайних моментов мысли он сам дошел до крайности — увидел бездну, но, испугавшись своего безумия, остаток жизни выстраивал многоуровневые заграждения, защищающие его от опыта встречи с негативным во время написания «Феноменологии духа». Жан Валь, французский неогегельянец, — который одним из первых обратился к ранним работам Гегеля еще в середине 20-х годов XX века, замечает: «К своему тридцатилетию Гегель прошел через состояние «ипохондрии». В 1800 г. в одном из писем он упоминает о ночном затмении своей мысли; в 1805, оглядываясь назад, он утверждал, что каждый человек должен пройти через ипохондрию, в которой он чувствовал себя отлученным от мира и от своей органической природы, какими они ему до сих пор представлялись. Таким образом, все дает основание думать, что <…> Гегель познал вечное Нет; и именно в период одиночества во Франкфурте, в этом «несчастном» Франкфурте Гегель сильнее всего ощутил эту идею. Он был похож на героя Гёльдерлина, который видел повсюду только ничто (Hyperion, I), который подобен разорванной веревке (Там же, III) и который обнаруживает вокруг себя только недостаток и противоречие[78]. Замечу, что ипохондрия — это состояние человека, которое в каждую эпоху имело свое имя: меланхолия, сплин, хандра, депрессия. Изменение слова не может не отражать изменение положения человека в обществе, его новые самоартикуляции опыта, изменение его отношения как к окружающей природе, так и природе своего тела. Увидеть связь, а в идеале изменение содержания понятия от ипохондрии до депрессии новым социо-культурным содержанием — было бы весьма продуктивным исследованием.

Жорж Батай, развивая сюжет ипохондрии, приводит слова Гегеля из письма к другу, где «признается, что в течение двух лет думал, что сходит с ума… В некотором смысле, эта мимолетная фраза обладает, может быть, такой силой, какой нет во всем протяженном крике Кьеркегора». Обдумывая признание Гегеля, Батай пишет: «Воображаю себе, что Гегель дошел до крайности. Он был еще молод и подумал, что сходит с ума. Воображаю себе, что он разрабатывал систему, чтобы избежать этого… Заканчивая, Гегель доходит до удовлетворе-

[77]Соглашусь с мнением проф. В. Штегмайера (высказанным им в докладе «Чуждость разума и интеграция посредством разума» на конференции: Kontaktzone Mare Balticum: Fremdheit und im Ostseeraum. Ernst-Moritz-Arndt-Universitdt Greifswald. 04.09.2005), что понять Гегеля без его теологического фундамента невозможно, как соглашусь и с тем, что «гегелевская мысль множеством самых интимных уз связана с опытом войны и террора: путь оружия и путь созидающей/сознающей себя свободы — «образованной негативности» (Н.А. Грякалов). И здесь нет противоречия, как нет его в крестовых походах, инквизиции, огнем и мечом крещении язычников. От чистоты к насилию, от идеального проекта к тотальному господству — шаг не только не большой, но и закономерный.

[78]Wahl J. Le Valheur de la conscience dans la Philosophie de Hegel. — Paris: PUF, 1951. — P. 17. Le Valheur de la conscience dans la Philosophie de Hegel. Paris: PUF, 1951. P. 17. Метафора разорванной веревке Гёльдерлина, видимо, отсылает к шекспировской фразе «The time is out of joint — O cursed spite», «Распалась связь времен». В иной версии: «Порвалась дней связующая нить./ Как мне обрывки их соединить!» (Борис Пастернак), «Пала связь времён» (Кронеберг).

ния, поворачивается спиной к крайности. Терзание умирает в нем»[79]. Гегеля, по всей видимости, устрашило то, что стало судьбой его друга юности Гёльдерлина, который как никто другой прошел до конца путь навстречу ничто и, заглянув в изнанку разума, не увидел себя разумного. Крепость гегелевской системы воздвигнута для защиты от негативного, от истины, которую он сам провозгласил: дух «достигает своей истины, только обретя себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила… только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем»[80], способ сохранить разум и надежность его рефлексивных процедур. По поводу рефлексии в афоризмах Йенского периода Гегель обронил слово «дурная», поскольку она вызвана страхом «углубиться в предмет» и стремлением, «выйдя за его пределы, возвратиться в себя самого… Существенно не только понимание зависимости единичного от целого, но и то, что каждый момент сам по себе, независимо от целого, является целым. Это и есть углубление в премет»[81]. Ранний Гегель столь решительно отличается «от своих поздних работ, что автором «Первой программы системы немецкого идеализма» специалисты упорно считали Гёльдерлина. Поиски воможности преодолеть различия путем веры и любви приводят к выводу о признании за ними силы, способной преодолеть то сознание, в котором вера и разум совпадут. Спекуляция требует самого высшего синтеза сознательного и бессознательного, вплоть до разрушения самого этого сознания, и разум позволяет утопить свою рефлексию абсолютного тождества и свою науку, и самого себя в своей собственной пропасти. И в этой ночи простой рефлексии и резонерствующего рассудка, в ночи, которая является полднем жизни, оба они могут втретиться»[82].

Как отмечает Дьердь Лукач, Гегель «с беспощадной откровенностью, вообще ему присущей» в своих поздних сочинениях говорит «о несчастном состоянии ипохондрии, терзаниях и разладе с самим собой». Говоря о юношеском возрасте, он переносит на него свой опыт, признавая, что у юноши идеал субъективен и оторван (идеален) от жизни. Переход к реальной жизни всегда болезнен. «Этой ипохондрии … едва ли кому-либо удавалось избегнуть. Чем позднее она овладевает человеком, тем тяжелее бывают ее симптомы»[83]. Лукач же в духе социально-экономической детерминации делает следующий вывод: кризис Гегеля так и остался бы строкой его личной биографии, если бы он не отражал социального противоречия того периода. Гегель приходит к «необходимости поднять это противоречие до уровня философской субъективности. От простой констатации противоречия своего личного существова-

[79]Танатография эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Сост., пер. и коммент. С.Л. Фокина. — СПб., 1994. — С. 138.

[80]Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. Т. IV. — М., 1959. — С. 16. Подобный же мотив мы встречаем у непримиримого оппонента Гегеля Артура Шопенгауэра, связывающего осознание негативного с рефлексией: «У человека, вместе с разумом, неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти. Но как вообще в природе всякому злу сопутствует средство к исцелению от него или, по крайней мере, некоторое возмещение, так и та самая рефлексия, которая повлекла за собою сознание смерти, помогает нам создавать себе такие *метафизические* воззрения, которые утешают нас в этом и которые не нужны и не доступны животному» (Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа // Шопенгауэр А. Избранные произведения. — М., 1993. — С. 81).

[81]Этическое прочтение «дурной» рефлексии можно обнаружить у Достоевского: «Я… ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться… к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного… никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что горечь обращалась, наконец, в какую-то позорную, проклятую сладость и, наконец, — в решительное, серьезное наслаждение! Да, в наслаждение, в наслаждение! …Бывают ли у других такие наслаждения? …Наслаждение было тут именно от слишком яркого сознания своего унижения» (Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. — М., 1956. — С. 137–138). Возвращаться к себе, признавать себя безнравственным — сделал гадость — и претворять отвратительное в наслаждение.

[82]Цит. по: Валь Ж. Несчастное сознание в философии Гегеля. — СПб., 2006. — С. 273. (Гегель Фрагмент системы).

[83]Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 3. — М., 1977. — С. 88.

ния Гегель переходит к познанию противоречивости не только всеобщего, диалектического характера не только буржуазного общества… но и всякой жизни, всего бытия, всего мышления. В этом заключается философская гениальность Гегеля… Франкфуртский кризис завершается первыми формулировками диалектического метода»[84]. Негативное отношение к пережитому опыту выразилось в оценке такого сосредоточенного на своей единичности опыта, сознания, которое *чувствует* только себя, поэтому «содержание, на которое направлены его усилия, есть не существенное, а самое низкое, не всеобщее, а самое единичное, то мы видим только некую ограниченную собой и своим мелким действованием, себя самое высиживающую, столь же несчастную, сколь и скудную личность»[85]. Так он рассчитался с ипохондрией, со своим отчаянием, с кризисом.

Но Йенский период, ипохондрия и эпоха «Феноменологии духа» миновали. Наступило время собирать камни и строить здание своей системы, или, по Батаю, отгораживаться от мира зданием системы. Признав противоречия рефлексии трансцендентального субъекта моментами в саморазвитии понятия, Гегель делает следующий и в этом ряду (от чувственной, эмпирической, логической, трансцендентальной к абсолютной рефлексии) завершающий шаг. Дойдя до крайности, он перешел рубикон. Его самоотречение от феноменологии духа укреплялось «аскетическим идеалом» человека разумного. Того человека, который редуцирует топос к геометрической точке, пренебрегая тем, что «топос трансцендентального философа (феноменолога) — это отнюдь не топос Ego cogitans». Следующий шаг — начало «нисхождения» от абстрактного к конкретному, от точки к топосу, от субъекта к человеку, от нульизмерения или точки и телу (В. Флюссер). (Забегая вперед, заметим, что последующее развитие философской мысли связывает себя с противоположным движением, движением от субъекта, исключенного из истории, к человеку, который обладает телом, желанием, волей. В завершение — карнавал антисубъективносности, который устроили структуралисты: вместо и на место субъекта встали эпифеномены языка, потоков информации, символических порядков, безликих интенсивностей и сингулярностей.)

Если не дать себя полностью захватить более поздними коннотациями термина reflexio (размышление, рассуждение, соображение), а вспомнить его первичные значения (возврат к исходному, поворачивание назад, возвращение, остановка), то в абсолютной рефлексии Гегеля можно заметить механизм оптической зеркальности, по схеме которой строилась стратегия познающего субъекта: «Видимость — это то же, что рефлексия; но рефлексия как непосредственная; для видимости, вошедшей в себя и тем самым отчужденной от своей непосредственности, мы имеем иностранное слово „reflexio“»[86]. О странности (в оригинале использован термин Fremdwort, которое можно перевести как чуждость) говорит не только иностранное (из латыни) слово, наукообразие, новизна, не захваченность контекстом обыденного языка которого делает его удобным для использования в качестве философской категории; она тем эффективнее (точнее и определеннее) означивает новую область, чем уже его спектр значений и четче определенность (в силу того, что оно не несет богатства ассоциаций родного языка, неотчуждаемых от обыденных значений). Однако то обстоятелство, что Гегель счел необходимым обратить внимание на его иностранность, но не применил к нему излюбленный прием раскрытия внутренней игры смысла слова, потенциал которого очевиден, говорит о многом. По сути дела, «видимость, вошедшая в себя» — это зеркало, которое смотрит в себя, не отчуждается от себя, поскольку, подчиняясь принципу зеркальности, остается внутри него же; оно не может обратить себя к иному или вобрать иное в себя. Абсолютная рефлексия Гегеля строится по зеркальному принципу: в «схватывание противоположного…

[84]Лукач Д. Молодой Гегель и проблемы капиталистического общества. — М., 1987. — С. 143–144

[85]Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. Т. IV. — М., 1959. — С. 120.

[86]Гегель Г.В.Ф. Наука логики: В 3 т. Т. 2. — М., 1971. — С. 18.

входит схватывание взаимного отсвечивания противоположностей друг в друге, в качестве чего выступает антитезис, действие которого изображено в „Логике сущности“ (то есть в логике рефлексии). От этого само-рефлектирующего отсвечивания, то есть зеркального отражения, спекуляция (speculum: зеркало)[87] получает свое достаточное определение»[88]. Зеркало, смотрящееся в зеркало, — метафора самотождества — видит бесконечность, абсолютную глубину или, что одно и тоже, абсолютную поверхность или, как сказал бы Гегель, представляет собой «движение от ничто к ничто». Вспомним определение Микраэлиуса: «Если луч падает перпендикулярно, в зеркале отражает сам себя». Абсолютная *возможность* отражать переходит в свою противоположность — невыразимость, актуальное присутствие *ничто*. Видимо, имея в виду этот контекст, понятны слова П. Рикера: «Рефлексия — слепая интуиция»[89]. Добавим, что подобным *зеркальным образом* ничто — оно же пустота — иллюстрируется в традиции дзен. В этом солидарен и поэт Георгий Иванов: «Друг друга отражают зеркала,/Взаимно искажая отраженья./Я верю не в непобедимость зла,/А только в неизбежность пораженья». Искажение отражения ведет к отказу от философии тождества, рефлексии, утверждая даосский принцип тщеты поиска определенности. Отражение в западной традиции метафизики отождествляется с отображаемым, образ с прообразом, портрет с портретируемым, забывая о незримой работе искажения, всегда присутствующей в акте отражения.

Картография небесных светил

Зеркало заостряет дихотомии внешнее — внутреннее, видимое — невидимое, реальное — иллюзорное, материальное — идеальное. Зеркальная поверхность, являясь границей разделения-единства, есть область события. Таковым его делает то, что природа и природа зеркального отражения сливаются, подменяя друг друга. Изображение и изображаемое на основе допущения одной и той же природы взаимозаменяются. Поэтому в зеркале (как вариант в живописном портрете, скульптуре) происходит встреча с собой (в этом сходны трактовки и парадного портрета, и портрета на паспорт, и всегда в единственном числе *научная картина мира*). Надо ли напоминать, что встреча с собой есть одновременно встреча с другим, искаженным идеологией, предрассудками и мифами настоящего.

В этой связи интересны выводы, к которым приходят историки астрономии, отвечая на вопрос, как формировалась научная картина небесных тел. «В современном научном виде астронимия начиналась с единства ученого и художника». Так, И. Кеплер в 1619 году в своей книге «Гармония мира» («Harmonices mundi») утверждал, что «в основе художественного наслаждения и астрономического исследования лежит единый по своей природе духовный порыв». Он имел все основания утверждать так, поскольку изображения звездного неба предполагали от их создателей «качества внимательного наблюдателя, образованного астронома и

---

[87]Происхождению философского термина «спекулятивное» посвящена работа Ф. Аквинского см.: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики: Пер. с нем. Б.Н. Бессонова. — М.: Прогресс, 1988. — С. 683.

[88]Хайдеггер М. Гегель и греки // Время и бытие: Статьи и выступления. — М., 1993. — С. 383. Как заметил ученик Хайдеггера Х.-Г. Гадамер, мысль является спекулятивной, если высказываемое в ней отношение «должно быть мыслимо как отношение отражения, в котором само отражающее есть чистое явление отражаемого, подобно тому, как одно есть одно по отношению к другому, а другое есть другое первого» (Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. — С. 538–539). Идея самотождества и растворения одного в другом иными, но от этого не потерявших прочной связи с сутью описываемого феномена, проговаривается последовательно и, в свете сказанного, — убедительно: «отражаться друг в друге — значит, все время меняться местами» (Там же. — С. 538). Поэтому решительный разрыв с традицией весьма логично предстает в следующей формуле: «Философия всегда — битье зеркала» (Бадью А. Манифест философии. — СПб., 2003. — С. 170).

[89]Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М., 1995. — С. 26.

искусного гравера». Так, «в 1603 году в Аугсбурге появилось издание — звездный атлас „Уранометрия“ Иоганна Байера (1572–1625), представляющий одновременно выдающееся произведение и науки и изобразительного искусства. <…> „Уранометрия“ блестяще сочетает научную и художественную традиции»[90]. Тем не менее, мало-помалу пути искусства и науки расходятся. Практика изготовления изображений «раскалывается на две неравные половины, зарезервировав за ними различные аудитории: тех, кто может смотреть и умеет чувствовать. И тех, кто может смотреть и способен понимать»[91]. С тех пор картины природы и искусства создаются с разными целями и по-разному же воспринимаются: они четко дифференцированы, никем не смешиваются.

Художественная достоверность научной теории

В конце XX века происходит попытка возвратить концепцию целостности изображения, опирающуюся на тождество художественной и научной картины мира. К примеру, сегодня от методологов науки можно услышать неожиданные выводы о возможности трактовать научную теорию как форму искусства. «Чтобы понять научную теорию как метафору, целесообразно рассмотреть ее как специфическую форму искусства, а для этого необходимо воспользоваться идеей художественного стиля». Этот шокирующий (не потому что до этого подобный тезис не звучал, — вспомним, например, мысль П. Фейерабенда о тождестве произведения искусства и естественно-научных структур, а потому что он прозвучал в цитадели историко-научных исследований) для историков и методологов науки тезис выдвинул в своем докладе С. Улис Мулин, последователь известного методолога науки Вольфганга Штегмюллера, в Мюнхенском институте философии, логики и теории науки. Эстетические категории можно сознательно применить к научной теории, подобно тому как их можно применить к таким видам искусств, как живопись, музыка или стихосложение. То, что «художник представляет в ландшафте или портрете, теоретик науки предпринимает, когда он пытается заново, синтетически репрезентировать или реконструировать вещи, столь же знакомые любому студенту естественных наук, как классическая механика или понятие энтропии».

Степень интенсивности нашего переживания художественной репрезентации объекта не зависит от точности его дескриптивной или фотографической репрезентации. Скорее, отражение объекта, например дерева, для эстетической ценности репрезентации неважно. В точности так же обстоит дело с научной теорией. Конечно, противостояние этому дескриптивному пониманию научной теории велико. Здесь заложена, согласно Мулину, «семантическая категориальная ошибка»: адекватную репрезентацию предмета путают с его изоморфным изображением. Тем, с кем случается эта ошибка, любые реконструкции или представления, которые не изоморфны, кажутся безуспешными.

В то время как рядовой посетитель современной художественной выставки более не ожидает, что «Герника» Пикассо будет точным графическим воспроизведением местности, подвергаемой бомбардировке, рядовой читатель научных текстов все еще реагирует негативно или даже с раздражением, когда он в предлагаемой логической реконструкции механики не встречает того, что он привык там находить. Если, как предлагает Мулин, мы откажемся, однако, от идеи, что метатеории науки должны быть дескриптивной символьной системой, и примем, что они репрезентативны, то многообразие логических реконструкций одной и той

[90]Кузьмин А.В. Оптика и небо: От Тихо Браге до Галилео Галилея // Историко-астрономические исследования / Ин-т истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова. Вып. 30 / Отв. ред. Г.М. Идлис. — М.: Наука, 2005. — С. 26.

[91]Иванов К.В. Регистрация наблюдений в оптической астрономии XVI–XVII веков. // Историко-астрономические исследования. — С. 86.

же теории потеряет свою видимость невыносимого произвола и окажется естественным и даже желанным результатом. Неэквивалентные реконструкции одних и тех же научных теорий могут иметь одинаковую действенность в том смысле, что они показывают различные, но принципиально в равной мере интересные глубинные структуры одного и того же объекта. Мы не должны при этом упускать из виду искусство, в котором нет и намека на тревогу из-за факта, что тот же самый символический объект — например, Христос на кресте — представлен по-разному у Веласкеса и Дали. В теории науки структуралистская репрезентация «классической механики», разработанная Мулином, выглядит совершенно иначе, чем теоретико-множественное представление Патрика Зуппа. И также как бессмысленно спрашивать «истиннее» ли «Распятие» Веласкеса, чем Дали, бессмысленно задаваться вопросом, вернее ли структуралистская репрезентация, чем теоретико-множественная.

Отличия в научных теориях возникают из-за отличий в стиле, а именно в эстетическом смысле. Так, по Мулину, «Логическое построение мира» Карнапа следует читать как аутентичное произведение искусства, как одно из великих в теории науки нашего века. Оно обладает тем же порывом — увлекательное и рациональное одновременно — как, например, композиции Албана Берга или здания «Баухауза». Вскоре после публикации Карнап отказался от конструктивно-феноменалистического стиля. Как и всякий художник, прощающийся со стилем, который позволил ему создание значительного произведения, ради экспериментирования с новыми техниками он перешел к совершенно другому — формальному — подходу к реконструкции эмпирической теории.

Это, однако, не значит, что «исходя из постулата anything goes так же, как из неописательной природы языка искусства не следует, что одна картина обладает равной эстетической ценностью с другой. В обоих случаях у нас есть ценностная шкала. В случае метатеоретической реконструкции мы можем так же говорить о «внутренней истине», как критики искусства говорят о внутренней правде романа или картины. Внутреннюю истину, к которой стремятся теоретики науки, можно сравнить с идеей адекватности, которая применяется для художественных представлений. Однако этот тип адекватности нельзя путать с адеквацией «res et intellectus» классической теории корреспондентной истины. Точнее, следует интерпретировать термин «адекватность» в смысле соразмерности, как, например, мы говорим, что это одежда конкретного человека. Одежда не может быть «истинной» или «ложной», она может более или менее подходить человеку или нет. Типичными выражениями, которые можно осмысленно применять, если мы отдаем предпочтение какой-то метатеории, будут: элегантность, когерентность, прозрачность, ясность, глубина или пластичность»[92].

И если в науке стали говорить об эстетическом качестве теории, а теорию рассматривать по аналогии с живописной картиной, а формы философского высказывания (гномы, диалог, трактат, исповедь, эссе, афоризм, медитации и пр.) уравняли, то в отношении к произведению искусства от философа во второй половине XX века требуется соразмышление столь же интенсивное, сколь и сопереживание с ним. Художникам общество не только позволяет вольности, но также числит за ними исключительную способность: «Художник не нарушает течение жизни, никто не чувствует в его взгляде контроля и наблюдения, поскольку всем ясно, что он видит иначе и удерживает нечто иное, чем это дано в актуальный момент… Нарисованный образ не доносит ни на кого персонально»[93]. В концепции философа, как и художника, философу противопоказано в техно-информационном мире «чистое» умозритель-

[92]Moulines C. Ulises: Der Stil in der Wissenschaftstheorie. 1997 // Information Philosophie. — 1999. — № 4. — S. 86–87; Bilder in der Philosophie & in anderen Künsten & Wissenschaften // J. Steinbrenner; U. Winko (Hrsg.). — Paderborn [u.a.]: Schöningh, 1997. — S. 41–59.

[93]Arnheim R. Über die Natur der Fotografie // Theorie der Fotografie. In IV Bde. Bd. III 1945–1980 / Hrsg. von Wolfgang Kemp. — München: Schirmer/Mosel. 1999. — S. 171.

ное творчество. Мыслитель обращается к искусству в силу того, что «коммуникация в художественной системе — это единственная форма коммуникации, которая транслирует не только формы смыслов, но вместе со смыслом передает физическое ощущение» (Н. Луман), которое как никогда востребовано при попытке поставить диагноз. Философ, живший «по своей мысли», приходит не столько к телу (проблема телесности звучит у многих современных философов) и бессознательному, сколько, реализуя единство своего экзистенциального переживания и мысли, к публичному действию, к искусству коммуникации, к синтезу слова и жеста, сближается с художником-акционистом, художником-концептуалистом, медиахудожником[94].

Власть изображения

Поскольку в основании западной мысли лежит идея тождества, напряженный поиск которой пронизывал все сферы жизни, постольку не было исключением желание тождества человека самому себе, о чем недвусмысленно писал Сенека: magnam rem puta unum hominem agere (великое дело — всегда быть одним и тем же). Соответствие своему образу пробуждало желание власти изображения над временем, а затем и власти как таковой. Заключение М. Фуко о том, что портрет из знака престижа и избранности становится средством надзора и репрессии, стало общим местом. Интересное преломление эта мысль получает в сфере эволюции паспортизации населения: переход от словесного портрета к визуальному свидетельствует об изменении техники надзора. Столкнувшись с ростом числа перемещающихся лиц, с интенсивностью их коммуникаций, власти потребовались новые формы контроля, в том числе и над преступниками. Портрет (телесные знаки, письменное описание, фотография) в культуре отвечал стандарту опознания человека, наблюдению над его перемещениями, реактивности в идентификации и признании[95]. На определенном этапе отпадает нужда в нанесении татуировки, клейма или тавра; на смену приходит иной способ. Вначале снимали слепок с лица — посмертная маска — на память об умершем, затем фотографический — на память о живом, а после и для контроля над ним. Фотография дает новую основу для идентификации. И пока не придумали (точнее пока не нашли более дешевые и легитимные в демократическом, точнее считающем себя таковым, обществе) иные формы, нежели фотографические формы контроля. При этом чем опаснее человек для общества, тем более детальный делают снимок (анфас и профиль), к тому же ровно в 1/8 натуральной величины — бери линейку, измеряй фотографию и умножай на восемь — получишь реальный рост, расстояние между глазами, величину носа, плеч и сличай с оригиналом.

Прежде ставили клеймо или вырывали ноздри, — что было принято в традиционном обществе, ибо иные формы означивания были неразвиты. Знаки на теле позволяли легко идентифицировать, воспроизвести его историю, сличить с письменным описанием примет. Сегодня удостоверяющую функцию исполняет визуальный образ, который, как известно, необходимо создавать заново через определенное время для коррекции соответствия фотогра-

---

[94]С изложением концепции «Философа как художника» можно ознакомиться в кн: Савчук В.В. Режим актуальности. — СПб, 2004. — С. 28–54.

[95]Как свидетельствуют архивы, «с 1724 г. запрещалось выезжать без паспорта из своей деревни дальше чем на 30 верст. Паспорт подписывал местный воевода или помещик. Все часовые на заставах и стоявшие по деревням солдаты тотчас хватали „беспаспортных“ людей… А если у задержанного находили „знаки“ — следы казни кнутом, клеймами или щипцами… то его вновь били кнутом, рвали у него ноздри, клеймили, а потом отправляли на каторгу» (Анисимов Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке. — М., 1999. — С. 271–272). Замечу, что образованный человек той поры имел навык сличать описание с реальным человеком, как и навык представлять того, кто был «описан» на паспорте. Это имело влияние и на чтение художественной литературы, описание портрета героев до фотографии читали с большим пониманием — а точнее, представлением, — поскольку была развита способность переводить словесное описание в образное.

фии и меняющейся со временем внешности. На этапе смены способа контроля, на сломах старых и рождения новых его форм интригуют как отличия, так и сходства процессов идентификации. Вполне жизнеспособным, полагаю, был бы исследовательский и художественный проект, в котором сопоставлялись бы два ряда идентификации: письменный портрет и фотопортрет одних и тех же людей. Историко-литературный портрет и фотопортрет в своем становлении пересекаются в идеальной точке репрезентации в точке тождества (сличения) образа и оригинала.

На серьезные размышления наталкивает художественный проект Станислава Чабуткина «Фотография на паспорт» 25-летней девушки с неизлечимой формой церебрального паралича? Шестнадцать снимков не отсылают к единственно приемлемому снимку человека, который пребывает в покое, я бы сказал, замершем под взглядом камеры, власти, пограничника. Ведь мы всегда под пытливым взглядом пограничника вначале делаем независимое лицо (ровно так же, как и перед камерой) и неловко улыбаемся, а затем теряемся и делаем «отсутствующее» выражение лица. Мимика свидетельствует о жизни; отсутствие ее — о принятии порядка и послушании. Как известно, смеющиеся и кривляющиеся фотографии на паспорт не принимаются, они — знак в лучшем случае неуважения власти, в худшем — презрения к ней.

В фотографиях Чабуткина деспотическое означающее сталкивается с бунтом тела, тела, которое, подобно шизофренику и одновременно шизореволюционеру Делеза и Гваттари, ускользает из сети власти, из принуждения к седированию (покою и сидению. — *Д. Кампер*). Оно демонстрирует не статику, но динамику лица, постоянство непостоянства. Собственно говоря, для такого рода случаев *весь блок* фотографий должен быть вклеен в паспорт, поскольку образ девушки редуцируется не к состоянию лица, пребывающего в покое, но из модусов «кривляющихся» лиц («грустных», «блаженных», «страдающих» и т.д. гримас); он собирается из состояний экстатических и к ним же отсылает. Безликие цифры номера паспорта совпадают с дисциплиной общества, которая выравнивает состояния и выражения отдельного человека, добиваясь, и мне здесь не избежать оксюморона, «безликости» его лица. Проявление же лица болезни есть серийное производство сбоя, которое отбрасывает маску нормы и устойчивое проявление мимики лица. Как заметил Э. Юнгер, то, что «в либеральном обществе понимают под „хорошей“ миной — это собственно её (боли) лицо, нервное, подвижное, изменчивое и открытое всевозможным влияниям и волнениям; дисциплинированное лицо, напротив, закрыто. Оно обладает твердой точкой взгляда и в высшей степени однобоко, овеществленное и застывшее. При любом виде специализированного образования легко обнаруживается, как вмешательство четких и внеличностных правил и предписаний даёт осадок в виде закалки и фиксации лица»[96]. Иногда мина лица взрывается, превращая его в гримасу боли, наслаждения, ужаса.

Проект Чабуткина вступает в диалог с известным проектом немецкого фотографа Томаса Руфа, который дает нам то, что якобы является представлением человека, а на самом деле представляет пустоту взгляда власти, который смотрит на образы людей, лишь выполняя функцию: сличить, идентифицировать, уравнять в конвейере признания. (Соглашусь с Уте Эскильдсен, что «Руф утрирует документалистскую установку, согласно которой фотоизображение ценно только с точки зрения сообщаемой им информации. Руф нарушает зрительские ожидания, отказываясь от психологического портрета, ориентированного на отражение индивидуальности модели».) Отсюда такое удручающее отсутствие «характера» и отказ от самопрезентации на «фотографии на документ». Но современному человеку для самопризнания недостаточно визуального образа, который он прочитывает как взгляд власти, и тогда он ак-

[96]Юнгер Э. Эссе о боли // Ступени: Петербургский альманах. — 2000. — № 1 (11). — С. 34.

тивирует иные механизмы: аутодеструкцию, боль, кровь и рану. Не заостряя внимание на этом, укажу на соответствующие разделы, исследования образа крови в культуре[97]. В случае Руфа мы имеем образ человека общества обезболенных, утратившего объем и полноту телесных проявлений. Обретение тела, жизнь коего лоббирует свои потребности, мы обнаружим не только в социальных бунтах, но и в опустошенности и смирении плоти репрессивной функцией опознания. Фотопроект «Портрет на паспорт» *обыгрывает* репрессивный механизм власти, смиряющий миметические движения и редуцирующий их к покою. Он активирует программу идентификации, идущую от множества к единичности, от движения к обобщению. То есть мы имеем движение не от покоя к улыбке, гримасе, но от гримасы к другой гримасе, и так методом перебора наличных состояний (требующего гораздо больших затрат времени и концентрированного внимания) до тех пор, покуда экстатические состояния не обнаружат серийный (подобно серии в паспорте) характер.

Но пора вернуться и вспомнить оставленный на время сюжет пустоты, рождаемой удвоением зеркал. Аннигиляции видимости, пустоты на другом полюсе соответсвует всевидение, бесконечность образов видимого. И речь здесь не о серийности, мультиплицированности равнозначных рефлексов постструктуралистов, но то, что продумывалось как путь выхода из себя, путь экстаза. Маркиз де Сад следующим образом объясняет необходимость многочисленных образов либертена: «Мадам де Сент-Анж, воспитывая Эжени и посвящая ее в либертеновскую философию будуара, развивает теорию зеркал, точнее теорию игры зеркал. Эжени: О, Боже, какая чудесная ниша, только зачем здесь все эти зеркала?

Мадам де Сент-Анж: Дело в том, что, повторяя наши позы тысячью различными способами, они бесконечно умножают одни и те же наслаждения, перед глазами тех, кто предается им на этой оттоманке. Тем самым ни одна часть тела не может оставаться скрытой. Все должно быть открыто взорам; эти образы окружают тех, кто предается наслаждению, и, повторяя их, являют восхитительные картины, которыми упивается их сластолюбие и которые доводят его до экстаза»[98].

В открывающемся горизонте оптической видимости несколько иначе прочитывается частота употребления таких понятий, как «видимость», «наличность», «являют себя» и др., а также смещается понимание или, по крайней мере, прочерчивается канва для визуализации не только таких выражений, как отмеченное «движение от ничто к ничто», но и таких как: «рефлектированные же определения имеют форму в-себе-и-для-себя-бытия» или «рефлексия есть остающийся внутри себя процесс определения. В ней сущность не выходит вовне себя; различия всецело положены, приняты обратно в сущность». В первую очередь это относится к истории философии, поскольку согласно Гегелю: «история, развертывающаяся перед нами, есть история отыскания мыслью самой себя»[99]. Что, по сути, повторяет мысль И. Микраэлиуса, который, как мы помним, указывал, что луч отражения, если он «падает перпендикулярно, в зеркале отражает сам себя», содавая эффект абсолютной ясности, что, как мы знаем, равнозначно ослепленности, ведущей к столь же абсолютной темноте. Иначе говоря, абсолютная рефлексия, во-первых, зеркальная, во-вторых, та из всего спектра отражений, которая «падает перпендикулярно».

Здесь уместно вспомнить как «первичные», так и «вторичные» значения слова рефлексия, которые своеобразно преломляются у Гегеля, представляющего ее как объективный процесс. Начало процесса рефлексии и конец ее совпадают постольку, поскольку начало положено внутри сущности. Но «поскольку понятие начала вообще не подвергнуто критике как та-

[97]Кровь и культура. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995.

[98]Цит по: Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. — СПб.: ИЦ «Гумантарная академия», 2005. — С. 181.

[99]Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии // Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. IX. — М., 1932. — С. 12.

ковое, радикалистскому предприятию всегда угрожает та мифологизация абсолютного начала, которую так замечательно осудил Фейербах в работе «К критике гегелевской философии»[100].

Трудно не обратить внимание, что отслеживание оптических метафор в классических текстах не может обойтись без использования их же в своем анализе. Оптический слой метафор укоренен в философском дискурсе столь же основательно (как, впрочем, и строительные (архитектурные) и метафоры ткачества), что, по-видимому, удалить их безболезненно для передачи смысла, сопрягающегося с нормами пред- и настоящей эпохи вряд ли возможно. Для этого потребуется иной язык и иные формы рефлексии задевающих человека процессов, которые неизбежно войдут в конфронтацию (что в принципе и происходит, например, в революционно ангажированной теории шизоанализа) с тотальным господством визуальных средств информации и коммуникации. Непосредственность становится непосредственностью в себе не в силу недостаточности рефлексивных усилий, но, напротив, в силу тотальности существующего посредника и поставщика «видеоряда», поставляемого зрителю ежесекундно. Опыт восприятия участника событий перепоручается «рецепторам» коллективного тела — фото- и видеокамерам журналистов. Сегодня непосредственность выступает в форме симуляции непосредственности, что как никогда, проблематизируя идентификацию и самоидентификацию, требует нового зеркала, в котором человек обретет достойную его видимость, позволяющую ему физически и психологически выжить в современном мире. От избытка «ничтожности» (Nichtigkeit) происходит отрицание того основания, которое за этим «ничто», за кантовскими «очевидными признаками истинности», за абсолютным тождеством Фихте и единством Шеллинга скрываются социально верифицируемые принципы буржуазного общества, или, иначе, модернистского проекта. На конструкцию «очевидности», надо признать, четко указали ориентированные на критику существующего (доставшегося им) порядка основоположники марксизма: «рефлектирующие индивиды» полагают, что «в рефлексии и посредством нее они возвысились надо всем, тогда как в действительности они никогда не возвышаются над рефлексией»[101]. Но и марксистская апелляция к первобытному равенству, густо замешанная на идеалах Руссо, отрицает реальность обретения равенства в ритуале жертвоприношения, в экстатическом, ужасном.

Работа традиции

Рефлексия в немецком идеализме ограничена *тождеством* мышления и бытия, — тезисом Парменида, загипнотизировавшего Западный мир; тождество — словно прямая линия связи между рефлексирующим и тем на что или кого направлена рефлексия. Рефлексия замкнута меж двух параллельных, указывающих границы луча разума. Никаких кривых, выпуклых или вогнутых зеркал, никаких рефлексов и незеркальных отражений. Впрочем, ограниченность рефлексии тождеством не укрылась от исследователей: «Рефлексия, если она свободна eo ipso абсолютная рефлексия, и именно ее тотальная необусловленность позволяет ей свободно обосновать себя саму в некоей ничем непринужденной действительности. И только тогда, когда она сможет найти в этой действительности саму себя, она откажется от своей негативной реакции на эту действительность»[102]. Выйти из круга абсолютоной eo ipso самотождественной рефлексии — значит встретить и признать себя в жертвующем, в торжествующем, в мистериальном предке, — значит положить опыт доразумия в основание мысли,

[100]Гуссерль/Деррида. Начало геометрии. — М., 1996. — С. 79.

[101]Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 3. — С. 257.

[102]Kümmel F. Platon und Hegel zur ontologischen Begründung des Zirkels in der Erkenntnis. — Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1968. — S. 186.

расширить зону рефлексии, уйти от замкнутости системы и завершенности истории. Это значит еще признать нашей не только «нашу эру», но и то, что было до.

Родство с мифологическими героями и первопредками, через кровавые человеческие жертвоприношения творящими мир, до недавнего времени основательно вытесняемое (ни дарвиновское признание биологического предка, ни фрейдовское вменение ответственности за коллективное «убийство отца» не меняют сути дела и оставляют закрытыми зоны экзистенциального сопереживания торжества и возвышенности основного мифа — космоустроительной жертвы), торжественно удостоверяется признанием их в качестве носителей праведности и подлинности опыта: не стыд и горечь за их неразумие, а гордое признание причастности к ним. В письме А. Кожеву Ж. Батай, делясь своими творческими планами, говорит о том, что он будет разрабатывать то, что Гегель «не знал или чем он пренебрег (доисторические времена, современность, грядущее и т.д.). Не думайте, что я хотел бы посмеяться над принципом совы, ибо он, как никогда раньше, кажется непреложным (я имею в виду возможность, может быть, даже неотвратимость финальной катастрофы); нет, речь идет о том, чтобы в основание или конец гегелевской мысли положить опыт безумия»[103]. Классика, а она в лице Гегеля четко осознавала свои контуры, полагала, что рефлексия всегда имеет дело со смыслами и понятиями. Дорефлексивный, архаический и бессознательный слой сознания не предмет философии. Эту же точку зрения много позже отстаивает перед лицом разрушения метафизических оснований прогресса Ю. Хабермас.

Мне представляется, что упрек в незнании и пренебрежении доисторическими временами имел реальную почву. В своих лекциях по эстетике, касаясь истории поэзии, Гегель говорит о народной поэзии, которую «можно сравнить с особенностью первобытного эпоса под тем углом зрения, что поэт как субъект не выделяется, а теряется в своем предмете… в котором еще не проснулась самостоятельная рефлексия и творчество… Народы, которые не доходят до эпопеи и драматических произведений, в большинстве представляют собою полудикие варварские нации с неусовершенствованным строем, охваченные мятежами, с зыбкой судьбой… Что представляется восхитительным фантазии одного народа, может другому представиться безвкусным, зловещим, противным. Так, например, есть народная песня, повествующая об истории одной женщины, замурованной по приказанию мужа; в результате ее просьб она добивается лишь одного — ей представляются открытые дыры для ее грудей, чтобы кормить ребенка, и женщина живет до тех пор, пока ребенок не перестанет нуждаться в материнском молоке. То варварская зловещая картина. Так же разбой, смелые и просто дикие подвиги отдельных лиц сами по себе не заключают в себе ничего, чему бы чужие, более образованные народы могли сочувствовать. Итак, народные песни… слишком чужды общечеловеческого»[104]. Диагноз образованным народам — «скорбное бесчувствие» к архаическому опыту — поставлен Гегелем на основании очевидности, без кропотливого и в других случаях (случаях разумных понятий) неизменно добросовестного обоснования.

История Гегеля прогрессивна, тогда как на повестке дня все более актуальным оказывается опыт трансгрессии, опыт работы на границах мысли и чувства (сочувствия), опыт обретения нового образа тела, опыт невозможности коммуникации и опыт-признание Другого. Под «доисторическими временами», полагаю, Гегелем подразумевался опыт жертвоприношения, который объединяет и фиксирует единство на ином — нерефлексивном — основании, единство в ритме чередования страха перед неизвестностью и ощущением полной безопас-

[103]Танатография эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. — С. 333.

[104]Гегель Г.В.Ф. Соч. Т. XIV. М., 1958. С. 302. Такое отношение к истории Ж. Деррида называет догматической опрометчивостью, проявляющейся в том, что «многие философы, от Аристотеля до Гегеля и Бруншвига, не находили в прошлом ничего, кроме неуклюжих предчувствий собственной мысли» (Гуссерль/Деррида. Начало геометрии. — М., 1996. — С. 16).

ности в постжертвенный период перед лицом враждебных стихий. Допустить в поле рефлексии опыт в его экзистенциальном качестве, признать его своим опытом — это значит открыть границы разума доразумному опыту, то есть занять позицию, исходя из которой можно «увидеть» не только то, что отражается в принятой «системе зеркал», но и то, каким образом устроена сама система зеркал и, следовательно, как работает механизм рефлексии, который преломляет и возвращает «луч света» разуму с целью признать естественность исходных позиций самого же разума. Эта позиция может оказаться на границе еще не мыслимого, либо на границе уже повсеместно осуществляющейся, но не схватываемой метафизикой представления, постсовременности.

Кантовское определение места рефлексии и изобретение способа ее описания, несомненно, нашло свое продолжение. Трансцендентальная рефлексия со временем становится абсолютной, теряя потребность в согласовании рассудка с чувственными данными. Наиболее ярким примером этого явилась фигура Фихте. Рефлексивные процедуры Я — у Фихте это показано, пожалуй, наиболее отчетливо — познают то, что сами же и полагают, не покидая круга сознания.

5. Романтическая критика рефлексивного разума

Поэтическая негация

Шеллинг — философ романтиков, задает основы критики классической рефлексии: «Если бы Бог был для нас чисто логической абстракцией, то все должно было бы следовать из него с логической необходимостью; он сам был бы только высшим законом, из которого все вытекает, но не обладал бы сознанием этого и не был бы личностью». Атрибут личности — воля, каковая, по Шеллингу, присуща Богу: «Совершенно несомненно, что личность в Боге основана только на его связи с природой и, напротив, Бог чистого идеализма, как и Бог чистого реализма, необходимо есть безличное существо, наиболее очевидным доказательством чего служит понятие о Боге у Фихте и Спинозы. Однако поскольку в Боге есть независимая основа реальности и поэтому два одинаково вечных начала самооткровения, то Бога в его свободе следует рассматривать в отношении к обоим этим началам. Первоначало в творении есть стремление единого порождать самого себя, или воля основы. Второе начало есть воля любви, посредством которой в природу изрекается слово и посредством которой Бог только и делает себя личностью. Поэтому воля основы не может быть свободна в том смысле, в котором свободна воля любви. Она не есть свободная или связанная с рефлексией воля, хотя не есть и воля, полностью бессознательная, движимая слепой механической необходимостью, но нечто среднее, подобно вожделению или стремлению, и ближе всего она к прекрасному порыву становящейся природы, которая стремится раскрыться и внутренние движения которой непроизвольны (не могут быть предотвращены), хотя она и не чувствует себя принужденной ими. Полностью же свободная и сознательная воля — это воля любви, именно потому, что она такова; откровение, которое из нее следует, есть деяние и акт. Вся природа говорит нам, что она существует отнюдь не вследствие простой геометрической необходимости; в ней присутствует не только чистый разум, но также личность и дух (это столь же очевидно, как возможность отличить автора разумного от просто остроумного); в противном случае столь долго господствовавший геометрический рассудок (Verstand) уже давно должен был бы проникнуть в нее и в большей степени, чем это происходило до сих пор, утвердить незыблемость своего идола — всеобщих и вечных законов природы, тогда как, напротив, он с

каждым днем вынужден все более признавать иррациональность отношения к нему природы»[105].

Шеллинг — философский гуру романтиков, реабилитируя органичность природы и ее творческий характер, полагает границы рефлексии совпадающими с границами разума. Он «корректирует» понятие рефлексии Фихте, исправляя ее тотальность и самозамкнутость (что не дает фихтевскому Я возможности рефлексировать над природой), замечая, что никогда не преодолевается тождество объекта, о котором мыслят, и субъекта, который мыслит, мыслит и одновременно рефлексирует над размышлением. Разум видит в природе эксплицированную развертку своего же становления, зеркальное отражение его истории; природа втягивается в форму разумности, не оставляя за границами этой формы того, что могло бы быть названо иной формой разумности или неразумностью, превышающей по тем или иным характеристикам ставшую завершенной форму модернистского проекта. В итоге разум в явлениях (проблесках) природы видит самое себя — экспонированный путь своего становления, готовые формы интеллигибельности. То есть в природе разум видит лишь ее разумность. Рефлексивные процедуры совпадают с рефлективными (поистине не случайна повсеместная подмена — вплоть до наших дней — первых вторыми, как в работах, посвященных проблеме рефлексии, так и в повседневном словоупотреблении[106]), а познание — с самопознанием.

Оппонирующее рационализму движение романтиков, опираясь на критику чистого идеализма и реализма, конкретизирует и развивает идею рефлексии, связывая утверждение рефлексии с потерей естественного состояния и отказ от непосредственности, нашедшие свое афористичное выражение в положении Руссо: *«l'état de réflexion est contre nature»* (состояние рефлексии противоестественно). Рефлексия развертывается по прямой линии принуждения, преломляясь и отражаясь в хитроумном устройстве зеркал. Отражаясь от поверхности непосредственности и возвращаясь в плотные слои однозначности, она приобретает независимость в передаче знаний, а, по сути, зависит от целеполагания и целесообразности. Ее гарантированность основана на реактивности ответа: она бежит (неся смысл, который не пресекает границ разума) от «темного» к очевидности самоудостоверения.

Рефлексия и пластика

Романтики вкладывали в понятие рефлексии специфическое содержание. Новалис, например, характеризовал рефлексию как углубление во внутренний мир[107]. В своих заметках

---

[105]Шеллинг Ф.В.Й. Философские исследования о сущности человеческой свободы // Шеллинг Ф. В. Й. Соч.: В 2 т. Т. 2. — М., 1989.

[106]При том что самые последние издания словаря русского языка говорят не только о тождестве рефлектировать и рефлексировать: глагол рефлексировать означает «то же, что рефлектировать», но и о кривотолке их: «Глагол рефлектировать зафиксирован в 1) физиол.: отвечать рефлексом на что-либо, реагировать на внешнее раздражение; 2) книжн.: анализировать свои мысли, переживания (в 1 знач.). Отсюда следует, что „рефлексировать“ может употребляться только в „физиологическом“ значении. (Большой академический словарь русского языка. Т. 8. — М.: Наука, 2004. — С. 432).

[107]Близки к такому прочтению отечественные мыслители. Так, В.В. Розанов полагал, что «Шекспир предсказал то, что должно было свершится и действительно свершилось в человеческой душе, — и предсказал это в веке непосредственной жизни, так совершенно чуждой рефлексии и внутреннего разлада» (Розанов В.В. О понимании. — М., 1996. — С. 463). Рефлексия тождественна разладу, сомнению, беспокойству, неопределенности — всем тем качествам, которые, как мы видели выше, она призвана преодолеть в классической рационалистической философии. Розанов лишь выразил то, что стало общим местом в последующей самоинтерпретации российской интеллигенции, раздваивающейся в сомнениях, лишенной твердой почвы, рефлексирующей. В этом удивительным образом солидарны и правые и левые, и интеллигенты и неинтеллигенты, и наблюдающие себя изнутри и оценивающие ситуацию извне. Со времен Радищева и до Чехова главным героем произведений часто выступал рефлексирующий интеллигент, рассуждающий о смысле жизни, осуждающий несправедливое обще-

«Пыльца» он пишет: «Обращаться во внутрь себя означает абстрагироваться от внешнего мира. У наделенных духом земная жизнь есть внутреннее созерцание, уход во внутрь себя, имманентное деяние. Так, земная жизнь проистекает из первичной рефлексии — элементарного ухода в себя, сосредоточения на себе самом»[108]. Соотнося рефлексию с пластикой, Генрих фон Клейст в своей работе «О театре марионеток» приходит к следующему выводу: «По мере того как в органическом мире рефлексия меркнет и ослабевает, все более властно и блистательно проявляется грация»[109]. (Вспомним, что для Канта, напротив, утрата рефлексии, происходящая в азартной игре, не приводит к изяществу[110]. Надо думать, что человек, согласно Канту, утративший самоконтроль посредством рефлексии, становится безрассуден, безответственен и безобразен.) Грация, как совокупность определенных движений, подчиненных оптимальности нападения или защиты, ускользания или устрашения, являет собой идеальный образ естественности[111]. Однако из ясного осознания Клейстом невозможности стать животным и обрести его грацию (или, быть может, вернуть забытую в себе животность) есть выход — стать марионеткой или богом: «Как изображение в вогнутом зеркале, удалившись в бесконечность, оказывается вдруг снова вплотную перед нами, так возвращается грация, когда познание словно бы пройдет через бесконечность; таким образом, в наиболее чистом виде она одновременно обнаруживается в том человеческом телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обладает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или боге»[112]. Попытки «сознательного уподобления» не только животной грации, но и совершенным образцам искусства прежней, в частности античной, эпохи обречены на неудачу. Клейст повествует о шестнадцатилетнем юноше, «чье телосложение обладало удивительным изяществом… первые признаки тщеславия, вызванного расположением женщин, были едва различимы». Но вот происходит событие, неизгладимо повлиявшее на него. Рассказчик вместе с молодым человеком некогда видел в Париже скульптуру юноши, вытаскивающего из ноги занозу. Однажды взгляд, который бросил молодой человек «в зеркало, поставив ногу, чтобы вытереть ее, на скамеечку, напомнил ему о парижской скульптуре; он улыбнулся и сказал мне, какая мысль у него мелькнула. В самом деле, у меня в тот миг мелькнула эта же мысль; но то ли чтобы испытать уверенность его грации, то ли чтобы немного умерить, на пользу ему, его

ство, но не способный к борьбе, поскольку полон сомнений и колебаний. Собственно такое обыденное понимание рефлексии, подменяя философское его определение, нерефлексивно воплощается в словарях: рефлексия — «размышление, полное сомнений и колебаний, склонность анализировать свои переживания. Впасть в рефлексию. Рефлексия заела» (Большой толковый словарь русского языка / Сост. и глав. ред. С.А. Кузнецов. — СПб., 1998. — С. 1120).

[108]Novalis. Blütenstaub (1797–1798) // Novalis. Schriften. Hrsg. von P. Kluckhohn und R. Samuel. — Stuttgart, 1981. — S. 431.

[109]Kleist H. von. Werke in Zwei Bänden. Bd. 1. — Aufbauf-Verlag Berlin; Weimar, 1976. — S. 321. («Wir sehen, daß in dem Maße, als in der organischen Welt die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie immer strahlender und herrschender hervortritt»).

[110]Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 5. — М., 1966. — С. 351.

[111]Желанный, но недостижимый образ предстал герою новеллы в виде фехтующего животного: «Мало того что все мои удары медведь парировал, как лучший фехтовальщик на свете, ложных атак он просто не принимал… глядя в глаза мне, словно видел в них мою душу, он стоял с поднятой для удара лапой. И, если мои выпады были обманными, не шевелился» (Клейст Г. фон. Избранное. — М., 1977. — С. 517).

[112]Сведение воедино полюсов божественного и марионетки кажется странным. Однако вспомним пример из другой традиции, где в даосском трактате Чжуан-цзы: «Младенец действует, не зная для чего, идет, не зная куда; телом подобен сохлому дереву, а сердцем остывшему пеплу», и совершенный мудрец также «телом подобен сохлому дереву (как вариант: иссохшей кости), а сердцем — остывшему пеплу». Безжизненность марионетки, как и «иссохшая кость», «сохлость», «одеревенелость» — абсолютный итог превращений и соприкосновение с вечностью, с «прахом», который, в свою очередь, означает источник новой жизни, потенцильную возможность быть всем. Быть всем потенциально, но не актуально, не включаясь в стратегии тела, подчиненного логике желания, тела вожделеющего, репродуктивного, претерпевающего боль и сохраняющего себя.

тщеславие, я засмеялся и ответил, что его, кажется, одолевают видения. Он покраснел и поднял ногу еще раз, чтобы меня посрамить; но эта попытка, как легко можно было предвидеть, не удалась. Он смущенно поднимал ногу в третий раз и четвертый. Он поднимал ее еще раз десять — напрасно! Он не был в состоянии воспроизвести то же движение — да что там воспроизвести! В движениях, которые он делал, была такая доля комизма, что я с трудом удержался от смеха… С того дня, как бы с этого мгновения в молодом человеке произошла непонятная перемена. Он теперь целыми днями стоял пред зеркалом; и лишался одной привлекательной черты за другой. Какая-то невидимая и непонятная сила опутала, казалось, свободную игру его жестов, как железная сеть, и когда прошел год, в нем уже не было ни следа той приятности, что прежде услаждала глаза людей»[113]. Сцена рефлексии, «убивающей» естественность, не случайно разыграна Клейстом на фоне оптических декораций. В первом акте — плоское зеркало, впитывающее в себя жизнь, втягивающее и убивающее непосредственность, которая может появиться в нем лишь боковым взглядом, как мимолетное видение, без усилий и подражания. Во втором акте появляется зеркало вогнутое, отразившись от которого чистый свет фокусируется в абсолютном (бесконечном), преломляется и, сконцентрировавшись, возвращается полнотой смысла и грацией.

Зеркало вогнутое и выпуклое

Архитектор и основатель новоевропейской физиогномики Джакомо делла Порта (1540-1602) полагал, что именно кривое зеркало позволяет с большей определенностью и ясностью выявить сущность человеческой натуры, поскольку в представлении верующих «XIV и XV вв. выпуклое зеркало, рассеивающее и преломляющее солнечные лучи, „использовалось“ для обозначения людей светских, легкомысленных, беспутных, считавшихся „игрушками в руках иллюзий и тщеславия“, в то время как вогнутое зеркало, концентрирующее солнечные лучи, обозначало светочей духовности»[114]. Несоразмерность, соотнесение себя с тем, что превышает тебя и в высоком, и в низком, никак не могла смириться с банальностью утверждения Я есмь Я (столь объяснимые и исторически оправданные), закрывающего путь роста, путь творчества и самовоспитания. Зеркало романтиков возрождало то, что Ницше позже назвал «преображающим зеркалом»: «Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, — создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской „волей“. Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, — единственная удовлетворительная теодицея!»[115].

---

[113]Там же. — С. 516. Еще более неприглядную картину представлял собой человек, пожелавший проникнуть в тайну зеркал, сокрытую от людей: «Истощив свою фантазию по части зеркал, мой приятель изобрел нечто оригинальное — забраться в зеркальный шар самому. Но увидел он там нечто такое, что повредился в рассудке. Что же именно?.. Во всяком случае нечто такое, чего не способен выдержать человеческий разум» (Рампо Э. Ад зеркал. — М., 1991. — С. 211–212). Это романтическая версия японского прочтения негативности зеркального образа. В эпоху отказа от модернистского проекта европейское зеркало утратило цельность, стало равнодушным, а затем и пустым, о чем повествует герой Жака Риго лорд Пэтчог, сомневающийся в своем существовании и для проверки решает попасть в зазеркалье. «Переход происходит легко, потому что он не „содержит“ в себе ни нарушений, ни запретов, ни запретного; нет никакого чудесного мира, который мог бы пробудить созидательное воображение; нет более никакого «Я», связанного со сновидениями или бредом, как нет и никакого объективного «Я»; внешнее и внутреннее взаимозаменяемы и лишают всякого смысла любое усилие, направленное на самонаблюдение и самоанализ… Субъект становится объектом, объект — субъектом. Переход сквозь зеркало похож на самоубийство, столь безболезненное и приятное, что оно доставляет радость, на самоубиство, лишенное налета трагедийности…» (Мельшиор-Бонне С. История зеркала. — М., 2005. — С. 401–402.).

[114]Мельшиор-Бонне С. История зеркала. — С. 295.

[115]Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. — М.: Мысль. 1990. — С. 67.

В истории европейской культуры тему зеркала, отражения и мифологии, с ним связанной, активно использовали не только романтики, но и наследующие их идеи экспрессионисты. В драме «Человек из зеркала» Франца Верфеля герой, прежде чем он станет монахом, должен был выдержать искус своего отражения в «таинственном зеркале». Во время испытания он, потрясенный увиденным, стреляет в зеркало, высвобождая тем самым своего двойника. Борьба «естественного» человека со своим двойником приводит его вначале к победе, а затем к самовозвеличиванию и использованию «лжи и насилия для достижения своих благородных целей». Перестав быть «настоящим собой», он впадает в раскаяние и отравляет себя ядом. Со смертью героя его двойник возвращается в «зеркальное небытие». Роковое зеркало исчезает, превращаясь в окно, «распахнутое в многоцветный мир высшей действительности»[116]. Попытка экспрессионистов разбить зеркало самоидентификации и обрести открытость миру, «полному тайн» и «необъяснимости жизни», является, по сути дела, попыткой отказа от жесткости самоидентификации, построенной на принципах разума. Но возвращение к самому себе происходит посредством встречи не себя, но иного в себе, встречи с божественным, бесконечным, совершенным. Духовному росту и монашескому пути противно самомнение человека. Когда разбивается зеркало, то уничтожается лишь его *плоскость*, но человек не разбивает принцип зеркала, он просто начинает смотреться в иное — в зеркало «высшей действительности». Это религиозно-мистический путь, но он не единственная альтернатива, ибо есть и иные: экологический путь, новоархаический, путь новых технологий и порождаемых ими новых реальностей.

Следует заметить, что на дорефлексивной (архаической, мифологической) стадии опосредствование столь же «эффективно» в жизни человека, как и рациональный *просчет* в жизни современного, ибо бессознательная структура выживания рода задает такую траекторию согласованных с конечной целью действий, что «непосредственность» кажется насмешкой над причинно-следственной связью. Последнюю определенно демонстрирует лишь «наклонная плоскость» и упруго «сталкивающиеся шары». Правда, в результате деятельности рефлексии у индивидуализированных субъектов появляется гораздо больше неожиданных и случайных связей, нежели в поведении архаического человека, которое задается жестким схематизмом сохранения рода. В чем они тождественны, так это в нарушении равновесия, уход от самотождества, отказ от пресловутой гармонии с окружающей природой. Движение от первобытной включенности в циклы природных процессов к неравновесному, противоестественному и принудительному миру культуры — универсальная стратегия, которой мы следуем в современности.

Архаика — это не количественная сумма звериного и человеческого, которая селективно допускается в качестве собственных истоков, отождествляясь с разумностью нововременного субъекта в тех моментах, в которых разум встречает самое себя. Она есть нечто третье, являющее собой экстерриториальное пространство, находящееся вне прямой линии рефлексии. Рефлексирующий субъект встречается с самим собой именно потому, что в прошлом он видит лишь готовые формы настоящего. Отражаясь от неизвестного, такая рефлексия соединяет настоящее с тем, что уже было в прошлом, то есть представляет собой гомеомерию — исток готового настоящего. В противоположную сторону, в сторону будущего, она проецирует иное в той степени, в какой оно укладывается в прогресс — а по сути, прямолинейность тенденций настоящего. Таким образом, история Гегеля есть история, начало и конец которой самозамкнуты. Вот как это, повторю, предстает у Гегеля: «История, развертывающаяся перед нами, есть история отыскания мыслью самой себя». Мысль здесь самообосновывает себя, замечает, встречает и имеет дело только с самой собой. Она согласовывает начало и конец, зна-

[116] Экспрессионизм / Отв. ред. Б.И. Зингерман. — М., 1966. — С. 51.

ние о себе со знанием о своем истоке, знание и предрассудок, истину вывода с началом первого умозаключения — в итоге мысль фиксирует лишь то, что мыслью или, точнее, в образе мысли *является*, тем самым производя операцию исключения того, что предшествует мысли, то есть откуда мысль происходит, из чего она произрастает: доисторию, например. С другой, в равной мере отстоящей от истории позиции — постистории, история есть лишь момент истории, отождествившей себя с мыслью.

Метафора зеркала оказывается продуктивной в объяснении механизма рефлексии и его ограничений. Призыв же прорваться сквозь амальгаму зеркала[117], посмотреть сквозь него — означает не только уничтожение зеркала, но и самой возможности чистого видения. Но зеркало потому является онтологическим условием возникновения сознания, что человек обнаруживает себя в качестве человека, лишь смотрясь в другого. Как ни загадочны корни сознания, как ни темны его первые проявления, как ни иррациональны его стратегии в настоящем, оно каждый раз открывается тому зеркалу, в которое смотрится, в котором обнаруживает и идентифицирует себя. Разбив зеркало и увидев конструкции образа, им производимого, обнаруживаешь другое зеркало: разбив венецианское, обнаруживаешь стоящее за ним медное, разбив начищенное и блестящее медное, увидишь зеркало из полированного камня[118]. Но что стоит за «оптическим» зеркалом, прямолинейно отражающим взгляд[119]? Имело ли место зеркало в архаические времена — времена первобытности? А если было, тогда что оно из себя представляло? Полагаю, не будет неожиданностью увидеть в изображениях и рисунках древних то же зеркало, в которое всматривался и с помощью которого идентифицировал себя первобытный человек. В нем была особая система отражения и система репрезентации, особый механизм сборки коллективного тела. Иная рефлексия. И вся проблема в том, сможем ли мы посмотреться в это зеркало, увидеть в нем и признать себя? Или так и останемся в ныне привычном убежище нашего идеального образа?

Отражая, любое зеркало отражает настойчивое любопытство заглянуть внутрь его, увидеть конструкцию устройства самоидентификации, так как зеркало выступает чертой, пределом, завесой, перед которыми угасает, получив удовлетворение познавательный инстинкт и потребность признания. О него разбивается неискоренимая жажда трансгрессии, но одновременно, возвращая, оно укрепляет человека в его самопредставлении и актуальности. Но есть иная актуальность, актуальность совершенной линии, которая является недостижимой вне

[117]Gasché R. The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. — P. 31.

[118]Из недавних раскопок Джеймса Мелларта (первого из открытых на сегодняшний день городского поселения эпохи неолита на территории современной Турции) стало известно, что первые зеркала были известны уже 10 тыс. лет назад и делались они из обсидиана. «Для археологов и историков это — город (Чатал-Хююк), с которого начинается цивилизация. Фактически же это начало эпохи поселений и обработки земли, эпохи неолита. Здесь были обнаружены свидетельства беспрецедентного уровня развития технологии: сотни ножей, кинжалы, наконечники стрел и копья из кремня или обсидиана, сработанные с поразительным и невиданным мастерством, намного опережающим уровень технического развития любых других культур, известных на Ближнем Востоке того времени. Обсидиан, в частности, является чрезвычайно твердым вулканическим стеклом, и отбитые куски этого стекла могут иметь невероятно тонкий режущий край, гораздо более острый, чем любое современное металлическое лезвие. Были также найдены великолепно отполированные обсидиановые зеркала, бусы с тончайшими отверстиями, ювелирные украшения и тканые изделия высочайшей пробы, в их числе ковры — свидетельство жизни в комфортных условиях» (http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Baidgent_Arheolog/beidzhent_04.php).

[119]Тотальность самопредставления, скроенного по мерке зеркала, отшлифованного наукой и техникой нового времени и ставшего настолько ровным и плоским, что предстает в своем «превращенном», «кривом» виде, поскольку исключает возможность другого взгляда, о коем нам говорит Колет Пеньо: «Мы знаем, что так называемые пленники реальности смотрятся в выпуклые или вогнутые зеркала и ни разу в жизни не склонялись над чистой водой лесного ручья» (Батай Ж., Колет П. (Лаура). Сакральное. — СПб., 2004. — С. 152). Парадокс в том, что идеология певцов разумности, опирающейся на метафору естественного света, отвергается слева, призывом к естественной природе же, к природе пола и плотской любви.

рамок своего зеркала. Именно эта актуальность потеряна в случае подражания юноши античной скульптуре, или в попытке воспроизвести «раскованный и совершенный» дух живописи палеолита (А. Маттис). Каждая эпоха смотрится в свое зеркало. Но каждое новое зеркало, наследуя «рефлекс» старого, не позволяет прикоснуться к изнанке (темной стороне его) или придать ей какой-либо смысл.

Итак, очевидно, что любое зеркало — это система искушения и принуждения к самотождеству: оно настраивает взгляд и заставляет готовить выражение лица, выпрямить спину. Оно с безразличием удваивает уникальное по своей природе, но при этом способно отразить лишь то, что претворяется в бестелесный и бескровный образ. (Вампиры, как известно, в зеркале не отражаются, ибо зеркало само питается кровью своих создателей[120].) Но оно способно отражать то, что не видимо в одной системе координат, в традиционной системе экспозиции фигур, поставляя при этом образы новоевропейской картины мира: «Вместо того чтобы иметь дело с видимыми объектами, это зеркало проникает сквозь все пространство изображения… и воспроизводит видимый облик того, что недоступно любому взгляду»[121]. Нововременному зеркалу предшествовало традиционное зеркало. Последнему, а тем более древнему, зеркалу приписывалось качество проявлять сокрытое (здесь надлежит вспомнить крылатую фразу «глаза — зеркало души»), приоткрывать невидимое, увеличивать крайности (вспомним различие выпуклого и вогнутого зеркала романтиков).

Ведущее свою родословную от венецианского (для его производства требовалась ртуть, уносившая здоровье ремесленников, которые тем самым приносили себя в жертву набирающей силу интервенции разума), зеркало Нового времени настолько заворожило смотрящегося в него человека, что, пожалуй, он не в состоянии увидеть предостережения в мифе о Дионисе, тоже засмотревшемся. (Дионис по одной из версий превратился в Двуликого Януса.) Два образа — Нарцисс и Двуликий Янус — говорят о том, что увидеть себя, смотрящегося в зеркало, невозможно; как первый, так и второй не способны увидеть себя-со-сто-роны, расширить границы видения. Рефлексия, отождествляемая лишь с одним типом рациональности, исчерпывающимся паноптической метафорой, не дает возможности взгляда со стороны, то есть не позволяет обозреть широкий культурный контекст; защищена от вторжений иных образов себя. Она забывает о существовании зеркала Гефеста, в котором можно увидеть не только настоящее (лучше предстоящее), но прошлое и будущее.

Единственное, что определенно не может дать зеркало, — это возможность увидеть себя смотрящего на себя, подсмотреть работу, которую совершает человек, перед тем как неосознанно готовится себя увидеть *таким каким знает,* и во время того, когда он производит работу удостоверения видимого образа в зеркале и представляемого. Двуликий Янус — вывернутый, точнее говоря, *абсолютно зеркальный образ смотрящегося*. Итак, рефлексия не может представить, чтобы ее объект существовал сам по себе, вне и без актов рефлексии, посредством которых он дан. А, с другой стороны, рефлексия (впрочем, как и психоанализ) не может произвести саморефлексию. Поскольку она существует лишь направленной на нечто, внутри разделения мира на субъект и объект, она не способна подвергнуть рефлексии свои собственные предпосылки. Эта зона умолчания — alter ego рефлексии.

---

[120]См.: Савчук В.В. Нам зеркало — вам пир // Фигуры Танатоса. Вып. 5. — СПб., 1995. — С. 7–11.

[121]Фуко М. Слова и вещи. — СПб.: Acad, 1994. — С. 45–46. Развивая мысль Фуко, Евгений Барабанов показывает, что «для европейской науки и зеркало также было стимулом увидеть недоступные глазу объекты макро- и микромира. После появления в XVII веке идей зеркальных телескопов (Цучи — 1616 г., Грегори — 1663 г., Ньютон — 1668 г.) и сложных микроскопов научное и прагматическое использование зеркальной рефлексии, например посредством перископа, телескопа-рефлектора, гелиоустановки, лазера и т.д., сохраняет свою актуальность по сей день» (Барабанов Е. Зеркало и окно. Художественные авангарды Запада и России: Различия оптиковизуальных кодов // АРТ-АЗБУКА: Словарь современного искусства (http://www.gif.ru/azbuka/media-art.htm)).

По аналогии с алхимией, которая давала «теневой» образ культуры Нового времени, можно сказать, что зеркало являлось инобытием «глубины» обоснования разума с помощью рефлексивных процедур. Ощущение глубины, спрятанной за амальгамой, и мистический страх, неизменно сопутствующий зеркалу в алхимических лабораториях, может быть основан на использовании ртути (Mercurius — один из основных символов алхимии) в производстве зеркального слоя, которая медленно убивала его создателей. Зеркало есть абсолютная глубина и абсолютная поверхностность, или, иначе, идеальная поверхность неба и ада.

6. Рефлексия незаинтересованного субъекта

Пренебрежение почвой

Заслуженно важное место в понимании современной специфики рефлексии занимает Э. Гуссерь. Он обозначил кризис не только европейских наук, но и рефлексии, присущей нововременному типу рациональности. Различая естественную и трансцендентальные установки мышления, он указывает на то, что в «трансцендентально-феноменологической рефлексии мы покидаем эту почву (почву мира, предданного в качестве сущего. — *В.С.*) благодаря универсальному epochē в отношении бытия или небытия мира»[122]. Признавая за Декартом серьезность проекта радикального избавления от предрассудков, Гуссерль тем не менее осуждал схоластику, которая как непроясненный предрассудок присутствует в декартовых «Размышлениях»; вкупе с другим недостатком, а именно: «преклонением перед математическим естествознанием». Однако не об имплицитно проводимых идеалах естествознания идет речь у самого Гуссерля, когда он утверждает, что «новая рефлексия, которая будучи трансцендентальной, снова требует занятия именно этой позиции незаинтересованного наблюдения — с единственным остающимся для него интересом: видеть и адекватно описывать»[123]. Видимо, здесь нам не избежать универсальности формулировки, которую предложил Э. Юнегер: «Упрек в нигилизме сегодня популярен, и каждый приписывает его своему противнику. Весьма вероятно, что правы *все*. Поэтому нам нужно обратить упрек к себе, а не разделять позицию тех, кто неутомимо ищет виноватых»[124]. Трудно не заметить проявления оптикоцентризма в постулировании единственности интереса видеть и адекватно описывать увиденное. Экзистенциальные и психоаналитичесикие режимы субъективации проигнорированы, словно после Платона и Аристотеля не анализировались истоки мотивации, желания, воли. Математическое бессознательное, которое, несмотря на критику «предрассудка, проистекающего из преклонения перед математическим естествознанием, — который как давнее наследство тяготеет над нами самими»[125], присуще Гуссерлю в той же мере. Это тяготение отчетливо проявляется у него в определении феноменологически размышляющего Я, которое «может не только в отношении частностей, но и в универсальном смысле стать непричастным зрителем, созерцающим самого себя и всякую заключенную в себе объективность, которая есть для него, и так, как она для него есть»[126].

Опираясь на феноменологическую редукцию, освобождающую сознание от его естественного содержания, и конституирование модусов предметности, задающие феномены как данности сознания, но одновременно и схватывающиеся в качестве их собственной само-дан-

[122]Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб., 1998. — С. 97.

[123]Там же. — С. 99.

[124]Судьба нигилизма. Э. Юнгер, М. Хайдеггер, Д. Кампер, Г. Фигаль: Пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — С. 63.

[125]Гуссерль Э. Картезианские размышления. — С. 82.

[126]Там же. — С. 102.

ности, Гуссерль разводит естественную и рефлексивную (философскую) установки мышления. Согласно Гуссерлю специфика рефлексии заключается в том, что она «изменяет первоначальное переживание… именно благодаря тому, что рефлексия делает предметным то, что прежде не было предметным, будучи переживанием»[127]. Но есть переживания особого рода: ужас, гнев, боль, радость и другие аффективные состояния, которые не дают превратить их актуальность в предмет рефлексии. Структура плотного, неделимого и тотально захватывающего переживания-аффекта во времени такова, что перед ним отступает феноменологическая рефлексия.

Благодаря Я.А. Слинину, одному из первых в современной России, кто читал лекции по феноменологии, а затем Н. Н. Ивановой, на философском факультете Петербургского университета целый ряд молодых исследователей предприняли анализ специфики феноменологической или трансцендентально-феноменологической рефлексии. Они пришли к выводам, определяющим ее границы в отношении таких феноменов, как ужас, гнев, боль и радость. К нерефлексируемым, но оттого не ставшим менее важными составляющими опыта, относится ужас. «В ужасе Dasein встречается с самим собой, и эта встреча по существу означает не только открытость, но и смятение открытым, отталкивание. Открытое всегда превосходит само Dasein или, точнее, всегда опережает его и поэтому отбрасывает в ужас. Именно это смятение мы и называем чувством страха, собственно ужасом. Оно, следовательно, никогда само по себе не удерживается во встрече и только обозначает возможность такого удержания»[128]. Согласно Д. Внукову, поставившему себе цель определить границу трансцендентальной рефлексии, таковой является аффект гнева: «При попытке интенционального анализа феномена гнев Гуссерль сталкивает с неспособностью рефлексии адекватно раскрыть последний»[129]. Аффективные состояния не бурутся трансцендентально-феноменологической рефлексией, как об этом пишет Г.Р. Хайдарова: «Необходимость различать состояние тела, ускользнувшего от боли, и тела, ужаленного, уязвленного, страдающего, в тот момент, когда, кажется, что боль невыносима, что она никогда не кончится, когда весь мир предстает как сплошная боль. Океан боли, заполняя собой все, лишает человека опор. Свидетельства Б. Паскаля, Ф. Ницше, М. Пруста подсказывают, что боль может провоцировать рефлексию, но как актуальное состояние она подавляет мысль. Остается возможность лишь рефлексии минувшей боли. Боль, не имеющая меры и образа, требует иного типа рефлексии, не геометрического, но топологического»[130].

Боль в акте cogito

В связи с этим позволю себе подробность, касающуюся спора о присутсвии боли в акте cogito, воспользовавшись дневниковой записью Ж. Батая в апреле–июне 1944 г. (и год здесь важен): «Я шел по набережной, возвращаясь с острова Святого Людовика (где я повстречался с Моннеро). Меня окликнули из окна Лейрисов. Там был Сартр, которого я как-то упустил, которого хотел видеть. Я поднялся. Сразу завязалась какая-то абракадабра по поводу cogito (между мной, Кено, Сартром и Симоной де Бовуар): а именно совпадает ли я, которое мыслит, с тем я, что страдает от мозоли на ноге. В ходе этих словопрений я обнаружил глубокое различие между мной и Сартром: для Сартра cogito является неуязвимым атомом, вневремен-

[127]Там же. — С. 98.

[128]Шевцов К.П. Темпоральность субъекта и природа памяти. Дис. … канд. филос. наук. — СПб., 2003. — С. 44.

[129]Внуков Д.А. Функции и границы трансцендентальной рефлексии в феноменологическом исследовании: Автореф. дис. … канд. филос. наук. — СПб., 2004. — С. 18.

[130]Хайдарова Г.Р. Феномен боли: Дис. … канд. филос. наук. — СПб., 2003. — С. 32.

ным, неустранимым основанием. Для меня cogito существует только в отношении: это узел реальных человеческих связей, имеющих место во времени. Атом отсылает к волне: к языку, к словам, которыми мы обмениваемся, к написанным и прочитанным книгам. Если я умираю, книга остается. В книге Сартр останавливается на отсутствии атомической устойчивости. Наши книги подчинены чтению — ненадежным интерпретациям. Сартр сводит книгу к авторскому замыслу, к автору. Но если, как мне кажется, книга есть не что иное, как сообщение, то автор это всего лишь место соединения различных прочтений»[131]. Соглашусь с С.Л. Фокиным, что «этот фрагмент требует длинного комментария, в котором можно было бы продолжить анализ двух концепций cogito»[132]. Кроме очевидных и во многом опережающих выводы структуралистов тезис о смерти автора и определяющей роли читателя, весьма важна в контексте нашего анализа его мысль о боли. Вспомним, что акт рефлексии требует места во времени, которое не есть чистая длительность. Отказывая устойчивой привычке трактовать место времени как чистую длительность, мы приближаемся к пониманию места: места как топоса с неустранимыми геоклиматическими особенностями, с позой мыслителя и топами аргументации. Как нет места вне времени, так и времени без местопребывания, без развертывания его в пространстве осуществимости, без усилий его сохранения и воспроизводства. И нет нужды доказывать, что в каждом месте свои отрезки длительности, свои ритмы и своя интенсивность смены состояний.

Пойму и, насколько пойму, настолько же соглашусь с поэтической интуицией О. Мандельштама: «И Батюшкова мне противна спесь: // „Который час?“ — его спросили здесь, // А он ответил любопытным: „вечность“». *Здесь* не исчерпывается и не покрывается вечностью. Разумный человек не человек вне места и времени, не агент вечности, не застывший кадр: разумный человек, человек чуткий к своеобразным ритмам ландшафта, климата, социума; он суммирует их уникальности, но самый уникальный опыт — опыт медленного проживания, сопереживания порядку места[133]. Порядок не существует без усилий его воспроизводства, труда, праздника и жертвоприношений. Его разрывают хаос ярости, себялюбие и своеволие. Порядок собирается и удерживается традицией. В доавангардную эпоху медленного времени, обычай был деспотом и тираном (usus tyrannus). Сегодня тиранами являются новизна, скорость, смена порядка, получение удовольствия без усилий, режим актуальности, «тирания настоящего времени» (П. Вирильо).

Здесь — это целый мир, отнестись к нему необходимо не как к окружающему меня миру, не созерцательно, но как к части себя, значит, найти новый тип отношения, новую форму восприятия, отказывающую зрению в привилегии. Возможно, новой метафорой могло бы

---

[131]Цит. по: Фокин С.Л. Философ и его фавн: Ж.-П. Сартр и Ж. Батай // Ж.-П. Сартр в настоящем времени: Автобиографизм в литературе, философии и политике. — СПб., 2006. — С. 162.

[132]Там же. — С. 163.

[133]Человек вне непосредственного, вне времени и места — не разумен, а, по Аристотелю, так просто сумасшедший. Представитель Александрийской школы неоплатонизма Иоанн Филопон «бранит Парменида с его сторонниками за то, что они считали, что не следует обращать ни малейшего внимания на непосредственную очевидность вещей, а лишь на непротиворечивость теории». Аристотель идет дальше, полагая, что даже если «в теории эти утверждения (Парменида. — В.С.) представляются верными, но полагать так о реальных вещах похоже на сумасшествие» (Фрагменты ранних древнегреческих философов. Ч. I. — М.: Мысль, 1989. — С. 280). Умеренный и склонный к оговоркам, Кант осознает данную пропасть, анализируя ее под видом поговорки (См.: Кант И. О поговорке «может быть, это верно в теории, но не годится для практики» // Кант И. Соч.: В 8 т. Т. 8. — М.: Чоро, 1994. — С. 158–204). И, наконец, в этом же ключе идет критика русскими мыслителями отвлеченной, неучаствующей мысли немецкой метафизики в лице Гегеля, на которого С.Н. Булгаков ополчился за то, что он «вместе с другими идеалистами, смешивал абстрактность с всеобщностью и принимал систему наибольшей отвлеченности за систему наибольшей универсальности… Действительность в смысле Гегеля противоположна непосредственной конкретности жизни, она имеет идеально-метафизический характер» (Булгаков С.Н. Философия хозяйства. — М.: Наука, 1990. — С. 27).

стать кредо Деррика де Керкхова (Derrick de Kerckhove, директор института культуры и технологий Маклюэна): «Мир как продолжение кожи — намного интересней, чем мир как продолжение взгляда»[134]. Отнестись к миру «как к продолжению кожи», быть уместным, — значит обрести онтологическую почву и практически, то есть отказаться от безусловности метафизических ориентиров и математических проекций присвоения мира и действия в нем. Присвоение имеет иной, нежели чисто буржуазный смысл: оно указывает на отношение к миру, как к себе. Опыт такого присвоения дан не агенту вечности, но человеку чуткому к уникальности места, ибо самый уникальный опыт — опыт медленного проживания и сопереживания порядку места.

Трансцендентально-феноменологическая рефлексия не отменяется, но относится к сфере чистого и незаинтересованного Я, редуцированного до гомогенного эвклидового пространства и ньютоновско-лейбницевского времени. Она как классическая физика — частный случай неклассической. Она адекватна сфере «индустриального платонизма» (Г. Андерс)[135] и комплиментарна количественной универсальности и математической строгости. Чистая рефлексия есть частный — идеальный — случай таковой, поскольку она остается правомочной в сфере интенциональных объектов, феноменов и ими же ограничена[136]. Она как этап становления рефлексии топологической, получившей прививку от количественной универсальности и математической принудительности. Чистая и незаинтересованная рефлексия исходит из внешнего, отражаясь лишь от однокачественной — зеркальной — поверхности предметов, топологическая же — из разнокачественных, внутреннего сопереживания, сочувствия, сожжения. А субъект чистой рефлексии отличен от субъекта топологической рефлексии, как отличается крестьянин А.С. Пушкина от крестьянина А. Кольцова[137], как «непричастный зритель» и участник событий.

В свете этого топологическая рефлексия, о концепте которой будем говорить дальше, исходит из центра событий, анализирует причины происходящего, рискует предложить свое решение. Она реанимирует вопрошание об истине, полагая ее уместность и разрешимость лишь в определенном топосе, границах, пространстве-времени, о чем законно полагал Хайдеггер: «Первый закон мысли есть уместность речи о бытии как о событии истины». Но истина неотделима от искренности чувства, точности проживания, усилий продумывания и ответственности. Если в классическом понимании образов поэта и философа тезис Фердинанда Алькье, заявленный им в 50-е годы XX века, справедлив: «Одиночество поэтов не имеет ничего общего с одиночеством философов. Драма философа не в том, что он обнаруживает себя в редких, неизведанных другим состояниях души, как это бывает с поэтом. Драма философа —

---

[134]Kerckhove D. Täuschung der Eigenwahrnemung und Automatisierun // Kunstforum. Die Zukunft des Kürpers II, — 1995. Bd. 133. — S. 124.

[135]См. интересную работу на данную тему: Павлович Е. С. Феномен индустриального платонизма // АнтропоТопос: Теоретический журнал в области философских наук / Под ред. докт. филос. наук, проф. В.И. Разумова. — Омск, 2009. Вып. 5–6. — С. 136–143.

[136]Предваряя читательский импульс освоить «картезианские размышления» Гуссерля, Я.А. Слинин указывает на результаты феноменологической редукции: «Аподиктическим оказывается не только „тощее“ декартовское cogito ergo sum, но и богатейший мир интенциональных объектов, феноменов» (Слинии Я.А. Э. Гуссерль и его «картезианские размышления» // Гуссерль Э. Картезианские размышления. — СПб., 1998. — С. 31).

[137]Алексей Кольцов писал о крестьянском труде изнутри: «Весело гляжу я / На гумно из скирды, / Молочу и вею… / Ну! тащися, сивка! / Пашенку мы рано /С сивкою распашем, Зернышку сготовим /Колыбель святую». Или другое: «Ах ты, степь моя, /Степь привольная, / Широко ты, степь, /Пораскинулась, /К морю Черному /Понадвинулась! /В гости я к тебе / Не один пришел:/ Пришел сам-друг / С косой вострою;/ Мне давно гулять /По траве степной, / Вдоль и поперек /С ней хотелося…». У А.С. Пушкина иной — внешний, «просветительский» — взгляд: «Здесь рабство тощее влачится по браздам / Неумолимого владельца. /Здесь тягостный ярем до гроба все влекут, /Надежд и склонностей в душе питать не смея». (Комментарии различных исходных позиций раскрытия темы крестьянского труда см.: Успенский Г.И. Избранные произведения. — М., 1958. — С. 320–322.)

это драма человека, который чувствует себя носителем универсальных истин и понимает, что он не может передать эти истины другим, несмотря на всю их очевидность»[138], то в отношении неклассического философа, который подходит к жизни как художник, а не как непричастный зритель, человек, исходящий из топоса и принужденный принимать решение в данных обстоятельствах, равно как и для концептуального художника, который создает не только образ, сколько концепт, это уже не столь очевидно. Принужденные отвечать на проблемы как внутренней логики развития своей дисциплины, но более адекватностью времени, художник все более движется к осознанию некоей истины, а философ к подлинности переживания. Надеяться ли нам на совпадение, растворение одного в другом? Скорее всего, нет. Каждый из них (и поэт, и философ) стремятся из противоположного пространства навстречу друг другу, но, как вершинам, так и физиологам и психоаналитикам[139] — не сойтись.

Империя непричастного Я

Непричастность есть нереальность, есть страстное желание быть в ином месте, сообществе, устройстве. Она нереальна и утопична в разъясненном К. Манхеймом смысле: «„Трансцендентальным бытию“, нереальными являются все те представления, которые не согласуются с существующим жизненным устройством»[140].

Но рефлексия чистого, незаинтересованного, непричастного Я является итогом не только неустранимой склонности человека к созданию утопических грез и проектов, но и логики развития европейской науки, на определенной — зрелой — ее стадии. Как замечает Г.Х. фон Вригт «западная наука развилась настолько, что созрела до критической рефлексии над своими собственными рациональными основаниями. Органоном новой научной картиной мира была математика, и совершенно естественно, что рефлексию должны были начать люди, которые были изначально математиками, как два основоположника современной логики: Буль и Фреге»[141]. К каковым, собственно говоря, относится и Гуссерль.

Весьма продуктивной представляется задача соотнести историю логики с историей рефлексии. Начало рефлексии положено, подкреплено и имеет достаточное основание в законе тождества, в тезисе Парменида, в разуме. Развиваясь и эволюционируя, логика через апории разума, диалектическую логику, логику чистого разума, приходит к деструкции своих оснований. Ныне она приходит к выводу (запрещаю себе уязвление ее самоуверенности, самотождества и гордыни, не говорю — изводу) о возможности и закономерной необходимости разработки неклассической логики, логики, отрицающей закон тождества и исключенного третьего, берущей начало у Яна Лукасевича и Николая Александровича Васильева (не потому ли, что страны авторов ее лежат на границах Западного мира, раздираемы противоречиями, двойственны в процедурах самоидентификации). Логики, описывающей фрагменты (фракталы), возможности, допустимости, особенности ситуации и предметной области. Логики выживания, радикально отучающейся от логики империи, захвата, покорения. Формальная логика царства разума питалась энергией угля, мощью паровых машин, размерами растущих банковских империй, универсальный язык которых «говорит громче местных диалектов» (Кристофер Лэш), унификацией типографского знака и скоростью распространения книгопе-

---

[138]Алькье Ф. Как понять философа? // Романский коллегиум: Сб. междисциплинарных науч. трудов / Отв. ред. С.Л. Фокин, Н.В. Решетняк. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. — С. 173.

[139]Молва донесла слова И.П. Павлова, высказанные им после знакомства с психоанализом: «Мы идем с противоположных сторон, но к одной цели».

[140]Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое мышление / Общ. ред. В.А. Чаликовой. — М.: Прогресс, 1991. — С. 115.

[141]Вригт Г.Х фон. Логика и философия в XX веке // Вопросы философии. — 1992. — № 8. — С. 82.

чатного текста как ведущего медиасредства XVIII и XIX веков, подрывающего рукодельность и уникальность вещей феодального общества. Она шла рука об руку с рациональным договором с Богом и протестантской этикой, колониальной экспансией крепнувшего капитализма на окраинах мира и становлением буржуазной демократии в центре. Непричастный вещам идеал чистого Я оказался эффективно работающим принципом расширения и господства цивилизации, его исповедующего. В соответствии с проектом разума философия делала легитимными средства рациональной стратегии захвата и приручения мира. Возможно, проверкой как неклассической логики, так и топологической рефлексии, идущих с противоположных сторон к одному и тому же — к более адекватному, а в нашем контексте и более *уместному* пониманию настоящего положения дел, что включает *разрешение* противоречий (разрешение принципиально в двух смыслах одновременно): во-первых, снять, преодолеть, во-вторых, допустить их в жизни *в снятом виде*, смириться с их упрямым нежеланием исчезать. Противоречия настоящего положения дел требуют не только логико-понятийных операций для их разрешения, но и зон самоорганизации риска, крови и боли, ритуалов и жертвоприношений. В ситуации стерилизации пространства, тактильной депривации, комфорта и стратегии общества потребления как никогда прежде востребованы аутодеструктивные преформансы, экстремальные виды спорта и боль как практика признания истины.

Если грязь, как остроумно заметил французский химик Клод-Луи Бертолле (1748–1822) и часто цитировал З. Фрейд, — это вещество не на своем месте, а чистота — стало быть, вещество на своем месте, то предел чистоты — отсутствие другого вещества, и как следствие — отсутствие жизни. Чистота в медицине предстает стерильностью, в теологии — раем, в философии — абсолютом. Но, как яркий свет ослепляет, переходит в свою противоположность — тьму, так и культивируемая незаинтересованность, доведенная до логического конца, с одной стороны, говорит о трагизме одиночества, а с другой — выдает истовую заинтересованность в другом. Непричастность в модусе ли идеала, утопии, грезы есть инобытие страстной вовлеченности. Так, отстаивание чистоты механического естествознания совпало с целями открытия и освоения новых Земель и покорения проживающих там народов. Позиция незаинтересованного, чистого субъекта неуязвима, поскольку задетым — уязвленным — может быть лишь живой, чувствующий, заинтересованный в деле постижения естества человек. Кризис европейских наук в XX веке преодолевается не на путях сохранения проекта модерна, не спасением чистого трансцендетального субъекта, но посредством критики основ этого проекта постструктурализмом, инициировавшим в конечном счете поиск новых стратегий выживания в современном мире, новых средств аналитики настоящего.

7. Игра рефлексов

Стратегии саморазрушения

Редукция (Reductio) и конституирование (Constituere) Гуссерля, деструкция (Destruction) Хайдеггера и деконструкция (Deconstruction) Деррида — имманентный рациональности путь утраты надежных основ мысли, путь отказа от господства классической рефлексии[142]. В итоге всеобщий разум смущен, он в замешательстве поскольку раскрыты как

[142]В своей едкой критике книги Джонатана Куллера Дж. Серль делает важную оговорку, частично оправдывающую учителя Куллера — Деррида: «Философская традиция, идущая от Декарта до Гуссерля, — а в сущности большая часть традиции, восходящей к Платону, — тесно связана с поиском оснований: метафизически достоверных оснований знания, оснований языка и значения, оснований математики, морали и т.д. <…> Теперь, в XX столетии, большей частью под влиянием Витгенштейна и Хайдеггера мы пришли к убеждению, что этот всеобщий поиск такого рода оснований неуместен. Нет никаких оснований морали или знания — в том смысле,

его рыночные основания тотальности, так и метафизические умолчания, указывающие необоснованность любой претензии на всеобщность, а следовательно,

на власть. Разум — фрагмент субъекта, который сегодня не может свести воедино расколотые части: сознательного и бессознательного, рационального и иррационального, мысли и чувства, истинного и ложного. Именно за это отстраненное, равновозможное, невключенное и неучастливое отношение упрекает Р. Рорти постсруктуралистов в лице М. Фуко, который не берет на себя ответственности «идентификации себя с каким бы то ни было социальным контекстом, какой бы то ни было коммуникацией», который отказывается говорить «мы» и смотрящего на «на проблемы своих сограждан глазами историков будущего»[143]. Если серьезно отнестись к критике Рорти и строго проделать требуемое, то мы неизбежно придем к выводу об ответственности за место, за социальный контекст, за коммуникацию — за все то, за что не может не брать на себя ответственность современный мыслитель. Ответственно продумывая интересы топоса, выражая интересы его, интеллектуал всегда рискует войти в противоречие с исходной политической или идеологической позицией, совпасть с противником, оппонентом. Но эти трансформации говорят не о стратегии всеприятия и дозволенности, но, напротив, наполняют содержанием давно забытый смысл выражения «рискну предположить», где риск означал утрату авторитета, места службы и жительства, а порой жизни. Ставший риторическим оборот «рискну предположить» возвращает мучительное признание правоты противоположной позиции, непримиримой точки зрения, убеждений.

Но прежде начну издалека, обратившись к маргинальной с точки зрения логики нашего исследования фигуре Манфреду Франку — ученику Г.-Г. Гадамера и, как повелось издревле, радикальному критику философии своего учителя. Он представляет интерес не только тем, что популярно разъясняет отличие мышления от рефлексии, которую он, впрочем, сводит к самосознанию. Исходный тезис его таков: распространена ложная трактовка того, что «„самосознание“ — это результат, второй этап «сознания». Сначала, де, имеется некая стадия не-сознательного или бес-сознательного, т.е. отсутствия сознания, а затем происходит „о-сознание“ этого состояния и тем самым — рождение (само)сознания. Самосознание, согласно такой вере, возникает благодаря рефлексии, то есть обращению сознания на себя самого. Но в момент, когда я говорю „сосредоточься“, „сконцентрируйся на себе“, я не иду к „себе“, а исхожу из себя. Самосознание, выходит, не отличается от сознания предмета, от предметного сознания.

Если я мыслю стену, то я — здесь (hier bin ich) и мыслю я при этом не себя, но, напротив, стена есть содержание моего сознания. Следующий шаг — обращение мысленного взора со стены на того, кто смотрит на эту стену, т.е. на „меня“, на „самого себя“. Это и есть рефлексия. Но это значит, что „самость“ — такой же предмет сознания, как и все другие. Чего не может быть. Ведь описание, получается, движется по кругу. А значит, оно ни к чему не приложимо. Ни один мыслитель не сможет приложить это описание к миру, даже если этот мыслитель — Хайдеггер. Каким образом я могу знать, что предмет, на который я направил свой мысленный взор, есть я, если я нахожу лишь предмет, о котором я знаю только то, что о нем до рефлексии ничего не было известно. Это лишь предмет, который никаким образом не может сообщить мне эту информацию, а именно, что этот предмет — я!

Если некто говорит: а) я думаю, что самосознание существует, б) я полагаю, что оно возникает так-то и так-то (а именно, посредством рефлексии), то автору этого допущения можно возразить следующее. Если ты думаешь, что самосознание существует, и в то же вре-

---

в каком это полагала классическая метафизика» (Серль Дж. Перевернутое слово // Вопросы философии. — 1992. — № 4. — С. 66).

[143]Рорти Р. Хабермас и Лиотар о постсовременности // Ступени: Философский журнал. — 1994. — № 2. — С. 127–128.

мя допускаешь, что твоя теория о нем носит круговой характер, то ты должен допустить, что верной может оказаться и другая о нем теория. В том числе и такая, которая считает, что никакого самосознания не существует. Но этого не утверждает даже Хайдеггер. Тогда спрашивается, зачем разоблачать субъекта, лишать его полномочий и прочее, если никакого субъекта нет?!»[144]

Франк говорит нам о границе трансцендентальной рефлексии, которая исходит из «позиции незаинтересованного наблюдения», то есть опирается на идею интенциональности без субъективности. Франк реабилитирует субъект, который уже не есть простая производная социальных, экономических, лингвистических и прочих структур, и при этом делает радикальный вывод, что «предмет самосознания бессмысленно искать в мире объектов», что он как и субъект «ни-из-чего-невыводим» — важный, но все же ограниченный этап в преодолении забвения субъекта постструктурализмом. Постулировать уникальность и невыводимость, то есть полагать субъект не имющим основания, с одной стороны, и не возвращать ему плотность тела — с другой, — столь же сильное, сколь и неверное допущение. Иными словами, из верной посылки, что субъект самосознания не редуцируется ни к структурам языка, ни к экономике, ни к политике, не следует: а) что они не воздействуют на него, б) что нет других (не тематезированных исследователями) детерминаций и в) что именно в топосе уникальность находит свои действительные и достаточные основания, определяющие существование, его эстетический опыт и, вспомнив Аристотеля, топы убедительной речи об их понимании.

Вспомним греческие значения термина ἐπιστροφή, предваряющего латинский его перевод reflexio, «обращение назад, обращение внимания, забота, обращение или пребывание в каком-либо месте, останавливаться и оборачиваться назад», но остановка и тем более *пребывание* в подлинном смысле слова может быть только в *определенном* месте, как в нем же только и возможны ощущение, точка зрения и рефлексия. Рефлексия, требующая остановки в пространстве и времени, требующая изъятия себя из монотонной повседневности, включенности в дела, она требует зеркальности плоскостей отражающей и воспринимающей рефлексии. Она симметрична, как того требует тезис Парменида. Классическая рефлексия — есть возвращение *того же самого*, есть тождество зеркального образа и прообраза, начала и конца мысли, посылки и вывода. Зеркальность — основа механической узнаваемости и повторяемости (вспомним: история есть «отыскание мыслью самой себя» (Гегель)) и механического отделения разумного основания и того, что в образ разумной самоидентификации не входит. Орудия труда — проявление культуры и сознания первого человека, а каннибализм и человеческие жертвоприношения — дикость и проявление животного начала, да и позже, присягая Римскому праву, самоидентификация человека разумного столь же последовательно отвергает битвы гладиаторов, казни христиан, кровавые жертвоприношения.

Всеобщая условность

Следующий шаг в направлении установления четкой демаркационной линии между предметами доступными и недоступными процедуре классической рефлексии необходимости делает структурализм и его производное — постструктурализм. И хотя его основные представители настойчиво отрицают свою общность, однако есть, все же оговорки. Так, М. Фуко не уставал повторять, что если было у них нечто общее, так это не метод, «общий враг»: классическая рефлексивная философия и философия субъекта»[145]. Жак Деррида одной

[144]Манфред Франк и конец послевоенной немецкой философии: Беседа Владимира С. Малахова с Манфредом Франком // Логос. 1999. № 4 (14). С. 8.

[145]Фуко М. Воля к истине. М.: Магистериум, Касталь, 1996. С. 354.

из первых трех книг «Письмо и различие» фиксирует важные для дальнейшей судьбы его учения зрительные (оптические) коннотации рефлексии, связывая последнюю с платоновским мифом прямого и непрямого видения «света как естественной метафизической стихии истины», метафоры «разума-как-света» — таящей тайну мышления, раскрытие которой, по его мнению, подрывает основу западного мышления.

Постструктурализм, опущу различия его в этом пункте со структурализмом, апеллирует к контексту, который противопоставляется любым универсальным определениям и рефлексивным схемам. Анализ контекста к тому же вскрывает умолчания любых центраций структуры. Рефлексия твердых и надежных оснований подменяется вскрытием неявных допущений, игнорирующих ограниченность, локальность, контекстуальность всеобщности: европоцетризма ли, логоцентризма, фаллоцентризма и прочих надежных каркасов всеобщности. Сам же акт абсолютной рефлексии как удостоверения тождества исходного и конечного пункта мысли — а на его основе и истинности — посредством зеркальных взаимоотражений в них же и замкнут, ими же — зеркалами — ограничен. Когда дело идет о зеркале иного устройства (не плоском), зеркале иной природы — тех «зеркал», в которое человек смотрелся тысячелетия, например, мифологические изображения, тогда «в отличие от философской рефлексии, которая якобы доходит до истока, те отражения, о которых речь идет здесь, касаются лучей, лишенных любого другого источника, кроме виртуального», — пишет Клод Леви-Стросс в работе «Сырое и вареное». Миф — возможен, поскольку реален. Ибо до определенной поры другой миф, миф разума и просвещения невозможен, непредставим, неизвестен.

Если обратимся к известным характеристикам постмодернизма, данным Ихабом Хассаном, то рефлексии посвящен последний, девятый пункт, звучащий следующим образом: «Имманентность — срастание сознания со средствами коммуникации, способность приспосабливаться к их обновлению и рефлексировать над ними»[146]. Рефлексия, стало быть, выполняет функцию сознательного ориентирования в ситуации постоянно измененяющегося контекста. Она отказывается от серьезности игры по единым правилам и уязвляет самолюбие сознания отказом от единства мира и признанием принципиальной его фрагментарности: каждый фрагмент этого мира живет по своим правилам. К тому же крепко стоящую на ногах иронию модернизма постструктурализм повергает в смущение тем, что позволяет иронизировать над основанием своей иронии и иронизирует над возможностью иронии как таковой. Смяв дистанцию между субъектом и объектом (напомним, необходимой предпосылки классической рефлексии), отказавшись от любого центрирования и надежного трансцендентального означаемого, как то: «Бог», «Душа», «Природа», «Сущность», — деконструкция рефлексии ведет к тому, что она постоянно преступает границы, в которых она предстает самодостаточной; нет более зеркальной рефлексии, есть рефлексия диффузная, незеркальная и непрямая, проявляющаяся в отсветах и цветовых рефлексах.

Позиция радикального эклектизма распространяется и на сферу рефлексии — мозаичности мира соответствует коллейдоскопическая мозаика инструментальных процедур его — отдельного франгмента мира — постижения[147]. Так как «вне текста нет ничего», а любой

[146]Hassan I. Making sense: the triumph of postmodern discourse // New Literary History. — Vol. 18. — № 2. — P. 446.

[147]Постпозитивисткие методологические установки сближаются с исходными принципами постструктурализма. Исходя из того, что не существует универсального рецепта научного открытия, в силу чего прежняя научная методология должна быть заменена анархистским принципом: ‘все дозволено’ (‘anything goes’ — все сойдет, все подходит; в его собственном переводе на немецкий ‘mach, was Du willst’ — делай, что хочешь) (Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. — М.: Прогресс, 1986. — С. 498). Сюда же отнесем тезис Дюгема-Куайна о недоопределенности теории фактами и тезис о теоретической нагруженности наблюдений. Научные теории являются способом концептуализации реальности или, как пишет Куайн, — концептуальные мосты, которые мы наводим с той лишь целью, чтобы упорядочить данные опыта. Критерий проверки ис-

текст предполагает бесконечное число истолкований, отказывая любому из них быть истинным, то исходя из такой онтологии естественным образом произрастает специфичная для данных условий аннигиляция классической рефлексии, отменившая классические оппозиции основания и следствия, флексии и рефлексии. Сложившаяся ситуация схватывается как единство многозначности (игра) языка и игра значений, работая только со знаками и рассматривая реальность лишь как артефакт средств массовой информации, как теле-, видео-, кино- или газетно-журнальную версию произошедшего, стирает различие между научным методом и литературным приемом, между логикой и воображением, означающим и означаемым. Знак же по определению есть то, что ставится, приписывается — нечто привнесенное, внешнее. Но внешнее становится внутренним. Все есть знак. Воздействие внешнего создает эффект, посредством которого отношения сходства исходят из отношения смежности, а связь по аналогии оказывается включенной в гомологию.

Осолки Большого зеркала

Постструктуралистская онтология отказывает рефлексии в главном — в способности подтверждать тождество исходной и конечной мысли, основания и следствия, посылки и вывода. В том идеальном пространстве, в котором господствовала классическая рефлексия, обосновывая всеобщность и необходимость выводов разума, обнаруживаются не прочные основания мысли, не надежный фундамент ее, а зыбкие условности и равноценность противоположных толкований, но от этого, хотя быть может именно по причине этого, процедура обращения к истокам не подтверждает единство (и как следствие единственность) исходной позиции, а утверждает неопределенность истоков мысли, уходящих корнями все дальше и дальше в историю. Классическая рефлексия радикально проблематизируется. Ее господство, заданное идеальным пространством, пространством, в котором превосходнейший ум Аристотеля «мыслит сам себя». Но напомним, согласно Аристотелю, «совершенно очевидно, что знание, чувственное восприятие, мнение и размышление всегда направлены на другое, а на себя лишь мимоходом», и, следует добавить, всегда предшествует «мышлению о мышлении», первично и самодовлеюще. Сила его в силе привычки, в общепринятости и повсеместности (не эта сила ли общего мнения вызывает неприязнь первых греческих философов). Ломать привычки, отказываться от принятой картины мира, своего привычного зеркала самоидентификации — дело весьма трудное и небезопасное (сопротивление философии обыденным сознанием обоюдно). Исторически рефлексии всегда предшествовал первичный нерефлексивный опыт, в свете которого рефлексия предстает странным случаем, а ее «мимоходность» (по определению Аристотеля) еще не стала главной задачей.

Если вернуться к метафоре зеркала, то трудно не увидеть, что стройная и отчетливая, но, как оказалось, хрупкая научная картина мира разбивается на куски (число коих, что атомов Демокрита). И в его осколки ныне смотрятся разуверившиеся в своем существовании авторы, субъекты, люди. Каждый смотрится в свое зеркало (повторю, среди осколков его есть зеркала различных эпох, различной природы и конструкции, дающие самые невероятные образы тех, кто смотрится в них), поэтому он не видит целого, принимая фрагмент картины мира за *сам* мир (не очень, впрочем, веря в это). Целое берется в кавычки. Искомый результат постструктуралистской неопределенности, неоднозначности и безначальности подобен такому отражению, которое собирает свой образ в точке, в которую сходятся многочисленные отражения фрагментов большого зеркала, к которым добавились фрагменты зеркал других

тинности теории отвергается в пользу прагматической оценки. В сильной версии такая концепция ведет к критике корреспондентной теории истины, к отказу от смысла самого понятия истина, а также таких понятий, как «рациональность», «научное познание», «экспериментальная проверка», «обоснованность знания» и др.

эпох, другой конструкции образования образов, другого механизма самоидентификации. Разрозненные образы не претендуют более ни на выражение чего-то за ними стоящего, ни на истину, ни на отражение ценностей.

Тем не менее научная картина мира вопреки всему создается вновь и вновь, черпая ресурс у незавершенного проекта, с одной стороны, и лишаясь былой однозначности — безусловного рефлекса рационализма — с другой. Постструктуралистский образ не собирается в целое, он есть конгломерат многочисленных условных (в нашем случае уместно сказать — обусловленных контекстом) рефлексов света и цвета. Их игра, изменчивость, прихотливость — условие живописности, и они же — условие контекстуализации рефлексии. При этом четкость образа отдельного фрагмента может усиливаться, производя образ реальности как таковой. Его отличительная черта *чрезмерность* отчетливости и ясности, как это можно увидеть в образе маскирующегося ангелом дьявола. Но именно по этому признаку его можно было распознать на иконе. Сам же процесс рефлексии уже не описывается метафорой lumen naturalis, приобретая несвойственную ему многозначность и неопределенность, а косвенно лишая основания осмысленности классической философии. Меняются не только исходные посылки, но и способы аналитики основоположений. Основания жизни стремительно разрушаются самой жизнью. Поструктурализм лишь фиксирует данное. А демонтаж прежде надежных и прочных оснований указывает на безосновательность мысли, предпринимая отчаянные попытки найти адеватный язык описания того, что оказалось подвешенным в неопределенности после отказа от универсальности трансцендентального означающего и метафизики присутствия.

Надо при этом подчеркивать, что постструктурализм — это наиболее адекватная форма описания капиталистического общества в период переизбытка товаров и услуг. Он (и его общекультурный аналог — постмодернизм) присущ эпохе процветания и покоя, когда человек уверен в стабильности будущего, когда он уверен в защищенности и неизменной перспективе преимуществ своего образа жизни, мысли и представления, когда он, наконец, знал, что за свои слова не несет ответственности ни перед интеллектуальным сообществом, ни перед властью. Но в 1990-е годы появляется странное ощущение исчерпанности проекта. Вооружившись концептуальной провокацией, интеллектуалы подвергли деконструкции всё — любые инстанции власти, этические, эстетические нормы, рациональность, истину и половую определенность — деконструировано всё, что составляло основы жизни западного человека. Но именно тогда же западный интеллектуал вдруг осознал, что ровным счетом ничего не изменилось; когда все инстанции власти, все умолчания всеобщности, все эстетические принципы и моральные нормы дезавуированы, но тогда же он осознал, что он по-прежнему платит налоги, живет в той же квартире, ходит в свое любимое кафе и стоит (или если он радикал, всегда идет) на красный свет. Существует огромное количество вещей, оставшихся неизменными, то, что скрепляет и удерживает жизнь в ее осмысленности. Началось осознание того, что уже не интересно, как что-то разбирается, вскрывается, деконструируется. Гораздо более важным стал вопрос, что остается, что удерживает жизнь в устойчивых формах, что скрепляет сообщество, есть ли абсолютные ценности, объединяющие людей, есть ли любовь, Бог, трансцендентное?

Напряженное поле утративших ориентиры смыслов классической рефлексии, границ ее очевидности и полноправного господства, кроме всего прочего, задается противоборством мыслителей, взявших на себя труд продолжать и развивать проект «современности», находя его скрытые потенциальные возможности в решении актуальных проблем, и тех мыслителей, кто, напротив, говорит о завершенности эпохи «современности», эпохи модернизма, эпохи классического разума. Создавшаяся ситуация заставляет вновь обратиться к природе рефлексии, пересмотреть ее «статус-кво» в сознательной деятельности и продумать ее вне ситуации

спора наук, осознавая вес претензий и масштаб переопределения критериев истины, так и целей гуманитарного познания.

Итогом тотальной критики классической рефлексии явилось признание невозможности arché ни как начала, ни как исхода современности, ни как некоего эпистемологического основания, отсроченность любой возможной точки начала, имеющей смысл лишь тогда, когда есть следующее, второе, дающее смысл первому. В итоге, рефлексия, поворачивая назад, не может вернуться к исходным посылкам и, тем самым, удостоверить истинность настоящих стратегий отношения к миру, к другому, сообществу. Как нет единственной и надежной исходной позиции, так же не обнаружить верность настоящей. Подмечена закономерность: чем мы дальше продвигаемся во времени вперед, тем больше и глубже знаем прошлое, такую зависимость усматривает Дитмар Кампер, говоря: «чем древнее прошлое, тем позже оно осознается, то вскоре нам предоставится шанс выскользнуть из господствующей ловушки воображаемого и избежать принуждения постоянно вязнуть в историях»[148]. Но что значит выскользнуть из ловушки? Что добавляет нам наш опыт с 1985 года, когда была высказана эта мысль? Сегодня выход видится не в поиске основания в прошлом, а в занятии ответственной позиции в настоящем. В картине мира постсовременности — сплошь симмуляционной — настоящего нет, а посему нет возможности «переворачивать мир», что в случае классической рефлексии означает возвращать в исходную точку актуальную мысль. Но поскольку актуальность задана не традицией прямолинейного поступательного восхождения, но радикальным поиском новых стратегий мотивации и поведения человека, то сверх-задачей является обретение опоры в настоящем, которое зеркально даст нам и настоящее прошлое.

Рефлексия настоящего

Как необходимый разрушающе-очистительный этап в понимании рефлексии ее постструктуралистская деконструкция сыграла свою позитивную роль. Отказавшись от жестких структур самопризнания и иллюзий непогрешимости своих оснований, она дает энергию поиска адекватной как времени, так и месту рефлексии настоящего времени; она же обнажает неотложные проблемы поиска новой терминологии описания, побуждая к инвентаризации старых схем анализа. Глорификанты классики искренни и благодушны — искренни в своем убеждении жизненной необходимости спекуляции, благодушны, поскольку в этом проекте, мнится им, есть потенциал незавершенного проекта, — но выживание требует смены не только ориентиров, но и политики повседневности, медиаполитики, экономики решения локальных проблем в свете глобальных. Однако и противное постмодернистское решение: упование на игру, на отказ от любой тождественности и определенности, от твердости и надежности метафизических понятий, — сталкивается с проблемой выживания, выживания в той ситуации, когда на просмотр, следование по следам событиям нет времени. И так, когда вопрос стоит о качестве проживания, об уверенности в завтрашнем дне и равновозможной реализации противоположных способов принятых решений, тогда годится постструктуралистская онтология, когда же речь идет о выживании — топологическая рефлексия. Иными словами, проживанию соответствует игра рефлексов, а выживанию — ответственная рефлексия топоса, топологическая рефлексия.

11 сентября 2001 года постмодерн и философская основа его постструктурализм — утратили актуальность; из провокативного, открывающего новые способы понимания данности он стал реакционным. После теракта в Нью-Йорке уже нельзя делать там (по крайней мере в обозримое время) то, что художники-акционисты с успехом делали раньше, например

[148]Кампер Д. Тело. Насилие. Боль. — СПб., 2010. — С. 30.

разного вида аутодеструктивные перформансы. В контексте трагедии они потеряли выразительные свойства разработанного ими языка. Боль, саморанение, кровь уместны и эффективно работают там и тогда, где общество пребывает в гарантированном покое и самодовольстве. Что касается нынешней российской реальности, то я выделяю четыре позиции по отношению к постмодерну. Первая — когда существование постмодерна просто не заметили. Вторая — к нему относятся, как к врагу и ничего позитивного в постмодерне не замечают. Эти люди воюют с постмодерном, считают его философией безответственности, пустым умничаньем, игрой… Третьи не только читали, знают и могут пересказать основные концепты постструктуралистов, но могут работать в этой стилистике, создавать постструктуралистские тексты или художественные произведения. Таких людей существенно меньше. Но есть еще четвертая позиция. Необходимо не просто знать, что постмодерн был, но и признать, что это была целая историческая эпоха (несмотря на краткость своего существования), определенный способ философской аналитики, тип мировоззрения, а не только стиль в искусстве. Постмодерн нужно знать, но не считать его единственной актуальной формой стратегии познания, действия и поступка. Не знать его — это то же самое, что не знать немецкую классику, романтизм. Постмодерн сегодня — это наша история, это важный элемент культуры образования, это инструмент в высшей степени эффективной критики инстанций власти, механизмов манипуляции сознанием.

Ныне нельзя не заметить возрождение всего того, с чем XX век так истово боролся. В искусстве XX века боролись с предметом — теперь появляется новая предметность, новая вещественность. Боролись с искренностью — появляется новая искренность, с сюжетом — появляется новая сюжетность, с реализмом — новый реализм (не это ли дает основание Ульриху Беку называть настоящее время — рефлексивным модернизмом)[149]. В целом по всем позициям заметно движение от тотальности к локальности[150]. Локальность осознается важнейшим фактором существования, так же как и простые факты существования — отношения между людьми, образ жизни, коммуникации. Наш изначальный идеализм и обращенность в будущее, в вечность, игнорирование повседневности — уже не удовлетворяют. События в своей стране, в своем регионе, на своей улице становятся вещами не менее значимыми, чем очередная драка в Южнокорейском парламенте, вручение «Оскара» или любовные похождения Берлускони. Для художников то, что происходит здесь и сейчас, — условие творчества.

Исторически оправданный отказ от зеркальной конструкции рефлексии, настоятельно инициирует поиск такой рефлексии, которая, с одной стороны, не имела бы тех негативных следствий, к которым привел проект рефлексии классической: тотальности, бесконечности и самотождественности, сводящий весь спектр переживаний, все желания к единственно легитимному — к внеличностному и незаинтересованному познанию, а с другой — лишила бы жизненной силы идею равнозначности всех версий, тотальности игры, ускользание от принятия решений, от поиска твердых оснований для мотивации поступков. Точнее, их выводы — симптом невыносимости, сдавленным стоном прорывающийся из-под маски безответственной игры и радикальной эклектики.

Топологическая рефлексия отталкивается от самого близкого (порядка сущего), а приходит к самому отдаленному, порядку бытия, то есть к условиям возможности сущего, к пре-

[149]См. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. / Пер. с немецкого В. Седельника и Я. Федоровой. — М.: Прогресс-Традиция, 2000.

[150]В качестве симптома укажу на тематику журнала «60 параллель»: «Народная культура. Утеряна ли она в обществе, переставшем быть традиционным, безвозвратно? Возможно ли естественное развитие традиционной культуры, когда общество оторвано от земли? В последнее время говорят не только о „народной“, но и об „этнической“ культуре. И это „этническое“ — музыка, одежда, еда, праздники — всё больше привлекают к себе современного урбанизированного человека» (60 параллель. — 2010. — № 4 (39)).

дельным условиям самого вопрошания. В терминах Хайдеггера это означает переход от онтического к онтологическому порядку, от сущего к бытию. Поскольку ни рефлексия в пространстве «частного случая», ни способы описания реальности, исходящие из отрицания претензии на истину, а, следовательно, отказа от надежных этических и эстетических оснований, ни философия субъекта не способны быть надежным советчиком в принятии адекватного решения в стремительно меняющемся мире, ни тем более в ситуации тотального отказа от рефлексии в постструктуралистких регионах мысли, постольку функцию обретения *новых* оснований часто берет на себя художник, а уж затем на интеллектуальном рынке появляется производитель новых концептов — философ. Последний не может не видеть, что поиск новых форм восприятия и рыночно успешного реагирования обнаруживает типичную ситуацию: выбор необходимо делать, решение принимать при недостатке времени, в ситуации, еще не развернувшейся в своих следствиях картины случившегося, в ситуации, когда реальность подменяется медиареальностью. Растет ценность интуиции, перцепция сближается с апперцепцией, обостряется внимание к единичным фактам, в одних случаях претендующих, а в других — грозящих стать довлеющей тенденцией. Отстаивание жизнеспособности и воспроизводимости места и живого реагирующего и мыслящего в данном месте тела, сближается с искусством выживания. В этой ситуации вновь возникает потребность если и не в надежных на все времена, то хотя бы надежных-на-время и в определенных регионах основаниях жизни в данном месте. Это дает шанс человеку остаться в рефлексивной позиции в той ситуации, когда на продуманную мысль не остается ни времени, ни средств, ни мыслящего в прежних ритмах тела.

II. ОТ ТОПОЛОГИИ К ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ

8. Гуманитарная версия топологической рефлексии

Термин «топология»

Если в математике топология является ее важным разделом, то в гуманитарных науках это не так. Как уже отмечалось, гуманитарии в целом и философы в частности часто прибегают к использованию термина «топология». Это происходит вопреки мнению, что философский ресурс науки уже исчерпан, что опыт ее не продуктивен для понимания постсовременности, что «только искусство берет на себя функцию „становления“ или проявления еще неизвестной реальности, так как открывает бытие в его новых версиях, оно вынимает формы бытия из хаоса. Признание сверхценности искусства, его сделанности, музейности отсылает нас к определенному типу понимания бытия, когда дана заведомо целостная картина мира. Этот способ понимания отсылает нас к метанарративу абсолютного развивающегося познания, в котором уже априорно присутствуют „картина мира“ и познающее сознание, контролируемое иерархией ценностей. Ценностная концепция искусства вытекает из традиции европейской метафизики с приоритетами познающего разума и единого духа (или обьединяющей всех духовности), разделения на «внутреннее» и «внешнее», на субъекта и объект и, наконец, „картины мира“ как целого»[151], — эта наиболее последовательная и артикулированная позиция петербургского медиафилософа Аллы Митрофановой имеет своих многочисленных приверженцев.

[151]Митрофанова А. Новый авангард или хаос как творческое наслаждение // Художественная воля. — СПб. — 1994. — № 6. — С. 41–43.

Термин "топология" стал популярен, на что обращает внимание Вольфганг Пихлер: «О «топологии» известно в связи с весьма специализированной математической дисциплиной, а также то, что в более широком культурном смысле о ней говорят философы, психологи, кибернетики, авторы научно-фикционисткого подхода, литературоведы, историки искусств и архитекторы, термин «топология» присутствует в названии художественных выставок».[152] Но если в математике и физике он имеет конкретное наполнение, выраженное в схемах и строгих формулах, то в гуманитарной сфере он скорее аппликативен, чем содержателен. Эта популярность имеет свою историю. Ученые в XX веке столкнулись с проблемой невозможности точного воспроизведения эксперимента: «В химии общепринято — что опыт в любое время и в любом месте одинаков… Кто доказал, что одинаковый результат должен получиться в разное время? Ведь время — одно из условий опыта — величина переменная… Поколения исследователей выбрасывали итоги ценнейшего экспериментального труда — золотой фонд науки — лишь потому, что полученные числа не сходились с константами. Никто из них не вспомнил о времени. Химикам просто невдомек было ставить под столбцами формул и цифр дату: год, число, месяц, час, минуту. А мгновения отличаются друг от друга так же, как лица, деревья, узор на пальцах. Потому что свойства „пространства-времени“ беспрерывно изменяются. Все надо начинать заново»[153]. Предтечей идей А.Л. Чижевского можно считать А.А. Ухтомского, который в 1925 году, опираясь на идеи Г. Минковского и А. Эйнштейна, вводит понятие «хронотоп». Он предполагал использовать этот термин в нейрофизиологии, но предполагал в нем также философский ресурс. Ибо хронотоп есть «спайка пространства и времени», но поскольку «мы живем в хронотопе», то этот концепт позволит перебросить «мост между естественными и гумантарными науками»[154]. Вот как он конкретизировал представление о хронотопе: «И траектория электрона в атоме, и траектория Земли в отношении созвездия Геркулеса, и траектория белковой молекулы в сернокислой среде до превращения ее в уголь, и траектория человека через события его жизни до превращения в газы и растворы — все это мировые линии, которые предстоит детерминировать в науке»[155]. Одновременно с идеями Ухтомского в область литературоведения и эстетику вводит это понятие М.М. Бахтин, благодаря чему оно становится широкоизвестным.

Говоря об идее Ухтомского–Чижевского, следует указать на ее плодотворность, поскольку она, впитав неустранимую опору на очевидное влияние географического положения и климата на жизнь и воззрения людей, развивает идею целостной среды. Позже, в конце XX века, это обстоятельство было переосмыслено как неэлеминируемые составляющие опыта: географические, включающие место проведения эксперимента над уровнем моря, влажность, окружающую температуру и так далее, — геомагнитные, уровень солнечной и прочей космической радиации. Со временем в условия опыта был включен экспериментатор, но не только в качестве конституирующей способности наблюдения (антропный принцип), но и как собственно физическое и биологическое тело. Вследствие чего научная объективность «отныне… определяется зависимостью от людей, бактерий или любых других жителей макроскопического мира» (И. Пригожин).

Современные теоретики географии в отличие, например, от физиков, как полагает А.Д. Арманд, у которых модель пространства «предполагает равноправие всех трех координат евклидового пространства (изотропизм), равноправие всех точек в этой системе координат и безразличие к выбору начала координат», приходят к выводу о том, что в географиче-

[152]Topologie. Falten, Knoten, Netze, Stülpungen in Kunst und Theorie. / Hrsg Wolfram Pichler, Ralph Ubl. — Wien: Turia + Kant, 2009. — S. 7.

[153]Чижевский А.Л., Шишина Ю.Г. В ритме солнца. — М., 1969. — С. 96.

[154]Ухтомский А.А., Платонова В.А. Эпистолярная хроника. — СПб., 2000. — С. 185.

[155]Там же. — С. 184.

ском пространстве «каждая точка уникальна», имеет «свое лицо»[156]. В свою очередь, физика имеет дело с уравнениями и интегралами движения не только идеального пространства, но и со средой со всеми ее реальными свойствами, скоростями, нелинейностями и сингулярностями. Поведение исследуемых систем, например нелинейных диссипативных, определяется локальными особенностями фазового пространства. Задачи, возникшие в последние десятилетия в нелинейной физике, в теории поля и особенно в компьютерном моделировании физических систем, вызвали интерес к топологии, к геометрическим или шире — топологическим инвариантам. В последнее время появились геометрические модели описания физических процессов — модели кинетического роста, случайного блуждания, фрактальные модели[157], характеризующие в соответствии с общепринятой ныне гипотезой хаотическую динамику. В основе такого моделирования лежит традиционная умозрительная задача: проникнуть в ненаблюдаемую динамику системы, в скрытое распределение сил посредством исследования топологических свойств системы или геометрической конфигурации. Привлечение топологии, теории размерностей естественно, поскольку речь идет о подобии систем, имеющих совершенно различную природу, но характеризующихся одними и теми же топологическими инвариантами (например, критическими размерностями). Соответственно усложнение рассматриваемых динамических задач привело в конце XX века к усложнению геометрии фазового пространства: фазовые портреты становятся топологическими многообразиями и могут иметь дробную размерность, как в случае с фракталами.

Топология в исходном значении — раздел математики, имеющий своей целью выяснение и исследование идеи непрерывности… Предметом топологии является исследование свойств фигур и их взаимного расположения, сохраняющихся гомеоморфизмами, то есть взаимно-однозначными и непрерывными в обе стороны отображениями. Понятие гомеоморфизма не требует для своего определения никаких классических геометрических понятий типа расстояния, прямолинейности, линейности, гладкости и т.д. Понятие гомеоморфизма и лежащее в его основе понятие непрерывного отображения предполагают только, что точки и множества точек могут находиться в некотором интуитивно ясном отношении близости, отличном, вообще говоря, от простого отношения принадлежности…. Топология является наиболее общей геометрией. Главной задачей топологии является выделение и изучение топологических свойств пространств или топологических инвариантов[158].

В теории информации топологический подход выражается в том, что информация определяется с точки зрения меры преобразования ее различных структур, которые остаются инвариантными при различных топологических изменениях. Этот подход разрабатывался американским ученым русского происхождения Н.П. Рашевским (N. Rashevsky)[159] и им же был успешно применен к анализу социальных процессов.

Наряду с повсеместным отождествлением топологии и рефлексии в философии, в отечественной гуманитарной литературе термин «топология» употребляется в качестве оператора особенности места, о котором идет речь. Однако его применение далеко от естественнонаучной строгости, которая при экстраполяции на гуманитарный объект утрачивается. Его

---

[156]Арманд А.Д. География через призму дополнительности // Вопросы философии. — 2004. — № 4. — С. 116.

[157]Отмечу, что и понятие фрактала, введенное в середине 1960-х годов Бенуа Мандельбротом, вышло из теории «фрактальной геометрии» или, как он ее еще называл, «геометрии природы». Целью последней являлся анализ изломанных, морщинистых и нечетких форм, которые более приближены к естественным формам, чем абстрактные плоскости и прямые. Мандельброт использовал понятие «фрактал» для более детального описания и исчисления природных форм (Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Изд-во Института компьютерных исследований, 2002).

[158]Архангельский А.В. Топология // Математическая энциклопедия. Т. 5. — М., 1985. — С. 394–395.

[159]См.: Рашевский Н.П. Математическая биофизика. — М., 1938.

использование не предваряется трудом по обоснованию перехода от топографии или географии к топологии, и тогда остаются без внимания следствия признания несоизмеримости топосов. Переход от единого языка, и любой другой единой системы кодирования: единиц географической сетки, высоты над уровнем моря (как будто у моря один уровень, а тем более у океана), — к собственно топологии не приходит. Топология не покрывается и тем более не сводится к ландшафту, географии и топографии, особенности места. В гуманитарном дискурсе топология отсылает к более строгому значению, которое обретается онтологическим ее прочтением.

В понятийном аппарате философии XX века термин «топология» не нов. Сошлюсь лишь на работу немецкого исследователя Вольфганга Маркса, о ней будет разговор ниже, назвавшего свою книгу «Топология рефлексии» или точнее (исходя из ее содержания) «Рефлексия в топологии»[160]. В отечественной литературе И.А. Акчурин прослеживает возникновение идей, предшествующих понятию «топология» у Ф. Ницше, П.А. Флоренского и М. Хайдеггера, последний в диалоге о мышлении утверждением о том, что «окрестность сама является и далью и длительностью», «вводит основное для теоретико-множественной топологии понятие окрестности в фундамент современной философии»[161]. В.А. Подорога полагает, что топология «является геометрией события, а не мысли о событии»[162]. С.А. Азаренко анализирует топологию культурного воспроизводства и перспективы социально-топологического способа описания в современном обществознании[163]. Отдельного внимания заслуживает изложенная в духе Д. Кампера мысль В.Ю. Сухачева, полагающего, что «топология описывает не феномены, а топосы, на которых они находятся, разрывы и дистанции между ними, над ними, под ними и те, которые проходят через них, это — топология перемещения потоков желания, развертывания тел. Обращаясь к топологии, мы выходим из Времени не в безвременье, в омертвевшие и замершие ландшафты с неподвижно застывшими позиционностями, напротив, различная уплотненность, плотность пространства и времени, их размытость, диссеминированность, рассеянное пространство и время — все это становится темой размышления»[164].

Стойкий интерес к телу — симптом радикального разрыва сознания и тела, провозглашенного Декартом в XVII веке, но достигший своего максимума к началу XX века. Но затем в западной философии (линия Кьеркегор, Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, Мерло-Понти и др.) приходит осознание негативных последствий такого разрыва.[165] Пришло понимание, что сознание зависит от контекста, что оно не противостоит телу, напротив, оно связано с ним неразрывно. На них влияет масса факторов: экономическая и политическая ситуация, состояние экологической, культурной и визуальной экологии. Топологическая рефлексия, учитывая это, собирает не только воздействия контекста, которые известны на данный момент, но и импульсы, идущие из тех условий, которые еще не схвачены и не удерживаемы в понятии. К послед-

[160]Marx W. Reflexionstopologie. — Tübingen: Mohr, 1984.

[161]Акчурин И.А. Топология и идентификация личности // Вопросы философии. — 1994. — № 5. — С. 144.

[162]Подорога В.А. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. — М.: Ad Marginem, 1995. — С. 259.

[163]Азаренко С.А. Топология культурного воспроизводства: (На материале русской культуры. Екатеринбург, 2000; Его же. Перспективы социально-топологического способа описания в современном обществознании // Социумы. Екатеринбург. — 2002. — № 8.

[164]Исаков А.Н., Сухачев В.Ю. Этос сознания. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. — С. 241.

[165]История проникновения термина «рефлексия», история рецепции — приятия и неприятия — его в России различными школами и направлениями мысли — весьма интересная, но самостоятельная задача. Приведу, к примеру, лишь одно из них, оттеняющих и «Критику отвлеченных начал», и «Апофеоз беспочвенности», и поиски всеединства: «Мечта Декарта о независимости духов от пространства и времени — решительная нелепость. Все ограниченное, по необходимости, зависит от пространства» (Святитель Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти. — СПб., 2011. — С. 294). Искушение развернутого комментария по поводу интернациональной природы христианства, его интервенции далеких от Палестины топосов оставлю для другого раза.

ним можно отнести слабые взаимодействия. Но слабые воздействия в определенных условиях оказываются более сильными, чем воздействия, традиционно признаваемые сильными. Таким образом, топологическая рефлексия — это рефлексия разумного тела из определенного топоса; она есть результат их состояния, включающего все оттенки взаимодействия: и противостояние, и полемос, и hybris, и сострадание, и сожжение, и многое другое. Топологическая рефлексия не вне места, она всегда *уместна*.

С помощью термина «топология» современные психологи, например, различают феноменальное тело и эмпирические границы тела человека. Характерен вывод А.Ш. Тхостова: «Топология субъекта не совпадает с эмпирическими границами его тела: она может быть как вынесена во вне, так и погружена внутрь тела и даже в само содержание сознания»[166]. В психологии же в целом механизмы формирования образа себя, своего тела — феноменального тела связываются с самонаблюдением своих собственных психических реакций и состояний. Ограничив предмет рамками пересечения психологических и социологических методов, социальная психология включает объяснительный ресурс зеркальной рефлексии, своеобразно трактуемой ею в связи с конкретизацией предмета — абстрактного субъекта, до уровня человека как носителя социальных и психологических качеств. В самоидентификацию, самооценку, самопонимание (саморефлексию) человеком самого себя включается оценка его членами малой группы, окружающими его людьми (см. теорию «зеркального» Я, «ролевую» теорию личности), способность отрефлексировать позицию «другого» и его оценку меня. Но, как известно, другой — не безучастное и механическое зеркало, оно отражает не только другого, но и свои состояния, и оценку другим оценивающего; налицо диалог взаимоотражений, интерактивность и взаимовлияние. Зеркало искривляется подобно зеркалу романтиков, становясь то вогнутым, то выпуклым, дающим и возвышающий и уничижительный, поощряющий или осуждающий, принимающий или отторгающий и т.д. образ. Наличие различных контекстов, оценок разных групп повышает критерий адекватности самовосприятия.

На характерные свойства топологии в гуманитарном пространстве указывает и К. Хюбнер: «Если использовать язык современной математики и физики, то можно сказать, что исторические архэ представляют собой как топологические, так и метрические сингулярности в профанном времени. Они являются топологическими сингулярностями, поскольку порядок и направление времени могут быть в них перевернуты так, что они в качестве прошлого способны оказывать влияние на настоящее без каких-либо промежуточных звеньев; метрическими сингулярностями их делает то обстоятельство, что никакой определенный отрезок длительности не является конститутивным фактором их идентичности»[167]. Курт Хюбнер различает природные и исторические архэ и показывает специфику использования термина «топология» в различных дискурсах. Внимательно (в силу своего естественнонаучного образования) относясь к естественнонаучному его содержанию, Хюбнер определяет допущения, при которых использование этого термина в гуманитарной сфере — корректно. Методологическую эффективность демонстрирует топологическое рассмотрение мифологического времени в соотнесении со временем смертных, человеческим временем или иначе, сакрального времени с профанным.

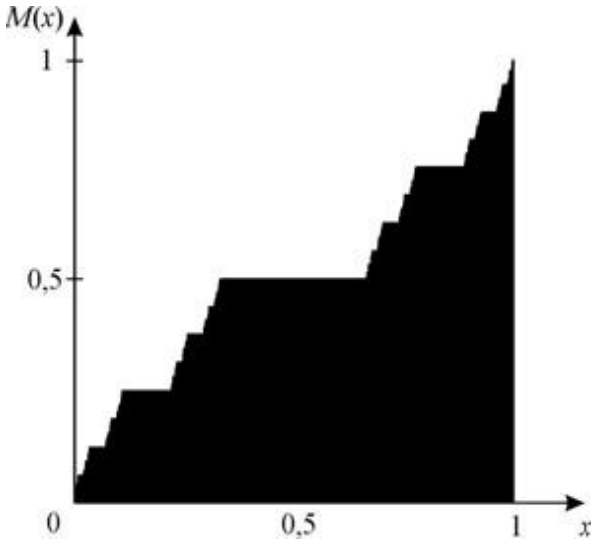
Демарш чертовой лестницы

Поскольку топологическое измерение не количественно, а топология сравнима с мерой как Единое с единицей, постольку топология не дает возможности арифметического счета в

[166]Тхостов А.Ш. Топология субъекта: Опыт феноменологического исследования // Вестник МГУ, сер. 14. Психология. — 1994. — № 3. — С. 12.

[167]Хюбнер К. Критика научного разума. — М., 1994. — С. 316.

той же мере, как мифологическое время нельзя измерить календарным. Она образует множество, прозрачное внутри себя, не воспроизводимое простым подсчетом его особенностей; топология не просчитываема, но прочитываема. Она включает как неметризуемое, так и метризуемое множество. В естественных науках к понятию топологического пространства (пространства с топологией) прибегают тогда, когда нет возможности найти универсальную меру, когда множество, во-первых, «не берется» простой разбивкой на «единицы» множества, а во-вторых, это множество не является случайным набором элементов[168]. Топологическое пространство всегда структурно, как это можно увидеть на схеме, получившей саркастическое название (не из-за чертовски спутанной и непредсказуемой высоты и длины ступеней?) чертовой лесницы, получившей еще иные названия: колючая линия, замкнутая линия бесконечной длины, математический ковер, — и все вместе ведут к тому, что Евклид отказывает нам в помощи понять ее (см. рис.). Математики ставят вопрос: а нужны ли строгие определения ее?[169]



Но, говоря о топологической рефлексии, следует, возможно, оправдать (вопрос: нужно ли?) нестрогое использование математического термина в гуманитарных науках. Такая задача неявно исходит из презумпции, что подлинный смысл топологии раскрывается только в строгом математическом определении его. Исподволь строится нововременная иерархия научности, определяемой безусловным критерием — степенью математизации дискурса той или иной науки. Тогда ценным считается математическая строгость определения, и, напротив, нестрогое — это ненаучное, неточное, несущее неподлинный смысл. Истинность задана максимой платоновской академии, выстроившей в западной культуре эту иерархию: идеальное, чи-

[168]Проявлением такого методологического подхода является оценка В. Саксона работы Ю.Г. Симонова «Морфометрический анализ рельефа» (1998), в которой он исходит из общего мнения, что «область приложения математики поистине безгранична. Математические методы уже давно и смело проникли во все области человеческого знания, в том числе туда, где, по выражению В.И. Вернадского, «формализованные теории не позволяют увидеть ничего нового». Еще одной благодатной нивой для математики стала морфометрия, или наука о «геометрических свойствах рельефа земной поверхности». Однако недостатком рецензируемой книги является то, что «морфометрия пользуется сравнительно простыми методами. Ее главной преамбулой остается „геометризация рельефа“, то есть несколько упрощенное рассмотрение последнего как совокупности простых геометрических тел. Такие направления современной математики, как теория случайных процессов и топология, где подобные проблемы давно и успешно решаются в рамках совсем иных методов, морфометрии пока неизвестны» (Саксон В. Математические тайны земного рельефа геоморфологически значимый результат // Книжное обозрение «Ex libris НГ». — 25.11.1999. — С. 5).

[169]Виленкин Н.Я. Рассказы о множествах. — М.: Наука, 1965. — С. 86–87.

стое, строгое — истинно и ценно само по себе, а неидеальное, нестрогое, грязное — неистинно и менее ценно (стоит ли здесь напоминать трудности определения идеи грязи, сора и «всякой другой не заслуживающей внимания дряни» Платоном?). Таким образом, мы имеем охватывающую весь горизонт картину использования термина: от истинного и ценного до менее истинного и не столь ценного, от чистого к нечистому. В ней нет изначального центра истинного высказывания, нет иерархии ценностей, но есть соприсутствие равноценных модусов, отражающих общую всем тенденцию. Есть попытка ответить на проблемы времени своими средствами, дополняющими друг друга в деле определения направления развития, способа решения как глобальных, так и локальных проблем. При том, что в этой картине, создаваемой топологической рефлексией, нет исходной математической строгости, но есть компенсирующий ее *живой опыт про- и выживания в данное время и в данном месте*. Тогда версии такого опыта *в равной мере* претендуют на понимание существа дела гуманитарно трактуемой топологии, поскольку события структурируются по признаку соответствия «моему» опыту, «моему» ощущению времени, «моим» ожиданиям, «моим» интенциям мыслить так, а не иначе. Даже там, где понятие «топология» не встречается, мы можем отследить ее присутствие в смене стратегий *обращения **к*** единичному и ***с*** единичным, по тому, *как* ставится вопрос о связи этого тезиса с контекстом, с конъюнкцией сил и политических ориентаций. Совершенно очевидно, что отказ от участия в политике и (что важнее) микрополитике на руку тем, кто политику проводит скрытым образом.

Обращение к порядку логоса

Обращение к топологии провоцирует поиск «нового» звучания Логоса в современном контексте[170]. Свое собственное лицо λόγος начинает обретать путем негативного определения ratio, вычитая из последнего счет, геометрическую плоскость и однокачественность, метафизическую чистоту разума (на что, собственно говоря, обратил внимание Хайдеггер, что было привнесено в λόγος при переводе на латынь, но и не менее важно то, что было изъято из его содержания). Именно потому, что греческий λόγος не покрывается универсальными единицами измерения и не исчерпывается ими, аккумуляция опыта отечественной мысли рождает сегодня способность познания, *участвующего* в познаваемом объекте и сопереживающего ему (что убедительно было обосновано В.Ф. Эрном еще в 1910 г.[171]). Интенция топологической рефлексии на реанимацию тех стратегий отношения к миру, которые были до поры до времени преданы забвению при переводе λόγος'а в режим в ratio. Со временем «забвение»

[170]Насколько оно ново и не является ли возвращением на время забытым стратегиям отношения к миру, предстоит еще разобраться. Одно уже сейчас известно, что Логос Герклита, например, распространялся на каждый фрагмент его речей: «Четкая метрическая формула фрагментов Гераклита соответсвует принципу, им постулируемому, а именно, Логосу, который проявляет себя во всем, а, значит, и в речи, причем не только в смысле, что она о Логосе, но и в том, что она и есть Логос», пишет, ссылаясь на Карла Дайгребера (Deichgräber, K. Rhythmische Elemente im Logos des Heraklit. — Wiesbaden, 1963 переводчик поэтики Аристотеля Е. Алымова (Алымова Е. Миметическое начало поэтического искусства // Античный мимесис. — СПб., 2008. — С. 10). Строго говоря, не только речь есть Логос, но и остановка, и само обращение мысли на самое себя и сам ритм выражения того, что мыслью схвачено, подчинено все тому же самому Логосу, следует его *неравнодушной* ни к истине, ни к добру и красоте логике меры. Таким образом, и в речи, выражающей философский смысл, и в акте рефлексивного самоотчета и ритме постижения-изложения мы не можем разъять топос от Логоса, природу вещей как таковых и природу вещей, необходимых для выживания в данном месте, рефлексию и место (топос в аристотелевском смысле места в речи смысле), где эта рефлексия происходит.

[171]См.: Эрн В.Ф. Борьба за логос. Природа философского сомнения // Эрн В.Ф. Соч. — М.: Изд-во «Правда», 1991. — С. 71–108. В современной отечественной философии эту тему активно исследует И.А. Кребель (см.: Кребель И.А. Территория предела: Эстетика мысли русского модерна. — М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2011).

обнажает проблему соотносимости культур, а затем и λόγος'ов различных миров, их не конвертируемых друг в друга систем оценки жизненности культур (в том числе хозяйственного уклада) в данном месте и данное время. Потребность в соотнесении несоизмеримого, «соизмерении» уникальных топосов, не редуцируемых без остатка к третьему универсуму меры, поиск инвариантов там, где недееспособна универсальная и строгая мера, инвестирует поиск «внеколичественной» единицы меры. Но последняя никак не может быть простой констелляцией разнородного или поверхностным сопоставлением внешних свойств. В такой ситуации появляется необходимость в новом типе рефлексии — топологической рефлексии. Не перекодирование знаков и не сводящаяся к универсальному образу идентификация, но сопереживание и соотнесения себя с тем, что исключается из образа человека разумного (каннибализм, кровавые человеческие жертвоприношения, коллективные мистерии и оргии) составляют природу этой рефлексии. Топологическая рефлексия, в отличие от классической, получает более одного зеркального образа; топологическое восприятие, проникая сквозь поверхностный блеск, учитывает как изнанку, так и особенность внутренней структуры, а не только строго определенную «оптическую» конфигурацию. Она согласно ее изначальному смыслу древнегреческого слова есть поворачивание, обращение назад, обращение внимания, забота и, повторю важное для нашего исследования, обращение или пребывание в каком-либо месте. Пребывание как нахождение, как про- и выживание, как ответственность за это место перед другими, перед собой и будущими поколениями. Если рефлексия говорит об общей схеме обращения, то логика топологической рефлексии приводит к уникальному, нигде в точности не повторяющемуся месту, той Земле, которая рождает соответствующий вид философии (метафизику, эмпиризм, прагматизм, восточную философию и т.д.).

Есть место задать себе крайне трудный, но неотложный вопрос: кто проводит топологическую рефлексию? Поскольку отказ от индивидуального и антропоморфного автора, человека, субъекта требует имперсональных носителей целеполагания и воли достижения цели. Они безумны постольку, поскольку «ум», «активность», «целеполагание» и «мотив» переносятся на под-лежащее субъекту: контексту, топосу, языку, образу, медиа, подобно природе, которая «есть цель» и «ради чего» (Аристотель). Заостряя вопрос, спросили себя, какова природа самодвижения? Почему нечто само себя движет, например, зарождаются организмы, а затем, развившись, выползают на сушу?

Выживание всегда нелинейно, а посему и *безумно* и по импульсу, и по определению целей; между восприятием привычного и неприятием неизвестного внедряется то, что диктует выживание коллективного тела, то, что часто решительно противоречит инстинкту самосохранения индивидуального тела, установлению равновесия со средой. Если в XX веке открылось то, как «желание» бессознательного облекалось в рациональную форму, роль бессознательного в структуре внешне целерационального поступка, то в архаике ситуация была прямо противоположна. В опыт выживания — изначально имперсональный, инстинктивный, коллективный — рефлексивное мало-помалу встраивалось в мотивацию поведения. Гипертрофированный в современности до онтологического статуса принцип удовольствия на начальных ступенях антропосоциогенеза не играл такой важной роли. Жизненные процессы регулировались принципом симметрии ран архаического Космоса, который давал ни с чем не сравнимое удовольствие коллективному телу — чувство уверенности и равной платы за деяния. Была ли первая рефлексия бессознательна? Да и может ли быть бессознательной рефлексия? Эти непростые вопросы, надеюсь, найдут ответы в этой книге.

Принципы неклассической рациональности дают нам объяснение того, как возможна рефлексия топоса, притом, что условием существования самого топоса является человек, несущий не столько психофизиологическую, сколько рацио-топологическую данность. Стихийно-разумная в своей нерасчлененности реальность удерживает в неразделенности метафо-

ры мысли (как если бы признали, что метафора наличия сознания у деревьев, корней, животных обрела равноценный с понятием рефлексии статус, а надиндивидуальный дух, мысль поверх отдельного человека — тело). Доведенная до логического предела мысль о под-лежащем и пред-стоящем субъекту условии, дает основание для неожиданного вывода: в пределе, топос в топологической рефлексии мыслит сам себя. Топос — это мысле-место. Место, существующее при непосредственном участии человеческой разумной заботы, как культурное животное, природный заповедник, музей. Разумное попечение приобретает статус ноосферы Вернадского, но оно же может разрушить условия производства разумности, самое живое.

Топос реанимирует действенный и объяснительный потенциал греческого Логоса, который понимается не только как «тот способ, каким мы спрашиваем еще и сегодня, является греческим»[172], но тот способ каким мы действуем в неотложных обстоятельствах, является по преимуществу греческим. Мир, взятый под категорией Логос, выражает существо рефлексии топоса и топологической рефлексии, вместе взятых. Посему не стягиваемый никакими усилиями разрыв рефлексии топоса и топологической рефлексии оставляет нам полноправное господство Логоса в его исходном и посему отвечающем существу дела выживания образом. Он вбирает раздражение, интуицию, провидение, немотивированные действия и остановку, возвращение и геометрическую проекцию настоящего. Топос есть единство неразумной ситуативной адекватности и разумной неукоснительной воли.

Под-лежащее открывает себя в образе персоны, героя, романитической фигуры художника (но вот ведь парадокс: образ бунтаря-индивидуалиста, возвышающегося над толпой, опирается на дух земли, выражает душу народа, то есть то, что им лишь транслируется. Он — медиум, ставший выше соединения и соединяемых. Транслируя он занимет господствующее, противоречащее принятым нормам и правилам положение художника.

Агон немецкой и французской мысли

Философия не сводима не только к дальним, но и к соседним, расположенным в одном регионе, топосам, о чем ведали издревле: «Ибо земля, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, не такова, как земля Египетская, из которой вышли вы» (Втор. 11:10). Я же имею в виду, прежде всего Германию и Францию».

Агон немецкой и французской философских традиций имеет предысторию. Существует легенда, что Гегель на просьбу Огюста Конта изложить сущность своей философии вкратце, общедоступно и по-французски, ответил: «К сожалению, мою философию нельзя изложить ни вкратце, ни общедоступно, ни, тем более, по-французски»[173]. Сошлюсь на Ж.-Ф. Лиотара, который, объясняя, почему дело Хайдеггера — «французское» дело, писал следующее: «С конца XVIII века во Франции, по сути дела, отсутствовала сколь бы то ни было серьезная (то есть адекватная развивающемуся миру) философия. Философия была немецкой. Французы формулировали факты этого нового, буржуазного мира в исторических, политических и (быть может, в первую очередь) литературных и художественных терминах. Французские философы, как повелось со времен Просвещения, были одновременно политиками и писателями. Иными словами, отношение к мысли они разрабатывали вместе с социальными и лингвистическими отношениями. По другую сторону Рейна развивалась великая традиция спекулятивного мышления (и в этом его глубинное отличие от французской мысли) непосредственным наследником теологии и пытающегося преодолеть кантовский кризис»[174].

---

[172]Хайдеггер М. Что это такое — философия? // Вопросы философии. — 1993. — № 8. — С. 113–123.

[173]А. В. Гулыга приводит вариацию этого исторического анекдота в книге о Гегеле (см.: Гулыга А.В. Гегель. — М., 1970. — С. 38).

[174]Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи»: пер. с фр. В.Е. Лапицкого. — СПб.: Аксиома, 2001. — С. 166.

Широко распространено мнение, что хайдеггеровский проект поиска корней европейской философии, сбившейся с пути в переводе на латынь, включает *всю* Европу, частью которой является Германия. Речь у Хайдеггера шла о «спасении Запада». Французские мыслители указывают на социальный и идеологический контекст его предприятия. Деструкции подвергаются латиняне, франки и римляне в первую очередь. Исключив наследие латинского языка, германские народы вполне могут приобщиться к истинной — не испорченной — философии греков, и на этом основании полагать, что именно они являются подлинными их наследниками.

Еще Винкельман говорил: «Нам следует подражать древним, чтобы самим стать, коли это возможно, неподражаемыми». Но оставалось понять, в чем же следует подражать древним так, чтобы добиться коренного отличия немцев. Для прояснения сути дела мне придется привести довольно длинную цитату из Филиппа Лаку-Лабарта и Жан-Люка Нанси: «Ни для кого не секрет, что открытие, которое сделали немцы на заре спекулятивного идеализма и романтической филологии (в последнем десятилетии XVIII века, в Йене, где-то между Шлегелем, Гёльдерлином, Гегелем и Шеллингом) состояло в том, что было, дескать, две Греции: Греция меры и ясности, теории и искусства (в собственном смысле этих слов), «прекрасной формы», мужественной и героической строгости, закона, Града, светлого дня; и Греция погребенная, темная (или слишком уж слепящая), Греция исконная и первобытная с ее леденящими ритуалами, леденящими душу жертвоприношениями и повальными опьянениями, Греция культа мертвых и Земли-Матери, — короче говоря, Греция мистическая, на которой первая с большим трудом (то есть, «вытесняя» ее) воздвигла себя, но которая все время глухо давала себя знать вплоть до конечного крушения, в особенности в трагедиях и мистериальных религиях. И след этого раздвоения Греции можно проследить по всей немецкой мысли, начиная, например, с Гёльдерлиновского разбора Софокла или «Феноменологии духа» и кончая Хайдеггером, захватив по пути «Mutterrecht» Баховена, «Психею» Роде или оппозицию дионисийского и апполоновского, структурирующую «Рождение трагедии»[175].

Рефлексия, таким образом, производна не только от времени, но и места (заметим, как и генеалогия и герменевтика, так и «деконструкция имеет место», о чем писал Деррида своему японскому другу), условий топоса, ритма, темпа и качества преобразований на этом месте и самого этого места.[176] Она неотделима от нравственных составляющих мысли — того, что всегда отличало мысль соотечественника от западного мыслителя. Стоит указать на то, что не только мысль русских философов, но и жесты радикальных художников отличались этическим измерением, которое, вопреки намерениям художников, никакими усилиями не преодолевалось ими: «Русские художники, — замечает тонкий знаток изобразительного искусства Д.В. Сарабьянов, — даже в тех случаях, когда шли на крайние формальные эксперименты, искали способ выразить идеи духовного становления и душевный порыв; эксперимент приобретал значение содержательного опыта. Идея <чистой живописи>, владевшая умами французских живописцев и приведшая к небывалому очищению палитры, не привилась на русской почве. Русская культура, сохранявшая к началу XX века своеобразную синтетичность, была слишком одержима исканиями истины и добра, чтобы обрести конечную цель в живо-

[175]Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж.Л. Нацистский миф: Пер. с фр. С.Л. Фокина. — СПб.: Владимир Даль, 2002. — С. 37.

[176]Приведу позицию финского философа, непосредственно относящуюся к нашему вопросу: «Те же культуры, которые претендуют на универсальность, на самом деле являются локальными, но стремятся свою локальность скрыть» (Ваден Т. «Что такое «локальное мышление»? (Может ли существовать финская философия?)» // Хора. Журнал современной зарубежной философии и философской компаративистики. — 2008. — № 1. — С. 91).

писном открытии»[177]. Следует заметить, что причина все же *не в сознательном искании*, но скорее невозможности творить иначе, ибо воспитание строя мысли и чувства, мироощущение, телесные и метафизические устремления воспитаны своеобразным контекстом, широта ландшафта которого, своеобразие исторического пути, деспотические скрепы, уравновешивающиеся плотной «заботой» общинного характера жизни — все в целом не давали иной перспективы творчества. Вспомним, когда Сартр поехал учиться феноменологии в Германию, стал ли он менее французским мыслителем.

Как для аналитики проблем современности, так и реконструкции архаического пространства во всех формах его проявления наиболее приемлемым оказалась «топологическая рефлексия». Она, замечу, принципиально воспроизводит элементы архаического отношения к миру, что совпадает с адекватной настоящему моменту рефлексией архаического, — поскольку оно не может не включать основание мысли в саму мысль. Топологическая рефлексия таким образом включает *условие* ее в процесс самой рефлексии, что означает необходимость отслеживать (рефлексировать), кто мною видит, чувствует, говорит, воспринимает. Ибо после той напряженной работы, проделанной философской мыслью в XX веке, мы уже не вольны быть наивно-благодушными, верить в исключительную самопобуждающуюся работу разума, активности субъекта, игнорируя активность языка, образа, контекста, среды, структур, объекта, наконец. Это последнее смещает фокус внимания с активности субъекта на активность объекта, его инициирующие и определяющие познание и деятельность субъекта интенции, его, например, самонастраивающаяся концентрация зрения на определенных прежними образами объектах, на производящиеся речевые акты *посредством* субъекта. Субъект вед*о*м, его активность вторична, его рефлексивное самомнение опирается на исключительный (зеркальный) случай, трансформирующий и возводящий этот зеркальный случай до обоснованной и подтвержденной истины. Все это вместе указывает на способы его ведомости, на исполнение им тех ролей, которые задуманы и написаны не им: язык говорит мной, образ видит мной, медиа мной сообщаются, а «*некто* во мне воспринимает, но не я воспринимаю» (М. Мерло-Понти). Ситуация заданности внешней инстанцией «свободного действия человека» точно схвачена Гердером, когда он размышляет о том, почему же высшие существа невидимы: «Человек, созданный для свободы, должен был стать не бездумным подражателем высших существ, не обезьяной, а и там, где высшая сила руководит им, должен был предаваться счастливой иллюзии, будто действует по собственной воле, самостоятельно. И чтобы успокоить его душу, чтобы оставить ему ту благородную гордость, на которой держится исполнение им своего предназначения, человек лишен был созерцания высших существ; если бы мы узнали их, то, наверное, стали бы презирать самих себя»[178]. Человек нуждается в иллюзии своеволия. Ведь одна из характеристик топологической рефлексии ее своеволие. Она проводится только по воле человека, выражая интересы топоса, как бы ни входили они в противоречие с интересами всеобщего, общепринятого, универсального. Видимо, в этом смысле раскрывается афо-

[177]Каталог выставки: «Москва — Париж. 1900–1930»: В 2 кн. Кн. 1. — Изд-во: «Советский художник», 1981. — С. 26. Следует заметить, что причина все же *не в сознательном искании*, но скорее невозможности творить иначе, ибо воспитание, строй мысли и чувства, телесность и контекст — все в целом не давало иной возможности творчества. Самоотчет русскости в своем и по формам, и по эстетике интернациональном творчестве дает член известной отечественной арт-группы AES+F Татьяна Арзамашева: «Искусство несет на себе печать национального характера. Произведение француза нетрудно отличить от произведения черного американца. Различны темы работ, подходы к художественным задачам, точки зрения. Мы используем международную лексику, оперируем интернациональной проблематикой (в центре внимания — взаимодействие реального и виртуального, политических и социальных контекстов). Но в наших работах всегда ощутимо русское восприятие жизни» (Арзамасова Т. Образ не требует перевода / Беседу ведет и комментирует Сергей Анашкин // Искусство кино. — 2010. — № 6. — С. 119).

[178]Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. — М.: Наука, 1977. — С. 137.

ристическая сила выражения «энергия заблуждения» Л.Н. Толстого, которое так любил цитировать формалист В.Б. Шкловский; в этом же вижу освежающее и открывающее новую оптику видения и дающее новый ракурс анализа утверждения структуралистов, обнажающих работу структур в восприятии, в речи, в видении отдельного человека, работу невидимую, производимую вне конкретного места и вне конкретного человека.

Замкнутая бесконечность

Рефлексия же в топологической структуре или, что здесь одно и тоже, *топологическая рефлексия* — это первое проявление отказа от lumen naturalis трансцендентального субъекта, смотрящего поверх уникальных топосов и тем самым отражающегося лишь от внешней поверхности однокачественных секторов; шаг от субъекта к человеку, собираемому здесь и сейчас *уникальным* образом, шаг от регулярного тождества к тождеству единиц, каждая из которых уникальна. Топологическая рефлексия, создавая образ мира, не соизмеряет его с *абстрактной единицей*, для которой равнотождественны, едино- и однообразны все миры, но косвенно сообщает о присутствии, хотя инвариантной, но неметризуемой структуры. Результатом ее являются не идеальные объекты, но концепты, которые есть продукт в равной мере и теоретического самопознания, и познания природы, и художественного обобщения, и эстетического опыта, и экологической и этической ответственности за топос.

Как только мы упоминаем этическую ответственность или моральную укорененность топологической рефлексии, тотчас неотступно возникает мысль об общечеловеческих ценностях, о моральном законе, о религиозных заповедях. Мыслить локально и мыслить морально — абсолютно несовместимые стратегии мысли ни в трансцендентальном, ни в абсолютном модусах рефлексии. По строгому разумению, как раз напротив, кто не мыслит исходя из этической размерности, тот вообще не мыслит, он налагает общие схемы на уникальное, смотрит поверх топоса, игнорирует чувственное восприятие, и, вспомнив диагноз Аристотеля, становится «похож на сумасшедшего». Всегда мыслят за кого-то: полис, империю, Бога, науку, запад, комфорт. Но всегда мыслят (после разделения умственного и физического труда) элиты за свой народ, поэты чувствуют за него, художники видят и изображают за него. В настоящее время у нас критики цинического разума быть не может. Она не про наши просторы, как не про нас критика развитого капитализма, поскольку ни первого, ни второго у нас нет. Будет ли — вопрос отдельный. В период строительства развитого демократического, а, по сути, капиталистического, общества это неуместно. Мы не циничны, мы реактивны, нетерпеливы, недальновидны, недисциплинированны, безграничны[179], без гордости и боли за малую большую Родину, без жертвенного к ней отношения. А земля без жертвоприношений — территория, которой жертвуют во «благо» центра, в интересах центра. И чем дальше центр, тем легче жертвовать своей периферией. Посему критику цинизма государства по отношению к идеалам, им исповедуемым, мы можем примерять лишь к себе будущим. Возможно будущим. На сегодняшний день у нас цинизм частного лица обогащающегося. Но парадокс опережающей критики в том, что будущее в полноте своего проявления может не наступить. Посему такая критика «цинического разума» контрпродуктивна. Но если быть внимательным и подозрительным, тогда надо спрашивая себя, какие интересы выражает критикующий, из какого места он говорит, интересы кого тела он выражает (нас не должна смущать присущая искрен-

[179]Надлежащая дисциплина коллективного тела в рамках соответствующих границ, опирающаяся на «Воспитание чувства границы» (см.: Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. — М., 2001), не ведома нашим соотечественникам по вполне очевидным топографическим — территориальным — причинам. Замечу, что идея всемирной революции исходила из революции, победившей на 1/6 части суши. Поэтому она с легкостью экстраполировалась на оставшиеся 5/6 частей.

ность говорящего — способность увлеченности другим, как давно подметили отечественные мыслители, есть одна из неистребимых особенностей национального телоса). У нас нет прагматизма (который составляет как смысл римского права, воплощеного в известной формуле: «Польза — мать доброго и справедливого»), нет понимания интересов целого, нет признания ответственности за большой и малый топос: «это моя страна», «это мой край». Налицо — идеализм и производные его: инфантилизм, выражающийся в том, что воспринимается, примеряется чужая мера витринной демократии, чужого собирающего в свете глобальных медиа взгляда, взгляда конституирующего нас изнутри. Когда-то Чаадаев с печалью заметил об отсутствии в прошлом у нас религиозных войн, кои были в Европе: «Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают»[180]. (Замечу, хотя он и чувствовал себя европейцем: «В злосчастном искусстве войны были ли у них (китайцев. — *В.С.*) Фридрихи и Бонапарты, как у нас?» Понимаю и тем объясняю, что китайцы тогда, как сегодня инопланетяне, собирали *всех* — европейцев? — в одно человечество.) Нынешним соотечественникам Чаадаева не хватает прагматизма, выражения интересов своего топоса и споров внутри топоса, внутри своей культуры, ответственности за локальное. Заметим с прискорбием, что Чаадаев объявлен сумасшедшим за то, что не признавал отечественную филосфскую мысль. Поэтому так легко — все еще и в который уж раз — у нас так действенны пафос, демагогия капитализма-либерализма, идеи революции. Возможно, повторюсь, но ответственно продумывая интересы места, выражая интересы его, интеллектуал всегда рискует стать циником, войти в противоречие со своей исходной философской, идеологической или политической позицией, совпасть с противником, оппонентом. Но эти трансформации говорят не о стратегии всеприятия и дозволенности, но, напротив, о мучительном продумывании концепта до логического конца, до ситуации, когда все посылки из тезиса сделаны, когда ты с неизбежностью приходишь к признанию правоты противоположной исходной позиции, чуждой тебе точки зрения, к противным убеждениям.

Топологическая рефлексия есть восхождение от абстрактного к конкретному, есть движение от тотального к локальному, которое — на поверку — дело трудное и опасное, здесь выражение «рискну предположить» не безобидный риторический оборот, но поставленный на карту авторитет. Когда, например, мировая экономическая элита думает за слаборазвитые страны, запрещая им вырубать свои леса, то мыслит ли «за них» или, быть может, больше за себя, за свое комфортное существование, а за них «в конечном счете»? Очень трудный вопрос — найти общность интересов выживания одних и потребления других, интересов стратегических и местных, извне и изнутри. Абсолютно невозможна фигура мысли «за нас», но только так мысль возможна, поскольку мысль из себя самой пуста. Но есть другой, для меня более важный момент, чувство меры, которое имманентно топологической рефлексии. Важно понимать, кто мыслит «*вместо*», а кто «*из места*», сочувствуя, например, телу, расположившемуся, распростершемуся на бескрайних просторах, телу, чувствующему за монгольско-казахской разреженностью угрозу распрямиться до предела сжатой пружины Китая, развившихся Драконов. Наше тело ино-, а глядя из плотности посаженных рядом домов Запада, его городов и уделов, людей в очереди на профессорское, адвокатское и другое место престижной работы, — еще и недодисциплинированное тело.

Концепты топологической рефлексии проверяются не всеобщей формой предметов, не взглядом, парящим над ними, но выживанием в реальных условиях и обиходе с реальными

[180]Чаадаев П.Я. Философские письма // Чаадаев П. Я. Соч. — М., 1989. — С. 115.

предметами. По этому признаку к понятию топологической рефлексии примыкает концепт рефлексивной монадологии, который разрабатывала Н.Н. Иванова: «Топос интеллигибельного, целостный в себе и для себя, не только оригинально представляет философскую рефлексию в ее созидательном потенциале, ее способности обратить в свою собственность «сами вещи», ее миротворческом замахе, но и побуждает возвратиться к рефлексии как имманентной многомерности мышления, восстановить ее полной и неурезанной, без карикатурных передержек, сводящих рефлексию к зеркальному отражению или к унылому самоповтору»[181]. Топологическая же рефлексия не есть разовый акт, который повторяет себя в режиме зеркального тождества, поскольку производится каждый раз заново, внося коррективы исходя из изменения как рефлексирующего, так и объекта рефлексии, учитывая к тому же практическое воздействие на состояние места, исходя из результатов предшествующей рефлексии. Она по необходимости многократна и многомерна. Многомерность ее задана не только многообразием способов самоотчета, но и истоков мысли, различных форм рациональности и, наконец, разнообразия практик признания истины.

В топологической рефлексии трудно не усмотреть общих тенденций возвращения идеи замкнутости и ограниченности, из которой исходит современная модель мира: «Во вселенной Галилея и Ньютона пространство разомкнуто и бесконечно простирается во все стороны; оно замкнуто в космосе Аристотеля и новейшей модели мира Эйнштейна»[182]. Классическая рефлексия, формирующаяся в контексте формирования идеи разомкнутой бесконечности в Новое время, топологическая — замкнутой. Замкнутой, но не статичной. Классический субъект подобен художнику «деспотично установившему неподвижную точку зрения. Отныне картина рождается из единого акта видения, и предметам стоит немалых усилий достичь зрительного луча. Зрачок художника водружается в центре пластического космоса, и вокруг него блуждают формы вещей. Неподвижный зрительный аппарат направляет свой луч-видоискатель прямо, без отклонений, не отдавая предпочтения ни одной фигуре. Сталкиваясь с предметом, луч не сосредоточивается на нем, и в результате вместо округлого тела возникает лишь поверхность, остановившая взгляд»[183]. Человек, руководствующийся топологической рефлексией, пребывая среди предметов, не статичен. Ибо топологическая рефлексия обращена как на собственное мышление — здесь рефлексия идет бок о бок с саморефлексией, — так и на *местопроизводство* акта рефлексии. Таким образом, субъект рефлексии постоянно обращается, а тем самым и превращается в выразителя интересов (идеолога) топоса. И, напротив, проблемы выживания влекут переосмысление абстрактных идеальных схем, накладываемых на ландшафт, телесность, мотивы принятия решений. Все, что мы знаем о глубине цивилизационного кризиса, переносится на кризис допущений рефлексивного разума. Акт топологической рефлексии венчает не итог, но гарантирует процесс. Если рефлексия классического типа исходит из допущения самопрозрачного сознания трансцендентального субъекта, раз за разом удостоверяющего тождество исходного и конечного пункта мысли, то топологическая рефлексия предполагает процесс видоизменения доклассической в классическую, классической в неклассическую фигуру мысли, то есть исходит из того, что начало и конец не тождественны. При этом она удостоверяет *тождество не тождественного*, обосновывает вывод при неполноте оснований и принятие решения с допущением *всегда* непредсказуемых последствий. Принципиально то, что топологическая рефлексия — это процесс напря-

[181]Иванова Н.Н. Рефлексивная монадология // Метафизические исследования. — Вып. 6. Сознание. — 1998. — С. 43.

[182]Слинин Я.А. Трансцендентальный субъект: феноменологическое исследование. — СПб.: Наука, 2001. — С. 27.

[183]Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. — М.: Искусство, 1991. — С. 196–197.

женного диалога и взаимоотражения двух составляющих, каждая из сторон которых перманентно трансформируется и видоизменяется.

Примером кризиса абстрактных схем, или, иными словами, модернистской рациональности, может служить возведение современных микрорайонов города и населенных пунктов «городского типа». Их античеловеческий масштаб, их безликость, однообразие и всепоглащающая неуютность для человека, живущего там, купируются сказочным уютом маленьких домиков и зеленью деревьев на макетах архитекторов, которые предъявлялись высокому начальству на утверждение. Работает машина «индустриального платонизма» — термин ученика Гуссерля Гюнтера Андерса, охватывающий систему массового производства образов и объектов. Отсюда утверждение массового же взгляда в качестве устроителя жизни по рациональному проекту. В результате мы имеем еще одно подтверждение лозунгу: чем чище рефлексия, тем более загрязнена окружающая среда. В данном случае происходит выравнивание (т. е. загрязнение среды, поскольку «грязь — это вещество не на своем месте») не только ландшафта, но и визуальной среды, поскольку прямые линии, четко прочерченные прямые углы и любое однообразие противно природе в целом, и человека в частности, а посему создает агрессивную визуальную среду, ухудшает и тем загрязняет визуальное пространство, экологию видимого, поскольку производит насилие над потребностями человека жить в природной (родной ему искривленной, не геометрически прямолинейной) среде, над его витальной потребностью в визуальном разнообразии. Странный для западной цивилизации вывод о том, что прямолинейность, стерильность, однообразие ведут к загрязнению, подтверждается, например, тем, что модернисткий проект квартала Прютт-Айгоу архитектора Минору Ямасахи (Minoru Yamasaki**),** получившего премию Американскго института архитекторов в 1951 году, который «был полон солнца, пространства, и зелени», — того, что Ле Корбюзье назвал «тремя основными радостями урбанизма»… В квартале было предусмотрено разделение пешеходного и транспортного движения, значительное игровое пространство»[184]. При кажущейся привлекательности (а по отечественным критериям превосходных характеристиках этого комплекса) власти Сент-Луиса 5 июня 1972 года взорвали несколько его жилых домов. Причина — из-за геометрических плоскостей, визуальной монотонности, приведших к повышенному уровню преступности, психическим заболеваниям и вандализму. Вот уж поистине роковая, становящаяся символической роль архитектора Минору Ямасахи, с разрушением зданий которого связывают закат двух эпох: в 1972 г. — модерна, башен Торгового центра (он был их главным архитектором): в 2001 г. — постмодерна.

Привлекательность во многом объясняется предъявленным макетом, дающим возможность увидеть проект сверху вниз, свысока. Но такой «взгляд сверху» или «снизу» на архитектуру был открыт в авангардистских экспериментах А. Родченко, спор о которых развернулся на страницах журнала «Новый ЛЕФ». Ее инициатором был Борис Кушнер, опубликовавший в журнале открытое письмо А. Родченко[185]. Он резко выступал против его ракурса съемки «сверху вниз» и «снизу вверх», который активно разрабатывал в своем творчестве выдающийся фотограф. С точки зрения Кушнера, экспрессия вертикального ракурса искажает объект, вносит помехи в фотоинформацию и тем самым противоречит принципам целесообразности и утилитарности. Ныне мы столь однозначно оцениваем позиции авангардистов, в том числе и по вопросу ракурса съемки, который, на первый взгляд, имеет лишь сугубо эстетическое значение. Оказывается, нет. В конкретной ситуации принятия решения искусство задавало специфический характер видения «взгляд сверху». Последний оказывается не только антиутилитарным, но и переведенным в иную нехудожественную сферу, в практическую сферу принятия решений, становится не-, а точнее сказать античеловеческим. Дело в том, что

[184]Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодерна. — М., 1985. — С. 14.

[185]Кушнер Б. Открытое письмо // Новый ЛЕФ. — 1928. — № 8. — С. 38–40.

взгляд сверху рождает мелкий масштаб, который не может вмещать разнообразие природных, антропогенных ландшафтов и климатических особенностей, но именно на этом же основании подобные модели становятся универсальными и бессодержательными. Земля становится территорией, пятном, зоной, площадкой — пространством воплощенного модерна.

Предполагаю, что существует устойчивая зависимость самотождества и надежности оснований от степени абстракции субъекта. Трансцендентальный субъект обладает самотождеством, поскольку у него нет ни тела, ни информации о расположении тела в месте производства акта рефлексии. Ему и только ему дана власть абсолютной точки зрения, исходя из которой «луч, падая перпендикулярно, отражает сам себя» (И. Микраэлиус). Так, с помощью зеркальной рефлексии обретаются надежные основания классики. Но и у рефлексии, ограниченной в пространстве и во времени, есть свои надежные основания. Архаическая основа — результат ограниченных усилий. Она строга в своей применимости и воодушевлении, которое — в отношении таких феноменов, как человеческие жертвоприношения, каннибализм — ныне именуется не иначе, как ужасом «проявлением дикости»[186]. Совестью, не ставшей еще внутренним рапорядителем, но пребывающей во внешнем, в совместной вести как законе о порядке проведения борозды на Земле, поведения во время ритуала, о состоянии человеческого сообщетсва и природы, понимания суровой неотложности ее законов. Земля для крестьянина, что холст для художника — чистая потенциальность, возможность самореализации, место приложения сил, радость сделанного труда.

По аналогии с математической топологией, топологическую рефлексию можно соотнести с таким созерцанием, которое предполагает общую природу созерцаемого и созерцающего, но вместе с тем ясно, что она не сводит их к всеобщей единице, поскольку для топоса характерно геометафизическое измерение, гласящее, что мера в каждом конкретном случае обретается мучительно трудно. Фактически это является следованием принципу «подобное познается подобным» в том смысле, которое неявным образом, зачастую умалчивая это, содержит это положение, что одно подобное не тождественно другому, но лишь подобно ему, откуда всегда остается некоторый неверифицируемый остаток. Тем самым, идея топологической рефлексии не только ставит, но и актуализирует проблему соотносимости несоизмеримого. Крылатое выражение: «Понять другого — значит уподобиться ему» («comprende c'est égaler») говорит о том же, но *уподобиться* — еще не значит *стать* другим. В этом пункте мы находим моменты тождества топологической и архаической рефлексии. Так, духи места не только охраняли его, но и задавали механизм идентификации проживающим на этом месте людям. О том, что предпосылкой рефлексии в архаическом мышлении является мифологический принцип тождества человеческой природы коллективного тела и природы, окружающей человека, не на основе тождества мысли и то, о чем мысль, на основе сочувствия и симпатии, симметрии ран, боли и кровопролития. Человек не только выражал в слове, но и *воплощал* в чувстве, тотеме; отождествляя себя с животным, удостоверяя биологическое родство и исто-

[186]Что, собственно, говорит нам Ю. Хабермас: «Отдельные эпохи теряют свое лицо в героическом поиске родственных уз современности с самым дальним и самым ближним: декадентство узнает себя непосредственно в варварском, диком, первобытном. Цель анархистов — взорвать исторический континуум — объясняет разрушительную силу эстетического сознания, которое восстает против нормативности традиции, живет опытом бунта против всего нормативного и нейтрализует как доброе с точки зрения морали, так и полезное с точки зрения практики, продолжает инсценировать диалектику тайны и скандала, алчно упиваясь тем ужасом, что исходит от кощунственного акта профанации, и вместе с тем отшатываясь от его пошлых результатов. Так, согласно Адорно, „признаки разброда суть печать подлинности модерна; то, благодаря чему он отчаянно отрицает замкнутость неизменного; взрыв — один из его инвариантов. Антитрадиционалистская энергия перерастает во всепоглощающий вихрь. Поэтому модерн — это миф, обращенный против себя самого; его вневременность становится катастрофой мгновения, разбивающего непрерывность времени“» (Хабермас Ю. Модерн — незавершенный проект // Вопросы философии. — 1992. — № 4. — С. 42).

рическую с ним связь, он устанавливал жизнетворную протоформу тождества. Если перед лицом экологических проблем отношение к миру становится сегодня более *участливо,* то *такой* диалог не утрачивает изначального смысла *симпатии, воскрешая память* саморанения, сожжения, самопожертвования, так отчетливо заявляющего о себе в актуальном искусстве. В топологической рефлексии — и в этом вижу всеприсутсвие архаического опыта, ушедшего в подсознание homo sapiens, — отменяется иерархия высшего и низшего, активного и пассивного начал, истока и итога.

Топологическая рефлексия совпадает с рефлексией архаического в тех моментах, в которых она есть возвращение к топосу мысли, во время *первобытного* состояния, *со*стояния мысли и тела, единства индивидуального, коллективного и природного тела, то есть того истока, где мысль невычленима из других форм отношения к миру, где реакция непосредственно связана с потребностью/желанием/мыслью, где активность среды ощущается и осознается как собственная активность. В отождествлении с животным открывается для человека опыт животного, то есть более древнего, более надежного, с точки зрения выживания, опыта отношения к миру. Воскресить забытое, напомнить о чувство-действии до-родового тела, активировать до-индивидуальную и до-персональную память животного — которая, замечу, много длиннее, чем память культурная, — его адаптации к меняющимся условиям жизни, — всё это позволяет архаический ритуал.

Для топологической рефлексии важно дойти и преодолеть болезненную точку жизни, точку жизненного роста и адаптироваться к новым условиям, для этого ей необходима и достаточна возможность каким-то образом трансформировать нечто, не сводя его к унифицирующей единице. Эта рефлексия не менее приблизительна, чем классическая, вымывающая посредством соответствующих процедур *иные формы приближения,* нежели количественно-числовое подобие, но приближающаяся в ином — не количественном, соучастливом — смысле. Она лишь понимает степень своей приближенности, не питая иллюзий, проистекающей из железной логики тождества. (Не странно ли, что мысль руководствуется железной логикой, а чувство — алмазной сутрой?) Заметим, что тождество — с необходимостью иллюзия, иллюзия *со*бытия, для которого нет места в реальной жизни[187]. Мир тождеством удваивается, но не раскрывается[188]. Нетождественность классической рефлексией поглощается, территория иного схватывается, демифологизируется и покрывается всеобщностью разумного устройства, правами человека, информационной сетью. Топологическая рефлексия по природе своей ограничена топосом, она не ведет к экспансии и, тем самым, дает основу локальным

[187]Как только покидаем сферу идеального, отвлеченного и пытаемся объяснить род или вид, мы попадаем в ситуацию неразличимости причины и следствия, вспоминаем о взаимокоррекции и взаимовлиянии. Так, к примеру, Аристотель, попытавшийся оспорить пифагорейцев и доказать правоту своей мысли, вовлекает себя в сферу, где его *безусловный* принцип становится обусловленным, сферой непрерывных изменений и взаимозависимостей, не дающих надежного первопринципа: «Неправильно мнение тех, кто, как пифагорейцы и Спевсипп, полагает, что самое прекрасное и лучшее принадлежит не началу, поскольку начала растений и животных хотя и причинны, но прекрасно и совершенно лишь то, что порождено этими началами. Неправильно потому, что семя происходит от того, что предшествует ему и обладает законченностью, и первое — это не семя, а нечто законченное; так, можно сказать, что человек раньше семени — не тот, который возник из этого семени, а другой, от которого это семя» (Аристотель. Мет. XII 7, 1072b130—1073a).

[188]В природе нет прямых углов. Если они случаются, то необходима зеркальная поверхность, от которой луч света вернется к самому себе, если падает прямо. Желание четкости своего образа (а наскальные рисунки и есть то первое зеркало, в которое смотрелся человек) двигало первочеловека: «Даже в наиболее раннем пещерном искусстве часто встречаются попытки подготовить некоторые каменные поверхности» (Филиппов А. К. Истоки и природа искусства палеолита: Дис. … докт. ист. наук. — СПб., 1991. — С. 126.) Древний писец, художник, график и скульптор не только двигались по формам предметов, но, вначале робко, а затем все настойчивее и увереннее *выравнивали* их *самобытные линии*, преодолевая сопротивление материала (См. подробнее в моей книге: Савчук В.В. Кровь и культура. — СПб., 1995. — С. 132–134).

культурным сообществам сопротивляться тотальности. Для топологической рефлексии важно, что при переходе от одного места к другому, происходит трансформация одного в другое, сохраняя непрерывность, то есть, как сказал бы физик, пробоям[189] соответствуют другие, в каком-то реальном отношении тождественные, перебои. И такая рефлексия, несмотря на отсутствие четко фиксированной единицы познания или единицы разумности, не является «случайным приближением», а имеет устойчивую структуру (топологию), обеспечивающую вечный возврат — воскрешение исходного состояния понимания, состояние слитности первомысли и первочувства, первораны и первознака, боли другого как своей боли и, наконец, жжения и сожжения, насилия и священного.

Заинтересованная рефлексия

Прообразом топологической рефлексии можно считать Ветхозаветное понимание места вопрошания: Иудей — «на земле», грек — «на небе». Иов спорит с Богом «из глубины» (Псал. 129. ст. 1) «своей беды, своей конкретной жизненной ситуации, а не с бесстрастных высот интеллектуальной отрешенности и «внемирности». Мечта Архимеда о точке опоры *вне* земли — это поразительно емкий символ греческой мысли; ближневосточной мысли такие искания были чужды»[190]. Именно в грезах о ней видим призыв к тому пространству, в котором «душа философа решительно презирает тело и бежит от него» (Платон). Вся история рациональности есть отказ от встречи с конкретным местом, культурой, человеком (ибо только Киник мог искать встречи с ним, с *конкретным* человеком, и, верится, получив шанс встречи, он не уклонился бы от нее), ибо постижение его сопряжено с непереносимой катастрофой идеального, чистого, необходимого, он требовал невероятной интенсивности проживания жизни здесь и сейчас. Тот, кто приближался к нему, подобно Гегелю, пришедшему, как я уже приводил слова его выше к выводу, что «Дух достигает своей истины, только обретя себя самого в абсолютной разорванности», разрываемый крайностями, отрицающий свою имманентную чистоту саморазвития — все это применимо к конкретному топосу, мыслителю, культуре. Тот же, кто отказывается от встречи с непомерным делу философской мысли удерживать противоположное в едином образе, получает в награду *безусловность* разумности, ее чистоту науки логики, но утрачивает способность мыслить среди вещей и событий, где больше говорит художник или мистик. Но часто, «пока искусство не становится понятным, его всегда называют магией; только потом — просто наукой»[191].

Картина мира, открывающаяся с помощью топологической рефлексии, вбирает опыт художественного взгляда, а по ряду существенных характеристик совпадает с целостной картиной мира человека архаического периода (при внимательном же рассмотрении ориентация на органическую целостность отечественной философии близка мифопоэтической картине мира, близка она «участливости» топологической рефлексии). Это же наследует топологическая рефлексия, включая основание мысли в саму мысль; она — рефлексия из определенного места и времени, приоритетом имеющая контекст мысли и чувства в их неразложимости на составляющие элементы, рефлексия, помещающая тело в дело мысли и сферу заботы, рефлексия, понимающая, что ее порождающая структура — тело и топос, точнее тело-топос как целое — создает онтологические условия его существования, возникла прежде осознанной целерациональности и, наконец, рефлексия, реабилитирующая Логос в качестве *принуди-*

[189]Пробой в физике — это нестационарное, аномальное поведение системы; в математике ему соответствует понятие сингулярности, означающее точку, в которой функция терпит разрыв, в которой она, следовательно, не определена.

[190]Аверинцев С.С. Риторика и истоки современной литературной традиции. — М., 1996. — С. 60.

[191]Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. — М.: Прогресс, 1986. — С. 331.

тельной силы конкретного действия, разворачивающегося скорее по логике опыта выживания в данном месте, чем по траектории, задаваемой всеобщностью и универсальностью геометрии мысли. Неустранимость моральной и эстетической оценки, главным критерием которой является выживание и жизнь, достойная людей этой Земли, есть еще одна сторона топологической рефлексии.

Характеризуя топологическую рефлексию как рефлексию заинтересованную, рефлексию уместную и рефлексию изнутри, не впадаем ли мы в противоречие, поскольку рефлексивная позиция предполагает «рефлексивную дистанцию», вненаходимость, отсроченность, то есть размышление над уже произошедшими событиями, оставшимися в прошлом. Предел ее — эмоциональная нейтральность, та нейтральность, о которой говорил Спиноза, и слова которого часто цитируют: «Не осмеивать человеческих поступков, не огорчаться ими и не клясть их, а понимать. И потому я рассматривал человеческие аффекты, как-то: любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие и прочие движения души — не как пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так же, как природе воздуха свойственно тепло, холод, непогода».

Противоположная, заинтересованная позиция исключает равнодушие, она строится по логике внутренних интересов, по логике аффективного жеста. Так, например, для этнолога, излишне «погруженного» и «вовлеченного» в «материал» изучаемого сообщества, есть опасность не вернуться «с поля», стать на сторону сопротивляющихся, воюющих, живущих согласно архаическим обычаям и ритуалам древних — не рефлексивно. Каков же выход? Как и в случае концепта мышления тела (Д. Кампер) речь идет не о «строгой форме», поскольку тело несет на себе влияние, оно — конверсив топоса, и в то же время само влияет на топос, видоизменяя его. Тело собирается и столь же быстро реагирует, перестраивается, осциллирует между единичным и общим, внутренним и внешним телом, местными условиями и общими принципами. Уместный результат такого мышления дает не *точка зрения* человека, но восприятие мира, места его про- и выживания. Для топологической рефлексии очевидно, что нет более безусловно общего основания, нет чистого разума и зеркальной рефлексии. Есть движение от тотальности к локальности, к учету обстоятельств и резонов. Существо ее продумывается, воскрешая категории субъекта, истины, этики, метафизики в смысле — геометафизики. И логически, и топологически рефлексия изнутри есть продукт и мысли, и тела, а не порознь или поверх их. Самое трудное в этом — найти меру соприсутствия, не впадая в чистые формы мысли, с одной стороны, и «нечистые» желания тела — с другой.

Но изнутри не значит непосредственно. В главном речь идет о том, что локальное немыслимо из концептов другого, удаленного топоса, в свете иных композиций сил, традиций, культурных реалий. Вывод топологической рефлексии столь же соразмерен чистой мысли, сколь и уникален, столь же познание, сколь и оценка; она производится здесь и сейчас, целостно, значит, всегда при неполноте достаточных оснований. Замечу, почему идеалисты обычно непереносимы в жизни, не только потому, что отвечают «тем хуже для фактов», народа, топоса, а потому что таят в себе тоталитарный проект, насилие над несхватываемым и удерживаемым в понятии. Эта целостность топоса означает еще и то, что, с одной стороны, в нем нет гносеологических или практических в кантовском смысле привилегий. Уместность порывает и с высокомерием классики (судить поверх топоса) и гордыни угнетенного абстрактными схемами художника («Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам»). Хотя и призыв учета в *равной мере* противоположных сторон столь же пространен, легок, сколь и невыполним. Ибо для него нужны не дотошность, а вкус, чувство меры: ответственность пополам с художественным вдохновением. Ибо знать о равной мере и проводить единство, идя по тонкому лезвию меры, — не одно и то же. Прилагая раздел

«Опыт топологической рефлексии», я пытаюсь декларативные утверждения сделать инструментом анализа. Насколько это удалось — судить не мне.

Продумать топос — значит обрести почву под ногами. Для этого необходимо двигаться практически на ощупь: «И всякая мысль подло, как змий, по земле ползет, но есть в ней око голубицы, взирающия выше вод потопных на прекрасную ипостась истины»[192]. Сочетание противоположного: земной близости, укорененности в «подлости» частного умысла и причастности миру идей — выдает трагическую двойственность мысли о топосе, ее разорванность, ее ранимость несоимеримым. Отказ от дискурсивных ориентиров и геометрических проекций классической науки — непременное условие новой инстанции, возникающей на месте субъекта, растворившегося в инперсональных потоках, интенсивностях, сингулярностях. Замечу в скобках, что увлеченность отказом и переоценкой, деструкцией и деконструкцией имплицитно заданы как трансцендентальной традицией, так и ограниченным местом ее здесь-бытия.

От зова бытия Хайдеггера топологическую рефлексию отличает нравственный, экологический и демографический параметры. Не осуществлять требования зова бытия, — всю интеллектуальную и моральную ношу, всю ответственность перекладывающего на внешние условия, на посылающее бытие. Но отказавшись от господства одного из универсалистских проектов: «Запад там, где работает логика капитала, логика прибыли», «религия там, где исповедуют веру ее», «Китай там, где китайские товары», — следует принимать решение в ситуации исключающих друг-друга интенций. Всегда есть другие Земли, религии, способы производства, желания. Топологическая же рефлексия исходит из того, что «различное есть не то же самое» — таков тезис Лумана в отношении природы, таков же и в отношении топоса. Топос производит разнообразие. Решение политической проблемы нельзя найти в газете — таково неписанное правило политиков. Почему? Потому что в газете оно абстрактно, нетерпеливо, очевидно и безответственно. Кто не отвечает за слова, тот решителен, смел и безответствен. Действительное принятие решения мучительно, трудно, часто досадно, но его необходимо делать сейчас. Компромисс ведь — всегда смесь поражения и победы, всегда жертвоприношение с надеждой на благосклонное воздаяние. Люди же, лишенные знания всех обстоятельств, вынуждены принимать решение вопреки мнениям. Топологическая рефлексия вскрывает изнанку выбора, процесс претворения частных интересов в неотложность общего решения. Интенция к высказыванию из места своего переживания воплощается в мужественном движении к ближайшему, к местоположению современного человека. А так как топологическая рефлексия должна быть произведена здесь и сейчас, поэтому у нее нет люфта, задаваемого академической отстраненностью или незаинтересованностью познающего субъекта. Интенция к ближайшему как важнейшему согласуется со справедливой инвективой Ницше: «Хулить землю — самое ужасное преступление».

«Жизнь — есть усилие во времени» — эта случайно оброненная Марселем Прустом фраза, подмеченная и многократно откомментированная М. Мамардашвили, имеет прямое отношение к нашей теме. Топологическая рефлексия не одноразовый акт, не однажды доказанная теорема, не вечное правило идеальных, а потому и неизменяющихся объектов. Имея дело с реальным топосом, существующим во времени, в изменении и развитии, топологическая рефлексия — это рефлексия, производящаяся каждый раз с учетом активности объекта, учитывающая и фиксирующая изменение своего местоположения. Сочувствие топосу не формально; оно принимает деятельное участие в изменившихся условиях, оно есть сила *сочувствия,* выдержанная во времени.

[192]Сковорода Г. Соч. В 2-х т. Т. 2. — М.: Мысль, 1973. — С. 12.

Опираясь на замечание Хайдеггера о реальности мира, которая есть то, что позволяет «ясно увидеть и соблазн публичности, и немощь приватности», можно сказать, что таковую реальность дает рефлексия топоса.

Конфигурация зеркал

В итоге, если вновь воспользоваться метафорой зеркала: топологическая рефлексия собирает свой образ, отражаясь от зеркал различной природы, находящихся в обществе, в природе — и в этом моменте ее сходство с рефлексией в постструктурализме очевидно. Но отличие ее образа, от образа, сиюминутно рождаемого игрой рефлексов в постструктуралистской парадигме, в том, что она реабилитирует интерес к локальному месту, к условиям производства жизни. Не *равнозначность* альтернативных прочтений и интерпретаций, а ответственное решение найти решение реальной проблемы и отстаивать его в данном топосе, в настоящем времени. Истина, истинное решение — не плод незаинтересованного желания. Они проистекают из отчетливого осознания невозможности существования в данных условиях. Лютеровская формула «не могу иначе», наполняясь нравственным и экологическим смыслом, преображается в формулу «не могу более», например, жить при таком режиме коррумпированной власти, дышать загрязненным воздухом, пить зараженную воду и есть отравленные продукты, смотреть на окружающую грязь в повседневности и т.д.

Если классическая рефлексия по типу своему зрительная рефлексия, то топологическая имеет дело со всеми органами чувств, опирается на всю совокупность полученной информации, но особое место в ней занимает тактильная информация (прилагательное tactile производно от латинского глагола tango — трогать, прикасаться, пробовать, испытывать)[193]. В этом ключе топологическая рефлексия соответствует методу анализа постинформационной эпохи, о которой мне приходилось говорить прежде[194].

Тезис де Керкхова «мир как продолжение кожи» — важен и продуктивен для понимания интенции топологической рефлексии. Топологический образ обусловлен напряжением и экзистенциальными проблемами; он возникает в контексте того единого тела и той единственной территории, в которых находится тело рефлексирующего. Вследствие этого он обретает определенность и настоятельность самоидентификации и надежного ориентирования, включающих ответственность и побудительность практических действий в решении проблем, рождаемых существующей формой воспроизводства жизни, формой производства и реализации желаний, разыгрывающихся теперь уже в обществе потребления, главной целью которого является потребление удовольствий. Неизбежность прихода к новому способу мысли, дающему ответ на вопрос о том, кто же видит нами, кто чувствует нами, кто желает и волит нами — является одной из главных задач топологической рефлексии. Но если классическая «рефлексия конструирует абсолют» (В. Беньямин), то топологическая рефлексия обращена к дольнему миру, к месту жизни, которое всегда несет опасность выживания. И оттого насколько она была проведена строго и последовательно, насколько бескомпромиссно отстаиваются интересы места изнутри, настолько же она будет эффективна и истинна.

---

[193]Подобный смысл *соприкосновения и подлинности* (тактильности) переживания запечатлен в ставших крылатыми словах Христа, обращенных к Марии Магдалине: «Noli me tangere» («Не касайся Меня» или в контексте канонического перевода: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20:17)). И еще, чтобы удостовериться в подлинности его воскрешения и преображения плоти, Иисус предлагает ученикам начинать с тактильного прикосновения: «Осяжите Меня и рассмотрите» (Лк. 24:39—43).

[194]См.: Савчук В.В. Человек постинформационного общества // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6. — 1998. — Вып. 3 (№ 20). — С. 18–23; Постинформационное общество // Проективный философский словарь / Под ред. Г.Л. Тульчинского и М.Н. Эпштейна. — СПб.: Алетейя, 2003. — С. 304–310.

Позволю себе привести обширную цитату, проясняющую существо сказанного. Автор термина «ориентализм» Эдвард Саид высказывает важное для нашего исследования замечание: «Интеллектуальный кризис исламского ориентализма — это еще один аспект духовного кризиса «позднебуржуазного гуманизма». Однако в соответствии со своей формой и стилем исламский ориентализм считает, что проблемы человечества можно рассматривать в рамках раздельных категорий под названием «восточный» и «западный». При этом считалось, что для восточного человека освобождение, самовыражение и саморазвитие — не столь насущные вопросы, как для западного. Напротив, исламские ориенталисты выражали свои соображения по поводу ислама таким образом, чтобы подчеркнуть присущее ему, и якобы всем мусульманам, сопротивление переменам, достижению взаимопонимания между Востоком и Западом, движению мужчин и женщин от архаических, примитивных классовых институтов к современности. В самом деле, это ощущение сопротивления переменам было столь сильно, и столь глобальны были приписываемые ему силы, что из докладов ориенталистов становилось ясно: апокалипсис, которого нужно опасаться, — это вовсе не крушение западной цивилизации, а, скорее, крушение барьеров, разделяющих Восток и Запад. Когда Гибб (Г.А.Р. Гибба (Gibb) — автор книги «Современные тенденции в исламе». — *В.С.*) обличал национализм в современных исламских государствах, он делал это потому, что понимал: национализм разрушает внутренние конструкции, которые делают ислам событием восточной жизни. Секулярный национализм в конечном итоге приведет к тому, что Восток перестанет отличаться от Запада. Однако нужно отдать должное исключительной силе симпатической идентификации Гибба с чужой ему религией, поскольку свое неодобрение он выразил так, будто говорил от лица исламского ортодоксального сообщества. В какой степени подобная защита была возвратом к давней привычке ориенталистов говорить за туземцев, а в какой — честной попыткой представить интересы ислама, это вопрос, ответ на который лежит где-то посередине»[195].

Топологическая рефлексия — это совмещение истории и географии мысли, или, иначе, это такая рефлексия, которая связывает географические сведения, историю, социологию, экономику, искусство, данные естественных дисциплин о данном топосе.

Но она же выявляет различные — и, что здесь важно, скрытые, не бросающиеся в глаза современному аналитику — источники формирования экономики, общества и культуры. Она дает показания, как традиция всеобщего мышления, с одной стороны, и особенности географического места — с другой, работают в противоположных направлениях, воздействуют на человека как со стороны унифицирующей и калькулирующей универсальной логики рассудка, так и географически, тяготеющей к особой чувствительности к своеобразию, уникальности места — в результате создавая событие местной культуры. Но это совмещение имеет и другое определение — биография мысли и тела в их неразрывности. Еще древние китайцы полагали, что «только величайшим удается установить неразрушимую живую связь с телом своей культуры». Установить живую связь с телом отечественной культуры — задача современных отечественных мыслителей, но она кажется куда как сложнее, чем овладение современными техниками зарубежного письма. Философ ничего не предписывает жизни, но участвует в ней, сопрягая способность понимания с изменениями жизни. И здесь нет границы между переживанием внешнего и внутреннего, мыслью и рефлексией истоков этой мысли, частного взгляда и общего настроения, настроения и концепта времени. Концепт, в котором

[195]Саид Э. Ориентализм. СПб, 2007. С. 308. В этом сюжете любопытны сбои разных точек зрения извне и изнутри, идущие с другого края Востока — Дальнего: профессор политологии Университета Чикаго (США) Ван Юцинь отмечает, что «некоторые западные теоретики постмодернизма, такие как Ален Бадью, по-прежнему превозносят «культурную революцию», игнорируя факты казней и арестов. Их проповеди оказали существенное воздействие на китайских студентов на Западе» (Русский Журнал. Тема недели: Риски исторической политики. — 2009. — № 20 (34). — С. 21).

переплавилось и отлилось, вобрав сферу необходимости, сочувствие данному топосу. Иначе говоря, философ не может не схватывать мир как целое, но целое мира открывается в локальном. Конструкция взгляда исследователя, практикующего топологическую рефлексию, опирается не столько на представление мира как продолжение взгляда, скорее мыслит и чувствует его как продолжение кожи (метафора: он всей своей кожей ощутил, обретает здесь дополнительное звучание). Она не может не задевать рефлексирующего, не может не втягивать в противостояние сил топоса, в мучительное соизмерение общего и частного, принципов и обстоятельств, взгляда извне и изнутри. Здесь восприятие рефлексирующего устроено так же, как и восприятие художника, претворяющего безразличное фактическое через личное отношение в самостоятельную реальность художественного образа. Понимаемая таким образом, она есть степень приближения к уникальному, в котором имеет место участие, сочувствие, ответственность за его существование. Она подозрительна к атопичным концептам ровно настолько, насколько пронзительно чувствует боль другого существа. Облегчает ли она при этом жизнь? Естественную — да, неестественную — нет. То, что мы неумолимо отделяем себя от климата, чувства ландшафта, местности — момент в истории цивилизационного пути — будет скорректировано в *режиме* адекватного поведения человека на Земле[196]. Да и сами категории естественного и искусственного в настоящее время претерпевают существенную трансформацию. Если прежде огород, город были местом, выгораживаемым из дикой природы, противопоставленные ей (отсюда противопоставление культуры — натуры). То сегодня самым искусственным, то есть требующим культурных усилий, является дикая природа, которая выгораживается из антропогенной среды, на которой устанавливается запрет на ведение хозяйственной деятельности, которую нужно оберегать от туристов, браконьеров, лесорубов и землепашцев.

Наглядная иллюстрация: отдаление мегаполисов от географических условий и климата, купирует нашу естественную способность адаптации. Адаптация требует усилий, внутренней работы, воли, упражнений на выносливость и сопротивляемость, а цивилизация создает комфорт, делающий наши адаптивные способности ненужными. Адаптация энерго- и трудозатратна. Поскольку с ее помощью человек встраивает себя в свою природу, в свой локальный топос и тем позволяет миру встраивать человека в его настоящее и в его перспективу. Человек выбирает и принимает на себя ответственность за выбор того варианта развития, в случае неудачи которого наступает угнетение не только земли, но и человека. Человек же, действующий сообразно с вещами мира, в ритме их — естествен. Естественность — плод усилий и высочайшей культуры. И в случае с сохранением «естественной природы» и в случае «естественных» движений актера и т.д. Но именно желание проникнуть в естественный ритм идеологически оформляется усилиями топологической рефлексии, которая видит конфликт ритмов тела и мегаполиса. Время ускоряется. Что-то происходит с показанием стрелок наших часов: стрелки двигаются все быстрее и быстрее (вначале была одна стрелка, указывающая часы, затем появилась другая, отсчитывающая минуты, затем дергающаяся (и дергающая меня) — секунды, а сегодня в спорте счет уже идет на десятые и сотые доли секунд),

[196]Мейстер Экхарт приводит притчу: «был языческий мудрец, который посвятил себя некоему искусству, искусству считать. Он сидел перед золой, писал числа и предавался своему искусству. Вот приходит некто с обнаженным мечом … и говорит: «скорее говори как тебя зовут или я убью тебя!»… Враг долго кричал, а он не отвечал, враг отрубил ему голову. И все это случилось ради того, чтобы обрести естественное искусство» (Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. — СПб.: 2000. — С. 85). Не отсылкой к известному мифу о Пифагоре, но о *странности* в современном смысле понимания естественности интересна интерпретация Экхарта. Забвение контекста, реальных условий абстрактной мысли (мысли о естественном) интересна нам мысль средневекового мистика. Ныне мы в своем увлечении разумным полаганием цели, удовлетворением «разумных» же потребностей повсеместно не замечаем занесенный над нами меч природы (включая природу культурной и религиозной самобытности).

движение столь ускорилось, что мы уже не видим стрелок — но сплошной плотный круг дел современного человека, круг спиц колеса. Время замерло, как стекло падающей воды, как провал беспамятства, как фотография. Взвинчивающийся — в пределе остановившийся в своем изменении — темп жизни корректирует стратегию работы со своими эмоциями, желаниями, своей телесностью. Проводником в медленные ритмы проживания может выступать художник, ибо согласно Гердеру — мыслителю эпохи медленных скоростей: «Красота в мире создана только для тихого наслаждения»[197]. Художник доводит до логического конца всеобщую *ин*формированность, возвращая нам шок, боль и наслаждение как единицы сцепки тела в неразрывное и цельное (пусть и на миг) тело. Фиксируя внимание на топосе, мы идентифицируем себя, местоположение своего тела и географических условий, их определяющих. Кроме этого, художник предвосхищает возможность постинформационного (то есть связанного с миром всеми каналами его восприятия) состояния человека.

Адекватный человек (человек который «в порядке») исходит из системы, структуры, дискурса — все это имена тому надприродному порядку, захватывающему и поглощающего современного человека[198]. Адекватность моде, системе вещей, принуждающей силе образов, которые привычно встречаются человеку в его повседневной жизни, приводит к тому, что режим актуальности вытесняет существо дела и, в конечном счете, само существование. Искусившись противоположным надприродном образованием — цивилизацией удобства, мы вынуждены исходить из всеобщего цивилизационного пути, требующего всеобщего согласия. Естественное забывается в пользу комфорта, поскольку усилие помнить требует режима воспроизводства памяти или усилия во времени. Актуальных усилий. Однако чистая актуальность, как заметил в связи с Кантом М. Фуко, не пытается понять настоящее, исходя из всеобщего или в свете будущей завершенности… она ищет отличие: «какое отличие несет «сегодня» по отношению к «вчера»?[199] Значение событий исчерпывается тем, что они есть сегодня. Активность только в свете сего дня. Так как продумывание бытия здесь и сейчас наталкивается на сопротивление привычки *так* — согласно общему правилу — воспринимать, мыслить, действовать.

И наконец, если использовать юридический термин, у топологической рефлексии алеаторные (рискованные) отношения с топосом, взрывная сила противоречий которого взывает к открытому реагированию, риску и надежде, к спасительному. Непредсказуемость событий топоса определяет событие мысли. Задача актуальной мысли отвечать не на запросы покорения и экспансии (требующей прямой, как дороги Римской империи, и всеобщей, как наднациональное Римское же право, логики классической рефлексии), а взгляду, ищущему ресурсы выживания, вынужденному реактивно менять тактику реагирования, способы обхождения с контекстом. Взгляду заинтересованному и вовлеченному. К тому же своеобразие события неустранимо задано не только уникальностью единичного, но и конфликтом интересов сознания, всегда мучительно отбирающего тот его фрагмент, те интересы, те подходы, которые,

---

[197]Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. — М.: Наука, 1977. — С. 152.

[198]Кант, например, распространял порядок не только на сферу разума, но и на повседневную жизнь. Так, во время лекций Кант имел обыкновение «устремлять взор на одного из студентов, сидевших на первой скамье. Однажды случилось так, что Кант избрал студента, у которого не хватало на сюртуке пуговицы. Этот пробел в костюме молодого человека до такой степени нарушил покой Канта, что он был крайне рассеян, сбивался и вообще прочел совсем неудачную лекцию. Кант вообще не любил «пробелов». Он чувствовал крайнее раздражение, когда видел, например, человека с неполным рядом зубов, и говорил, что когда видишь такого человека, то против воли стараешься смотреть в пустое место (Филиппов М.М. Эм. Кант. Его жизнь и философская деятельность. — СПб., 1893. — С. 28). Пробел, лакуна, разрыв это как раз то, что не терпит порядок, система, опирающаяся на идею всеобщности и необходимости.

[199]Фуко М. Что такое Просвещение? / Пер. с фр. С. Л. Фокина // СТ (Ступени). Петербургский альманах. — 2000. — № 11. — С. 137.

как регистры, включаются на объекты разной степени незаинтересованности. Две открытые системы — всегда флексибельного топоса и многообразия установок сознания — усиливают алеоторность отношений. Спецификация порядка рефлексивных актов — вынужденный ответ на присутствующий всегда момент непредвиденного, опасного, чудовищного. Инструментарий ее — рефлексии — изощряясь ухватить и удержать силу единичного в оковах повторяемости и воспроизводства (машинообразности) средств жизни, с неизбежностью изощряется, растет его разнообразие, способы схватывания и удержания в понятии, а, следовательно, и принятии актуального положения вещей. Стихийные бедствия и техногенные катастрофы, внутренне глубоко связанные, — вид жервоприношения техническому, его обособленности в противостоянии человеку, сколь бы мы ни говорили вслед за Хайдеггером о власти технического подхода к бытию.

Ресурс топологической рефлексии

Редукция (Reductio) и конституирование (Constituere) Гуссерля, деструкция (Destruction) Хайдеггера и деконструкция (Deconstruction) Деррида — имманентный рациональности путь утраты надежных основ мысли, путь отказа от господства классической рефлексии? Висит в воздухе вопрос: какое место топологическая рефлексия занимает в отмеченном ряду? Это трудный, но неотложный вопрос. В ответе на него я буду опираться на прецеденты: XX век выдвинул и сделал легитимными целый ряд философских методов: феноменологический, экзистенциально-феноменологический, герменевтический, структуралистский и пост-структуралистский (о последнем речь особо), аналитический.

Обращу внимание к объяснительным метафорам, используемым ранее. Классическое ровное и чистое зеркало подвергалось критике романтическим его прочтением: зеркалом выпуклым и вогнутым. В дальнейшем под натиском структуралистских и постструктуралистских прочтений зеркало классической рефлексии разбивается на множество осколков, к которым добавляются фрагменты зеркал различных эпох и разной конструкции. Когда разбивается нововременное зеркало, то разбивается лишь конкретный вид его, но человек не разбивает принцип зеркала как способа самоиденификации, он просто начинает смотреться и собирать свой образ в ином зеркале. Есть, вспомним Джакомо делла Порта, вогнутое зеркало, отсылающее к высшей действительности, характеризующий религиозно-мистический путь, но он не единственная альтернатива, ибо есть и иные: экологический, новоархаический путь, путь новых технологий и порождаемых ими новых реальностей. Сборка и самоидентификация мыслителя в условия постмодернизма становятся равновозможной, лишенной надежной опоры, незыблемости флексии, априорности.

Отмечалось выше, что топологическая рефлексия принимает ситуацию отдельных зеркал, зеркал, отражающих сиюминутную ситуацию и преломляющих в него смотрящихся в соответствии с собственной конструкцией зеркала. Принимая и соглашаясь с картиной многообразия зеркал, топологическая рефлексия, или рефлексия топоса, корректируется каждый раз, когда меняется размер топоса, переопределяются его границы. Размер топоса, степень общности его схватывания и уровень методологического абстрагирования зависят друг от друга с необходимостью: изменение одного параметра с неизбежностью влияет на другие.

Топологическая рефлексия всегда дает эффект, который не представлялся, не предвиделся, не предполагался. Можно было бы предположить, например, что чем ближе к индивидуальному, локальному — тем рефлексия менее универсальна, то есть сближается с самоощущением, самопониманием, самопрезентацией, самочувствием. Но все это формы, лишенные рефлексивных процедур: ни рефлексией, ни топологической рефлексией они не являются. Как идеология, которая не производится на уровне психологии, так и искусство постиже-

ния индивидуального характера, искусство принятия политического решения, психоанализ не проводятся в рамках обыденного знания. Отказ от интроспекции, в трактовке сознания Маркса, Фрейда, Ницше — всех мыслителей, исповедующих установку подозрительности, открывает иное измерение аналитики настоящего.

Но столь же стойким заблуждением было бы полагать, что в движении к уникальному топосу торжествует несводимость к другому топосу, другой культуре, другой ситуации. В искусстве давно известно: чем талантливее выражается индивидуальное, тем больше людей оно затрагивает, тем больше людей *выражает,* тем общим выражением времени становится.

И так, вернемся к главному вопрошанию о специфике топологической рефлексии. Начну со слов Ж.-Ф. Лиотара, включившегося в обсуждение обвинения Хайдеггера и полагавшего, что «вовлеченность в нацизм можно вывести из «Бытия и времени», а его поворот был поворотом к этике: «Kehre имеет значение исправления». Тем не менее линия деэтизации, уход в эстезис, в отказ от истины и равнозначность всех интерпретаций привела наследников деструкции постструктуралистов к логически закономерному результату: отказу от любой определенности, ответственности, нравственной позиции[200]. (Дело аналитиков — вскрыть, чьи и какие идеологические стратегии лежали в отказе от всех центризмов.) Определения топологической рефлексии, высказываемые в разных местах, дополняются следующими *ограничениями*: топологическая рефлексия, возвращая искренность истине, уместна: она всегда уместна. Неуместная рефлексия — не топологическая рефлексия, поскольку не этична и неответственна. Она не может не нести дух места, в котором производится. Косвенным, но от этого не менее важным критерием точности ее проведения являются критерии искусства, ибо согласно Н. Луману искусство — «это единственная форма коммуникации, которая транслирует не только формы смыслов, но вместе со смыслом передает физическое ощущение». Таким образом, подлинная рефлексия топоса резонирует с моим предчувствием, убеждает точностью выражения и обладает энергией образов впечатлять. И как художественное произведение она захватывает всего человека полностью, подобно поэтическим строкам, картине или музыке. По ходу отмечу возникшую гипотезу: не в стремлении к этому кроется тенденция отказа от толстых книг в актуальной философии[201]. Все, что мыслитель обосновывает и доказывает в фолианте, в сумме, можно сказать кратко и по существу в статье. Из статей собрать книгу. (Не показательно ли то, что в более чем 90-томном собрании сочинений Хайдеггера есть всего лишь одна относительно большая книга «Бытие и время».) Мысль о мысли, включающая топос мысли, всегда что-то вскры- и приоткрывает, выводит на иной уровень, убеждая не только логикой, но и метафорами, стилем и интонацией. Ибо топос как место пересечения всех сил, интересов, веяний и влияний не схватывается поверхностным вуайеристским взглядом, чужим взглядом, мыслью за *нас*.

[200]Вот один из характерных примеров, классик искусства XX века Карл-Хайнц Штокхаузен в эмоциональном порыве сделал свое заявление публично, назвав разрушение нью-йоркских башен-близнецов «величайшим произведением искусства, вообще бывшим во всем мироздании». Особенно его восхитили длящаяся многие годы духовная концентрация на реализацию плана, точность его исполнения и абсолютная безоглядность участников акции. К этому он добавил: «Их души в одном акте осуществили то, о чем мы в музыке не могли и мечтать: люди совершенно фанатично десять лет упражнялись, как сумасшедшие, готовились к одному концерту и потом умерли, представьте же себе, что тут произошло. Люди так сконцентрировались на одном представлении, что в один момент отправили пять тысяч душ на небо. Я бы не смог сделать такое. Как композиторы мы совершенно ничтожны. Но некоторые художники все же пытаются перейти границы мыслимого и возможного для того, чтобы мы пробудились, чтобы мы открылись для другого мира» (Frankfurter Allgemeine Zeitung. — 19.09.2001).

[201]В литературоведческой и мемуарной литературе давно подмечено увядание интереса к большим формам: «Романы бесполезно читать, потому что этот вид условности перестал работать» (Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. — СПб., 2002. — С. 305). Отказ от толстых философских книг в книге возможен лишь в свете предуведомления-названия: «Это не книга», росчерка подписи перечеркивающего написанное.

Пытаясь найти ответ на поставленный вопрос, начну с очевидного (не кажущегося). Философ, равно как и поэт, и художник (не в этом ли причина интереса к поэзии и изобразительному искусству в XX веке), ничего не предписывает жизни, но участвует, то есть воспроизводя и переописывая ее, они, хотят того или нет, изменяют конфигурацию сил, облик событий, интенсивность переживаний и мотивацию поведения. Сопрягая способность понимания с изменениями жизни, топологическая рефлексия говорит нам о том, что здесь нет границы между переживанием внешнего и внутреннего, мыслью и рефлексией истоков этой мысли, частного взгляда и общего настроения, настроением и понятием времени; понятие, в котором переплавилось и отлилось в понятие *сочувствие* данному топосу; топологическая рефлексия — друг топоса. Иначе говоря, топологическая рефлексия не может не схватывать мир как целое, но целое мира мыслится через локальное, осознаваемое как то, что неотвратимо влечет к осознанию ограниченности или иными словами конкретности принятия политических решений и практических действий. Как и конструкция взгляда художника, конструкция мысли философа меняется под действием восприятия или неприятия мира, его способа проживания и вида на жительство.

9. Тело и место — условия топологической рефлексии

Географические истоки мысли

В истории топологической рефлексии важна судьба географического детерминизма. Идея его столь же неискоренима из сферы гуманитарной мысли, сколь и дурная слава, с ним связанная. В отношении к нему присутствует ригоризм очевидности. С одной стороны, еще в древности было замечено, что климатические и географические условия местности влияют на характер и нравы людей, здесь проживающих, с другой — появление социологических, экономических и политических теорий редукционизма, объясняющих *все* проявления культуры, *все* особенности нравов и *весь* экономической строй жизни исходя из географического положения и климата повлияло на то, что географический детерминизм (равно как и любой другой жестко проводимый) стал легкой мишенью для критики. Справедливая критика абсолютизации географического фактора довольно быстро породила противоположную крайность — его забвение, «апофеоз беспочвенности». Но, отказываясь от термина, нельзя отказаться от того реального влияния на жизнь конкретного общества территории, которую оно занимает, наличия выхода к морю, местоположения, климата и наличия природных ископаемых и т.д.

Обратимся к истории[202]. Экономический и культурный подъем VIII–V веков до н. э., получивший название «греческое чудо», вызвал к жизни целый ряд идей, в том числе таких, которые не получили дальнейшего развития в рамках классической древности, но к которым мыслители еще не раз обратятся в будущем. К таковым относятся идеи роли географического фактора в развитии общества, высказанные Геродотом, Гиппократом, Страбоном, Полибием. Возникновению этого направления античной мысли способствовали характер природопользования и способ производства в древности, переживающий переход от присваивающего хозяйства к хозяйству производящему. Есть общее правило: переход от одной формы производства и воспроизводства жизни к другой происходил только в тех случаях, когда иного вы-

[202]Исследование и изложение истории географических представлений насчитывает довольно внушительный список литературы, к которому можно обратиться при желании деталей и анализа классических текстов древних историков и географов. См., например: Анучин В.А. Географический фактор в развитии общества. — М., 1982; Мукитанов Н.К. От Страбона до наших дней: Эволюция географических представлений и идей. — М., 1985; Исаченко А.Г. География в современном мире. — М., 1998.

хода нет. Так было в Древнем Египте, где в ходе «героического единоборства с природой» охотничьи племена, вытесненные засухой с Ливийского плоскогорья, вынуждены были освоить малопригодную для традиционного образа жизни кочевников долину Нила и перейти к ирригационному земледелию. Так было в Древней Греции, где расширение скотоводческого хозяйства стало невозможным из-за ограниченности территории, что и сделало необходимым переход к земледелию. Иначе говоря, ограничение природных ресурсов не только вызвало необходимость адаптации к изменившимся условиям, но и предопределяло характер развития, причем в большинстве случаев проблема выбора сводилась к изменению характера жизни или вымирания. Ситуация настолько типичная, насколько же отрицаемая идеологами просвещения, Руссо, Де Садом, Марксом, о чем я буду говорить в свое время и в своем месте.

У последователя географа Гекатея (кон. VI в. до н. э), (написавшего, кроме прочего, труд «Кругосветное путешествие», состоящее из описания греческих и азиатских государств — таковы были границы *света* той поры) Геродота мы не найдем четких высказываний, составивших исходные тезисы географического детерминизма, которые будут цитироваться последующими мыслителями. Такие, как, например, высказывание Гиппократа: «Ты найдешь, что большею частью формы людей и нравы отражают природу страны»[203] или Полибия, утверждавшего, что жители Аркадии суровы по своим нравам «вследствие холодного и туманного климата, господствующего в большей части их земель… По этой, а не по какой-либо иной причине народы представляют столь резкие отличия в характере, строении тела и в цвете кожи, а также в большинстве занятий»[204]. Заслуга Геродота не в обосновании положений о преимущественном влиянии тех или иных факторов на историю и нравы людей (таковых положений у него не было), а в совокупности собранных им конкретных примеров и историй того, почему велась та или иная война. И как часто бывает, отступление, побочное основному замыслу: причин возникновения войн, — со временем становится основным. Геродот оставил крайне важные свидетельства в своих «наблюдениях» и исторических сведениях о народах как внутри греческого мира, так и их соседей варваров, при этом ценно то, что он «совмещал», точнее говоря, не разделял еще, подходы ныне обособившихся дисциплин: историка, социолога, географа, культурного и социального антрополога, поскольку проводил обширные исследования, точно описывая сопредельные с Грецией страны Средиземноморья и Ближнего Востока, Египет и Персию. Он интересовался не только географией — реки, горы, пустыни, — но и формами социальной организации: обычаями разных народов, политическим устройством и военной организацией различных государств.

Но, читая Геродота, следует все же купировать цепкие научные предрассудки, захватывающие и удерживающие предмет мысли в свете его изначальной выделенности. Геродоту же было крайне трудно увидеть противоположное: отдельно существующие и обособленные предметы исследования (что более чем очевидно нашим современникам): природу и культуру, географию и нравы и обычаи людей определенной местности. Для жителей Средиземноморья (первой версии европоцентризма), например, уже Понт (территория современной Румынии) был «на краю света», там выпадал и лежал снег, и туда сослали Овидия[205]. В его средиземноморском мире, окруженном варварами, все было своим, «все было во всем», микрокосм содержал макрокосм, а нравы были неотличны от ландшафта и климата. Вопреки нашей

[203]Гиппократ. Избранные книги. — М., 1936. — С. 304.

[204]Полибий. Всеобщая история: В 40 кн. Т. 1. — М., 1890. — С. 429.

[205]Кстати, Овидий полагал, что его поэзия настолько связана *с местом* его жизни, что в ином месте, в варварском мире «она совершенно невозможна». Каково же было его удивление, пишет М.Л. Гаспаров, когда по дороге в ссылку во время бури, грозившей гибелью кораблю, Овидий «поймал себя на том, что в голове его опять складываются стихи» и «это ощущение поразило его как чудо» (Гаспаров М.А. Овидий в изгнании // Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта. — М.: Изд-во «Наука», 1978. — С. 201).

установке великим открытием того времени было не указать на связь различного (климата и нравов), а установление и продумывание их обособленности, самостоятельности.

В этом отношении точна и продуктивна методологическая интуиция А.В. Ахутина, предлагающего рассматривать «Физику» Аристотеля не как современную физику, а как запись размышлений о «некоем особом предмете», который мы называем «фюсис». То есть фюсис времен Аристотеля никоим образом не равен нами понимаемой физике, поскольку «„Фюсис“ здесь означает не совокупность объектных миров и не приводной механизм слепой космической причинности; это скорее гарант экзистенции, не преклоняющейся ни перед каким овеществлением и потому почитающейся плотской основой экстаза… Рассуждение греков о «фюсисе» — не тирания всеобъективирующего физикализма, а способ, каким выражает себя сознание герметического гнозиса плоти»[206]. Необходима историческая реконструкция его объекта: объекта, взятого в качестве обособленного, выделенного, заставляющего обратить и сконцентрировать внимание на его отдельности, заставляющий его специально исследовать или по правилам того времени размышлять о нем. В этом ключе топологическую рефлексию можно трактовать как возврат (надо ли делать оговорки, что на новом уровне с удержанием долгой истории их обособления и противопоставления?) к дорефлексивным воззрениям Геродота, бравшего мир в его неразделенности, цельности и взаимозависимости. Такие воззрения господствовали и три века спустя у Овидия, который, — и здесь он выражал общие представления — «не чувствовал романтического хаоса стихий вне себя и хаоса страстей внутри себя… поскольку они были ближе к нему»[207]. Но возврат, который вменяется топологической рефлексии, не может не учитывать историю обособления, выделения, радикального противопоставления, а также без прожитых иллюзий господства, власти и покорения природы. Современное знание, отказ от иллюзий безграничной силы и всеобщности категорий мысли, отказ от тотальности в пользу локальности, отказ от необходимости и воспроизводимости опыта. У мысли есть не только время рождения, но география распространения, культурные границы ее разрешимости. Знание — это сила, понятая как способность адаптировать свой (по определению всегда новый) опыт к категориальности мысли и категоричности чувства. Отказ от тотальности и движение к локальности, предполагающее многомерность мышления, возможен там, где в процесс рефлексии включается основание или, если быть точнее, — мотивы мысли; она превращается в рефлексию из определенного (а, следовательно, всегда особенного) места и времени, приоритет которой — контекст мысли и чувства в их неразложимости на составляющие элементы, рефлексия, встраивающая тело в дело мысли и сферу своей заботы, рефлексия понимающая, что ее порождающая структура — тело и топос, точнее тело-топос как целое — создает онтологические условия ее существования. Таким образом, античные предпосылки телесно-космической рациональности оказываются не менее ближе рефлексии топологической, чем классической, о чем, в частности, непредвзято говорит нам мысль досократиков. Исходя из сказанного понятно, почему наиболее ценное (дорефлексивное, целостное рассмотрение) из наследия Геродота было проигнорировано: «Величие Геродота как отца истории становится особенно заметным тогда, когда мы воспринимаем его на фоне общих тенденций греческой мысли… Геродот не имел последователей… Почему Платон пишет так, как если бы Геродота вообще не было?»[208].

Новые идеи географической обусловленности исторического процесса были выдвинуты Страбоном, идеологической основой которых была экспансия Римской республики, далеко шагнувшей за свои изначальные границы и вынужденной в своем геополитическом расшире-

[206]Слотердайк П. Мыслитель на сцене // Ницше Ф. Рождение трагедии. — М.: Изд-во Ad Marginem, 2001. — С. 652.

[207]Там же. — С. 203.

[208]Коллингвуд Р.Ж. Идея истории: Автобиография. — М., 1980. — С. 29–30.

нии трансформировать свои политические институты[209]. Страбон усиливает утилитарный взгляд Полибия на ценность географии как науки, которая полезна для любого человека римского общества, но особенно для правителей и полководцев. Задачи, определяемые им для географа, сводились к подбору материала, пригодного, прежде всего, для практических целей: расширение империи, обретение нового рынка ресурсов, в том числе и рабов. К ним относились сведения об известной и обитаемой части Земли (oecumene), с находящимися на ней народами, с их формами правления и поселениями, с их нравами, взаимоотношениями с соседями, с их верованиями, историей переселений. Но идеи Страбона будут пребывать в забвении до тех пор, пока не появится потребность в идеологическом оформлении геополитических устремлений Англии в конце XVIII века, а также к идеологии германской геополитики в XX веке. Общность военно-политических задач востребовала соответствующий строй мысли имперского Рима.

Религиозная мысль средневековья, допускавшая историческую необходимость только как проявление проекта божественной воли, а случайность — как следствие человеческого произвола, не оставляла места предопределению исторических событий факторами географической среды[210]. Мысль Платона, возрожденная мыслителями Ренессанса в оппозиции к господствующей мысли Аристотеля, также не давала возможность возвращения к существующей традиции древнегреческого геодетерминизма[211]. Последнее произошло лишь в рамках идеологии абсолютизма, основы которой были заложены во Франции Жаном Боденом, а в Италии — Никколо Макиавелли. Аргумент: власть от Бога, вначале дополнялся, а затем и уступал место естественнонаучному объяснению. Сильная централизованная власть единственная для огромных пространств, поскольку иная будет малоэффективна. Так, Екатерина II писала: «Российская империя есть столь обширна, что, кроме самодержавного государя, всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочие медлительнее в исполнениях».[212]

Постепенно в сознание ученых проникала идея природной обусловленности культурного и общественного развития. Это привело к своеобразной секуляризации философии истории, в которой божественный закон мало-помалу заменялся законами природы, а власть обосновывалась естественной логикой, опирающейся на причинно-следственные связи[213]. У истоков этого направления стоял идеолог французского абсолютизма Жан Боден. В своем основном труде, посвященном теории государства («Шесть книг о государстве», появившихся на французском языке в 1576, а на латыни в 1584 г.), Боден выделил три фактора, определяющих судьбу и историю государств: 1. Божественная воля; 2. Человеческий произвол; 3. Влияние

---

[209]См.: Страбон. География: В 17 кн. — Л., 1964.

[210]Справедливое в целом, это положение требует оговорки: в лоне мысли средневековья вырабатывались идеи независимости природных закономерностей от божественной воли. Альберт Великий утверждал, например, что: «никогда по закону природы не прекращалось и не прекратится рождение. Если же кто-то скажет, что по воле Бога рождение когда-нибудь прекратится, так же как когда-то не существовало… я скажу, что мне нет дела до чудес Бога, когда я рассуждаю о естественных вещах, следуя естественной логике» (цит. по: Косарева Л.Н. Социокультурный генезис науки Нового времени. — М., 1983. — С. 73).

[211]См.: Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978. — С. 44–45.

[212]Эйдельман Н.Я. На грани веков // Наука и жизнь. — 1980. — № 3. — С. 114. Исходя из особенности территории России выдвигается идея, что характерной особенностью ее власти является геократия: «При анализе истории России уместно даже говорить о геократии, когда власть осуществляет и интерпретирует себя посредством манипулирования определенным пространством» (Замятин Д.Н. Стратегии интерпретации историко-географических образов России // Отечественные записки. — 2002. — № 6).

[213]В России еще в XVIII веке «естественный закон является разновидностью божественного закона… Более того, вечность и неизменность естественного закона являются всего лишь следствием его божественного закона» — делает вывод петербургский исследователь (Малинов А.В. Философия истории в России XVIII века. — СПб., 2003. — С. 137).

природы. Если первый относится скорее к области веры и поэтому не подлежит человеческому знанию, а второй вообще не может быть описан и изучен, то единственно реальная возможность объяснения истории связана с третьим. Выдвигая на первый план влияние естественных условий, особое внимание он уделяет климату, разделив Землю на три пояса: экваториальный, полярный, умеренный. Каждый из них Боден связал с предпосылками для определенного труда человеческой деятельности: «И если правильно изучать историю, увидишь, что величайшие полководцы приходят с севера, а искусство, философия и математика рождаются на юге». В своем труде Боден дает конкретные рекомендации правителю, желающему установить оптимальный политический режим, связанные с учетом географических факторов.

Идеи, выдвинутые Боденом, нашли свой отклик у Ш. Монтескье, который попытался продумать географический детерминизм на уровне естественной науки своего времени и объяснить зависимость культуры и нравов народа исходя из географического положения, описав ее подобно законам Галилея, Кеплера, Ньютона. Но прямолинейное заимствование естественнонаучной методологии привело его к часто цитируемым в теме геополитики положениям: «Народы Северного Китая мужественнее, чем народы Южного Китая. Народы Южной Кореи уступают в этом отношении жителям Северной Кореи»[214].

Мысль Просвещения странно контоминировала с абсолютистской концепцией, позаимствованной у Бодена, дав понятие «просвещенного монарха». Так, Екатерина II — поклонница французской мысли — наряду с идеей самодержавия, верила в целительную силу просвещения, при этом ее (да, впрочем, и всех «просвещенных монархов») просвещение было патерналистским; сколь бы ни были учителя учтивы, они всегда были снисходительны, поскольку полагалось, что *образ* того, что должно быть сформировано, им хорошо известен. Посему для просвещения лучше подходит темный народ, а не *иначе* образованный.

Свое дальнейшее развитие геодетерминизм получил в двух странах, политические и экономические условия которых были существенно различными. К концу XVIII — началу XIX века уже была создана английская колониальная империя, над которой «никогда не заходило солнце», Германия же в то же время представляла собой конгломерат отдельных государств, одни из них ориентировались на Пруссию, другие — на Австрию. Особенности политического развития оказали влияние на геополитические теории, из авторов более всего заметны Бокль и Риттер.

Властные порядки геополитики

Английский ученый Генри Томас Бокль (1821–1862) в своем труде объединил идеи Монтескье о роли климата с демографической концепцией Мальтуса, которого он считал «наиболее крупным авторитетом по вопросам народонаселения». Если сами по себе идеи Мальтуса были выражением глубокого сомнения в том, что мир разумен и создан для человека, то их развитие последователями носило реакционный характер. Так случилось с Боклем, который из мальтузианской идеи ограниченного общественного продукта и теории климатических поясов, взятой из Монтескье, сделал вывод о том, что жители тропического пояса, которым необходимо меньше пищи, чем жителям умеренного, должны делиться своими богатствами с последними. Согласно Боклю, индийский народ, доведенный английскими колонизаторами, разрушившими ирригационные системы, до постоянных голодовок, «осужден на бедность физическими законами климата»[215], а не колониальной геополитикой Англии. Сам же термин «к середине XX века успел себя дискредитировать. Негативные коннотации, кото-

[214]Монтескье Ш. О духе законов // Монтескье Ш. Избранные произведения. — М., 1955. — С. 387.

[215]Бокль Г.Т. История цивилизации в Англии. Т. 1. — СПб., 1906. — С. 31.

рые он приобрел в нацистской Германии в 1930-е годы, заставили ученых отказаться от него в пользу более нейтрального — «политическая география»[216]. Таким образом, со временем термин «геополитика» утрачивает нейтральное значение научного понятия, превращаясь в клише оценочного суждения.

По сравнению с Боклем, отразившим в своем учении интересы формирования английской колониальной империи, Риттер представлял начальный этап формирования буржуазного государства. Но у Риттера было преимущество — немецкая классическая философия, на которую он опирался. Отметим ее основные достижения в исследуемой нами области. Хотя и широко известны справедливые слова Шеллинга: «Общий недостаток [Mangel] всей новой европейской философии с самого начала (он присущ уже философии Декарта) состоит в том, что природа для нее не существует и что она лишена живой основы»[217], однако уже Кант пришел к выводу в книге «Всеобщая естественная история и теория неба» и в статьях, в которых он продумывал последствия Лиссабонского землетрясения (1775), к идее развития природы. Трагедия гибели огромного количества людей явилась мощным стимулом переосмысления идей, согласно которым естественная природа предначертана, являет собой вечную гармонию, созданную Творцом на все времена, как это нашло отражение у Гёльдерлина, пишущего о природе как «неизменной, спокойной и прекрасной». Эти первые догадки о развитии, что случай, подобный произволу и свободе воли человека, правит природой, поэтому явления природы могут оказаться «чудовищно несправедливыми».

Но не только внешняя природа, взятая в качестве предпосылки, определяет характер человека и способ организации жизни, но и человек влияет на нее. Александр фон Гумбольдт обратил внимание на влияние человека на природу, что сегодня более чем очевидно; человеческая деятельность изменяет природу: «Южная Европа имела иной вид, когда в ней впервые осели пеласгийские или карфагенские земледельцы; забывают также, что ранние культурные поколения человечества вытесняли леса и что преобразующий дух народа постепенно лишал землю того убранства, которое нас так радует на севере и которое (больше, чем исторические свидетельства) указывает на юность нашей культуры»[218]. Таким образом, предшественниками Риттера была продумана проблема динамической зависимости развития природы и общества, проблема, стоявшая на уровне тех теоретических задач, которые были характерны для всей немецкой классики, в том числе и для Гегеля, впервые представившего природный, исторический и духовный мир в виде развития и смены одного этапа другим.

В поле влияния идей Гегеля был Карл Риттер (1779 — 1859), впервые внесший идею развития в анализ конкретного (в данном случае географического) материала. Риттер в своих трудах «Землеведение в отношении к природе и к истории человека или всеобщая сравнительная география», «Идеи о сравнительном землеведении», «Землеведение Азии» вел напряженный диалог с идеями Гердера, который говорил о приоритете конкретной области: «Уже Гиппократ заметил, что постепенная смена времен года благотворно влияет на зеркало и печать нашей души. <…> Самое лучшее — следовать Гиппократу проницательно и просто характеризовать отдельные области, а затем — без торопливости и спешки — переходить к общим выводам»[219]. Риттер же, во главу угла поставил выработанное Гумбольдтом понятие ландшафта, получившее у него логическое завершение в понятии «географический индивидуум». Географический индивидуум обозначал «природную область», определенную как внешними границами, так и внутренними связями, через которую и осуществлялось влияние

[216]Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. — М., 2007. — С. 108.

[217]Шеллинг Ф. Философские исследования о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах // Шеллинг Ф. Соч.: в 2 т. Т. 2. — М.: Мысль, 1989. — С. 106.

[218]Гумбольдт А. Картины природы. — М., 1959. — С. 114.

[219]Гердер И.Г. Мысли, относящиеся к философской истории человечества. — М., 1973. — С. 152, 179.

природы на компактно проживающий народ. Сегодня его содержание во многом совпадает с понятием *monoca*. Необходимость обращения к конкретному материалу была продиктована еще и тем, что в рамках немецкой классической философии было осознано то, что формулировки Монтескье не дают ключ к анализу конкретных различий народов. Тем самым Риттер пытался совместить то, что на языке историков и методологов науки называется конфликтом экстерналистов и интерналистов, или, иными словами, источником развития полагались либо сугубо внутренние причины, либо исключительно внешние. Понятие «географический индивидуум» было продуктивным, поскольку позволяло совместить идеи «внутреннего развития», «развития духа» с неумолимыми фактами влияния природной среды на историческое развитие отдельной страны.

К слову, среди студентов, слушавших лекции Риттера, был Карл Маркс, который, опираясь на младогегельянское прочтение Гегеля, пришел к выводу о естественно-историческом процессе развития общества как социальной системы. Используя в своем известном определении человека как совокупности общественных отношений французское слово ensemble, Маркс неявно указывал и на французские, что означает здесь — материалистические — истоки своей мысли. Его открытие существенно изменило характер исследований в этой сфере, последовавших позже.

Механизм влияния географической среды на человека был описан с помощью терминов «производительные силы» и «производственные отношения», возникающих в определенной географической среде: «В понятие экономических отношений включается далее и географическая основа, на которой эти отношения развиваются, и фактически перешедшие от прошлого остатки прежних ступеней экономического развития, которые продолжают сохраняться зачастую только по традиции или благодаря vis inertiae, а также, конечно, внешняя среда, окружающая эту общественную форму»[220]. Однако не стоит обманываться относительно односторонности связи природы и общества, она много сложнее этой схемы (о чем буду говорить дальше). Не только ряд общих связей объединяют две системы (природу и общество); все элементы (ячейки) социальной системы — конкретные человеческие особи — являются также порождением природы, существуют по естественным закономерностям. «Первая предпосылка всякой человеческой истории — это, конечно, существование живых человеческих индивидов. Поэтому первый конкретный факт, который подлежит констатированию, — телесная организация этих индивидов и обусловленное ею отношение их к остальной природе. Мы здесь не можем, разумеется, углубляться ни в изучение физических свойств самих людей, ни в изучение природных условий — геологических, оро-гидрографических, климатических и иных отношений, которые они застают. Всякая историография должна исходить из этих природных основ и тех их видоизменений, которым они благодаря деятельности людей подвергаются в ходе истории»[221]. А «сама история является действительной частью истории природы, становления природы человеком», — писал Маркс, предсказавший, что «впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере, в какой наука о человеке включит в себя естествознание. Это будет одна наука»[222].

Созданное Марксом учение о роли географического фактора в развитии общества имело важное значение для его теории. Маркс показал, что связанная с географическими условиями неравномерность развития различных государств, которая абсолютизировалась приверженцами геодетерминизма, определяется тем, что общество на различных этапах своего развития по-разному использует естественные богатства природы. Последние были разделены Марксом на две группы: первая — естественные богатства средств жизни (плодородие поч-

[220]Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 39. — С. 174.
[221]Там же. Т. 3. — С. 19.
[222]Маркс К. Ранние произведения. — М., 1956. — С. 596.

вы, обилие рыбы в водах, дичь, плоды); вторая — естественные богатства средств труда (действующие водопады, судоходные реки, лес, металлы, уголь, нефть). «При зачатках культуры имеет решающее значение первый род, на более высоких ступенях — второй род общественного богатства»[223], которые полагались практически неисчерпаемыми. Но все же Маркс был чуток к своеобразию места[224], его особенностям. Сам факт определения особой формы «азиатского производства» имплицитно указывает на признание «особого» пути развития Востока, не покрывающегося формационной теорией.

Природные ресурсы

Вопрос о ресурсе природы, который до совсем еще недавнего по меркам исторического времени может показаться излишним, однако есть один момент, требующий концентрации нашего внимания при ответе на него. Он касается сдвига в понимании природы от Аристотеля к Руссо, которого Маркиз де Сад читал самым внимательным образом. Здесь я опираюсь на выводы детального и добросовестного исследования Хартвига Франка[225], и делаю акцент на отсутствующей у него фигуре — Маркизе де Саде и актуальном состоянии проблемы. У Аристотеля physis (природа) и techne (техника, искусство) существуют одно ради другого, т. е. находятся в гармонии. (Надо думать еще и потому, что «обман» природы осуществляется не только к внешней человеку природе, но и внутренней, своей собственной.) У Руссо же physis становится средством для techne, природа попадает в зависимость от техники и культуры. При этом природа есть, прежде всего, «скрытая актуальность, тайный резерв», а также «неограниченный ресурс сил». Доверив себя природе (в том числе природе своих желаний) и выступая от ее имени, либертен переприсваивает ее неограниченные возможности. Персонаж Сада Мадам Дельбен точно выражает этот принцип: «Восхитительная еда, которую мы вкушали, будучи абсолютно нагими, вскоре возвратила нам силы, необходимые для того, чтобы начать все заново»[226]. Именно неограниченность естества позволяет ему безудержно тратить силы, сперму, желание, так как он знает, что всегда может восстановить свои силы. (Заметим, у Маркса природа также неисчерпаема, поскольку неограниченно «господство человека над силами природы путем познания и использования ее объективных законов». На этой основе можно было «надстраивать» общество, лишенное классовых противоречий: ресурсов для удовлетворения потребностей хватит на всех.)

Заострение проблемы взаимодействия природы и общества у Руссо предопределило весь дальнейший ход философских, общенаучных и экологических дискуссий. В то же время теории, прямо или косвенно связанные с географическим детерминизмом, продолжали существовать в виде как философских учений, так и методологических установок конкретных научных исследований[227]. История географического детерминизма после появления марк-

[223]Маркс К. Капитал. Т. 1. — М., 1955. — С. 516.

[224]Следует отметить, что концепт своеобразия места фиксировался не только извне, но и изнутри. «Идея „вечной империи“, столь популярная на Западе, в Китае не прижилась: все империи конечны, но то место, где они существуют, — вечно», — делает вывод исследователь (Солонин К.Ю. Культура Китая // Обсерватория культуры. — 2010. — № 3. — С. 128).

[225]Франк Х. Холистическое и дифференциальное понимание природы: Аристотель — Руссо — Деррида — Луман // Credo new. Теоретический журнал. Санкт-Петербург. — 2004. — № 1 (37). — С. 55–70.

[226]Цит. по: Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия», 2005. — С. 291.

[227]Во Французской энциклопедии помещена статья «Политическая арифметика», которая отличается от арифметики тем, что она есть «приложение арифметических подсчетов к политическим предметам и явлениям, таким как общественные доходы, число жителей, площадь и стоимость земли, цены, ремесла, торговля, мануфактура, — словом, ко всему тому, что относится к власти, силе, богатствам и т.п. какой-либо нации или государства» (История в энциклопедии Дидро и Д’Аламбера. — Л.: Наука, 1978. — С. 165).

систского учения о роли географической среды в жизни общества предельно противоречива, вероятно, именно этим следует объяснить тот факт, что существует предельно мало общих работ по этой теме. Действительно, очень трудно совместить, с одной стороны Жан Жака Элизе Реклю (Jean Jacques Élisée Reclus, 1830–1905) — французского географа, историка и анархиста и нашего Петра Кропоткина, а с другой — Хаусхофера и Челлена. Но, представляется, есть и иной (помимо бесплодных попыток «примирить непримиримое») путь — взглянуть на «постдетерминизм» исходя из рассмотренного двухтысячелетнего опыта «классического географического детерминизма».

Сделаю одну оговорку о геодетерминизме русских народников, теоретическим источником их взглядов был географический детерминизм в своей особенной ипостаси — признании России «особым географическим миром». Как мы уже видели выше, подобные взгляды высказывались Екатериной II, из которых делались прямо противоположные выводы. Для одних — она стала истоком славянофильской позиции. Отсюда ее и позаимствовали народники, которым географический детерминизм импонировал благодаря своей естественнонаучной окраске, прямому выведению общественного из природного. Однако было бы напрасно искать у народников какие-либо развернутые декларации геодетерминизма, в которых были бы соединены философские, методологические и политические моменты. «Объективная» социология, едва начавшая формироваться, была вытеснена известной народнической субъективной социологической теорией «героев и толпы». Судьба народнических представлений о геодетерминизме, так и не развившемся в цельную систему, была более чем примечательной.

Своеобразный жест, повторяющий геодетерминистские представления античности, обнаруживаем у пылкого Западника, размышляющего о последствиях гибели Римской империи и формировании современной ему европейской культуры: «Разумеется, материал старого мира был использован при построении нового; материальная основа нравственного порядка по необходимости осталась прежняя, и к тому же еще совсем новый материал, почерпнутый из пластов, не тронутых старой цивилизацией, был доставлен провидением; деятельные и сосредоточенные способности с Севера сочетались с пылкими силами Юга и Востока; холодная и строгая мысль северного климата слилась с горячей и радостной мыслью умеренного» (П. Чаадаев).

Но вернемся к «геополитике». В качестве осоновположника дисциплины специалисты называют английского географа Хэлфорда Маккиндера, выпустившего сочинение «Географический стержень истории» в 1904 г., а сам термин «геополитика» был введен в 1912 году профессором Упсальского университета Челленом, а «родоначальником «геополитики» как дисциплины считают английского географа Хэлфорда Маккиндера (H. Mackinder), выпустившего сочинение «Географический стержень истории» в 1919 году[228]. Геополитика — модификация географического детерминизма в эпоху империализма. Идейные формы геополитики, ее реакционные следствия неоднократно становились предметом исследования, поэтому я ограничусь лишь отдельными замечаниями. Привычно «записывать» в предшественники геополитики Хаусхофера и представителей немецкого географического детерминизма Гердера и Риттера. Предпосылки размежевания на «геополитическую» и «геодетерминистскую традиционную» линии произошли еще в конце XVII века. Немецкая классическая философия и развитие естественнонаучных дисциплин, послужившие теоретической базой для «традиционалистов», остались не востребованы концепцией «жизненного пространства», зародившейся в Англии и перенесенной оттуда в Швецию и Германию, а в настоящее время ставшей, по сути, идеологией США. Необходимо отметить, что неизменным остается связь геополитики со сферой жизненных интересов страны, приобретшая в наше время новое звучание.

[228]Малахов В.С. Государство в условиях глобализации. — М.: Изд-во «КДУ», 2007. — С. 108–109.

Таким образом, в том, что касается вопроса о роли географической среды в истории общества, то здесь, казалось бы, незначительная перестановка акцентов ведет к необратимым следствиям, заставляя ученых разделять либо субъективистский, либо естественнонаучный подходы в объяснении культурно-исторической жизни. Как известно, на определенной стадии развития капитализма — империализма — происходит не только передел мира, но и усугубляется международное географическое разделение труда, приводя в конечном счете к неоколониальной зависимости, когда эксплуатируемыми оказываются целые страны, за вычетом тонкой прослойки местной коррумпированной элиты. Это ведет, с одной стороны, к обострению национальных вопросов в современном мире, с другой — придает особую остроту локальным конфликтам, территориальным противоречиям. Отражением этого явления, гуманистической реакцией на него является новое видоизменение географического детерминизма — «радикальная география» (Уильям Бунге, Дэвид Харви), которую еще называют «левая география». В теоретически взвешенном варианте зависимость экономических и социальных характеристик общества от географического фактора изучается критической и социально-экономической географией.

Зафиксируем полученные результаты. На протяжении более чем двух тысяч лет географический фактор был либо главным, либо одним из принципов объяснения зависимости общества от среды обитания. К XX веку в силу «простоты» объяснения культурных и социальных явлений вытеснила из сферы внимания исследователей. Тем не менее, в наши дни все отчетливее заявляет о себе тенденция реанимирования «забытого» сюжета: археологи и историки древности в объяснении «необъяснимого» заката той или иной высокоразвитой цивилизации или перехода на новый вид источника питания и культивирования растений обращаются к климатическим и геологическим событиям той эпохи или востоковеды, объясняя возникновения ислама, считают, что ключевой факт, позволяющий увязать все события той эпохи, — климатическая катастрофа VI века. Исследователи доказательно, с применением таблиц данных антропологии, климатологии и статистики, показывают, как климатическая катастрофа вызвала цепную реакцию изменений на всем Аравийском полуострове, включая религиозные войны, семейные обычаи, верования. Мухаммад обязан своим успехом не столько своей харизме, сколько экологической и социально-экономической обстановке этого региона VI-VII веков: резкое усиление вулканической и тектонической активности сопровождалось засухами и эпидемиями, вызвавшими в свою очередь кризис власти, миропорядка и веры в местных богов. Для выхода из кризиса нужно было объединятся. Экономической основой была мекканская трансаравийская коммерческая сеть, а идеологической и религиозной моделью качественно нового общества стала автохтонная монотеистическая религия[229]. Границы разрешимости географического фактора неуклонно сдвигаются с развитием частных естественнонаучных методов.

В области философии истории господствуют установки, последовательно соединяющие идеи существования дискретных социокультурных организмов (предстающих, в первую очередь, как соединение географического пространства с государственной властью) в качестве субъекта исторического развития с идеей разделения мирового исторического процесса[230]. Типологически сходную концепцию разрабатывает историк Л.В. Милов, справедливо полагающий, что «особенности географической среды, влияя на характер трудового процесса и объем общественного продукта, определяли не только темпы развития России, но и своеобразие ее социально-экономического и политического строя и специфику ее исторической эво-

[229]Коротаев А., Клименко В., Прусаков Д. Возникновение ислама: Социально-экологический и политико-антропологический контекст. — М.: ОГИ, 2007.

[230]См.: Семенов Ю.И. Философия истории. — М.: Современные тетради, 2003.

люции»[231]. Но указание на *очевидное* весьма трудно концептуализируется, поскольку требует говорить о всеобщности и необходимости *в рамках данного топоса*. К таковым очевидным отнесу понятия «глокализация», «регионализация», а также часто используемые в культурологии метафоры, обретающие статус концепта «петербургский текст», «крымский текст», «Пермь как текст» либо историко-литературные штудии, в основе объяснения уникальности города-текста лежат географические и геологические метафоры. Таковые нахожу, к примеру, у тонкого исследователя литературы Востока И.П. Глушковой: «Вероятно, то, на чем стоит город, оказывает воздействие на его биографию и судьбы населяющих его людей. Лондон, например, выстроен на речном галечнике, Нью-Йорк — на скальном массиве, Санкт-Петербург — на болоте, Калькутта — на зыбком черном шламе речного устья, а Бомбей — город-гумус, город-компост — на перегнившей рыбе и перепревших пальмовых листьях»[232].

Специалисты по глобальным проблемам современности, с одной стороны, и представители частных наук (истории, культурной антропологии, географии, геополитики и геоэкономики), исследующие конкретные регионы, отдельные страны и культуры, процессы развития определенного места — с другой, стимулируют философское осмысление нового понимания *места* жительства, взаимосвязей природы и общества. Несостоятельность концепции «покорения природы», которая на поверку всегда оказывается забвением собственной природы человека, а в итоге, большей степенью отчуждения и, в итоге зависимость от нее как некой чуждой ему силы[233] заставляет обратить внимание не только на трагические последствия развития науки и техники, пределов западноевропейского типа цивилизации, но и более внимательно отнестись к позитивным моментам концепта, который получил название «географический детерминизм».

У мысли есть не только тело, но география обитания, распространения, господства, как есть она у любой культуры, во всех ее проявлениях: архитектуры, поэзии, воинских доспехах или народных праздниках и т. п. У каждого региона должен быть не только свой поэт, художник, фотограф, но и географ, описывающий его со знанием дела, изнутри: «особый географ нужен индийцам, другой — эфиопам, третий — грекам и римлянам» (Страбон). Каждый топос уникален, как уникальна культура, существующая в нем, или, иначе и, быть может, вернее говоря, посредством него. Он же задает ту пресловутую уникальность русской душе, искусству японской чайной церемонии, немецкого разума и ближневосточной поэзии и т.д. Разум не вне культуры, не вне топоса, не вне времени. Это понимали уже древние, поэтому их науки неискоренимо земны: геометрия, теогония, политика. Геометафизика в этом ряду не кажется чужеродной, она ограничена определенным регионом, культурой, топологической рефлексией. Метафизика — топологична не потому, что она над фюсисом: над географией, над культурой *как таковыми*, — а лишь над конкретными его (фюсиса) регионами: «если верно, что милетцы заимствовали нечто у мифа, то верно также и то, что они очень глубоко видоизменяли образ вселенной, придав ему пространственные формы и, следуя по преимуществу геометрической модели, упорядочив его. Кроме того, для построения новых космологий они использовали выработанные нравственной и политической мыслью понятия»[234].

---

[231]Милов Л. В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. — М., 1998. — С. 368.

[232]Глушкова И.П. Утроба Бомбея. Реальный город в магической прозе Салмана Рушди // Книжное обозрение «Ex libris НГ». — 02.01.2000. — С. 3.

[233]Как настойчиво убеждают нас М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно, «миф превращается в Просвещение, а природа — во всего лишь объективность. Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется» (Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. Пер. М. Кузнецова. — М.; СПб.: Медиум, Ювента, 1997. — С. 22.).

[234]Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. — М.: Мысль, 1998. — С. 132.

Итак, географический фактор — одно из условий топологической рефлексии, но, естественно (и здесь ограниченность устоявшихся оборотов, поскольку речь идет о «неестественных», то есть культурных условиях рефлексии), не ограничивается им. Топологическая рефлексия вбирает не только опыт разумности и целеполагания, инструментальности рассудка, но и нравственной, политической и эстетической обусловленности разумного суждения; она не может не быть политической.

10. Дезориентация — невроз современности

Утрата места, четких границ своей культуры рождает иллюзии всеобщности и одновременно производит невроз утраты самоидентификации культуры западного типа. Для начала обратимся к противоположным высказываниям: «В однородном и бесконечном пространстве, где никакой ориентир невозможен, где нельзя сориентироваться, иерофания обнаруживает абсолютную «точку отсчета», некий «Центр»[235]. Ему оппонирует диагноз П. Вирильо: «Истинная проблема, которую ставит виртуальная реальность, это то, что ориентация более невозможна»[236].

Проблема универсальности ориентира

Где обрести опоры мысли, как можно сегодня ориентироваться в ситуации констатации не только смерти основных ориентиров европейской культуры: Бог, просвещение, прогресс, естественная природа, идеалы равенства, свободы и братства, — но и тех, кто мог бы ориентироваться: человек, субъект, личность? Как ориентироваться в эпоху, которую аналитики называют то *цивилизацией образа*, то *иконического поворота*. Остановимся на последнем. Иконический поворот — означающее сдвига в социально-культурной ситуации, при котором онтологическая проблематика переводится в план анализа визуальных образов. Он следует за онтологическим, лингвистическим поворотами и фиксирует отход в средствах коммуникации от вербального способа к визуальному (или, как сказал бы П. Вирильо, от soft к hard[237]). Но господство нового средства коммуникации изменяет *существо* восприятия, что в конечном итоге ведет к изменению *понятия* реальности. В наше время перепроизводство визуальной продукции достигло столь небывалых масштабов, что перестроило критерии оценки событий: мы чаще доверяемся не букве и слову, а визуальному образу. Начало этой тенденции обнаружил в 30-е годы XX века ученик Гуссерля и Хайдеггера Гюнтер Андерс, усмотревший в ней «икономанию», а современный теоретик искусства Готфрид Бем предлагает термин «иконический поворот»[238]. Позиция Гюнтера Андерса, который в своем эссе «Мир как фантом и матрица» (1956) размышляет о следствиях современного «потока образов» — потока, который распространяет расхожие образы в форме открыток, постеров, журналов, фильмов и, наконец, телевидения. Андерс задумался об изменившихся параметрах человеческого переживания в мире, характеризующемся «гипертрофией визуальной продукции». По мнению ученика Гуссерля, глобальный поток образов заявляет о процессе сцепления человече-

[235]Элиаде М. Священное и мирское. — М.: Изд-во МГУ, 1994. — С. 23.

[236] Вирильо П. Бог, кибервойна и ТВ // Комментарии. — 1995. — № 6. — С. 210.

[237]«Остается лишь дилемма средств коммуникации, конфликт между soft (речью) и hard (образом)… дискурс новых политических топ-моделей будет hard и убедительным» (Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: Гнозис, Прагматика культуры, 2002. С. 63). Здесь естественно вспомнить о медиасубъекте (В. Подорога), медиальном шамане (Н. Грякалов), культурале (см. подробнее Савчук В. Режим актуальности. — СПб., 2004), синонимом которых являются политические топ-модели.

[238]Boehm G. Die Wiederkehr der Bilder // Was ist ein Bild? Hrsg. von Gottfried Boehm. — München, Wilhelm Fink Verlag, 1994. — S. 17–19.

ской субъективности с производительными силами индустриального аппарата. Систему массового производства образов и объектов он называет «индустриальным платонизмом». «Во второй половине XX в. произошло сильное переплетение личной и социальной жизни с техническими медиа: кино, фотографии и телевидения, — и поэтому их больше нельзя называть просто „медиа“, сообщающие нам о конкретной реальности. Втянутые в спираль взаимной подгонки и соглашения, мы дошли на всех уровнях до сплавления двух ранее разделенных сфер — мира и картин мира, — которые оказались, наконец, эквивалентны»[239].

Соответственно целеполагание предполагает как минимум два условия: того, кто ориентирует себя сообразно цели, и то, на что ориентируются. Нет более ритуального принуждения говорить об их принципиальной взаимосвязанности и взаимодополнительности. Но в каком отношении уместно говорить о проблемах ориентации, если речь идет о современных концепциях онтологии? Как соотносятся различные миры, дискурсы, истины, и, наконец, собирается ли в общую картину мозаика бытия?

Дыхание ли зарубежных веяний и уже настойчиво заявляющие о себе собственные проблемы третьего тысячелетия, потребность ли в подведении итогов, возникающая каждый раз на рубеже века, или, быть может, накопившаяся усталость и непродуктивность прежних схем постижения изменяющейся реальности — все это, взаимно усиливая друг-друга, принуждает нас обратиться к предельным основаниям самоидентификации. Есть ли ориентиры в горизонте современного мира? Что случилось с ориентирами с падением Ориентира ориентиров? С попытками, вопреки всему, создать теорию ориентации мы ознакомимся далее.

Неспособность представить соразмерно классическому идеалу современный тип собирающегося на основе разумности субъекта, моделирующего свою суверенность и активность в режиме истинного поведения и нравственной нормы, отсылает к представлению о развалившейся системе репрезентации, о раскалывании прежней целостности до «перцептивного агента», собирающего чистую сенсорную информацию. Стратегии развала и пафос из них следующий на определенном этапе сталкиваются с острым чувством неуничтожимости Центра, с возрождением его в маргинальных, изначально полагавшихся свободными от надзора власти зонах. Ощущение постсовременности удивительным образом совпало с переживанием этапа свободы, наступившим в посттоталитарное время, которая, и это, пожалуй, рождает чувство еще большего удивления, поставила человека перед пугавшей перспективой вседозволенности. Но ресурс самоорганизации центрированности и дисциплины оказался гораздо значительнее, чем об этом можно было бы подумать, находясь в конкретном идеологическом и нравственном пространстве. Оказалось, что человек ориентируется всегда, хотя источник, механизмы и цели ориентирования им самим, зачастую, не могут быть ни отрефлексированы, ни артикулированы. Следует заметить, что и само понятие „ориентация“, «хотя оно употребляется уже часто, однако в философии не отрефлексировано»[240].

Обратимся к пониманию современной imago mundi отечественными мыслителями, которое за последнее время претерпело существенную эволюцию. (Здесь уместно будет указать на искренний интерес и приятие к действию текстов иностранных — что было, впрочем, всегда характерной чертой русского характера — и абсолютное (почти) равнодушие к *странным* текстам и идеям, появляющимся в местном топосе. Ощущения того, что смыслы производятся здесь, в пространстве России, нет. Как нет и полемики, нет ее не только «из двух углов», но и из двух столиц, университетов, кафедр, журналов.) Образ современной картины мира можно увидеть в материалах представительной научной конференции «Рациональность и

[239]Philipps Christopher. Das phantome Bild // Texte. Photographie in der deutschen Gegenwartskunst. — Stuttgart: Cantz, 1993. — S. 12.

[240]Штегмайер В. Основные черты философии ориентирования // Штегмайер В., Марков Б.В., Савчук В.В. Стратегии ориентации в постсовременности. — СПб.: БорейПринт, 1996. — С. 7–8.

проблемы познания». Ее результаты и выводы не потеряли своего значения. Диагноз состояния дел, поставленный ведущими философами из Петербурга и, смею думать, в первую очередь в Петербурге, на конференции таков: «Вместо классической модели, противопоставляющей субъект и объект деятельностного акта, сегодня необходимо вводить на первый план их постоянную неразрывную связь. Такой подход… отчетливо различим в традициях отечественной философии (Чаадаев, Лосский, Шпет, Франк). Предлагаемый подход тем более важен, что в сфере социальных коммуникаций субъект-объектная связь превращается в субъект-субъектную»[241], истина «приобретает интенциональный характер, сближаясь с понятием правды»[242], реальное же положение вещей может отразить философия, которая «перестает претендовать на управление обществом, не дает советов, как жить, и не ищет абсолютных истин. Она сама стремится к усвоению маргинального опыта перехода за границы рационального порядка, в котором экономия труда и либидо уступают место жертве и трате, утверждающим смысл жизни»[243]. Зафиксируем невозможность обретения истины и порядка на фоне общего вывода: центр и всеобщий проект теряют последние контуры своего господства. Они дезавуируются. Этот факт питает пафос заключения консилиума специалистов. Выход же видится в ответственности занимаемой позиции, в обращении к традиции отечественной философии, в опыте трансгрессии, фиксируемом маргинальной мыслью.

Ну, а сама маргинальная мысль, дает ли она ответы на вопросы интеллектуалов? Вывод симпозиума маргиналов, прошедшего, что символично, днем ранее конференции по рациональности, прямо противоположен: их уникальность и леворадикальная свобода самовыражения быстро стали популярны, массмедиизированы. Протест обжит и обустроен индустрией отдыха и моды. Становится прибыльным делом. Маргинальность оборачивается всеобщей нормой. Это вызывает серьезную тревогу у исповедующих нонконформизм радикалов, на комфорт в среде агрессивного к себе отношение, и побуждает их к рефлексии. Выход в новую уникальность на этом этапе леворадикального движения видится в искреннем проживании (на фоне развенчания искренности как культурного жеста и нормы самопрезентации, как принуждения победившей идеологии к исповеди в церкви или текстах исповедей; синоним искренности в постструктуралистском пространстве — инвалидность) коротких дистанций, фрагментарных миров и локальных состояний. Полнота и избыток, искренность поверх и вопреки деконструкции любой искренности и инвалидности любого жеста, на ней выстраивающегося. Ровная, наивная до детскости, искренняя доброжелательность миру (на фоне собственного богатого трансгрессивного опыта) — возможный шаг к уникальности. Но обратим внимание, что речь, однако, всегда идет о проживании, а не о жизни, о коротких дистанциях, а не о жизни в целом.

Маргинальная мысль, рефлексирующие художники и кураторы озабочены, вопреки «закрытости» этой темы, проблемами «всеобщности». Ведь именно в маргинальных группах одежда из черной кожи, пирсинг, сексуальные перверсии и наркотики становятся всеобщей повинностью, реализующейся тотальнее, чем военная мобилизация и трудовая повинность. Но это усиление принудительности и поправение (отступление демократии) настроений у различного рода меньшинств, леворадикальных групп и маргинальных сообществ в американском обществе обратил внимание Ц. Тодоров в своих наблюдениях над «университетскими» кругами Америки[244]. В унисон этому звучали выводы отечественного симпозиума, посвященного проблемам леворадикальной культуры. Здесь вывод, в отличие от академического,

[241]Гусев С.С. Деятельностный контекст и «Новая рациональность» // Рациональность и проблемы познания. — СПб., 1995. — С. 2.

[242]Липский Б.И. Рациональность и истина // Там же. — С. 5.

[243]Марков Б.В. Рациональность и опыт предела // Там же. — С. 6.

[244]Todorov T. Du culte de la diffrence la sacralisation de la victime // Esprit. — 1995. — № 212. — P. 90–102.

был прямо противоположным: всеобщность агрессивно возникает там и сразу же, как только манифестируется отказ от общего проекта, центра, она захватывает все более властно любые маргинальные зоны, которые совсем еще недавно представляли собой пространство проявления уникальной творческой энергии, поле, на котором манифестировались творческие проекты новых форм проживания жизни, самовыражения, зону свободы от Власти. Перверсия, претендующая на уникальность, встраивается в существующий дискурс и узаконивается. Леворадикальность андеграунда, его бескомпромиссность весьма быстро масмедиизируется, становится притягательным местом, приносит прибыль и, наконец, тиражируясь, превращается в норму. Уникальность сегодня является проблемой. Форма символических знаков протеста воспроизводится в структуре сообщества, становясь всеобщей, принуждая сборку ментального и культурного тела по законам подражания. Именно своей новизной новая норма образует ребро жесткости, разрезающее ослабевшее поле притяжения предшествующего стиля. Она несоизмерима с жесткостью власти большой структуры, против которой выступает радикальный нонконформизм. Именно ей, Большой Власти, согласно Ф. Ницше, присуща та роскошь «скепсиса и терпимости, которые позволяет себе всякая торжествующая и самоуверенная власть»[245]. Дисциплина же «своего», маленького, самолично выбранного мира всегда жестче, ибо она претендует на свободу осуществления своего проекта, на самоосуществление. Она чревата мафиозной исполнительностью, жесткой структурой властных функций, тотальной зависимостью. Захват маленького мира повсеместен, а гнет ощутимее. Хотя последний может не осознаваться неофитом или адептом, напротив, весьма часто человек в неизбывном бунте против себя самого — во времена Бодлера этот бунт принимал форму «„доктрины элегантности“, которая обязывает „честолюбивых сектантов“ к дисциплине более деспотической, чем жесточайшие религии; наконец, об аскетизме денди, который делает из своего тела, поведения, чувств и страстей, из своего существования произведение искусства»[246]. Структура протеста и жесточайшие практики самоограничения воспроизводятся в маргинальных основным формам жизни направлениях. И сегодня послушание и личная зависимость в религиозных сектах выше, а преданность обязательнее, чем того требуют мировые религии. Как вырваться из «новой» всеобщности? Что предложить взамен утраченной уникальности? В чем обрести свой стиль и свою непохожесть на предшествующую необходимость (уни)формы, ими же самими заданной? Это сделать намного труднее, чем ускользать от «чужой» (большой) власти. Трудно сегодня стать проклятым, изгоем в обществе, в котором эти фигуры как ничто другое желанны, ибо неизменно приносят дивиденды и гарантируют успех.

Не менее жесткий, но менее отслеживаемый эквивалент всеобщего проекта задают современные средства коммуникации. Компьютерная сеть состоит из более мелких ячеек, чем любая сеть классических категорий, допускающая зоны сомнения и выбора. Но современное искусство как заповедник архаики теряет ли свою «заповедность» или, напротив, разрушает изнутри реальность виртуальную, внося в нее (вместе с архаикой) центр?

Логика обретения центра

Но вот в чем парадокс: чем более радикально происходит отказ от центра, тем настоятельней выступает конституирующим началом то место, которое координирует чистоту отказа от центра, от любых метафизических универсалий; в итоге оно само становится координирующим центром, каким является сегодня Париж или Калифорния. Еще один парадокс: там, где центр существует в своих оправданных продуктивных функциях, речь идет об отказе от

[245]Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. Т. 1. — М., 1990. — С. 683.

[246]Фуко М. Что такое Просвещение? // СТ (Ступени). Петербургский альманах. — 2000. — № 11. — С. 140.

центра, Большой власти, рациональности, а там, где центр не достиг своих продуктивностей, где уровень жизни значительно ниже, а сознание недисциплинированно, то есть реально пребывает *в контексте неразумности, стихии и иррациональности*, там уповают на разум, апеллируют к нему, пытаются найти в нем опору и на его основе переустроить жизнь. Разум действительно разумен там, где у него недостает власти осуществить свою разумность.

Сталкиваясь с невозможным образом себя, с абсурдностью мира, с его чудовищной жестокостью и иррациональными мотивами поступков, западная мысль снимает ответственность, перепоручая инстанцию отказа от прежних уз смысла неким до и вне него существующим структурам, структурам символического, бессознательного языка, коммуникации, которые, если им предоставить свободу, сами разоблачат себя. Однако ныне уже не столь интересно, как нечто разбирается: будь то власть, субъект, центр, смысл или идеология, гораздо интереснее то, что остается, после того как все уже разобрано, деконструировано, лишено продуктивной действенности и силы. Для России и других восточно-европейских стран это интересно вдвойне, поскольку после отказа от прежней идеологии и смены глобальных ориентиров социального устройства общества — об ужасных последствиях, эквивалентных лишь формуле «все позволено», о которых столь предрекалось — ничего радикально деструктивного в ориентациях и индивидуальных целях бывших советских граждан не произошло. Осталось лишь ощущение недоумения от той работы, которую выполняла прежняя идеология, недоумение, которое выросло до серьезного вопрошания у Славоя Жижека: «Люди все знали, но все равно делали это». Почему? То нечто, что остается, что удерживает и удерживается, что является тем неосознаваемым в себе пределом, который сохраняет способность вписываться в социум, в пространство коммуникации, и что это за мир, который продолжает считаться своим? Что и как живет после того, как все традиционные формы центрации умерли? Есть ли то (а если есть, то осознаваемо ли оно), что сбивает в плотность выбранное пространство? Какими ценностями он ориентирован? На что он ориентируется сейчас? По каким тропинкам (Holzwege) должен ходить современный житель киберпространства и в свете чего (да и есть ли свет в виртуальной реальности?) размышлять о бытии сущего? Что в этой виртуальной реальности горячит кровь и заставляет искать опасность и поле сражения? Не пренебрегая риторическим приемом «умаления замысла» подобно такому: мы, конечно, не претендуем дать ответ на все поставленные вопросы, — все же и не бежим от трудностей ответа на них, не отсиживаемся в безопасных гаванях разума. Мы ориентируемся. И логика обретения ориентиров в постсовременной ситуации такова: в виртуальной реальности (VR) нет ориентиров и самих условий ориентирования, в архаике всегда был центр, искусство — заповедник архаики (Элиаде), компьютерные сети создают новые формы жизни, повышенные скорости реагирования и принятия решения, новое искусство, новый тип рефлексии. Что мы имеем в итоге? Новое современное искусство (в новом клипированном восприятии мира? неклассической перцепцией — мыслевосприятием и повышенной саморефлексивностью текста и письма? искренним проживанием? мышлением телом? в сближении перформансов и инсталляций с жизнью? интенцией «одомашнить» мир? стиранием грани между научным экспериментом и художественной акцией? письмом как саморанением? жизнью как манифестацией творческих потоков? купированием рефлексии?), воспроизводя структуры, свойственные архаическому сознанию, обнаруживает центр.

Философия ориентирования

В России все еще с трепетным чувством смотрят на то, что происходит в философской жизни Германии, какие веяния доносятся с берегов Шпрее, Рейна или Некара? Притом что в самой Германии все больше и больше философов смотрят за океан, осваивают аналитиче-

скую традицию, представители которой планомерно занимают господствующие интеллектуальные высоты, философские кафедры.

В перечне философских дисциплин XX века произошло пополнение, наряду с легитимными: философия науки и техники, философия культуры, философия искусства, философия математики, философия фотографии, медиафилософия и др., — с выходом основательного восьмисотстраничного труда профессора грайфсвальдского университета Вернера Штегмайера появилась еще одна — философия ориентирования. Надо ли говорить, насколько важны поиск новых ценностей и процессов переориентирования в современных условиях? Исходным толчком для многолетнего труда автора стала ситуация 90-х годов XX века: объединение Германии, падение коммунистической системы, создание общего европейского пространства. Интересно то, как решает эту задачу известный специалист по Ницше (он — редактор ведущего органа ницшеведения — «Ницше-штудиен») и успешный педагог, к которому едут со всего мира студенты и докторанты. Философия ориентирования, вбирая проблематику, прежде составлявшую прерогативу практической философии, культурологии, политологии и теории коммуникаций, исследует воздействия результатов высоких технологий, науки и техники, темпов нашей жизни на человека, вынужденного по-новому ориентироваться в современных условиях. Собственно говоря, новая философская дисциплина, предлагаемая проф. В. Штегмайером, является ответом практической философии и критической рефлексии на вызов времени.

Признав дисциплину «философия ориентирования», нам не избежать вопроса: что делает ту или иную дисциплину философской, или, иначе, как формируется философская дисциплина? «Философия ориентирования» претендует быть философией в прямом смысле, поскольку включает эволюцию понятия в истории философии, анализ истоков ориентирования (автор дает нам хороший урок того, как можно читать философские тексты и как можно в них ориентироваться), всесторонний охват тем от футбола до ориентирования к смерти, а также практические и наглядные примеры из повседневной жизни. Статус философской науки подтвержден следующими исходными утверждениями, вступающими в прямую полемику с Аристотелем, согласно которому «все люди от природы стремятся к знанию», по Штегмайеру же: «от природы», то есть прежде познания и действия человек ориентируется: «Ориентирование, как питание и дыхание, — элементарная, необходимая и непрекращающаяся жизненная потребность. Она становится заметной, также как потребность в пище при отсутствии ее, потребность в дыхании при отсутствии воздуха, при ее нехватке. Обычно же человек достаточно ориентирован, имеет ориентиры, потребность же возникает, когда ориентации нет. Возникает беспокойство, если в ситуации не ориентируешься, которое нарастает до страха и отчаяния, „совершенно растерялся“ <…> в любом случае, при ориентировании ищут не чего-то определенного, а стараются в том, что предзадано, установить прочные взаимосвязи. Взаимосвязи, которые позволяют что-то дальше начинать, предпринимать»[247]. Его положение спорит также с открытием «закона развития человеческой истории» К. Маркса: «Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т.д.». В идущем далее ряде, видимо? будет способность ориентироваться. Вспомним также, что «человеку от природы присуща способность распознавать и отличать духовное, а также склонность принимать дух и включать его в свою жизнь. Из этой способности и из этого тяготения исходили все великие воспитатели человечества; на них они строили, к ним они взывали, их старались оживить и укрепить» (И.А. Ильин), «человеку от природы свойственно любопытство» (Ортега-и-Гассет). Все это так, но, прежде всего, согласно основам философии ориентирования, — человек должен ори-

[247]Stegmaier W. Philosophie der Orientierung. — Berlin, New York: Walter de Gruyter, 2008. — S. 2.

ентироваться, а уж удивляться и распознавать духовное, научить правильно делать это — есть задача философии ориентирования. Согласно Штегмайеру, самая простая способность — способность ориентироваться — оказалась сегодня предметом философского сомнения. При этом Штегмайер замечает, что в качестве философского понятие «ориентирование» отсутствует в весьма авторитетном источнике: в «Историческом словаре философии»; потребности ориентирования нет и среди основных «потребностей» человека, которые перечисляет, например, авторитетный антрополог Бронислав Малиновский.

С настоящей самоотдачей, суммируя весь концептуальный аппарат философии XX века, автор рассматривает все возможные аспекты и приложения процесса ориентирования. Особенность рецензируемой книги в том, что она доступна и не философу, поскольку сложные философские проблемы и предлагаемые концепты автор демонстрирует простыми примерами из повседневной жизни. К достоинствам позиции Штегмайера нужно отнести также ясный и точный язык, учитывающий все нюансы и использующий все «философские» достоинства немецкого языка, а также подробные экскурсы в латинский и греческий языки, помогающие автору аргументировать свою мысль и установить связь с традиционными понятиями античной философии.

Видимо, такой стиль философии востребован в эпоху высокой специализации; он же позволяет поднять авторитет философской работы: общезначимость повседневного опыта, помноженная на тотальный охват всех сфер жизни. Вслед за своим учителем, Йозефом Симоном, специалистом по философии знака, исходный тезис которого «Все есть знак», Штегмайер утверждает: «все есть ориентирование». «Оно (ориентирование) находится в начале всего, но само безначально. Оно *как* ориентирование является всегда новым ориентированием или всегда переориентированием»[248]. «Поскольку ориентирование предстоит всем попыткам определения, оно первоначально, первоначало, или, по-гречески, архэ, по-латыни, первопринцип, который философия ищет с самого своего зарождения».

Традиционно ориентирование, как и, например, адаптация, — способность, наиболее удаленная от разума, от рацио. Именно она становится рационализируемой. Двигаясь в этом направлении, человек «обретает» свое бессознательное (психоанализ), иррациональные порывы своего тела (философская антропология, современная феноменология, вплоть до философии танца, философии тела и др.) и, наконец, «обретает» интуитивную способность ориентироваться.

Исходный пункт философии ориентирования состоит в том, что человек нуждается в точках опоры, в ориентирах, находит и при необходимости меняет их (книга начинается словами: «Человек не ищет, он сначала находит»). Как и откуда, *на каких основания человек находит свои ориентиры*, — как раз и подвергает анализу автор. «Что такое ориентирование вообще, как оно структурировано и как оно функционирует. Речь идет о простом факте, что во всем, что человек делает, думает и говорит, в повседневности или в науке и философии, он должен быть уже ориентирован — даже тогда, когда перенимает ориентации других»[249].

Одно из опорных понятий для автора — plausibel, что значит понятный, правдоподобный, убедительный. «То, что непосредственно и предварительно представляется достоверным, то вызывает одобрение. Слово plausibel происходит от латинского plaudere, аплодировать, хлопать в ладоши, ногами, спонтанно и все вместе: правдоподобно то, с чем спонтанно соглашаются, не аргументируя и не задавая вопросы. Есть такие положения, о которых не нужно сначала договариваться или обосновывать, они правдоподобны или убедительны. Одним словом те, что само собой подразумеваются. *Всякое ориентирование полагается на то, что для него правдоподобно или самоочевидно*». В ориентировании, по Штегмайеру, важны

[248]Ibid. — S. XVII.
[249]Ibid. — S. XVI.

не столько аргументация, сколько правдоподобность, убедительность. Но, как известно из психологии, из теории коммуникации, чаще всего убедительны не вербальные высказывания, а визуальные образы, транслируемые массмедиа. Остро стоит вопрос: как можно ориентироваться среди огромного нагромождения дигитальных образов? Какова специфика ориентирования в системе образов?

Понятие ориентирования становится важным в физическом контексте асимметрии мира, неравноправия левой и правой ориентации. Автор книги делает обширные экскурсы в физику и математику, в частности привлекая известного специалиста по теории множеств, Феликса Хаусдорфа, работы которого лежат в основе современного представления о фракталах. Однако внимание философа привлекает эссе математика Хаусдорфа, написанное под псевдонимом Поль Монгре и посвященное Ницше, название которого говорит за себя: «Sant'Ilario. Хаос в космическом отборе»[250].

Ориентирование как способность, которая само собой разумеется, естественна, сама используется для определения других понятий, то есть выступает фундаментальным понятием, на протяжении тысячелетий философской критики ускользало от анализа, можно сказать, что оно «последняя естественность, которая еще осталась… ведь если ориентирование стоит в начале всего и само безначально, то оказываешься перед вопросами столь фундаментальными, что самые принципиальные философские вопросы ставятся по-новому». Впервые на это решается Кант в своей работе 1786 г. «Что значит ориентироваться в мышлении?» Кант реагирует на текст Моисея Мендельсона, у которого ориентирование позволяет выбирать между «общечеловеческим пониманием» и «спекулятивным разумом» в каждой конкретной ситуации. Кант же исходит из того, что разум постоянно нуждается в точке опоры, из которой он может каждый раз заново устанавливать отношения с не-разумом, с непрестанно изменяющимся миром. Но эта точка опоры — тело, с которым связан человеческий разум и которое принадлежит эмпирическому миру. Кант, согласно Штегмайеру, вводит понятие ориентирования как «дополнение понятию разума», поскольку разум в своей связи с миром «недостаточен», он имеет «потребность», которая ограничивает его претензии чувственным горизонтом, последний же предоставляет разуму его актуальную точку опоры или позицию в мире.

По Штегмайеру, в философии XX века Хайдеггер, Витгенштейн и Луман начали мыслить ориентирование *до разума*. Однако в философии ориентирования Штегмайера исходная точка совпадает с конечной (все стремится к покою самодостаточного привычного существования), цель является зеркальным отражением исходной точки движения (поистине ориентирующийся хочет повсюду быть дома). Ориентирующийся ищет не встречи с иным, неизвестным, но с *экзотическим*, то есть укладывающимся в горизонт ожиданий. При этом к привычным оппозициям (субъект — объект) добавляется противопоставление своего — чужого, Запада — Востока. Ориентирующийся исходит из центра (Standpunkt), каковым подразумевается центральная Европа. Из центра можно попасть на любую точку окружности. Для этого не нужен экстаз — как выход в сферу неизвестного и невозможного. Уже древние греки использовали слово «экстаз» или «исступление», чтобы описать состояние, в котором человек терял свою волю и сознание, полностью отдаваясь на милость своему демону или богу, который с этого момента управлял им, делая его или ее безумным. В пространстве-времени экстаза требуется не столько ориентирование, сколько «драматизация существования вообще»[251]. Именно экстаз, по мысли Батая, составляет суть «внутреннего опыта» и он же — единственный путь, ведущий к трансцендентному. Поэтому в экстазе, человек выходит за границы своего я, раскрывается смысл существования человека в мире и смысл бытия самого мира. Ведь экстаз — это такое состояние, в котором человек не только *выходит из себя в бесконечность*,

[250]Ibid. — S. 120.

[251]Батай Ж. Внутренний опыт. — СПб, 1997. — С. 29.

но достигает пределов своих возможностей, в которых ему приоткрываются тайны собственного существования, его дорефлексивного или, по словам Мориса Мерло-Понти, дообъективного бытия. Но это и не уход в беспредельное; скорее касание его, преступление границ разума и в тоже время *остановка перед всепоглощающим безумием беспредельного*.

Фигуру ли самоиронии, а иначе трудно ее прочитать, представляет мысль автора: «Ориентирование как выполненная работа означает правильно найденное место в ситуации, которое дает возможность действия и овладения ситуацией, — ориентирование всегда есть *индивидуальная способность*, и каждый в меру своей способности до некоторых ситуаций дорос, а до других не дорос» (с. 5). Но представить себе, что ситуация владеет человеком, что он «выходит из себя», растворяясь в мире, трансцендентном, сакральном, философия ориентирования не может. То есть человек может дорасти до ориентирования, но остановится перед экстазом (чему косвенное свидетельство — отсутствие понятий «экстаз» и «боль» в обширнейшем 66-страничном регистре используемых понятий).

Ориентируясь, «мы являемся лишь частью себя самих»[252], мы остаемся частью самих себя и именно эта часть тотально заполняет собой горизонт представлений. Говоря иначе, *часть* закрывает возможность стать другими, поскольку ориентирующийся всегда в круге привычных понятий, представлений, ощущений. На основе своего мифа он демифилогизирует чужой. Для точек обзора и наблюдения во всем мире существуют стандарты проживания (вернувшись домой, такой турист помнит не звезды чужого неба над головой, но количество их в отеле, где он проживал). Логика экзотики — прогрессия в получении острых ощущений… из безопасного места в автомобиле на сафари в окружении диких животных, туристического автобуса, иллюминатора. Но, как констатировал Эдвард Саид, несмотря на то, что «для художников вроде Нерваля или Сегалена слово «Восток» чудесным и поразительным образом было связано с экзотикой, блеском, тайной и обещанием», сегодня «Восток — это уже не собрание диковин, не враг и не экзотика; это политическая реальность огромной значимости»[253]. Поэтому европоцентристские, а по сути, колониальные (вспомним Юнгера, который писал: «В тот момент, когда город, подобный Мекке, становится доступен фотографированию, он включается в колониальную область»[254]), стратегии уже не работают. Нужно не столько ориентироваться, сколько вести диалог, понимать и (таковы условия подлинного диалога) принимать чужую культуру, образ жизни, точку зрения. В том числе и в отношении своего Другого необходимо взаимодействие, акция и движение навстречу. То, что в первую очередь вызывает сомнение в этой философии, это Standpunkt (опорный пункт, исходная позиция), понятое как «слепое пятно». Мы не смотрим вовнутрь, исследуя сознание, намерения и интенции (полемизируя с феноменологами, пишет Штегмайер), мы просто ориентируемся.

Как Кант, установивший границы разума из самого разума, Штегмайер пишет критическую философию ориентирования: «Поскольку нет никакой точки опоры вне ориентирования и чтобы спросить, что значит ориентироваться, нужно уже быть ориентированным», рассматривать философию как ориентирование поверх ориентирования (метаориентирование): «ориентирование — это целое, которое может оперировать только как целое, оно «извне» несхватываемо, но «безгранично анализируемо и дифференцируемо» внутри.

Прояснению подлежат — так ставит свои задачи Штегмайер: *условия возможности* ориентирования; условия ориентирования на другие ориентации в коммуникации и во взаимодействии; условия ориентирования в особых системах ориентации, таких как экономика, политика, массмедиа и пр.; условия морального ориентирования; условия ориентирования в мире глобализированной коммуникации; условия метафизики, отказа от ориентирования в

[252]Шлегель Фр. Критика. Эстетика. Философия. — М., 1983. — С. 154.
[253]Саид Э. Ориентализм. — СПб, 2007. — С. 176, 269.
[254]Юнгер Э. О боли // Ст-Ступени. — 2000. — № 1 (11). — С. 44.

ориентировании; и, наконец, значение смерти для ориентирования. Все это детально излагается в 19 главах книги. Кроме того, вначале он совершает предориентирование к условиям возможности *философии* ориентирования, рассматривает происхождение ориентирования у животных, растений и частиц и предысторию философского понятия ориентирования.

Скорость принятия решений в современной ситуации по-новому артикулирует старые моральные вопросы. Ведь согласно философии ориентирования в ситуации нужно ориентироваться, что значит принимать решение, решаться. Понятие «решения» — одно из важнейших. Оно тесно связано с темой поступка (М. Бахтин), а в немецкой традиции с дискурсом решительности, решающего мгновения, который разрабатывался в работах Карла Шмита и Эрнста Юнгера. Если отвлечься от идеологического контекста их времени, то диалог с философией ориентирования был бы продуктивен.

Главная особенность ориентирования в том, что оно несамодостаточно в исходной точке, в точке рефлексии и точке начала пути, поскольку нуждается в другом: «оно исходит из себя и одновременно относится к другому. Его отнесенность к чужому возможна только благодаря его отнесенности к себе, а самоотнесенность нужна только для его отнесенности к чужому». Поэтому потенциал его раскрывается не в восприятии другого, не радикальное расширение своего опыта, но в самоудостоверении истинности исходных принципов, на основании которых происходит ориентирование в мире. В таком случае можно ли рассматривать философию ориентирования как попытку преодоления проекта постструктурализма? Видимо, интенция автора (осознанно или нет) направлена на решение этой задачи. Известно, что в постструктурализме цели равнозначны, взаимозаменяемы, взаимообратимы. Философия же ориентирования, напротив, предполагает (предлагает, делает) в конкретной ситуации однозначный выбор, прежде всего выбор моральной позиции, позиции ответственности.

К этому тесно примыкает вопрос: как можно ориентироваться — и можно ли? — в ситуации сильной боли, шока, смертельной опасности? Ведь их невозможно отменить, в их перспективе невозможно жить, свободно выбирать. Или же в теоретическом плане нам остается, подобно Декарту, говорить о боли как о «смутном модусе мышления». В этих ситуациях обостряется проблема внутреннего ориентирования. Но можно ли применить философию ориентирования, которая всегда принимает во внимание Другого, к ситуации самопонимания? На этот вопрос, к сожалению, нет ответа в книге.

Целый ряд привычных областей знания приобретает совершенно новое измерение, когда к ним применяют методологический инструментарий философии ориентирования. Так, в главе 17, посвященной ориентированию в глобализированном мире, которое осуществляется, согласно автору, через стандартизацию, раскрывается смысл шутки, остроумно размещенной им на обложке книги: «Сегодня даже почтовый голубь не может без навигатора найти дорогу домой» (но мы знаем, что это не так. Знает это и автор). Сегодня человек в своем ориентировании связан мировыми стандартами: начиная с появления глобуса, благодаря которому весь мир стал сначала обозрим, позже благодаря технике доступен, далее поделен на зоны, что с конца XIX века однозначно определило ориентацию в пространстве, ориентация во времени также однозначно задана, начиная с 1970, когда было введено «универсальное время», отсчитываемое колебаниями атомов цезия. Появление массмедиа, спутниковой связи, позволило человеку быть в курсе любых событий на земном шаре. В такой ситуации самым трудным, как ни странно, оказывается ориентирование на местности, ориентирование в локальных масштабах, когда о здоровье своего соседа знаешь меньше, чем о катаклизмах в Индонезии. Трудно не согласиться с ироничным тезисом книги, ограничивающим «всеобщий и необходимый характер» ориентирования: «Каким трудным может быть ориентирование на местности, таким же легким оказывается возможность сориентироваться, сидя на своем ме-

сте, из своего места по глобусу и благодаря глобусу сориентироваться в целом»[255]. Перефразировав слова польского писателя Станислава Лема «окно в мир можно закрыть газетой», согласно философии ориентирования можно сказать: «туристским путеводителем».

Примерами стандартизации для автора становятся: стандартизированные знаки ориентирования (пиктограммы, стандартные иконки компьютера), стандартизированный язык ориентации (английский), стандартизированная техника ориентации (GPS), стандартизированная техника коммуникации (мобильный телефон и Интернет), и, наконец, стандартизированные сюрпризы (футбол). «Основа популярности футбола в том, что он восхищает особо привлекательными достижениями в ориентировании, которые иного рода, чем мир жизненного ориентирования, более четко дифференцированы. В футболе сплетаются спортивные, «теоретические», художественные, религиозные и моральные ориентирования. *Футбол как состязание между командами на большой территории и по четким правилам демонстрирует успех ориентирования — ориентирования на глобальные стандарты*»[256]. Может он демонстрирует неистребимую потребность в агоне, в состязании, в игре, в которой остается место случаю, непредсказуемости. Добавляет ли понимания глобальной популярности футбола «ориентировочное» его прочтение? Так ли восхищает нас футбол «достижениями в ориентировании»? Думаю, нет. Пример футбола скорее показывает границы философии ориентирования, за которыми оказывается много того, что не только в искусстве, но и в футболе «и не снилось философии».

Но пример футбола взят вовсе не случайно. Концепция ориентирования создана так (и это заметно по выбранным в качестве частотных и опорных понятий: пространство возможности, игры, отправные и опорные точки, решение (Entscheidung), убедительность, горизонт, подвижность, текучесть (Fluktuanz)), которая противопоставляется им неподвижности (Substanz), что в идеале вся жизнь представляется как усилие, нацеленное на правильный выбор ориентира и установления правил, которым обязан следовать *каждый*. Это уже в традиции немецкой классической философии, основополагающие интенции которой проф. Штегмайеру удалось подогнать к сегодняшним реалиям. Все эти понятия, которые вводит автор в качестве системообразующих, исходят из постулата активности классического целеполагающего (и, добавим, ориентирующегося) субъекта. Возникает вопрос, как это соотносится с насущными, диктуемыми экологическим сознанием, попытками реабилитировать активность объекта, как например, в психоанализе Ж. Лакана или философии фотографии Ж. Бодрийара? Можно ли усмотреть в философии ориентирования попытку реабилитировать *самостоятельность* объекта?

Имя этой философии — притязание разума, который в условиях отказа от всесилия и надежности рационального проекта всеми силами пытается сохранить господствующие позиции[257]. Книга — это всегда результат определенного образа жизни: жизненный проект. Здесь видны не только автор и пройденный им путь в философии, при этом путь, который он проделывает своей судьбой.

Есть еще один смысл того, как *делается* философия; она делается — как творится миф. Философия в Германии *обыгрывается*. Саму себя. Ее. Нас. Она есть саморазворачивающийся проект, глубинный смысл которого в сохранении своих, скажем прямо, буржуазно-демо-

[255]Stegmaier W. Philosophie der Orientierung. — S. 627.

[256]Ibid. — S. 641

[257]«Человек замечает, о чем идет речь, когда сталкивается с этим, человек ориентируется, когда обнаруживает, где он находится, и наконец, человек правильно находит свое место, когда он правильно упорядочивает то, что он застал, и может с ним осмысленно обойтись. Таким образом, результат по ориентированию (выполненная по ориентированию работа) проявляется двояко: смочь обнаружить обстоятельства ситуации и смочь их идентифицировать, упорядочить, подчинить» (Ibid. — S. 2).

кратических устоев, которые задаются определенным способом производства и воспроизводства жизни. Но этот ретро-активный проект философии самым решительным образом расходится с реальностью, актуальные проблемы которой принято называть глобальными проблемами современности. Ибо наивно полагать, что при увеличившихся скоростях жизни — в потоках транспорта, в сети Интернета, в увеличивающейся лавине информации — оперативность принятия решений может оставаться прежней: следующей народной мудрости «утро вечера мудренее». Возникает все больше ситуаций, когда ответ надо дать здесь, сейчас, сразу, оперативно реагируя на событие, происшествие, ситуацию. Адекватность решения требует ре-активности, ее может обеспечить, например, мышление жестом, телом или мышление в образах. Радикально настроенные медиафилософы в этой связи полагают, что ныне создается совершенно новая ситуация философской рефлексии: «Мыслитель должен мгновенно отвечать на поставленные вопросы и принимать решение, а прежде удовлетворявшие нас теории техники, традиция этической рефлексии или теория познания более не в состоянии нам помочь. <…> В Германии, где философия развивается традиционно, она является тормозом в деле понимания того, что сделали из нашего настоящего медиа-волюции или технологические эволюции»[258].

Однако путь критической рефлексии — необходимый момент философии ориентирования, который указывает читателю уважаемый автор, есть путь классической немецкой философии, путь тотальности ориентирования любого субъекта, принявшего философию ориентирования. Схема критической рефлексии, предполагающая отражение, размышление и, наконец, принятие решения, осталась в мире «мчащихся паровозов» и первых полетов на аэроплане.

От философии из Германии, как от зеленого чая из Китая, ждешь качества. Но если китайский чай распространяется по миру, охватывая и захватывая все новые регионы, то регион актуального присутствия немецкой философии сжимается. Надо заметить, что философия в Германии все еще (в отличие, например, от соседей-французов, ведущие философы которых не часто утруждали себя преподаванием философии) сосредоточена в университете. На это уже обратили наше внимание же исследователи: «Философия в Германии концентрируется в университетах. Так было не всегда. Философы стали профессионалами в современном смысле в XIX веке, когда они стали профессорами университетов. Сейчас философы ищут другие области применения. Поэтому вопрос, является ли философия наукой, для немецких мыслителей экзистенциальный вопрос. <…> Да и сама философия, кажется, уже ушла во Францию, Америку»[259]. А та, что осталась, надо думать, производит концепты для *местных нужд*, в интересах жителей маленького и уютного города центральной Европы. Утратив потенциал всеобщности (но оставив притязание), а по сути, выдавая локальное за глобальное, философия ориентирования дает инструмент ориентации немецкому туристу в Италии, Индии или Африке (которому, помним, трудно ориентироваться на местности, но легко по глобусу или благодаря глобусу в целом), но не жителю сети, не аналитику терроризма и практику международных отношений. Выступая на фестивале «этно-философии», она ведет себя так, словно реализовался диагноз Ницше: «Мы, немцы, становимся с каждым днем *все более и более греками*, вначале, конечно, в понятиях и оценках, словно грецизирующие призраки, но в надежде сделаться греками также и *телом*»[260]. Вокруг же «греков» те, у которых философии еще нет. Такая философия продуктивна, поскольку позволяет писать книги, *исчерпывающие во-*

[258]«Neue Medien — Das Ende der Philosophie?» Ein Streitgespräch zwischen Norbert Bolz und Julian Nida-Rümelin // Information Philosophie. — Oktober 1998. — № 4. — S. 20.

[259]Аннотированный отчет о работе «круглого стола» «Перспективы и ресурсы философии (прогнозы, оценки, констатации)» // CREDO NEW. Теоретический журнал. — 2004. — № 4. — С. 176.

[260]Ницше Ф. Воля к власти. Посмертные афоризмы. — Минск, 1999. — С. 201.

прос в определенной традиции и определенном месте. Читатель, рискнувший взять на себя труд внимательно ознакомиться с этой книгой, скоро приходит к выводу, что все, что можно сказать о философии ориентирования, сказано. В ней самой есть все указатели и ориентиры, облегчающие долю читателя: так, внушителен справочный аппарат, состоящий из 50 страниц убористого шрифта цитируемой литературы, 14 страниц — именного списка и, уже упоминавшиеся, 66 страниц — предметного указателя.

Философия ориентирования — итог жизни ординарного профессора типичного немецкого университета. Она интересна и как отражение способа жизни, и как выражение интересов локального места, по инерции полагающего себя центром, и как продукт определенной метафизической традиции, и как заявка на новую философскую дисциплину.

11. Рефлексия и нигилизм

Есть сфера, где рефлексивные процедуры доходят до предела, до невозможности что-то сказать, до своей противоположности. Таковой сферой является нигилизм. Как отнестись к нигилизму сегодня? Не затмили ли его сегодня понятия «тоталитаризм» и «терроризм»? Не остались ли нигилисты в эпохе бомбистов и анархистов? Может, он лишь указывает на эпоху, подобно якобинцам? А если содержание термина все же отражает реальность нашего времени, то каковы его новые формы? Ряд вопросов удостоверяет общее место: по поводу нигилизма всегда возникает много больше вопросов, чем дают ответов.

История термина «нигилизм»

В дискуссии Э. Юнгера и М. Хайдеггера[261] о нигилизме, названной современниками эпохальной, писатель и философ не касаются истории термина, оставляя за скобками дискуссии предшествующих времен. Возможно, причиной тому персональная адресация, стиль которой задает соответствующие правила сообщения. Их эстафету принимают Дитмар Кампер и Гюнтер Фигаль, опуская историю вопроса и разъяснительную работу. Но для понимания контекста, в который попадают их соображения о нигилизме, полагаю, все же уместно привести краткую историю термина[262].

---

[261]Э. Юнгер написал работу „Через линию“ в 1950 г. для юбилейного сборника в честь 60-летия Хайдеггера, посвятив ее европейскому нигилизму. Отметив вначале, что нигилизм восходит к Ницше и Достоевскому, Юнгер завершает свое сочинение сравнением позиций мыслителя и писателя, шире мыслителя и художника. Центральным пунктом работы является отличие нигилизма, неподдающегося строгому определению, от зла, хаоса, болезни. Текст-посвящение Юнгера интересен не только точностью образа: он представляет собой результат многолетних поисков, наблюдений, размышлений, жизненного опыта. Итог этот не столько личный, сколько естественно-исторический. Работа „Через линию“ провоцирует яркостью картин, точным диагнозом и ригоризмом суждений. Для Юнгера как командира разведгруппы в Первую мировую войну опыт пересечения линии фронта был исходным в размышлении о нигилизме. Нужно также иметь в виду, что здесь изложена квинтэссенция представлений автора, трансформировавшихся начиная с 20-х годов в публицистических статьях, прошедших стадию первого оформления в его знаменитых эссе 30-х годов. Мартин Хайдеггер в ответной статье «О „линии“» в 1955 г. в такой же юбилейный сборник в честь Юнгера, переименованной им позже „К вопросу о бытии“, оспаривает, прежде всего, саму попытку понимания нигилизма писателем. Отвечая на вызов, Хайдеггер ставит своей задачей установить „происхождение сущности нигилизма и сущности его окончания“» (Хайдарова Г. Предисловие // Судьба нигилизма. Э. Юнгер, М. Хайдеггер, Д. Кампер, Г. Фигаль: Пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — С. 4—5).

[262]Я воспользуюсь статьями Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 6 / Hrsg. Joachim Ritter und Karlfried Gründer. — Basel; Stuttgart, 1984. — S. 846–853; Risenhuber K. Nichts // Handbuch Philosophischer Grundbegriffe. — München, Koesel, 1973. — S. 991–1008; Le Petit Robert. — P., 2001. — P. 1152.

Отправной тезис — нигилизм есть европейский феномен. В истории мысли понятием «нигилизм» выражали свое отношение к различным философским позициям, например, философскому эгоизму или солипсизму, идеализму, атеизму, пантеизму, скептицизму, материализму и пессимизму, а кроме того, оно служило *обозначением* религиозных, политических и литературных течений. Автор статьи «Нигилизм» В. Мюллер-Лаутер полагает: «Как „terminus novus“ оно было употреблено в 1733 г. Ф. Л. Гетциусом, в отношении теологии и философии, а также к другим наукам, вплоть до юриспруденции и медицины»[263]. Слово «нигилист» использовали для *негативной* характеристики определенных политических и социальных установок во французской литературе после 1793 года, в которой оно не совпадало с философским значением понятия «нигилизм» в Германии[264]. Остается спорным, повлияли ли на последнее более ранние словообразования от «nihil». Вместе с «аннигиляцией» наиболее важным из них является «нигилизм» как обозначение еретического направления христологии во второй половине XII столетия, которое сводится к речи о «nichilianist(a)e» Готье де Санкт-Виктора. Согласно его мысли, вечный Логос не может *становиться* чем-то, поэтому Христу человеческое бытие присуще только акцидентально, как человек Христос «non aliquid», то есть не индивид. Нигилист (Nichilianist(a)e) раскрывается в отрицании человеческого воплощения Бога.

Широкую дискуссию вызвала трактовка понятия «нигилизм» Ф. Х. Якоби, с именем которого связывают популярность этого понятия[265]. Он использовал термин нигилизм для характеристики теоретической философии Канта[266], а также наукоучения Фихте (в котором он видел последовательного кантианца). В письме к Фихте (1799) Якоби указал, что тот достигает цели своей философии, исходя из единичного Я, только за счет рефлектирующего разрешения всех «вещей» в мыслительной конструкции абсолютного Я, которое на самом деле есть только продукт абстракции эмпирического Я. Для человека, который таким образом абстрагируется и тем обожествляет себя, все растворяется «постепенно в его собственном ничто». Только вера в живущего, самосуществующего Бога может противостоять отчаянию, возникающему из такой философии, полагал Якоби. Именно это понимание нигилизма дало основание отечественному исследователю полагать, что «Ф.-Г. Якоби создал понятие „нигилизм“, и это понятие было, если можно так сказать, его „эпохальным“ открытием»[267]. Так, последовательный идеалист должен начинать с нигилизма, поскольку из него он никогда не до-

[263]Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 6 / Hrsg. Joachim Ritter und Karlfried Gründer. — Basel; Stuttgart, 1984. — S. 846.

[264]Согласно словарю Роббера, термин нигилизм известен во Франции с 1787 года. Он выделяет три значения нигилизма: 1. Нигилизм как философская доктрина, согласно которой нет ничего, что существовало бы абсолютно. 2. Идеология, которая отвергает всякое социальное принуждение. 3. Настроения, характеризующиеся пессимизмом и моральным разочарованием. Например, пессимизм панков (Le Petit Robert. — P., 2001. — P. 1152).

[265]Эту позицию разделяет и Хайдеггер в работе «Европейский нигилизм» (см.: Хайдеггер М. Время и бытие. — М., 1994. — С. 63).

[266]По Якоби, кантовский «нигилизм» имеет два аспекта. «Во-первых, Кант уничтожает реальность предметов чувственного опыта, именно тех предметов, среди которых мы живем и которые мы познаем. Во-вторых, сверхчувственные предметы идей разума (и прежде всего — Бога) он превращает в пустые фикции, продукт „гипостазирования“, т.е. равным образом лишает их подлинной реальности» (Чернов С.А. Кантианцы против Якоби // Credo New. Теоретический журнал. — 2004. — № 4. — С. 14).

[267]Михайлов Ал. В. «Эстетика» Жан-Поля // Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М., 1981. — С. 21. Полнота картины требует оглашения другой точки зрения, которую приводит С.А. Чернов, собравший анти-якобистские высказывания: Якоби — «дилетант» (Шеллинг), «вождь полузнаек в философии» (Гегель), «сварливый прохвост» (Гейне), «низшая монада», которая не в состоянии понять и оценить подлинный смысл кантовской философии» (Куно-Фишер), его работы — «аффектированное мечтательное гениальничание» (Кант), «в общем и целом, а также и в деталях… „просто не понял“» Канта (Юлиус Лехман в диссертационном исследовании о критике Якоби) (Чернов С.А. Кантианцы против Якоби // Credo New. Теоретический журнал. — 2004. — № 4. — С. 6–7).

берется до чего-то конкретного. С другой, но в равной мере ведущей к нигилизму стороны, У. Гамильтон дополняет: «Если ничего кроме феноменальной реальности самого факта не позволено, то получится нигилизм». Он проводит различие между спекулятивным нигилизмом Фихте, который у него преодолевается в практической философии, и скептическим нигилизмом Юма. Но и сам Якоби, как утверждает гегельянец Ц.Ф. Гешель, незаметно для самого себя впал в идеализм и нигилизм, с которыми боролся[268]. Как здесь не вспомнить завершение статьи Юнгера «Через линию»: «Упрек в нигилизме сегодня популярен, и каждый приписывает его своему противнику. Весьма вероятно, что правы *все*».

Хотя Фихте в своих письмах отклонял упрек Якоби в нигилизме, показывая причину недоразумения, но с тех пор эта проблематика постоянно занимала его. Уже в наукоучении 1812 года он задается вопросом о средствах избежать «крушения реальности» вследствие нигилизма рефлексии и находит такое средство в рефлектировании-до-конца: знание должно признать себя наконец опирающимся «на чистую реальность». Продолжая спор, Ж.-Ф. Лиотар утверждает: «Абсолютное знание требует законченного нигилизма». Фихте, приняв в расчет критику Якоби, придал новый импульс дискуссии об идеалистическом нигилизме в работе «Определение человека» (1800).

Согласно же Гегелю, «для нигилизма нерешенная задача» состоит в том, чтобы «познать *абсолютное* ничто». Оно на самом деле должно было бы представлять абсолютный центр Бога, которому не присуще никакое для-себя-существование. Еще раз обратимся к интенции гегелевского духа, который «достигает своей истины, только обретя себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила… только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем»[269]. Согласно Хр. Вайссу, в основе гегелевского отрицания персональности Бога лежит возведение к божественности логической идеи, которая не только определяет никакого нового содержания, но и квалифицируется по Ф. Лаку-Лабарту и Ж. Л. Нанси как «логика Террора»[270]. Таким образом, диалектическое движение понятия у Гегеля, развивающееся из ничто, на самом деле остается в области ничто; *настоящее* становление закрыто для этого движения. Фихте вначале соглашается с акосмическим толкованием Гегеля у Вайса, но позже резко возражает против предположения, что его логика нигилистична.

В раннем романтизме, особенно у Новалиса и Фр. Шлегеля (который впервые употребил слово «нигилизм» в 1787 г.) происходит «поэтизация принципов Фихте». Мысль о бесконечной деятельности абсолютного Я распространяется на творчество индивидуального Я. Это привело к упреку ранне-романтической поэзии в нигилизме из-за ее волюнтаризма и удаленности от природы. Понятие нигилизма приобрело статус эстетической категории, которая вырабатывалась в критике мистиков, поскольку они «весьма последовательно называли божество бесконечным ничто, и поэтому их образ мысли был назван нигилизмом»[271].

---

[268]Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 6 / Hrsg. Joachim Ritter und Karlfried Gründer. — Basel; Stuttgart, 1984. — S. 847.

[269]Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа // Соч. Т. IV. М., 1959. С. 16. Подобный мотив мы встречаем у непримиримого оппонента Гегеля Артура Шопенгауэра, связывающего осознание негативного с рефлексией: «У человека, вместе с разумом, неизбежно возникла и ужасающая уверенность в смерти. Но как вообще в природе всякому злу сопутствует средство к исцелению от него или, по крайней мере, некоторое возмещение, так и та самая рефлексия, которая повлекла за собою сознание смерти, помогает нам создавать себе такие *метафизические* воззрения, которые утешают нас в этом и которые не нужны и не доступны животному» (Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа // Шопенгауэр А. Избранные произведения. — М., 1993. — С. 81).

[270]Лаку-Лабарт Ф., Нанси Ж. Л. Нацистский миф: Пер. с фр. С.Л. Фокина. — СПб.: Владимир Даль, 2002. — С. 20.

[271]Шлегель Ф. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. — М., 1983. — С. 120–121.

Во Франции XVIII века нигилистом называли того, кто был «ни за, ни против». В «Неологе, или словаре новых слов» (1801) Л. С. Мерсье характеризовал «нигилиста или негативиста» как человека, «который ни во что не верит, ничем не интересуется». В подобном же смысле понятие «нигилизм» употребляли в XIX веке Дж. Герес, Д. М. в. Радовиц и Г. Келлер; им они обозначали жизненную позицию эгоистической ограниченности, представители которой обретали безопасность, равнодушно отказываясь от любой сильной идеи, и подчинялись смене господствующего мнения, то есть безусловно полагались на существующее.

Чаще нигилистическими называли критические по отношению к обществу и революционные тенденции, которые коренятся в атеизме. Ф. Баадер находит в («прусском») «научном нигилизме» «деструктивное для религии злоупотребление интеллекта», в котором ничего нет, кроме «фундированной ненависти и игнорирования всех существующих (гражданских и религиозных) социальных институтов». После того как Евангелие было отнесено «нигилистической критикой» к мифам, «современный нигилизм» много раз пытался, как поясняет Б. Ауербах, «распространить в народе атеистическое отчаяние», не беспокоясь о проистекающем из этого следствии — «беспочвенности будущего». Отрицание греха привело к отрицанию как божественной, так и человеческой власти. Это давало нравственную основу революционному нигилизму. Но все же не все так однозначно. Революционный нигилизм мог, как показал К. Гуцков в своем рассказе «Нигилисты» (1853), социально адаптироваться. То, что это стало великим искушением для любого реально действующего нигилиста, подытожил А. Камю: «Конформизм — одно из нигилистических искушений бунта, преобладающим влиянием конформизма отмечена немалая часть истории нашего умственного развития. И она показывает: если бунтарь переходит к действию, забывая свои корни, он подвергается сильнейшему искушению конформизмом. Этим искушением проясняется XX век»[272].

Наследниками критики идеализма как нигилизма стали младогегельянцы. Перед лицом критики религии Д. Штрауса, Б. Бауэра и Л. Фейербаха логика и философия религии Гегеля кажутся всего лишь предтечей нигилизма. С нигилистической позицией исследователи связывают взгляды Фейербаха. Философский эгоизм получает практическое толкование у М. Штирнера, которого, замечу, активно изучал И. Тургенев. И наконец, К. Розенкранц констатирует развитие нигилистического радикализма до практики «радикального нигилизма, до революции пролетариата». Понятие нигилизм стало обозначать материалистический способ мышления уже с 40-х годов XIX века.

Немецкий романтизм начала XIX века пробудил интерес к *индийской* религии и поэзии (Ф. Майер, Фр. Шлегель). В последующие десятилетия у исследователей религии был популярен буддизм, который интерпретировался как нигилизм. Метафизика воли Шопенгауэра появилась как возврат к такому «пантеистическому нигилизму». Ф. Ницше усмотрел в пессимизме Шопенгауэра «новый буддизм», который он понимал как *пассивный* нигилизм. Чуткий к отслеживанию западных влияний? Герцен обращает внимание Тургенева: «Замечаешь ли ты, что ты со своим Шопенгауэром… становишься нигилистом», характеризуя последнего как «идеального нигилиста, буддиста и мертвиста».

На ницшевское понимание нигилизма особенное влияние оказали лекции П. Бурже «Эссе о современной психологии». Ницше интерпретирует нигилизм как *волю к ничто*, которая как скрытая воля к власти создает фикцию трансцендентного мира, чтобы выносить суждения о реальном мире. Суждение ведет к саморефлексии и, наконец, к саморазрушению человека, который его практикует. Ницше описывает *европейский* нигилизм как историческое движение *декаданса*, начавшееся с Сократа и продолжившееся в христианстве; нигилизм развивает, согласно Ницше, чувство истинности, которое сублимируется «в научную совесть,

[272]Камю А. Бунтующий человек. — М., 1999. — С. 184. Этот сюжет присутствует и у Юнгера, о чем пойдет речь ниже.

интеллектуальную чистоту любой ценой». При этом обнаруживается неморальный или доморальный интерес, фундирующий всякую мораль. Всеобщая истина, к которой стремятся философы, разлагается на многообразие равноправных «истин».

Ницше называет себя «первым совершенным нигилистом Европы», у которого «нигилизм уже позади». Он определит ближайшие два столетия, чтобы позже ему на смену пришло *«контрдвижение» переоценки всех ценностей*. Но прежде нужна селекция *сверхчеловека*. В нем *воля к власти* переживает свое высшее творческое выражение. Учение о вечном возвращении содержит предел: нигилисты разбиваются об него, поскольку оно для них означает, что «Ничто („бессмысленное“) вечно».

С конца XIX века распространение получает ницшевское понимание нигилизма. Едва ли можно обозреть множество публикаций, в которых явления прошлого и настоящего определяются как нигилистические. Х. Рушнинг описал изменения нигилистического сознания в поколениях после Ницше. Вера в то, что нигилизм стал «нормальным состоянием» развенчивается в произведениях Г. Бенна, который противопоставляет нигилистическому процессу распада цельность художественной формы. По Т. Адорно, Ницше, используя против христианства термин «нигилизм», придал ему «другое значение». Оно стало «воплощением ничтожного состояния, или состояния, обвиняющего себя в ничтожестве». Но такого рода «преодоление» является во много раз хуже, чем «преодоленное». Оно объединяется с силами разрушения и становится таким образом само нигилистичным. То, что осуждается с точки зрения кажущейся позитивности как нигилизм, нуждается в защите, поскольку нигилизм в конечном итоге является конкретным критическим сознанием.

Масштабный анализ нигилизма и попытку его преодоления предпринял К. Ясперс. Для него «открытое безверие» нигилизма является образом *нефилософии,* против которой нужно полагать философскую веру в трансценденцию. Так, вопрос о *ничто* получает центральное значение у экзистенциалистов, а их самих часто характеризуют как нигилистов или причисляют к нигилизму: наряду с Ясперсом, прежде всего Хайдеггера и Сартра. Камю понимает под нигилизмом сознание тотальной *абсурдности* человеческого существования. Внутренняя противоречивость этого сознания приводит его к разработке позиции бунта, поддерживаемого человеческой солидарностью; на место универсальной бессмысленности вступает достоверность, пусть и обретенная загадочным образом.

Нигилизм в России

Немецкие и французские трактовки понятий «нигилизм» и «нигилисты» были идейными истоками нигилизма в России. Однако теоретические истоки не могут нам объяснить подлинную причину столь широкого распространения его в России. Принято считать, что причиной такого распространения является появление среды разночинной интеллигенции. Возникнув неожиданно и в большом количестве, разночинцы оторвались от своих мелкобуржуазных и церковных корней, но к правящему классу не примкнули[273]. Таким образом, появилась фигура и мировоззрение типичного маргинала, порывающего со своими семейными и сословными традициями, а других не обретшая. Вместе с тем увлеченность нигилизмом была способом борьбы за индивидуальность, особенно это касалось поиска путей эмансипа-

[273]«Для „кухаркиных“ и даже купеческих детей образование означало разрыв с семьей, классом, с целой культурой», — пишет Г.П. Федотов. В результате «привыкнув дышать разреженным воздухом идей, интеллигенция с ужасом и отвращением взирала на мир действительности. Он казался ей то пошлым, то жутким; устав смеяться над ним и обличать его, она хотела разрушить его — с корнем, без пощады, с той прямолинейностью, которая почиталась долгом совести в царстве отвлеченной мысли» (Федотов Г.П. О судьбе русской интеллигенции. — М., 1991. — С. 44, 40).

ции молодых женщин[274]. Маргинальность усиливалась культурной и чиновнической дискриминацией и оскорбительно высокомерным отношением к ним аристократов, на которое указывает Л.Н. Толстой в повести «Юность»: «Человек, дурно выговаривающий по-французски, тотчас возбуждал во мне чувство ненависти. „Для чего ты хочешь говорить, как мы, когда не умеешь? — с ядовитой усмешкой спрашивал его мысленно“». Образованность, бедность, неукорененность и неопределенность убеждений вкупе с претензией на интеллектуальное превосходство были питательной средой радикального протеста, принявшего форму нигилизма.

Но до этого была история проникновения термина в Россию. Одним из первых в 1829-м термин нигилизм использовал в критике поэзии Пушкина и его плеяды Н. И. Надеждин, трактуя его в смысле «ничтожество»[275]. Белинский со ссылкой на Жана Поля употреблял его как синоним «идеализма». Добролюбов, критикуя книгу профессора Берви, выпущенную в 1858-м, трактовал нигилизм как «отрицание любого реального бытия» и скептицизм. В начале 1880-х Н.Н. Страхов в своих «Письмах о нигилизме» рассматривал «критику существующего порядка» как негацию «почти всего существующего». При этом по замечанию Н.Н. Скатова, являясь человеком «устойчиво консервативных взглядов», Страхов отдавал дань русскому контексту нигилизма, считая, что «мы вправе требовать серьезного отношения к нигилизму, вправе ожидать, что в нем обнаружились какие-нибудь немаловажные черты нашей духовной жизни и сделаны некоторые шаги в прогрессе нашего самосознания». И он не одинок. Так, религиозный мыслитель Архимандрит Феодор (А.М. Бухарев) принимает даровитого, честного и энергичного Базарова, указывая на то, что он выражает «отрицательную сторону истины». Усилив историческую необходимость, А. Григорьев полагает, что нигилизм заслуживает самого серьезного к себе отношения, поскольку имеет «совершенно законное место в общем процессе человеческого сознания»[276]. Позитивное прочтение нигилизма не исключает западный образ его, напротив, и это точно подметил Н.Н. Страхов, прямо и непосредственно наш нигилизм во всем уживается с «великим уважением к Западу»[277]. На своих учителей указывает Базаров: «Да, немцы в этом наши учителя».

Широкое распространение в России идеи нигилизма получают благодаря М.Н. Каткову, редактору «Русского вестника», где печатался роман И. Тургенева «Отцы и дети», но более — благодаря самому роману, в котором дано точное определение: «Нигилист — это человек, который не склоняется ни перед каким авторитетом, который не принимает никакой принцип на веру, пусть даже этот принцип пользуется всеобщим вниманием и уважением». Идеалистическая эстетика, метафизика, религия и автократия, держащиеся за что-то, есть *ничто*, которое нужно разоблачить и низвергнуть: «Нигилизм не преобразует *нечто* в *ничто*, но разоблачает, что *ничто* принимается за *нечто*, является оптическим обманом», — пишет А. Герцен в 1868 году.

Итак, вначале нигилизм был жупелом, им пугали и обзывали, но никогда не применяли к себе[278]. Более того, из его истории мы знаем, что часто критики, использовавшие оружие нигилизма, сами нередко были обвинены в нигилизме. Затем у Ницше, который назвал себя

---

[274]«Брак без любви и брачное сожительство без дружбы нигилист отрицал. Девушка, которую родители заставляли быть куклой в кукольном доме и выйти замуж по расчету, предпочитала лучше оставить наряды и уйти из дома» (Кропоткин П. А. Этика. — М., 1991. — С. 405).

[275]Стоит упомянуть, что и сам А. С. Пушкин употреблял это слово в смысле «ничто», связывая его с результатом разумного подхода: «Но тщетно предаюсь обманчивой мечте, / Мой ум упорствует, надежду презирает… / Ничтожество меня за гробом ожидает…» (Пушкин А.С. «Надеждой сладостной младенчески дыша… // Пушкин А.С. Собрание сочинений в десяти томах. Т. 2. — М.: Изд-во Художественной Литературы, 1959.).

[276]Григорьев А. Эстетика и критика. — М., 1980. — С. 147.

[277]Срахов Н.Н. Нигилизм. Причины его происхождения и силы // Страхов Н.Н. Литературная критика. — М., 1984. — С. 76.

совершенным нигилистом, «впервые нигилизм становится *осознанным*… но он не воспевал его, так как предугадывал, что, в конце концов, апокалипсис примет гнусный деляческий облик, а стремился избежать его». Его нигилизм есть осознанная, но все еще *негативная* позиция. И, наконец, в России нигилизм становится не только самоопределением и самоутверждением, но и позитивной программой. Об этом после выхода романа «Отцы и дети», разъясняя, писал И.С. Тургенев: «Не в виде укоризны, не с целью оскорбления было употреблено это слово, но как точное и уместное выражение проявившегося — исторического — факта». Во времена написания романа нигилизм был тяжелым оружием на поле интеллектуальной брани, так как его использование означало бесповоротное осуждение и почти клеймо позора. Силу негативного означивания придавали консервативные силы российского общества. Эту же — и только эту — точку зрения мы обнаружим, например, в статье словаря Брокгауза и Эфрона. Но вопреки всему в России было и другое направление мысли, выраженное С. Степняком-Кравчинским: «Слово „нигилизм“ получило права гражданства сперва как бранная кличка, а потом как гордо поднятый ярлык той философской школы, которая одно время занимала самое видное место в русской интеллектуальной жизни… мы были убеждены, что боремся за счастье всего человечества, и каждый из нас охотно пошел бы на эшафот и сложил свою голову за Молешотта и Дарвина». В точном соответствии с современным содержанием термина «стигматизированная идентичность» (когда внешняя отрицательная характеристика становится внутренней точкой опоры, позитивным отличительным знаком) нигилисты сменили негативный знак на позитивный и впервые использовали его в *самоназвании*.

Именно эту тенденцию трактовки нигилизма отразил И. Тургенев, вызвав тем у большинства исследователей убеждение, что именно в его романе «Отцы и дети» заявила о себе в полный голос специфика как отечественного, так и всего европейского нигилизма: «Вряд ли будет преувеличением сказать, что нигилистическое движение, несмотря на его исторические последствия, едва ли продвинулось дальше по сравнению с базаровскими лозунгами»[279], — пишет в конце XX века А. Данто. Эту точку зрения активно оспаривает В. Мюллер-Лаутер, полагая, что «нельзя вводить новообразование слова „нигилизм“, при этом забывать о его длительной традиции. Например, И. Тургенев думал, что он изобрел это слово в 1861 г., и многие с тех пор разделяли это мнение»[280]. Как обстоятельно проанализировала Г.А. Тиме, немецкие идейные источники нигилизма не только оказали решающее влияние на роман И. Тургенева «Отцы и дети», но сам автор вполне отчетливо осознавал их влияние[281]. Заслуга Тургенева — *не в изобретении термина, но в позитивной трактовке его содержания*: если Базаров «и называется нигилистом, то надо читать революционером», — пишет он в дискуссии, развернувшейся после выхода романа.

---

[278]Достоевский в «Бесах» связывал нигилизм (не под влиянием ли прочитанного им Маркиза де Сада) с бесцельной, угрюмой энергией, «ушедшей нарочито в мерзость». Нигилизм, по Достоевскому, проявляется в отрицании Христа, на месте которого оказывается нечто ужасное, поскольку, отрицая Бога, нигилист отрицал Россию, свой народ во имя «равенства, зависти и пищеварения». Исторически запаздывающая в модернизации Россия в XIX веке переживала те же этапы возникновения нигилизма, которые К. Ясперс связывал с Новым временем, когда происходит «разбожествление» мира (Ясперс К. Смысл и назначение истории. — М.: Республика, 1994), «богооставленности» человека (Ницше). Антиклерикальный характер нигилизма был основой исключительно негативного его прочтения, однако эта *исключительность*, как и любое преувеличение, любой предел граничит с противоположностью. В данном случае исключительность «таит в себе параноидальные и мазохистские наслаждения, которым предавались нигилисты Достоевского, особенно Раскольников» (Ю. Кристева).

[279]Данто А. Ницше как философ. — М., 2001. — С. 37–38.

[280]Mueller-Lauter W. Nihilismus // Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1. / Hrsg. Joachim Ritter und Karlfried Gründer. — Basel; Stuttgart, Bnd. 6, 1984. — S. 846.

[281]См.: Тиме Г.А. Немецкая литературно-философская мысль XVIII–XIX веков в контексте творчества И.С. Тургенева: Генетические и типологические аспекты. — München, 1997.

Сила нигилизма в России не столько в радикальности и силе убеждений нигилистов, сколько в слабости интеллектуальной и аристократической элиты. Исследователи выделяют три источника широкого распространения нигилизма в России 1840–1880-х гг.[282]. Первая причина: «Террор революционеров начинается после того, как правительство „начинает бить и истязать учащуюся молодежь, сечет революционеров, всячески унижает человеческое достоинство“». Вторая причина — опередить развитие капитализма: «Наша обязанность взвесить все условия и употребить все старания, чтобы ликвидация существующего государственного строя произошла как можно скорее, прежде чем под его покровительством успеют сформироваться и окрепнуть какие-либо сословия, враждебные народу». И третья, субъективные наиболее значимые причины: «„Кающиеся дворяне“ шли в революцию, чтобы успокоить свою больную совесть», «протестующие разночинцы — чтобы отомстить за свои обиды». Но таковых было меньшинство, большинство составляло третье направление, лелеющее юношеские мечты о всеобщем счастье и справедливости, у которых «был молодой задор, жажда подвига и готовность на жертву. Таково было громадное большинство революционеров 70–80-х годов. Они были не мстители, а мечтатели» заключает М. Дрей.

Реальность неправового общества, общества угнетения и несправедливости, уравновешивалась деятельным сочувствием к бедным, которые, по их мнению, были праведными. Справедливости ради заметим, что кроме разночинцев и мечтателей из состоятельных семей живо воспринявших идеологию и практику революционного нигилизма, существовало и другое крыло — левые критики правительства, которые зарабатывали леворадикальной фразеологией и критикой правительства в прессе как символический, так и вполне приличный материальный капитал. Революционной идеей сытно кормилось не одно поколение радикалов, на это указывал Э. Юнгер, а прежде на конкретных примерах материального успеха целого слоя леворадикальной идеи, нигилистов — В. В. Розанов. Он нарисовал колоритную картину времени, на которой материальная нищета правых, консерваторов соседствует с благополучием, даже богатством, «революционеров» и критиков правительства. Нигилизм — это в первую очередь личная проблема и проблема нравственная. П.А. Кропоткин приводит характерное высказывание: «Я становлюсь безнравственным, — говорил молодой нигилист своему другу, иногда даже подтверждая мучавшие его мысли каким-нибудь поступком. — Я становлюсь безнравственным. Что может меня удержать от этого»[283].

Итак, нигилизм приобрел в России особый статус, поскольку — и это распространенное мнение — радикальность западных идеологических проектов приобретает здесь крайнюю форму практического осуществления. И если теоретически и терминологически отечественный нигилизм вторичен, то *по силе* практического отрицания «отжившего», *скорости*, с какой нигилисты от философских и литературных образов переходят к практическим действиям и, наконец, по *количеству* идейных образованных людей, втянутых в водоворот практического нигилизма и, главное, по позитивному истолкованию его — ему не было равных. Именно это *позитивное* прочтение нигилизма, вернувшись в Европу, провоцировало мысль ведущих мыслителей осмыслить свое изменившееся настоящее, проводить переоценку всех ценностей, отрицать отжившее.

Мыслимо ли то, что есть?

«Невероятное, то есть сущее», обронил французский поэт Ив Бонфуа. Все, что не «укладывается в голове», все «чудовищное и невозможное», все «ужасающее и отвратитель-

[282]См.: Исаков В.А. Концепция заговора в радикальной социалистической оппозиции. Вторая половина 1840-х — первая половина 1880-х годов. — М., 2004.

[283]Кропоткин П.А. Этика. — М., 1991. — С. 283.

ное» существует. Есть современные рабы, убийцы детей, смертники террористы и террористические акты. Как понять истоки терроризма? Для понимания практики нигилизма в его крайней террористической форме аналитикам потребовался мощный объяснительный ресурс архаической жертвы, которая неподвластна ни рациональному измерению, ни этической оценке, ни эстетическому катарсису. Жертва удостоверяет форму выживания человеческого сообщества, она же есть гарантия символического порядка, способ коммуникации с трансцендентным и удостоверение высшей ценности его, уравновешивающейся лишь ценностью жизни, и наконец, она же устанавливает гармонию в мире, симметрично нанося рану телу рода (жертвуя), за ранение природы внешней. Первая — архаическая жертва — конкретна, жизнетворна, ритуальна и празднична; она неразрывна с коллективным телом, которое ее приносит; в архаической жертве нет ни иронии, ни нигилизма, ни мести. Вторая — жертва террористов — ужасна, имперсональная, разрушительна. Она суть ничто, онтологическое следствие которого не разъято с оценкой. Исподволь происходит подмена конкретной жертвы символической инстанцией, противостоящей злу — *абсолютной* жертвой. Сегодня, делает вывод Жак Рансьер: «Составилось абсолютное внеюридическое право жертвы бесконечного Зла. И наследуемо это абсолютное право защитником прав жертвы»[284]. Но абсолютное продумано не только в метафизической традиции, но и в древнейшей форме жертвоприношения, восстанавливающего устойчивый порядок круговорота событий в Космосе. Жертва — онтологическое условие существования культуры. Топологическая же рефлексия реабилитирует животворительную и жизнеутверждающую функцию жертвоприношения.

Приведенные мысли близки трактовке божественного насилия В. Беньямина, которое он противополагает мифическому: «Справедливость есть принцип любого божественного целеполагания, власть — принцип любого мифического правополагания… Мифическая манифестация непосредственного насилия в глубине проявляет себя идентично любому правовому насилию и доводит представление о его проблематике до понимания губительности его исторической функции, уничтожение которой тем самым становится непосредственной задачей»[285]. Он разводит их до противоположности по всем пунктам. Если мифическое насилие — правоустанавливающее, то божественное — правоуничтожающее; если первое устанавливает границы применимости, то второе безгранично и нелегитимно; если мифическое является источником вины и одновременно позволяет искупить вину, то божественное — вне вины, принуждая платить сполна; наконец, первое — грозящее и кроваво, второе — разяще и бескровно.

Божественное насилие не прочитывается Беньямином как правоустанавливающее и тем самым оказывается вне чувства вины. Последнее порождается тем, *что* Беньямин называет мифическим насилием (первородный грех и тотальное чувство признания вины — краеугольный камень христианской догматики — также не подпадают под юрисдикцию чистого божественного насилия). Обвиняя правовое сознание в том, что оно старательно замалчивает несправедливость, насилие, лежащие в его основании, Беньямин в классическом стиле психоанализа вменяет правовому сознанию чувство вины. Противопоставляя мифическому насилию *чистое* божественное, он выпытывает у правового бессознательного признание того, что своим рождением оно обязано «грязному» насилию.

И сегодня установлению демократической формы права предшествует насилие над стихийно сложившимся порядком. Слова Ротшильда: «Не спрашивайте, как я заработал первый миллион, я готов до копейки отчитаться, как я заработал второй», — кажутся прямым поли-

[284]Мир в войне: победители/побежденные. 11 сентября 2001 года глазами французских интеллектуалов. — М., 2003. — С. 55.

[285]Benjamin W. Zur Kritik der Gewalt // Benjamin W. Gesammelte Schriften. Bd. II. 1. — Frankfurt am M., 1977. — S. 199.

тическим выпадом и «заказным» банкротством олигарха, когда его просят отчитаться за второй миллиард. Структуры порядка неизменно и скоро возрождаются после любых смут. И напротив. В отечественной истории столь же рьяно заявляют о себе силы, ведущие к беспорядку, после любых, пусть еще и не устоявшихся форм порядка. В отношении же вооруженности и обеспеченности мысли трудно не заметить сходство символического накопления концептов с ростом материального благосостояния философа. Не спрашивайте, откуда я взял те или иные концепты, смотрите, как я *от своего лица* могу ими пользоваться. Но философия сама есть этот тиранический инстинкт, духовная воля к власти, к «сотворению мира», к «causa prima». Претензия на власть из своего места, топоса, тела — дело правое, а претензия на власть под видом проведения всеобщих интересов или, что едино, идеалов демократии — неуместное. Но от этого различия существо претензии на власть не меняется. Понять чужую мысль гораздо проще, чем собственный топос, тем более внятно и последовательно заявить о его интересах на философском языке.

Отсутствие *традиции развития собственной мысли, мысли на собственных основаниях* ведет, с одной стороны, к бунту по отношению к предшественникам и, с другой — к некритическому доверию чужой мысли. Преломившись подобным образом, идея нигилизма обретает чистую форму отрицания. О том, что рискованно *полностью* полагаться на чужие технологии, — известно, однако господство чужих философских концептов не оценивается как форма колонизации. Внешние же топосу концепты в виду особой восприимчивости отечественных интеллигентов, а теперь — все больше интеллектуалов — перерастают границы *разумного*. Некритическое *восприятие* западной философии легко превращает ее в господствующую идеологию, со всеми вытекающими (например, ложное, в силу несоответствия времени и месту, сознание, идеализм в оценке своего места, региона, страны) следствиями. Зарубежная философия завораживает неизвестностью контекста, из которого она произрастает. Она потому с легкостью преодолевает *несоответствие местным условиям жизни*, что дает абстрактные, всеобщие, а потому и *неуместные* ответы на актуальные проблемы общества. При этом всегда есть соблазн думать, что их проблемы уже стучатся в дверь, что они вызваны к жизни меняющимися по аналогии с западной условиями жизни. Например, сила ницшевского нигилизма *покоится* на устойчивом порядке, благополучии среднего класса стран центральной Европы. Современная постструктуралистская философия (острием негации направленная на структуры порядка, власти, нормирования во имя утверждения свободы от насилия в них заключенного) обладает ограниченным потенциалом объяснения процессов, происходящих на все еще огромной территории России. Философ XX века борется не только против насилия государства, но и против обыденного сознания, *доверяющего* своему государству. Зазор между ответственностью за свое государство и дистанцией к нему выражает состояние интеллектуалов и общества. Но в ситуации традиционного для соотечественников неприятия государства, власти вооружаться тотально деструктивной концепцией — значит загонять себя в тупик, в котором оказывается любое рыхлое коллективное тело, в котором солидарность возникает лишь на негативной основе, а созидательные импульсы проявляются лишь после великих потрясений.

На этом фоне следовало бы выступить в защиту отечественного производителя философских концептов. Ибо главное их достоинство в том, что они подвержены критике соотечественников столь же радикально, сколь безапелляционно принятие иностранных концептов, поэтому у отечественной философии не может возникнуть *безусловного* авторитета и она не превысит предельно допустимую норму влияния на общество и поэтому не станет тоталитарной идеологией. По крайней мере, в обозримом будущем. Парадоксальность актуальной ситуации в том, что, отказавшись от одной формы идеализации западной философии (многие по-прежнему отождествляют отечественную форму марксизма с философией как та-

ковой), просвещенная нашими университетами публика полагает, что вред исходит *от своей философии* (на поверку марксистской). «Выход» находят в доверии новым направлениям западной мысли. Именно врожденный нигилизм по отношению к отечественным мыслителям не допустит их концепты в качестве *безоговорочных* авторитетов при анализе российской действительности. В этом смысле своя философия хороша тем, что *не имеет и не может иметь тотального господства*. Тому подтверждение ничтожно малое ее влияние на общественную жизнь, политику, мораль и искусство страны. Местный философ — если не пария, то уж точно фигура неудобоваримая, поскольку максимум для чего пригодны его образ мысли и образ жизни — для частного, изысканного использования разума. Ведь он не удостоверяет комфортность здравого смысла, который дает популярный писатель, не попадает в структуры поверхностного реагирования, подобно журналисту, не обладает ни холодной формальностью ученого, ни практической пользой результатов его исследования, не работает в режиме наигранной толерантности теле- и радиоведущего, не проясняет мотивы принятых политических решений подобно политологу, не использует фигуры речи, опирающиеся на показной гуманистический лоск политиков, не зовет нарушать табу, как это делает актуальный художник, — он предлагает радикальные авантюры мысли, выходящие за скобы легитимного.

После очередного заката того или иного популярного философского направления в Европе отечественные интеллектуалы воспроизводят каждый раз архетипическую ситуацию выбора философской веры. В неразрывной связи с критикой современных отечественных мыслителей стоит негативное отношение к предшественникам, к своим непосредственным учителям. Каждый, отрицая все до него существующее, начинает с нуля. Наш нигилизм в отношении предшественников, способность «забыть отцов», всегда начинать заново — в эпоху катаклизмов, войн и массового самоистребления нации — спасительное качество нашей

души, губительно в ситуации более-менее размеренной жизни. Ситуация непризнания своего, в том числе своего ближайшего прошлого, — не нова. Трудно не согласиться с проницательным В. В. Розановым: «У русских нет сознания своих предков и нет сознания своего потомства. От этого — наш нигилизм: „до нас ничего важного не было!“ И нигилизм наш постоянно радикален: „мы построяем все сначала“. Прошедший век лишь усилил эту способность забывать и каждый раз начинать с начала. Но сегодня эти качества не только не отвечают времени, но и — вот власть удобной формулы — вредны, поскольку не позволяют включить механизм идентификации и соотнести современника с предшественниками, которых трудно понять и тем более оправдать. Как результат, интеллектуал не может настоящее увидеть в свете прошлого и посмотреть на конкретную ситуацию с позиции целого и изнутри целого. Актуальный нигилизм соотечественника по своему типу не является ни западным (этап развития), ни восточным (тотально и жертвенно отрицающим Запад), отрицая свою, он осваивает, исправляет и дополняет философию Гегеля, Гельмгольца, Гуссерля, полагая при этом, что он закладывает *начало* новой отечественной традиции. Но следующий, «начиная с начала», забывает «начала» предшественников, обращаясь к новому или все тому же западному философу, и все повторяется заново»[286]. Не эта ли юношеская пылкость в отрицании предшественников и старших коллег являет неоспоримое свидетельство подросткового ха-

[286]Крайнее равнодушие к своим современникам отмечает точный В.В. Розанов, который через 27 лет после выхода его трактата «О понимании» (1886) с болью восклицал: «Что же это за мертвая пустыня? При восьми университетах и четырех духовных академиях не появилось никакого отзыва, никакого мнения». Парадокс мысли Розанова воплотился в том, что, уйдя в публицистику, о чем написал позже: «Если бы какое-нибудь внимание к этой книге показало мне, что есть возможность в России трудиться и жить для философии, — вероятно, я никогда не стал бы публицистом». Но и став публицистом, ситуация гротескно повторилась: «Когда я издал два тома „Семейного вопроса в России“, то на книгу не только не обратили никакого внимания, но во всей печати о ней не было сделано ни одной рецензии и ни одного указания или ссылки» (Розанов В.В. Сочинения. — Л.: Васильевский остров, 1990. — С. 399). Ему остался один путь — путь в литературу и критику.

рактера нашей мысли, выход из которого, по Канту, является условием Просвещения, условием традиции, условием внимания к своему топосу, отстаивающего его особенности в глобальном мире.

Терроризм — современная форма нигилизма

Уже свершившаяся судьба нигилизма XX века есть история, которая осмысливается здесь изнутри своего века. Это дает остроту переживания, смутное, трудно артикулируемое ощущение конца истории определенной формы нигилизма, отождествляется с концом истории *как таковой*.

Следующей, покидающей определенность схемы анализа нигилизма как в форме государственного тоталитаризма, вычеркивающего индивидуума и личность государственной тоталитарной машиной (то, что так отчетливо проявило себя в ситуации Первой мировой войны) и отрицание (уничтожение) персоны, олицетворяющей власть с позиций маргинальной идеологии группы, переприсвоившей себе функцию устанавливать новую конструкцию власти. Инновационный нигилизм радикальных одиночек и маргиналов осуществляет терапевтическую роль: его негативной энергией питаются экономика, политика управления массами, индустрия развлечений и мода. Это отразил еще в 30-е годы Э. Юнгер: «Общество (бюргерское) обновляется в ходе мнимых нападок на самое себя. Свойственный ему образ мыслей сказывается в том, что всякую противоположность оно стремится не отторгнуть, а вобрать в себя. Где бы ни встретилось ему то или иное притязание, заявляющее о своей решимости, оно идет на утонченный подкуп, объявляя его очередным выражением своего понятия свободы и, таким образом, придавая ему легитимность перед судом своего основного закона, то есть обезвреживая его. Это придало слову «радикальный» его невыносимый бюргерский привкус, и, кстати говоря, благодаря тому же сам по себе радикализм становится прибыльным занятием, которое было единственным пропитанием одному за другим поколениям политиков и художников»[287]. По сути дела, Юнгер выразил то же, что диагностировал в начале XX века В. Розанов: «Нигилизм давно лижет пятки у богатого… нигилизм есть прихлебатель у знатного»[288]. Культурная легитимность этого вида терроризма поддержана позитивностью обнаруженного противоречия, позитивностью дозированного конфликта и стресса. Того, что мы можем обнаружить в таких феноменах, как «бунтующая экстравагантность» — течение моды, которое как нельзя точно отражает позитивную оценку адаптированного протеста, к прирученному феноменом моды нигилизму, к радикализму в рамках буржуазного вкуса.

Творчество авангардного нигилиста питается состоянием восторга, эйфории, экстатической радости, есть рождение нового в реальном времени. Помещая себя в зону осуществленного будущего, и модернист, и нигилист оказывается на острие прогресса. Политической революции сопутствовала революция в умах авангардных художников; радикальный разрыв с предшествующей традицией уравновешивается появлением новых направлений (футуризм, авангард, конструктивизм). Именно в этом ключе стоит читать утверждение Жана Полана: «Вместо того чтобы возмущаться приемами Террора, нам, возможно, стоит восхититься его мудростью»[289].

[287]Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. — СПб.: Наука, 2000. — С. 75–76.

[288]Розанов В.В. Соч. Л., 1990. С. 351. И надо признать, что отмеченное Розановым и Э. Юнгером явление не есть исторический эксцесс, скорее унылый повтор судьбы строптивцев и бунтарей, с возрастом становящихся конформистами и консерваторами. Вот пример из настоящего: «Несмотря на заложенный в роке элемент бунтарства, рок-индустрия стала в последнее время очень консервативным бизнесом» (Сибрук Д. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. — М., 2005. — С. 144). Речь идет об американской рок-сцене рубежа XX–XXI веков.

[289]Полан Ж. Тарбские цветы, или Террор в изящной словесности. — СПб., 2002. — С. 129.

Нигилист действовал изнутри целого, направлял свои усилия на трансформацию целого (не случайны юнгеровские образы мутации, трансформации), террорист же действует извне. Если нигилизм это, в первую очередь, личная проблема и проблема нравственная, то терроризм — неличностная, поскольку ставит человека перед фактом бесконечного и непоправимого зла, немыслимого в этических категориях; террор есть проявление зла в чистом виде. Нигилист имеет лицо, персонален, а террорист — имперсонален, безлик. Терроризм — новое имя нигилизма. Нигилизма, который от шокирующего отказа от Бога и морали, от одиночных выстрелов и готовности к самопожертвованию революционеров XIX века, в XXI веке технически оснастился, взяв на вооружение архаическую логику «мы» и «они». Его цель — не прогрессивное развитие, но отказ от развития, сохранение традиционного уклада жизни, который внутренне враждебен современной цивилизации. Дело в том, что логика терроризма строится на других, не связанных *с рациональным проектом* основаниях. Следовательно, и помощи в понимании терроризма «деконструкции» классической рациональности оказывают ничтожно мало. Нигилизм — доведенная до идеализма идея прогресса, терроризм — абсолютизация традиции, стагнация политики, веры и морали. Абсолютная жертва терроризма — производная новой формы нигилизма XXI века есть результат абсолютного преступления и она же инверсия абсолютизации уверенности не только в своей правоте, но и неуязвимости. Но любая абсолютизация чревата отрывом от реальности, в том числе отрывом от реальной угрозы. Эпоха глобализации — эта настоящая злоба дня — вызвала к жизни стратегию терроризма фундаменталистов, утверждающую права аутсайдеров и маргиналов на *самобытность*, путем негации бытия господствующих. Идеологию столь эффективную, что уже «американское правительство приняло и установило в качестве аксиомы принцип, позаимствованный у тех, кто на них напал. Оно согласилось характеризовать конфликт в этических и религиозных терминах: «битва добра со злом, битва, тем самым, столь же беспредельная, как и само их противостояние», — точно фиксирует Ж. Рансьер.

Терроризм как крайняя форма проявления практического нигилизма существовал с тех пор, как на исторической сцене появился нигилизм. Террорист упивается не видением нового, но средоточием *взглядов на себе* в реальном времени, ведь теракты и 11, и 1 сентября, в которых погибли безвинные люди, весь мир смотрел в прямом эфире. Сверхценность индивидуальной жизни, проистекающая из западного ее образа, притягивает всех к источнику новостей. Террорист закрывает для себя будущее, но предоставляет возможность массам, не отрываясь, с ужасом созерцать себя в настоящем. Он не открывает *еще не ставшее*, но давно уже ставшее отождествляет с неизменно сущим. Он провозглашает (всеми возможными средствами) конец истории становления. Терроризм тотально отчужден от производства и становления и в то же время консервирует *прототипы* организации современной жизни. Тотальная негация и радикальный жест вычеркивания — отличительная черта терроризма эпохи глобализации.

Неспособность создать идеологию рождает стихийный, аффективный способ поведения, обращающий себя к «мифическому праву» (В. Беньямин). Терроризм — нерефлексивное понятие, отождествляемое с «божественным насилием», поскольку он стремится возродить ситуацию, очевидную для архаики: «смена событий в мире определялась мгновенной волей богов — для новых людей она определялась вечным мировым законом»[290]. Меняющий фундамент жизни и связанный с крайней формой насилия и разрушения терроризм декларирует себя фундаментальным. Именно поэтому он нерефлексивен, тогда как нигилизм имел респектабельную связь с философски понятой и обоснованной формой отрицания; нигилизм связывает себя с революционным порывом, с будущим, а терроризм — с контрреволюционным, с

[290]Гаспаров М. Об античной поэзии. — СПб., 2000. — С. 59.

прошлым[291]. Но что, скажите, даст нам попытка увидеть след нигилизма в терроризме? Объяснит ли это парадокс, зафиксированный Розановым: «в терроризм можно влюбиться и возненавидеть до глубины души»? Не единство же территории, на которой и за обладание которой происходит акция. По крайней мере, именно в силу нерефлексивности термина «терроризм», мы не можем говорить о его привлекательности, зоне сверх-значимости происходящего, великого и мгновенного события, которое раскалывает жизнь на *до и после*. Рождаются новая эпоха, новая культура и политика, новая философия. Однако ничто так не мешает аналитике, как абсолютизация уникальности феномена. В другом ключе трактовка его как очередной формы (еще одной, но, конечно же, не последней) дает другую точку зрения, скорее обустраивает место, из которого можно продумывать вместе с Юнгером и Хайдеггером ситуацию «у последней черты». Важно, что «место собирает. Собрание скрывает собранное в его сущности. В зависимости от места линии устанавливается происхождение сущности нигилизма и сущности его окончания. В моем письме, — пишет Хайдеггер Юнгеру, — мне хотелось бы предварительно промыслить место линии и таким образом обсудить»[292].

Уничтожение другого мира — вот цель новой формы нигилизма. Его территория, если придерживаться терминологии Юнгера, не театр военных действий Первой мировой войны, но весь мир. Остался в прошлом нигилизм как побочный эффект неизбежности прогрессивного развития, нигилизм, который в радикальном авангардном порыве стремится в зону рождения нового, доселе неизвестного. Здесь мы имеем дело с *ре*акцией на западный тип воспроизводства жизни, одним словом — с *ре*активным нигилизмом. Кровавая архаическая жертва и терроризм есть то, *чего не может быть* согласно идеалам просвещенного разума, религии, морали. Когда нигилизм принимает форму терроризма, тогда отрицание не есть момент внутреннего развития, а бытие сущего отрицается тотально. В таком случае переход через линию есть переход последней черты существования, что ведет не только в другой, лишенный метафизики мир, но в мир иной, где другой (новый, цивилизованный мир) вычеркивается как вид сущего. В итоге, высвобождая в нигилизме бездну ужаса, терроризм сковывает жизнь холодом небытия.

---

[291]Томас Манн в 1929 году в статье «Место Фрейда в современной духовной истории» полемизирует с иррационалистической мыслью своего времени, к которой он относил Фрейда, обращает внимание на странную перверсию термина «революция»: Фрейд относится к тем мыслителям, «которые «революционно противопоставляют» разуму примат бессознательного — чувства, воли, страсти. Слово «революционно» употреблено здесь в парадоксальном и прямо противоположном с точки зрения привычной логики смысле, поскольку мы привыкли связывать понятие «революция» с властью света и эмансипации разума, то есть с будущим, то в данном случае смысл его и призывы звучат прямо противоположно: а именно, в смысле великого возврата в темное, священно-изначальное… в мифо-историко-романтическое материнское лоно. Это означает реакцию, но преподносится оно как революционное» (Mann Th. Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte // Mann Th. Gesammelte Werke in 12 Bänden. Bd. 11. — Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 1960. — S. 201–202.). Ирония истории в том, что именно иррационалистическое прочтение мифа утверждается идеологически верным, на что определенно указывал национал-социалистический философ А. Боймлер: «Миф совершенно обособлен от науки. Всякое рационалистическое, психологическое, историческое объяснение мифа исключается» (Zit. nach: Günther H. Der Herren eigner Geist. Ausgewählte Schriften. — Berlin und Weimar, 1981. — S. 215).

[292]Судьба нигилизма. Э. Юнгер, М. Хайдеггер, Д. Кампер, Г. Фигаль: Пер. с нем. Г. Хайдаровой. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. — С. 68. Обращу внимание, что глагол erörten (обсуждать, разбирать, рассматривать), но в основе его корень «место». Хайдеггер отсылает здесь к значению — определять метоположение. В русском переводе этого частотного у Хайдеггера слова (erörten, die Erörtung), с помощью которого он раскрывает цель своего послания, используются стандартные значения — рассмотрение, рассуждение. Естественно при этом утрачивается общая картина лексического выбора: линия, зона, территория, место, определение местоположения, наместник, поместье, размежевание, движение, и наконец топология — терминологический набор, призванный ответить на вопрос о бытии, ничто и нигилизме» (Там же).

Древние были мудры, когда резонно опасались менее развитых соседей, числя за ними магию и колдовство[293]. Сегодня утрата чувства самосохранения обернулась трагедией. При этом трагедия прямо противоположным образом прочитывается ее участниками. Жертвами себя считают *обе стороны*, победителями — никто. Первые, потому что акты террора направлены на них. Вторые, считают так потому, что они выступают от имени народов-жертв, неспособных сохранить свою общность, устои и традицию перед лицом глобализации, вестернизации, голливудизации, ведущие к необратимым трансформациям образа жизни и традиционных ценностей, и которые поэтому не находят других средств сопротивления всесилию тотальности медиа, визуальных образов, подкрепленных военной и экономической мощью Запада. Идеологи терроризма уповают на него как на универсальное средство магического преображения реальности, но не в духе развития самосознания человека, не развития образования и просвещения, а видят в нем средство «подморозить» Восток, пытаясь сохранить ритм жизни цивилизации, которая, по образному выражению Э. Чорана, «млеет в величественной косности». Ведь что говорят, когда говорят, что здесь ничего не происходит? На самом деле здесь идет тяжелая работа по сохранению устоявшихся форм жизни, культуры, экономического уклада и политических отношений сопротивляющимся новациям.

При этом терроризм вступил в эпоху машинизации социальных связей, онтологической реальностью которых является образ. Здесь происходит тотальное сращивание тела производящего, передающего и получающего информацию. Человек замыкается в мире вторичных изображений, а любая попытка поиска референта прямо или косвенно отсылает к реальности образа. В результате рождается одно обезличенное тело, которое быстро разбирается и собирается в точках информирования. В цивилизации, девальвировавшей слово, эффект «разорвавшейся бомбы» приобретает *образ взрыва*, двумерная геометрия которого, подобно наскальным рисункам архаической эпохи, наследует их магическую силу. Режим глобализации опирается не на девальвировавшие себя тоталитарные механизмы власти, но на всесилие образа, которому решительно уподобляется коллективное традиционное тело. В цивилизации образа люди видят не образы, а образами; они схвачены его организацией.

Терроризм завершенного постмодернистского проекта не схватывается ни притязанием классического разума, ни интенцией подозрения, ни искусством деконструкции любой инстанции власти. Дело в том, что сам акт манифестации его 11 сентября 2001 года перформативен: он завершает проект капитуляцией как техники, его породившей, так и техники аналитики его. Учреждается новая эпоха, яркость осознания которой входит в противоречие с «глубиной» ее постижения.

Начальная школа терроризма

Первый взрыв атомной бомбы 6 августа 1945 года — точка концентрации разума, финальный аккорд прогресса и знак кризиса цивилизационной (планетарной, сказал бы Хайдеггер) модели общества. 11 сентября 2001 года — конец эпохи постмодерна, а 1 сентября 2004 года — конец иллюзии *однородности* нашего общества. Первое сентября — констатация рыхлости коррумпированного большого социального тела, которому противостоит плотно сбитое инородное тело террористов. Но коррумпированность не привнесена извне. Она есть память любого древнего общества, действующего по закону данного тела традиции: похищение, выкуп, откуп, дар. Первое событие — взрыв атомной бомбы — потребовало для своего осуществления чистоты производства, технологических процессов, обогащенного урана, вто-

[293]Э.Б. Тайлор собрал многочисленные примеры, подвигнувшие его к выводу о том, что «в любой стране изолированное или отдаленное племя, уцелевший остаток более древней народности могут приобрести репутацию колдунов» (Тайлор Э.Б. Первобытная культура. — М., 1989. — С. 92).

рое — 11 сентября — результат идеализации прогресса и технического превосходства, родившего чувство успокоенности, а третье событие — 1 сентября — стало возможно благодаря тотальной коррупции, скрытой силе доцивилизационного — традиционного — типа общественных связей, той коррупции, которую Кант назвал испорченностью человеческого сердца, предпочитающего моральному закону, неморальные мотивы.

Во времена «Даманского кризиса» на Дальнем Востоке (март 1969 года) стала известна концепция войны, принятой Китаем: всеми силами решительно смять дистанцию, сблизиться настолько, чтобы враг не мог применить оружие массового поражения, не задев своих. После этого в ближнем бою, используя превосходящий человеческий ресурс и дисциплину тела, опрокинуть противника. Если Китай и стал стратегическим партнером России и изменил концепцию войны, посылая в бой не людей, но одноразовые товары, то ее взяли на вооружение террористы; сняв черные маски и приняв гражданский облик, они, став неразличимыми, приблизились к нам. В отношении террористов бесполезно техническое превосходство, или, если избегать прямолинейности, нельзя уповать только на техническое превосходство. Их коллективное тело, находящееся на другой стадии социального возраста и, следовательно, иначе относящееся к смерти, неизменно превосходит цивилизованного человека, человека, привыкшего воевать *внешней техникой*, террористы использует *технику внутреннюю*: психотехнику, технику религиозной проповеди, устраняющие страх смерти, боль и сочувствие к другому. Путь террориста — путь религиозного спасения. Еще А. Шопенгауэр заметил: «бесспорно, что одна религия или философия больше, чем другая, рождает в человеке способность спокойно глядеть в лицо смерти. Брахманизм и буддизм, которые учат человека смотреть на себя как на первосущество, Брахмана, которому, по самой сущности его, чужды всякое возникновение и уничтожение, — эти два учения гораздо больше сделают в указанном отношении, чем те религии, которые признают человека сотворённым из ничего и приурочивают начало его бытия, полученного им от другого существа, к реальному факту его рождения. Оттого в Индии и царит такое спокойствие и презрение к смерти, о котором в Европе даже понятия не имеют»[294]. Сегодня религиозное презрение к смерти объединилось с техногенной фазой нигилизма — терроризмом.

Радикально поменять полюса своего-чужого и стать ответственным, создать из неукорененного, коррумпированного, а потому рыхлого социального тела, тело солидарное и плотно сцепленное — условие *асимметричного* ответа терроризму. Но подобное лечится подобным. Когда я вижу сеть разбегающихся грунтовых дорог у границ своего географического тела, когда я знаю, что по ним идет контрабанда, я получаю послание о том, что вслед за контрабандой товаров придут наркотики, оружие, террористы. Чтобы выжить, необходим ряд мер, в том числе и идеологических, для чего нужно сделать выбор интеллектуалам, включая тех, которые комфортно чувствуют себя на информационном рынке и по старой российской привычке отделяют себя, свою позицию от государства, власти, правительства и, в конце концов, от интересов *земли* в забытом у нас, но актуальном, например, в Германии, смысле. Отчуждение от места дает право считать *чужой* власть, политику, военные действия и специальные операции страны, в которой родился и в которой продолжаешь жить. Признать же ответственность за происходящее — признать власть, которую ты выбирал властью *своей страны*, следовательно, необходимость работать на трудном (потому что грязном, по определению) пути политики, борьбы за приход во власть *своих лидеров, своих политиков*, за которых ты будешь отвечать, — неимоверно трудно. Насущна (как бы эта тема не казалось закрытой после известных трудов Слотердайка) разработка цинизма как философской категории, как позиции, как способа ориентирования, которая намного глубже, чем мо-

[294] Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: В 2 т. Т. 2. — М., 1992.

рально-этическая его трактовка[295]. Цинизм лежит в основе широкоизвестных формулировок: «это в наших жизненных интересах», «это наша китайская специфика», «это наша традиция», «это наши культурные особенности», по сути своей, есть не что иное, как род недоверия (на основе доверия своей традиции) к абстрактным, общечеловеческим принципам. Цинизм есть скрытое признание приоритета традиции, признание первенства интересов *целого* определенной культуры по отношению к частному. Собственно говоря, тот в полной мере осуществившийся в проведении политики развитых западных стран, но так и не нашедший своих идеологов у нас феномен. Еще в более карикатурном, ибо доведенном до чистой — невозможной — формы проявления виде, это наблюдаем в отдельных постсоциалистических странах и республиках. Мы склонны по своей неистребимо идеалистической привычке противопоставлять чистое — грязному, политике — мораль, интеллигенции — власть. «Критика цинического разума» не про нас, ибо это критика того, чего у нас нет. А раз нет цинизма, тогда господствуют идеализм и его неизменный спутник демагогия.

По прошествии времени «Вехи—2» — если таковые будут написаны — не смогут обойти стороной вину интеллектуалов за происходящее, за сдачу интересов страны в угоду теперь уже «чисто» рыночным приоритетам, выдаваемым за существо демократии, но, по сути, цинизма олигархии, проводящей свою политику под видом общих интересов Запада, демократии, ценностей свободы. Опытные, циничные игроки всегда переигрывают принципиальных и последовательных идеалистов, неофитов. И главная их вина — *неучастие*. Если интеллигенция виновна в свершившейся революции 1917-го, то современные интеллектуалы, все силы бросившие на чтение, перевод и изучение западных концептов, виновны в забвении местного контекста; о реальных проблемах редко говорят, еще реже размышляют и пишут, а тем более публикуют свое мнение. Неангажированность на руку тем, кто под видом общечеловеческих ценностей проводит собственные интересы. Все еще в ходу индивидуализм. Он же причина неумения обращать внимание и разоблачать демагогию и мужественно заявлять об интересах топоса. «Интеллектуалам не хватает внутреннего терроризма» (С. Л. Фокин) — решимости утверждать свою, а не применимую здесь идеалистическую точку зрения, точку зрения универсальности, собранную, меж тем, в локальном топосе, но скрывающую свою локальность. При этом на выражение интересов топоса часто претендуют те, кто, апроприируя позицию целого, говорит несдержанно, неполиткорректно, агрессивно, а посему — неумно, либо те, кто, изнутри открещиваясь от такого рода патриотов, говорит с постыдной интонацией оправдания, оговорок, робея перед властью микрофона и камеры — продукта развитой публичности. Архиважнейшая задача момента — осознать место, из которого говорит человек, его топос речи, по Аристотелю. Но достаточно ли мы сильны и мужественны, чтобы вынести на суд публичности свою местную истину, свой «режим истины» (Фуко), отстоять ее и при существенном изменении ситуации отказаться от нее при изменении обстоятельств и выдвинуть другой лозунг? Отрицательный ответ опирается на отрицание присутствия своей актуальной философии в обществе. Косвенно он отвечает на другой вопрос: почему в России при отсутствии философии неизменно сильны физики-теоретики, математики и шахматисты? Да потому, что неистребим идеализм, неистребимо желание всеобщности и необходимости, которую дают идеальные объекты, необходимости вне времени и места, а в случае шахматистов — принуждение играть по одним правилам.

[295]Забылось, что и сама этика в процессе перехода от феодально-стратифицированной дифференциации к дифференциации буржуазной, функциональной в конце XVIII столетия, укрепляясь в буржуазном обществе, в лишенной альтернатив социальной реальности, должна была сама себя теоретически обосновывать, себя саму учреждать и убеждать на своих собственных рациональных принципах» (Luhmann N. Ethik als Reflexionstheorie der Moral // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Bd. 3. 1989. — Frankfurt am Main: Suhrkamp. — S. 416).

Не замечать происходящего или, напротив, впадать в обличительный по отношению к власти пафос, с дрожью в голосе говорить о трагедии (вполне объяснимая и понятная позиция интеллигента) — не выражает существа дела. Кстати, обвинения в недемократической и неинтеллигентной позиции являются одним из наиболее страшных обвинений мыслителя наряду с национализмом, шовинизмом, имперским мышлением. Эти ярлыки дезавуируются не только временем, но и топологической рефлексией. Поскольку философ не может работать, а следовательно, эффективно отвечать, в поле смыслов, в котором работает политик, телеведущий, журналист, постольку признак правоты позиции интеллектуала возрастает тогда, когда его обвиняют во всем сразу. Но, как показала история, особенность нашего отечественного нигилизма, дополнив диагноз В.В. Розанова, в том, что им были проникнуты и знатные, и богатые. Быть в оппозиции, отстаивать абстрактные принципы и провозглашать столь же абстрактные идеалы легко, а принимать практические созидательные решения — трудно, неблагородно (ибо на стороне власти), не интеллигентно и недостойно. К тому же оплата за это сомнительна. Творить историю, разрушая, — просто, а подстригать газон, каждый год по весне убирать камни с поля, устанавливать и поддерживать порядок — сложно.

Мыслитель призван анализировать события, говорить от имени тех, у кого есть чувства, но нет навыка рефлексии. Но здесь я вижу прямую зависимость между отсутствием в рядах призывников на военную службу детей элиты и отсутствием в рядах интеллектуалов тех, кто бесстрашно подвергает рефлексии современное положение дел, исходя из интересов людей, исторически проживающих в данном месте. Мало доверия тем, кто *здесь* лишь одной ногой, кто *понимает и оценивает* извне. Однако власть, лишенная бескомпромиссного философского анализа, страдает иммунодефицитом и поэтому подвержена вирусам чуждой топосу политики. В итоге ей всегда неловко, как бывает неловко в одежде с чужого плеча. Если нет своей философии, мы получаем «независимый» аналитический дискурс с оглядкой на интересы другого. (В свое время В. Беньямин своей концепцией «критики насилия» развязал язык тем, у кого были связаны руки, указал на право быть правым, критикуя большинство, западное правовое государство, власть.) Сегодня остро востребован дискурс борьбы не столько с первыми тремя, но и четвертой властью, — или, что часто одно и тоже, демократической элитой, осуществляющей свое господство медиасредствами, а следовательно, через общественные настроения, нерефлексивный пафос, популярность.

Но вернемся к границе. Главная граница проходит внутри нас; отпечатываясь во вне, она есть то, что трудно преодолеть, то, что картографирует наши пространственные траектории физического движения, траектории осуществления желания. И образ стены времени точнее раскрывается не непреодолимой стеной и автоматными очередями, прерывающими бег к границе. Суть ее раскрывается табу, нарушение которого невозможно изнутри, потому что неотвратимо следовало ужасное наказание. Граница всегда несет облик ландшафтной линии, которая проведена на собственном геополитическом теле, она разделяет не природу и культуру, но культуру природопользования, культуру внутреннюю от внешней, к примеру, дорогу от поля и леса, своего и чужого тела, солидарности и противостояния[296]. Дикая, естественная природа сегодня самый культивируемый объект природы. Она требует доброй воли и непрестанных усилий по сохранению дикости как дикости. Глубокая и безграничная душа соотечественника принадлежит *безграничному* же географическому его телу, которое *не ви-*

[296]Соотечественник, как утверждают психологи, очень плохо понимает границу своего и чужого, посему в его отношении к близким присутствуют крайности от принятия дальнего, как своего и близкого, как чужого, как противника. Это же фиксируют социологи и политологи: «В России в ее европейской части — самый низкий уровень взаимного горизонтального доверия по сравнению с 27 странами Европы… 70 процентов населения полагают, что окружающие люди будут относиться к тебе нечестно, обманут», — говорит политолог и социолог Эмиль Паин (http:// www.ng.ru/ideas/2010—09—03/8_innovations.html).

дит, не знает, а следовательно, не соблюдает границ своего и чужого, частного и публичного пространства, дороги и газона, города и окружающей его природы, границу своих и чужих интересов. Нет четкости границы — появляется обширная зона маргинального, зона беспорядка и хаоса. Но хаос, надо заметить, торжествует недолго, ибо в таком состоянии невозможна жизнь. Он порождает форму доправового регулирования. Порядок силы, неписаные правила и табу поддерживают жизнь, но ограничивают перспективу равного для всех права, ибо права сила. Таков внутренний закон нигилизма.

Нигилизм в XX веке, став нормой, отошел в историю. Появилась новая форма его. Оправдался диагноз Хайдеггера: «Позиции нигилизма благодаря пересечению линии, как кажется, в значительной степени уже сданы, но *язык нигилизма остался»*. Суммируем современный контекст словоупотреблений нигилизма: государственный, социальный, религиозный, внутренний, правовой, национальный, смертоносный, метафизический, абсолютный и т.д. Таковы наиболее частотные определения ситуации в России, ситуации, когда уже ставшая форма требует иной рефлексии, иного языка, иной формы организации индивидуального и коллективного тела, а господствует аналитика нигилизма дотеррористического периода.

Итак, мы уже оказались по ту сторону черты, линии, границы эпохи. Но нашли ли мы новое «точное и уместное выражение» настоящего времени, нашли ли новую интонацию, изобрели ли новый язык, на котором можно говорить об открывшейся нам перспективе XXI века, из которой не изъять терроризм, поскольку он самым тесным образом связан и с обществом потребления, и с массмедиальной формой жизни, и закатом эпохи постмодерна? Вопрос остается открытым.

Продолжение следует.

НАШИ АВТОРЫ

Колчинский Эдуард Израилевич – доктор философских наук, профессор, директор Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН (ihst@ihst.nw.ru)

Кондратьева Ольга Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания и славянских языков Кемеровского государственного университета (Kondr25@rambler.ru)

Лугвин Сергей Борисович – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры политологии и истории Гомельского технического университета им. П.О. Сухого (lugvinsergey@rambler.ru)

Макаренко Виктор Павлович – заслуженный деятель науки РФ, академик Академии педагогических наук Украины, доктор политических и философских наук, профессор Южного федерального университета (vpmakar1985@gmail.com)

Мамедов Октай Юсуфович – заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой политэкономии и экономической политики Южного федерального университета (mamedov@sfedu.ru)

Неретина Светлана Сергеевна – доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН (abaelardus@mail.ru)

Очеретяный Константин Алексеевич – ученый секретарь Центра медиафилософии, аспирант кафедры онтологии и теории познания Философского факультета СПбГУ, арт-критик (ocherk.on@yandex.ru)

Рац Марк Владимирович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, эксперт фонда «Институт развития им. Г.П. Щедровицкого» (ratzm@netvision.net.il)

Савчук Валерий Владимирович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры онтологии и теории познания Санкт-Петербургского государственного университета (vvs1771@rambler.ru)

Соловьев Константин Анатольевич – доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры политической истории Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (ksoloviov@spa.msu.ru)

Шупер Вячеслав Александрович – доктор географических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, профессор кафедры региональной экономики и географии Российского университета дружбы народов (vshuper@yandex.ru)

Summaries and keywords

Makarenko V.P. Who and How Scratches the National Lust

Summary: In the article which is based on the concept of B. Anderson the official bureaucratic national-ism is problematized. Such nationalism has emerged in the Russian Empire but it is also actualized by the modern Russian elites. The author assumes that the Russian nation is an imagined community which does not have any ontological reality. Rather, it has been invented by the Russian bureaucracy and intelligentsia, and it exists in a homogeneous empty time. The being of this imaginary community is linked to the complex of political and ideological rituals which are legitimizing the activities of politicians, government offices, and intellectuals in Russia. Russian language, Russian official orthodoxy, and the Leninist-Stalinist version of Marxism, as well as their linguistic and ideological hybrids still act as generators of the imaginary community of the Russian nation.

Keywords: nation, official bureaucratic nationalism, ideological bureaucracy, intelligentsia.

Neretina S.S. Once Again about Right as a Way of Russia's Rebuilding

Summary: Through historical analysis of the key political and managerial concepts, such as "state", "federation", "right", "minister", "administration", "Governor" and others, the author reveals the equivocality of these terms in Western Europe and Russia. Thus, if the term "governance" was semantically related, in the history of Western Europe, to the contractual relations, that is, to "right" and "rightness", then in Russia it was connected with the idea of the acquisition of territory, with "uprava" [town board] and "pravezh" [compulsion to pay debts, taxes, etc. by public punishment]. The result of the historical development of Russia was a domination of voluntaristic personal principle over the principle of representativity. According to the author, it is necessary to "clear himself from the language" which imposes such meanings and influences the political practice of modern Russia.

Keywords: M.K. Petrov, concept, method of equivocation, mentality, democracy, law, governance, civil society.

Solovyov K.A. Power of Moscow's Prince in the Second Half of the XV Century: The Official Version

Summary: The paper analyzes the processes of the formation of the official ideology in Russia in the second half of the XV century. As the author, the official position on the sovereign's power of all Russia was based on three ideas in their different combination: the idea of "patrimonial" tradition, according to which the power of the Grand Duke was seen as historically conditioned reality; the idea of authority established by God, which narrows governor's latitude maneuver and reduces his will; and the idea of government by the will of the Grand Duke, which combines tyrannical principle with traditional family values and the concept of duty. However, the

government's official position at the very beginning of the XVI century still looks very weak, and this explains, just for the late XV and in the first quarter of the XVI century, the appearance of a large number of informal ideological and political texts which were finally summarized in the concept of 'Moscow - the Third Rome'.

Keywords: official ideology, legitimacy, “patrimonial” tradition, authority established by God, Moscow - the Third Rome.

Kolchinsky E.I. Beginning of N.I. Vavilov’s Sorrowful Way (Towards the 125th Birthday Anniversary of the Great Scientist)

Summary: Based on the documents from the St. Petersburg's archives, one of the post-perestroika myths is disproved, namely the myth about conflict between N.I. Vavilov and T.D. Lysenko as if the leaders of two scientific schools were competing for the financial, material and human resources. It is shown that already in the first attacks on the Vavilov, which began before the rise of T.D. Lysenko as any meaningful figure in the community of agriculturists and breeders, scientific component of the discussion was very small, and, in normal social and political conditions, it would not have had such tragic consequences for many of the discussion's participants. From the very beginning, criticism against Vavilov was inspired and controlled by the communist party's structures, while his opponents were mainly guided by the politico-ideological and careerist considerations. Already by 1932, N.I. Vavilov lost its independence in the personnel policy and pretty much lost control of the institutions he led. Thus, the main features of “Lysenkoism” as a social and political practice in Soviet science were developed before the fight between geneticists and lysenkoists began. Just at that time the main accusations against N. Vavilov have been put, and that eventually led him to the stake of Stalin's inquisition.

Keywords: “Cultural revolution”, N.I. Vavilov, A.V. Albensky, G.I. Bykov, I.I. Present, VIPBiNK /WIR [Russian abbr., All-Union Institute of Applied Botany and New Cultures / All-Union Institute of Plant], VASHNIL (Russian abbr., All-Union Academy of Agricultural Sciences of the V.I. Lenin), the CCC - NC RCI [Russian abbr., Central Control Commission - People's Commissariat of Workers 'and Peasants' Inspection], LOCA [Russian abbr., Leningrad Regional Bar Association], ОБМ [Russian abbr., Society of Materialist Biologists], party bureau.

Shuper V.A. Innovative Development in the Light of Lev Gumilev’s Eurasian Conception

Summary: The article considers the passionarity conception by Lev Gumilev and it’s impact on the modern Eurasianism in the Russia. The Russia will be faced with the difficult choice of the development model – democratic or authoritarian – in very unfavourable conditions: the strengthening of the China and the weakening of the West.

Keywords: passionarity, methodological efficiency, development model, integration cycle, disintegration cycle, alternation of cycles.

Lugvin S.B. European Bureaucracy: the Formation Context

Summary: The early stage of genesis of European state bureaucracy is considered in the article. According to the author, this period was defined, in many respects, by technical and economic features of the rising manufactory capitalism as well as by the political processes of formation of absolute monarchies. Further, the complexity and discrepancy of the emergence

process of European bureaucracy is shown in the article. In this process, on the one hand, the archaism and traditionalism elements remained long enough, and on the other hand, the purely bureaucratic structures were built gradually but steadily.

Keywords: transformation process, traditional society, industrial society, French bureaucracy, English officials, Prussian bureaucracy.

Mamedov O.J. Street Demonstrations: a Modern "Dress Code" of Politics?

Summary: The article deals with one of the forms of political protest, namely, street demonstrations. The general conclusion of the author is that the organizations play an important role in mobilizing people to participate in street demonstrations, and there is a connection between the protesters in the streets and the non-governmental organizations that focus on lobbying negotiations.

Keywords: political protest, mass movements, street demonstration.

Raz M.V. On the Question of Composition and Structure of Science about Book

Summary: Article focuses on the refinement and deployment of existing ideas about bibliology, its composition and structure, in terms of the activity approach and methodology of modern science.

Keywords: activity approach, science about book, bibliology, bibliographing, sociology of reading, collection of books, bibliophilia.

Makarenko V.P. First Handshake

Summary: Based on the material of the Soviet history and of the book of M.V. Raz "About Collection", the author reflects on the phenomenon of bibliophilia, book culture, and personal biography.

Keywords: bibliophilia, book culture, sociology of reading, biography.

Kondratieva O.N. The Concept "Crisis" in the Bulgarian and Russian Media Discourse

Summary: The article represents the review of the monograph of the doctor of sciences, senior lecturer Lilyana Tsoneva "The Concept *crisis* in the media discourse (Bulgarian-Russian parallels)" (Veliko Tyrnovo: Ivis, 2012. 216 p.).

Keywords: political linguistics, political concept, crisis, media discourse.

Ocheretyany K.A. Summa topologiae

Summary: This article is a review of a book written by Valery Savchuk "Topological reflection" (Moscow: "Canon+", ROOI "Rehabilitation", 2012. 416 p.).

Keywords: reflection, topology, archaic consciousness, nihilism, terrorism, performance, photography, mass communication.

Savchuk V.V. Topological Reflection (Part I and II)

Summary: The Journal “Political conceptology” publishes the book of Valery Savchuk “Topological reflection”. As suggested by the author, the widespread argument that reflection has lost an explanatory potential indicates a crisis of reflection of the classical type. At the same time, the revival of research interest in this topic actualizes a new type of reflection - a topological one. The author proposes the following classification: an empirical, a logical, a transcendental, and an absolute reflection, further, rejection of a reflection as of a method of truth identification in the post-structuralist paradigm and, finally, the emergence of a topological reflection as of a new type of reflection. The article presents the characteristics of this type of reflection, as well as a number of concrete studies which are methodologically based on the topological reflection: the characteristic of archaic consciousness, the phenomena of terrorism and nihilism, performance art and photography, the communicants as a product of mass communication.

Keywords: reflection, topology, archaic consciousness, nihilism, terrorism, performance, photography, mass communication.

CONTENTS

EDITOR'S WORD

Makarenko V.P.
Who and How Scratches the National Lust..... 5

RUSSIAN POWER: DESCRIPTIONS AND REFLECTIONS

Neretina S.S.
Once Again about Right as a Way of Russia's Rebuilding..... 33

Solovyov K.A.
Power of Moscow's Prince in the Second Half of the XV Century: The Official Version..... 55

SCIENCE AND SOCIETY

Kolchinsky E.I.
Beginning of N.I. Vavilov's Sorrowful Way (Towards the 125th Birthday Anniversary of the Great Scientist)..... 72

ECUMENE

Shuper V.A.
Innovative Development in the Light of Lev Gumilev's Eurasian Conception 123

Lugvin S.B.
European Bureaucracy: the Formation Context..... 131

Mamedov O.J.
Street Demonstrations: a Modern "Dress Code" of Politics?..... 145

BOOK SHELF

Raz M.V.
On the Question of Composition and Structure of Science about Book..... 149

Makarenko V.P.
First Handshake..... 159

Kondratieva O.N.
The Concept "Crisis" in the Bulgarian and Russian Media Discourse..... 165

Ocheretyany K.A.
Summa topologiae..... 168

Savchuk V.V.
Topological Reflection (Part I and II)..... 174

Our authors..... 306

Summaries and keywords..... 307

Contents..... 311

Notes for contributors..... 312

К сведению авторов

Предварительно автор должен подготовить рукопись статьи в соответствии с требованиями к оформлению статей. Далее рукопись необходимо отправить на электронную почту редакции politconcept@mail.ru, konstantinov@sfedu.ru (просьба дублировать на оба адреса) с пометкой «Статья для электронного журнала „Политическая концептология“». Статьи, оформленные не надлежащим образом, не принимаются к рассмотрению. После поступления в редакцию рукопись проходит обязательное рецензирование, по результатам которого принимается решение о публикации статьи или отказе. Редакция не знакомит авторов с текстом внутренних рецензий, а только уведомляет по электронной почте о решении относительно публикации и ее условий (срока и формы публикации, необходимости доработки). В случае, если статья нуждается в авторской доработке, автору высылается отзыв рецензента. Редакция оставляет за собой право правки текстов, не наносящей вред искомым идеям автора статьи. Рукописи не возвращаются. Все статьи публикуются бесплатно вне зависимости от статуса автора.

Требования к оформлению статей

1. Статья должна быть объемом не более 1,5 п.л. – 60 тыс. знаков, набрана в формате *.doc* (*Microsoft Word* или *OpenOffice.org*).

2. В начале статьи приводится аннотация (не более 1000 символов) на русском и английском языках, а также сведения об авторе: Ф.И.О. полностью, ученые степени и звания, должность, место работы, телефоны (рабочий и домашний с кодом города), электронный адрес (обязательно).

3. Параметры текста: шрифт *Times New Roman*, 12 кегль, интервал 1, поля: сверху и снизу – 2 см, справа и слева – 2 см. Выравнивание текста: по ширине. Абзацный отступ (красная строка): 1 см. Нумерация страниц: не ведётся. Рисунки – чёрно-белые и внедрены в текст.

4. Допускается использование шрифтов *Arial* и *Courier New* для обособленных фрагментов текста. Допускается использование шрифта меньшего размера для участков текста, имеющих вспомогательное (второстепенное) значение. Размер шрифта табличного текста обычно на 2 пункта меньше размера шрифта основного текста. Рисунки можно присылать цветные, но следует иметь в виду, что журнал публикуется чёрно-белым.

5. Сноски постраничные (не концевые!) автоматические. Нумерация начинается с цифры «1». (Просим не делать нумерации вручную с круглыми или квадратными скобками!).

6. Текст сносок оформляется следующим образом:
Фамилия И.О. Название работы. – Город: Издательство, год издания. – С. … ;
Фамилия И.О. Название статьи // Название журнала. – Год. – Номер. – С. ... .